МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Белая гвардия

М Булгаков

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ВИКТОР ПЕТЕЛИН
Составление,
предисловие, подготовка текста

1
ДЬЯВОЛИАДА

2
РОКОВЫЕ ЯЙЦА

3
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

4
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

5
БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

6
КАБАЛА СВЯТОШ

7
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

8
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

9
МАСТЕР И МАРГАРИТА

10
ПИСЬМА

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ЧЕТВЕРТЫЙ

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

РОМАН, ПЬЕСЫ

Москва
«ГОЛОС»
1997

УДК 882
ББК 84/2Рос-Рус/6
Б 90

Редакционный совет издательства:

АЛЕШКИН П. Ф. — председатель,
ГОЛУБЕВ В. С., КОДОЛОВ В. И., КОЗЛОВ В. Б., КОНОВКО А. В.,
КОШЕЛЬ П. А., КУЗЬМИН Г. М.,
МЕНЬКОВ А. Т., ПЕТЕЛИН В. В. (зам. председателя),
ТИМОФЕЕВ В. В., ФОМИН И. Р., ФОМИНА Л. Р., ФОМИН Р. И.

Художник РАСТОРГУЕВ Г. Д.

ISBN 5-7117-0308-0 (т. 4)
ISBN 5-7117-0304-8

© Составление. Петелин В. В., 1997
© Оформление. Издательство «Голос», 1997

ДНИ ТУРБИНЫХ

1

Роман «Белая гвардия», главы из которого Булгаков читал в дружеских компаниях, в литературном кружке «Зеленая лампа», привлек внимание московских издателей. Но самый реальный издатель — это Исай Григорьевич Лежнев с его журналом «Россия». Уже был заключен договор, выплачен аванс, когда романом заинтересовались «Недра». Во всяком случае, один из издателей «Недр» предложил Булгакову передать им роман для публикации. «...Он обещал поговорить об этом с Исай Григорьевичем, ибо условия на роман были кабальные, а в наших «Недрах» Булгаков мог бы получить несравненно больше, — вспоминал секретарь издательства «Недра» П. Н. Зайцев. — В Москве из редколлегии «Недр» в это время находились двое: В. В. Вересаев и я... Я быстро прочитал роман и переправил рукопись Вересаеву в Шубинский переулок. Роман произвел на нас большое впечатление. Я не задумываясь высказался за его напечатание в «Недрах», но Вересаев был опытнее и трезвее меня. В обоснованном письменном отзыве В. В. Вересаев отметил достоинства романа, мастерство, объективность и честность автора в показе событий и действующих лиц, белых офицеров, но написал, что роман совершенно неприемлем для «Недр».

И Клестов-Ангарский, отдыхавший в то время в Коктебеле и познакомившийся с обстоятельствами дела, совершенно согласился с Вересаевым, но предложил тут же заключить договор с Булгаковым на какую-либо другую его вещь. Через неделю Булгаков принес повесть «Роковые яйца». Повесть понравилась и Зайцеву, и Вересаеву, и они срочно послали ее в набор, даже не согласовав ее публикацию с Ангарским.

Так что пришлось Булгакову на кабальных условиях печатать роман в журнале «Россия» (№ 4—5, январь—март 1925 г.).

После выхода первых частей романа все ценители большой русской литературы живо откликнулись на его появление. 25 марта 1925 года М. Волошин писал Н. С. Ангарскому: «Я

очень пожалел, что Вы все-таки не решились напечатать «Белую гвардию», особенно после того, как прочел отрывок из нее в «России». В печати видишь вещи яснее, чем в рукописи... И во вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной; как дебют начинающего писателя, ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого».

Из этого письма ясно, что Ангарский во время пребывания в Коктебеле Зайцева давал читать роман и М. Волошину, высказавшемуся за его публикацию в «Недрах», потому что уже и тогда увидел в романе впервые запечатленную в литературе «душу русской усобицы».

Горький спрашивает С. Т. Григорьева: «Не знакомы ли вы с М. Булгаковым? Что он делает? «Белая гвардия» не вышла в продажу?»

Булгаков любил этот роман, уж очень много автобиографического воплощено в нем, мысли, чувства, переживания не только свои, но и своих близких, с кем прошел все перемены власти в Киеве и вообще на Украине. И вместе с тем чувствовал, что над романом нужно было бы еще поработать... По выражению самого писателя, «Белая гвардия» — «это упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране...», «изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира». Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией. Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР наравне со своими героями получает, несмотря на свои великие усилия стать бесстрастно над красными и белыми, — аттестат белогвардейца-врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченым человеком в СССР».

Герои Булгакова очень разные, разные по своим устремлениям, по своему образованию, интеллекту, по месту, занимаемому в обществе, но для всех его героев характерно одно, пожалуй, самое главное качество — они хотят чего-то своего, только им присущего, чего-то личностного, хотят быть самими собой. И эта черта особенно ярко воплотилась в героях «Белой гвардии». Здесь повествуется об очень сложном и противоречивом времени, когда невозможно было сразу во всем разобраться, все понять, примирить в самих себе противоречивые чувства и мысли. Всем своим романом Булгаков хотел утвердить мысль о том, что люди, хоть и по-разному воспринимают события, по-разному к ним относятся, стремятся к покою, к устоявшемуся, привычному, сложившемуся. Хорошо это или плохо — другое дело, но это абсолютно так. Человек не хочет войны, не хочет, чтобы внешние силы вмешивались в привычный ход его

жизненной судьбы, ему хочется верить во все, что совершается как высшее проявление справедливости.

Вот и Турбиным хочется, чтобы все они всей семьей дружно жили в родительской квартире, где с детства все привычно, знакомо, от чуть-чуть поистершихся ковров с Людовиком до неуклюжих, с громким боем часов, где свои традиции, свои человеческие законы, моральные, нравственные, где чувство долга перед Родиной, Россией составляет коренную черту их нравственного кодекса. Друзья тоже очень близки к ним по своим стремлениям, мыслям, чувствам. Все они останутся верными гражданскому долгу, своим представлениям о дружбе, порядочности, честности. У них сложились представления о человеке, о государстве, о морали, о счастье. Обстоятельства жизни были таковы, что не заставляли задумываться глубже, чем это было принято в их кругу.

Мать, умирая, напутствовала детей — «дружно живите». И они любят друг друга, тревожатся, мучаются, если кто-нибудь из них находится в опасности, переживают вместе эти великие и страшные события, происходящие в прекрасном Городе — колыбели всех городов русских. Их жизнь развивалась нормально, без каких-либо жизненных потрясений и загадок, ничего неожиданного, случайного не приходило в дом. Здесь все было строго организовано, упорядочено, определено на много лет вперед. И если бы не война и революция, то жизнь их прошла бы в спокойствии и уюте. Война и революция нарушили их планы, предположения. И вместе с тем появилось нечто новое, что становится преобладающим в их внутреннем мире — острый интерес к политическим и социальным идеям. Уже нельзя было оставаться в стороне, как прежде. Политика входила в повседневный быт. Жизнь требовала от каждого решения главного вопроса — с кем пойти, к кому прибиться, что защищать, какие идеалы отстаивать. Легче всего остаться верным старому порядку, основанному на почитании триединства — самодержавия, православия, народности. Мало кто в то время разбирался в политике, в программах партий, в их спорах и разногласиях.

Белый генерал Я. А. Слащов в своей книге «Крым в 1920 году», ссылаясь на собственный опыт и опыт других, писал, что многие интеллигенты приходили в белую гвардию, не понимая политического значения своей борьбы и своего участия в этом движении.

Булгаков постоянно сталкивает людей различных убеждений, различных нравственных устремлений, моральных принципов. В одном доме живут Турбины и Василиса, в одной армии служат полковник Щеткин и полковник Най-Турс. Одну семью составляют Елена и Тальберг. Все они мало разбираются в политике, но одни остаются верны своим принципам, видят в слу-

жении Родине, России свой сыновний долг. Другие же заботятся только о спасении своей шкуры, приспосабливаются, ловчат. Для одних честь, совесть, верность — главнейшее в жизни, для других — это лишь обуза в борьбе за свое собственное маленькое «я». И вот эти противоречия в жизни, ставшие явными при обострении политических сдвигов, становятся основными в сюжете романа. Не внешние события, передающие ход революции и гражданской войны, не перемена власти в Городе (гетмана сменяет Петлюра, а Петлюру большевики), а внутренние, нравственные конфликты и противоречия движут сюжетом «Белой гвардии». Исторические события — это фон, на котором раскрываются человеческие судьбы. Булгакова интересует внутренний мир человека, попавшего в такой круговорот событий, когда трудно сохранять свое лицо, когда трудно оставаться самим собой. Если в начале романа герои Булгакова пытаются отмахнуться от политики, то по ходу событий вовлекаются в самую гущу революционных столкновений, участвуя на стороне гетмана против Петлюры. Им кажется, что Петлюра и его полки, рекрутируемые из разбушевавшейся вольницы, несут на родную землю беззаконие и несправедливость, произвол и грабежи. Петлюра, как и гетман, для булгаковских героев — случайные явления, наносные, нечто временное и преходящее. Поначалу они так же относятся и к большевикам. Как и многие другие из кругов интеллигенции, они настороженно воспринимают приближение большевистских отрядов. Но к этому времени они уже поняли, что ни гетман, ни Петлюра не представляют Россию, не выражают ее интересов, стремлений. К монархии возврата нет. Монархия обанкротилась. И осознание того, что все эти формы управления без поддержки народа рухнули, заставляет их всерьез задуматься о новой силе, идущей на смену старой.

Мышлаевский с одобрением говорит о большевиках, которые ловко и смело «сплавили» оратора, провозглашавшего большевистские лозунги при петлюровских сердюках. Алексей Турбин много помучился, пострадал в это время, но остался самим собой. «Мысли текли под шелковой шапочкой, суровые, ясные, безрадостные. Голова казалась легкой, опустевшей, как бы чужой на плечах коробкой, и мысли эти приходили как будто извне и в том порядке, каком самим было желательно. Турбин рад был одиночеству у окна и глядел». Спокойно думает о большевиках, думает о том, что уже ночью они войдут в Город, начнется новая жизнь: «Тем не менее я пойду, пойду днем... И отнесу...» Без страха встречает он новую жизнь, у него совесть чиста, ему не в чем себя упрекнуть, он жалеет только об одном, что отдал прощальный поцелуй Тальбергу, мерзавцу и подлецу. Он предостаточно испытал за короткое

время страданий. И мысль авторская — в следующих словах романа: «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» И весь роман — это призыв художника к миру, справедливости, правде на земле. Не столько страшен «угрожающий острый меч», сколько страшна человеческая подлость и приспособленчество, страшно, когда человек перестает быть самим собой в угоду сиюминутным требованиям времени.

Все герои «Белой гвардии» выдержали испытание временем и страданиями, все, как и прежде, остались «симпатичными». Только Тальберг в погоне за удачей потерял самое ценное в жизни — друзей, любовь, Родину.

Особенность романа в том, что в авторское повествование зачастую врывается несобственно-прямая речь, в которой слышатся мысли, чувства, оценки того, от имени которого и дается эта речь. И вот эту речь персонажа часто выдавали за мысли и чувства самого Булгакова, происходила чудовищная ошибка, последствия которой трагическим образом отозвались на авторе «Белой гвардии».

В автобиографии сам Булгаков признавался: «Роман этот я люблю больше всех других моих вещей». И естественно, в критике посчитали, что здесь автор выразил свою философию, свое жизненное кредо. Много было не понято, многое было навязано автору «Белой гвардии», признававшему общечеловеческую мораль и общенародные ценности.

До «Белой гвардии» о белогвардейцах в советской литературе писалось мало, а то, что было, давалось тенденциозно, грубо, с вульгарно понятой классовой «одноглазости».

В критике тех лет верно угадывалось намерение автора в образах своих персонажей раскрыть «их чисто психологические общечеловеческие черты». Отмечено, что Алексей Турбин «честен, трогателен в своих родственных чувствах, резко воспринимает всякое проявление пошлости», что «умна и, конечно, обаятельна как женщина сестра Елена».

Да, именно это и хотел показать Булгаков. Что же тут такого? — скажет современный читатель. И вот здесь начинаются принципиальные разногласия между тем, как воспринимали роман в 20-е годы и сейчас. Прошло много времени. И мы, глубже понимая замысел Булгакова, по-иному смотрим на его персонажей.

Критики рапповского толка не жалели ругательных слов, чтобы очернить роман и самого автора. Они признавали только ярко окрашенных персонажей — либо в красный, либо в

белый цвет. Им казалось, что раз Булгаков выводит своих героев такими симпатичными, то, следовательно, он оправдывает всю их жизнь, значит, Булгаков против революции, он за старое, за прежний монархический строй, а над революцией явно издевается.

Мустангова, в отличие от Эльсберга, отделяет Булгакова от его героев: «Идеология или, вернее, психология автора не совсем совпадает с психологией его героев. Автор стоит над героями, и любование его ими — любование снисходительное. Ему как будто кажутся немного смешными и наивными их волнение, их пафос» (Печать и революция. 1927. № 4), но только для того, чтобы сказать, что его герои принимают революцию как неизбежное, как сменовеховцы, готовые к сотрудничеству с новой властью, а автор против этого. И этот вывод делается на основании лишь одной фразы романа: «Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окруженные светом, потому что «Фауст», как «Саардамский Плотник», — совершенно бессмертен». Эту фразу, вырванную из контекста, действительно можно истолковать как выражение философии автора. На самом деле это далеко не так, все гораздо сложнее и глубже.

Эта фраза принадлежит не столько самому Булгакову, сколько Тальбергу, которому по воле обстоятельств приходится покидать уютную квартиру, красавицу жену, налаженный и спокойный быт. При расставании с Еленой в его двухслойных глазах на мгновение мелькнула нежность. И все дальнейшее дается как прощание Тальберга с дорогими и привычными вещами: он видит пианино с «уютными белыми зубами», партитуру «Фауста», «черные нотные закорючки», ему представляется «разноцветный рыжебородый Валентин». «Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного «Фауста». Э-х, эх... Не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент!» И это «эх, эх» точно передает сожаление, нежность, сентиментальность, свойственные Тальбергу в этот момент. Он сокрушается, тоскует от неизвестности своей собственной судьбы, что и делает его живым действующим лицом, а не карикатурой.

Вместе с тем эти переживания, мысли — не только Тальберга, любой человек в минуту расставания может точно так же подумать, настолько эти чувства, выраженные здесь, общечеловечны. А критик делает совершенно поразительный по своей алогичности вывод: раз Булгаков выразил здесь свое преклоне-

ние и восхищение культурой прошлого, то все, что происходит сейчас, классовая борьба, кажется ему «временным, преходящим, незначительным». Нет, классовая борьба не казалась Булгакову незначительным явлением. Наоборот, он много раз говорит о масштабности и значительности происходящего. Но только и такие крутые повороты истории не истребят в человеке человеческого, его надежд, его мечтаний, его любви, его стремлений.

Человек всегда уповает на лучшее, надеется, что несчастья, страдания пройдут, «начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах», и только подлинный художник, отказываясь от соблазна выдать желаемое за действительное, дает трезвые и объективные картины реальной жизни, если «она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее». И ради чего все эти страхи, мучения, ради чего воюют люди... «Башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели — охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет, и в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует» — к таким мыслям приходит в минуты отрезвления раненый Алексей Турбин. И это хорошо. Если раньше Алексей Турбин готов был выступать с оружием в руках против всех, кто заражен «московской болезнью» (т. е. большевизмом. — *В. П.*), то сейчас он думает о нейтральности как выходе из создавшегося положения.

И вот это-то знаменательно! В связи с этим нельзя не вспомнить статью В. И. Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина». Многое отделяет Турбиных от тех разновидностей мелкобуржуазной демократии, о которой идет речь в статье В. И. Ленина. Но есть и общее — «поворот от враждебности к нейтральности». Различны причины этого поворота, но есть и объединяющие: «патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств», крушение иллюзий. Вся мелкобуржуазная демократия «шла против нас с озлоблением, доходящим до бешенства, потому что мы должны были ломать все ее патриотические чувства (В. И. Ленин имеет в виду заключение Брестского мира. — *В. П.*). А история сделала так, что патриотизм теперь поворачивает в нашу сторону». И этот поворот от враждебности к нейтральности, по мнению В. И. Ленина, должен изменить и тактику по отношению к нейтральным: «Если вы думаете, что мы умеем действовать только насилием, то вы ошибаетесь. Мы могли бы достигнуть соглашения. И те элементы, которые полны традиций, буржуазных предрассудков, все кооператоры, все части трудящихся, которые больше всего связаны с буржуазией, могут пойти к нам».

Ленин заслуживает резкого осуждения за призывы к беспощадному подавлению буржуазии и помещиков, виновен он и в том, что сотни тысяч представителей литературы, искусства, науки, армии и флота, промышленности и сельского хозяйства оказались за рубежом, а кто остался, не уехал, был раздавлен или низведен до «винтиков», но одновременно с этим В. И. Ленин советует привлекать к себе представителей мелкобуржуазной демократии, «когда они говорят, что хотят быть нейтральными и быть с нами в добрососедских отношениях». Повторяю, что вовсе не хочу объединять Турбиных с теми, о ком говорил в своей статье В. И. Ленин, но отношение к нейтральности и тех и других исторически было одинаковое. «А этого только нам и надо. Мы никогда не ожидали, что вы станете коммунистами» (ПСС. Т. 37. С. 290, 215—216, 218—219).

Да, революционный народ боролся против Турбиных, когда они с оружием в руках отстаивали «белые» идеалы, но потом, когда они разочаровались в этих идеалах и захотели оставаться нейтральными, новая власть призывала их к сотрудничеству, соглашению, установлению добрососедских отношений. Вот этой диалектики взаимоотношений и не поняли критики 20-х годов.

Наиболее сдержанный Ж. Эльсберг писал, что «Белая гвардия» — это «попытка представить большие трагические события в виде фарса», что Булгаков — «писатель контрреволюционной обывательщины, скрывающейся в цитадели уютных квартир и мягкой мебели, — в цитадели, которую эта обывательщина пытается и будет пытаться отстоять при всех и всяких режимах», — «пробует великое представить малым и смешным». Ж. Эльсберг поставил перед собой задачу отделить автора «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» от постановки его пьесы во МХАТе. Отсюда желание представить театральную постановку как нечто независимое от пьесы и автора: «Дни Турбиных» в корне отличаются от «Белой гвардии». «Белая гвардия» цельна и едина. Это — контрреволоционный, обывательский смешок... «Белая гвардия» глубоко антисоциальна» (На литературном посту. 1927. № 3. С. 46). В «Днях Турбиных», по мнению критика, «театр пожелал показать персонально-чистых людей, чтобы тем резче подчеркнуть, что все-таки, несмотря на личные качества, белым капут». В «Белой гвардии» автор, следуя за своими героями, как бы говорил, «что все должно успокоиться»: «Дикая, сумасбродная пляска революции должна рано или поздно утихнуть. А пока что — кривляйся, маскируйся идеями, платьем, документами, срывай погоны, рапортуй Троцкому». По Ж. Эльсбергу получалось, что позиция автора ничуть не отличалась от позиции его героев. Более того, автору приписывалась то концепция Шервинского, известного

враля и фантазера, то позиция Сергея Тальберга или Лариосика[1], то упрекали за сочувственное изображение героически погибшего полковника Най-Турса. Во всем этом сказалась предвзятость, нежелание или неумение войти в творческий замысел, понять его и уже с этой точки зрения судить его. В основе замысла романа, по утверждению критика, лежит призыв автора к своим героям: «Приспосабливайтесь, вы участвуете в фарсе поневоле, и вы должны подчиниться его условностям». «Все трын-трава, живем — и ладно, хотя бы в качестве действующих лиц кровавой оперетки».

Критик видит разницу в подходе к материалу со стороны МХАТа и Булгакова: «Булгаков не пытается быть объективным, он не выдает показанное им за жизнь как она есть, скорее наоборот. Его основная мысль выражена ясно: «вышла оперетка, но только не простая, а с большим кровопролитием». В опереточных, в фарсовых тонах и выдержан весь роман. Но только оперетка или фарс эти особенные, с некоторым лирическим оттенком. Сейчас революция, т. е. фарс, оперетка, социальный канкан — сейчас нужно иногда даже с красными примириться, а это для Булгакова и героев столь же приятно, как Елене Тальберг появиться в одной рубашке на фарсовой сцене» (На литературном посту. 1927. № 3. С. 45). Напротив, МХАТ стремится к объективности, ему «наплевательски-фарсовая точка зрения Булгакова была в корне чужда». «Дни Турбиных» в корне отличаются от «Белой гвардии». И на этом основании автора «Белой гвардии» отлучают от постановки «Дней Турбиных». А между тем — по воспоминаниям Станиславского —

---

[1] Не стоило бы и вспоминать статьи тех лет, мало ли вздорного писалось в то время, если бы некоторые из этих мыслей вдруг неожиданно в обновленной форме не появлялись вновь. Чем, например, отличаются мысли В. Лакшина от только что процитированных? «И не жаль ей семейного сервиза... ничего не жаль, если жизнь покатилась неведомо куда, и все трын-трава стало, и запахло в воздухе неслыханными потрясениями и бедой». «И мечты Турбиных о покое... Это где-то почти рядом с обывательщиной». «В устах Лариосика... дорогие Турбиным мысли звучат уже как пародия» и т. п. В. Лакшин отделяет Булгакова от героев романа Это хорошо Но зачем же искажать при этом авторскую позицию? В. Лакшин увидел идиллию там, где ее нет, — в описании дома Турбиных, увидел «беззлобную насмешку», «смешную фразу» там, где все очень серьезно и очень грустно. Фраза Лариосика, которая критику показалась смешной, передает стремление булгаковских героев к покою, невмешательству, нейтрализму. И это — положительное стремление представителей тогдашней интеллигенции, вставшей таким образом накануне перехода на сторону народной власти. В. Лакшин не понял сути образа Лариосика — в смешном, чудаковатом «кузене из Житомира» Булгаков разглядел глубокого, умного, серьезного человека, не понял, что внутреннее и внешнее не всегда совпадают. Комическое здесь только форма трагического.

самое лучшее в постановке пьесы принадлежит самому Булгакову Ж. Эльсберг упрекает театр за то, что режиссер не сумел «принципиально и в корне изменить установку пьесы до последнего ее винтика». Критик против последней картины: «Дав последнюю картину, театр сделал *уступку* основному авторскому замыслу (выделено мною. — *В. П.*) — сменовеховские нотки стушевались перед радостью чистокровной обывательщины: спасены, власти дождались». А между тем в романе нет трагедии героического сменовеховства, как и сменовеховства вообще, нет радости чистокровной обывательщины, нет попытки представить большое малым, показать великие трагические события в виде фарса, нет трусливого ожидания какой-нито власти, лишь был бы порядок, нет и контрреволюционного смешка, — ничего этого в романе нет, все это придумано критиками, навязано Булгакову, слова его героев выданы за идейно-художественную концепцию самого автора.

М. Булгаков пользуется давним способом реалистической литературы для передачи многокрасочности жизни: многие события для героев неожиданны, случайны, обременительны своим трагизмом. Как раз тогда, когда все Турбины собрались вместе, когда мелькнула надежда на счастливую будущность, где светлая дружба будет скрашивать всю неустроенность и тяготы жизни, умирает мать, на которой держалась вся семья. Как раз тогда, когда Елена так тревожится за жизнь своего мужа Тальберга, ждет его, волнуется, радуется его благополучному возвращению из опасной поездки, где, по его словам, он действительно подвергался опасности, как раз в этот момент Сергей Тальберг сообщает ей о том, что ему нужно срочно бежать из Города, что немцы предали гетмана, оставили его без всякой поддержки. А это значит, что Петлюра, которому теперь никто не мог воспрепятствовать захватить Город, может отомстить Сергею Тальбергу за статью против Петлюры. Виктор Мышлаевский ревностно стремился выполнить свой долг — с оружием в руках защитить Город, установившийся порядок в нем. Порядок есть порядок. Но чувство долга, понятия чести, порядочности пришли в противоречие с тем, что он увидел в жизни. Оказывается, таких, как он, мало, многие предпочитают отсиживаться в штабах, заниматься разработкой уже никому не нужных сводок, диспозиций. Виктор увидел в людях полную незаинтересованность в борьбе, которой он искренне и честно отдался на первых порах. Он не ожидал, что полковник Щеткин, который, по идее, должен отдавать всего себя тому, за что ратует, на самом деле укрывается в штабном вагоне, пьянствует, забыв о своем обещании дать смену через шесть часов; в это время люди мерзнут, одетые не по сезону, но держат фронт. А увидев, что у ответственных людей слова не совпадают с делами, люди честные приходят в ярость, теряют свои идеалы,

начинают задумываться над этим несоответствием. Нет еще здесь твердых решений, выстраданных убеждений, но есть нравственная чувствительность ко всему непорядочному, грязному, темному в человеческих делах и поступках, есть понятие о святости слова, о выполнении долга, о бескорыстном ему служении. С каким осуждающим остервенением говорит Мышлаевский о подлости, о предательстве, о трусости, и остервенение это пришло, оттого что он ожидал совсем другого отношения — честного — к своему долгу. Мышлаевский ненавидит демагогическое бездумье, в результате которого такие, как он, теряют веру в дело, за которое сражались.

В романе действуют много героев, но между ними проходит резкая грань — одним автор явно симпатизирует, другим — нет. Более того, такие, как гетман, Петлюра, Тальберг, вызывают у Булгакова открытую ненависть как люди без почвы, способные перекрашиваться в различные цвета, лишь бы удержаться на поверхности событий, люди ничтожные, но самодовольные и самонадеянные, желающие руководить, «играть» роль, направлять события. Временами им это удается. Но постепенно время, ход событий раскрывают всю их пустоту, их ничтожество, и они предстают перед людьми в своем подлинном свете и сущности. Иным, как гетману, приходится переодеваться, надевать немецкую форму, чтобы уйти от расплаты, другим, как Тальбергу, искать знакомых в немецком лагере, чтобы пересидеть это лихолетье. Иное дело — Турбины. И в романе, и в пьесе они высказывают свои монархические взгляды, они против переустройства общества, они за сохранение старых порядков, за спокойствие и тишину, по которым — особенно старший — так истосковались за время войны. «Спасти Россию может только монархия», — кричит Алексей Турбин. Но что это за монархизм? Отчетливо ли они себе его представляли? Нет. Правда, Турбин в разговоре с полковником Малышевым прямо заявляет, что он монархист, что он против социалистов. Но кого он имеет в виду, когда говорит об этом? Керенского! Вот уж поистине «пробка» в политических вопросах. Алексей Турбин демонстрирует полнейшее невежество в политике. Ему тоже еще предстоит путь политической борьбы, чтобы разобраться хоть чуть-чуть в развернувшихся неотвратимых событиях. И в конце романа он стал более внимательно слушать «музыку революции», приближающиеся шаги пролетариата, чем в начале событий. Это закон диалектических перемен в человеке под влиянием истории, времени, эпохи. И Булгаков чутко улавливает это влияние времени на человека. Нельзя сказать, что все его герои «перековались», стали выразителями новых концепций. Они поняли самое главное: народ, Россия идут за большевиками, значит, произошло что-то такое, над чем нужно серьезно подумать. К старому нет возврата, новое они еще

не понимают и не принимают, но и не сражаются против него. Они застыли в нерешительности, в тяжком раздумье. Они хотят нейтралитета, посмотреть, куда повернут события. Как к ним отнесется новая власть? Будут ли их корить их происхождением, их положением в обществе?

Булгаков оставил своих героев на перепутье. Он показал, как они оторвались от белых, хотя и не пришли пока в лагерь большевиков.

Главный итог — Турбины разочаровались в старом и поняли, что нет к нему возврата.

В романе часто события оцениваются устами героев. О гетмане, о Петлюре, о большевиках высказываются и Турбины, и Мышлаевский, и Тальберг. Мысли и оценки их различны, непохожи, хотя они и принадлежат, казалось бы, людям одного круга. Особенно существенны расхождения в оценке событий у Тальберга с Турбиными.

Булгаков много внимания уделяет выяснению позиции Тальберга. Это антипод Турбиных. Открытые, прямодушные, честные, они душой не принимают этого карьериста. Внешне все идет нормально. Разговаривают, обедают. Но внутренне между ними огромная пропасть. Тальберг — карьерист и приспособленец, человек, лишенный моральных устоев и нравственных принципов. Ему ничего не стоит поменять свои убеждения, лишь бы это было выгодно для его карьеры. С началом Февральской революции он первым нацепил красный бант, принимал участие в аресте генерала Петрова. События быстро замелькали, в Городе часто менялись власти. И Тальберг не успевал разобраться в мелькавших событиях. То одно, то противоположное он принимал за истинное, подлинное, а время вносило свои коррективы. Уж на что казалось ему прочным положение гетмана, поддержанного немецкими штыками, но и это, вчера такое незыблемое, сегодня распалось, как прах. И вот Тальбергу надо бежать, спасаться. Петлюра, которого он называл в газете «Вести» «авантюристом, грозящим своею опереткой гибелью краю», уж, конечно, его не пощадит.

Любимое слово Тальберга — оперетка. Этим словцом он пользовался всегда, когда нужно определить свое отношение к текущим событиям. Так, когда в ходе революционных событий 1917 года к власти пришли буржуазные националисты, поддержанные «людьми, не имеющими сапог, но имеющими широкие шаровары», «Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка». А вслед за этими словами Тальберга берет слово и сам автор: «И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные

полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах — авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские». Тальбергу хотелось служить только тем, у кого есть корни. Он уже готов был служить людям, пришедшим «откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве». И дальнейшие события даются с точки зрения Тальберга. Отсюда его уважение к немцам, потому что «при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни»: «После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину». Во всем этом слышатся и презрительная усмешка, и снисхождение до раздумий по этому поводу, и терпеливое выжидание, и стремление уловить время, когда можно будет предложить свои услуги тем, у кого есть корни.

И опять ожидал его «большой сюрприз». Те, кого он называл авантюристами, «притащились обратно, вслед за немцами». Правда, они никого не трогали, вели себя тихо. Но все это породило растерянность в душе Тальберга. Правда, он по-прежнему говорил, «что у них нет корней», и нигде не служил, но одновременно с этим начал изучать «украинскую грамматику» с целью приспособиться к ним, сжиться с ними, извлечь выгоду. И своего часа, как ему казалось, дождался. Начал служить гетману. О московских корнях уже не вспоминал, радовался тому, что «отгорожены от кровавой московской оперетки», сердился, когда ему напоминали о былых симпатиях к «широченной красной повязке на рукаве». А сейчас, убегая из Города, он бросает свою службу в гетманском министерстве, он снова ошибся, он, оказывается, принимал участие в «глупой и пошлой» оперетке.

Прием, которым пользуется М. Булгаков для передачи душевного состояния Тальберга, сложен: здесь и авторские комментарии, не лишенные язвительной усмешки, здесь и несобственно-прямая речь Тальберга, здесь и оценка его действий, мыслей, мнений со стороны окружающих лиц. Особенно важны мысли Елены.

Словечко «оперетка» — лейтмотив не только его отношения к происходящему, но это слово стало оценкой и его собственной сути. Так, Елена размышляет о нем: «Да, оперетка... Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароварам, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии,

но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет». Беда Тальберга не в том, что он не угадывал, а в том, что он «собирался угадать», приспособиться, словчить на смене событий, в том, что в нем не оказалось нравственного стержня, вокруг которого «вращается» вся духовная жизнь человека. Он начисто лишен понятий чести, порядочности, моральных устоев. Булгакову этот образ нужен для выявления принципиальной разницы между Тальбергом и Турбиным. Они различны по своей человеческой сути.

Вспомним один эпизод. Нет Тальберга. Елена волнуется, плачет, представляет его убитым, на каждый звонок откликается ее сердце. Вместе с ней переживают и ее братья, стараются ее успокоить, ввести в заблуждение относительно истинного положения в Городе, но когда появляется Тальберг, «Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости». И дело не в том, что Тальберг служил гетману, которого ненавидели в этом доме, а в том, что «чуть ли не с самого дня свадьбы Елены образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана». И Булгаков вовсе не собирается представлять Тальберга этаким чудовищем, лишенным человеческих чувств. Напротив, он испытывает нежные чувства к Елене, «простую человеческую радость от тепла, света и безопасности», проявляет находчивость и мужество при столкновении с «разложившимися сердюками», умение владеть своими чувствами и замыслами. Не все человеческие качества вытекли из души Тальберга. Объясняться с Еленой Тальбергу было трудно. «И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума». Тальберг убегал от опасности в неизвестность. Он не знал, что ждет его впереди. Он надеялся пробраться через Румынию в Крым, на Дон. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. У немцев свои неприятности. Петлюра скоро рухнет. Настоящую силу он увидел на Дону, там начала формироваться «армия права и порядка». Не быть там — «значит погубить карьеру». Ни о каких идеалах, ни о вере во что-то высокое и священное здесь и речи нет, разговор идет только о карьере, о личной выгоде. Это черта, которая движет его поступками. Он бросает Елену, к которой питает нежность, бросает службу и гетмана, которому недавно поклялся. Бросает дом, семью, очаг и в страхе перед опасностью бежит в неизвестность. Это понимают братья. Тальберг все им рассказал, но они вежливо промолчали: «младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка». И долго потом они не могут себе простить, что так вежливо прощались с трусом и подлецом.

В умной и честной книге Ю. Трифонова «Отблеск костра» есть такие слова: «На каждом человеке лежит отблеск истории Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костер, и каждый из нас бросает в него свой хворост».

Булгаковские герои — не исторические деятели, а простые, рядовые участники событий, вовлеченные в ход истории вопреки их желанию. Но и на них «лежит отблеск истории». И на столкновении Турбиных с Тальбергом — столкновении внутреннем, внешне все происходит очень вежливо и сдержанно, — тоже суровые краски истории.

Булгакову нечего скрывать. Он пытается рассказать правду о своих героях, и только правду.

Алексей Турбин — против гетмана. Но только потому, что он не дал формироваться русской белой гвардии. Разрешение на это было получено накануне краха, когда Петлюру уже ничем нельзя было остановить. Алексей Турбин, как и его друзья, за монархию, он глубоко и страстно переживает крушение старых устоев, на которых держалась Россия. Все новое, что решительно входит в их жизнь, несет, ему кажется, только дурное, навязанное темными и мрачными силами регресса. Совершенно политически неразвитый, незнакомый с партиями и их программами, он, как большинство вернувшихся с войны, хотел только одного — покоя, возможности спокойно и радостно пожить около матери, любимых брата и сестры. Но война, смерть матери, внутренние распри, социальные потрясения вывели его из того душевного равновесия, к которому он стремился. Он вернулся в «насиженное гнездо» с единственной мыслью — «отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь».

А тут снова война, еще более чуждая и непонятная. Ему все еще снится та война, снится Най-Турс, снится Жилин, умерший на его руках. Его мучает этот сон. Он не может найти ответа на вопросы, которые ему подсовывает жизнь. Он политически совершенно безграмотен. Но в нем живы понятия чести[1], долга

---

[1] Здесь хочется обратить внимание на некоторые довольно странные мысли В. Лакшина. В уже упоминавшейся статье говорится о том, что в этом высоко развитом чувстве чести не только моральная сила Турбиных, но их ограниченность: «Все они думают так же, как младший брат Николка, который верит, что «честного слова не должен нарушить ни один человек, потому что иначе нельзя будет жить на свете». И это немного старомодное рыцарство является «последней подпоркой их веры». Думаю, что в этом споре критика с героями «Белой гвардии» современный читатель всецело на стороне Николки, потому что если не верить в честное слово окружающих людей, то действительно на свете нельзя будет жить. И это не ста-

перед Россией, порядочность. Нравственная чистота — самая характерная черта Алексея Турбина. Он проклинает себя за душевную слабость, называет себя «тряпкой» только из-за того, что в лицо, прямо не сказал Тальбергу, что тот мерзавец, «чертова кукла», лишенная малейшего понятия о чести». Алексей Турбин презирает Тальберга за то, что он вертится, юлит, за двоедушие, за то, что «все, что ни говорит, говорит, как бесструнная балалайка». Нет корня в человеке, нет чести.

Что это главное в Турбине, Булгаков дает понять и всем последующим ходом событий. Нигде об этом не говорится прямо. Булгаков тонко и с большим художественным тактом развертывает характер Алексея Турбина. Подобно тому, как незаметно авторское повествование переходит в несобственно-прямую речь персонажей, так и явь незаметно переходит в сон. Булгаков часто пользуется этим приемом. Вот и Алексей мучается у себя в комнате над труднейшими вопросами бытия, долго и бессмысленно перечитывая одну и ту же фразу в случайно попавшейся книге: «Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя». В пьяном состоянии он не выразил своего отношения к этой фразе. А вот когда он засыпает и к нему является «маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо повторяет эту фразу, Алексей в ярости полез за браунингом, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал».

С большой художественной силой воссоздает Булгаков образ Алексея Турбина, показывает в будничной, домашней обстановке, сталкивает его с теми, кто противоположен ему по своим жизненным и политическим принципам. Особенно внимателен к внутреннему миру своего героя Булгаков становится тогда, когда намечается противоречие между внешним и внутренним, когда герой внешне вынужден соблюдать благопристойность, а внутренне он протестует, но не может по соображениям разного толка высказать свой гнев, свое раздражение, а

ромодное рыцарство, а мораль русского народа, всегда с презрением относившегося к своекорыстию, ко лжи, к приспособленцам. И высокие человеческие качества Турбиных, в том числе и «старомодное рыцарство», действительно служат «моральными скрепами» с теми идеалами, в которых выразилось все лучшее в России — высокий патриотизм, понятие чести человеческой, долга перед Родиной, мужество, бескорыстие, благородство, доброта, самоотверженность. Этими «вечными» чертами, идущими от поколения к поколению русских людей, и дороги нам сейчас булгаковские герои. Давно уже сказано: русские, совершив Октябрьскую революцию, не перестали быть русскими. И мораль современного русского человека уходит в глубинную историю России. Много из «рыцарских» черт Турбиных близко нам. Потому мы и чувствуем к ним симпатию. В этом смысле мы можем кое-чему у них и поучиться.

потом, оставшись наедине с самим собой, жестоко осуждает себя за мягкотелость, дурную «интеллигентность». Внешняя сдержанность, холодная благопристойность, продиктованные положением и воспитанием, чаще всего «прикрывают» внутреннюю неуверенность, сумбурность, душевное раздорожье... Словами можно лгать, в молчании можно скрыть свое истинное отношение к тому или иному явлению жизни, к тому или иному человеческому поступку. Но сны, непроизвольные движения, несобственно-прямая речь, портретные изменения — все эти изобразительные средства, которыми щедро пользуется художник, раскрывают перед нами характер Алексея Турбина, который становится нам близким и дорогим спутником жизни. Вымышленный образ благодаря художественному дару писателя оживает, приобретает индивидуальные черты и живет собственной жизнью, заставляя нас, читателей, соглашаться с ним, когда чувствуем, что он прав, спорить, возмущаться, сокрушаться...

Редко кому удается создать живые человеческие характеры.

Михаилу Булгакову удалось.

«Этот роман я печатала не менее четырех раз — с начала до конца, — вспоминала много лет спустя первая машинистка М. А. Булгакова И. Раабен. — Многие страницы помню перечеркнутыми красным карандашом крест-накрест — при перепечатке из 20 оставалось иногда 3—4. Работа была очень большая... В первой редакции Алексей погибал в гимназии. Погибал и Николка — не помню, в первой или во второй редакции. Алексей был военным, а не врачом, а потом это исчезло. Булгаков не был удовлетворен романом. Помимо сокращений, которые предлагал ему редактор, он сам хотел перерабатывать роман... Он ходил по комнате, иногда переставал диктовать, умолкал, обдумывал.. Роман назывался «Белый крест», это я помню хорошо. Я помню, как ему предложили изменить заголовок, но названия «Белая гвардия» при мне не было, я впервые увидела его, когда роман был уже напечатан. Я уехала с этой квартиры весной 1924 г. — в апреле или мае. У меня оставалось впечатление, что мы не кончили романа — он кончил его позднее. Когда я уехала на другую квартиру, знакомство наше, собственно, прервалось, но через несколько лет я через знакомых получила от него билеты на премьеру «Дней Турбиных». Спектакль был потрясающий, потому что все было живо в памяти у людей. Были истерики, обмороки, семь человек увезла скорая помощь, потому что среди зрителей были люди, пережившие и Петлюру, и киевские эти ужасы, и вообще трудности гражданской войны...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. СП, 1988. С.130).

Ценное свидетельство... В Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки хранится корректура шестого номера

журнала «Россия», в котором должны были опубликовать последнюю часть романа. Сравнивая ее с опубликованной в Париже, приходишь к выводу, что Булгаков в 1925 году все еще предполагал роман продолжить и только в 1929 году расстался с этой мыслью: эта мысль оказалась неосуществимой в связи с трагическими обстоятельствами года «великого перелома».

5 октября 1926 года состоялась премьера драмы «Дни Турбиных» М. Булгакова. А до этого он принес мхатовцам первый вариант пьесы «Белая гвардия».

И началась работа театра с драматургом, который представил «пухлый том», отдавая себе отчет в том, что все это сыграть пока еще невозможно, но нужно было показать театру свои серьезные намерения. В первом варианте пьесы Булгаков попытался сохранить всех героев и все сюжетные линии. Среди действующих лиц есть и полковник Малышев, и Най-Турс, и военный врач Алексей Турбин. Булгаков стремился в своей работе над пьесой разработать все «гвоздевые» эпизоды романа, даже сны и кошмары Алексея Турбина, его болезнь тифом. Вскоре, без помощи прочитавших его рукопись, он понял, что пятиактную пьесу невозможно сыграть за один вечер, нужно было что-то убирать. (Вспомним, чуть-чуть забегая вперед, творческие мучения Максудова, героя «Театрального романа», все ему казалось важным в пьесе, ничего не хотелось выбрасывать, а стоило ему что-то выбросить, как все здание, с таким трудом построенное, рассыпалось, «и мне снилось, что падают карнизы и обваливаются балконы...».) Но в январе 1926 года Булгаков закончил сокращения; в сущности, это был второй вариант пьесы «Белая гвардия», в которой уже нет военного врача Алексея Турбина, а есть полковник Алексей Турбин, слитый в одно лицо из трех, ранее действовавших: полковника Малышева, полковника Най-Турса и военного врача Алексея Турбина.

В конце января 1926 года переделанную пьесу стали репетировать.

Потеряв Малышева и Най-Турса, Булгаков сохранил все эпизоды с домовладельцем Лисовичем и его женой Вандой; не мог отказаться Булгаков от колоритных фигур их грабителей: Урагана, Кирпатого, Бандита в дворянской фуражке. Ввел Лариосика в первое действие, усилив тем самым комический колорит пьесы. В крещенский сочельник 1919 года Лисович и Ванда вместе с Турбиными и их друзьями отмечают этот праздник. Да вернувшийся Тальберг заявляет, что он «прекрасно в курсе дела. Гетманщина оказалась глупой опереткой. Я решил вернуться и работать в контакте с Советской властью. Нам нужно

переменить вехи...». «Вы знаете, этот вечер — великий пролог к новой исторической пьесе». На что Мышлаевский столь же философски спокойно отвечает: «Но нет, для кого пролог, а для меня — эпилог. Товарищи зрители, белой гвардии — конец. Беспартийный штабс-капитан Мышлаевский сходит со сцены». Николка продолжает петь свою песенку: «Бескозырки тонные, сапоги фасонные...»

В первой половине 1926 года шли успешные репетиции спектакля, в которых М. Булгаков принимал участие и как актер, и как режиссер. 24 июня на генеральной репетиции «Белой гвардии» присутствовали ответственные работники Главреперткома, которые на следующий день заявили мхатовцам, что в «Белой гвардии» показана сплошная апология белогвардейцев, а посему постановку ее в театре не разрешают. Мхатовцы согласились переделать пьесу и в начале сезона вновь показать ее на генеральной репетиции.

Началась работа над третьей редакцией пьесы, которая перед самой генеральной репетицией получила название «Дни Турбиных». Но и этот просмотр пьесы, состоявшийся 17 сентября, ничего положительного не дал: Главрепертком принял решение, что в таком виде спектакль выпускать нельзя. Вновь начались переделки... Булгаков убрал все упоминания Троцкого, сцену, в которой гайдамаки издеваются над евреем-портным, переделал и конец пьесы, кончается пьеса тем, что усиливается «Интернационал» на улице. Ушли из пьесы Василиса и Ванда, а вместе с ними и колоритные фигуры грабителей, тем самым значительно обеднив комические, фарсовые стороны показанной в пьесе действительности.

Главрепертком после генеральной репетиции 24 июня настойчиво требовал снять показ белогвардейской героики. Пришлось Булгакову две сцены в Александровской гимназии слить в одну, вложить в уста Алексея Турбина слова осуждения тех генералов, которые возглавили белую гвардию на Дону, слова о конце белой гвардии вообще. «Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка!» — эти слова в устах Алексея Турбина возникли как стремление Булгакова спасти пьесу, как желание увидеть ее на сцене. Да, в сущности, эти слова и не противоречили ни логике развития событий, ни логике развития характера полковника Турбина. Пришлось Булгакову четче обозначить в пьесе поворот некоторых его героев к большевизму, к сотрудничеству с Советской властью. Не только Николка, но и умудренный жизнью, симпатичный Мышлаевский выражает надежду примириться с новой властью, пусть она мобилизует его. И лишь Студзинский и Тальберг решают связать свои судьбы с белым движением. В песню о «Вещем Олеге» пришлось автору ввести новый рефрен: «Так

за Совет Народных Комиссаров мы грянем громкое «Ура! Ура! Ура!»

Наконец Главрепертком разрешил показать спектакль зрителям. Слишком много было потрачено усилий для того, чтобы его запретить, но театр и автор сделали многое, чтобы удовлетворить строгих цензоров ради спасения пьесы. К тому же потрачены огромные средства для ее постановки. Да и запрещение постановки пьесы в театре, который давно завоевал мировое признание, могло произвести невыгодное впечатление не только внутри страны, но и за рубежом. А с этим приходилось все еще считаться молодому обществу. Так что в последней редакции пьеса по своему художественному замыслу существенно отличалась от романа и поэтому получила самостоятельное название, в котором не было слова — белая... Чистоспецифические и художественные соображения заставили Булгакова многое устранить и изменить в сравнении с тем, что было в романе.

Сравнивая вторую редакцию пьесы «Белая гвардия» (см. *Приложение*) с «Днями Турбиных», которые были разрешены Главреперткомом, приходишь сейчас к выводу, что вторая редакция пьесы гораздо богаче и глубже не только в идейном, но и в театральном отношении, оставляя в ней такие неповторимые характеры, как Ванда и Василиса, да и многие реплики действующих лиц, которые точнее передают их чувства, мысли, настроения...

Творческая история создания драмы «Дни Турбиных» и ее постановки во МХАТе широко известна по исследованиям театральных и литературных критиков. Отметим здесь лишь некоторые факты.

Спектакль не был еще готов, а вокруг постановки пьесы уже развернулась битва: многие власть имущие деятели культуры требовали ее изъятия из репертуара театра, находя в содержании пьесы и спектакля апологию белогвардейщины.

Работая над инсценировкой, Булгакову приходилось многое из того, что было в романе, «выбрасывать». В пьесе можно передать только основное содержание романа, основные характеры. А упрекали Булгакова прежде всего за то, что из пьесы он якобы удалил тот «большевистский фон, ту силу, которая надвигалась на Киев и вышибла оттуда скоропадчину». На самом деле в пьесе этот большевистский фон существует, Булгаков передал его через беспокойство своих героев, в размышлениях Алексея Турбина, Мышлаевского, Студзинского, Лариосика. Его герои готовятся к новой жизни. И в этом тот «большевистский» фон, за отсутствие которого критиковали Булгакова.

Турбины хотели остаться за своими кремовыми шторами тогда, когда они не знали, что происходит, хотели быть нейтральными. Они не хотели изменений, этот мир их устраивал.

Лариосик, нелепый, смешной, но и одновременно такой чуткий, глубокий человек, выражает одну из главных мыслей драмы...

Но «ужас гражданской войны» уже вошел в быт человеческого существования. Кремовые шторы не защищают героев от надвигающихся событий. Во всем чувствуется напряжение — и когда говорится о бегстве гетмана, и когда мирно украшают елку. Постоянно Булгаков вводит детали, которые передают драматическую напряженность...

Алексею Турбину не дает покоя «одна неотвязная мысль». Ему кажется, что Петлюра — «это миф, это черный туман». Он старается убедить в этом и себя, и друзей своих, что «его вовсе нет»... «Вы гляньте в окно, посмотрите, что там. Там метель, какие-то тени...». В России, «господа, две силы — большевики и мы».

Как хорошо бы отгородиться от мира кремовыми шторами, представить себе реальную действительность мифом, чем-то выдуманным, нереальным... Это одна из характерных черт интеллигенции того времени. «Какие-то тени...» Это стремление уговорить самих себя. Найти компромисс со своей совестью, которая не дает покоя. Но от себя не уйдешь. Уютная квартирка «золотой» Елены кажется незыблемым, надежным пристанищем для всех потерпевших крушение. Приходит Мышлаевский, приезжают Ларносик, Шервинский... Все они отдыхают здесь душой. Но все это временно. Неуверенность входит и в этот мир, такой спокойный и радостный. Герои привыкли к прочности, незыблемости прежнего мира. Поэтому Алексей Турбин заявляет, что он «не социалист, а монархист», что он не выносит даже самого слова «социалист», но вкладывает он в это слово совсем другой смысл: он ненавидит Керенского.

В пьесе Алексей — кадровый военный. Он полковник. Участник первой мировой войны. Армия должна защищать порядок. Он принимал присягу. И, верный своему долгу, оказался в белой гвардии, как только свершились революционные события. Он не выбирает, как Тальберг, к кому примкнуть. Не мысли о карьере двигают его поступками, а долг, порядочность, нравственная обязанность перед теми святынями, которым он поклонялся, — Родина, честь, бескорыстное служение народу.

В одном из своих публичных выступлений М. Булгаков сделал важное замечание: «Тот, кто изображен в моей пьесе под именем полковника Алексея Турбина, есть не кто иной, как изображенный в романе полковник Най-Турс, ничего общего с врачом в романе не имеющий». Чисто театральные и глубоко драматические соображения заставили Булгакова два-три лица соединить в одно. В драме «нельзя все дать полностью». И фраза, с которой умирает Алексей Турбин, в романе принадлежит полковнику Най-Турсу.

Об Алексее Турбине в исполнении Хмелева, точно передавшего авторский замысел, П. Марков писал:

«Алексея Турбина... Хмелев сыграл в 1926 году. Его интересовало тогда внутреннее крушение той части русской интеллигенции, которая была связана с белым движением, но в первые же годы революции разуверилась в нем и в недавно еще так горячо защищаемой идее. Его Алексей Турбин убедился в несостоятельности контрреволюции. Хмелев рисовал сильного врага, закованного в мундир офицера; Алексей Турбин принял ряд твердых для себя норм, внушенных с детства; когда он увидит их ложность, он от них откажется. У хмелевского Алексея Турбина привычка носить форму, он держится прямо, немного щегольски, он убежден в своих взглядах, человек без противоречий, его жизнь идет прямой линией. Если б он не погиб, он, верно, не только окончательно разорвал бы с разложившейся белогвардейщиной, но пошел бы работать с советской властью; вряд ли бы он очутился в эмиграции и согласился на какие-либо компромиссы. Через судьбу Турбина Хмелев хотел доказать социальную и моральную правоту пролетарской революции и правомерность гибели классово враждебной офицерщины с ее внешним лоском, блеском парадов и опустошенной дисциплиной» (Марков П. Правда театра. М., 1965. С. 144).

Потом этот общий поток разделился: часть офицерства продолжала двигаться в том же направлении, пытаясь самостоятельно осмыслить происходящее, как Студзинский, часть пыталась разобраться, понять свое место и значение всего происходящего именно с тех же самых позиций, с позиций своей Родины, чести и долга перед ней. Одни остались винтиками в организме белой гвардии, катившейся против истории, против России; другие осознали себя частицей нации, осознали сопричастность со своим народом. Они *сознательно* оторвались от своего класса. Так началась гражданская война, которая длится до сих пор.

Шумный успех сопровождал постановку этой пьесы. Много возникло разговоров, споров, различных мнений. Немало страниц посвятил «Дням Турбиных» А. Луначарский. Отметив своеобразное «скопление немалых достоинств», очевидных и крупных недостатков, вытекающих из самого замысла автора, А. Луначарский в статье «Первые новинки сезона» довольно метко выявляет основную политическую тенденцию пьесы Булгакова. По его словам, Булгаков правдиво, конкретно-исторически показывает гетманщину позорной и жалкой комедией, устами своих героев дает понять, что петлюровское движение выродилось в простой беспринципный бандитизм, а представители белогвардейского движения показаны эгоистами, а то и подлецами. Верно Луначарский определяет и отношение М. Булгакова к своим героям, которым автор симпатизирует, сочувствует, сострадает. И

движущийся конфликт определяется столкновением честного белого офицера с бесчестной, продажной, беспринципной верхушкой белогвардейского движения. М. Булгаков показал тупик русской интеллигенции, из которой состояло низовое и среднее белое офицерство. Эти люди увидели, с одной стороны, ложность своих прежних идеалов, за которые сражались, подлость и продажность своих духовных вождей, готовых на все низости, лишь бы удержаться у власти, а с другой — сложные чувства к большевикам и ко всему новому, что бурно стало входить в жизнь родной и страстно любимой России. Их неприязнь к разрушителям привычного мира осложнялась осознанием того, что большевики стремились возродить былую славу России как великого мирового государства, звали к себе интеллигенцию, звали к сотрудничеству все нейтральные силы.

М. Булгаков, рассказывая об отношении к своим героям, по словам А. Луначарского, мог бы сказать следующее: «...я утверждаю, что все эти юнкера, студенты, массовое кадровое офицерство, которые шли против нас в гражданской войне, были жертвами, а не скопищем преступников, что среди них преобладали люди, верующие в Россию, искренне полагавшие, что они ее спасут, и желавшие положить за нее живот свой. Да, ты победил, коммунистический галилеянин, но ты не имеешь права презирать побежденных. Вместе с тобой я буду презирать гетманщину, петлюровщину, генеральщину. Но помиримся на том, что примкнувшая к белогвардейскому движению русская интеллигенция, что все эти бесчисленные турбины были хорошими людьми» (Собр. соч.: В 8 т. М., 1961. Т. 3. С. 326).

Луначарский согласен, что в пьесе и в спектакле есть «очень яркое изображение всей контрреволюционной гнили», а «сцена во дворце гетмана... доставляет весьма яркое удовольствие не только с чисто художественной, но и с политической точки зрения». И в то же время он винит М. Булгакова за то, что в пьесе дана «полуапология белогвардейщины». И далее, в других выступлениях Луначарский не раз обвинит Булгакова во всех грехах, свойственных человеку, враждебно настроенному к революции, к существующему строю, мечтающему о возрождении капитализма в России.

Здесь столкнулись два различных взгляда на театральное искусство. Кого бы ни играл актер, положительного или отрицательного человека, «нужна только интуиция и искренность — тогда сам собою получится и общественный эффект», — говорил Станиславский. Луначарский другого мнения: можно играть на искренности только в том случае, если персонаж симпатичен актеру. Легко играть и тогда, когда отвратительное в пьесе отрицается и актером. «Труднейшая, почти невозможная задача», по мнению Луначарского, возникает тогда, когда актер

изображает героя, насыщенного идеями, которых тот не разделяет. «Отсюда я делаю вывод, — писал А. Луначарский, — что точка зрения Станиславского далеко не вполне верна. При изображении общественных пьес спектакль зажигает и воспламеняет сердца зрителей только тогда, когда определенные положения, провозглашаемые на сцене, дороги и близки и драматургу и исполнителю» (Т. 3. С. 337). Эта неверная мысль Луначарского привела его к отождествлению мыслей драматурга и его героев. На этом теоретическом основании он приходил к выводу, что идеалы Турбиных — это идеалы самого автора. И главное — здесь отрицается способность актера к перевоплощению. Сейчас об этом и говорить не приходится. Сколько мы знаем актеров, душевно чистых, идейно выдержанных, блестяще сыгравших политически чуждых им персонажей.

Многого не понял А. Луначарский. И не понял не потому, что ему изменил вкус, эстетическое чутье. Дело в том, что А. Луначарский в своей критической деятельности все чаще становился рупором идей «напостовцев», вещавших от имени партии, особенно тогда, когда нужно было учинить «разнос» непокорному писателю, старающемуся оставаться самим собой, не подчиняющемуся воле времени.

Основной недостаток пьесы М. Булгакова А. Луначарский увидел в том, что здесь не была раскрыта классовая природа действующих лиц. То, что там есть разговоры о монархии, о Вильгельме, о «народе-богоносце», — Луначарский называет это злобой против народа. А в сущности, здесь прозвучали тоска и боль, страдание и сочувствие к неразвитости народа, темнота и бесправие народа толкали его всегда к поспешным поступкам. Возмущают Луначарского «россказни о России»: «Это есть национализм, прикрытый, как всегда это бывает, декорациями патриотического воодушевления».

Здесь действительно нет политических рассуждений, хотя каждая строка пропитана политикой, потому что передает атмосферу своего времени. Но есть честность, порядочность, доброта порывов, стремление найти наиболее справедливый путь в жестокой схватке противоборствующих сил.

Чистая политика действительно мало интересовала художника. Он ее не разрабатывал. Это не входило в его замысел. Как и у Чехова, и у Гоголя, здесь не найдешь прямых политических выводов, рекомендаций. Герои ищут, ищут самих себя. Ищут ответы на многие поставленные временем вопросы. Вопросы сложные. И не скоро отыщешь эти ответы. Отсюда смятенность души, разбросанность мыслей. Но эта чисто человеческая подоплека пьесы не понята критикой того времени.

В искаженном зеркале критики терялась сущность булгаковской пьесы. Ход рассуждений был чрезвычайно прост: раз Тур-

бины принадлежат к белой гвардии, то и судить их надо, исходя из их классовой принадлежности. Автор же, по мнению таких толкователей, не показал классовую подоплеку, а показал индивидуальную порядочность отдельных представителей белого офицерства, и в этом его ошибка, в этом неправдивость пьесы. В сущности, «Днями Турбиных» сам М. Булгаков включился в спор о смысле литературы, ее отношении к действительности, ее назначении в жизни. Быть ли литературе и искусству всего лишь иллюстрацией к газетным откликам на темы дня или литература и искусство предназначены открывать новое, неведомое современникам?

Критики увидели художественные промахи Булгакова как раз в том, в чем проявилась авторская смелость, гражданское мужество художника, противостоящего шаблону и трафарету в изображении людей, по стечению неумолимых обстоятельств оказавшихся в белогвардейском лагере.

Что ж тут плохого, если Булгаков увидел в Алексее Турбине вместе с «профессиональной храбростью» и «известной честной последовательностью» и «еще многое другое»», что делает его «симпатичнейшим»? И это, и многое другое — изображение своих героев в быту, в семейной обстановке, в кругу друзей и близких. Но многих критиков того времени Булгаков возмущал как раз тем, что вместо идеологически выдержанных разговоров о выяснении сущности классовых столкновений он дал «сцены у домашнего очага». Булгаков, однако, не смаковал эти сцены, он просто дал жизнь такой, какая она была, жизнь без прикрас и ходульности, когда люди остаются людьми, что бы ни происходило вокруг. В то время, когда красные бойцы в некоторых романах задыхались от напыщенных слов, которые они произносили в самые трагические мгновения своей жизни, в «сценах у домашнего очага» происходило все очень просто, правдиво, без малейшей фальши и искусственности. Простота и естественность человеческих душ — вот что было так необычно, а следовательно, и неприемлемо для литераторов определенного толка в пьесе Булгакова.

Луначарский так и не понял социального смысла в изображении личной скорби в доме Турбиных. В пьесе критик увидел политические ошибки, «глубокое мещанство»; автора называет «политическим недотепой», «главным комическим персонажем», сменовеховцем-обывателем: эта пьеса рассчитана на мещанина, «родного брата самого Булгакова». Почему Луначарский все-таки приветствовал постановку этой пьесы? «Яд чужих мнений — очень мало действительный яд» — так определил свою позицию Луначарский. И позиция эта довольно странная и противоречивая: с одной стороны, Луначарский увидел, что Булгаков признает политические ошибки, политические неудачи

своих героев, вовсе не пытается проповедовать их идеологию, а с другой — обвиняет Булгакова в сменовеховской обывательщине, в политическом мещанстве.

Это были серьезные обвинения, которые не могли не отразиться и на судьбе самого Михаила Афанасьевича, и на судьбе его произведений.

Но если, в сущности, Луначарский спасал театр от оголтелых и беспардонных нападок критиков, называвших себя марксистами, то Маяковский возглавил атаку с так называемого левого фронта, атаку, как всегда, прямую, не особенно стесняя себя выбором средств. Еще 14 декабря 1925 года в выступлении на диспуте «Больные вопросы советской печати» Маяковский пренебрежительно упомянул о «Роковых яйцах» Булгакова: «А ценишь весь интерес нашей прессы только по возвращении из-за границы, после того как начитаешься в Америке про змеиные яйца в Москве...» А 2 октября 1926 года, за несколько дней до премьеры «Дней Турбиных», сразу после генеральной репетиции спектакля, Маяковский выступил на диспуте в Коммунистической академии по докладу Луначарского «Театральная политика советской власти». Не случайно Маяковский упоминал первоначальное название пьесы — «Белая гвардия»: уже в этом сказалось его отрицательное отношение к этому событию в Художественном театре. «Тов. Луначарский с ужасом приводит такой факт, что были 45 человек из районов и сказали, что пьеса не годится. Было бы ужасно, если бы два района сказали, что она хороша, — это было бы ужасно. А если 95 районов скажут, что дрянь, так это же то, что нужно в этом отношении. В чем не прав совершенно, на 100% был бы Анатолий Васильевич? Если бы думал, что эта самая «Белая гвардия» является случайностью в репертуаре Художественного театра. Я думаю, что это правильное логическое завершение: начали с тетей Маней и дядей Ваней и закончили «Белой гвардией». *(Смех.)* Для меня во сто раз приятнее, что это нарвало и прорвалось, чем если бы это затушевывалось под флагом аполитичного искусства. Возьмите пресловутую книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», эту знаменитую гурманскую книгу, — это та же самая «Белая гвардия» — и там вы увидите такие песнопения по адресу купечества в самом предисловии: «К сожалению, стесненный рамками, я не могу отблагодарить всех, кто помогал строить наш Художественный театр». Это он по адресу разных Морозовых и Рябушинских пишет. И в этом отношении «Белая гвардия» подпись на карточке внесла, явилась только завершающей на пути развития Художественного театра от аполитичности к «Белой гвардии». Но вот что, Анатолий Васильевич, в этом отношении неправильно. Анатолий Васильевич приводил чеховский афоризм о том, что если зайца бить, то

заяц может выучиться зажигать спички. Анатолий Васильевич думает, что если с ласковым словом подойти, то что-нибудь выйдет. А я думаю, что ни при тех, ни при других условиях спички зажигать не выучится и останется тем же зайцем, каким был и есть».

Нет, Маяковский против политики запрещения, такая политика вредна. Маяковский и против того, чтобы на спектакле протестовать, пусть эта пьеса «концентрирует и выводит на свежую водицу определенные настроения»: «А если там вывели двух комсомольцев, то давайте я вам поставлю срыв этой пьесы, — меня не выведут. Двести человек будут свистеть, а сорвем, и скандала, и милиции, и протоколов не побоимся. *(Аплодисменты.)* Товарищ, который говорил здесь: «Коммунистов выводят. Что это такое?!» Это правильно, что нас выводят. Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть — и пискнул. А дальше мы не дадим. *(Голос с места: «Запретить?»)* Нет, не запретить. Чего вы добьетесь запрещением? Что эта литература будет разноситься по углам и читаться с таким удовольствием, как я двести раз читал в переписанном виде стихотворения Есенина...» (ПСС. М., 1959. Т. 12. С. 292, 303—304).

«Комсомольская правда», «Новый зритель», «Известия», «Жизнь искусства», — словом, чуть ли не все крупные и мелкие издания того времени отрицательно отозвались о «Днях Турбиных» М. А. Булгакова. И потому на совещании по вопросам театра при Агитпропе ЦК ВКП(б) в мае 1927 года один из основных докладчиков, В. Г. Кнорин, прямо сказал, подводя итоги театрального сезона: «Поскольку говорят о «Днях Турбиных», я должен заявить, что я не являлся сторонником постановки «Дней Турбиных», но возьмите вы «Дни Турбиных» в плоскости МХАТ I, и вы увидите, что это есть разрыв со многими традициями старого театра. Конечно, мы против «Дней Турбиных». Мы даже в открытой критике здорово высекли МХАТ I за «Дни Турбиных», но тут, на нашем совещании, не учитывать этого нельзя».

Тов. Мандельштам, выступая на том же совещании «не как театральный специалист», «а как политик-организатор», в частности, сказал: «У нас есть два разряда вещей, которые господствуют на нашей сцене. Один разряд — «Дни Турбиных», которые привлекают буржуазию, которая ходит во МХАТ, чтобы поплакаться в жилетку Станиславского и оплакивать себя. И есть другой тип вещей, вроде «Зойкиной квартиры», куда ходит буржуазия поиздеваться над всеми нашими недостатками».

С. И. Гусев в докладе «Состояние театральной критики и ее задачи» тоже коснулся «Дней Турбиных» и споров вокруг этого

спектакля: «Вы знаете, что эта пьеса встретила единодушное осуждение со стороны марксистских критиков, но все критики-марксисты просмотрели тут одну самую важную особенность этой пьесы. Все они указывали, что эта пьеса идеологически чужда нам, что в ней есть сменовеховский душок, в особенности — в конце. Все это правильно. На мой взгляд, они не заметили одной вещи. Есть в этой пьесе такой элемент, от которого, можно сказать, не душок идет, а настоящая вонь: воняет там великорусским шовинизмом...»

В заключительном слове А. В. Луначарский, возражая тем, кто нападал на него и на руководимый им Наркомпрос за либерализм, допустивший «Дни Турбиных» и «Зойкину квартиру» до сцены, говорил, что Репертком в лице Блюма и Орлинского допустил ошибку, доведя «Дни Турбиных» до генеральной репетиции, были затрачены огромные средства, и в этой ситуации Наркомпрос не мог запретить постановку во всемирно известном театре. Спектакль был разрешен, но дано было указание «встретить пьесу определенной критикой». «Теперь о «Зойкиной квартире», — продолжал А. В. Луначарский. — Я прошу зафиксировать, что я четыре раза (притом один раз на расширенном заседании Коллегии) говорил о том, чтобы не пропускать «Зойкину квартиру». А тут тов. Мандельштам заявляет, что «Зойкина квартира» сплошное издевательство, и вину за нее валит на Наркомпрос в целом. Между тем разрешили ее те же Блюм и Маркарьян, а тов. Орлинский написал статью, в которой заметил, что все благополучно, хвалил театр им. Вахтангова за то, что он так хорошо сумел эту пьесу переделать. Я подчеркиваю еще раз, что я четыре раза предостерегал, говоря, не сядьте в лужу, как сели с «Днями Турбиных». И действительно, сели в лужу. А здесь сейчас против нас, якобы «правых», сам Мандельштам выступает, обвиняя нас чуть ли не в контрреволюции. Как вы не краснели при этом, товарищи! А о «Днях Турбиных» я написал письмо Художественному театру, где сказал, что считаю пьесу пошлой, и советовал ее не ставить. Именно товарищи из левого фронта пропускали сами эти единственно скандальные пьесы, которыми Мандельштам козыряет. Это вы никакими репликами не покроете...» (См.: Пути развития театра. М.; Л., 1927. С. 59, 77, 365, 231—233.)

Приведу еще несколько любопытных фактов о критике «Дней Турбиных», о ее организованности и целенаправленности.

В мае 1927 года состоялось совещание в Агитпропе ЦК ВКП (б), о котором уже говорилось здесь. На этом совещании не раз утверждалось, что кампания, поднятая в прессе в связи с «Днями Турбиных», «всколыхнула советскую общественность».

И стоило одному провинциальному критику написать, что постановка пьесы «Цемент» по одноименному роману Ф. Гладкова «стоит наравне с «Днями Турбиных», как тут же было сказано, что «таких критиков надо гнать, оглоблей гнать нужно». Литовский говорил об успехах критики, которая «подняла на щит «Любовь Яровую» и решительно осудила «Дни Турбиных». Большинство выступавших на совещании приветствуют поход против «Дней Турбиных», Орлинский, в частности, заявил, что П. Маркову нельзя заказывать статью о «Любови Яровой», потому что «Марков — вдохновитель «Дней Турбиных». (См.: Пути развития театра. С. 383, 391, 395, 406.)

К 10-летию Великого Октября подводили итоги революционных преобразований во всех сферах жизни страны. Подводили итоги и театральные политики партии. В частности, журнал «Жизнь искусства» на своих страницах много внимания уделял театральной жизни страны. В одной из статей — «Начало конца МХАТа» — некий Садко (под этим псевдонимом скрывался известный деятель Главреперткома Блюм) писал: «МХАТ 1-й, после почти двухмесячного перерыва, возобновил спектакли «Дней Турбиных», пьесы, политическая несостоятельность которой блестяще вскрыта была еще в прошлом году А. В. Луначарским... Все мещане и пошляки по-прежнему лавой потекут в зрительный зал МХАТа... Три раза в неделю ставятся «Дни Турбиных» — разве это не значит, что бывший театр Чехова... стал театром Булгакова — пророка и апостола российской обывательщины?»

Критики того времени и не представляли, как много интересного сообщали они из фактов, ставших значительными сегодня, спустя много десятилетий после публикации их статей. Вот и в этом рассуждении Блюма о «театре Булгакова» видится замечательное прозрение, хотя критик здесь явно насмехался над Булгаковым, видя в этом непомерное честолюбие «никудышного» автора *разгромленной* пьесы. Или вот еще один замечательный факт... Критик признает, что «Дни Турбиных» — это финансовая база театра, а без них — «время полной хозяйственной разрухи», «дело дошло до того, что началась, говорят, задержка зарплаты работников театра».

Три раза в неделю — и театр всегда полон на спектакле. А ведь критики «пророчили», что вскоре никто не будет ходить на «Дни Турбиных», пророчили, что интерес к пьесе иссякнет, а получалось наоборот.

Успех «Дней Турбиных» не мог не волновать, а посему критики, называвшие себя марксистами, всеми средствами стремились скомпрометировать пьесу и ее автора. Вот и автор статьи «Начало конца МХАТа» использовал недопустимые средства в литературной борьбе, заявил, что «Дни Турбиных», конечно,

«поддержат» МХАТ I, как... веревка поддерживает повесившегося. Ибо таков «закон судеб и — безжалостной диалектики». (См.: Жизнь искусства. 1927. № 43. С. 7—8.)

В это время некоторые деятели посчитали, что к концу революционного десятилетия стало обнаруживаться наступление со стороны необуржуазии, которая якобы почувствовала в условиях нэпа благоприятную атмосферу для завоевания идеологического верховенства. В ответ на эту «опасность», явно надуманную, Агитпроп и созвал упоминавшееся уже совещание и утвердил театральную политику, которая ничего хорошего Булгакову не предвещала. Да и не только Булгакову.

Критической травле подвергался Михаил Чехов и руководимый им МХАТ II. Его критиковали за мистицизм, за типичную апологию Победоносцева, которая якобы возникает в постановке «Петербурга» Андрея Белого, создавшего остросатирический персонаж — сенатора Аблеухова, за штейнерианство, пропаганду нездоровых философских взглядов, за постановку упадочных спектаклей. «Передо мной обзор за полтора года критической литературы, где имеется целый вопль по поводу мистики в МХАТ II, — говорил все тот же А. Орлинский на упоминавшемся совещании в Агитпропе ЦК ВКП (б) в мае 1927 года. — Достаточное количество резких замечаний было в прессе со стороны и т. Луначарского, который пишет, что это больной театр. Разрешите же Чехова оставить актером в МХАТ, но не настаивать на том, чтобы делать его директором или художественным руководителем... Здесь отпор критики, отпор цензуры полезен. Этих контролеров не следует пугать, а поддержать. Отпор дает результаты. «Петербург» почти не идет последний год под ударами критики и Реперткома. «Гамлет» фактически снят со сцены. Идет «Блоха» Дикого, воюющего с Чеховым... Следовательно, была права т. н. оппозиция во главе с Диким во МХАТе II». (См.: Пути развития театра. С. 136—137.)

На совещании, как и в прессе того времени, много говорили о том, что «во всех областях культуры происходит глухая и скрытая, но глубокая и упорная классовая борьба, а театр является самым могущественным и самым действительным оружием и средством идеологической, классовой борьбы». Говорили и о том, что существует система покровительства, меценатства, частных безответственных влияний, бытового разврата. Поэтому возникали безответственные решения в одних инстанциях, которые опровергались в других. Возникала многомесячная тяжба между ответственными инстанциями, а драматург, режиссер, актер испытывали на себе всю тяжесть этой бюрократизации театрального и литературного дела.

Михаил Чехов давно мечтал о своем театре, «о каком-то особом, почти религиозном направлении театра, и начал увле-

кать на это свою студию «довериться ему вполне». Немирович-Данченко, которому принадлежат закавыченные слова, поддержал Чехова. И в 1924 году возник МХАТ II, в небывало короткий срок поставивший спектакли, обратившие внимание не только критиков, но главным образом зрителей, валом валивших на эти спектакли. «Гамлет», «Петербург», в которых главные роли играл Михаил Чехов, потрясали зрителей необыкновенной глубиной исполнения ролей Гамлета и Аблеухова.

М. Чехов высоко оценил постановку «Ревизора» Мейерхольдом как раз в то время, когда негодующий хор критиков, отрицающих эту постановку, все увеличивался и усиливался. И чаще всего обвинения критиков по адресу режиссера сводились опять-таки к тому, что некоторые сцены «Ревизора» пронизаны «мистикой». Упрек в мистике совсем недавно действовал безотказно, сразу ставил под подозрение жизнь художника, искренность его намерений и честь гражданина. «И мы не замедлили сделать это с Мейерхольдом, но, к счастью, яд этот уже разложился и действие его ослабло. Еще не так давно достаточно было произнести слово «мистика», и все кругом умолкало, затихало и... переставало быть. Силой этого слова пользовался тот, кто желал умертвить, задушить, уничтожить все, что казалось ему неприемлемым, вредным, ненужным по его разумению, по личному вкусу. И то, что не было мистикой, гибло от произвола того, кто присвоил себе право расклеивать этикетки с магическим словом «мистика». Гибли фантастика, романтика; гибло народное творчество: сказки, легенды, былины; гибли приемы театральных эффектов, искания новых форм, режиссерские замыслы, стиль — многое гибло оттого, что клеймили именем «мистики» не мистику вовсе, но то, что просто *не нравилось* той или другой личности. Но теперь обман вскрылся, и понятие «мистика», захватившее было и область искусства и детали и технику сценической жизни, снова сужается до первоначального и истинного своего содержания: религиозного экстаза — и снова возвращает художнику все те элементы творчества, без которых он не мог и не может творить», — писал М. Чехов в статье «Постановка «Ревизора» в Театре имени В. Э. Мейерхольда», опубликованной в сборнике «Гоголь и Мейерхольд» (М., 1927).

Но критические стрелы пока не очень беспокоили Булгаковых. Определился феноменальный успех спектакля «Дни Турбиных»: в октябре «Дни Турбиных» показывали 13 раз, в ноябре и декабре — 14 раз в месяц.

Булгаков мог праздновать победу. Изменилось и его материальное положение. «Появились деньги — он сам говорил

что иногда даже не знает, что делать с ними, — вспоминает Э. Миндлин. — Хотелось бы, например, купить для кабинета ковер... Но, помилуйте, купишь ковер, постелешь, а тут, изволите ли видеть, придет вдруг инспектор, увидит ковер и решит, что недостаточно обложил тебя, — не иначе как писатель скрывает свои доходы...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 152—153).

Не знаю, купил ли ковер Булгаков, но о банкете, который был дан в честь премьеры «Дней Турбиных», рассказывает сама Любовь Евгеньевна Белозерская: «Самую трудную роль — не только всех разместить, сервировать и приготовить стол на сорок персон, но и красиво оформить угощение, а потом все привести в порядок — взяла на себя жена Владимира Августовича (Степуна, актера МХАТа, участника спектакля. — *В. П.*), Юлия Львовна, дочь профессора Тарасевича. Во дворе дома 41, в больших комнатах нижнего этажа были накрыты длиннейшие столы. На мою долю пришлась забота о пище и вине. В помощники ко мне поступил Петяня Васильев. К счастью, в центре Москвы еще существовал Охотный ряд — дивное предприятие! Мы взяли извозчика и объехали сразу все магазины подряд: самая разнообразная икра, балык, белорыбица, осетрина, семга, севрюга — в одном месте, бочки различных маринадов, грибов и солений — в другом, дичь и колбасы — в третьем. Вина — в четвертом. Пироги и торты заказали в Столешниковом переулке у расторопного частника. Потом все завезли к милым Степунам.

Участников банкета даю по собственной записке М. А., которую обнаружила у его сестры Надежды Афанасьевны Земской:

Малолетков Вербицкий Израилевский
Ершов Фалеев Станицын
Новиков Прудкин Кудрявцев
Андерс Шиллинг Титушин
Бутюгин Блинников Кедров
Гузеев Баталов В. Герасимов
Ливанов
Аксенов
Добронравов
Соколова Вера Сергеевна (первая исполнительница роли Елены)
Хмелев
Калужский
Митропольский
Яншин
Михальский
Истрин

Мордвинов
Степунов — двое
Нас, Булгаковых, — двое
Ляминых — двое
Три сестры Понсовых: Евгения, Лидия и Елена.

Федорова Ванда Марьяновна. Привлекательная женщина. Служила во МХАТе. Муж ее, Владимир Петрович, приезжал к нам «повинтить». Нередко М. А. ездил в это гостеприимное семейство, иногда к нему присоединялась и я.

В списке М. А. я не нашла П. А. Маркова и И. Я. Судакова, режиссера спектакля.

Всю-то ночку мы веселились, пели и танцевали.

В этот вечер Лена Понсова и Виктор Станицын особенно приглянулись друг другу (они вскоре и поженились).

Вспоминаю, как уже утром во дворе Лидун «доплясывала» русскую в паре с Малолетковым. Мы с М. А. были, конечно, очень благодарны семейству Степунов за то, что они так любезно взяли на себя столь суетливые хлопоты». (См.: Воспоминания. М., 1990. С. 131—132.)

И это только начало восхождения М.Булгакова на театральный Олимп... Театр Вахтангова готовил постановку «Зойкиной квартиры», в работе была пьеса «Багровый остров», задумана драма «Бег»...

Это был, несомненно, счастливый период его семейной и творческой жизни. Вот почему не могу согласиться с Виктором Лосевым, обратившим наше внимание на «одну немаловажную деталь»: «Бесчисленное множество современных литераторов и критиков увидело в образе Шарика-Шарикова весь русский народ, но оставило незамеченным то, что и сам писатель жил собачьей шарниковской жизнью». (См.: Михаил Булгаков. Из лучших произведений. М.: Изофакс, 1993. С. 604.)

Ничего подобного мне не приходилось читать у «бесчисленного множества современных литераторов и критиков», даже у тех, кто совершенно несправедливо увидел в жизни М. А. Булгакова только черные дни, представляя его жизнь как сплошную цепь мук и страданий, вызванных борьбой с цензурой, бездарным правительством, непонимающими редакторами. Нет! Булгаков жил полной жизнью талантливого человека и Художника, познавшего и счастье любви, полноценной жизни, и трагическое непонимание его художнических прозрений, познавшего и цену истинной дружбы, и цену предательства, доносов, повлекших за собой и страх за собственную жизнь и жизнь близких. Ничто человеческое не было чуждо М. А. Булгакову, он жил многогранной человеческой жизнью, а если чаще всего его не понимали, то что ж... Таков удел Гения в любое время и в любой стране.

В этом томе представлены все известные произведения М. А. Булгакова о белой гвардии, прежде всего роман «Белая гвардия» и драма «Дни Турбиных»... В *Приложении* любознательные читатели могут познакомиться с первой и второй редакцией пьесы «Белая гвардия», с теми сценами, с которыми в ходе работы над пьесой автору пришлось по тем или иным соображениям расстаться. В *Приложении* можно прочитать и две главы романа «Белая гвардия» в ранней их редакции, посмотреть, как первоначально автор предполагал развитие событий и человеческих судеб, отображенных в романе.

Возможно, в этом томе не учтены еще какие-то «мелочи», но ведь предполагаемое изданне вовсе не академическое, хотя здесь впервые публикуются три редакции пьесы о белой гвардии, со сценами, исключенными из основного текста: каждую редакцию автор приносил в театр для постановки на сцене, а не для того, чтобы «выбрасывать», переделывать, приспосабливая к сиюминутным настроениям власть имущих.

Это издание стало возможным благодаря Светлане Викторовне КУЗЬМИНОЙ и Вадиму Павлиновичу НИЗОВУ, молодым и талантливым руководителям АКБ «ОБЩИЙ», благодаря директору производственно-коммерческого предприятия «РЕГИТОН» Вячеславу Евграфовичу ГРУЗИНОВУ, благодаря председателю Совета ПРОМСТРОЙБАНКА, президенту корпорации «РАДИОКОМПЛЕКС» Владимиру Ивановичу ШИМКО и председателю Правления ПРОМСТРОЙБАНКА Якову Николаевичу ДУБЕНЕЦКОМУ, оказавшим материальную помощь издательству «ГОЛОС», отважно взявшемуся за это уникальное издание.

Виктор ПЕТЕЛИН

Посвящается
Любови Евгеньевне Белозерской

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Роман

Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.

— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда. буран!

«Капитанская дочка»

И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.

Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?

Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.

Когда отпевали мать, был май, вишенные деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Алек-

сандр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.

Алексей, Елена, Тальберг, и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик Бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?

Улетающий в черное, потрескавшееся небо Бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.

Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх... эх...

Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площадн «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и «Саар-

дамский Плотник», и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.

Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XVI, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, «Капитанской дочкой», золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, — все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:

— Дружно... живите.

Но как жить? Как же жить?

Алексею Васильевичу Турбину, старшему — молодому врачу — двадцать восемь лет. Елене — двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу — тридцать один, а Николке — семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.

Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а «Капитанскую дочку» сожгут в печи. Мать сказала детям:

— Живите.

А им придется мучиться и умирать.

Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:

— Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот...

Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный, спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью.

— Что сделаешь, что сделаешь, — конфузливо забормотал священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) — Воля Божья.

— Может, кончится все это когда-нибудь? Дальше-то лучше будет? — неизвестно у кого спросил Турбин.

Священник шевельнулся в кресле.

— Тяжкое, тяжкое время, что говорить, — пробормотал он, — но унывать-то не следует...

Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой.

— Уныния допускать нельзя, — конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. — Большой грех — уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, — он говорил все увереннее. — Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше все богословские...

Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал: «...Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь...»

2

Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец.

Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже,

а в маленький, покатый, уютный дворик — в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе — и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу — первый, во двор под верандой Турбиных — подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем — сильно и весело загорелись турбинские окна.

В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.

— Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытащили, смотри.

Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита.

— Вот бы подстрелить чертей! Ей-богу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю — это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас.

— А ну их... Идем. Бери.

Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться.

Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:

Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, — не верь. Союзники — сволочи...

Он сочувствует большевикам.

Рисунок: рожа Момуса.
Подпись:

«Улан Леонид Юрьевич».

Слухи грозные, ужасные,
Наступают банды красные!

Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом.

Подпись:

«Бей Петлюру!»

Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства — Мышлаевского, Карася, Шервинского — красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:

Елена Васильевна любит нас сильно.
Кому — на, а кому — не.

Леночка, я взял билет на Аиду.
Бельэтаж № 8, правая сторона.

1918 года, мая 12 дня я влюбился.

Вы толстый и некрасивый.

После таких слов я застрелюсь.

(Нарисован весьма похожий браунинг.)

Да здравствует Россия!
Да здравствует самодержавие!

Июнь. Баркарола.

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина.

Печатными буквами, рукою Николки:

Я ТАКИ ПРИКАЗЫВАЮ ПОСТОРОННИХ ВЕЩЕЙ НА ПЕЧКЕ НЕ ПИСАТЬ ПОД УГРОЗОЙ РАССТРЕЛА ВСЯКОГО ТОВАРИЩА С ЛИШЕНИЕМ ПРАВ. КОМИССАР ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА. ДАМСКИЙ, МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ПОРТНОЙ АБРАМ ПРУЖИНЕР.

1918 года, 30-го января

Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких ночных туфлях, в любимой позе — в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, — столовая

маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень... Неопределенно трень... потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо...

На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.)

Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.

Старший бросает книгу, тянется.

— А ну-ка, сыграй «Съемки»...

Трень-та-там.. Трень-та-там...

Сапоги фасонные,
Бескозырки тонные,
То юнкера-инженеры идут!

Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах — жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко.

Здравствуйте, дачники,
Здравствуйте, дачницы...

Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут — ать, ать! Николкины глаза вспоминают:

Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.

Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор...

Здравствуйте, дачницы,
Здравствуйте, дачники,
Съемки у нас уж давно начались.

Туманятся Николкины глаза.

Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.

Елена раздвинула портьеры, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется сестра.

Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.

— Погодите. Слышите?

Оборвала рота шаг на всех семи струнах: сто-ой! Все трое прислушались и убедились — пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз: бу-у... Николка положил гитару и быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.

В гостиной — приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под Рождество» — снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в глазах — напряженнейший слух. Где? Пожал унтер-офицерскими плечами.

— Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко.

Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют, двенадцать верст от города, не дальше. Что за штука?

Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил.

— Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело...

— Ну да, тебя там не хватало... — Елена говорит в тревоге. — Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли, — самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять.

В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел

на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой, колонной, вазе голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к Городу — коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы — приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ниццкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице пилафраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства... Эх... эх...

На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем, как у Момуса.

В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли.

Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли, чего доброго, что-нибудь с ним?.. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленою остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова:

...мрак, океан, вьюгу.

Не читает Елена.

Николка наконец не выдерживает:

— Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть...

Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и — тонк-танк — идет к четверти одиннадцатого.

— Потому стреляют, что немцы — мерзавцы, — неожиданно бурчит старший.

Елена поднимает голову на часы и спрашивает:

— Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы? — Голос ее тосклив.

Братья, словно по команде, поворачивают головы и начинают лгать.

— Ничего не известно, — говорит Николка и обкусывает ломтик.

— Это я так сказал, гм... предположительно. Слухи.

— Нет, не слухи, — упрямо отвечает Елена, — это не слух, а верно; сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка.

— Чепуха.

— Подумай сама, — начинает старший, — мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно.

— Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.

— Ну мало ли что? Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.

— Так, по-вашему, Петлюра не войдет?

— Гм... По-моему, этого не может быть.

— Апсольман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.

— Но Боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и...

— И что? Ну, что выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна.

— Почему же его нет?

— Господи Боже мой! Знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа.

— Революционная езда. Час едешь — два стоишь.

Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять:

— Господи, Господи! Если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленых союзников? У-у, негодяи. Обещали, обещали...

Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ — вот он. Пожалуйста:

Союзники — сволочи.

Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили — раз, и тотчас же часам ответил заливистый, тонкий звон под потолком в передней.

— Слава Богу, вот и Сергей, — радостно сказал старший.

— Это Тальберг, — подтвердил Николка и побежал отворять.

Елена порозовела, встала.

Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.

— Здравствуйте, — пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык.

— Витя!

Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова это была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в

длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок.

— Откуда ты?

— Откуда?

— Осторожнее, — слабо ответил Мышлаевский, — не разбей. Там бутылка водки.

Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:

— Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой.

— Ах, Боже мой, конечно.

Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку.

— Ну, конечно... Полно. Кишат.

— Вот что, — испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минуту, — Николка, там в кухне дрова. Беги зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо.

В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Ннколка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.

— Легче... Ох, легче...

Размотались мерзкие пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду — пусть дохнут вши. Мышлаевский, в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками,

стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам.

Слух... грозн...
Наст... банд...
Влюбился... мая...

— Что же это за подлецы! — закричал Турбин. — Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?

— Ва...аленки, — плача, передразнил Мышлаевский, — вален...

Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул:

— Кабак!

Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцем в носки, простонал:

— Снимите, снимите, снимите...

Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора, от винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно до мути в глазах.

— Неужели же отрезать придется? Господи... — Он горько закачался в кресле.

— Ну, что ты, погоди. Ничего... Так. Приморозил большой. Так... отойдет. И этот отойдет.

Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные, негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру, и немцев, и метель и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.

Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну».

— Гетман, а? Твою мать! — рычал Мышлаевский. — Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнали, в чем были. А? Сутки на морозе в снегу... Господи! Ведь думал —

пропадем все... К матери! На сто саженей офицер от офицера — это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!

— Постой, — ошалевая от брани, спрашивал Турбин, — ты скажи, кто там под Трактиром?

— Ат! — Мышлаевский махнул рукой. — Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под Трактиром? Со-рок человек. Приезжает эта лахудра — полковник Щеткин и говорит (тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских, в случае появления неприятеля — переходите в наступление, с нами Бог! Через шесть часов дам смену. Но патроны прошу беречь...» (Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голосом) — и смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в ж...! Мороз. Иголками берет.

— Да кто же там, Господи! Ведь не может же Петлюра под Трактиром быть?

— А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены... Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем, деревня в двух верстах, Трактир — верста. Ночью чудится: поле шевелится. Кажется — ползут... Ну, думаю, что будем делать?.. Что? Вскинешь винтовку, думаешь — стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь — в цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть: заснешь — каюк. И под утро не вытерпел, чувствую — начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете, слышу, верстах в трех по-ехало! И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю: «Поздравляю, Петлюра пожаловал». Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так: в случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на Город. Перебьют — перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И, вообрази, — стихло. Утром начали по три человека в Трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня. Из первой дружины человек двести юнкеров. И, можешь себе представить, прекрасно одеты — в

папахах, в валенках и с пулеметной командой. Привел их полковник Най-Турс.

— А! Наш, наш! — вскричал Николка.

— Погоди-ка, он не белградский гусар? — спросил Турбин.

— Да, да, гусар... Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись: «Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами, как же вы стояли?»

Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрянку под утро навалилась банда, человек в тысячу, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то, можешь себе представить, вся эта орава в Город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связишка с Постом-Волынским, — дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью, ну, пыл у них и угас, понимаешь, не довели наступление до конца и расточились куда-то к чертям.

— Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть.

— А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские!.. у-у...вашу мать!

— Господи Боже мой!

— Да-с, — хрипел Мышлаевский, посасывая папиросу, — сменились мы, слава те, Господи. Считаем: тридцать восемь человек. Поздравьте: двое замерзли. К свиньям. А двух подобрали, иоги будут резать...

— Как! Насмерть?

— А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер. А в Попелюхе, это под Трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла — ни одной души. Смотрим, наконец ползет какой-то дед в тулупе, с клюкой. Вообрази — глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал: «Хлопчики... хлопчики...» Говорю ему таким сдобным голоском: «Здорово, дид. Давай скорее сани». А он отвечает: «Нема. Офицерня уси сани угнала на Пост». Я тут мигнул Красину и спрашиваю: «Офицерня? Тэк-с. А дэ ж вси ваши хлопци?» А дед и ляпни: «Уси побиглы до Петлюры». А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны

под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел... Мороз... Остервенился... Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают! Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство) прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте!» И лошади нашлись и розвальни.

Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там делается — уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное — мертвых некуда деть! Нашли наконец перевязочную летучку, веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите». Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон Щеткина. Первого класса, электричество... И что ж ты думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не пускает. А? «Они, говорит, спять. Никого не велено принимать». Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заегозил: «Ах, Боже мой. Ну, конечно же. Сейчас. Эй, вестовые, щей, коньяку. Сейчас мы вас разместим. Пполный отдых. Это геройство. Ах, какая потеря, но что делать — жертвы. Я так измучился...» И коньяком от него на версту. А-а-а!

Мышлаевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне:

— Дали отряду теплушку и печку... О-о! А мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. «Командирую вас, поручик, в Город. В штаб генерала Картузова. Доложите там». Э-э-э! Я на паровоз... окоченел... замок Тамары... водка...

Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу.

— Вот так здорово, — сказал растерянный Николка.

— Где Елена? — озабоченно спросил старший. — Нужно будет ему простыню дать, ты веди его мыться.

Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ванны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит...

И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.

Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича...

Эх-эх... Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже — ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд. Оба значка — академии и университета — белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки, в сорока верстах от Города, напали — неизвестно кто! Елена в

ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки.

— Кто ж такие? Петлюра?

— Ну, если бы Петлюра, — снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, — вряд ли я бы здесь беседовал... э... с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюка». Они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. — Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: — Елена, пойдем-ка на пару слов...

Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа гавот.

Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.

Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо:

— Елена, никак иначе поступить нельзя.

Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так:

— Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?

Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена...

Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда... Дней пять... шесть...

И Тальберг сказал:

— Нужно ехать сню мннуту. Поезд идет в час ночн...

...Через поячаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. А потом... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут.

Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой.

На дальнем пути Города I Пассажирского, уже стоит поезд — еще без паровоза, как гусеница без головы. В составе девять вагонов с ослепительно белым злектрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи... Гетманское министерство — это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлая, что...

— Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли...

О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый, — поймите, первый, — кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революю-

ционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.

Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что «шаровары» при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка:

«Игнатий Перпилло. Украинская грамматика».

В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой ко-

лонной и вел счет рук — «шароварам» крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», — выбирали «гетьмана всея Украины».

«Мы отгорожены от кровавой московской оперетки», — говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике и, в особенности, в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте...» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой.

Да, «оперетка»... Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не «шароварам», не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто пятьдесят, а может быть, и двести, от Города, на путях, освещенных белым светом, — салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:

> Петлюра — авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю...

— Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитанья и неизвестность. Не правда ли?

Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.

— Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Фон Буссов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Шепот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть — значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее — в мае, мы придем в Город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну а в крайности у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.

Елена очнулась.

— Постой, — сказала она, — ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают?

Тальберг густо покраснел.

— Конечно, конечно, я обязательно... Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело мало меняет.

Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда: Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно — нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, — женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру «Фауста» там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поет:

Я за сестру тебя молю,
Сжалься, о, сжалься ты над ней!
Ты охрани ее.

Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг

и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного «Фауста». Эх, эх... Не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что «Фауст», как «Саардамский Плотник», — совершенно бессмертен.

Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул.

— Вы же Елену берегите. — Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: — Пора.

Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзинь... дзинь... в передней свет сверху, потом на лестнице громыханье чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.

В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через Пост сияющий десятками окон пассажирский, с громадным паровозом. Тумбо-

видные, массивные, запакованные до глаз часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.

— У... с-с-волочь!.. — проныло где-то у стрелки, и на теплушки налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь Пост.

А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки.

— O, ja, — тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару.

Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотание, Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами «Ю.-З. ж. д.» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.

3

В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича, была полная тишина, и только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера, Ванды Михайловны. Проклинаемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спаленки прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и, вследствие этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась

прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса... То есть сам-то он называл себя — Лисович, многие люди, с которыми он сталкивался, звали его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза ж, в третьем лице, никто не называл инженера иначе, как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного «В. Лисович», из страха перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас. Лис.».

Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку восемнадцатого января восемнадцатого года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. (Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей.) Придя домой, держась за стенки и зеленея, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на вопль Елены:

— Господи! Что же это такое?!

Ответил:

— Это Василисин сахар, черт бы его взял! — и после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. Вначале двор номера тринадцатого, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь владелец женского имени рекомендовался: председатель домового комитета Лисович.

Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом при-

льнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез на него и руками нашарил что-то над верхними рядами книг на полке, провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом вбок, подсунул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный, маленький, в два кирпича, тайничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу — тонкую цинковую пластинку — отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, выглянул на свет Божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полбукетик к полбукетику, квадратик к квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей.

На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветви акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы съели ее и замели все ее следы.

Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые — какая, к черту, Василиса! — это мужчина. В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек — зеленый игральный крап:

Знак державної скарбниці
50 карбованців
ходить нарівні з кредитовими білетами.

На крапе — селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатою, и селянка с серпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные, красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись:

За фальшування каразться тюрмою,

уверенная подпись:

Директор державної скарбниці Лебідь-Юрчик.

Конно-медный Александр II в трепаном чугунном мыле бакенбард, в конном строю, раздраженно косился на художественное произведение Лебідя-Юрчика и ласково — на лампу-царевну. Со стены на бумажки глядел в ужасе чиновник со «Станиславом» на шее — предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брокгауз-Ефрон. Уют.

Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же пятнадцать «катериною», девять «петров», десять «николаев первых», три бриллиантовых кольца, брошь, «Анна» и два «Станислава».

В тайнике № 2 — двадцать «катеринок», десять «петров», двадцать пять серебряных ложек, золотые часы с цепью, три портсигара («Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), пятьдесят золотых десяток, солонки, футляр с серебром на шесть персон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Все в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины).

Третий тайник — чердак: две четверти от трубы на северо-восток под балкой в глине: щипцы сахарные, сто восемьдесят три золотых десятки, на двадцать пять тысяч процентных бумаг.

Лебідь-Юрчик — на текущие расходы.

Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить крап. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел.

— Фальшування, фальшування, — злобно заворчал он, качая головой, — вот горе-то. А?

Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке — раз. В четвертом десятке — две, в шестом — две, в девятом — подряд три бумажки несомненно таких, за которые Лебідь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшування. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинственных, верных — перевернутой запятой и двух точек, и бумага лучше, чем Лебідевская. Василиса глядел на свет, и Лебідь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны.

— Извозчику завтра вечером одну, — разговаривал сам с собой Василиса, — все равно ехать, и, конечно, на базар.

Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру II:

— Извольте видеть: никогда покою нет...

Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через десять минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот, во сне, приехал Лебідь-Юрчик верхом на коне и какие-то Тушинские Воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту, с воплем вскочил Василиса и первое, что услыхал — мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры, смех...

За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем.

— Единственное средство — отказать от квартиры, — забарахтался в простынях Василиса, — это же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя.

Идут и поют юнкера
Гвардейской школы!

— Хотя, впрочем, на случай чего... Оно верно, время-то теперь ужасное. Кого еще пустишь, неизвестно, а тут офицеры, в случае чего — защита-то и есть... Брысь! — крикнул Василиса на яростную мышь.

Гитара... гитара... гитара...

Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай...

На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова:

Голым профилем на ежа не сядешь!

— Вот веселая сволочь... А пушки-то стихли. А-страумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-та-там! Гитара.

Арбуз не стоит печь на мыле,
Американцы победили.

Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся. Он пьян.

Игривы Брейтмана остроты,
И где ж сенегальцев роты?

— Где же? В самом деле? Где же? — добивался мутный Мышлаевский.

Рожают овцы под брезентом,
Родзянко будет президентом.

— Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!

Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга... от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположном — Мышлаевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах — стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой — Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же по александровской гимназической кличке — Карась.

Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных, минут через двадцать после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток — четыре бутылки белого вина, у Карася — две бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в три слоя бумаги, — само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость: на погонах у него золотые пушки, — терпенья больше иет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит, а если Петлюра приползет в город — тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир — полковник Малышев, дивизион — замечательный, так и называется — студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает. Может быть, даже и убили под Городом...

Ан, Мышлаевский оказался здесь, наверху! Золотая Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ур-ра! Все здесь. Карасевы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Малень-

кий улан сразу почувствовал, что он, как никогда, в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков, пел Шервинский эпиталаму богу Гименею, и как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, эта дурацкая война, большевики, и Петлюра, и долг, но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи, вы знаете, какие у него связи — о-го-го... и на сцену. Петь он будет в La Scala и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят в Москве на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что когда он пел эпиталаму, то вместо fa взял la и держал его пять тактов. Сказав — пять, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам.

— Тэк-с, пять. Ну ладно, идемте ужинать.

И вот знамена, дым...

— И где же сенегальцев роты? Отвечай, штабной, отвечай. Леночка, пей вино, золотая, пей. Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с деникинской армией.

— Будут! — звякнул Шервинский. — Будут. Позвольте сообщить важную новость: сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее, через два дня, в Город придут два сербских полка.

— Слушай, это верно?

Шервинский стал бурым.

— Гм, даже странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным.

— Два полка-а... что два полка...

— Хорошо-с, тогда не угодно ли выслушать. Сам князь мне говорил сегодня, что в одесском порту уже разгружаются транспорты: пришли греки и две дивизии сенегалов. Стоит нам продержаться неделю — и нам на немцев наплевать.

— Предатели!

— Ну, если это верно, вот Петлюру тогда поймать да повесить! Вот повесить!

— Своими руками застрелю.

— Еще по глотку́. Ваше здоровье, господа офицеры!

Раз — и окончательный туман! Туман, господа. Николка, выпивший три бокала, бегал к себе за платком и в передней (когда никто не видит, можно быть самим собой) припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил персидский принц. Клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский, но верно — красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев «стейер» — вороненое дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там за Постом, на снежных полях. Ведь стыдно! Неловко... Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Э, дружина еще не готова, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет, вероятно, они, как сапоги, черные... Но ведь они же здесь померзнут, к свиньям? Они ведь привыкли к жаркому климату?

— Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы? Смотрите, ой, смотрите!

— Панику сеешь, — сказал хладнокровно Карась.

Турбин обозлился.

— Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра, я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело! Не панику, — кусок огурца застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине.

— Правильно! — скрепил Карась, стукнув по столу. — К черту рядовым — устроим врачом.

— Завтра полезем все вместе, — бормотал пьяный Мышлаевский, — все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура!

— Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, — ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький... Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает: «Кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.

Николка с треском захохотал и сказал:

— Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть...

— Мобилизация, — ядовито продолжал Турбин, — жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки — просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет — дело швах! О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца он начал формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в Городе, он набрал бы пятидесятитысячную армию, и какую армию! Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в Городе, все пошли бы с дорогой душою. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули в Москве, как муху. Самый момент: ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас.

Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели.

— Ты... ты... тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны, право, — заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.

— Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, — сказал Николка.

— Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк, — ответил ему Турбин, — пей-ка лучше вино.

— Ты пойми, — заговорил Карась, — что немцы не позволили бы формировать армию, они боятся ее.

— Неправда! — тоненько выкликнул Турбин. — Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна! У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас — Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам: вам нужен сахар, хлеб? Берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше, мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в Городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру... к-х... — Турбин яростно закашлялся.

— Стой! — Шервинский встал. — Погоди. Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский, здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей, — пусть!

— Пять процентов, а девяносто пять — русских!..

— Верно. Но они сыграли б роль э... э... вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь: русская армия, и никаких гвоздей. Не угодно ли. — Шервинский торжественно указал куда-то рукой. — На Владимирской улице уже развеваются трехцветные флаги.

— Опоздали с флагами!

— Гм, да. Это верно. Несколько опоздали, но князь уверен, что ошибка поправима.

— Дай Бог, искренне желаю, — и Турбин перекрестился иа икону Божией Матери в углу.

— План же был таков, — звучно и торжественно выговорил Шервинский, — когда война кончилась бы,

немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича.

После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел.

— Император убит, — прошептал он.

— Какого Николая Александровича? — спросил ошеломленный Турбин, а Мышлаевский, качнувшись, искоса глянул в стакан к соседу. Ясно: крепился, крепился и вот напился, как зонтик.

Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на улана.

Но Шервинский не был особенно пьян, он поднял руку и сказал мощно:

— Не спешите, а слушайте. Н-но, прошу господ офицеров (Николка покраснел и побледнел) молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?

— Никакого понятия не имеем, — с интересом сообщил Карась.

— Ну-с, а мне известно.

— Тю! Ему все известно, — удивился Мышлаевский. — Ты ж не езди...

— Господа! Дайте же ему сказать.

— После того как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить...» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России — в Москву», — и прослезился.

Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.

— Слушай... это легенда, — болезненно сморщившись, сказал Турбин. — Я уже слышал эту историю.

— Убиты все, — сказал Мышлаевский, — государь, и государыня, и наследник.

Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил:

— Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества...

— Несколько преувеличено, — спьяна сострил Мышлаевский.

Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.

— Витя, тебе стыдно. Ты офицер.

Мышлаевский нырнул в туман.

— ...вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера... то есть, виноват, гувернера наследника, мосье Жильяра и нескольких офицеров, которые вывезли его... э... в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма.

— Да ведь Вильгельма же тоже выкинули? — начал Карась.

— Они оба в гостях в Дании, с ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если ж вы мне не верите, то вот-с: сообщил мне это лично сам князь.

Николкина душа стонала, полная смятений. Ему хотелось верить.

— Если это так, — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, — я предлагаю тост: здоровье его императорского величества! — Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.

— Пусть! Пусть! Пусть даже убит, — надломленно и хрипло крикнула она. — Все равно. Я пью. Я пью.

— Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! — Турбин крикнул и поднял стакан.

— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а!! — трижды в грохоте пронеслось по столовой.

Василиса вскочил внизу в холодном поту. Со сна он завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михайловну.

— Боже мой... бо... бо... — бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку.

— Что же это такое? Три часа ночи! — завопил, плача, Василиса, адресуясь к черному потолку. — Я жаловаться, наконец, буду!

Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. Сверху явственно, просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон:

. .си-льный, де-ржавный
царрр-ствуй на славу...

Сердце у Василисы остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормотал:

— Нет... они, того, душевнобольные... Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебаешь. Ведь гимн же запрещен! Боже ты мой, что же они делают? На улице-то, на улице слышно!!

Но Ванда уже свалилась как камень и опять заснула. Василиса же лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрикиваньях.

— На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная! — покачиваясь, кричал Мышлаевский.

— Верно!

— Я... был на «Павле Первом»... неделю тому назад... — заплетаясь, бормотал Мышлаевский, — и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верр-но!» — и что ж вы думаете, кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот!»

— Жи-ды, — мрачно крикнул опьяневший Карась.

Туман. Туман. Туман. Тонк-танк... тонк-танк... Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо, идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой

уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского.

— А-а...

Тот наконец со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок.

— Ни-колка, — прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин понял, что это голос его собственный. — Ни-колка! — повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже-е, Боже-е, как тошно и противно. Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином». — Никол...

— А-а, — хрипел Мышлаевский, оседая к полу.

Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон.

— Никол... помоги, бери его. Бери так, под руку.

— Ц... ц... ц... Эх, эх, — жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке, висела убитая голова. Тонк-танк. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетами плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью.

— Так. Клади его.

— Хоть халат-то запахни ему. Ведь неудобно, я тут. Проклятые черти. Пить не умеете. Витька! Витька! Что с тобой? Вить...

— Брось. Не поможет. Николушка, слушай. В кабинете у меня... на полке склянка, написано Liquor ammonii, а угол оборван к чертям, видишь ли... нашатырным спиртом пахнет.

— Сейчас... сейчас... Эх-эх.

— И ты, доктор, хорош...

— Ну, ладно, ладно.

— Что? Пульса нету?

— Нет, вздор, отойдет.

— Таз! Таз!

— Таз извольте.

— А-а-а...

— Эх, вы!

Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.

— А... хрр... у-ух... Тьф... фэ...

— Снегу, снегу...

— Господи Боже мой. Ведь это нужно ж так...

Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли, под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:

— Ах... пусти...

— Тэк-с, ну ладно, пусть здесь и спит.

Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели.

— Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки.

— Слушаюсь.

Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.

— Не затрудняйтесь... я сам.

— Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.

— Позвольте ручку поцеловать...

— По какому поводу?

— В благодарность за хлопоты.

— Обойдется пока... Николка, ты у себя на кровати. Ну, как он?

— Ничего, отошел, проспится.

Белым застелили два ложа и в комнате, предшествующей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора — книжная.

И погасли огни, погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из

спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал, быстро и странно в один последний год, и сборки ссеклись и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую, вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты, глухо, сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный, бодрый храп Шервинского. Из книжной молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то вполголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом, и с черными двумя пятнами окон.

— Уехал...

Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехал, и в такую минуту. Но позвольте, он очень резонный человек и очень хорошо сделал, что уехал... Ведь это же к лучшему...

— Но в такую минуту... — бормотала Елена и глубоко вздохнула.

— Что за такой человек? — Как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты, у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но ни сейчас, ни все время — полтора года, — что прожила с этим человеком, и не было в душе самого главного, без чего не может существовать ни в коем случае даже такой блестящий брак между красивой, рыжей, золотой Еленой и генерального штаба карьеристом, брак с капорами, с духами, со шпорами и облегченный, без детей. Брак с генерально-штабным, осторожным прибалтийским человеком. И что это за человек? Чего же это такого нет главного, без чего пуста моя душа?

— Знаю я, знаю, — сама сказала себе Елена, — уважения нет. Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе уважения, — значительно сказала она красному капору и подняла палец. И, сама ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству и захотела, чтобы он тут был сию минуту. Без уважения, без этого главного, но чтобы был в эту трудную минуту здесь. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя позволь-ка, что ж я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались, но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, — все ясно — ненавидят. Николка, тот еще добрее, а вот старший... Хотя нет. Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут... Он там останется, я здесь...

— Мой муж, — сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. — Мой муж...

Капор с интересом слушал, и щеки его светились жирным красным светом. Спрашивал:

— А что за человек твой муж?

— Мерзавец он. Больше ничего! — сам себе сказал Турбин, в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. — Мерзавец, а я действительно тряпка. Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту, это, в конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Но вот почему? А черт, да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести! Все, что ни говорит, говорит, как бесструнная балалайка, и это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России...

Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли, но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате, у

маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и тому же:

Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя...

Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:

— Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь — страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя.

— Ах ты! — вскричал во сне Турбин. — Г-гадина, да я тебя. — Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал.

Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а когда уже начало светать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться Город.

4

Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями, по образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, и темные воротники — мех серебристый и черный — делали женские лица загадочными и красивыми.

Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так

много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами.

Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках, царствовал вечный Царский сад. Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, и темная скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море.

Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия Города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился и танцевал и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом.

Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были

перекинуты два громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в слободку на том берегу, другой — высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва.

И вот, в зиму 1918 года, Город жил странною, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.

Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.

Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный, до белого утра гремящий тарелками, клуб «Прах» (поэты — режиссеры — артис-

ты — художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток.

Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы — бархатные. Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали два света — вниз белый электрический, а вбок и вверх оранжевый. Звездою голубого пыльного шелку разливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дутые лихачи, в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями томно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау».

И все лето, и все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной думы в пенсне, б... со звонкими фамилиями, биллиардные игроки... водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак.

Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу (ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна — Польша), в Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придет-

ся ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах.

— А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный кордон... И хлынут серые. Ох, страшно...

Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко, далеко слышались мягкие удары пушек — под Городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах: па-па-пах.

Кто в кого стрелял — никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.

Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:

— А ну, суньтесь!

Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все — купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены государственного совета, инженеры, врачи и писатели...

Были офицеры. И они бежали и с севера, и с запада — бывшего фронта — и все направлялись в Город, их было очень много и становилось все больше. Рискуя жизнью, потому что нм, большею частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в Городе с травлеными взорами, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные старые жители этого Города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, — отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь, и были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них — кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары, выплывали легко в мутной пене потревоженного Города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до двухсот масленых проборов людей, сверкающих гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные, резного дуба квартиры в лучшей части Города — Липках, рестораны и номера отелей...

Другие, армейские штабс-капитаны конченых и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Най-Турс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов — Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией, и поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они, в серых потертых шинелях, с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в Город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку.

Были юнкера. В Городе к началу революции оставалось четыре юнкерских училища — инженерное, артилле-

рийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицы искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, не детей и не взрослых, не военных и не штатских, а таких, как семнадцатилетний Николка Турбин...

— Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку семнадцатому, нежели двадцатому.

— Да кто он такой, Алексей Васильевич?

— Кавалергард, генерал, самый крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем...

По какой-то странной насмешке судьбы и истории избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности оседлым в Городе и уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой — и слава Богу. Гетман воцарился — и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы, ради самого Господа, не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, невсамделишным царством, гетмана славословили искренне... и... «Дай Бог, чтобы это продолжалось вечно».

Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать, и даже сам гетман. Да-с.

Дело в том, что Город — Городом, в нем и полиция — варта, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований, а вот что делается кругом, в

той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, — этого не знал никто. Не знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже — смешно сказать — о деревнях, расположенных в пятидесяти верстах от самого Города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название — деревня, о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз, под шелковыми абажурами в гостиных, скалились по-волчьи зубы и слышно было бормотание:

— Так им и надо! Так и надо; мало еще! Я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы — своих не хотели, попробуют чужих!

— Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны.

— Да что вы, Алексей Васильевич!.. Ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно. Немцы им покажут.

Немцы!!

Немцы!!

И повсюду:

Немцы!!!

Немцы!!

Ладно: тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы.

5

Так вот-с, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумный игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера (к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах), группирует своих офицеров около игрушечного короля. Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные шахи, а за ферзем приходит стремительный легкий слон — офицер, подлетают коварными зигзагами кони, и вот-с, погибает

слабый и скверный игрок — получает его деревянный король мат.

Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло, некие знамения.

Однажды, в мае месяце, когда Город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи, по своим делишкам и заспанные приказчики начали в магазинах открывать рокочущие шторы, прокатился по Городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра — и не пушка и не гром, — но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему Городу, скатился волнами в Город нижний — Подол и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего Города — Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом... А звук прошел и в третий раз и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла и почва шатнулась под ногами.

Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой Горы за Городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой Горе произошел взрыв.

Пять дней жил после этого Город, в ужасе ожидая, что потекут с Лысой Горы ядовитые газы. Но удары прекратились, газы не потекли, окровавленные исчезли, и Город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что Город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разное.

— Взрыв произвели французские шпионы.

— Нет, взрыв произвели большевистские шпионы.

Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли.

Второе знамение пришло летом, когда Город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал и

германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно!

Среди бела дня, на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма! Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через двадцать четыре часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего.

Так, вечером, задыхаясь у открытого окна, расстегивая пуговицы чесучовой рубашки, Василиса сидел за стаканом чая с лимоном и говорил Алексею Васильевичу Турбину таинственным шепотом:

— Сопоставляя все эти события, я не могу не прийти к заключению, что живем мы весьма непрочно. Мне кажется, что под немцами что-то такое (Василиса пошевелил короткими пальцами в воздухе) шатается. Подумайте сами... Эйхгорна... и где? А? (Василиса сделал испуганные глаза.)

Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел.

Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько, раненько, когда солнышко заслало веселый луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение. Оно было бесподобно в сиянии своих тридцати лет, в блеске монист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щеки лиловая тень.

— Пьядэсят сегодня, — сказало знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком.

— Что ты, Явдоха? — воскликнул жалобно Василиса. — Побойся Бога. Позавчера сорок, вчера сорок пять, сегодня пятьдесят. Ведь этак невозможно.

— Що ж я зроблю? Усэ дорого, — ответила сирена, — кажут на базаре, будэ и сто.

Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыл и про пятьдесят, и про сто, про все забыл, и сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче. (Василиса вставал раньше своей супруги.) Про все забыл, почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух. Эх, эх...

— Смотри, Явдоха, — сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами (не вышла бы жена), — уж очень вы распустились с этой революцией. Смотри, выучат вас немцы.

«Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу?» — подумал мучительно Василиса и не решился.

Широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине.

— Чи воны нас выучуть, чи мы их разучимо, — вдруг ответило знамение, сверкнуло, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, стало подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Н-ноги-то — а-ах!!» — застонало в голове у Василисы.

В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней.

— С кем это ты? — быстро шнырнув глазом вверх, спросила супруга.

— С Явдохой, — равнодушно ответил Василиса, — представь себе, молоко сегодня пятьдесят.

— К-как? — воскликнула Ванда Михайловна. — Это безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбесились... Явдоха! Явдоха! — закричала она, высовываясь в окошко. — Явдоха!

Но видение исчезло и не возвращалось.

Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда — ему вдруг представилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как свя-

занные оглобли, — не то какая-то неловкость в словах сладостного видения.

— Разучимо? А? Как вам это нравится? — сам себе бормотал Василиса. — Ох, уж эти мне базары! Нет, что вы на это скажете? Уж если они немцев перестанут бояться... последнее дело. Разучимо. А? А зубы-то у нее — роскошь...

Явдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе.

— Какая дерзость... Разучимо? А грудь...

И это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой.

Так-то вот, незаметно, как всегда, подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие, и было оно на первый взгляд совершенно незначительно.

Именно, в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры № 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все.

Вот и все! И из-за этой бумажки — несомненно из-за нее! — произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас... Ай, ай, ай!

Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование — Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918 — февраля 1919 годов называли на французский несколько манер «Симóн». Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер.

— Нет, счетовод.

— Нет, студент.

Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами.

Так вот нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили:

— Ничего подобного. Он был уполномоченным союза городов.

— Не союза городов, а земского союза, — отвечали третьи, — типичный земгусар.

Четвертые (приезжие), закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали:

— Позвольте... позвольте-ка...

И рассказывали, что будто бы десять лет назад... виноват... одиннадцать, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре. Что будто бы шел он на хорошую, интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным Грицем...

...Ой, не хо-д-и...

Потом начинали путаться в описании наружности, путать даты, указания места...

— Вы говорите, бритый?

— Нет, кажется... позвольте... с бородкой.

— Позвольте... разве он московский?

— Да нет, студентом... он был...

— Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем...

Фу ты, черт... А может, и не шел по Бронной. Москва город большой, на Бронной туманы, изморозь, тени... Какая-то гитара... турок под солнцем... кальян... гитара — дзинь-трень... неясно, туманно... ах, как туманно и страшно кругом.

...Идут и пою-ют...

Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрепанные девичьи косы, тюрьмы, стрельбы, и мороз, и полночный крест Владимира.

Идут и поют
Юнкера гвардейской школы...
Трубы, литавры,
Тарелки гремят.

Гремят торбаны, свищет соловей стальным винтом, засекают шомполами насмерть людей, едет, едет черношлычная конница на горячих лошадях.

Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин, бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной храп Карася, из Николкиной свист Шервинского... Муть... ночь... Валяется на полу у постели Алексея недочитанный Достоевский, и глумятся «Бесы» отчаянными словами... Тихо спит Елена.

— Ну, так вот что я вам скажу: не было. Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского союза... ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного восемнадцатого года.

...И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шомполами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии:

«Выдить русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок».

Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб германцев в Город.

И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, — дрожь ненависти при слове «офицерня».

Вот что было-с.

Да еще слухи о земельной реформе, которую намеревался произвести пан гетман,

— Увы, увы! Только в ноябре восемнадцатого года, когда под Городом загудели пушки, догадались умные люди, а в том числе и Василиса, что

ненавидели мужики этого самого пана гетмана, как бешеную собаку, —

и мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа:

— Вся земля мужикам.

— Каждому по сто десятин.

— Чтобы никаких помещиков и духу не было.

— И чтобы на каждые эти сто десятин верная гербовая бумага с печатью — во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее.

— Чтобы никакая шпана из Города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю.

— Чтобы из Города привозили керосин.

— Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет.

Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики, но у большевиков своя напасть:

— Жиды и комиссары!

— Вот головушка горькая у украинских мужиков! Ниоткуда нет спасения!!

Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять...

— А выучили сами же офицеры по приказанию начальства!

Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шомполами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне, и пулеметы в каждой второй, во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и папахами.

И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями... все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей, — и ты-

сячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции.

Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков?.. О-го-го!

Вот это было. А узник... гитара...

Слухи грозные, ужасные...
Наступают на нас...

Дзинь... трень... эх, эх, Николка.

Турок, земгусар, Симон. Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины... ненавидящих Москву, какая бы она ни была — большевистская ли, царская или еще какая.

И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре: «Quos vult perdere, dementat!»[1] — и проклинал гетмана за то, что тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы.

— Вздор-с все это. Не он — другой. Не другой — третий.

Итак, кончились всякие знамения и наступили события... Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы, — о нет! — оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще сто лет... Галльские петухи в красных штанах, на далеком европейском Западе, заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище: петухи во фригийских колпаках с картавым клекотом налетели на бронированных тевтонов и рвали из них клочья мяса вместе с броней. Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперенные груди, грызли зубами, но не выдержали, — и немцы! немцы! попросили пощады.

Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него, как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как шестидюймовые гвозди, были известны всему миру и который был-то уж наверня-

[1] Кого (Бог) захочет погубить, того он лишает разума (*лат.*).

ка сплошь металлический, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах — он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в Городе: видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. И это происходило тут же, на глазах, в течение часов, в течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая реденькая нищета.

Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми твердыми чемоданами и с сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в Город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом.

— Немцы побеждены, — сказали гады.

— Мы побеждены, — сказали умные гады.

То же самое поняли и горожане.

О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово! Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков демонов ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть.

Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, значит — одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в Городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут, кто же будет умирать?

— Умигать — не в помигушки иг'ать, — вдруг, картавя, сказал неизвестно откуда-то появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Най-Турс.

Он был в странной форме: на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч, длинный, каких уж нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком.

— Вы в раю, полковник? — спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву.

— В гаю, — ответил Най-Турс голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах.

— Как странно, как странно, — заговорил Турбин, — я думал, что рай — это так... мечтание человеческое. И какая странная форма. Вы, позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером?

— Они в бригаде крестоносцев теперича, господин доктор, — ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении.

Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы, а глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Най-Турса — чисты, бездонны, освещены изнутри.

Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку — женские глаза!.. Но куда ж им до глаз вахмистра!

— Как же вы? — спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин. — Как же это так, в рай с сапогами, со шпорами? Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики?

— Верите слову, господин доктор, — загудел виолончельным басом Жилин-вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце, — прямо-таки всем эскадроном, в конном строю и подошли. Гармоника опять же. Оно верно, неудобно... Там, сами изволите знать, чистота, полы церковные.

— Ну? — поражался Турбин.

— Тут, стало быть, апостол Петр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно,

докладаю: так и так, второй эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно, где прикажете стать? Докладывать-то докладываю, а сам, — вахмистр скромно кашлянул в кулак, — думаю, а ну, думаю, как скажут-то они, апостол Петр, а подите вы к чертовой матери... Потому, сами изволите знать, ведь это куда ж, с конями, и... (вахмистр смущенно почесал затылок) бабы, говоря по секрету, кой-какие пристали по дороге. Говорю это я апостолу, а сам мигаю взводу — мол, баб-то турните временно, а там видно будет. Пущай пока, до выяснения обстоятельства, за облаками посидят. А апостол Петр, хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный. Глазами — зырк, и вижу я, что баб-то он и увидал на повозках. Известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюква, думаю. Полная засыпь всему эскадрону...

«Эге, говорит, вы что ж, с бабами?» — и головой покачал.

«Так точно, говорю, но, говорю, не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шеям попросим, господин апостол».

«Ну нет, говорит, вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте!»

А? Что прикажете делать? Добродушный старикан. Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно.

И вахмистр хитро подмигнул.

— Это верно, — вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. Чьи-то глаза, черные, черные, и родинки на правой щеке, матовой, смутно сверкнули в сонной тьме. Он смущенно крякнул, а вахмистр продолжал:

— Ну те-с, сейчас это он и говорит, — доложим. Отправился, вернулся и сообщает: ладно, устроим. И такая у нас радость сделалась, невозможно выразить. Только вышла тут маленькая заминочка. Обождать, говорит апостол Петр, потребуется. Одначе ждали мы не более минуты. Гляжу, подъезжает, — вахмистр указал на молча-

щего и горделивого Най-Турса, уходящего бесследно из сна в неизвестную тьму, — господин эскадронный командир рысью на Тушинском Воре. А за ним немного погодя неизвестный юнкерок в пешем строю, — тут вахмистр покосился на Турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальное, а, наоборот, радостный, славный секрет, потом оправился и продолжал: — Поглядел Петр на них из-под ручки и говорит: «Ну, теперича, грит, все!» — и сейчас дверь настежь, и пожалте, говорит, справа по три.

...Дунька, Дунька, Дунька я!
Дуня, ягода моя, —

зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов и заиграла итальянская гармоника.

— Под ноги! — закричали на разные голоса взводные.

Й-эх, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня!
Полюби, Дуня, меня, —

и замер хор вдали.

— С бабами? Так и вперлись? — ахнул Турбин.

Вахмистр рассмеялся возбужденно и радостно взмахнул руками.

— Господи Боже мой, господин доктор. Места-то, места-то там ведь видимо-невидимо. Чистота... По первому обозрению говоря, пять корпусов еще можно поставить, и с запасными эскадронами, да что пять — десять! Рядом с нами хоромы, батюшки, потолков не видно! Я и говорю: «А разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое?» Потому оригинально: звезды красные, облака красные, в цвет наших чакчир отливают... «А это, — говорит апостол Петр, — для большевиков, с Перекопу которые».

— Какого Перекопу? — тщетно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин.

— А это, ваше высокоблагородие, у них-то ведь заранее все известно. В двадцатом году большевиков-то, когда брали Перекоп, видимо-невидимо положили. Так, стало быть, помещение к приему им приготовили.

— Большевиков? — смутилась душа Турбина. — Путаете вы что-то, Жилин, не может этого быть. Не пустят их туда.

— Господин доктор, сам так думал. Сам. Смутился и спрашиваю Господа Бога...

— Бога? Ой, Жилин!

— Не сомневайтесь, господин доктор, верно говорю, врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно.

— Какой же он такой?

Глаза Жилина испустили лучи, и гордо утончились черты лица.

— Убейте — объяснить не могу. Лик осиянный, а какой — не поймешь... Бывает, взглянешь — и похолодеешь. Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймет, думаешь, что же это такое? А потом ничего, отойдешь. Разнообразное лицо. Ну, уж а как говорит, такая радость, такая радость... И сейчас пройдет, пройдет свет голубой... Гм... да нет, не голубой (вахмистр подумал), не могу знать. Верст на тысячу и скрозь тебя. Ну вот-с я и докладываю, как же так, говорю, Господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил.

«Ну, не верят?» — спрашивает.

«Истинный Бог», — говорю, а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте, Богу этакие слова! Только гляжу, а он улыбается. Чего ж это я, думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет. А он и говорит:

«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то

же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые — в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй».

Кругло объяснил, господин доктор? а? «Попыто», — я говорю... Тут он и рукой махнул: «Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы».

«Да, говорю, уволь ты их, Господи, вчистую! Чем дармоедов-то тебе кормить?»

«Жалко, Жилин, вот в чем штука-то», — говорит.

Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки к сверкающему вахмистру, он застонал во сне:

— Жилин, Жилин, нельзя ли мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей?

Жилин приветливо махнул рукой и ласково и утвердительно закачал головой. Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним, вместо Жилина, был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна. Доктор отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал в утренних сумерках, но вскоре опять заснул, и сон потек теперь ровный, без сновидений...

Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видный предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непо-

крытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки. Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение: Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина, вспучилась и запрыгала пузырями. Попы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом, в помещении школ, с выбитыми ружейными пулями стеклами, пели революционные песни. По дорогам пошло привидение — некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой закавыкой: ежели красные банты, то ни в коем случае не допустимы шомпола, а ежели шомпола — то невозможны красные банты...

Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу! Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф, столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев поднимать по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке.

Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся.

И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он ни более ни менее, как из австрийской армии...

— Да что вы?

— Уверяю вас.

Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами — своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале восемнадцатого

года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга, не медля ни секунды, назвали изменником.

— И поделом...

— Ну, уж это я не знаю. А затем-с и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы.

Еще в сентябре никто в Городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В октябре об этом уже сильно догадывались, и начали уходить, освещенные сотнями огней, поезда с Города I, Пассажирского, в новый, пока еще широкий лаз через новоявленную Польшу и в Германию. Полетели телеграммы. Уехали бриллианты, бегающие глаза, проборы и деньги. Рвались на юг, на юг, в приморский город Одессу. В ноябре месяце, увы! — все уже знали довольно определенно. Слово

— Петлюра!

— Петлюра!!

— Петлюра! —

запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В Городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему:

— Пэтурра́.

Отдельные немецкие солдаты, приобретшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли — не безобразничать! Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах.

Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете?! Троцкого арестовали рабочие в Москве!!! Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Опять Вильгельм. Черные сингалезы в Одессе. Неизвестное, таинственное имя —

консул Энно. Одесса. Одесса. Генерал Деникин. Опять Вильгельм. Немцы уйдут, французы придут.

— Большевики придут, батенька!

— Типун вам на язык, батюшка!

У немцев есть такой аппарат со стрелкой — поставят его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Пэтурра.

Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Пэтурра на Украине, но решительно все уже знали, что он, таинственный и безликий

(хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью — Симон Петлюра),

желает ее, Украину, завоевать, а для того, чтобы ее завоевать, он идет брать Город.

6

Магазин «Парижский шик» мадам Анжу помещался в самом центре Города, на Театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме, и именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа, с золотыми словами «Шик паризьен», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху:

«Героем можешь ты не быть,
но добровольцем быть обязан».

Под пушками слова:

«Запись добровольцев в Мортирный Дивизион, имени командующего, принимается».

У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек — бррынь-бррррынь, напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу.

Турбин, Мышлаевский и Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка спозаранку свернул какой-то таинственный красненький узелок, покряхтел — эх, эх... и отправился к себе в дружину, а Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего.

Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды и, с воплем ужаса и восторга вскрикивая:

— Эх! Так его! Здорово! — залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину:

— Алеша, эгм... будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор.

— В кабинете возьми, в правом ящике стола.

Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлаевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал:

— Здравствуйте, Анюточка...

— Елене Васильевне скажу, — тотчас механически и без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож.

— Глупень...

Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым.

— Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так. Красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей

в виду, в случае, ежели он будет говорить, что женится, так не верь, не женится.

— Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком.

Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали.

— Здравствуй, Лена, ясная, с добрым утром тебя. Эгм... (Из горла Мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон.) Лена, ясная, — воскликнул он прочувственно, — не сердись. Люблю тебя, и ты меня люби. А что я нахамил вчера, не обращай внимания. Лена, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?

С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлаевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты: каскадом падали ножи, если это было в кухне, сыпались блюдца с буфетной стойки; Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного, коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси, в серое, облачное небо.

— Витька, Витька, — говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону, — посмотреть на тебя, здоровый ты парень, с чего ж ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек, может, тебе полегчает.

— А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью, — заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие, быстрые взоры в зеркальные недра буфета, — Карась, глянь, какой капот. Совершенно зеленый. Нет, до чего хороша.

— Очень красива Елена Васильевна, — серьезно и искренне ответил Карась.

— Это электрик, — пояснила Елена, — да ты, Витенька, говори сразу — в чем дело?

— Видишь ли, Лена, ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно...

— Ладно, в буфете.

— Вот, вот... Одну рюмку... лучше всяких пирамидонов.

Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил, что будто бы только что родился, и изъявил желание пить чай с лимоном.

— Ты, Леночка, — хрипловато говорил Турбин, — не волнуйся и поджидай меня, я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся, будем мы сидеть в Городе и отражать этого миленького украинского президента — сволочь такую.

— Не послали бы вас куда-нибудь?

Карась успокоительно махнул рукой.

— Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае и готов не будет, лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то, без всяких сомнений, останемся мы в Городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном Города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву...

— Ну, это когда еще там... Эгм...

— Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше...

— Да вы напрасно, господа, меня утешаете, я ничего ровно не боюсь, напротив, одобряю.

Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. «Довлеет дневи злоба его».

— Анюта, — кричала она, — миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай.

Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый Карась. Уверенный Карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился.

В передней прощались.

— Ну, да хранит вас Господь, — сказала Елена строго и перекрестила Турбина. Так же перекрестила она и Карася и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.

— Господин полковник, — мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал Карась, — разрешите доложить?

Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу. Дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах, с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина — было ему лет тридцать, самое большое тридцать два. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые и смышленые глаза смотрели явно устало, но внимательно.

Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь, с узловатых черных труб, тянущихся за перегородку и пропадавших там в глубине магазина, изредка капала черная жижа. Пол, как на эстраде, так и в остальной части магазина переходивший в какие-то углубления, был усеян обрывками бумаги и красными и зелеными лоскутками материи. На высоте, над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка, и когда Турбин поднял голову, увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. За этими перилами торчали чьи-то ноги и зад в синих рейтузах, а головы не было, потому что ее срезал потолок. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина, в неизвестной яме, из

которой виднелись яркие погоны вольноопределяющегося и белая голова, но не было ни рук, ни ног.

Много лиц мелькало вокруг полковника, мелькали золотые пушечные погоны, громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками, а рядом с картонками грудами лежали, похожие на банки с консервами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем г-на полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. В глубине и полутьме, за занавесом на блестящем пруте, чей-то голос надрывался, очевидно, в телефон: «Да... да... говорю. Говорю: да, да. Да, я говорю». Бррынь-ынь... — проделал звоночек... Пиу, — спела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой басок забормотал:

— Дивизион... слушаю... да... да.

— Я слушаю вас, — сказал полковник Карасю.

— Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во второй пехотной дружине, в качестве рядового, и желал бы перевестись во вверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона.

Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, а Мышлаевский козырнул. «Черт... надо будет форму скорее одеть», — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки, в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлаевского.

— Так, — сказал он, — это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?

— В тяжелом N дивизионе, господин полковник, — ответил Мышлаевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны.

— В тяжелом? Это совсем хорошо. Черт их знает: артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница.

— Никак нет, господин полковник, — ответил Мышлаевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос, — это я сам добровольно попросился ввиду того,

что спешно требовалось выступить под Пост-Волынский. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере...

— В высшей степени одобряю... хорошо, — сказал полковник и действительно в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлаевскому. — Рад познакомиться... Итак... ах, да, доктор? И вы желаете к нам? Гм...

Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать «так точно» в своем барашковом воротнике.

— Гм... — полковник глянул в окно, — знаете, это мысль, конечно, хорошая. Тем более что на днях возможно... Тэк-с... — Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос: — Только... как бы это выразиться... Тут, видите ли, доктор, один вопрос... Социальные теории и... гм... вы социалист? Не правда ли? Как все интеллигентные люди? — Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. — Дивизион у нас так и называется — студенческий, — полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. — Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский.

Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт... Как же Карась говорил?..» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять, но что именно — узнать нельзя.

— Я, — вдруг бухнул Турбин, дернув щекой, — к сожалению, не социалист, а... монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского.

Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади, за правым плечом Турбина. «Обидно расставаться с Карасем и Витей, — подумал Турбин, — но шут его возьми, этот социальный дивизион».

Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил:

— Это печально. Гм... очень печально... Завоевания революции и прочее... У меня приказ сверху: избегать укомплектования монархическими элементами, ввиду того что население... необходима, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно... печально... печально...

Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но, наоборот, звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил.

«Ага-а? — многозначительно подумал Турбин. — Дурак я... а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего».

— Не знаю уж, как и быть... ведь в настоящий момент, — полковник жирно подчеркнул слово «настоящий», — так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита Города и гетмана от банд Петлюры и, возможно, большевиков. А там, там видно будет... Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?

— В тысяча девятьсот пятнадцатом году, по окончании университета экстерном, в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой.

— Юнкер! — воскликнул полковник. — Попросите ко мне старшего офицера.

Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке, с малиновым верхом, перекрещенным галуном, в серой, длинной а la Мышлаевский шинели, с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан.

— Капитан Студзинский, — обратился к нему полковник, — будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика... э...

— Мышлаевский, — сказал, козырнув, Мышлаевский.

— ...Мышлаевского, по специальности, из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь... э?

— Турбин...

— Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении.

— Слушаю, господин полковник, — с неправильными ударениями ответил офицер и козырнул. «Поляк», — подумал Турбин.

— Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину (это Мышлаевскому). Поручик примет четвертый взвод (офицеру).

— Слушаю, господин полковник.

— Слушаю, господин полковник.

— А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии.

— Слушаю, господин полковник.

— Доктору немедленно выдать обмундирование.

— Слушаю.

— Слушаю, слушаю! — кричал басок в яме.

— Слушаете? Нет. Говорю: нет... Нет, говорю, — кричало за перегородкой.

— Брры-ынь... Пи... Пи-у, — пела птичка в яме.

— Слушаете?..

— «Свободные вести»! «Свободные вести»! Ежедневная новая газета «Свободные вести»! — кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. — Разложение Петлюры. Прибытие черных войск в Одессу. «Свободные вести»!

Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застекленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно.

— Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю и если кто-нибудь придет, скажи — приема нет. Постоянных больных нет... Поскорее, детка.

Елена торопливо, оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны... Вторую пару, защитных зеленых с черным просветом, она пришила на шинель.

Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку:

Доктор *А. В. Турбин.*
Венерические болезни и сифилис.
606—914.
Прием с 4-х до 6-ти.

Приклеил поправку «С 5-ти до 7-ми» и побежал вверх, по Алексеевскому спуску.

— «Свободные вести»!

Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету:

Беспартийная демократическая газета.
Выходит ежедневно.
13 декабря 1918 года.

Вопросы внешней торговли и, в частности, торговли с Германией заставляют нас...

— Позвольте, а где же?.. Руки зябнут.

По сообщению нашего корреспондента, в Одессе ведутся переговоры о высадке двух дивизий черных колониальных войск Консул Энно не допускает мысли, чтобы Петлюра. .

— Ах, сукин сын, мальчишка!

Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на Посту-Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. Третьего дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Болботун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и четырьмя орудиями. Болботун склоняется к гетманской ориентации.

Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах.

— Предположим... ах, мороз проклятый... Извините.

— Батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать...

— Извините...

Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры...

— Вот мерзавец! Ах ты ж, мерзавцы...

Кто честен и не волк,
идет в добровольческий полк...

— Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?

— Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня болботунит...

Турбин даже в лице изменился от этой остроты, злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался.

Бу-у, — пели пушки. У-уух, — откуда-то, из утробы земли, звучало за городом.

— Что за черт?

Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно:

В районе Ирпеня столкновения наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры.

На Серебрянском направлении спокойно.

В Красном Трактире без перемен

В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в полторы тысячи человек. В плен взято два человека.

Гу... гу... гу... Бу... бу... бу... — ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара, по Владимирской улице, чернела и ползла толпа... Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто... Замелькали бабы на тротуарах. Конный, из Державной варты, ехал, словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка, и выкриков его никто не слушал. В толпе, в передних рядах, мелькнули золотые ризы и бороды священников, колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегались со всех сторон.

— «Вести»! — крикнул газетчик и устремился к толпе.

Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге.

Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку:

«Прапорщик Юцевич».

На следующем:

«Прапорщик Иванов».

На третьем:

«Прапорщик Орлов».

В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, в сбившейся на затылок шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезалась с тротуара в толпу.

— Что это такое? Ваня?! — залился ее голос. Кто-то, бледнея, побежал в сторону. Взвыла одна баба, за нею другая.

— Господи Исусе Христе! — забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею.

— Господи... последние времена. Что ж это, режут людей?.. Да что ж это...

— Лучше я уж не знаю что, чем такое видеть.

— Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят?

— Ваня! — завывало в толпе.

— Офицеров, что порезали в Попелюхе, — торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос, — выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто... Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали. Форменно изуродовали.

— Вот оно что? Ах, ах, ах...

— Вот оно что? Ах, ах, ах...

«Прапорщик Коровин»,
«Прапорщик Гердт», —

проплывали желтые гробы.

— До чего дожили... Подумайте.

— Междоусобные брани.

— Да как же?..

— Заснули, говорят...

— Так им и треба... — вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки. Словно клещами, ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса.

— Что вы сказали? — шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк.

— Помилуйте, господин офицер, — трясясь в ужасе, ответил голос, — я ничего не говорю. Я молчу. Что вы-с? — голос прыгал.

Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся, схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки ее закатывались от страха.

Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку браунинга. Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, голосила баба в платке. Хватать было решительно некого, голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб.

«Прапорщик Морской», —

пролетели какие-то сани.

— «Вести»! — вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт.

Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишке в физиономию, приговаривая со скрипом зубовным:

— Вот тебе вести. Вот тебе. Вот тебе вести. Сволочь!

На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью.

— Ште это... что вы... за что мине? — загнусавил он, стараясь зареветь и шаря по снегу. Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув, мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац — сад Александровской гимназии.

— «Вести»! Ежедневная демократическая газета! — донеслось с улицы.

Стовосьмидесятиоконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. Восемь лет провел Турбин в ней, в течение восьми лет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный важный снег зимнего учебного года, видел плац из окна. Восемь лет растил и учил кирпичный покой Турбина и младших — Карася и Мышлаевского.

И ровно восемь лет назад в последний раз видел Турбин сад гимназии. Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань. О, восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, ут консекутивум, Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди — университет, значит, жизнь свободная, — понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава.

И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза учителей, и страшные, до сих пор еще снящиеся, бассейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем Ленский отличается от Онегина, и как безобразен Сократ, и когда осно-

ван орден иезуитов, и высадился Помпей, и еще кто-то высадился, и высадился и высаживался в течение двух тысяч лет...

Мало этого. За восемью годами гимназии, уже вне всяких бассейнов, трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, а затем три года метания в седле, чужие раны, унижения и страдания, — о, проклятый бассейн войны... И вот высадился все там же, на этом плацу, в том же саду. И бежал по плацу достаточно больной и издерганный, сжимал браунинг в кармане, бежал черт знает куда и зачем. Вероятно, защищать ту самую жизнь — будущее, из-за которого мучился над бассейнами и теми проклятыми пешеходами, из которых один идет со станции «А», а другой навстречу ему со станции «Б».

Черные окна являли полнейший и угрюмейший покой. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый. Странно, в центре города, среди развала, кипения и суеты, остался мертвый четырехъярусный корабль, некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизней. Похоже было, что никто уже его теперь не охранял, ни звука, ни движения не было в окнах и под стенами, крытыми желтой николаевской краской. Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что.

И главное: не только никто не знал, но и никто не интересовался — куда же все делось? Кто теперь учится в этом корабле? А если не учится, то почему? Где сторожа? Почему страшные, тупорылые мортиры торчат под шеренгою каштанов у решетки, отделяющей внутренний палисадник у внутреннего парадного хода? Почему в гимназии цейхгауз? Чей? Кто? Зачем?

Никто этого не знал, как никто не знал, куда девалась мадам Анжу и почему бомбы в ее магазине легли рядом с пустыми картонками?..

— Накати-и! — прокричал голос. Мортиры шевелились и ползали. Человек двести людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кова-

ных колес. Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки военные и защитные, и синие, студенческие.

Когда Турбин пересек грандиозный плац, четыре мортиры стали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешное учение возле мортир закончилось, и в две шеренги стал пестрый новобранный строй дивизиона.

— Господин кап-пи-тан, — пропел голос Мышлаевского, — взвод готов.

Студзинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул:

— Левое плечо вперед, шагом марш!

Строй хрустнул, колыхнулся и, нестройно топча снег, поплыл.

Замелькали мимо Турбина многие знакомые и типичные студенческие лица. В голове третьего взвода мелькнул Карась. Не зная еще, куда и зачем, Турбин захрустел рядом со взводом...

Карась вывернулся из строя и, озабоченный, идя задом, начал считать:

— Левой. Левой. Ать. Ать.

В черную пасть подвального хода гимназии змеей втянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом.

Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее, чем снаружи. Каменную тишину и зыбкий сумрак брошенного здания быстро разбудило эхо военного шага. Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны. Шорох и писк слышался в тяжком шаге — это потревоженные крысы разбегались по темным закоулкам. Строй прошел по бесконечным и черным подвальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами, и пришел в громадный зал, где в узкие прорези решетчатых окошек, сквозь мертвую паутину, скуповато притекал свет.

Адовый грохот молотков взломал молчание. Вскрывали деревянные окованные ящики с патронами, вынимали бесконечные ленты и похожие на торты круги для льюисовских пулеметов. Вылезли черные и серые, похожие на злых комаров, пулеметы. Стучали гайки, рвали клещи, в углу со свистом что-то резала пила. Юнкера вынимали

кипы слежавшихся холодных папах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне.

— Па-а-живей, — послышался голос Студзинского.

Человек шесть офицеров, в тусклых золотых погонах, завертелись, как плауны на воде. Что-то выпевал выздоровевший тенор Мышлаевского.

— Господин доктор! — прокричал Студзинский из тьмы. — Будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции.

Перед Турбиным тотчас оказались двое студентов. Один из них, низенький и взволнованный, был с красным крестом на рукаве студенческой шинели. Другой — в сером, и папаха налезла ему на глаза, так что он все время поправлял ее пальцами.

— Там ящики с медикаментами, — проговорил Турбин, — выньте из них сумки, которые через плечо, и мне докторскую с набором. Потрудитесь выдать каждому из артиллеристов по два индивидуальных пакета, бегло объяснив, как их вскрыть в случае надобности.

Голова Мышлаевского выросла над серым копошащимся вечем. Он влез на ящик, взмахнул винтовкой, лязгнул затвором, с треском вложил обойму и затем, целясь в окно и лязгая, лязгая и целясь, забросал юнкеров выброшенными патронами. После этого как фабрика застучала в подвале. Перекатывая стук и лязг, юнкера зарядили винтовки.

— Кто не умеет, осто-рожнее, юнкера-а, — пел Мышлаевский, — объясните студентам.

Через головы полезли ремни с подсумками и фляги.

Произошло чудо. Разношерстные пестрые люди превращались в однородный, компактный слой, над которым колючей щеткой, нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась щетина штыков.

— Господ офицеров попрошу ко мне, — где-то прозвучал Студзинский.

В темноте коридора, под малиновый тихонький звук шпор, Студзинский заговорил негромко:

— Впечатления?

Шпоры потоптались. Мышлаевский, небрежно и ловко ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к штабс-капитану и сказал:

— У меня во взводе пятнадцать человек не имеют понятия о винтовке. Трудновато.

Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромно и серенько сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил:

— Настроение?

Опять заговорил Мышлаевский:

— Кхм... кхм... Гробы напортили. Студентики смутились. На них дурно влияет. Через решетку видели.

Студзинский метнул на него черные упорные глаза.

— Потрудитесь поднять настроение.

И шпоры зазвякали, расходясь.

— Юнкер Павловский! — загремел в цейхгаузе Мышлаевский, как Радамес в «Аиде».

— Павловского... го!.. го!.. го!! — ответил цейхгауз каменным эхом и ревом юнкерских голосов.

— И' я!

— Алексеевского училища?

— Точно так, господин поручик.

— А ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее. Так, чтобы Петлюра умер, мать его душу...

Один голос, высокий и чистый, завел под каменными сводами:

Артиллеристом я рожден...

Тенора откуда-то ответили в гуще штыков:

В семье бригадной я учился

Вся студенческая гуща как-то дрогнула, быстро со слуха поймала мотив, и вдруг, стихийным басовым хоралом, стреляя пушечным эхом, взорвало весь цейхгауз:

Ог-неем-ем картечи я крещен
И буйным бархатом об-ви-и-и-ился.
Огне-е-е-е-е-е-ем...

Зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных стеклах, в головах, и какие-то забытые пыльные стаканы на покатых подоконниках тряслись и звякали...

И за канаты тормозные
Меня качали номера.

Студзинский, выхватив из толпы шинелей, штыков и пулеметов двух розовых прапорщиков, торопливым шепотом отдавал им приказание:

— Вестибюль... сорвать кисею... поживее...

И прапорщики унеслись куда-то.

Идут и поют
Юнкера гвардейской школы!
Трубы, литавры,
Тарелки звенят!!

Пустая каменная коробка гимназии теперь ревела и выла в страшном марше, и крысы сидели в глубоких норах, ошалев от ужаса.

— Ать... ать!.. — резал пронзительным голосом рев Карася.

— Веселей!.. — прочищенным голосом кричал Мышлаевский. — Алексеевцы, кого хороните?..

Не серая, разрозненная гусеница, а

Модистки! кухарки! горничные! прачки!!
Вслед юнкерам уходящим глядят!!! —

одетая колючими штыками валила по коридору шеренга, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног. По бесконечному коридору и во второй этаж в упор на гигантский, залитый светом через стеклянный купол вестибюль шла гусеница, и передние ряды вдруг начали ошалевать.

На кровном аргамаке, крытом царским вальтрапом с вензелями, поднимая аргамака на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на Бородинские полки. Клубочками ядер одевались Бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль на двухсаженном полотне.

.. ведь были ж ..
схватки боевые?!

— Да, говорят... — звенел Павловский.

Да, говорят, еще какие!! —

гремели басы.

Не-да-а-а-ром помнит вся Россия
Про день Бородина"

Ослепительный Александр несся на небо, и оборванная кисея, скрывавшая его целый год, лежала валом у копыт его коня.

— Императора Александра Благословенного не видели, что ли? Ровней, ровней! Ать. Ать. Леу. Леу! — выл Мышлаевский, и гусеница поднималась, осаживая лестницу грузным шагом александровской пехоты. Мимо победителя Наполеона левым плечом прошел дивизион в необъятный двусветный актовый зал и, оборвав песню, стал густыми шеренгами, колыхнув штыками. Сумрачный белесый свет царил в зале, и мертвенными, бледными пятнами глядели в простенках громадные, наглухо завешенные портреты последних царей.

Студзинский попятился и глянул на браслет-часы. В это мгновение вбежал юнкер и что-то шепнул ему.

— Командир дивизиона, — расслышали ближайшие.

Студзинский махнул рукой офицерам. Те побежали между шеренгами и выровняли их. Студзинский вышел в коридор навстречу командиру.

Звеня шпорами, полковник Малышев по лестнице, оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался ко входу в зал. Кривая кавказская шашка с вишневым темляком болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке черного буйного бархата и длинной шинели с огромным разрезом назади. Лицо его было озабочено. Студзинский торопливо подошел к нему и остановился, откозыряв.

Малышев спросил его:

— Одеты?

— Так точно. Все приказания исполнены.

— Ну как?

— Драться будут. Но полная неопытность. На сто двадцать юнкеров восемьдесят студентов, не умеющих держать в руках винтовку.

Тень легла на лицо Малышева. Он помолчал.

— Великое счастье, что хорошие офицеры попались, — продолжал Студзинский, — в особенности этот новый, Мышлаевский. Как-нибудь справимся.

— Так-с. Ну-с, вот что: потрудитесь, после моего смотра, дивизион, за исключением офицеров и караула в шестьдесят человек из лучших и опытнейших юнкеров, которых вы оставите у орудий, в цейхгаузе и на охране здания, распустить по домам с тем, чтобы завтра в семь часов утра весь дивизион был в сборе здесь.

Дикое изумление разбило Студзинского, глаза его неприличнейшим образом выкатились на господина полковника. Рот раскрылся.

— Господин полковник... — все ударения у Студзинского от волнения полезли на предпоследний слог, — разрешите доложить. Это невозможно. Единственный способ сохранить сколько-нибудь боеспособным дивизион — это задержать его на ночь здесь.

Господин полковник тут же, и очень быстро, обнаружил новое свойство — великолепнейшим образом сердиться. Шея его и щеки побурели, и глаза загорелись.

— Капитан, — заговорил он неприятным голосом, — я вам в ведомости прикажу выписать жалованье не как старшему офицеру, а как лектору, читающему командирам дивизионов, и это мне будет неприятно, потому что я полагал, что в вашем лице я буду иметь именно опытного старшего офицера, а не штатского профессора. Ну-с, так вот: лекции мне не нужны. Па-а-прошу вас советов мне не давать! Слушать, запоминать. А запомнив — исполнять!

И тут оба выпятились друг на друга.

Самоварная краска полезла по шее и щекам Студзинского, и губы его дрогнули. Как-то скрипнув горлом, он произнес:

— Слушаю, господин полковник.

— Да-с, слушать. Распустить по домам. Приказать выспаться, и распустить без оружия, а завтра чтобы явились в семь часов. Распустить, и мало этого: мелкими партиями, а не взводными ящиками, и без погон, чтобы не привлекать внимания зевак своим великолепием.

Луч понимания мелькнул в глазах Студзинского, а обида в них погасла.

— Слушаю, господин полковник.

Господин полковник тут резко изменился.

— Александр Брониславович, я вас знаю не первый день как опытного и боевого офицера. Но ведь и вы меня знаете? Стало быть, обиды нет? Обиды в такой час неуместны. Я неприятно сказал — забудьте, ведь вы тоже...

Студзинский залился густейшей краской.

— Точно так, господин полковник, я виноват.

— Ну-с, и отлично. Не будем же терять времени, чтобы их не расхолаживать. Словом, все на завтра. Завтра яснее будет видно. Во всяком случае, скажу заранее: на орудия — внимания ноль, имейте в виду — лошадей не будет и снарядов тоже. Стало быть, завтра с утра стрельба из винтовок, стрельба и стрельба. Сделайте мне так, чтобы дивизион завтра к полудню стрелял, как призовой полк. И всем опытным юнкерам — гранаты. Понятно?

Мрачнейшие тени легли на Студзинского. Он напряженно слушал.

— Господин полковник, разрешите спросить?

— Знаю-с, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать. Я сам вам отвечу — погано-с. Бывает хуже, но редко. Теперь понятно?

— Точно так!

— Ну, так вот-с, — Малышев очень понизил голос, — понятно, что мне не хочется остаться в этом каменном мешке на подозрительную ночь и, чего доброго, угробить двести ребят, из которых сто двадцать даже не умеют стрелять!

Студзинский молчал.

— Ну так вот-с. А об остальном вечером. Все успеем. Валите к дивизиону.

И они вошли в зал.

— Смир-р-р-р-но. Га-сааа офицеры! — прокричал Студзинский.

— Здравствуйте, артиллеристы!

Студзинский из-за спины Малышева, как беспокойный режиссер, взмахнул рукой, и серая колючая стена рявкнула так, что дрогнули стекла:

— Здра...рра...жла...гсин... полковник...

Малышев весело оглядел ряды, отнял руку от козырька и заговорил:

— Бесподобно... Артиллеристы! Слов тратить не буду, говорить не умею, потому что на митингах не выступал, и потому скажу коротко. Будем мы бить Петлюру, сукина сына, и, будьте покойны, побьем. Среди вас владимировцы, константиновцы, алексеевцы, орлы их ни разу еще не видали от них сраму. А многие из вас воспитанники этой знаменитой гимназии. Старые ее стены смотрят на вас. И я надеюсь, что вы не заставите краснеть за вас. Артиллеристы мортирного дивизиона! Отстоим Город великий в часы осады бандитом. Если мы обкатим этого милого президента шестью дюймами, небо ему покажется не более, чем его собственные подштанники, мать его душу через семь гробов!!!

— Га...а-а... Га-а... — ответила колючая гуща, подавленная бойкостью выражений господина полковника.

— Постарайтесь, артиллеристы!

Студзинский опять, как режиссер из-за кулис, испуганно взмахнул рукой, и опять громада обрушила пласты пыли своим воплем, повторенным громовым эхо:

Ррр... Рррр... Стра... Рррр!!!

Через десять минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых зачернели на концах поросшей штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении, внизу, стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся, согласно приказу, новоявленных артиллеристов. В коридорах что-то ковано гремело и стучало, и слышались офицерские выкрики — Студзинский сам разводил караулы. Затем неожиданно в коридорах запела труба. В ее рваных, застоявшихся звуках, летящих по всей гимназии, грозность была надломлена, а слышна явственная тревога и фальшь. В коридоре над пролетом, окаймленным двумя рамками лестницы в вестибюль, стоял юнкер и раздувал щеки. Георгиевские потертые ленты свешивались с тусклой медной трубы. Мышлаевский, растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и пробовал его.

— Не доно́сите... Теперь так, так. Раздуйте ее, раздуйте. Залежалась, матушка. А ну-ка, тревогу.

«Та-та-там-та-там», — пел трубач, наводя ужас и тоску на крыс.

Сумерки резко ползли в двусветный зал. Перед полем в козлах остались Малышев и Турбин. Малышев как-то хмуро глянул на врача, но сейчас же устроил на лице приветливую улыбку.

— Ну-с, доктор, у вас как? Санитарная часть в порядке?

— Точно так, господин полковник.

— Вы, доктор, можете отправляться домой. И фельдшеров отпустите. И таким образом: фельдшера пусть явятся завтра в семь часов утра, вместе с остальными... А вы... (Малышев подумал, прищурился.) Вас попрошу прибыть сюда завтра в два часа дня. До тех пор вы свободны. (Малышев опять подумал.) И вот что-с: погоны можете пока не надевать. (Малышев помялся.) В наши планы не входит особенно привлекать к себе внимание. Одним словом, завтра прошу в два часа сюда.

— Слушаю-с, господин полковник.

Турбин потоптался на месте. Малышев вынул портсигар и предложил ему папиросу. Турбин в ответ зажег спичку. Загорелись две красные звездочки, и тут же сразу стало ясно, что значительно потемнело. Малышев беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые шары, потом вышел в коридор.

— Поручик Мышлаевский. Пожалуйте сюда. Вот что-с: поручаю вам электрическое освещение здания полностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его всюду не только зажечь, но и потушить. И ответственность за освещение целиком ваша.

Мышлаевский козырнул, круто повернулся. Трубач пискнул и прекратил. Мышлаевский, бренча шпорами — топы-топы-топы, — покатился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках. Через минуту откуда-то снизу раздались его громовые удары кулаками куда-то и командные вопли. И в ответ им в парадном подъезде, куда вел широченный двускатный вестибюль, дав слабый отблеск на портрет Александра, вспыхнул свет. Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к Турбину:

— Нет, черт возьми... Это действительно офицер. Видали?

А снизу на лестнице показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернула на первой площадке, и Малышев и Турбин, свесившись с перил, разглядели ее. Фигурка шла на разъезжающихся больных ногах и трясла белой головой. На фигурке была широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами и цветными зелеными петлицами. В прыгающих руках у фигурки торчал огромный ключ. Мышлаевский поднимался сзади и изредка покрикивал:

— Живее, живее, старикан! Что ползешь, как вошь по струне?

— Ваше... ваше... — шамкал и шаркал тихонько старик. Из мглы на площадке вынырнули Карась, за ним другой, высокий офицер, потом два юнкера и, наконец, вострорылый пулемет. Фигурка метнулась в ужасе, согнулась, согнулась и в пояс поклонилась пулемету.

— Ваше высокоблагородие, — бормотала она.

Наверху фигурка трясущимися руками, тычась в полутьме, открыла продолговатый ящик на стене, и белое пятно глянуло из него. Старик сунул руку куда-то, щелкнул, и мгновенно залило верхнюю площадь вестибюля, вход в актовый зал и коридор.

Тьма свернулась и убежала в его концы. Мышлаевский овладел ключом моментально и, просунув руку в ящик, начал играть, щелкая черными ручками. Свет, ослепительный до того, что даже отливал в розовое, то загорался, то исчезал. Вспыхнули шары в зале и погасли. Неожиданно загорелись два шара по концам коридора, и тьма, кувыркнувшись, улизнула совсем.

— Как? Эй! — кричал Мышлаевский.

— Погасло, — отвечали голоса снизу из провала вестибюля.

— Есть! Горит! — кричали снизу.

Вдоволь наигравшись, Мышлаевский окончательно зажег зал, коридор и рефлектор над Александром, запер ящик на ключ и опустил его в карман.

— Катись, старикан, спать, — молвил он успокоительно, — все в полном порядке.

Старик виновато заморгал подслеповатыми глазами:

— А ключик-то? Ключик... ваше высокоблагородие... Как же? У вас, что ли, будет?

— Ключик у меня будет. Вот именно.

Старик потрясся еще немножко и медленно стал уходить.

— Юнкер!

Румяный толстый юнкер грохнул ложем у ящика и стал неподвижно.

— К ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня. Но никого более. В случае надобности, по приказанию одного из трех, ящик взломаете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить щита.

— Слушаю, господин поручик.

Мышлаевский поравнялся с Турбиным и шепнул:

— Максим-то... видал?

— Господи... видал, видал, — шепнул Турбин.

Командир дивизиона стал у входа в актовый зал, и тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлаевского и сказал:

— Ну, вот-с, поручик, я доволен, что вы попали к нам в дивизион. Молодцом.

— Рад стараться, господин полковник.

— Вы еще наладите нам отопление здесь в зале, чтобы отогревать смены юнкеров, а уж об остальном я позабочусь сам. Накормлю вас и водки достану, в количестве небольшом, но достаточном, чтобы отогреться.

Мышлаевский приятнейшим образом улыбнулся господину полковнику и внушительно откашлялся:

— Эк... км...

Турбин более не слушал. Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу. Пустая тоска овладела Турбиным. Тут же, у холодной балюстрады, с исключительной ясностью перед ним прошло воспоминание.

> ...Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору. Коренастый Максим, старший педель, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие.

— Пущай, пущай, пущай, пущай, — бормотал он, — пущай, по случаю радостного приезда господина попечителя, господин инспектор полюбуется на господина Турбина с господином Мышлаевским. Это им будет удовольствие. Прямо-таки замечательное удовольствие!

Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя.

У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правою, не было пояса и все пуговицы отлетели не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров.

— Пустите нас, миленький Максим, дорогой, — молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах.

— Ура! Волоки его, Макс Преподобный! — кричали сзади взволнованные гимназисты. — Нет такого закону, чтобы второклассников безнаказанно уродовать!

Ах, Боже мой, Боже мой! Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, — белый, скорбный и голодный. У Максима на голове была черная сапожная щетка, лишь кое-где тронутая нитями проседи, у Максима железные клещи вместо рук и на шее медаль величиною с колесо на экипаже... Ах, колесо, колесо. Все-то ты ехало из деревни «Б», делая N оборотов, и вот приехало в каменную пустоту. Боже, какой холод. Нужно защищать теперь... Но что? Пустоту? Гул шагов? Разве ты, ты, Александр, спасешь Бородинскими полками гибнущий дом? Оживи, сведи их с полотна! Они побили бы Петлюру.

Ноги Турбина понесли его вниз сами собой. «Максим!» — хотелось ему крикнуть, потом он стал останавливаться и совсем остановился. Представил себе Максима внизу, в подвальной квартирке, где жили сторожа. Наверное, трясется у печки, все забыл и еще будет плакать. А тут и так тоски по самое горло. Плюнуть надо на все это. Довольно сентиментальничать. Просентиментальничал свою жизнь. Довольно.

И все-таки, когда Турбин отпустил фельдшеров, он оказался в пустом сумеречном классе. Угольными пятнами глядели со стен доски. И парты стояли рядами. Он не удержался, поднял крышку и присел. Трудно, тяжело, неудобно. Как близка черная доска. Да, клянусь, клянусь, тот самый класс или соседний, потому что вон из окна тот самый вид на Город. Вон черная умершая громада университета. Стрела бульвара в белых огнях, коробки домов, провалы тьмы, стены, высь небес...

А в окнах настоящая опера «Ночь под Рождество», снег и огонечки, дрожат и мерцают... «Желал бы я знать, почему стреляют в Святошине?» И безобидно, и далеко, пушки, как в вату, бу-у, бу-у...

— Довольно.

Турбин опустил крышку парты, вышел в коридор и мимо караулов ушел через вестибюль на улицу. В парадном подъезде стоял пулемет. Прохожих на улице было мало, и шел крупный снег.

Господин полковник провел хлопотливую ночь. Много рейсов совершил он между гимназией и находящейся в двух шагах от нее мадам Анжу. К полуночи машина хорошо работала и полным ходом. В гимназии, тихонько шипя, изливали розовый свет калильные фонари в шарах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и всю ночь бушевало пламя в старинных печах в библиотечных приделах зала.

Юнкера, под командою Мышлаевского, «Отечественными записками» и «Библиотекой для чтения» за 1863 год разожгли белые печи и потом всю ночь непрерывно,

гремя топорами, старыми партами топили их. Студзинский и Мышлаевский, приняв по два стакана спирта (господин полковник сдержал свое обещание и доставил его в количестве достаточном, чтобы согреться, именно — полведра), сменяясь, спали по два часа вповалку с юнкерами, на шинелях у печек, и багровые огни и тени играли на их лицах. Потом вставали, всю ночь ходили от караула к караулу, проверяя посты. И Карась с юнкерами-пулеметчиками дежурил у выходов в сад. И в бараньих тулупах, сменяясь каждый час, стояли четверо юнкеров у толстомордых мортир.

У мадам Анжу печка раскалилась, как черт, в трубах звенело и несло, один из юнкеров стоял на часах у двери, не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда, и пять юнкеров мертво спали в магазине, расстелив шинели. К часу ночи господин полковник окончательно обосновался у мадам Анжу, зевал, но еще не ложился, все время беседуя с кем-то по телефону. А в два часа ночи, свистя, подъехала мотоциклетка, и из нее вылез военный человек в серой шинели.

— Пропустить. Это ко мне.

Человек доставил полковнику объемистый узел в простыне, перевязанный крест-накрест веревкою. Господин полковник собственноручно запрятал его в маленькую каморочку, находящуюся в приделе магазина, и запер ее на висячий замок. Серый человек покатил на мотоциклетке обратно, а господин полковник перешел на галерею и там, разложив шинель и положив под голову груду лоскутов, лег и, приказав дежурному юнкеру разбудить себя ровно в шесть с половиной, заснул.

7

Глубокою ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире — Владимирской горки. Кирпичные дорожки и аллеи были скрыты под нескончаемым пухлым пластом нетронутого снега.

Ни одна душа в Городе, ни одна нога не беспокоила зимою многоэтажного массива. Кто пойдет на Горку ночью, да еще в такое время? Да страшно там просто! И храбрый человек не пойдет. Да и делать там нечего. Одно

всего освещенное место: стоит на страшном тяжелом постаменте уже сто лет чугунный черный Владимир и держит в руке, стоймя, трехсаженный крест. Каждый вечер, лишь окутают сумерки обвалы, скаты и террасы, зажигается крест и горит всю ночь. И далеко виден, верст за сорок виден в черных далях, ведущих к Москве. Но тут освещает немного, падает, задев зелено-черный бок постамента, бледный электрический свет, вырывает из тьмы балюстраду и кусок решетки, окаймляющей среднюю террасу. Больше ничего. А уж дальше, дальше!.. Полная тьма. Деревья во тьме, странные, как люстры в кисее, стоят в шапках снега, и сугрóбы кругом по самое горло. Жуть.

Но, понятное дело, ни один человек и не потащится сюда. Даже самый отважный. Незачем, самое главное. Совсем другое дело в Городе. Ночь тревожная, важная, военная иочь. Фонари горят бусинами. Немцы спят, но вполглаза спят. В самом темном переулке вдруг рождается голубой конус.

— Halt!

Хруст... Хруст... посредине улицы ползут пешки в тазах. Черные наушники... Хруст... Винтовочки не за плечами, а на руку. С немцами шутки шутить нельзя, пока что... Что бы там ни было, а немцы — штука серьезная. Похожи на навозных жуков.

— Документ!

— Halt!

Конус из фонарика. Эгей!..

И вот тяжелая черная лакированная машина, впереди четыре огня. Не простая машина, потому что вслед за зеркальной кареткой скачет облегченной рысью конвой — восемь конных. Но немцам это все равно. И машине кричат:

— Halt!

— Куда? Кто? Зачем?

— Командующий, генерал от кавалерии Белоруков.

Ну, это, конечно, другое дело. Это, пожалуйста. В стеклах кареты, в глубине, бледное усатое лицо. Неясный блеск на плечах генеральской шинели. И тазы немецкие козырнули. Правда, в глубине души им все равно, что командующий Белоруков, что Петлюра, что предводитель

зулусов в этой паршивой стране. Но тем не менее. У зулусов жить — по-зулусьи выть. Козырнули тазы. Международная вежливость, как говорится.

Ночь важная, военная. Из окон мадам Анжу падают лучи света. В лучах дамские шляпы, и корсеты, и панталоны, и севастопольские пушки. И ходит, ходит маятник-юнкер, зябнет, штыком чертит императорский вензель. И там, в Александровской гимназии, льют шары, как на балу. Мышлаевский, подкрепившись водкой в количестве достаточном, ходит, ходит, на Александра Благословенного поглядывает, на ящик с выключателями посматривает. В гимназии довольно весело и важно. В караулах как-никак восемь пулеметов и юнкера — это вам не студенты!.. Они, знаете ли, драться будут. Глаза у Мышлаевского, как у кролика, — красные. Которая уж ночь и сна мало, а водки много и тревоги порядочно. Ну, в Городе с тревогою пока что легко справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй. Правда, раз пять остановят. Но если документы налицо, иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешься, но иди...

А на Горку кто полезет? Абсолютная глупость. Да еще и ветер там на высотах... пройдет по сугробным аллеям, так тебе чертовы голоса померещатся. Если бы кто и полез на Горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный человек, который при всех властях мира чувствует себя среди людей, как волк в собачьей стае. Полный мизерабль, как у Гюго. Такой, которому в Город и показываться-то не следует, а уж если и показываться, то на свой риск и страх. Проскочишь между патрулями — твоя удача, не проскочишь — не прогневайся. Ежели бы такой человек на Горку и попал, пожалеть его искренне следовало бы по человечеству.

Ведь это и собаке не пожелаешь. Ветер-то ледяной. Пять минут на нем не побудешь и домой запросишься, а...

— Як часов с пьять? Эх...Эх... померзнем!..

Главное, ходу нет в верхний Город мимо панорамы и водонапорной башни, там, изволите ли видеть, в Михайловском переулке, в монастырском доме, штаб князя Бе-

лорукова. И поминутно — то машины с конвоем, то машины с пулеметами, то...

— Офицерня, ах твою душу, щоб вам повылазило!

Патрули, патрули, патрули.

А по террасам вниз в нижний Город — Подол — и думать нечего, потому что на Александровской улице, что вьется у подножия Горки, во-первых, фонари цепью, а во-вторых, немцы, хай им бис! патруль за патрулем! Разве уж под утро? Да ведь замерзнем до утра. Ледяной ветер — гу-у... — пройдет по аллеям, и мерещится, что бормочут в сугробах у решетки человеческие голоса.

— Замерзнем, Кирпатый!

— Терпи, Немоляка, терпи. Походят патрули до утра, заснут. Проскочим на Взвоз, отогреемся у Сычихи.

Пошевелится тьма вдоль решетки, и кажется, что три чернейших тени жмутся к парапету, тянутся, глядят вниз, где как на ладони Александровская улица. Вот она молчит, вот пуста, но вдруг побегут два голубоватых конуса — пролетят немецкие машины, или же покажутся черные лепешечки тазов и от них короткие острые тени... И как на ладони видно...

Отделяется одна тень на Горке, и сипит ее волчий острый голос:

— Э... Немоляка... Рискуем! Ходим. Может, проскочим...

Нехорошо на Горке.

И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через зал, где стоят аляповатые золоченые стулья, по лоснящемуся паркету мышиной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звоночек, прозвякали чьи-то шпоры. В спальне зеркала в тусклых рамах с коронами отразили странную неестественную картину. Худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем бритом пергаментном лице человек, в богатой черкеске с серебряными газырями, заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и двое русских. Один в черкеске, как и сам центральный человек, другой во френче и рейтузах,

обличавших их кавалергардское происхождение, но в клиновидных гетманских погонах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили еще одного человека в форме военного врача германской армии. Он принес с собой целую груду пакетов, вскрыл их и наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз да тонкий рот, чуть приоткрывавший золотые и платиновые коронки.

Неприличная ночная суета во дворце продолжалась еще некоторое время. Каким-то офицерам, слоняющимся в зале с аляповатыми стульями и в зале соседнем, вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шратт, разряжая револьвер, нечаянно ранил себя в шею и что его сейчас срочно нужно отправить в германский госпиталь. Где-то звенел телефон, еще где-то пела птичка — пиу! Затем к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые резные ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом, и закутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шратта вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее. Ушла машина, раз глухо рявкнув на повороте при выезде из ворот.

Во дворце же продолжалась до самого утра суетня и тревога, горели огни в залах портретных и в залах золоченых, часто звенел телефон, и лица у лакеев стали как будто наглыми, и в глазах заиграли веселые огни...

В маленькой узкой комнатке, в первом этаже дворца, у телефонного аппарата оказался человек в форме артиллерийского полковника. Он осторожно прикрыл дверь в маленькую обеленную, совсем не похожую на дворцовую, аппаратную комнату и лишь тогда взялся за трубку. Он попросил бессонную барышню на станции дать ему номер 212. И, получив его, сказал «мерси», строго и тревожно сдвинув брови, и спросил интимно и глуховато:

— Это штаб мортирного дивизиона?

Увы, увы! Полковнику Малышеву не пришлось спать до половины седьмого, как он рассчитывал. В четыре часа ночи птичка в магазине мадам Анжу запела чрезвычайно настойчиво, и дежурный юнкер вынужден был господина полковника разбудить. Господин полковник проснулся с замечательной быстротой и сразу и остро стал соображать, словно вовсе никогда и не спал. И в претензии на юнкера за прерванный сон господин полковник не был. Мотоциклетка увлекла его в начале пятого утра куда-то, а когда к пяти полковник вернулся к мадам Анжу, он так же тревожно и строго в боевой нахмуренной думе сдвинул свои брови, как и тот полковник во дворце, который из аппаратной вызывал мортирный дивизион.

В семь часов на Бородинском поле, освещенном розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрассветного холода, гудя и ворча говором, та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра. Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах его был тот же косоватый отблеск тревоги, как и у полковника Малышева начиная с четырех часов утра. Но всякий, кто увидал бы и полковника и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чем разница: у Студзинского в глазах тревога предчувствия, а у Малышева в глазах тревога определенная, когда все уже совершенно ясно, понятно и погано. У Студзинского из-за обшлага его шинели торчал длинный список артиллеристов днвизиона. Студзинский только что произвел перекличку и убедился, что двадцати человек не хватает. Поэтому список носил на себе след резкого движения штабс-капитанских пальцев: он был скомкан.

В похолодевшем зале вились дымки — в офицерской группе курили.

Минута в минуту, в семь часов перед строем появился полковник Малышев, и, как предыдущим днем, его встретил приветственный грохот в зале. Господин полковник, как и в предыдущий день, был опоясан серебряной шашкой, но в силу каких-то причин тысяча огней уже не играла на серебряной резьбе. На правом бедре у полковни-

ка покоился револьвер в кобуре, и означенная кобура, вероятно, вследствие несвойственной полковнику Малышеву рассеянности, была расстегнута.

Полковник выступил перед дивизионом, левую руку в перчатке положил на эфес шашки, а правую без перчатки нежно наложил на кобуру и произнес следующие слова:

— Приказываю господам офицерам и артиллеристам мортирного дивизиона слушать внимательно то, что я им скажу! За ночь в нашем положении, в положении армии, и, я бы сказал, в государственном положении на Украине произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион распущен! Предлагаю каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия и захватив здесь в цейхгаузе все, что каждый из вас пожелает и что он может унести на себе, разойтись по домам, скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня!

Он помолчал и этим как будто бы еще больше подчеркнул ту абсолютно полную тишину, что была в зале. Даже фонари перестали шипеть. Все взоры артиллеристов и офицерской группы сосредоточились на одной точке в зале, именно на подстриженных усах господина полковника.

Он заговорил вновь:

— Этот вызов последует с моей стороны немедленно, лишь произойдет какое-либо изменение в положении. Но должен вам сказать, что надежд на него мало... Сейчас мне самому еще неизвестно, как сложится обстановка, но я думаю, что лучшее, на что может рассчитывать каждый... э... (полковник вдруг выкрикнул следующее слово) лучший! из вас — это быть отправленным на Дон. Итак: приказываю всему дивизиону, за исключением господ офицеров и тех юнкеров, которые сегодня ночью несли караулы, немедленно разойтись по домам!

— А?! А?! Га, га, га! — прошелестело по всей громаде, и штыки в ней как-то осели. Замелькали растерянные лица, и как будто где-то в шеренгах мелькнуло несколько обрадованных глаз...

Из офицерской группы выделился штабс-капитан Студзинский, как-то иссиня-бледноватый, косящий глазами, сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров. Мышлаев-

ский смотрел не на него, а все туда же, на усы полковника Малышева, причем вид у него был такой, словно он хочет, по своему обыкновению, выругаться скверными матерными словами. Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами. А в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово «арест»!..

— Что такое? Как? — где-то баском послышалось в шеренге среди юнкеров.

— Арест!..

— Измена!!

Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой, вдруг скосил глаза на ручку кобуры и крикнул:

— Эй, первый взвод!

Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и произошла странная суета.

— Господин полковник! — совершенно сиплым голосом сказал Студзинский. — Вы арестованы.

— Арестовать его!! — вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику.

— Постойте, господа! — крикнул медленно, но прочно соображающий Карась.

Мышлаевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдернул его назад.

— Пустите меня, господин поручик! — злобно дернув ртом, выкрикнул прапорщик.

— Тише! — прокричал чрезвычайно уверенный голос господина полковника. Правда, и ртом он дергал не хуже самого прапорщика, правда, и лицо его пошло красными пятнами, но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей офицерской группы. И все остановились.

— Тише! — повторил полковник. — Приказываю вам стать на места и слушать!

Воцарилось молчание, и у Мышлаевского резко насторожился взор. Было похоже, что какая-то мысль уже проскочила в его голове, и он ждал уже от господина полковника вещей важных и еще более интересных, чем те, которые тот уже сообщил.

— Да, да, — заговорил полковник, дергая щекой, — да... да... Хорош бы я был, если бы пошел в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог. Очень был бы хорош! Но то, что простительно добровольцу-студенту, юноше-юнкеру, в крайнем случае, прапорщику, ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан!

При этом полковник вонзил в Студзинского исключительной резкости взор. В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прыгали искры настоящего раздражения. Опять стала тишина.

— Ну, так вот-с, — продолжал полковник. — В жизнь свою не митинговал, а, видно, сейчас придется. Что ж, помитингуем! Ну, так вот-с: правда, ваша попытка арестовать своего командира обличает в вас хороших патриотов, но она же показывает, что вы э... офицеры, как бы выразиться? — неопытные! Коротко: времени у меня нет, и, уверяю вас, — зловеще и значительно подчеркнул полковник, — и у вас тоже. Вопрос: кого желаете защищать?

Молчание.

— Кого желаете защищать, я спрашиваю? — грозно повторил полковник.

Мышлаевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из толпы, козырнул и молвил:

— Гетмана обязаны защищать, господин полковник.

Глаза его светло и смело глядели на полковника.

— Гетмана? — переспросил полковник. — Отлично-с. Дивизион, смирно! — вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул. — Слушать!! Гетман сегодня около четырех часов утра, позорно бросив нас всех на произвол судьбы, бежал! Бежал, как последняя каналья и трус! Сегодня же, через час после гетмана, бежал туда же, куда и гетман, то есть в германский поезд, командующий нашей армией генерал от кавалерии Белоруков. Не позже чем через несколько часов мы будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки. Слушайте: у Петлюры на подступах к городу свыше чем стотысячная армия, и завтрашний день... да что я говорю, не завтрашний, а сегодняшний, — полковник указал рукой на окно, где уже начинал синеть покров над Городом, — разрозненные, разбитые части несчастных офицеров и юнкеров, брошенные штаб-

ными мерзавцами и этими двумя прохвостами, которых следовало бы повесить, встретятся с прекрасно вооруженными и превышающими их в двадцать раз численностью войсками Петлюры... Слушайте, дети мои! — вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в старшие братья всем стоящим под штыками. — Слушайте! Я, кадровый офицер, вынесший войну с германцами, чему свидетель штабс-капитан Студзинский, на свою совесть беру и ответственность, все!.. все! Вас предупреждаю! Вас посылаю домой!! Понятно? — прокричал он.

— Да... а... га, — ответила масса, и штыки ее закачались. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер.

Штабс-капитан Студзинский совершенно неожиданно для всего дивизиона, а вероятно, и для самого себя, странным, не офицерским, жестом ткнул руками в перчатках в глаза, причем дивизионный список упал на пол, и заплакал.

Тогда, заразившись от него, зарыдали еще многие юнкера, шеренги сразу развалились, и голос Радамеса-Мышлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубачу:

— Юнкер Павловский! Бейте отбой!!

— Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии? — светло глядя на полковника, сказал Мышлаевский.

— Не разрешаю, — вежливо и спокойно ответил ему Малышев.

— Господин полковник, — задушевно сказал Мышлаевский, — Петлюре достанется цейхгауз, орудия и главное, — Мышлаевский указал рукою в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра.

— Достанется, — вежливо подтвердил полковник.

— Но как же, господин полковник?..

Малышев повернулся к Мышлаевскому, глядя на него внимательно, сказал следующее:

— Господин поручик, Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней, и единственно, о чем я жалею, что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более

дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мною не говорить.

— Господин полковник, — сказал Студзинский, остановившись перед Малышевым, — от моего лица и от лица офицеров, которых я толкнул на безобразную выходку, прошу вас принять наши извинения.

— Принимаю, — вежливо ответил полковник.

Когда над Городом начал расходиться утренний туман, тупорылые мортиры стояли у Александровского плаца без замков, винтовки и пулеметы, развинченные и разломанные, были разбросаны в тайниках чердака. В снегу, в ямах и в тайниках подвалов были разбросаны груды патронов, и шары больше не источали света в зале и коридорах. Белый щит с выключателями разломали штыками юнкера под командой Мышлаевского.

В окнах было совершенно сине. И в синеве на площадке оставались двое, уходящие последними, — Мышлаевский и Карась.

— Предупредил ли Алексея командир? — озабоченно спросил Мышлаевский Карася.

— Конечно, командир предупредил, ты ж видишь, что он не явился? — ответил Карась.

— К Турбиным не попадем сегодня днем?

— Нет уж, днем нельзя, придется закапывать... то да се. Едем к себе на квартиру.

В окнах было сине, а на дворе уже беловато, и вставал и расходился туман.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

8

Да, был виден туман. Игольчатый мороз, косматые лапы, безлунный, темный, а потом предрассветный снег, за Городом в далях маковки синих, усеянных сусальными звездами церквей и не потухающий до рассвета, приходящего с московского берега Днепра, в бездонной высоте над городом Владимирский крест.

К утру он потух. И потухли огни над землей. Но день особенно не разгорался, обещал быть серым, с непроницаемой завесой не очень высоко над Украиной.

Полковник Козырь-Лешко проснулся в пятнадцати верстах от Города именно на рассвете, когда кисленький парный светик пролез в подслеповатое оконце хаты в деревне Попелюхе. Пробуждение Козыря совпало со словом «диспозиция».

Первоначально ему показалось, что он увидел его в очень теплом сне и даже хотел отстранить рукой, как холодное слово. Но слово распухло, влезло в хату вместе с отвратительными красными прыщами на лице ординарца и смятым конвертом. Из сумки со слюдой и сеткой Козырь вытащил под оконцем карту, нашел на ней деревню Борхуны, за Борхунами нашел Белый Гай, проверил ногтем рогулю дорог, усеянную, словно мухами, точками кустарников по бокам, а затем и огромное черное пятно — Город. Воняло махоркой от владельца красных прыщей, полагавшего, что курить можно и при Козыре и от этого война ничуть не пострадает, и крепким второсортным табаком, который курил сам Козырь.

Козырю сию минуту предстояло воевать. Он отнесся к этому бодро, широко зевнул и забренчал сложной сбруей, перекидывая ремни через плечи. Спал он в шинели эту ночь, даже не снимая шпор. Баба завертелась с кринкой молока. Никогда Козырь молока не пил и сейчас не стал. Откуда-то приползли ребята. И один из них, самый маленький, полз по лавке совершенно голым задом, подбираясь к Козыреву маузеру. И не добрался, потому что Козырь маузер пристроил на себя.

Всю свою жизнь до 1914 года Козырь был сельским учителем. В четырнадцатом году попал на войну в драгунский полк и к 1917 году был произведен в офицеры. А рассвет четырнадцатого декабря восемнадцатого года под оконцем застал Козыря полковником петлюровской армии, и никто в мире (и менее всего сам Козырь) не мог бы сказать, как это случилось. А произошло это потому, что война для него, Козыря, была призванием, а учительство лишь долгой и крупной ошибкой. Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей жизни. Целых лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом, например, чита-

ет римское право, а на двадцать первом — вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди сплошь и рядом попадают на свое место только к концу жизни. Козырь попал к сорока пяти годам. А до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным.

— А ну-те, скажите хлопцам, щоб выбирались с хат, тай по коням, — произнес Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе.

Курились белые хатки в деревне Попелюхе, и выезжал строй полковника Козыря сабелюк на четыреста. В рядах над строем курилась махорка, и нервно ходил под Козырем гнедой пятивершковый жеребец. Скрипели дровни обоза, на полверсты тянулись за полком. Полк качался в седлах, и тотчас же за Попелюхой развернулся в голове конной колонны двухцветный прапор — плат голубой, плат желтый, на древке.

Козырь чаю не терпел и всему на свете предпочитал утром глоток водки. Царскую водку любил. Не было ее четыре года, а при гетманщине появилась на всей Украине. Прошла водка из серой баклажки по жилам Козыря веселым пламенем. Прошла водка и по рядам из манерок, взятых еще со склада в Белой Церкви, и лишь прошла, ударила в голове колонны трехрядная итальянка и запел фальцет:

Гай, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким ..

А в пятом ряду рванули басы:

Там орала дивчинонька
Воликом чориеньким...
Орала... орала,
Не вмила гукаты.
Тай наняла козаченька
На скрипочке граты.

— Фью... ах! Ах, тах, тах!.. — засвистал и защелкал веселым соловьем всадник у прапора. Закачались пики, и тряслись черные шлыки гробового цвета с позументом и

гробовыми кистями. Хрустел снег под тысячью кованых копыт. Ударил радостный торбан.

— Так его! Не журись, хлопцы, — одобрительно сказал Козырь. И завился винтом соловей по снежным украинским полям.

Прошли Белый Гай, раздернулась завеса тумана, и по всем дорогам зачернело, зашевелилось, захрустело. У Гая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысячи с полторы людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинакие жупаны добротного германского сукна, были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки — галичане. А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты, подпоясанные желтыми сыромятными ремнями. И на головах у всех колыхались германские разлапанные шлемы поверх папах. Кованые боты уминали снег.

От силы начали чернеть белые пути к Городу.

— Слава! — кричала проходящая пехота желто-блакитному прапору.

— Слава! — гукал Гай перелесками.

Славе ответили пушки позади и на левой руке. Командир корпуса облоги, полковник Торопец, еще в ночь послал две батареи к Городскому лесу. Пушки стали полукругом в снежном море и с рассветом начали обстрел. Шестидюймовые волнами грохота разбудили снежные корабельные сосны. По громадному селению Пуще-Водице два раза прошло по удару, от которых в четырех просеках в домах, сидящих в снегу, враз вылетели все стекла. Несколько сосен развернуло в щепы и дало многосаженные фонтаны снегу. Но затем в Пуще смолкли звуки. Лес стал, как в полусне, и только потревоженные белки шлялись, шурша лапками, по столетним стволам. Две батареи после этого снялись из-под Пущи и пошли на правый фланг. Они пересекли необъятные пахотные земли, лесистое Урочище, повернули по узкой дороге, дошли до разветвления и там развернулись уже в виду Города. С раннего утра на Подгородней, на Савской, в предместье Города, Куреневке, стали рваться высокие шрапнели. В низком снежном небе било погремушками, словно кто-то играл. Там жители домишек уже с утра сидели в погребах, и в утренних сумерках было видно, как иззябшие

цепи юнкеров переходили куда-то ближе к сердцевине Города. Впрочем, пушки вскоре стихли и сменились веселой тарахтящей стрельбой где-то на окраине, на севере. Затем и она утихла.

Поезд командира корпуса облоги Торопца стоял на разъезде верстах в пяти от занесенного снегом и оглушенного буханьем и перекатами мертвенного поселка Святошино, в громадных лесах. Всю ночь в шести вагонах не гасло электричество, всю ночь звенел телефон на разъезде и пищали полевые телефоны в измызганном салоне полковника Торопца. Когда же снежный день совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущей из Святошина на Пост-Волынский, и птички запели в желтых ящиках, и худой, нервный Торопец сказал своему адъютанту Худяковскому:

— Взялы Святошино. Запропонуйте, будьте ласковы, пане адъютант, нехай пóтяг передадуть на Святошино.

Поезд Торопца медленно пошел между стенами строевого зимнего леса и стал близ скрещенья железнодорожной линии с огромным шоссе, стрелой вонзающимся в Город. И тут, в салоне, полковник Торопец стал выполнять свой план, разработанный им в две бессонных ночи в этом самом клоповом салоне № 4173.

Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон. На севере от Городского леса и пахотных земель, на западе от взятого Святошина, на юго-западе от злосчастного Поста-Волынского, на юге за рощами, кладбищами, выгонами и стрельбищем, опоясанными железной дорогой, повсюду по тропам и путям и безудержно просто по снежным равнинам чернела и ползла и позвякивала конница, скрипели тягостные пушки, и шла и увязала в снегу истомившаяся за месяц облоги пехота Петлюриной армии.

В вагон-салоне с зашарканным суконным полом поминутно пели тихие нежные петушки, и телефонисты Франько и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть.

— Ти-у... пи-у... слухаю! пи-у... ти-у...

План Торопца был хитер, хитер был чернобровый, бритый, нервный полковник Торопец. Недаром послал

он две батареи под Городской лес, недаром грохотал в морозном воздухе и разбил трамвайную линию на лохматую Пущу-Водицу. Недаром надвинул потом пулеметы со стороны пахотных земель, приближая их к левому флангу. Хотел Торопец ввести в заблуждение защитников Города, что он, Торопец, будет брать Город с его, Торопца, левого фланга (с севера), с предместья Куреневки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию, а самому ударить в Город в лоб, прямо от Святошина по Брест-Литовскому шоссе, и, кроме того, с крайнего правого фланга, с юга, со стороны села Демиевки.

Вот в исполнение плана Торопца двигались части Петлюрина войска по дорогам с левого фланга на правый, и шел под свист и гармонику со старшинами в голове славный черношлычный полк Козыря-Лешко.

— Слава! — перелесками гукал Гай. — Слава!

Подошли, оставили Гай в стороне и, уже пересекши железнодорожное полотно по бревенчатому мосту, увидали Город. Он был еще теплый со сна, и над ним курился не то туман, не то дым. Приподнявшись на стременах, смотрел в цейсовские стекла Козырь туда, где громоздились кровли многоэтажных домов и купола собора старой Софии.

На правой руке у Козыря уже шел бой. Верстах в двух медно бухали пушки и стрекотали пулеметы. Там Петлюрина пехота цепочками перебегала к Посту-Волынскому, и цепочками же отваливала от Поста, в достаточной мере ошеломленная густым огнем, жиденькая и разношерстная белогвардейская пехота...

Город. Низкое густое небо. Угол. Домишки на окраине, редкие шинели.

— Сейчас передавали, что будто с Петлюрой заключено соглашение, — выпустить все русские части с оружием на Дон к Деникину...

— Ну?

Пушки... Пушки... бух... бу-бу-бу...

А вот завыл пулемет.

Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе:

— Но, позволь, ведь тогда же нужно прекратить сопротивление?..

Тоска в юнкерском голосе:

— А черт их знает!

Полковника Щеткина уже с утра не было в штабе, и не было по той простой причине, что штаба этого более не существовало. Еще в ночь под четырнадцатое число штаб Щеткина отъехал назад, на вокзал Города I, и эту ночь провел в гостинице «Роза Стамбула», у самого телеграфа. Там ночью у Щеткина изредка пела телефонная птица, но к утру она затихла. А утром двое адъютантов полковника Щеткина бесследно исчезли. Через час после этого и сам Щеткин, порывшись зачем-то в ящиках с бумагами и что-то порвав в клочья, вышел из заплеванной «Розы», но уже не в серой шинели с погонами, а в штатском мохнатом пальто и в шляпе пирожком. Откуда они взялись — никому не известно.

Взяв в квартале расстояния от «Розы» извозчика, штатский Щеткин уехал в Липки, прибыл в тесную, хорошо обставленную квартиру с мебелью, позвонил, поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушел с нею в затаенную спальню. Прошептав прямо в округлившиеся от ужаса глаза блондинки слова:

— Все кончено! О, как я измучен... — полковник Щеткин удалился в альков и там уснул после чашки черного кофе, изготовленного руками золотистой блондинки.

Ничего этого не знали юнкера первой дружины. А жаль! Если бы знали, то, может быть, осенило бы их вдохновение, и, вместо того чтобы вертеться под шрапнельным небом у Поста-Волынского, отправились бы они в уютную квартирку в Липках, извлекли бы оттуда сонного полковника Щеткина и, выведя, повесили бы его на фонаре, как раз напротив квартирки с золотистою особой.

Хорошо бы было это сделать, но они не сделали, потому что ничего не знали и не понимали.

Да и никто ничего не понимал в Городе, и в будущем, вероятно, не скоро поймут. В самом деле: в Городе железные, хотя, правда, уже немножко подточенные немцы, в Городе усостриженный тонкий Лиса Патрикеевна гетман (о ранении в шею таинственного майора фон Шратта знали утром очень немногие), в Городе его сиятельство князь Белоруков, в Городе генерал Картузов, формирующий дружины для защиты матери городов русских, в Городе как-никак и звенят и поют телефоны штабов (никто еще не знал, что они с утра уже начали разбегаться), в Городе густо-погонно. В Городе ярость при слове «Петлюра», и еще в сегодняшнем же номере газеты «Вести» смеются над ним блудливые петербургские журналисты, в Городе ходят кадеты, а там, у Караваевских дач, уже свищет соловьем разноцветная шлычная конница и заходят с левого фланга на правый облегченною рысью лихие гайдамаки. Если они свищут в пяти верстах, то спрашивается, на что надеется гетман? Ведь по его душу свищут! Ох, свищут... Может быть, немцы за него заступятся? Но тогда почему же тумбы-немцы равнодушно улыбаются в свои стриженые немцевы усы на станции Фастов, когда мимо них эшелон за эшелоном к Городу проходят Петлюрины части? Может быть, с Петлюрой соглашение, чтобы мирно впустить его в Город? Но тогда какого черта белые офицерские пушки стреляют в Петлюру?

Нет, никто не поймет, что происходило в Городе днем четырнадцатого декабря.

Звенели штабные телефоны, но, правда, все реже, и реже, и реже...

Реже!

Реже!

Дрррр!..

— Тиу...

— Что у вас делается?

— Тиу...

— Пошлите патроны полковнику...

— Степанову...

— Иванову.

— Антонову!

— Стратонову!..

— На Дон... На Дон бы, братцы... что-то ни черта у нас не выходит.

— Ти-у...

— А, к матери штабную сволочь!

— На Дон!..

Все реже и реже, а к полудню уже совсем редко.

Кругом Города, то здесь, то там, закипит грохот, потом прервется... Но Город еще в полдень жил, несмотря на грохот, жизнью, похожей на обычную. Магазины были открыты и торговали. По тротуарам бегала масса прохожих, хлопали двери, и ходил, позвякивая, трамвай.

И вот в полдень с Печерска завел музыку веселый пулемет. Печерские холмы отразили дробный грохот, и он полетел в центр Города. Позвольте, это уже совсем близко!.. В чем дело? Прохожие останавливались и начали июхать воздух. И кой-где на тротуарах сразу поредело.

Что? Кто?

— Аррррррррррррррррр-па-па-па-па-па! Па! Па! Па! рррррррррррррррррр!!

— Кто?

— Як кто? Шо ж вы, добродию, не знаете? Це полковник Болботун.

Да-с, вот тебе и взбунтовался против Петлюры!

Полковник Болботун, наскучив исполнением трудной генерально-штабной думы полковника Торопца, решил несколько ускорить события. Померзли Болботуновы всадники за кладбищем на самом юге, где рукой уже было подать до мудрого снежного Днепра. Померз и сам Болботун. И вот поднял Болботун вверх стек, и тронулся его конный полк справа по три, растянулся по дороге и подошел к полотну, тесно опоясывающему предместье Города. Никто тут полковника Болботуна не встречал. Взвыли шесть Болботуновых пулеметов так, что пошел раскат по всему урочищу Нижняя Теличка. В один миг Болботун перерезал линию железной дороги и остановил пассажирский поезд, который только прошел стрелу железнодорожного моста и привез в Город свежую порцию москвичей и петербуржцев со сдобными бабами и лохматыми собачками. Поезд совершенно ошалел, но Болботу-

ну некогда было возиться с собачками в этот момент. Тревожные составы товарных порожняков с Города II, Товарного, пошли на Город I, Пассажирский, засвистали маневровые паровозы, а Болботуновы пули устроили неожиданный град на крышах домишек на Святотроицкой улице. И вошел в Город и пошел, пошел по улице Болботун и шел беспрепятственно до самого военного училища, во все переулки высылая конные разведки. И напоролся Болботун именно только у Николаевского облупленного колонного училища. Здесь Болботуна встретил пулемет и жидкий огонь пачками какой-то цепи. В головном взводе Болботуна в первой сотне убило казака Буценко, пятерых ранило н двум лошадям перебило ноги. Болботун несколько задержался. Показалось ему почему-то, что невесть какие силы стоят против него. А на самом деле салютовали полковнику в синем шлыке тридцать человек юнкеров и четыре офицера с одним пулеметом.

Шеренги Болботуна по команде спешились, залегли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Печерск наполнился грохотом, эхо заколотило по стенам, и в районе Миллионной улицы закипело, как в чайнике.

И тотчас Болботуновы поступки получили отражение в Городе:

начали бухать железные шторы на Елисаветинской, Виноградной и Левашовской улицах. Веселые магазины ослепли. Сразу опустели тротуары и сделались неприятно-гулкими. Дворники проворно закрыли ворота.

И в центре Города получилось отражение:

стали потухать петухи в штабных телефонах.

Пищат с батареи в штаб дивизиона. Что за чертовщина, не отвечают! Пищат в уши из дружины в штаб командующего, чего-то добиваются. А голос в ответ бормочет какую-то чепуху.

— Ваши офицеры в погонах?

— А, что такое?

— Ти-у... Ти-у...

— Выслать немедленно отряд на Печерск!

— А, что такое?

— Ти-у...

По улицам поползло: Болботун, Болботун, Болботун, Болботун...

Откуда узнали, что это именно Болботун, а не кто-нибудь другой? Неизвестно, но узнали. Может быть, вот почему: с полудня среди пешеходов и зевак обычного городского типа появились уже какие-то в пальто с барашковыми воротниками. Ходили, шныряли. Усы у них вниз, червячками, как на картинке Лебідя-Юрчика. Юнкеров, кадетов, золотопогонных офицеров провожали взглядами, долгими и липкими. Шептали:

— Це Бовботун в мисто прийшов.

И шептали это без всякой горечи. Напротив, в глазах их читалось явственное — «Слава!».

— Сла-ва-ва-вав-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва... — холмы Печерска.

Поехала околесина на дрожках:

— Болботун — великий князь Михаил Александрович.

— Наоборот: Болботун — великий князь Николай Николаевич.

— Болботун — просто Болботун.

— Будет еврейский погром.

— Наоборот: они с красными бантами.

— Бегите-ка лучше домой.

— Болботун против Петлюры.

— Наоборот: он за большевиков.

— Совсем наоборот: он за царя, только без офицеров.

— Гетман бежал?

— Неужели? Неужели? Неужели? Неужели? Неужели? Неужели?

— Ти-у... Ти-у... Ти-у...

Разведка Болботуна с сотником Галаньбой во главе пошла по Миллионной улице, и не было ни одной души на Миллионной улице. И тут, представьте себе, открылся подъезд и выбежал навстречу пятерым конным хвостатым гайдамакам не кто иной, как знаменитый подрядчик Яков Григорьевич Фельдман. Сдурели вы, что ли, Яков Григорьевич, что вам понадобилось бегать, когда тут происходят такие дела? Да, вид у Якова Григорьевича был такой, как будто он сдурел. Котиковый пирожок сидел у него на самом затылке и пальто нараспашку. И глаза блуждающие.

Было от чего сдуреть Якову Григорьевичу Фельдману. Как только заклокотало у военного училища, из светлой спаленки жены Якова Григорьевича раздался стон. Он повторился и замер.

— Ой, — ответил стону Яков Григорьевич, глянул в окно и убедился, что в окне очень нехорошо. Кругом грохот и пустота.

А стон разросся и, как ножом, резнул сердце Якова Григорьевича. Сутулая старушка, мамаша Якова Григорьевича, вынырнула из спальни и крикнула:

— Яша! Ты знаешь? Уже!

И рвался мыслями Яков Григорьевич к одной цели — на самом углу Миллионной улицы у пустыря, где на угловом домике уютно висела ржавая с золотом вывеска:

Повивальная бабка
Е. Т. Шадурская.

На Миллионной довольно-таки опасно, хоть она и поперечная, а бьют вдоль с Печерской площади к Киевскому спуску.

Лишь бы проскочить. Лишь бы... Пирожок на затылке, в глазах ужас, и лепится под стенками Яков Григорьевич Фельдман.

— Стый! Ты куды?

Галаньба перегнулся с седла. Фельдман стал темный лицом, глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеленые галунные хвосты гайдамаков.

— Я, панове, мирный житель. Жинка родит. Мне до бабки треба.

— До бабки? А почему ж це ты под стеной ховаешься? а? ж-жидюга?..

— Я, панове...

Нагайка змеей прошла по котиковому воротнику и по шее. Адова боль. Взвизгнул Фельдман. Стал не темным, а белым, и померещилось между хвостами лицо жены.

— Посвидченя!

Фельдман вытащил бумажник с документами, развернул, взял первый листик и вдруг затрясся, тут только вспомнил... ах, Боже мой, Боже мой! Что ж он наделал? Что вы, Яков Григорьевич, вытащилн? Да разве вспомнишь такую мелочь, выбегая из дому, когда из спальни

жены раздается первый стон? О, горе Фельдману! Галаньба мгновенно овладел документом. Всего-то тоненький листик с печатью, — а в этом листике Фельдмана смерть.

> Предъявителю сего господину Фельдману Якову Григорьевичу разрешается свободный выезд и въезд из Города по делам снабжения броневых частей гарнизона Города, а равно и хождение по городу после 12 час. ночи.
>
> Начснабження генерал-майор *Илларионов*
> Адъютант — поручик *Лещинский*

Поставлял Фельдман генералу Картузову сало и вазелин-полусмазку для орудий.

Боже, сотвори чудо!

— Пан сотник, це не тот документ!.. Позвольте...

— Нет, тот, — дьявольски усмехнувшись, молвил Галаньба, — не журись, сами грамотны, прочитаем.

Боже! Сотвори чудо. Одиннадцать тысяч карбованцев... Все берите. Но только дайте жизнь! Дай! Шмаисроэль!

Не дал.

Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Галаньбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове.

9

Полковник Болботун, потеряв семерых казаков убитыми и девять ранеными и семерых лошадей, прошел полверсты от Печерской площади до Резниковской улицы и там вновь остановился. Тут к отступающей юнкерской цепи подошло подкрепление. В нем был один броневик. Серая неуклюжая черепаха с башнями приползла по Московской улице и три раза прокатила по Печерску удар с хвостом кометы, напоминающим шум сухих листьев (три дюйма). Болботун мигом спешился, коноводы увели в переулок лошадей, полк Болботуна разлегся цепями, немножко осев назад к Печерской площади, и началась вялая дуэль. Черепаха запирала Московскую улицу и изредка грохотала. Звукам отвечала жидкая трескотня пачками из устья Суворовской улицы. Там в снегу лежала

цепь, отвалившаяся с Печерской под огнем Болботуна, и ее подкрепление, которое получилось таким образом:

— Др-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р...

— Первая дружина?

— Да, слушаю.

— Немедленно две офицерских роты дайте на Печерск.

— Слушаюсь. Дрррр... Ти... Ти... ти... ти..

И пришло на Печерск: четырнадцать офицеров, три юнкера, один студент, один кадет и один актер из театра миниатюр.

Увы. Одной жидкой цепи, конечно, недостаточно. Даже и при подкреплении одной черепахой. Черепах-то должно было подойти целых четыре. И уверенно можно сказать, что, подойди они, полковник Болботун вынужден был бы удалиться с Печерска. Но они не подошли.

Случилось это потому, что в броневой дивизион гетмана, состоящий из четырех превосходных машин, попал в качестве командира второй машины не кто иной, как знаменитый прапорщик, лично получивший в мае 1917 года из рук Александра Федоровича Керенского георгиевский крест, Михаил Семенович Шполянский.

Михаил Семенович был черный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина. Всему Городу Михаил Семенович стал известен немедленно по приезде своем из города Санкт-Петербурга. Михаил Семенович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах» своих собственных стихов «Капли Сатурна» и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена «Магнитный Триолет». Кроме того, Михаил Семенович не имел себе равных как оратор, кроме того, управлял машинами как военными, так и типа гражданского, кроме того, содержал балерину оперного театра Мусю Форд и еще одну даму, имени которой Михаил Семенович, как джентльмен, никому не открывал, имел очень много денег и щедро раздавал их взаймы членам «Магнитного Триолета»;

пил белое вино,

играл в железку,

купил картину «Купающаяся венецианка»,

ночью жил на Крещатике,

утром в кафе «Бильбокэ»,

днем — в своем уютном номере лучшей гостиницы «Континенталь»,

вечером — в «Прахе»,

на рассвете писал научный труд «Интуитивное у Гоголя».

Гетманский Город погиб часа на три раньше, чем ему следовало бы, именно из-за того, что Михаил Семенович второго декабря 1918 года вечером в «Прахе» заявил Степанову, Шейеру, Слоных и Черемшину (головка «Магнитного Триолета») следующее:

— Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб.

По окончании в «Прахе» ужина, за который уплатил Михаил Семенович, его, Михаила Семеновича, одетого в дорогую шубу с бобровым воротником и цилиндр, провожал весь «Магнитный Триолет» и пятый — некий пьяненький в пальто с козьим мехом. О нем Шполянскому было известно немного: во-первых, что он болен сифилисом, во-вторых, что он написал богоборческие стихи, которые Михаил Семенович, имеющий большие литературные связи, пристроил в один из московских сборников, и, в-третьих, что он — Русаков, сын библиотекаря.

Человек с сифилисом плакал на свой козий мех под электрическим фонарем Крещатика и, впиваясь в бобровые манжеты Шполянского, говорил:

— Шполянский, ты самый сильный из всех в этом городе, который гниет так же, как и я. Ты так хорош, что тебе можно простить даже твое жуткое сходство с Онегиным! Слушай, Шполянский... Это неприлично походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров... В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней... Вот я гнию и горжусь этим... Ты слишком здоров, но ты силен, как винт, поэтому винтись туда!.. Винтись ввысь!.. Вот так...

И сифилитик показал, как нужно это делать. Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж. Проходили проститутки мимо, в зеленых, красных, черных и белых шапочках, красивые, как куклы, и весело бормотали винту:

— Занюхался, т-твою мать?

Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семенович действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете.

— Иди спать, — говорил он винту-сифилитику, немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него, — иди. — Он толкал концами пальцев козье пальто в грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил Семенович подозвал извозчика, крикнул ему: «Мало-Провальная», — и уехал, а козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на Подол.

В квартире библиотекаря, ночью, на Подоле, перед зеркалом, держа зажженную свечу в руке, стоял обнаженный до пояса владелец козьего меха. Страх скакал в глазах у него, как черт, руки дрожали, и сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка.

— Боже мой, Боже мой, Боже мой... Ужас, ужас, ужас... Ах, этот вечер! Я несчастлив. Ведь был же со мной и Шейер, и вот он здоров, он не заразился, потому что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую Лельку? Но какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? О, Господи, Господи... Мне двадцать четыре года, и я мог бы, мог бы... Пройдет пятнадцать лет, может быть, меньше, и вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом — я гнилой, мокрый труп.

Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо, свеча нагорала в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звездная сыпь. Слезы неудержимо текли по щекам больного, и тело его тряслось и колыхалось.

— Мне нужно застрелиться. Но у меня на это нет сил, к чему тебе, мой Бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, мое отражение?

Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книгу, отпечатанную на скверней шей серой бумаге. На обложке ее было напечатано красными буквами:

ФАНТОМИСТЫ —
ФУТУРИСТЫ

Стихи:
М. Шполянского.
Б. Фридмана.
В. Шаркевича.
И. Русакова.
Москва, 1918

На странице тринадцатой раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строки:

Ив. Русаков

БОГОВО ЛОГОВО

Раскинут в небе
Дымный лог.
Как зверь, сосущий лапу,
Великий сущий папа
Медведь мохнатый
Бог.
В берлоге
Логе
Бейте бога.
Звук алый
Боговой битвы
Встречаю матерной молитвой.

— Ах-а-ах, — стиснув зубы, болезненно застонал больной. — Ах, — повторил он в неизбывной муке.

Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол, потом опустился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну:

— Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же ты так жесток?

Зачем? Я знаю, что ты меня наказал. О, как страшно ты меня наказал! Посмотри, пожалуйста, на мою кожу. Клянусь тебе всем святым, всем дорогим на свете, памятью мамы-покойницы — я достаточно наказан. Я верю в тебя! Верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю и прибегаю только к тебе, потому что нигде на свете нет никого, кто бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли! Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет: если бы тебя не было, я был бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что ты существуешь, и во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи. И я верю, что ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о Господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы, избавь меня от кокаина, избавь от слабости духа и избавь меня от Михаила Семеновича Шполянского!..

Свеча наплывала, в комнате холодело, под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками, и на душе у больного значительно полегчало.

Михаил же Семенович Шполянский провел остаток ночи на Малой Провальной улице в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели, тронутые временем, эполеты сороковых годов. Михаил Семенович был без пиджака, в одной белой зефирной сорочке, поверх которой красовался черный с большим вырезом жилет, сидел на узенькой козетке и говорил женщине с бледным и матовым лицом такие слова:

— Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к этой сволочи — гетману в броневой дивизион.

После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый платок, истерзанная полчаса тому назад и смятая поцелуями страстного Онегина, ответила так:

— Я очень жалею, что никогда не понимала и не могу понять твоих планов.

Михаил Семенович взял со столика перед козеткой стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил:

— И не нужно.

Через два дня после этого разговора Михаил Семенович преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась фуражка блином, с офицерской кокардой, вместо штатского платья — короткий полушубок до колен и на нем смятые защитные погоны. Руки в перчатках с раструбами, как у Марселя в «Гугенотах», ноги в гетрах. Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в машинном масле (даже лицо) и почему-то в саже. Один раз, и именно девятого декабря, две машины ходили в бой под Городом и, нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли верст двадцать по шоссе, и после первых же их трехдюймовых ударов и пулеметного воя петлюровские цепи бежали от них. Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир четвертой машины, клялся Михаилу Семеновичу, что все четыре машины, ежели бы их выпустить разом, одни могли бы отстоять Город. Разговор этот происходил девятого вечером, а одиннадцатого в группе Щура, Копылова и других (наводчики, два шофера и механик) Шполянский, дежурный по дивизиону, говорил в сумерки так:

— Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой вопрос, правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетмана. Мы представляем собой в его руках не что иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую черную реакцию. Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с гетманом исторически показано, и из этого столкновения должна родиться третья историческая сила и, возможно, единственно правильная.

Слушатели обожали Михаила Семеновича за то же, за что его обожали в клубе «Прах» — за исключительное красноречие.

— Какая же это сила? — спросил Копылов, пыхтя козьей ножкой.

Умный коренастый блондин Щур хитро прищурился и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток. Груп-

па еще немножечко побеседовала и разошлась. Двенадцатого декабря вечером произошла в той же тесной компании вторая беседа с Михаилом Семеновичем за автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался неизвестным, но зато хорошо известно, что накануне четырнадцатого декабря, когда в сараях дивизиона дежурили Щур, Копылов и курносый Петрухин, Михаил Семенович явился в сараи, имея при себе большой пакет в оберточной бумаге. Часовой Щур пропустил его в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка, а Копылов довольно фамильярно подмигнул на мешок и спросил:

— Сахар?

— Угу, — ответил Михаил Семенович.

В сарае заходил фонарь возле машин, мелькая, как глаз, и озабоченный Михаил Семенович возился вместе с механиком, приготовляя их к завтрашнему выступлению.

Причина: бумага у командира дивизиона капитана Плешко — «четырнадцатого декабря, в восемь часов утра, выступить на Печерск с четырьмя машинами».

Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты. Совершенно здоровые еще накануне три машины (четвертая была в бою под командой Страшкевича) в утро четырнадцатого декабря не могли двинуться с места, словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в жиклерах, и сколько их ни продували шинными насосами, ничего не помогало. Утром возле трех машин в мутном рассвете была горестная суета с фонарями. Капитан Плешко был бледен, оглядывался, как волк, и требовал механика. Тут-то и начались катастрофы. Механик исчез. Выяснилось, что адрес его в дивизионе, вопреки всем правилам, совершенно неизвестен. Прошел слух, что механик внезапно заболел сыпным тифом. Это было в восемь часов, а в восемь часов тридцать минут капитана Плешко постиг второй удар. Прапорщик Шполянский, уехавший в четыре часа ночи после возни с машинами на Печерск на мотоциклетке, управляемой Щуром, не вернулся. Возвратился один Щур и рассказал горестную историю. Мотоциклетка заехала в Верхнюю Теличку, и тщетно Щур отговаривал прапорщика Шполянского от

безрассудного поступка. Означенный Шполянский, известный всему дивизиону своей исключительной храбростью, оставив Щура и взяв карабин и ручную гранату, отправился один во тьму на разведку к железнодорожному полотну. Щур слышал выстрелы. Щур совершенно уверен, что передовой разъезд противника, заскочивший в Теличку, встретил Шполянского и, конечно, убил его в неравном бою. Щур ждал прапорщика два часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь один час, а после этого вернуться в дивизион, дабы не подвергать опасности себя и казенную мотоциклетку № 8175.

Капитан Плешко стал еще бледнее после рассказа Щура. Птички в телефоне из штаба гетмана и генерала Картузова вперебой пели и требовали выхода машин. В девять часов вернулся на четвертой машине с позиций румяный энтузиаст Страшкевич, и часть его румянца передалась на щеки командиру дивизиона. Энтузиаст повел машину на Печерск, и она, как уже было сказано, заперла Суворовскую улицу.

В десять часов утра бледность Плешко стала неизменной. Бесследно исчезли два наводчика, два шофера и один пулеметчик. Все попытки двинуть машины остались без результата. Не вернулся с позиции Щур, ушедший по приказанию капитана Плешко на мотоциклетке. Не вернулась, само собою понятно, и мотоциклетка, потому что не может же она сама вернуться! Птички в телефонах начали угрожать. Чем больше рассветал день, тем больше чудес происходило в дивизионе. Исчезли артиллеристы Дуван и Мальцев и еще парочка пулеметчиков. Машины приобрели какой-то загадочный и заброшенный вид, возле них валялись гайки, ключи и какие-то ведра.

А в полдень, в полдень исчез сам командир дивизиона капитан Плешко.

10

Странные перетасовки, переброски, то стихийно боевые, то связанные с приездом ординарцев и писком штабных ящиков, трое суток водили часть полковника Най-Турса по снежным сугробам и завалам под Городом, на протяжении от Красного Трактира до Серебрянки на юге

и до Поста-Волынского на юго-западе. Вечер же на четырнадцатое декабря привел эту часть обратно в Город, в переулок, в здание заброшенных, с наполовину выбитыми стеклами, казарм.

Часть полковника Най-Турса была странная часть. И всех, кто видел ее, она поражала своими валенками. При начале последних трех суток в ней было около ста пятидесяти юнкеров и три прапорщика.

К начальнику первой дружины генерал-майору Блохину в первых числах декабря явился среднего роста черный, гладко выбритый, с траурными глазами кавалерист в полковничьих гусарских погонах и отрекомендовался полковником Най-Турсом, бывшим эскадронным командиром второго эскадрона бывшего Белградского гусарского полка. Траурные глаза Най-Турса были устроены таким образом, что каждый, кто ни встречался с прихрамывающим полковником с вытертой георгиевской ленточкой на плохой солдатской шинели, внимательнейшим образом выслушивал Най-Турса. Генерал-майор Блохин после недолгого разговора с Наем поручил ему формирование второго отдела дружины с таким расчетом, чтобы оно было закончено к тринадцатому декабря. Формирование удивительным образом закончилось десятого декабря, и десятого же полковник Най-Турс, необычайно скупой на слова вообще, коротко заявил генерал-майору Блохину, терзаемому со всех сторон штабными птичками, о том, что он, Най-Турс, может выступить уже со своими юнкерами, но при непременном условии, что ему дадут на весь отряд в сто пятьдесят человек папахи и валенки, без чего он, Най-Турс, считает войну совершенно невозможной. Генерал Блохин, выслушав картавого и лаконического полковника, охотно выписал ему бумагу в отдел снабжения, но предупредил полковника, что по этой бумаге он наверняка ничего не получит ранее, чем через неделю, потому что в этих отделах снабжения и в штабах невероятнейшая чепуха, кутерьма и безобразие. Картавый Най-Турс забрал бумагу, по своему обыкновению, дернул левым подстриженным усом и, не поворачивая головы ни вправо, ни влево (он не мог ее поворачивать, потому что после ранения у него была сведена шея, и в случае необходимости посмотреть вбок он поворачивался всем кор-

пусом), отбыл из кабинета генерал-майора Блохина. В помещении дружины на Львовской улице Най-Турс взял с собою десять юнкеров (почему-то с винтовками) и две двуколки и направился с ними в отдел снабжения.

В отделе снабжения, помещавшемся в прекраснейшем особнячке на Бульварно-Кудряевской улице, в уютном кабинетике, где висела карта России и со времен Красного Креста оставшийся портрет Александры Федоровны, полковника Най-Турса встретил маленький, румяный странненьким румянцем, одетый в серую тужурку, из-под ворота которой выглядывало чистенькое белье, делавшее его чрезвычайно похожим на министра Александра II, Милютина, генерал-лейтенант Макушин.

Оторвавшись от телефона, генерал детским голосом, похожим на голос глиняной свистульки, спросил у Ная:

— Что вам угодно, полковник?

— Выступаем сейчас, — лаконически ответил Най, — пгошу сгочно ваэнки и папахи на двести человек.

— Гм, — сказал генерал, пожевав губами и помяв в руках требование Ная, — видите ли, полковник, сегодня дать не можем. Сегодня составим расписание снабжения частей. Дня через два прошу прислать. И такого количества все равно дать не могу.

Он положил бумагу Най-Турса на видное место под пресс в виде голой женщины.

— Валенки, — монотонно ответил Най и, скосив глаза к носу, посмотрел туда, где находились носки его сапог.

— Как? — не понял генерал и удивленно уставился на полковника.

— Валенки сию минуту давайте.

— Что такое? Как? — генерал выпучил глаза до предела.

Най повернулся к двери, приоткрыл ее и крикнул в теплый коридор особняка:

— Эй, взвод!

Генерал побледнел серенькой бледностью, переметнул взгляд с лица Ная на трубку телефона, оттуда на икону Божьей матери в углу, а затем опять на лицо Ная.

В коридоре загремело, застучало, и красные околыши алексеевских юнкерских бескозырок и черные штыки за-

мелькали в дверях. Генерал стал приподниматься с пухлого кресла.

— Я впервые слышу такую вещь... Это бунт...

— Пишите тгебование, ваше пгевосходительство. — сказал Най, — нам некогда, нам чегез час выходить. Непгиятель, говогят, под самым гогодом.

— Как?.. Что это?..

— Живей, — сказал Най каким-то похоронным голосом.

Генерал, вдавив голову в плечи, выпучив глаза, вытянул из-под женщины бумагу и прыгающей ручкой нацарапал в углу, брызнув чернилами: «Выдать».

Най взял бумагу, сунул ее за обшлаг рукава и сказал юнкерам, наследившим на ковре:

— Ггузите валенки. Живо.

Юнкера, стуча и гремя, стали выходить, а Най задержался. Генерал, багровея, сказал ему:

— Я сейчас звоню в штаб командующего и поднимаю дело о предании вас военному суду. Эт-то что-то...

— Попгобуйте, — ответил Най и проглотил слюну, — только попгобуйте. Ну, вот попгобуйте гади любопытства. — Он взялся за ручку, выглядывающую из расстегнутой кобуры. Генерал пошел пятнами и онемел.

— Звякни, гвупый стагик, — вдруг задушевно сказал Най, — я тебя из кольта звякну в голову, ты ноги пготянешь.

Генерал сел в кресло. Шея его полезла багровыми складками, а лицо осталось сереньким. Най повернулся и вышел.

Генерал несколько минут сидел в кожаном кресле, потом перекрестился на икону, взялся за трубку телефона, поднес ее к уху, услыхал глухое и интимное «станция»... неожиданно ощутил перед собой траурные глаза картавого гусара, положил трубку и выглянул в окно. Увидал, как на дворе суетились юнкера, вынося из черной двери сарая серые связки валенок. Солдатская рожа каптенармуса, совершенно ошеломленного, виднелась на черном фоне. В руках у него была бумага. Най стоял у двуколки, растопырив ноги, и смотрел на нее. Генерал слабой рукой взял со стола свежую газету, развернул ее и на первой странице прочитал:

У реки Ирпеня столкновения с разъездами противника, пытавшимися проникнуть к Святошину —

бросил газету и сказал вслух:

— Будь проклят день и час, когда я ввязался в это...

Дверь открылась, и вошел похожий на бесхвостого хорька капитан — помощник начальника снабжения. Он выразительно посмотрел на багровые генеральские складки над воротничком и вымолвил:

— Разрешите доложить, господин генерал.

— Вот что, Владимир Федорович, — перебил генерал, задыхаясь и тоскливо блуждая глазами, — я почувствовал себя плохо... прилив... хем... я сейчас поеду домой, а вы, будьте добры, без меня здесь распорядитесь.

— Слушаю, — любопытно глядя, ответил хорек, — как же прикажете быть? Запрашивают из четвертой дружины и из конно-горной валенки. Вы изволили распорядиться двести пар?

— Да. Да! — пронзительно ответил генерал. — Да, я распорядился! Я! Сам! Изволил! У них исключение! Они сейчас выходят. Да. На позиции. Да!!

Любопытные огоньки заиграли в глазах хорька.

— Четыреста пар всего...

— Что ж я сделаю? Что? — сипло вскричал генерал. — Рожу́ я, что ли?! Рожу́ валенки? Рожу́? Если будут запрашивать — дайте — дайте — дайте!!

Через пять минут на извозчике генерала Макушина отвезли домой.

В ночь с тринадцатого на четырнадцатое мертвые казармы в Брест-Литовском переулке ожили. В громадном заслякощенном зале загорелась электрическая лампа на стене между окнами (юнкера днем висели на фонарях и столбах, протягивая какие-то проволоки). Полтораста винтовок стояли в козлах, и на грязных нарах вповалку спали юнкера. Най-Турс сидел у деревянного колченогого стола, заваленного краюхами хлеба, котелками с остатками простывшей жижи, подсумками и обоймами, разложив пестрый план Города. Маленькая кухонная лампочка отбрасывала пучок света на разрисованную бумагу, и Днепр был виден на ней разветвленным, сухим и синим деревом.

Около двух часов ночи сон стал морить Ная. Он шмыгал носом, клонился несколько раз к плану, как будто что-то хотел разглядеть в нем. Наконец, негромко крикнул:

— Юнкег?!

— Я, господин полковник, — отозвалось у двери, и юнкер, шурша валенками, подошел к лампе.

— Я сейчас лягу, — сказал Най, — а вы меня газбудите чегез тги часа. Если будет телефоног'амма, газбудите пгапогщика Жагова, и в зависимости от ее содегжания он будет меня будить или нет.

Никакой телефонограммы не было... Вообще в эту ночь штаб не беспокоил отряд Ная. Вышел отряд на рассвете с тремя пулеметами и тремя двуколками, растянулся по дороге. Окраинные домишки словно вымерли. Но, когда отряд вышел на Политехническую широчайшую улицу, на ней застал движение. В раненьких сумерках мелькали, погромыхивая, фуры, брели серые отдельные папахи. Все это направлялось назад в Город и часть Ная обходило с некоторой пугливостью. Медленно и верно рассветало, и над садами казенных дач над утоптанным и выбитым шоссе вставал и расходился туман.

С этого рассвета до трех часов дня Най находился на Политехнической стреле, потому что днем все-таки приехал юнкер из его связи на четвертой двуколке и привез ему записку карандашом из штаба.

> «Охранять Политехническое шоссе и, в случае появления неприятеля, принять бой».

Этого неприятеля Най-Турс увидел впервые в три часа дня, когда на левой руке, вдали, на заснеженном плацу военного ведомства показались многочисленные всадники. Это и был полковник Козырь-Лешко, согласно диспозиции полковника Торопца пытающийся войти на стрелу и по ней проникнуть в сердце Города. Собственно говоря, Козырь-Лешко, не встретивший до самого подхода к Политехнической стреле никакого сопротивления, не нападал на Город, а вступал в него, вступал победно и широко, прекрасно зная, что следом за его полком идет еще курень конных гайдамаков полковника Сосненко, два полка синей дивизии, полк сечевых стрельцов и шесть батарей. Когда на плацу показались конные точки, шрапне-

ли стали рваться высоко, по-журавлиному, в густом, обещающем снег небе. Конные точки собрались в ленту и, захватив во всю ширину шоссе, стали пухнуть, чернеть, увеличиваться и покатились на Най-Турса. По цепям юнкеров прокатился грохот затворов, Най вынул свисток, пронзительно свистнул и закричал:

— Пгямо по кавагегии!.. залпами... о-гонь!

Искра прошла по серому строю цепей, и юнкера отправили Козырю первый залп. Три раза после этого рвало штуку полотна от самого неба до стен Политехнического института, и три раза, отражаясь хлещущим громом, стрелял Най-Турсов батальон. Конные черные ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе.

Вот в это-то время с Наем что-то произошло. Собственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу не видел Ная испуганным, а тут показалось юнкерам, будто Най увидал что-то опасное где-то в небе, не то услыхал вдали... одним словом, Най приказал отходить на Город. Один взвод остался и, перекатывая рокот, бил по стреле, прикрывая отходящие взводы. Затем перебежал и сам. Так две версты бежали, припадая и будя эхом великую дорогу, пока не оказались на скрещении стрелы с тем самым Брест-Литовским переулком, где провели прошлую ночь. Перекресток умер совершенно, и нигде не было ни одной души.

Здесь Най отделил трех юнкеров и приказал им:

— Бегом на Полевую и на Богщаговскую, узнать, где наши части и что с ними. Если встгетите фугы, двуколки или какие-нибудь сгедства пегедвижения, отступающие неогганизованно, взять их. В случае сопготивления уг'ожать огужием, а затем его и пгименить...

Юнкера убежали назад и налево и скрылись, а спереди вдруг откуда-то начали бить в отряд пули. Они застучали по крышам, стали чаще, и в цепи упал юнкер лицом в снег и окрасил его кровью. За ним другой, охнув, отвалился от пулемета. Цепи Ная растянулись и стали гулко рокотать по стреле беглым непрерывным огнем, встречая колдовским образом вырастающие из земли темненькие цепочки неприятеля. Раненых юнкеров подняли, размоталась белая марля. Скулы Ная пошли желваками. Он все чаще и чаще поворачивал туловище, стараясь далеко за-

глянуть во фланги, и даже по его лицу было видно, что он нетерпеливо ждет посланных юнкеров. И они наконец прибежали, пыхтя, как загнанные гончие, со свистом и хрипом. Най насторожился и потемнел лицом. Первый юнкер добежал до Ная, стал перед ним и сказал, задыхаясь:

— Господин полковник, никаких наших частей нет не только на Шулявке, но и нигде нет, — он перевел дух. — У нас в тылу пулеметная стрельба, и неприятельская конница сейчас прошла вдали по Шулявке, как будто бы входя в Город...

Слова юнкера в ту же секунду покрыл оглушительный свист Ная.

Три двуколки с громом выскочили в Брест-Литовский переулок, простучали по нему, а оттуда по Фонарному и покатили по ухабам. В двуколках увезли двух раненых юнкеров, пятнадцать вооруженных и здоровых и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли. А Най-Турс повернулся лицом к цепям и зычно и картаво отдал юнкерам никогда ими не слыханную, странную команду...

В облупленном и жарко натопленном помещении бывших казарм на Львовской улице томился третий отдел первой пехотной дружины, в составе двадцати восьми человек юнкеров. Самое интересное в этом томлении было то, что командиром этих томящихся оказался своей персоной Николка Турбин. Командир отдела, штабс-капитан Безруков, и двое его помощников — прапорщики, утром уехавшие в штаб, не возвращались. Николка — ефрейтор, самый старший, шлялся по казарме, то и дело подходя к телефону и посматривая на него.

Так дело тянулось до трех часов дня. Лица у юнкеров, в конце концов, стали тоскливыми. Эх... эх...

В три часа запищал полевой телефон.

— Это третий отдел дружины?

— Да.

— Командира к телефону.

— Кто говорит?

— Из штаба...

— Командир не вернулся.

— Кто говорит?

— Унтер-офицер Турбин.

— Вы старший?

— Так точно.

— Немедленно выведите команду по маршруту.

И Николка вывел двадцать восемь человек и повел по улице.

До двух часов дня Алексей Васильевич спал мертвым сном. Проснулся он словно облитый водой, глянул на часики на стуле, увидел, что на них без десяти минут два, и заметался по комнате. Алексей Васильевич натянул валенки, иасовал в карманы, торопясь и забывая то одно, то другое, спички, портсигар, платок, браунинг и две обоймы, затянул потуже шинель, потом припомнил что-то, но поколебался, — это показалось ему позорным и трусливым, но все-таки сделал, — вынул из стола свой гражданский врачебный паспорт. Он повертел его в руках, решил взять с собой, но Елена окликнула его в это время, и он забыл его на столе.

— Слушай, Елена, — говорил Турбин, затягивая пояс и нервничая; сердце его сжималось нехорошим предчувствием, и он страдал при мысли, что Елена останется одна с Анютою в пустой большой квартире, — ничего не поделаешь. Не идти нельзя. Ну, со мной, надо полагать, ничего не случится. Дивизион не уйдет дальше окраин Города, а я стану где-нибудь в безопасном месте. Авось Бог сохранит и Николку. Сегодня утром я слышал, что положение стало немножко посерьезнее, ну, авось отобъем Петлюру. Ну, прощай, прощай...

Елена одна ходила по опустевшей гостиной от пианино, где, по-прежнему не убранный, виднелся разноцветный Валентин, к двери в кабинет Алексея. Паркет поскрипывал у нее под ногами. Лицо у нее было несчастное.

На углу своей кривой улицы и улицы Владимирской Турбин стал нанимать извозчика. Тот согласился везти, но, мрачно сопя, назвал чудовищную сумму, и видно было, что он не уступит. Скрипнув зубами, Турбин сел в сани и поехал по направлению к музею. Морозило.

На душе у Алексея Васильевича было очень тревожно. Он ехал и прислушивался к отдаленной пулеметной стрельбе, которая взрывами доносилась откуда-то со стороны Политехнического института и как будто бы по направлению к вокзалу. Турбин думал о том, что бы это означало (полуденный визит Болботуна Турбин проспал), и, вертя головой, всматривался в тротуары. На них было хоть и тревожное и сумбурное, но все же большое движение.

— Стой... ст... — сказал пьяный голос.

— Что это значит? — сердито спросил Турбин.

Извозчик так натянул вожжи, что чуть не свалился Турбину на колени. Совершенно красное лицо качалось у оглобли, держась за вожжу и по ней пробираясь к сиденью. На дубленом полушубке поблескивали смятые прапорщичьи погоны. Турбина на расстоянии аршина обдал тяжелый запах перегоревшего спирта и лука. В руках прапорщика покачивалась винтовка.

— Пав... пав... паварачивай, — сказал красный пьяный, — выса... высаживай пассажира... — Слово «пассажир» вдруг показалось красному смешным, и он хихикнул.

— Что это значит? — сердито повторил Турбин. — Вы не видите, кто едет? Я на сборный пункт. Прошу оставить извозчика. Трогай!

— Нет, не трогай... — угрожающе сказал красный и только тут, поморгав глазами, заметил погоны Турбина. — А, доктор, ну, вместе... и я сяду...

— Нам не по дороге... Трогай!

— Па... а-звольте...

— Трогай!

Извозчик, втянув голову в плечи, хотел дернуть, но потом раздумал; обернувшись, он злобно и боязливо покосился на красного. Но тот вдруг отстал сам, потому что заметил пустого извозчика. Пустой хотел уехать, но не успел. Красный обеими руками поднял винтовку и погрозил ему. Извозчик застыл на месте, и красный, спотыкаясь и икая, поплелся к нему.

— Знал бы, за пятьсот не поехал, — злобно бурчал извозчик, нахлестывая круп клячи, — стрельнет в спину, что ж с него возьмешь?

Турбин мрачно молчал.

«Вот сволочь... такие вот позорят все дело», — злобно думал он.

На перекрестке у оперного театра кипела суета и движение. Прямо посредине на трамвайном пути стоял пулемет, охраняемый маленьким иззябшим кадетом, в черной шинели и наушниках, и юнкером в сером. Прохожие, как мухи, кучками лепились по тротуару, любопытно глядя на пулемет. У аптеки, на углу, Турбин уже в виду музея, отпустил извозчика.

— Прибавить надо, ваше высокоблагородие, — злобно и настойчиво говорил извозчик, — знал бы, не поехал бы. Вишь, что делается!

— Будет.

— Детей зачем-то ввязали в это... — послышался женский голос.

Тут только Турбин увидал толпу вооруженных у музея. Она колыхалась и густела. Смутно мелькнули между полами шинелей пулеметы на тротуаре. И тут кипуче забарабанил пулемет на Печерске.

Вра... вра... вра... вра... вра... вра... вра...

«Чепуха какая-то уже, кажется, делается», — растерянно думал Турбин и, ускорив шаг, направился к музею через перекресток.

«Неужели опоздал?.. Какой скандал... Могут подумать, что я сбежал...»

Прапорщики, юнкера, кадеты, очень редкие солдаты волновались, кипели и бегали у гигантского подъезда музея и у боковых разломанных ворот, ведущих на плац Александровской гимназии. Громадные стекла двери дрожали поминутно, двери стонали, и в круглое белое здание музея, на фронтоне которого красовалась золотая надпись:

«На благое просвещение русского народа»,

вбегали вооруженные, смятые и встревоженные юнкера.

— Боже! — невольно вскрикнул Турбин. — Они же ушли.

Мортиры безмолвно щурились на Турбина и одинокие и брошенные стояли там же, где вчера.

«Ничего не понимаю... что это значит?»

Сам не зная зачем, Турбин побежал по плацу к пушкам. Они вырастали по мере движения и грозно смотрели на Турбина. И вот крайняя. Турбин остановился и застыл: на ней не было замка. Быстрым бегом он перерезал плац обратно и выскочил вновь на улицу. Здесь еще больше кипела толпа, кричали многие голоса сразу, и торчали и прыгали штыки.

— Картузова надо ждать! Вот что! — выкрикивал звонкий встревоженный голос. Какой-то прапорщик пересек Турбину путь, и тот увидел на спине у него желтое седло с болтающимися стременами.

— Польскому легиону отдать.

— А где он?

— А черт его знает!

— Все в музей! Все в музей!

— На Дон!

Прапорщик вдруг остановился, сбросил седло на тротуар.

— К чертовой матери! Пусть пропадет все, — яростно завопил он, — ах, штабные!..

Он метнулся в сторону, грозя кому-то кулаками.

«Катастрофа... Теперь понимаю... Но вот в чем ужас — они, наверно, ушли в пешем строю. Да, да, да... Несомненно. Вероятно, Петлюра подошел неожиданно. Лошадей нет, и они ушли с винтовками, без пушек... Ах ты, Боже мой... к Анжу надо бежать... Может быть, там узнаю... Даже наверно, ведь кто-нибудь же да остался?»

Турбин выскочил из вертящейся суеты и, больше ни на что не обращая внимания, побежал назад к оперному театру. Сухой порыв ветра пробежал по асфальтовой дорожке, окаймляющей театр, и пошевелил край полуоборванной афиши на стене театра, у чернооконного бокового подъезда. Кармен. Кармен.

И вот Анжу. В окнах нет пушек, в окнах нет золотых погон. В окнах дрожит и переливается огненный, зыбкий отсвет. Пожар? Дверь под руками Турбина звякнула, но не поддалась. Турбин постучал тревожно. Еще раз постучал. Серая фигура, мелькнув за стеклом двери, открыла ее, и Турбин попал в магазин. Турбин, оторопев, всмотрелся в неизвестную фигуру. На ней была студенческая черная шинель, а на голове штатская, молью траченная,

шапка с ушами, притянутыми на темя. Лицо странно знакомое, но как будто чем-то обезображенное и искаженное. Печь яростно гудела, пожирая какие-то листки бумаги. Бумагой был усеян весь пол. Фигура, впустив Турбина, ничего не объясняя, тотчас же метнулась от него к печке и села на корточки, причем багровые отблески заиграли на ее лице.

«Малышев? Да, полковник Малышев», — узнал Турбин.

Усов на полковнике не было. Гладкое синевыбритое место было вместо них.

Малышев, широко отмахнув руку, сгреб с полу листы бумаги и сунул их в печку.

«Ага...а».

— Что это? Кончено? — глухо спросил Турбин.

— Кончено, — лаконически ответил полковник, вскочил, рванулся к столу, внимательно обшарил его глазами, несколько раз хлопнул ящиками, выдвигая и задвигая их, быстро согнулся, подобрал последнюю пачку листков на полу и их засунул в печку. Лишь после этого он повернулся к Турбину и прибавил иронически спокойно: — Повоевали — и будет! — Он полез за пазуху, вытащил торопливо бумажник, проверил в нем документы, два каких-то листка надорвал крест-накрест и бросил в печь. Турбин в это время всматривался в него. Ни на какого полковника Малышев больше не походил. Перед Турбиным стоял довольно плотный студент, актер-любитель с припухшими малиновыми губами.

— Доктор? Что же вы? — Малышев беспокойно указал на плечи Турбина. — Снимите скорей. Что вы делаете? Откуда вы? Не знаете, что ли, ничего?

— Я опоздал, полковник, — начал Турбин.

Малышев весело улыбнулся. Потом вдруг улыбка слетела с лица, он виновато и тревожно качнул головой и молвил:

— Ах ты, Боже мой, ведь это я вас подвел! Назначил вам этот час... Вы, очевидно, днем не выходили из дому? Ну, ладно. Об этом нечего сейчас говорить. Одним словом: снимайте скорее погоны и бегите, прячьтесь.

— В чем дело? В чем дело, скажите, ради Бога?..

— Дело? — иронически весело переспросил Малышев. — Дело в том, что Петлюра в городе. На Печерске, если не на Крещатике уже. Город взят. — Малышев вдруг оскалил зубы, скосил глаза и заговорил опять неожиданно, не как актер-любитель, а как прежний Малышев: — Штабы предали нас. Еще утром надо было разбегаться. Но я, по счастью, благодаря хорошим людям узнал все еще ночью и дивизион успел разогнать. Доктор, некогда думать, снимайте погоны!

— ...а там, в музее, в музее...

Малышев потемнел.

— Не касается, — злобно ответил он, — не касается! Теперь меня ничего больше не касается. Я только что был там, кричал, предупреждал, просил разбежаться. Больше сделать ничего не могу-с. Своих я всех спас. На убой не послал! На позор не послал! — Малышев вдруг начал выкрикивать истерически, очевидно, что-то нагорело в нем и лопнуло, и больше себя он сдерживать не мог. — Ну, генералы! — Он сжал кулаки и стал грозить кому-то. Лицо его побагровело.

В это время с улицы откуда-то в высоте взвыл пулемет, и показалось, что он трясет большой соседний дом.

Малышев встрепенулся, сразу стих.

— Ну-с, доктор, ходу! Прощайте. Бегите! Только не на улицу, а вот отсюда, через черный ход, а там дворами. Там еще открыто. Скорей.

Малышев пожал руку ошеломленному Турбину, круто повернулся и убежал в темное ущелье за перегородкой. И сразу стихло в магазине. А на улице стих пулемет.

Наступило одиночество. В печке горела бумага. Турбин, несмотря на окрики Малышева, как-то вяло и медленно подошел к двери. Нашарил крючок, спустил его в петлю и вернулся к печке. Несмотря на окрики, Турбин действовал не спеша, на каких-то вялых ногах, с вялыми, скомканными мыслями. Непрочный огонь пожрал бумагу, устье печки из веселого пламенного превратилось в тихое красноватое, и в магазине сразу потемнело. В сереньких тенях лепились полки по стенам. Турбин обвел их глазами и вяло же подумал, что у мадам Анжу еще до сих пор пахнет духами. Нежно и слабо, но пахнет.

Мысли в голове у Турбина сбились в бесформенную кучу, и некоторое время он совершенно бессмысленно смотрел туда, где исчез побритый полковник. Потом, в тишине, ком постепенно размотался. Вылез самый главный и яркий лоскут — Петлюра тут. «Пэтурра, Пэтурра», — слабенько повторил Турбин и усмехнулся, сам не зная чему. Он подошел к зеркалу в простенке, затянутому слоем пыли, как тафтой.

Бумага догорела, и последний красный язычок, подразнив немного, угас на полу. Стало сумеречно.

— Петлюра, это так дико... В сущности, совершенно пропащая страна, — пробормотал Турбин в сумерках магазина, но потом опомнился: — Что же я мечтаю? Ведь, чего доброго, сюда нагрянут?

Тут он заметался, как и Малышев перед уходом, и стал срывать погоны. Нитки затрещали, и в руках остались две серебряных потемневших полоски с гимнастерки и еще две зеленых с шинели. Турбин поглядел на них, повертел в руках, хотел спрятать в карман на память, но подумал и сообразил, что это опасно, решил сжечь. В горючем материале недостатка не было, хоть Малышев и спалил все документы. Турбин нагреб с полу целый ворох шелковых лоскутов, всунул его в печь и поджег. Опять заходили уроды по стенам и по полу, и опять временно ожило помещение мадам Анжу. В пламени серебряные полоски покоробились, вздулись пузырями, стали смуглыми, потом скорчились...

Возник существенно важный вопрос в турбинской голове — как быть с дверью? Оставить на крючке или открыть? Вдруг кто-нибудь из добровольцев, вот так же, как Турбин, отставший, прибежит, — ан укрыться-то и негде будет! Турбин открыл крючок. Потом его обожгла мысль: паспорт? Он ухватился за один карман, другой — нет. Так и есть! Забыл, ах, это уже скандал. Вдруг нарвешься на них? Шинель серая. Спросят — кто? Доктор... а вот докажи-ка! Ах, чертова рассеянность!

«Скорее», — шепнул голос внутри.

Турбин, больше не раздумывая, бросился в глубь магазина и по пути, по которому ушел Малышев, через маленькую дверь выбежал в темноватый коридор, а оттуда по черному ходу во двор.

11

Повинуясь телефонному голосу, унтер-офицер Турбин Николай вывел двадцать восемь человек юнкеров и через весь Город провел их согласно маршруту. Маршрут привел Турбина с юнкерами на перекресток, совершенно мертвенный. Никакой жизни на нем не было, но грохоту было много. Кругом — в небе, по крышам, по стенам — гремели пулеметы.

Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, потому что это был последний, конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось, и Николка немного запутался — что делать дальше? Юнкера его, немножко бледные, но все же храбрые, как и их командир, разлеглись цепью на снежной улице, а пулеметчик Ивашин сел на корточки возле пулемета, у обочины тротуара. Юнкера настороженно глядели вдаль, подымая головы от земли, ждали, что, собственно, произойдет?

Предводитель же их был полон настолько важных и значительных мыслей, что даже осунулся и побледнел. Поражало предводителя, во-первых, отсутствие на перекрестке всего того, что было обещано голосом. Здесь, на перекрестке, Николка должен был застать отряд третьей дружины и «подкрепить его». Никакого отряда не было. Даже и следов его не было.

Во-вторых, поражало Николку то обстоятельство, что боевой пулеметный дробот временами слышался не только впереди, но и слева, и даже, пожалуй, немножко сзади. В-третьих, он боялся испугаться и все время проверял себя: «Не страшно?» — «Нет, не страшно», — отвечал бодрый голос в голове, и Николка от гордости, что он, оказывается, храбрый, еще больше бледнел. Гордость переходила в мысль о том, что если его, Николку, убьют, то хоронить будут с музыкой. Очень просто: плывет по улице белый глазетовый гроб, и в гробу погибший в бою унтер-офицер Турбин с благородным восковым лицом, и жаль, что крестов теперь не дают, а то непременно с крестом на груди и георгиевской лентой. Бабы стоят у ворот. «Кого хоронят, миленькие?» — «Унтер-офицера Турбина...» — «Ах, какой красавец...» И

музыка. В бою, знаете ли, приятно помереть. Лишь бы только не мучиться. Размышления о музыке и лентах несколько скрасили неуверенное ожидание неприятеля, который, очевидно, не повинуясь телефонному голосу, и не думал показываться.

— Ждать будем здесь, — сказал Николка юнкерам, стараясь, чтобы голос его звучал поувереннее, но тот не очень уверенно звучал, потому что кругом все-таки было немножко не так, как бы следовало, чепуховато как-то. Где отряд? Где неприятель? Странно, что как будто бы в тылу стреляют?

И предводитель со своим воинством дождался. В поперечном переулке, ведущем с перекрестка на Брест-Литовскую стрелку, неожиданно загремели выстрелы, и посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге. Они неслись прямо на Николкиных юнкеров, и винтовки торчали у них в разные стороны.

«Обошли?» — грянуло в Николкиной голове, он метнулся, не зная, какую команду подать. Но через мгновение он разглядел золотые пятна у некоторых бегущих на плечах и понял, что это свои.

Тяжелые, рослые, запаренные в беге, константиновские юнкера в папахах вдруг остановились, упали на одно колено и, бледно сверкнув, дали два залпа по переулку туда, откуда прибежали. Затем вскочили и, бросая винтовки, кинулись через перекресток, мимо Николкиного отряда. По дороге они рвали с себя погоны, подсумки и пояса, бросали их на разъезженный снег. Рослый, серый, грузный юнкер, равняясь с Николкой, поворачивая к Николкину отряду голову, зычно, задыхаясь, кричал:

— Бегите, бегите с нами! Спасайся, кто может!

Николкины юнкера в цепи стали ошеломленно подниматься. Николка совершенно одурел, но в ту же секунду справился с собой и, молниеносно подумав: «Вот момент, когда можно быть героем», — закричал своим пронзительным голосом:

— Не сметь вставать! Слушать команду!!

«Что они делают?» — остервенело подумал Николка.

Константиновцы, — их было человек двадцать, — выскочив с перекрестка без оружия, рассыпались в поперечном же Фонарном переулке, и часть из них бросилась в первые громадные ворота. Страшно загрохотали железные двери, и затопали сапоги в звонком пролете. Вторая кучка в следующие ворота. Остались только пятеро, и они, ускоряя бег, понеслись прямо по Фонарному и исчезли вдали.

Наконец на перекресток выскочил последний бежавший, в бледных золотистых погонах на плечах. Николка вмиг обострившимся взглядом узнал в нем командира второго отделения первой дружины, полковника Най-Турса.

— Господин полковник! — смятенно и в то же время обрадованно закричал ему навстречу Николка. — Ваши юнкера бегут в панике.

И тут произошло чудовищное. Най-Турс вбежал на растоптанный перекресток в шинели, подвернутой с двух боков, как у французских пехотинцев. Смятая фуражка сидела у него на самом затылке и держалась ремнем под подбородком. В правой руке у Най-Турса был кольт, и вскрытая кобура била и хлопала его по бедру. Давно не бритое, щетинистое лицо его было грозно, глаза скошены к носу, и теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги. Най-Турс подскочил к Николке вплотную, взмахнул левой свободной рукой и оборвал с Николки сначала левый, а затем правый погон. Вощеные лучшие нитки лопнули с треском, причем правый погон отлетел с шинельным мясом. Николку так мотнуло, что он тут же убедился, какие у Най-Турса замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на что-то нетвердое, и это нетвердое выскочило из-под него с воплем и оказалось пулеметчиком Ивашиным. Затем заплясали кругом перекошенные лица юнкеров, и все полетело к чертовой матери. Не сошел Николка с ума в этот момент лишь потому, что у него на это не было времени, так стремительны были поступки полковника Най-Турса. Обернувшись к разбитому взводу лицом, он взвыл команду необычным, неслыханным картавым голосом. Николка суеверно подумал, что этакий голос слышен на десять верст и, уж наверно, по всему городу.

— Юнкегга! Слушай мою команду: сгывай погоны, кокагды, подсумки, бгосай огужие! По Фонагному пегеулку сквозными двогами на Газъезжую, на Подол! На Подол!! Гвите документы по догоге, пгячьтесь, гассыпьтесь, всех по догоге гоните с собой-о-ой!

Затем, взмахнув кольтом, Най-Турс провыл, как кавалерийская труба:

— По Фонагному! Только по Фонагному! Спасайтесь по домам! Бой кончен! Бегом магш!

Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом юнкера совершенно побелели. Ивашин перед лицом Николки рвал погоны, подсумки полетели в снег, винтовка со стуком покатилась по ледяному горбу тротуара. Через полминуты на перекрестке валялись патронные сумки, пояса и чья-то растрепанная фуражка. По Фонарному переулку, влетая во дворы, ведущие на Разъезжую улицу, убегали юнкера.

Най-Турс с размаху всадил кольт в кобуру, подскочил к пулемету у тротуара, скорчился, присел, повернул его носом туда, откуда прибежал, и левой рукой поправил ленту. Обернувшись к Николке с корточек, он бешено загремел:

— Оглох? Беги!

Странный пьяный экстаз поднялся у Николки откуда-то из живота, и во рту моментально пересохло.

— Не желаю, господин полковник, — ответил он суконным голосом, сел на корточки, обеими руками ухватился за ленту и пустил ее в пулемет.

Вдали, там, откуда прибежал остаток Най-Турсова отряда, внезапно выскочило несколько конных фигур. Видно было смутно, что лошади под ними танцуют, как будто играют, и что лезвия серых шашек у них в руках. Най-Турс сдвинул ручки, пулемет грохотнул — ар-ра-паа, стал, снова грохотнул и потом длинно загремел. Все крыши на домах сейчас же закипели и справа и слева. К конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в окно дома, другая лошадь стала на дыбы, показавшись страшно длинной, чуть не до второго этажа, и несколько всадников вовсе исчезли. Затем мгновенно исчезли, как сквозь землю, все остальные всадники.

Най-Турс развел ручки, кулаком погрозил небу, причем глаза его налились светом, и прокричал:

— Ребят! Ребят!.. Штабные стегвы!..

Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нежной кавалерийской трубы:

— Удигай, гвупый мавый! Говогю — удигай!

Он переметнул взгляд назад и убедился, что юнкера уже исчезли все, потом переметнул взгляд с перекрестка вдаль, на улицу, параллельную Брест-Литовской стреле, и выкрикнул с болью и злобой:

— А, чегт!

Николка повернулся за ним и увидал, что далеко, еще далеко на Кадетской улице, у чахлого, засыпанного снегом бульвара, появились темные шеренги и начали припадать к земле. Затем вывеска тут же над головами Най-Турса и Николки, на углу Фонарного переулка:

Зубной врач
Берта Яковлевна
Принц-Металл

хлопнула, и где-то за воротами посыпались стекла. Николка увидал куски штукатурки на тротуаре. Они прыгнули и поскакали. Николка вопросительно вперил взор в полковника Най-Турса, желая узнать, как нужно понимать эти дальние шеренги и штукатурку. И полковник Най-Турс отнесся к ним странно. Он подпрыгнул на одной ноге, взмахнул другой, как будто в вальсе, и побальному оскалился неуместной улыбкой. Затем полковник Най-Турс оказался лежащим у ног Николки. Николкин мозг задернуло черным туманцем, он сел на корточки и неожиданно для себя, сухо, без слез всхлипнувши, стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять. Тут он увидел, что из полковника через левый рукав стала вытекать кровь, а глаза у него зашли к небу.

— Господин полковник, господин...

— Унтег-цег, — выговорил Най-Турс, причем кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабея на каждом слове, — бгосьте гегойствовать к чегтям, я умигаю... Мало-Пговальная...

Больше он ничего не пожелал объяснить. Нижняя его челюсть стала двигаться. Ровно три раза и судорожно,

словно Най давился, потом перестала, и полковник стал тяжелый, как большой мешок с мукой.

«Так умирают? — подумал Николка. — Не может быть. Только что был живой. В бою не страшно, как видно. В меня же почему-то не попадают...»

«Зуб...
...врач», —

затрепетало второй раз над головой, и еще где-то лопнули стекла. «Может быть, он просто в обмороке?» — в смятении вздорно подумал Николка и тянул полковника. Но поднять того не было никакой возможности. «Не страшно?» — подумал Николка и почувствовал, что ему безумно страшно. «Отчего? Отчего?» — думал Николка и сейчас же понял, что страшно от тоски и одиночества, что, если бы был сейчас на ногах полковник Най-Турс, никакого бы страха не было... Но полковник Най-Турс был совершенно недвижим, больше никаких команд не подавал, не обращал внимания ни на то, что возле его рукава расширялась красная большая лужа, ни на то, что штукатурка на выступах стен ломалась и крошилась, как сумасшедшая. Николке же стало страшно от того, что он совершенно один. Никакие конные не наскакивали больше сбоку, но, очевидно, все были против Николки, а он последний, он совершенно один... И одиночество погнало Николку с перекрестка. Он полз на животе, перебирая руками, причем правым локтем, потому что в ладони он зажимал Най-Турсов кольт. Самый страх наступает уже в двух шагах от угла. Вот сейчас попадут в ногу, и тогда не уползешь, наедут петлюровцы и изрубят шашками. Ужасно, когда лежишь, а тебя рубят... Я буду стрелять, если в кольте есть патроны... И всего-то полтора шага... подтянуться, подтянуться... раз... и Николка за стеной в Фонарном переулке.

«Удивительно, страшно удивительно, что не попали. Прямо чудо. Это уж чудо Господа Бога, — думал Николка, поднимаясь, — вот так чудо. Теперь сам видал — чудо. Собор Парижской богоматери. Виктор Гюго. Что-то теперь с Еленой? А Алексей? Ясно — рвать погоны, значит, произошла катастрофа».

Николка вскочил, весь до шеи вымазанный снегом, сунул кольт в карман шинели и полетел по переулку. Первые же ворота на правой руке зияли, Николка вбежал в гулкий пролет, выбежал на мрачный, скверный двор с сараями красного кирпича по правой и кладкой дров по левой, сообразил, что сквозной проход посредине, скользя, бросился туда и напоролся на человека в тулупе. Совершенно явственно. Рыжая борода и маленькие глазки, из которых сочится ненависть. Курносый, в бараньей шапке, Нерон. Человек, как бы играя в веселую игру, обхватил Николку левой рукой, а правой уцепился за его левую руку и стал выкручивать ее за спину. Николка впал в ошеломление на несколько мгновений. «Боже. Он меня схватил, ненавидит!... Петлюровец...»

— Ах ты, наволочь! — сипло закричал рыжебородый и запыхтел. — Куды? Стой! — Потом вдруг завопил: — Держи, держи. Юнкерей держи. Погон скинул, думаешь, сволота, не узнают? Держи!

Бешенство овладело всем Николкой, с головы до ног. Он резко сел вниз, сразу, так что лопнул сзади хлястик на шинели, повернулся и с неестественной силой вылетел из рук рыжего. Секунду он его не видел, потому что оказался к нему спиной, но потом повернулся и опять увидел. У рыжебородого не было никакого оружия, он даже не был военным, он был дворник. Ярость пролетела мимо Николкиных глаз совершенно красным одеялом и сменилась чрезвычайной уверенностью. Ветер и мороз залетел Николке в жаркий рот, потому что он оскалился, как волчонок. Николка выбросил руку с кольтом из кармана, подумав: «Убью гадину, лишь бы были патроны». Голоса своего он не узнал, до того голос был чужд и страшен.

— Убью, гад! — Николка просипел, шаря пальцами в мудреном кольте, и мгновенно сообразил, что он забыл, как из него стрелять. Желто-рыжий дворник, увидавший, что Николка вооружен, в отчаянии и ужасе пал на колени и взвыл, чудесным образом превратившись из Нерона в змею:

— А, ваше благородие! Ваше...

Все равно Николка непременно бы выстрелил, но кольт не пожелал выстрелить. «Разряжен. Эх, беда!» — вихрем подумал Николка. Дворник, рукой закрываясь и

пятясь, с колен садился на корточки, отваливаясь назад, и выл истошно, губя Николку. Не зная, что сделать, чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде, Николка в отчаянии от нестреляющего револьвера, как боевой петух, наскочил на дворника и тяжело ударил его, рискуя застрелить самого себя, ручкой в зубы. Николкина злоба вылетела мгновенно. Дворник же вскочил на ноги и побежал от Николки в тот пролет, откуда Николка появился. Сходя с ума от страху, дворник уже не выл, бежал, скользя по льду и спотыкаясь, раз обернулся, и Николка увидал, что половина его бороды стала красной. Затем он исчез. Николка же бросился вниз, мимо сарая, к воротам на Разъезжую и возле них впал в отчаяние. «Кончено. Опоздал. Попался. Боже, и не стреляет». Тщетно он тряс огромный болт и замок. Ничего сделать было нельзя. Рыжий дворник, лишь только проскочили Най-Турсовы юнкера, запер ворота на Разъезжую, и перед Николкой была совершенно неодолимая преграда — гладкая доверху, глухая железная стена. Николка обернулся, глянул на небо, чрезвычайно низкое и густое, увидал на брандмауэре легкую черную лестницу, уходившую на самую крышу четырехэтажного дома. «Полезть разве?» — подумал он, и при этом ему дурацки вспомнилась пестрая картинка: Нат Пинкертон в желтом пиджаке и с красной маской на лице лезет по такой же самой лестнице. «Э, Нат Пинкертон, Америка... а я вот влезу и потом что? Как идиот буду сидеть на крыше, а дворник сзовет в это время петлюровцев. Этот Нерон предаст... Зубы я ему расколотил... Не простит!»

И точно. Из-под ворот в Фонарный переулок Николка услыхал призывные отчаянные вопли дворника: «Сюды! Сюды!» — и копытный топот. Николка понял: вот что — конница Петлюры заскочила с фланга в Город. Сейчас она уже в Фонарном переулке. То-то Най-Турс и кричал... на Фонарный возвращаться нельзя.

Все это он сообразил уже, неизвестно каким образом оказавшись на штабеле дров, рядом с сараем, под стеной соседнего дома. Обледеневшие поленья зашатались под ногами, Николка заковылял, упал, разорвал штанину, добрался до стены, глянул через нее и увидал точь-в-точь такой же двор. Настолько такой, что он ждал, что опять

выскочит рыжий Нерон в полушубке. Но никто не выскочил. Страшно оборвалось в животе и в пояснице, и Николка сел на землю, в ту же секунду его кольт прыгнул в руке и оглушительно выстрелил. Николка удивился, потом сообразил: «Предохранитель-то был заперт, а теперь я его сдвинул. Оказия».

Черт. И тут ворота на Разъезжую глухие. Заперты. Значит, опять к стене. Но, увы, дров уже нет. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче битого кирпича, а затем, как муха по отвесной стене, вставляя носки в такие норки, что в мирное время не поместилась бы и копейка. Оборвал ногти, окровенил пальцы и всцарапался на стену. Лежа на ней животом, услыхал, что сзади, в первом дворе, раздался оглушительный свист и Неронов голос, а в этом, третьем дворе, в черном окне из второго этажа на него глянуло искаженное ужасом женское лицо и тотчас исчезло. Падая со второй стены, угадал довольно удачно: попал в сугроб, но все-таки что-то свернулось в шее и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах, Николка побежал к воротам...

О, ликование! И они заперты, но какой вздор! Сквозная узорная решетка. Николка, как пожарный, полез по ней, перелез, спустился и оказался на Разъезжей улице. Увидал, что она была совершенно пуста, ни души. «Четверть минутки подышу, не более, а то сердце лопнет», — думал Николка и глотал раскаленный воздух. «Да... документы...» Николка вытащил из кармана блузы пачку замасленных удостоверений и изорвал их. И они разлетелись, как снег. Услыхал, что сзади со стороны того перекрестка, на котором он оставил Най-Турса, загремел пулемет и ему отозвались пулеметы и ружейные залпы впереди Николки, оттуда, из Города. Вот оно что. Город захватили. В Городе бой. Катастрофа. Николка, все еще задыхаясь, обеими руками счищал снег. Кольт бросить? Най-Турсов кольт? Нет, ни за что. Авось удастся проскочить. Ведь не могут же они быть повсюду сразу?

Тяжко вздохнув, Николка, чувствуя, что ноги его значительно ослабели и развинтились, побежал по вымершей Разъезжей и благополучно добрался до перекрестка, откуда расходились две улицы: Лубочицкая на Подол и Лов-

ская, уклоняющаяся в центр Города. Тут увидал лужу крови у тумбы и навоз, две брошенных винтовки и синюю студенческую фуражку. Николка сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказалась ему мала и придала ему гадкий, залихватский и гражданский вид. Какой-то босяк, выгнанный из гимназии. Николка осторожно из-за угла заглянул в Ловскую и очень далеко на ней увидал танцующую конницу с синими пятнами на папахах. Там была какая-то возня и хлопушки выстрелов. Дернул по Лубочицкой. Тут впервые увидал живого человека. Бежала какая-то дама по противоположному тротуару, и шляпа с черным крылом сидела у нее на боку, а в руках моталась серая кошелка, из нее выдирался отчаянный петух и кричал на всю улицу: «пэтурра, пэтурра». Из кулька, в левой руке дамы, сквозь дыру, сыпалась на тротуар морковь. Дама кричала и плакала, бросаясь в стену. Вихрем проскользнул какой-то мещанин, крестился на все стороны и кричал:

— Господисусе! Володька, Володька! Петлюра идет!

В конце Лубочицкой уже многие сновали, суетились и убегали в ворота. Какой-то человек в черном пальто ошалел от страха, рванулся в ворота, засадил в решетку свою палку и с треском ее сломал.

А время тем временем летело и летело, и, оказывается, налетели уже сумерки, и поэтому, когда Николка с Лубочицкой выскочил в Вольский спуск, на углу вспыхнул электрический фонарь и зашипел. В лавчонке бухнула штора и сразу скрыла пестрые коробки с надписью «мыльный порошок». Извозчик на санях вывернул их в сугроб совершенно, заворачивая за угол, и хлестал зверски клячу кнутом. Мимо Николки прыгнул назад четырехэтажный дом с тремя подъездами, и во всех трех лупили двери поминутно, и некий, в котиковом воротнике, проскочил мимо Николки и завыл в ворота:

— Петр! Петр! Ошалел, что ли? Закрывай! Закрывай ворота!

В подъезде грохнула дверь, и слышно было, как на темной лестнице гулкий женский голос прокричал:

— Петлюра идет. Петлюра!

Чем дальше убегал Николка на спасительный Подол, указанный Най-Турсом, тем больше народу летело и суе-

тилось, и моталось по улицам, но страху уже было меньше, и не все бежали в одном направлении с Николкой, а некоторые проносились навстречу.

У самого спуска на Подол из подъезда серокаменного дома вышел торжественно кадетишка в серой шинели с белыми погонами и золотой буквой «В» на них. Нос у кадетика был пуговицей. Глаза его бойко шныряли по сторонам, и большая винтовка сидела у него за спиной на ремне. Прохожие сновали, с ужасом глядели на вооруженного кадета и разбегались. А кадет постоял на тротуаре, прислушался к стрельбе в верхнем Городе с видом значительным и разведочным, потянул носом и захотел куда-то двинуться. Николка резко оборвал маршрут, двинул поперек тротуара, напер на кадетика грудью и сказал шепотом:

— Бросайте винтовку и немедленно прячьтесь.

Кадетишка вздрогнул, испугался, отшатнулся, но потом угрожающе ухватился за винтовку. Николка же старым испытанным приемом, напирая и напирая, вдавил его в подъезд и там уже, между двумя дверями, внушил:

— Говорю вам, прячьтесь. Я — юнкер. Катастрофа. Петлюра Город взял.

— Как это так взял? — спросил кадет и открыл рот, причем оказалось, что у него нет одного зуба с левой стороны.

— А вот так, — ответил Николка и, махнув рукой по направлению верхнего Города, добавил: — Слышите? Там конница Петлюрина на улицах. Я еле спасся. Бегите домой, винтовку спрячьте и всех предупредите.

Кадет окоченел, и так окоченевшим его Николка и оставил в подъезде, потому что некогда с ним разговаривать, когда он такой непонятливый.

На Подоле не было такой сильной тревоги, но суета была, и довольно большая. Прохожие учащали шаги, часто задирали головы, прислушивались, очень часто выскакивали кухарки в подъезды и ворота, наскоро кутаясь в серые платки. Из верхнего Города непрерывно слышалось кипение пулеметов. Но в этот сумеречный час четырнадцатого декабря уже нигде, ни вдали, ни вблизи, не было слышно пушек.

Путь Николки был длинен. Пока он пересек Подол, сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни, в лавчонках и в магазинах весело светилось, но не во всех: некоторые уже ослепли. Все больше начинало лепить сверху. Когда Николка пришел к началу своей улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подниматься по ней, он увидал у ворот дома № 7 картину: двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и шлемах только что скатились на салазках со спуска. Один из них, маленький и круглый, как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал. Другой, постарше, тонкий и серьезный, распутывал узел на веревке. У ворот стоял парень в тулупе и ковырял в носу. Стрельба стала слышнее. Она вспыхивала там, наверху, в самых разных местах.

— Васька, Васька, как я задницей об тумбу! — кричал маленький.

«Катаются мирно так», — удивленно подумал Николка и спросил у парня ласковым голосом:

— Скажите, пожалуйста, чего это стреляют там наверху?

Парень вынул палец из носа, подумал и сказал в нос:

— Офицерню бьют наши.

Николка исподлобья посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольта в кармане. Старший мальчик отозвался сердито:

— С офицерами расправляются. Так им и надо. Их восемьсот человек на весь Город, а они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него миллион войска.

Он повернулся и потащил салазки.

Сразу распахнулась кремовая штора — с веранды в маленькую столовую. Часы... тонк-танк...

— Алексей вернулся? — спросил Николка у Елены.

— Нет, — ответила она и заплакала.

Темно. Темно во всей квартире. В кухне только лампа... сидит Анюта и плачет, положив локти на стол.

Конечно, об Алексее Васильевиче... В спальне у Елены в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пляшут на полу. Елена сидит, наплакавшись об Алексее, на табуреточке, подперев щеку кулаком, а Николка у ее ног на полу в красном огненном пятне, расставив ноги ножницами.

Болботун... полковник. У Щегловых сегодня днем говорили, что это не кто иной, как великий князь Михаил Александрович. В общем, отчаяние здесь в полутьме и огненном блеске. Что ж плакать об Алексее? Плакать — это, конечно, не поможет. Убили его, несомненно. Все ясно. В плен они не берут. Раз не пришел, значит, попался вместе с дивизионом, и его убили. Ужас в том, что у Петлюры, как говорят, восемьсот тысяч войска, отборного и лучшего. Нас обманули, послали на смерть...

Откуда же взялась эта страшная армия? Соткалась из морозного тумана в игольчатом синем и сумеречном воздухе... Ах, страшная страна Украина! Туманно... туманно...

Елена встала и протянула руку.

— Будь прокляты немцы. Будь они прокляты. Но если только Бог не накажет их, значит, у него нет справедливости. Возможно ли, чтобы они за это не ответили? Они ответят. Будут они мучиться так же, как и мы, будут.

Она упрямо повторяла «будут», словно заклинала. На лице и на шее у нее играл багровый цвет, а пустые глаза были окрашены в черную ненависть. Николка, растопырив ноги, впал от таких выкриков в отчаяние и печаль.

— Может, он еще и жив? — робко спросил он. — Видишь ли, все-таки он врач... Если даже и схватили, может быть, не убьют, а заберут в плен.

— Будут кошек есть, будут друг друга убивать, как и мы, — говорила Елена звонко и ненавистно грозила огню пальцами.

«Эх, эх... Болботун не может быть великий князь. Восемьсот тысяч войска не может быть, и миллиона тоже... Впрочем, туман. Вот оно, налетело страшное времечко. И Тальберг-то, оказывается, умный, вовремя уехал. Огонь на полу танцует. Ведь вот же были мирные времена и прекрасные страны. Например, Париж и Людовик с образками на шляпе, и Клопен Трульефу полз и грелся в

таком же огне. И даже ему, нищему, было хорошо. Ну, нигде, никогда не было такого гнусного гада, как этот рыжий дворник Нерон. Все, кончено, нас ненавидят, но ведь он шакал форменный! Сзади за руку».

И вот тут за окнами забухали пушки. Николка вскочил и заметался.

— Ты слышишь? слышишь? слышишь? Может быть, это немцы? Может быть, союзники подошли на помощь? Кто? Ведь не могут же они стрелять по Городу, если они его уже взяли.

Елена сложила руки на груди и сказала:

— Никол, я тебя все равно не пущу. Не пущу. Умоляю тебя никуда не выходить. Не сходи с ума.

— Я только дошел бы до площадки у Андреевской церкви и оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь виден весь Подол.

— Хорошо, иди. Если ты можешь оставлять меня одну в такую минуту — иди.

Николка смутился.

— Ну, тогда я выйду только во двор послушаю.

— И я с тобой.

— Леночка, а если Алексей вернется, ведь с парадного звонка не услышим?

— Да, не услышим. И это ты будешь виноват.

— Ну, тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, что я дальше двора шагу не сделаю.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь во дворе?

— Честное слово.

— Иди.

Густейший снег шел четырнадцатого декабря 1918 года и застилал Город. И эти странные, неожиданные пушки стреляли в девять часов вечера. Стреляли они только четверть часа.

Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только Подол, но и часть верхнего Города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах, холмы и на них домишки, где лампадками мерцают окна. Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете. Так полагал Николка. При каждом грозном и отдаленном грохоте он молился таким образом: «Господи, дай...»

Но пушки смолкли.

«Это были наши пушки», — горестно думал Николка. Возвращаясь от калитки, он заглянул в окно к Щегловым. Во флигельке, в окошке, завернулась беленькая шторка и видно было: Марья Петровна мыла Петьку. Петька голый сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марья Петровна выжимала на Петьку губку. На веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень Марьи Петровны. Николке показалось, что у Щегловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шинели холодно.

В глубоких снегах, верстах в восьми от предместья Города, на севере, в сторожке, брошенной сторожем и заваленной наглухо белым снегом, сидел штабс-капитан. На столике лежала краюха хлеба, стоял ящик полевого телефона и малюсенькая трехлинейная лампочка с закопченным пузатым стеклом. В печке догорал огонек. Капитан был маленький, с длинным острым носом, в шинели с большим воротником. Левой рукой он щипал и ломал краюху, а правой жал кнопки телефона. Но телефон словно умер и ничего ему не отвечал.

Кругом капитана, верст на пять, не было ничего, кроме тьмы, и в ней густой метели. Были сугробы снега.

Еще прошел час, и штабс-капитан оставил телефон в покое. Около девяти вечера он посопел носом и сказал почему-то вслух:

— С ума сойду. В сущности, следовало бы застрелиться. — И, словно в ответ ему, запел телефон.

— Это шестая батарея? — спросил далекий голос.

— Да, да, — с буйной радостью ответил капитан.

Встревоженный голос издалека казался очень радостным и глухим:

— Откройте немедленно огонь по урочищу... — Далекий смутный собеседник квакал по нити, — ураганный... — Голос перерезало. — У меня такое впечатление... — И на этом голос опять перерезало.

— Да, слушаю, слушаю, — отчаянно скаля зубы, вскрикивал капитан в трубку. Прошла долгая пауза.

— Я не могу открыть огня, — сказал капитан в трубку, отлично чувствуя, что говорит он в полную пустоту, но не говорить не мог. — Вся моя прислуга и трое прапорщиков разбежались. На батарее я один. Передайте это на Пост.

Еще час просидел штабс-капитан, потом вышел. Очень сильно мело. Четыре мрачных и страшных пушки уже заносило снегом, и на дулах и у замков начало наметать гребешки. Крутило и вертело, и капитан тыкался в холодном визге метели, как слепой. Так в слепоте он долго возился, пока не снял на ощупь, в снежной тьме первый замок. Хотел бросить его в колодец за сторожкой, но раздумал и вернулся в сторожку. Выходил еще три раза и все четыре замка с орудий снял и спрятал в люк под полом, где лежала картошка. Затем ушел в тьму, предварительно задув лампу. Часа два он шел, утопая в снегу, совершенно невидимый и темный, и дошел до шоссе, ведущего в Город. На шоссе тускло горели редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили конные с хвостами на головах шашками, сняли с него сапоги и часы.

Тот же голос возник в трубке телефона в шести верстах от сторожки на запад, в землянке.

— Откройте... огонь по урочищу немедленно. У меня такое впечатление, что неприятель прошел между вами и нами на Город.

— Слушаете? слушаете? — ответили ему из землянки.

— Узнайте на Посту... — перерезало.

Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ:

— Беглым по урочищу... по коннице...

И совсем перерезало.

Из землянки с фонарями вылезли три офицера и три юнкера в тулупах. Четвертый офицер и двое юнкеров были возле орудий у фонаря, который метель старалась погасить. Через пять минут пушки стали прыгать и

страшно бить в темноту. Мощным грохотом они наполнили всю местность верст на пятнадцать кругом, донесли до дома № 13 по Алексеевскому спуску... Господи, дай...

Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, четырех офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефона, выстрелил себе в рот.

Последними словами командира были:

— Штабная сволочь. Отлично понимаю большевиков.

Ночью Николка зажег верхний фонарь в своей угловой комнате и вырезал у себя на двери большой крест и изломанную надпись под ним перочинным ножом:

«п. Турс. 14-го дек. 1918 г. 4 ч. дня».

«Най» откинул для конспирации на случай, если придут с обыском петлюровцы.

Хотел не спать, чтобы не пропустить звонка. Елене в стену постучал и сказал:

— Ты спи, — я не буду спать.

И сейчас же после этого заснул как мертвый, одетым, на кровати. Елена же не спала до рассвета и все слушала и слушала, не раздастся ли звонок. Но не было никакого звонка, и старший брат Алексей пропал.

Уставшему, разбитому человеку спать нужно, и уж одиннадцать часов, а все спится и спится... Оригинально спится, я вам доложу! Сапоги мешают, пояс впился под ребра, ворот душит, и кошмар уселся лапками на груди.

Николка завалился головой навзничь, лицо побагровело, из горла свист... Свист!.. Снег и паутина какая-то... Ну, кругом паутина, черт ее дери! Самое главное — пробраться сквозь эту паутину, а то она, проклятая, нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу. И чего доброго, окутает так, что и не выберешься! Так и задохнешься. За сетью паутины чистейший снег, сколько угодно, целые равнины. Вот на этот снег нужно выбраться, и поскорее, потому что чей-то голос как будто где-то ахнул: «Никол!» И тут, вообразите, поймалась в эту паутину какая-то бойкая птица и застучала... Ти-ки-тики, тики, тики. Фью. Фи-у! Тики! Тики. Фу ты, черт! Ее самое не видно, но свистит где-то близко, и еще кто-то

плачется на свою судьбу, и опять голос: «Ник! Ник! Николка!!»

— Эх! — крякнул Николка, разодрал паутину и разом сел, всклокоченный, растерянный, с бляхой на боку. Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал.

— Кто? Кто? Кто? — в ужасе спросил Николка, ничего не понимая.

— Кто. Кто, кто, кто, кто, кто, так! так!.. Фи-ти! Фи-у! Фьюх! — ответила паутина, и скорбный голос сказал, полный внутренних слез:

— Да, с любовником!

Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение. Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах галифе и сапогах с желтыми жокейскими отворотами. Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубочайших орбит невероятно огромной головы, коротко остриженной. Несомненно, оно было молодо, видение-то, но кожа у него была на лице старческая, серенькая, и зубы глядели кривые и желтые. В руках у видения находилась большая клетка с накинутым на нее черным платком и распечатанное голубое письмо...

«Это я еще не проснулся», — сообразил Николка и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение, как паутину, и пребольно ткнулся пальцами в прутья. В черной клетке тотчас, как взбесилась, закричала птица и засвистала и затарахтела.

— Николка! — где-то далеко-далеко прокричал Еленин голос в тревоге.

«Господи Иисусе, — подумал Николка, — нет, я проснулся, но сразу же сошел с ума, и знаю отчего — от военного переутомления. Боже мой! И вижу уже чепуху... а пальцы? Боже! Алексей не вернулся... ах, да... он не вернулся... убили... ой, ой, ой!

— С любовником на том самом диване, — сказало видение трагическим голосом, — на котором я читал ей стихи.

Видение оборачивалось к двери, очевидно, к какому-то слушателю, но потом окончательно устремилось к Николке:

— Да-с, на этом самом диване... Они теперь сидят и целуются... после векселей на семьдесят пять тысяч, которые я подписал не задумываясь, как джентльмен. Ибо джентльменом был и им останусь всегда. Пусть целуются!

«О, ей, ей», — подумал Николка. Глаза его выкатились и спина похолодела.

— Впрочем, извиняюсь, — сказало видение, все более и более выходя из зыбкого, сонного тумана и превращаясь в настоящее живое тело, — вам, вероятно, не совсем ясно? Так не угодно ли, вот письмо, — оно вам все объяснит. Я не скрываю своего позора ни от кого, как джентльмен.

И с этими словами неизвестный вручил Николке голубое письмо. Совершенно ошалев, Николка взял его и стал читать, шевеля губами, крупный, разгонистый и взволнованный почерк. Без всякой даты, на нежном небесном листке было написано:

«Милая, милая Леночка! Я знаю ваше доброе сердце и направляю его прямо к вам, по-родственному. Телеграмму я, впрочем, послала, он все вам сам расскажет, бедный мальчик. Лариосика постиг ужасный удар, и я долго боялась, что он не переживет его. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась подколодной змеей! Приютите его, умоляю, и согрейте так, как вы умеете это делать. Я аккуратно буду переводить вам содержание. Житомир стал ему ненавистен, и я вполне это понимаю. Впрочем, не буду больше ничего писать, — я слишком взволнована, и сейчас идет санитарный поезд, он сам вам все расскажет. Целую вас крепко, крепко и Сережу!»

После этого стояла неразборчивая подпись.

— Я птицу захватил с собой, — сказал неизвестный, вздыхая, — птица — лучший друг человека. Многие, правда, считают ее лишней в доме, но я одно могу сказать — птица уж, во всяком случае, никому не делает зла.

Последняя фраза очень понравилась Николке. Не стараясь уже ничего понять, он застенчиво почесал непонятным письмом бровь и стал спускать ноги с кровати, думая: «Неприлично... спросить, как его фамилия?.. Удивительное происшествие...»

— Это канарейка? — спросил он.

— Но какая! — ответил неизвестный восторженно. — Собственно, это даже не канарейка, а настоящий кенар. Самец. И таких у меня в Житомире пятнадцать штук. Я перевез их к маме, пусть она кормит их. Этот негодяй, наверное, посвертывал бы им шеи. Он ненавидит птиц. Разрешите поставить ее пока на ваш письменный стол?

— Пожалуйста, — ответил Николка. — Вы из Житомира?

— Ну да, — ответил неизвестный, — и, представьте, совпадение: я прибыл одновременно с вашим братом.

— Каким братом?

— Как с каким? Ваш брат прибыл вместе со мной, — ответил удивленно неизвестный.

— Какой брат? — жалобно вскричал Николка. — Какой брат? Из Житомира?!

— Ваш старший брат...

Голос Елены явственно выкрикнул в гостиной: «Николка! Николка! Илларион Ларионыч! Да будите же его! Будите!»

— Трики, фит, фит, трики! — протяжно заорала птица.

Николка уронил голубое письмо и пулей полетел через книжную в столовую и в ней замер, растопырив руки.

Алексей Турбин в черном чужом пальто с рваной подкладкой, в черных чужих брюках лежал неподвижно на диванчике под часами. Его лицо было бледно синеватой бледностью, а зубы стиснуты. Елена металась возле него, халат ее распахнулся, и были видны черные чулки и кружево белья. Она хваталась то за пуговицы на груди Турбина, то за руки, крича: «Никол! Никол!»

Через три минуты Николка в сдвинутой на затылок студенческой фуражке, в серой шинели нараспашку бежал, тяжело пыхтя, вверх по Алексеевскому спуску и бормотал: «А если его нету? Вот, Боже мой, история с желтыми отворотами! Но Курицкого нельзя звать ни в коем случае, это совершенно ясно... Кит и кот...» Птица оглушительно стучала у него в голове — кити, кот, кити, кот!

Через час в столовой стоял на полу таз, полный красной жидкой водой, валялись комки красной рваной

марли и белые осколки посуды, которую обрушил с буфета неизвестный с желтыми отворотами, доставая стакан. По осколкам все бегали и ходили с хрустом взад и вперед. Турбин бледный, но уже не синеватый, лежал попрежнему навзничь на подушке. Он пришел в сознание и хотел что-то сказать, но остробородый, с засученными рукавами, доктор в золотом пенсне, наклонившись к нему, сказал, вытирая марлей окровавленные руки:

— Помолчите, коллега...

Анюта, белая, меловая, с огромными глазами, и Елена, растрепанная, рыжая, подымали Турбина и снимали с него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным рукавом.

— Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть, — сказал остробородый.

Рубаху на Турбине искромсали ножницами и сняли по кускам, обнажив худое желтоватое тело и левую руку, только что наглухо забинтованную до плеча. Концы дранок торчали вверху повязки и внизу. Николка стоял на коленях, осторожно расстегивая пуговицы, и снимал с Турбина брюки.

— Совсем раздевайте и сейчас же в постель, — говорил клинобородый басом. Анюта из кувшина лила ему на руки, и мыло клочьями падало в таз. Неизвестный стоял в сторонке, не принимая участия в толкотне и суете, и горько смотрел то на разбитые тарелки, то, краснея, на растерзанную Елену — капот ее совсем разошелся. Глаза неизвестного были увлажнены слезами.

Несли Турбина из столовой в его комнату все, и тут неизвестный принял участие: он подсунул руки под коленки Турбину и нес его ноги.

В гостиной Елена протянула врачу деньги. Тот отстранил рукой...

— Что вы, ей-богу, — сказал он, — с врача? Тут поважней вопрос. В сущности, в госпиталь надо...

— Нельзя, — донесся слабый голос Турбина, — нельзя в госпит...

— Помолчите, коллега, — отозвался доктор, — мы и без вас управимся. Да, конечно, я сам понимаю... Черт знает что сейчас делается в городе... — Он кивнул на

окно. — Гм... пожалуй, он прав: нельзя... Ну, что ж, тогда дома... Сегодня вечером я приеду.

— Опасно это, доктор? — заметила Елена тревожно. Доктор уставился в паркет, как будто в блестящей желтизне и был заключен диагноз, крякнул и, покрутив бородку, ответил:

— Кость цела... Гм... крупные сосуды не затронуты... нерв тоже... Но нагноение будет... В рану попали клочья шерсти от шинели... Температура... — Выдавив из себя эти малопонятные обрывки мыслей, доктор повысил голос и уверенно сказал: — Полный покой... Морфий, если будет мучиться, я сам впрысну вечером. Есть — жидкое... ну, бульон дадите... Пусть не разговаривает много...

— Доктор, доктор, я очень вас прошу... он просил, пожалуйста, никому не говорить...

Доктор искоса закинул на Елену взгляд хмурый и глубокий и забурчал:

— Да это я понимаю... Как это он подвернулся?..

Елена только сдержанно вздохнула и развела руками.

— Ладно, — буркнул доктор и боком, как медведь, полез в переднюю.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

12

В маленькой спальне Турбина на двух окнах, выходящих на застекленную веранду, упали темненькие шторы. Комнату наполнил сумрак, и Еленина голова засветилась в нем. В ответ ей светилось беловатое пятно на подушке — лицо и шея Турбина. Провод от штепселя змеей сполз к стулу, и розовенькая лампочка в колпачке загорелась и день превратила в ночь. Турбин сделал знак Елене прикрыть дверь.

— Анюту сейчас же предупредить, чтобы молчала...

— Знаю, знаю... Ты не говори, Алеша, много.

— Сам знаю... Я тихонько... Ах, если рука пропадет!

— Ну что ты, Алеша... лежи, молчи... Пальто-то этой дамы у нас пока будет?

— Да, да. Чтобы Николка не вздумал тащить его. А то на улице... слышишь? Вообще, ради Бога, не пускай его никуда.

— Дай Бог ей здоровья, — искренне и нежно сказала Елена, — вот, говорят, нет добрых людей на свете...

Слабенькая краска выступила на скулах раненого, и глаза уперлись в невысокий белый потолок, потом он перевел их на Елену и, поморщившись, спросил:

— Да, позвольте, а что это за головастик?

Елена наклонилась в розовый луч и вздернула плечами.

— Понимаешь, ну, только что перед тобой, минутки две, не больше, явление: Сережин племянник из Житомира. Ты же слышал: Суржанский... Ларион... Ну, знаменитый Лариосик.

— Ну?..

— Ну, приехал к нам с письмом. Какая-то драма у них. Только что начал рассказывать, как она тебя привезла.

— Птица какая-то, Бог его знает...

Елена со смехом и ужасом в глазах наклонилась к постели:

— Что птица!.. Он ведь жить у нас просится. Я уж не знаю, как и быть.

— Жи-ить?..

— Ну, да... Только молчи и не шевелись, прошу тебя, Алеша... Мать умоляет, пишет, ведь этот самый Лариосик кумир ее... Я такого балбеса, как этот Лариосик, в жизнь свою не видала. У нас он начал с того, что всю посуду расхлопал. Синий сервиз. Только две тарелки осталось.

— Ну, вот. Я уж не знаю, как быть...

В розовой теии долго слышался шепот. В отдалении звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст — взбудораженная Анюта выметала синий сервиз. Наконец было решено в шепоте. Ввиду того, что теперь в городе будет происходить черт знает что, и очень возможно, что придут реквизировать комнаты, ввиду того, что денег нет, а за Лариосика будут платить, — пустить

Лариосика. Но обязать его соблюдать правила турбинской жизни. Относительно птицы — испытать. Ежели птица несносна в доме, потребовать ее удаления, а хозяина ее оставить. По поводу сервиза, ввиду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернется и вообще это хамство и мещанство, — сервиз предать забвению. Пустить Лариосика в книжную, поставить там кровать с пружинным матрацем и столик...

Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и глядя на то место, где некогда на буфете помещалось стопкой двенадцать тарелок. Мутно-голубые глаза выражали полную скорбь. Николка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушая какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напряженнейшим любопытством.

— Нету кожи в Житомире, — растерянно говорил Лариосик, — понимаете, совершенно нету. Такой кожи, как я привык носить, нету. Я кликнул клич сапожникам, предлагая какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось...

Увидя Елену, Лариосик побледнел, переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти капота, заговорил так:

— Елена Васильевна, сию минуту я еду в магазины, кликну клич, и у вас будет сегодня же сервиз. Я не знаю, что мне и говорить. Как перед вами извиниться? Меня, безусловно, следует убить за сервиз. Я ужасный неудачник, — отнесся он к Николке. — И сейчас же в магазины, — продолжал он Елене.

— Я вас очень прошу ни в какие магазины не ездить, тем более что все они, конечно, закрыты. Да позвольте, неужели вы не знаете, что у нас в Городе происходит?

— Как же не знать! — воскликнул Лариосик. — Я ведь с санитарным поездом, как вы знаете из телеграммы.

— Из какой телеграммы? — спросила Елена. — Мы никакой телеграммы не получили.

— Как? — Лариосик открыл широкий рот. — Не полу-чили? А-га! То-то я смотрю, — он повернулся к Николке, — что вы на меня с таким удивлением... Но позвольте... Мама дала вам телеграмму в шестьдесят три слова.

— Ц... Ц... Шестьдесят три слова! — поразился Николка. — Какая жалость. Ведь телеграммы теперь так плохо ходят. Совсем, вернее, не ходят.

— Как же теперь быть? — огорчился Лариосик. — Вы разрешите мне у вас? — Он беспомощно огляделся, и сразу по глазам его было видно, что у Турбиных ему очень нравится и никуда он уходить бы не хотел.

— Все устроено, — ответила Елена и милостиво кивнула, — мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь. Видите, у нас какое несчастье...

Лариосик огорчился еще больше. Глаза его заволокло слезной дымкой.

— Елена Васильевна! — с чувством сказал он. — Располагайте мной, как вам угодно. Я, знаете ли, могу не спать по три и четыре ночи подряд.

— Спасибо, большое спасибо.

— А теперь, — Лариосик обратился к Николке, — не могу ли я у вас попросить ножницы?

Николка, взъерошенный от удивления и интереса, слетал куда-то и вернулся с ножницами. Лариосик взялся за пуговицу френча, поморгал глазами и опять обратился к Николке:

— Впрочем, виноват, на минутку в вашу комнату...

В Николкиной комнате Лариосик снял френч, обнаружив необыкновенно грязную рубашку, вооружился ножницами, вспорол черную лоснящуюся подкладку френча и вытащил из-под нее толстый зелено-желтый сверток денег. Этот сверток он торжественно принес в столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря:

— Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же внести деньги за мое содержание.

— Почему же такая спешность, — краснея, спросила Елена, — это можно было бы и после...

Лариосик горячо запротестовал:

— Нет, нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста, примите сейчас. Помилуйте, в такой трудный момент деньги всегда остро нужны, я это прекрасно понимаю! — Он развернул пакет, причем изнутри выпала карточка какой-то женщины. Лариосик проворно подобрал ее и со вздохом спрятал в карман. — Да оно и лучше у вас

будет. Мне что нужно? Мне нужно будет папирос купить и канареечного семени для птицы...

Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный блеск показался у нее в глазах, настолько обстоятельны и уместны были действия Лариосика.

«Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумала, — подумала она, — вежлив и добросовестен, только чудак какой-то. Сервиза безумно жаль».

«Вот тип», — думал Николка. Чудесное появление Лариосика вытеснило в нем его печальные мысли.

— Здесь восемь тысяч, — говорил Лариосик, двигая по столу пачку, похожую на яичницу с луком, — если мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу еще.

— Нет, нет, потом, отлично, — ответила Елена. — Вы вот что: я сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну, и сейчас же купайтесь. Но скажите, как же вы приехали, как же вы пробрались, не понимаю? — Елена стала комкать деньги и прятать их в громадный карман капота.

Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспоминания.

— Это кошмар! — воскликнул он, складывая руки, как католик на молитве. — Я ведь девять дней... нет, виноват, десять?.. позвольте... воскресенье, ну да, понедельник... одиннадцать дней ехал от Житомира!..

— Одиннадцать дней! — вскричал Николка. — Видишь! — почему-то укоризненно обратился он к Елене.

— Да-с, одиннадцать... Выехал я, поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский. И вот приезжаем мы на станцию, как ее, ну, вот, ну, Господи, забыл... все равно... и тут меня, вообразите, хотели расстрелять. Явились эти петлюровцы, с хвостами...

— Синие? — спросил Николка с любопытством.

— Красные... да, с красными... и кричат: слазь! Мы тебя сейчас расстреляем! Они решили, что я офицер и спрятался в санитарном поезде. А у меня протекция просто была... у мамы к доктору Курицкому.

— Курицкому? — многозначительно воскликнул Николка. — Тэк-с, — кот... и кит. Знаем.

— Кити, кот, кити, кот, — за дверями глухо отозвалась птичка.

— Да, к нему... он и привел поезд к нам в Житомир... Боже мой! Я тут начинаю Богу молиться. Думаю, все пропало! И, знаете ли? птица меня спасла. Я говорю, я не офицер. Я ученый птицевод, показываю птицу... Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит так нагло — иди себе, бисов птицевод. Вот наглец! Я бы его убил, как джентльмен, но сами понимаете...

— Еле... — глухо послышалось из спальни Турбина. Елена быстро повернулась и, недослушав, бросилась туда.

Пятнадцатого декабря солнце по календарю угасает в три с половиной часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с трех часов. Но на лице Елены в три часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни — половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимость бороться с бедой.

На лице у Николки показались колючие и нелепые без двадцати час оттого, что в Николкиной голове был хаос и путаница, вызванная важными загадочными словами «Мало-Провальная...», словами, произнесенными умирающим на боевом перекрестке вчера, словами, которые было необходимо разъяснить не позже, чем в ближайшие дни. Хаос и трудности были вызваны и важным падением с неба в жизнь Турбиных загадочного и интересного Лариосика, и тем обстоятельством, что стряслось чудовищное и величественное событие: Петлюра взял Город. Тот самый Петлюра и, поймите! — тот самый Город. И что теперь будет происходить в нем, для ума человеческого, даже самого развитого, непонятно и непостижимо. Совершенно ясно, что вчера стряслась отвратительная катастрофа — всех наших перебили, захватили врасплох. Кровь их, несомненно, вопиет к небу — это раз. Преступники генералы и штабные мерзавцы заслуживают смерти — это два. Но, кроме ужаса, нарастает и жгучий интерес, — что же, в самом деле, будет? Как будут жить семьсот тысяч людей здесь, в Городе, под властью загадочной личности, которая носит такое страшное и некрасивое

имя — Петлюра? Кто он такой? Почему?.. Ах, впрочем, все это отходит пока на задний план по сравнению с самым главным, с кровавым... Эх... эх... ужаснейшая вещь, я вам доложу. Точно, правда, ничего не известно, но, вернее всего, и Мышлаевского и Карася можно считать кончеными.

Николка на скользком и сальном столе колол лед широким косарем. Льдины или раскалывались с хрустом, или выскальзывали из-под косаря и прыгали по всей кухне, пальцы у Николки занемели. Пузырь с серебристой крышечкой лежал под рукой.

— Мало... Провальная... — шевелил Николка губами, и в мозгу его мелькали образы Най-Турса, рыжего Нерона и Мышлаевского. И как только последний образ, в разрезной шинели, пронизывал мысли Николки, лицо Анюты, хлопочущей в печальном сне и смятении у жаркой плиты, все явственней показывало без двадцати пяти пять — час угнетения и печали. Целы ли разноцветные глаза? Будет ли еще слышен развалистый шаг, прихлопывающий шпорным звоном — дрень... дрень...

— Неси лед, — сказала Елена, открывая дверь в кухню.

— Сейчас, сейчас, — торопливо отозвался Николка, завинтил крышку и побежал.

— Анюта, милая, — заговорила Елена, — смотри никому ни слова не говори, что Алексея Васильевича ранили. Если узнают, храни Бог, что он против них воевал, будет беда.

— Я, Елена Васильевна, понимаю. Что вы! — Анюта тревожными, расширенными глазами поглядела на Елену. — Что в городе делается, царица небесная! Тут на Боричевом Току, иду я, лежат двое без сапог... Крови, крови!.. Стоит кругом народ, смотрит... Говорит какой-то, что двух офицеров убили... Так и лежат, головы без шапок... У меня и ноги подкосились, убежала, чуть корзину не бросила...

Анюта зябко передернула плечами, что-то вспомнила, и тотчас из рук ее косо поехали на пол сковородки...

— Тише, тише, ради Бога, — молвила Елена, простирая руки.

На сером лице Лариосика стрелки показывали в три часа дня высший подъем и силу — ровно двенадцать. Обе

стрелки сошлись на полудне, слиплись и торчали вверх, как острие меча. Происходило это потому, что после катастрофы, потрясшей Лариосикову нежную душу в Житомире, после страшного одиннадцатидневного путешествия в санитарном поезде и сильных ощущений Лариосику чрезвычайно понравилось жилище у Турбиных. Чем именно — Лариосик пока не мог бы этого объяснить, потому что и сам себе этого не уяснил точно.

Показалась необычайно заслуживающей почтения и внимания красавица Елена. И Николка очень понравился. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучил момент, когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и обратно, и стал помогать ему устанавливать и раздвигать пружинную узкую кровать в книжной комнате.

— У вас очень открытое лицо, располагающее к себе, — сказал вежливо Лариосик и до того засмотрелся на открытое лицо, что не заметил, как сложил сложную гремящую кровать и ущемил между двумя створками Николкину руку. Боль была так сильна, что Николка взвыл, правда, глухо, но настолько сильно, что прибежала, шурша, Елена. У Николки, напрягающего все силы, чтобы не завизжать, из глаз сами собой падали крупные слезы. Елена и Лариосик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали ее в разные стороны, освобождая посиневшую кисть. Лариосик сам чуть не заплакал, когда она вылезла мятая и в красных полосах.

— Боже мой! — сказал он, искажая свое и без того печальное лицо. — Что же это со мной делается?! До чего мне не везет!.. Вам очень больно? Простите меня, ради Бога.

Николка молча кинулся в кухню, и там Анюта пустила ему на руку, по его распоряжению, струю холодной воды из крана.

После того, как хитрая патентованная кровать расщелкнулась и разложилась и стало ясно, что особенного повреждения Николкиной руки нет, Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг. У него, кроме страсти и любви к птицам, была еще и страсть к книгам. Здесь же на открытых многополочных шкафах тесным строем стояли сокровища. Зелеными, красными, тисненными золотом и желтыми об-

ложками и черными папками со всех четырех стен на Лариосика глядели книги. Уж давно разложилась кровать и застелилась постель и возле нее стоял стул и на спинке его висело полотенце, а на сиденье среди всяких необходимых мужчине вещей — мыльницы, папирос, спичек, часов, утвердилась в наклонном положении таинственная женская карточка, а Лариосик все еще находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточки у нижних рядов залежей, жадными глазами глядя на переплеты, не зная, за что скорее взяться — за «Посмертные записки Пиквикского клуба» или за «Русский вестник 1871 года». Стрелки стояли на двенадцати.

Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все более и более печаль. Поэтому часы не били двенадцать раз, стояли молча стрелки и были похожи на сверкающий меч, обернутый в траурный флаг.

Виною траура, виною разнобоя на жизнениых часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик. В три часа в спальне Турбина он показал 39,6. Елена, побледнев, хотела стряхнуть его, но Турбии повернул голову, повел глазами и слабо, но настойчиво произнес: «Покажи». Елена молча и неохотно подала ему термометр. Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул.

В пять часов он лежал с холодным, серым мешком на голове, и в мешке таял и плавился мелкий лед. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящими и очень похорошели.

— Тридцать девять и шесть... здорово, — говорил он, изредка облизывая сухие, потрескавшиеся губы. — Тааак... Все может быть... Но, во всяком случае, практике конец... надолго. Лишь бы руку-то сохранить... а то что я без руки...

— Алеша, молчи, пожалуйста, — просила Елена, оправляя у него на плечах одеяло... Турбин умолкал, закрывая глаза. От раны вверху у самой левой подмышки тянулся и расползался по телу сухой, колючий жар. Порой он наполнял всю грудь и туманил голову, но ноги неприятно леденели. К вечеру, когда всюду зажглись лампы и давно в молчании и тревоге отошел обед трех — Елены,

Николки и Лариосика, — ртутный столб, разбухая и рождаясь колдовским образом из густого серебряного шарика, выполз и дотянулся до деления 40,2. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять и расплываться. Тоска пришла, как серый ком, рассевшийся на одеяле, а теперь она превратилась в желтые струны, которые потянулись, как водоросли в воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что все заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху, в левой части груди, отупела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом. Жгучая свечка в груди порою превращалась в ледяной ножичек, сверлящий где-то в легком. Турбин тогда качал головой и сбрасывал пузырь и сползал глубже под одеяло. Боль в ране выворачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненый невольно сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал опять свое место палящей свече, жар тогда наливал тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом, и раненый просил — «пить». То Николкино, то Еленино, то Лариосиково лица показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми. Стрелки Николки сразу стянулись и стали, как у Елены, — ровно половина шестого. Николка поминутно выходил в столовую — свет почему-то горел в этот вечер тускло и тревожно — и смотрел на часы. Тонкрх... тонкрх... сердито и предостерегающе ходили часы с хрипотой, и стрелки их показывали то девять, то девять с четвертью, то девять с половиной...

— Эх, эх, — вздыхал Николка и брел, как сонная муха, из столовой через прихожую мимо спальни Турбина в гостиную, а оттуда в кабинет и выглядывал, отвернув белые занавески, через балконную дверь на улицу... «Чего доброго, не струсил бы врач... не придет...» — думал он. Улица, кривая и крутая, была пустыннее, чем все эти дни, но все же уж не так ужасна. И шли изредка и скрипели понемногу извозчичьи сани. Но редко... Николка соображал, что придется, пожалуй, идти... И думал, как уломать Елену.

— Если до десяти с половиной он не придет, я пойду сама с Ларионом Ларионовичем, а ты останешься дежурить у Алеши... Молчи, пожалуйста... Пойми, у тебя юн-

керская физиономия... А Лариосику дадим штатское Алешино... И его с дамой не тронут...

Лариосик суетился, изъявлял готовность пожертвовать собой и идти одному и пошел надевать штатское платье.

Нож совсем пропал, но жар пошел гуще — поддавал тиф на каменку, и в жару пришла уже не раз не совсем ясная и совершенно посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером.

— А ты знаешь, он, вероятно, кувыркнулся? Серый? — вдруг отчетливо и строго молвил Турбин и посмотрел на Елену внимательно. — Это неприятно... Вообще, в сущности, все птицы. В кладовую бы в теплую убрать, да посадить, в тепле и опомнилась бы.

— Что ты, Алеша? — испуганно спросила Елена, наклоняясь и чувствуя, как в лицо ей веет теплом от лица Турбина. — Птица? Какая птица?

Лариосик в черном штатском стал горбатым, широким, скрыл под брюками желтые отвороты. Он испугался, глаза его жалобно забегали. На цыпочках, балансируя, он выбежал из спаленки через прихожую в столовую, через книжную повернул в Николкину и там, строго взмахивая руками, кинулся к клетке на письменном столе и набросил на нее черный плат... Но это было лишнее — птица давно спала в углу, свернувшись в оперенный клубок, и молчала, не ведая никаких тревог. Лариосик плотно прикрыл дверь в книжную, а из книжной в столовую.

— Неприятно... ох, неприятно, — беспокойно говорил Турбин, глядя в угол, — напрасно я застрелил его... Ты слушай... — Он стал освобождать здоровую руку из-под одеяла... — Лучший способ пригласить и объяснить, чего, мол, мечешься, как дурак?.. Я, конечно, беру на себя вину... Все пропало и глупо...

— Да, да, — тяжко молвил Николка, а Елена повесила голову. Турбин встревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась, он застонал, потом злобно сказал:

— Уберите тогда!..

— Может быть, вынести ее в кухню? Я, впрочем, закрыл ее, она молчит, — тревожно зашептал Елене Лариосик.

Елена махнула рукой: «Нет, нет, не то...» Николка решительными шагами вышел в столовую. Волосы его взъерошились, он глядел на циферблат: часы показывали около десяти. Встревоженная Анюта вышла из двери в столовую.

— Что, как Алексей Васильевич? — спросила она.

— Бредит, — с глубоким вздохом ответил Николка.

— Ах ты, Боже мой, — зашептала Анюта, — чего же это доктор не едет?

Николка глянул на нее и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены и начал внушать ей:

— Воля твоя, а я отправляюсь за ним. Если нет его, надо звать другого. Десять часов. На улице совершенно спокойно.

— Подождем до половины одиннадцатого, — качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шепотом, — другого звать неудобно. Я знаю, этот придет.

Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале одиннадцатого поместилась в узкую спаленку. Черт знает что! Совершенно немыслимо будет жить. Она заняла все от стены до стены, так что левое колесо прижалось к постели. Невозможно жить, нужно будет лазить между тяжелыми спицами, потом сгибаться в дугу и через второе, правое колесо протискиваться, да еще с вещами, а вещей навешано на левой руке Бог знает сколько. Тянут руку к земле, бечевой режут подмышку. Мортиру убрать невозможно, вся квартира стала мортирной, согласно распоряжению, и бестолковый полковиик Малышев, и ставшая бестолковой Елена, глядящая из колес, ничего не могут предпринять, чтобы убрать пушку или, по крайней мере, самого-то больного человека перевести в другие, сносные условия существования, туда, где нет никаких мортир. Самая квартира стала, благодаря проклятой, тяжелой и холодиой штуке, как постоялый двор. Колокольчик на двери звонит часто... бррынь... и стали являться с визитами. Мелькнул полковник Малышев, нелепый, как лопарь, в ушастой шапке и с золотыми погонами, и притащил с собой ворох бумаг. Турбин прикрикнул на него, и Малышев ушел в дуло пушки и сменился Николкой, суетливым, бестолковым и глупым в своем упрямстве. Николка давал пить, но не холодную,

витую струю из фонтана, а лил теплую противную воду, отдающую кастрюлей.

— Фу... гадость эту... перестань, — бормотал Турбин.

Николка и пугался и брови поднимал, но был упрям и неумел. Елена не раз превращалась в черного и лишнего Лариосика, Сережина племянника, и, вновь возвращаясь в рыжую Елену, бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегчения. Еленины руки, обычно теплые и ловкие, теперь, как грабли, расхаживали длинно, дурацки и делали все самое ненужное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь на цейхгаузном проклятом дворе. Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного Турбина. Да еще садилась... что с ней?.. на конец этой палки, и та под тяжестью начинала медленно до тошноты вращаться... А попробуйте жить, если круглая палка врезывается в тело! Нет, нет, нет, они несносны! И как мог громче, но вышло тихо, Турбин позвал.

— Юлия!

Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с золотыми эполетами на портрете сороковых годов, не вняла зову больного человека. И совсем бы бедного больного человека замучили серые фигуры, начавшие хождение по квартире и спальне, наравне с самими Турбиными, если бы не приехал толстый, в золотых очках — настойчивый и очень умелый. В честь его появления в спаленке прибавился еще один свет — свет стеариновой трепетной свечи в старом тяжелом и черном шандале. Свеча то мерцала на столе, то ходила вокруг Турбина, а над ней ходил по стене безобразный Лариосик, похожий на летучую мышь с обрезанными крыльями. Свеча наклонялась, оплывая белым стеарином. Маленькая спаленка пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты — рождественского снега. Турбину толстый, золотой, с теплыми руками, сделал чудодейственный укол в здоровую руку, и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. Мортиру выдвинули на веранду, причем сквозь стекла, завешенные, ее черное дуло отнюдь не казалось страшным. Стало свободнее дышать, потому что уехало громадное колесо и не требовалось ла-

зить между спицами. Свеча потухла, и со стены исчез угловатый, черный, как уголь, Ларион, Лариосик Суржанский из Житомира, а лик Николки стал более осмысленным и не таким раздражающе упрямым, быть может, потому, что стрелка благодаря надежде на искусство толстого золотого разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке. Назад от половины шестого к без двадцати пять пошло времечко, а часы в столовой, хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки все вперед и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, а по-прежнему — чистым, солидным баритоном били — тонк! И башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галлов Людовика XIV, били на башне — бом!.. Полночь... слушай... полночь... слушай... Били предостерегающе, и чьи-то алебарды позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходили и охраняли, ибо башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели — охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует.

Только в очаге покоя Юлия, эгоистка, порочная, но обольстительная женщина, согласна появиться. Она и появилась, ее нога в черном чулке, край черного отороченного мехом ботика мелькнул на легкой кирпичной лесенке, и торопливому стуку и шороху ответил плещущий колокольчиками гавот оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьяненный своей славой и присутствием обаятельных цветных женщин.

В полночь Николка предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни, и с груди Саардамского Плотника исчезли слова:

Да здравствует Россия...
Да здравствует самодержавие!

Бей Петлюру!

Затем при горячем участии Лариосика были произведены и более важные работы. Из письменного стола Турбина ловко и бесшумно был вытащен Алешин браунинг,

две обоймы и коробка патронов к нему. Николка проверил его и убедился, что из семи патронов старший шесть где-то расстрелял.

— Здорово... — прошептал Николка.

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лариосик оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне Петлюры интеллигентный человек вообще, а джентльмен, подписавший векселей на семьдесят пять тысяч и посылающий телеграммы в шестьдесят три слова, в частности... Машинным маслом и керосином наилучшим образом были смазаны и Най-Турсов кольт и Алешин браунинг. Лариосик, подобно Николке, засучил рукава и помогал смазывать и укладывать все в длинную и высокую жестяную коробку из-под карамели. Работа была спешной, ибо каждому порядочному человеку, участвовавшему в революции, отлично известно, что обыски при всех властях происходят от двух часов тридцати минут ночи до шести часов пятнадцати минут утра зимой и от двенадцати часов ночи до четырех утра летом. Все же работа задержалась благодаря Лариосику, который, знакомясь с устройством десятизарядного пистолета системы Кольт, вложил в ручку обойму не тем концом, и, чтобы вытащить ее, понадобилось значительное усилие и порядочное количество масла. Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие: коробка со вложенными в нее револьверами, погонами Николки и Алексея, шевроном и карточкой наследника Алексея, коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам облепленная липкими полосами электрической изоляции, не пролезала в форточку.

Дело было вот в чем: прятать так прятать!.. Не все же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать, Николка сообразил еще днем. Стена дома № 13 подходила к стене соседнего 11-го номера почти вплотную — оставалось не более аршина расстояния. Из дома № 13 в этой стене было только три окна — одно из Николкиной угловой, два из соседней книжной, совершенно ненужные (все равно темно), и внизу маленькое подслеповатое оконце, забранное решеткой, из кладовки Василисы, а стена соседнего № 11 совершенно глухая. Представьте себе великолепное ущелье в аршин, темное и невидное даже с

улицы и не доступное со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз и будучи мальчишкой, Николка, играя в разбойников, лазил в него, спотыкаясь на грудах кирпичей, и отлично запомнил, что по стене тринадцатого номера тянется вверх до самой крыши ряд костылей. Вероятно раньше, когда 11-го номера еще не существовало, на этих костылях держалась пожарная лестница, а потом ее убрали. Костыли же остались. Высунув сегодня вечером руку в форточку, Николка и двух секунд не шарил, а сразу нащупал костыль. Ясно и просто. Но вот коробка, обвязанная накрест тройным слоем прекрасного шпагата, так называемого сахарного, с приготовленной петлей, не лезла в форточку.

— Ясное дело, надо окно вскрыть, — сказал Николка, слезая с подоконника.

Лариосик отдал дань уму и находчивости Николки, после чего приступил к распечатыванию окна. Эта каторжная работа заняла не менее полчаса, распухшие рамы не хотели открываться. Но, в конце концов, все-таки удалось открыть сперва первую, а потом и вторую, причем на Лариосиковой стороне лопнуло длинной извилистой трещиной стекло.

— Потушите свет! — скомандовал Николка.

Свет погас, и страшнейший мороз хлынул в комнату. Николка высунулся до половины в черное обледенелое пространство и зацепил верхнюю петлю за костыль. Коробка прекрасно повисла на двухаршинном шпагате. С улицы заметить никак нельзя потому, что брандмауэр 13-го номера подходит к улице косо, не под прямым углом, и потому, что высоко висит вывеска швейной мастерской. Можно заметить только, если залезть в щель. Но никто не залезет ранее весны, потому что со двора намело гигантские сугробы, а с улицы прекраснейший забор и, главное, идеально то, что можно контролировать, не открывая окна; просунул руку в форточку, и готово: можно потрогать шпагат, как струну. Отлично.

Вновь зажегся свет, и, размяв на подоконнике замазку, оставшуюся с осени у Анюты, Николка замазал окно наново. Даже если бы каким-нибудь чудом и нашли, то всегда готов ответ: «Позвольте? Это чья же коробка? Ах, револьверы... наследник?..

— Ничего подобного! Знать не знаю и ведать не ведаю. Черт его знает, кто повесил! С крыши залезли и повесили. Мало ли кругом народу? Так-то-с. Мы люди мирные, никаких наследников...»

— Идеально сделано, клянусь Богом, — говорил Лариосик.

Как не идеально! Вещь под руками и в то же время вне квартиры.

Было три часа ночи. В эту ночь, по-видимому, никто не придет. Елена с тяжелыми истомленными веками вышла на цыпочках в столовую. Николка должен был ее сменить. Николка с трех до шести, а с шести до девяти Лариосик.

Говорили шепотом.

— Значит так: тиф, — шептала Елена, — имейте в виду, что сегодня забегала уже Ванда, справлялась, что такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть, тиф... Вероятно, она не поверила, уж очень у нее глазки бегали... Все расспрашивала — как у нас, да где были наши, да не ранили ли кого. Насчет раны ни звука.

— Ни, ни, ни, — Николка даже руками замахал, — Василиса такой трус, какого свет не видал! Ежели в случае чего, он так и ляпнет кому угодно, что Алексея ранили, лишь бы только себя выгородить.

— Подлец, — сказал Лариосик, — это подло!

В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола было совершенно спокойно, черты лица обострились и утончились. В крови ходил и сторожил успокоительный яд. Серые фигуры перестали распоряжаться, как у себя дома, разошлись по своим делишкам, окончательно убрали пушку. Если кто даже совершенно посторонний и появлялся, то все-таки вел себя прилично, стараясь связаться с людьми и вещами, коих законное место всегда в квартире Турбиных. Раз появился полковник Малышев, посидел в кресле, но улыбался таким образом, что все, мол, хорошо и будет к лучшему, а не бубнил грозно и зловеще и не набивал комнату бумагой. Правда, он жег документы, но не посмел тронуть диплом Турбина и карточки матери, да и жег на приятном и совершенно си-

неньком огне от спирта, а это огонь успокоительный, потому что за ним, обычно, следует укол. Часто звонил звоночек к мадам Анжу.

— Брынь... — говорил Турбин, намереваясь передать звук звонка тому, кто сидел в кресле, а сидели по очереди то Николка, то неизвестный с глазами монгола (не смел буянить вследствие укола), то скорбный Максим, седой и дрожащий. — Брынь... — раненый говорил ласково и строил из гибких теней движущуюся картину, мучительную и трудную, но заканчивающуюся необычайным и радостным и больным концом.

Бежали часы, крутилась стрелка в столовой, и, когда на белом циферблате короткая и широкая пошла к пяти, настала полудрема. Турбин изредка шевелился, открывал прищуренные глаза и неразборчиво бормотал:

— По лесенке, по лесенке, по лесенке не добегу, ослабею, упаду... А ноги ее быстрые... ботики... по снегу... След оставишь... волки... Бррынь... бррынь...

13

«Брынь» в последний раз Турбин услыхал, убегая по черному ходу из магазина неизвестно где находящейся и сладострастно пахнущей духами мадам Анжу. Звонок. Кто-то только что явился в магазин. Быть может, такой же, как сам Турбин, заблудший, отставший, свой, а может быть, и чужие — преследователи. Во всяком случае, вернуться в магазин невозможно. Совершенно лишнее геройство.

Скользкие ступени вынесли Турбина во двор. Тут он совершенно явственно услыхал, что стрельба тарахтела совсем недалеко, где-то на улице, ведущей широким скатом вниз к Крещатику, да вряд ли и не у музея. Тут же стало ясно, что слишком много времени он потерял в сумеречном магазине на печальные размышления и что Малышев был совершенно прав, советуя ему поторопиться. Сердце забилось тревожно.

Осмотревшись, Турбин убедился, что длинный и бесконечно высокий желтый ящик дома, приютившего мадам Анжу, выпирал на громадный двор и тянулся этот двор вплоть до низкой стенки, отделявшей соседнее

владение управления железных дорог. Турбин, прищурившись, огляделся и пошел, пересекая пустыню, прямо на эту стенку. В ней оказалась калитка, к великому удивлению Турбина, не запертая. Через нее он попал в противный двор управления. Глупые дырки управления неприятно глядели, и ясно чувствовалось, что все управление вымерло. Под гулким сводом, пронизывающим дом, по асфальтовой дороге доктор вышел на улицу. Было ровно четыре часа дня на старинных часах на башне дома напротив. Начало чуть-чуть темнеть. Улица совершенно пуста. Мрачно оглянулся Турбин, гонимый предчувствием, и двинулся не вверх, а вниз, туда, где громоздились, присыпанные снегом в жидком сквере, Золотые ворота. Один лишь пешеход в черном пальто пробежал навстречу Турбину с испуганным видом и скрылся.

Улица пустая вообще производит ужасное впечатление, а тут еще где-то под ложечкой томило и сосало предчувствие. Злобно морщась, чтобы преодолеть нерешительность — ведь все равно идти нужно, по воздуху домой не перелетишь, — Турбин приподнял воротник шинели и двинулся.

Тут он понял, что отчасти томило — внезапное молчание пушек. Две последних недели непрерывно они гудели вокруг, а теперь в небе наступила тишина. Но зато в городе, именно там, внизу, на Крещатике, ясно пересыпалась пачками стрельба. Нужно было бы Турбину повернуть сейчас от Золотых ворот влево по переулку, а там, прижимаясь за Софийским собором, тихонечко и выбрался бы к себе, переулками, на Алексеевский спуск. Если бы так сделал Турбин, жизнь его пошла бы по-иному совсем, но вот Турбин так не сделал. Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах... Тянет к холодку... к обрыву. И так потянуло к музею. Непременно понадобилось увидеть, хоть издали, что там возле него творится. И, вместо того чтобы свернуть, Турбин сделал десять лишних шагов и вышел на Владимирскую улицу. Тут сразу тревога крикнула внутри, и очень отчетливо малышевский голос шепнул: «Беги!» Турбин повернул голову вправо и глянул вдаль, к музею. Успел увидать кусок белого бока, насупившиеся купола, какие-то мель-

кавшие вдали черные фигурки... больше все равно ничего не успел увидеть.

В упор на него, по Прорезной покатой улице, с Крещатика, затянутого далекой морозной дымкой, поднимались, рассыпавшись во всю ширину улицы, серенькие люди в солдатских шинелях. Они были недалеко — шагах в тридцати. Мгновенно стало понятно, что они бегут уже давно и бег их утомил. Вовсе не глазами, а каким-то безотчетным движением сердца Турбин сообразил, что это петлюровцы.

«По-пал», — отчетливо сказал под ложечкой голос Малышева.

Затем несколько секунд вывалились из жизни Турбина, и, что во время их происходило, он не знал. Ощутил он себя лишь за углом, на Владимирской улице, с головой, втянутой в плечи, на ногах, которые его несли быстро от рокового угла Прорезной, где конфетница «Маркиза».

«Ну-ка, ну-ка, ну-ка, еще... еще...» — застучала в висках кровь.

Еще бы немножко молчания сзади. Превратиться бы в лезвие ножа или влипнуть бы в стену. Ну-ка... Но молчание прекратилось — его нарушило совершенно неизбежное.

— Стый! — прокричал сиплый голос в холодную спину — Турбину.

«Таю», — оборвалось под ложечкой.

— Стый! — серьезно повторил голос.

Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина. Иду, мол, по своим делам... Оставьте меня в покое... Преследователь был шагах в пятнадцати и торопливо взбрасывал винтовку. Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя, и доктору показалось, что это монгольские раскосые глаза. Второй вырвался из-за угла и дергал затвор. На лице первого ошеломление сменилось непонятной, зловещей радостью.

— Тю! — крикнул он. — Бачь, Петро: офицер. — Вид у него при этом был такой, словно внезапно он, охотник, при самой дороге увидел зайца.

«Что так-кое? Откуда известно?» — грянуло в турбинской голове, как молотком.

Винтовка второго превратилась вся в маленькую черную дырку, не более гривенника. Затем Турбин почувствовал, что сам он обернулся в стрелу на Владимирской улице и что губят его валенки. Сверху и сзади, шипя, ударило в воздухе — ч-чах...

— Стый! Ст... Тримай! — Хлопнуло. — Тримай офицера!! — загремела и заулюлюкала вся Владимирская. Еще два раза весело трахнуло, разорвав воздух.

Достаточно погнать человека под выстрелами, и он превращается в мудрого волка; на смену очень слабому и в действительно трудных случаях ненужному уму вырастает мудрый звериный инстинкт. По-волчьи обернувшись на угонке на углу Мало-Провальной улицы, Турбин увидал, как черная дырка сзади оделась совершенно круглым и бледным огнем, и, наддав ходу, он свернул в Мало-Провальную, второй раз за эти пять минут резко повернув свою жизнь.

Инстинкт: гонятся настойчиво и упорно, не отстанут, настигнут и, настигнув, совершенно неизбежно, — убьют. Убьют, потому что бежал, в кармане ни одного документа и револьвер, серая шинель; убьют, потому что в бегу раз свезет, два свезет, а в третий раз — попадут. Именно в третий. Это с древности известный раз. Значит, кончено; еще полминуты — и валенки погубят. Все непреложно, а раз так — страх прямо через все тело и через ноги выскочил в землю. Но через ноги ледяной водой вернулась ярость и кипятком вышла изо рта на бегу. Уже совершенно по-волчьи косил на бегу Турбин глазами. Два серых, за ними третий, выскочили из-за угла Владимирской, и все трое вперебой сверкнули. Турбин, замедлив бег, скаля зубы, три раза выстрелил в них, не целясь. Опять наддал ходу, смутно впереди себя увидел мелькнувшую под самыми стенами у водосточной трубы хрупкую черную тень, почувствовал, что деревянными клещами кто-то рванул его за левую подмышку, отчего тело его стало бежать странно, косо, боком, неровно. Еще раз обернувшись, он, не спеша, выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле:

«Седьмая — себе. Еленка рыжая и Николка. Кончено. Будут мучить. Погоны вырежут. Седьмая себе».

Боком стремясь, чувствовал странное: револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще уже нужно останавливаться. Все равно нет воздуху, больше ничего не выйдет. До излома самой фантастической улицы в мире Турбин все же дорвался, исчез за поворотом, и ненадолго получил облегчение. Дальше безнадежно: глухо запертая решетка, вон, ворота громады заперты, вон, заперто... Он вспомнил веселую дурацкую пословицу: «Не теряйте, куме, силы, опускайтеся на дно».

И тут увидал ее в самый момент чуда, в черной мшистой стене, ограждавшей наглухо снежный узор деревьев в саду. Она наполовину провалилась в эту стену и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огромнейшими от ужаса глазами, прокричала:

— Офицер! Сюда! Сюда...

Турбин, на немного скользящих валенках, дыша разодранным и полным жаркого воздуха ртом, подбежал медленно к спасительным рукам и вслед за ними провалился в узкую щель калитки в деревянной черной стене. И все изменилось сразу. Калитка под руками женщины в черном влипла в стену, и щеколда захлопнулась. Глаза женщины очутились у самых глаз Турбина. В них он смутно прочитал решительность, действие и черноту.

— Бегите сюда. За мной бегите, — шепнула женщина, повернулась и побежала по узкой кирпичной дорожке. Турбин очень медленно побежал за ней. На левой руке мелькнула стена сараев, и женщина свернула. На правой руке какой-то белый, сказочный многоярусный сад. Низкий заборчик перед самым носом, женщина проникла во вторую калиточку, Турбин, задыхаясь, за ней. Она захлопнула калитку, перед глазами мелькнула нога, очень стройная, в черном чулке, подол взмахнул, и ноги женщины легко понесли ее вверх по кирпичной лесенке. Обострившимся слухом Турбин услыхал, что там, где-то сзади за их бегом, осталась улица и преследователи. Вот... вот, только что они проскочили за поворот и ищут его. «Спасла бы... спасла бы... — подумал Турбин, — но, кажется, не добегу... сердце мое». Он вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Кругом все чуть-чуть закружилось. Женщина наклонилась и подхватила Турбина под правую руку...

— Еще... еще немного! — вскрикнула она; левой трясущейся рукой открыла третью низенькую калиточку, протянула за руку спотыкающегося Турбина и бросилась по аллейке. «Ишь лабиринт... словно нарочно», — очень мутно подумал Турбин и оказался в белом саду, но уже где-то высоко и далеко от роковой Провальной. Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень теплые, а все тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится. «Спасла бы, но тут вот и конец — кончик... ноги слабеют...» Увиделись расплывчато купы девственной и нетронутой сирени, под снегом, дверь, стеклянный фонарь старинных сеней, занесенных снегом. Услышан был еще звон ключа. Женщина все время была тут, возле правого бока, и уже из последних сил, в нитку втянулся за ней Турбин в фонарь. Потом через второй звон ключа во мрак, в котором обдало жилым, старым запахом. Во мраке, над головой, очень тускло загорелся огонек, пол поехал под ногами влево... Неожиданные, ядовито-зеленые, с огненным ободком клочья пролетели вправо перед глазами, и сердцу в полном мраке полегчало сразу...

В тусклом и тревожном свете ряд вытертых золотых шляпочек. Живой холод течет за пазуху, благодаря этому больше воздуху, а в левом рукаве губительное, влажное и неживое тепло. «Вот в этом-то вся суть. Я ранен». Турбин понял, что он лежит на полу, больно упираясь головой во что-то твердое и неудобное. Золотые шляпки перед глазами означают сундук. Холод такой, что духу не переведешь — это она льет и брызжет водой.

— Ради Бога, — сказал над головой грудной слабый голос, — глотните, глотните. Вы дышите? Что же теперь делать?

Стакан стукнул о зубы, и с клокотом Турбин глотнул очень холодную воду. Теперь он увидал светлые завитки волос и очень черные глаза близко. Сидящая на корточках женщина поставила стакан на пол и, мягко обхватив затылок, стала поднимать Турбина.

«Сердце-то есть? — подумал он. — Кажется, оживаю... может, и не так много крови... надо бороться».

Сердце било, но трепетное, частое, узлами вязалось в бесконечную нить, и Турбин сказал слабо:

— Нет. Сдирайте все и чем хотите, но сию минуту затяните жгутом...

Она, стараясь понять, расширила глаза, поняла, вскочила и кинулась к шкафу, оттуда выбросила массу материи.

Турбин, закусив губу, подумал: «Ох, нет пятна на полу, мало, к счастью, кажется, крови», — извиваясь при ее помощи, вылез из шинели, сел, стараясь не обращать внимания на головокружение. Она стала снимать френч.

— Ножницы, — сказал Турбин.

Говорить было трудно, воздуху не хватало. Та исчезла, взметнув шелковым черным подолом, и в дверях сорвала с себя шапку и шубку. Вернувшись, она села на корточки и ножницами, тупо и мучительно въедаясь в рукав, уже обмякший и жирный от крови, распорола его и высвободила Турбина. С рубашкой справилась быстро. Весь левый рукав был густо пропитан, густо-красен и бок. Тут закапало на пол.

— Рвите смелей...

Рубаха слезла клоками, и Турбин, белый лицом, голый и желтый до пояса, вымазанный кровью, желая жить, не дав себе второй раз упасть, стиснув зубы, правой рукой потряс левое плечо, сквозь зубы сказал:

— Слава бо... цела кость... Рвите полосу или бинт.

— Есть бинт, — радостно и слабо крикнула она. Исчезла, вернулась, разрывая пакет со словами: — И никого, никого... Я одна...

Она опять присела. Турбин увидал рану. Это была маленькая дырка в верхней части руки, ближе к внутренней поверхности, там, где рука прилегает к телу. Из нее сочилась узенькой струйкой кровь.

— Сзади есть? — очень отрывисто, лаконически, инстинктивно сберегая дух жизни, спросил.

— Есть, — она ответила с испугом.

— Затяните выше... тут... спасете.

Возникла никогда еще не испытанная боль, кольца зелени, вкладываясь одно в другое или переплетаясь, затанцевали в передней. Турбин укусил нижнюю губу.

Она затянула, он помогал зубами и правой рукой, и жгучим узлом, таким образом, выше раны обвили руку. И тотчас перестала течь кровь...

Женщина перевела его так: он стал на колени и правую руку закинул ей на плечо, тогда она помогла ему стать на слабые, дрожащие ноги и повела, поддерживая его всем телом. Он видел кругом темные тени полных сумерек в какой-то очень низкой старинной комнате. Когда же она посадила его на что-то мягкое и пыльное, под ее рукой сбоку вспыхнула лампа под вишневым платком. Он разглядел узоры бархата, край двубортного сюртука на стене в раме и желто-золотой эполет. Простирая к Турбину руки и тяжело дыша от волнения и усилий, она сказала:

— Коньяк есть у меня... Может быть, нужно?.. Коньяк?..

Он ответил:

— Немедленно...

И повалился на правый локоть.

Коньяк как будто помог, по крайней мере, Турбину показалось, что он не умрет, а боль, что грызет и режет плечо, перетерпит. Женщина, стоя на коленях, бинтом завязала раненую руку, сползла ниже к его ногам и стащила с него валенки. Потом принесла подушку и длинный, пахнущий сладким давним запахом японский с диковинными букетами халат.

— Ложитесь, — сказала она.

Лег покорно, она набросила на него халат, сверху одеяло и стала у узкой оттоманки, всматриваясь ему в лицо.

Он сказал:

— Вы... вы замечательная женщина. — После молчания: — Я полежу немного, пока вернутся силы, поднимусь и пойду домой... Потерпите еще немного беспокойство.

В сердце его заполз страх и отчаяние: «Что с Еленой? Боже, Боже... Николка. За что Николка погиб? Наверно, погиб...»

Она молча указала на низенькое оконце, завешенное шторой с помпонами. Тогда он ясно услышал далеко и ясно хлопушки выстрелов.

— Вас сейчас же убьют, будьте уверены, — сказала она.

— Тогда... я вас боюсь... подвести. Вдруг придут... револьвер... кровь... там в шинели, — он облизал сухие губы. Голова его тонко кружилась от потери крови и от коньяку. Лицо женщины стало испуганным. Она призадумалась.

— Нет, — решительно сказала она, — нет, если бы нашли, то уже были бы здесь. Тут такой лабиринт, что никто не отыщет следов. Мы пробежали три сада. Но вот убрать нужно сейчас же...

Он слышал плеск воды, шуршание материи, стук в шкафах...

Она вернулась, держа в руках за ручку двумя пальцами браунинг так, словно он был горячий, и спросила:

— Он заряжен?

Выпростав здоровую руку из-под одеяла, Турбин ощупал предохранитель и ответил:

— Несите смело, только за ручку.

Она еще раз вернулась и смущенно сказала:

— На случай, если все-таки появятся... Вам нужно снять и рейтузы... Вы будете лежать, я скажу, что вы мой муж больной...

Он, морщась и кривя лицо, стал расстегивать пуговицы. Она решительно подошла, стала на колени и из-под одеяла за штрипки вытащила рейтузы и унесла. Ее не было долго. В это время он видел арку. В сущности говоря, это были две комнаты. Потолки такие низкие, что, если бы рослый человек стал на цыпочки, он достал бы до них рукой. Там, за аркой в глубине, было темно, но бок старого пианино блестел лаком, еще что-то поблескивало, и, кажется, цветы фикусы. А здесь опять этот край эполета в раме.

Боже, какая старина!.. Эполеты его приковали. Был мирный свет сальной свечки в шандале. Был мир, и вот мир убит. Не возвратятся годы. Еще сзади окна низкие, маленькие, и сбоку окно. Что за странный домик? Она одна. Кто такая? Спасла... Мира нет... Стреляют там...

Она вошла, нагруженная охапкой дров, и с громом выронила их в углу у печки.

— Что вы делаете? Зачем? — спросил он в сердцах.

— Все равно мне нужно было топить, — ответила она, и чуть мелькнула у нее в глазах улыбка, — я сама топлю...

— Подойдите сюда, — тихо попросил ее Турбин. — Вот что, я и не поблагодарил вас за все, что вы... сделали... Да и чем... — Он протянул руку, взял ее пальцы, она покорно придвинулась, тогда он поцеловал ее худую кисть два раза. Лицо ее смягчилось, как будто тень тревоги сбежала с него, и глаза ее показались в этот момент необычайной красоты.

— Если бы не вы, — продолжал Турбин, — меня бы, наверное, убили.

— Конечно, — ответила она, — конечно... А так вы убили одного...

Турбин приподнял голову.

— Я убил? — спросил он, чувствуя вновь слабость и головокружение.

— Угу. — Она благосклонно кивнула головой и поглядела на Турбина со страхом и любопытством. — Ух, как это страшно... они самое меня чуть не застрелили. — Она вздрогнула...

— Как убил?

— Ну да... Они выскочили, а вы стали стрелять, и первый грохнулся... Ну, может быть, ранили... Ну, вы храбрый... Я думала, что я в обморок упаду... Вы отбежите, стрельнете в них... и опять бежите... Вы, наверное, капитан?

— Почему вы решили, что я офицер? Почему кричали мне — «офицер»?

Она блеснула глазами.

— Я думаю, решишь, если у вас кокарда на папахе. Зачем так бравировать?

— Кокарда? Ах, Боже... это я... я... — Ему вспомнился звоночек... зеркало в пыли... — Все снял... а кокарду-то забыл!.. Я не офицер, — сказал он, — я военный врач. Меня зовут Алексей Васильевич Турбин... Позвольте мне узнать, кто вы такая?

— Я — Юлия Александровна Рейсс.

— Почему вы одна?

Она ответила как-то напряженно и отводя глаза в сторону:

— Моего мужа сейчас нет. Он уехал. И матери его тоже. Я одна... — Помолчав, она добавила: — Здесь холодно... Брр... Я сейчас затоплю.

Дрова разгорались в печке, и одновременно с ними разгоралась жестокая головная боль. Рана молчала, все сосредоточилось в голове. Началось с левого виска, потом разлилось по темени и затылку. Какая-то жилка сжалась над левой бровью и посылала во все стороны кольца тугой отчаянной боли. Рейсс стояла на коленях у печки и кочергой шевелила в огне. Мучаясь, то закрывая, то открывая глаза, Турбин видел откинутую назад голову, заслоненную от жара белой кистью, и совершенно неопределенные волосы, не то пепельные, пронизанные огнем, не то золотистые, а брови угольные и черные глаза. Не понять — красив ли этот неправильный профиль и нос с горбинкой. Не разберешь, что в глазах. Кажется, испуг, тревога, а может быть, и порок... Да, порок.

Когда она так сидит и волна жара ходит по ней, она представляется чудесной, привлекательной. Спасительница.

Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в темя нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. «У меня жар, — сухо и беззвучно повторял Турбин и внушал себе: — Надо утром встать и перебраться домой...» Гвоздь разрушал мозг и, в конце концов, разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и Петлюре. Все стало — все равно. Пэтурра... Пэтурра... Осталось одно — чтобы прекратилась боль.

Глубокой же ночью Рейсс в мягких, отороченных мехом туфлях пришла сюда и сидела возле него, и опять, обвив рукой ее шею и слабея, он шел через маленькие комнаты. Перед этим она собралась с силами и сказала ему:

— Вы встаньте, если только можете. Не обращайте на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляжете совсем... Ну, если не можете...

Он ответил:

— Нет, я пойду... только вы мне помогите...

Она привела его к маленькой двери этого таинственного домика и так же привела обратно. Ложась, лязгая зубами в ознобе и чувствуя, что сжалилась и утихает голова, он сказал:

— Клянусь, я вам этого не забуду... Идите спать...

— Молчите, я буду вам гладить голову, — ответила она.

Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы, стекла с висков в ее мягкие руки, а по ним и по ее телу — в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там погибла. Вместо боли по всему телу разливался ровный, приторный жар. Рука онемела и стала тяжелой, как чугунная, поэтому он и не шевелил ею, а лишь закрыл глаза и отдался на волю жару. Сколько времени он так пролежал, сказать бы он не сумел: может быть, пять минут, а может быть, и много часов. Но, во всяком случае, ему казалось, что так лежать можно было бы всю вечность, в огне. Когда он открыл глаза тихонько, чтобы не вспугнуть сидящую возле него, он увидел прежнюю картину: ровно, слабо горела лампочка под красным абажуром, разливая мирный свет, и профиль женщины был бессонный близ него. По-детски печально оттопырив губы, она смотрела в окно. Плывя в жару, Турбин шевельнулся, потянулся к ней...

— Наклонитесь ко мне, — сказал он. Голос его стал сух, слаб, высок. Она повернулась к нему, глаза ее испуганно насторожились и углубились в тенях. Турбин закинул правую руку за шею, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному. Женщина не удивилась поступку Турбина. Она только пытливее вглядывалась в лицо. Потом заговорила:

— Ох, какой жар у вас. Что же мы будем делать? Доктора нужно позвать, но как же это сделать?

— Не надо, — тихо ответил Турбин, — доктор не нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой.

— Я так боюсь, — шептала она, — что вам сделается плохо. Чем тогда я помогу. Не течет больше? — Она неслышно коснулась забинтованной руки.

— Нет, вы не бойтесь, ничего со мной не сделается. Идите спать.

— Не пойду, — ответила она и погладила его по руке. — Жар, — повторила она.

Он не выдержал и опять обнял ее и притянул к себе. Она не сопротивлялась. Он притягивал ее до тех пор, пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему. Тут он ощутил сквозь свой больной жар живую и ясную теплоту ее тела.

— Лежите и не шевелитесь, — прошептала она, — а я буду вам гладить голову.

Она протянулась с ним рядом, и он почувствовал прикосновение ее коленей. Рукой она стала водить от виска к волосам. Ему стало так хорошо, что он думал только об одном, как бы не заснуть.

И вот он заснул. Спал долго, ровно и сладко. Когда проснулся, узнал, что плывет в лодке по жаркой реке, что боли все исчезли, а за окошком ночь медленно бледнеет да бледнеет. Не только в домике, но во всем мире и Городе была полная тишина. Стеклянно жиденько-синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согревшаяся и печальная, спала рядом с Турбиным. И он заснул.

Утром, около девяти часов, случайный извозчик у вымершей Мало-Провальной принял двух седоков — мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщину. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цеплявшегося за ее рукав, привезла его на Алексеевский спуск. Движения на Спуске не было. Только у подъезда № 13 стоял извозчик, только что высадивший странного гостя с чемоданом, узлом и клеткой.

14

Они нашлись. Никто не вышел в расход, и нашлись в следующий же вечер.

«Он», — отозвалось в груди Анюты, и сердце ее прыгнуло, как Лариосикова птица. В занесенное снегом оконце турбинской кухни осторожно постучали со двора. Анюта прильнула к окну и разглядела лицо. Он, но без

усов... Он... Анюта обеими руками пригладила черные волосы, открыла дверь в сени, а из сеней в снежный двор, и Мышлаевский оказался необыкновенно близко от нее. Студенческое пальто с барашковым воротником и фуражка... исчезли усы... Но глаза, даже в полутьме сеней, можно отлично узнать. Правый в зеленых искорках, как уральский самоцвет, а левый темный... И меньше ростом стал...

Анюта дрожащею рукой закинула крючок, причем исчез двор, а полосы из кухни исчезли оттого, что пальто Мышлаевского обвило Анюту и очень знакомый голос шепнул:

— Здравствуйте, Анюточка... Вы простудитесь... А в кухне никого нет, Анюта?

— Никого нет, — не помня, что говорит, и тоже почему-то шепотом ответила Анюта. — «Целует, губы гладкие стали», — в сладостнейшей тоске подумала она и зашептала: — Виктор Викторович... пустите... Елене...

— При чем тут Елена... — укоризненно шепнул голос, пахнущий одеколоном и табаком, — что вы, Анюточка...

— Виктор Викторович, пустите, закричу, как Бог свят, — страстно сказала Анюта и обняла за шею Мышлаевского, — у нас несчастье — Алексея Васильевича ранили...

Удав мгновенно выпустил.

— Как ранили? А Никол?!

— Никол жив-здоров, а Алексей Васильевича ранили.

Полоска света из кухни, двери.

В столовой Елена, увидев Мышлаевского, заплакала и сказала:

— Витька, ты жив... Слава Богу... А вот у нас... — Она всхлипнула и указала на дверь к Турбину. — Сорок у него... скверная рана...

— Мать честная, — ответил Мышлаевский, сдвинув фуражку на самый затылок, — как же это он подвернулся?

Он повернулся к фигуре, склонившейся у стола над бутылью и какими-то блестящими коробками.

— Вы доктор, позвольте узнать?

— Нет, к сожалению, — ответил печальный и тусклый голос, — не доктор. Разрешите представиться: Ларион Суржанский.

Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задернута портьера, чтобы шум и голоса не достигали к Турбину. Из спальни его вышли и только что уехали остробородый в золотом пенсне, другой бритый — молодой, и, наконец, седой и старый и умный в тяжелой шубе, в боярской шапке, профессор, самого же Турбина учитель. Елена провожала их, и лицо ее стало каменным. Говорили — тиф, тиф... и накликали.

— Кроме раны, — сыпной тиф...

И ртутный столб на сорока и... «Юлия»... В спаленке красноватый жар. Тишина, а в тишине бормотание про лесенку и звонок «бр-рынь»...

— Здоровеньки булы, пане добродзию, — сказал Мышлаевский, ядовитым шепотом и расставил ноги. Шервинский, густо-красный, косил глазом. Черный костюм сидел на нем безукоризненно, глядело чудное белье и галстук бабочкой, на ногах лакированные ботинки. «Артист оперной студии Крамского». Удостоверение в кармане. — Чому ж це вы без погон?.. — продолжал Мышлаевский. — «На Владимирской развеваются русские флаги... Две дивизии сенегалов в одесском порту и сербские квартирьеры... Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части»... за ноги вашу мамашу!..

— Чего ты пристал?.. — ответил Шервинский. — Я, что ль, виноват?.. При чем здесь я?.. Меня самого чуть не убили. Я вышел из штаба последним ровно в полдень, когда с Печерска показались неприятельские цепи.

— Ты — герой, — ответил Мышлаевский, — но надеюсь, что его сиятельство, главнокомандующий, успел уйти раньше... Равно как и его светлость, пан гетман... его мать... Льщу себя надеждой, что они в безопасном месте. Родине нужны их жизни. Кстати, не можешь ли ты мне указать, где именно они находятся?

— Зачем тебе?

— Вот зачем. — Мышлаевский сложил правую руку в кулак и постучал ею по ладони левой. — Ежели бы мне попалось это самое сиятельство и светлость, я бы одного взял за левую ногу, а другого за правую, перевернул бы и тюкал бы головой о мостовую до тех пор, пока мне это

не надоело бы. А вашу штабную ораву в сортире нужно утопить...

Шервинский побагровел.

— Ну, все-таки ты поосторожней, пожалуйста, — начал он, — полегче... Имей в виду, что князь и штабных бросил. Два его адъютанта с ним уехали, а остальные на произвол судьбы.

— Ты знаешь, что сейчас в музее сидит тысяча человек наших, голодные, с пулеметами... Ведь их петлюровцы, как клопов, передушат... Ты знаешь, как убили полковника Ная?.. Единственный был...

— Отстань от меня, пожалуйста!.. — не на шутку сердясь, крикнул Шервинский. — Что это за тон?.. Я такой же офицер, как и ты!

— Ну, господа, бросьте, — Карась вклинился между Мышлаевским и Шервинским, — совершенно нелепый разговор. Что ты в самом деле лезешь к нему... Бросим, это ни к чему не ведет...

— Тише, тише, — горестно зашептал Николка, — к нему слышно...

Мышлаевский сконфузился, помялся.

— Ну, не волнуйся, баритон. Это я так... Ведь сам понимаешь...

— Довольно странно...

— Позвольте, господа, потише... — Николка насторожился и потыкал ногой в пол. Все прислушались. Снизу из квартиры Василисы донеслись голоса. Глуховато расслышали, что Василиса весело рассмеялся и немножко истерически как будто.. Как будто в ответ, что-то радостно и звонко прокричала Ванда. Потом поутихло. Еще немного и глухо побубнили голоса.

— Ну, вещь поразительная, — глубокомысленно сказал Николка, — у Василисы гости... Гости. Да еще в такое время. Настоящее светопреставление.

— Да, тип ваш Василиса, — скрепил Мышлаевский.

Это было около полуночи, когда Турбин после впрыскивания морфия уснул, а Елена расположилась в кресле у его постели. В гостиной составился военный совет.

Решено было всем оставаться ночевать. Во-первых, ночью, даже с хорошими документами, ходить ни к чему. Во-вторых, тут и Елене лучше — то да се... помочь. А самое главное, что дома в такое времечко именно лучше не сидеть, а находиться в гостях. А еще, самое главное, и делать нечего. А вот винт составить можно.

— Вы играете? — спросил Мышлаевский у Лариосика.

Лариосик покраснел, смутился и сразу все выговорил, и что в винт он играет, но очень, очень плохо... Лишь бы его не ругали, как ругали в Житомире податные инспектора... Что он потерпел драму, но здесь, у Елены Васильевны, оживает душой, потому что это совершенно исключительный человек Елена Васильевна и в квартире у них тепло и уютно, в особенности замечательны кремовые шторы на всех окнах, благодаря чему чувствуешь себя оторванным от внешнего мира... А он, этот внешний мир... согласитесь сами, грязен, кровав и бессмыслен.

— Вы, позвольте узнать, стихи сочиняете? — спросил Мышлаевский, внимательно всматриваясь в Лариосика.

— Пишу, — скромно, краснея, произнес Лариосик.

— Так... Извините, что я вас перебил... Так бессмыслен, вы говорите... Продолжайте, пожалуйста...

— Да, бессмыслен, а наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми шторами...

— Ну, знаете, что касается покоя, не знаю, как у вас в Житомире, а здесь, в Городе, пожалуй, вы его не найдете... Ты щетку смочи водой, а то пылишь здорово. Свечи есть? Бесподобно. Мы вас выходящим в таком случае запишем... Впятером именно покойная игра...

— И Николка, как покойник, играет, — вставил Карась.

— Ну, что ты, Федя. Кто в прошлый раз под печкой проиграл? Ты сам и пошел в ренонс. Зачем клевещешь?

— Блакитный петлюровский крап...

— Именно за кремовыми шторами и жить. Все смеются почему-то над поэтами...

— Да храни Бог... Зачем же вы в дурную сторону мой вопрос приняли. Я против поэтов ничего не имею. Не читаю я, правда, стихов...

— И других никаких книг, за исключением артиллерийского устава и первых пятнадцати страниц римского

права... На шестнадцатой странице война началась, он и бросил...

— Врет, не слушайте... Ваше имя и отчество — Ларион Иванович?

Лариосик объяснил, что он Ларион Ларионович, но что ему так симпатично все общество, которое даже не общество, а дружная семья, что он очень желал бы, чтобы его называли по имени «Ларион» без отчества... Если, конечно, никто ничего не имеет против.

— Как будто симпатичный парень... — шепнул сдержанный Карась Шервинскому.

— Ну, что ж... сойдемся поближе... Отчего ж... Врет: если угодно знать, «Войну и мир» читал... Вот, действительно, книга. До самого конца прочитал — и с удовольствием. А почему? Потому что писал не обормот какой-нибудь, а артиллерийский офицер. У вас десятка? Вы со мной... Карась с Шервинским... Николка, выходи.

— Только вы меня, ради Бога, не ругайте, — как-то нервически попросил Лариосик.

— Ну, что вы, в самом деле. Что мы, папуасы какие-нибудь? Это у вас, видно, в Житомире такие податные инспектора отчаянные, они вас и напугали... У нас принят тон строгий.

— Помилуйте, можете быть спокойны, — отозвался Шервинский, усаживаясь.

— Две пики... Да-с... вот-с писатель был граф Лев Николаевич Толстой, артиллерии поручик... Жалко, что бросил служить... пас... до генерала бы дослужился... Впрочем, что ж, у него имение было... Можно от скуки и роман написать... зимой делать не черта... В имении это просто. Без козыря...

— Три бубны, — робко сказал Лариосик.

— Пас, — отозвался Карась.

— Что же вы? Вы прекрасно играете. Вас не ругать, а хвалить нужно. Ну, если три бубны, то мы скажем — четыре пики. Я сам бы в имение теперь с удовольствием поехал...

— Четыре бубны, — подсказал Лариосику Николка, заглядывая в карты.

— Четыре? Пас.

— Пас.

При трепетном стеариновом свете свечей, в дыму папирос, волнующийся Лариосик купил. Мышлаевский, словно гильзы из винтовки, разбросал партнерам по карте.

— М-малый в пиках, — скомандовал он и поощрил Лариосика, — молодец.

Карты из рук Мышлаевского летели беззвучно, как кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно, Карась — не везет, — хлестко. Лариосик, вздыхая, тихонько выкладывал, словно удостоверения личности.

— «Папа-мама», видали мы это, — сказал Карась.

Мышлаевский вдруг побагровел, швырнул карты на стол и, зверски выкатив глаза на Лариосика, рявкнул:

— Какого же ты лешего мою даму долбанул? Ларион!?

— Здорово. Га-га-га, — хищно обрадовался Карась, — без одной!

Страшный гвалт поднялся за зеленым столом, и языки на свечах закачались. Николка, шипя и взмахивая руками, бросился прикрывать дверь и задергивать портьеру.

— Я думал, что у Федора Николаевича король, — мертвея, вымолвил Лариосик.

— Как это можно думать... — Мышлаевский старался не кричать, поэтому из горла у него вылетало сипение, которое делало его еще более страшным, — если ты его своими руками купил и мне прислал? А? Ведь это черт знает, — Мышлаевский ко всем поворачивался, — ведь это... Он покоя ищет. А? А без одной сидеть — это покой? Считанная же игра! Надо все-таки вертеть головой, это же не стихи!

— Постой. Может быть, Карась...

— Что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды. Вы извините, батюшка, может, в Житомире так и играют, но это черт знает что такое!.. Вы не сердитесь... но Пушкин или Ломоносов хоть стихи и писали, а такую штуку никогда бы не устроили... или Надсон, например.

— Тише, ты. Ну, что налетел? Со всяким бывает.

— Я так и знал, — забормотал Лариосик... — Мне не везет...

— Стой. Ст...

И разом наступила полная тишина. В отдалении за многими дверями в кухне затрепетал звоночек. Помолчали. Послышался стук каблуков, раскрылись двери, появилась Анюта. Голова Елены мелькнула в передней. Мышлаевский побарабанил по сукну и сказал:

— Рановато как будто? А?

— Да, рано, — отозвался Николка, считающийся самым сведущим специалистом по вопросу обысков.

— Открывать идти? — беспокойно спросила Анюта.

— Нет, Анна Тимофеевна, — ответил Мышлаевский, — повремените, — он, кряхтя, поднялся с кресла, — вообще теперь я буду открывать, а вы не затрудняйтесь...

— Вместе пойдем, — сказал Карась.

— Ну, — заговорил Мышлаевский и сразу поглядел так, словно стоял перед взводом, — тэк-с. Там, стало быть, в порядке... У доктора — сыпной тиф и прочее. Ты, Лена, — сестра... Карась, ты за медика сойдешь — студента... Ушейся в спальню... Шприц там какой-нибудь возьми... Много нас. Ну, ничего...

Звонок повторился нетерпеливо, Анюта дернулась, и все стали еще серьезнее.

— Успеется, — сказал Мышлаевский и вынул из заднего кармана брюк маленький черный револьвер, похожий на игрушечный.

— Вот это напрасно, — сказал, темнея, Шервинский, — это я тебе удивляюсь. Ты-то мог бы быть поосторожнее. Как же ты по улице шел?

— Не беспокойся, — серьезно и вежливо ответил Мышлаевский, — устроим. Держи, Николка, и играй к черному ходу или к форточке. Если петлюровские архангелы, закашляюсь я, сплавь, только чтоб потом найти. Вещь дорогая, под Варшаву со мной ездила... У тебя все в порядке?

— Будь покоен, — строго и гордо ответил специалист Николка, овладевая револьвером.

— Итак, — Мышлаевский ткнул пальцем в грудь Шервинского и сказал: — Певец, в гости пришел, — в Карася, — медик, — в Николку, — брат, — Лариосику, — жилец-студент. Удостоверение есть?

— У меня паспорт царский, — бледнея, сказал Лариосик, — и студенческий харьковский.

— Царский под ноготь, а студенческий показать.

Лариосик зацепился за портьеру, а потом убежал.

— Прочие — чепуха, женщины... — продолжал Мышлаевский, — нуте-с, удостоверения у всех есть? В карманах ничего лишнего?.. Эй, Ларион!.. Спроси там у него, оружия нет ли?

— Эй, Ларион! — окликнул в столовой Николка. — Оружие?

— Нету, нету, Боже сохрани, — откликнулся откуда-то Лариосик.

Звонок повторился отчаянный, долгий, нетерпеливый

— Ну, Господи благослови, — сказал Мышлаевский и двинулся. Карась исчез в спальне Турбина.

— Пасьянс раскладывали, — сказал Шервинский и задул свечи.

Три двери вели в квартиру Турбиных. Первая из передней на лестницу, вторая стеклянная, замыкавшая собственно владение Турбиных. Внизу за стеклянной дверью темный холодный парадный ход, в который выходила сбоку дверь Лисовичей; а коридор замыкала уже последняя дверь на улицу.

Двери прогремели, и Мышлаевский внизу крикнул:

— Кто там?

Вверху за своей спиной на лестнице почувствовал какие-то силуэты. Приглушенный голос за дверью взмолился:

— Звонишь, звонишь... Тальберг-Турбина тут?.. Телеграмма ей... Откройте...

«Тэк-с», — мелькнуло в голове у Мышлаевского, и он закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади на лестнице исчез. Мышлаевский осторожно открыл болт, повернул ключ и открыл дверь, оставив ее на цепочке.

— Давайте телеграмму, — сказал он, становясь боком к двери, так, что она прикрывала его. Рука в сером просунулась и подала ему маленький конвертик. Пораженный Мышлаевский увидал, что это действительно телеграмма.

— Распишитесь, — злобно сказал голос за дверью.

Мышлаевский метнул взгляд и увидал, что на улице только один.

— Анюта, Анюта, — бодро, выздоровев от бронхита, вскричал Мышлаевский. — Давай карандаш.

Вместо Анюты к нему сбежал Карась, подал. На клочке, выдернутом из квадратика, Мышлаевский нацарапал: «Тур», шепнул Карасю:

— Дай двадцать пять...

Дверь загремела... Заперлась...

Ошеломленный Мышлаевский с Карасем поднялись вверх. Сошлись решительно все. Елена развернула квадратик и машинально вслух прочла слова:

«Страшное несчастье постигло Лариосика точка Актер оперетки Липский...»

— Боже мой, — вскричал багровый Лариосик, — это она!

— Шестьдесят три слова, — восхищенно ахнул Николка, — смотри, кругом исписано.

— Господи! — воскликнула Елена. — Что же это такое? Ах, извините, Ларион... что начала читать. Я совсем про нее забыла...

— Что это такое? — спросил Мышлаевский.

— Жена его бросила, — шепнул на ухо Николка, — такой скандал...

Страшный грохот в стеклянную дверь, как обвал с горы, влетел в квартиру. Анюта взвизгнула. Елена побледнела и начала клониться к стене. Грохот был так чудовищен, страшен, нелеп, что даже Мышлаевский переменился в лице. Шервинский подхватил Елену, сам бледный... Из спальни Турбина послышался стон.

— Дверн... — крикнула Елена.

По лестнице вниз, спутав стратегический план, побежали Мышлаевский, за ним Карась, Шервинский и насмерть перепуганный Лариосик.

— Это уже хуже, — бормотал Мышлаевский.

За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт, оборвался грохот.

— Кто там? — загремел Мышлаевский, как в цейхгаузе.

— Ради Бога... Ради Бога... Откройте, Лисович — я... Лисович!! — вскричал силуэт. — Лисович — я... Лисович...

Василиса был ужасен... Волосы с просвечивающей розоватой лысинкой торчали вбок. Галстук висел на боку, и полы пиджака мотались, как дверцы взломанного шкафа. Глаза Василисы были безумны и мутны, как у отравленного. Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся и рухнул на руки Мышлаевскому. Мышлаевский принял его и еле удержал, сам присел к лестнице и сипло, растерянно крикнул:

— Карась! Воды...

15

Был вечер. Время подходило к одиннадцати часам. По случаю событий значительно раньше, чем обычно, опустела и без того не очень людная улица.

Шел жидкий снежок, пушинки его мерно летали за окном, а ветви акации у тротуара, летом темнившие окна Турбиных, все более обвисали в своих снежных гребешках.

Началось с обеда, и пошел нехороший тусклый вечер с неприятностями, с сосущим сердцем. Электричество зажглось почему-то в полсвета, а Ванда накормила за обедом мозгами. Вообще говоря, мозги пища ужасная, а в Вандином приготовлении — невыносимая. Был перед мозгами еще суп, в который Ванда налила постного масла, и хмурый Василиса встал из-за стола с мучительной мыслью, что будто он и не обедал вовсе. Вечером же была масса хлопот, и все хлопот неприятных, тяжелых. В столовой стоял столовый стол кверху ножками и пачка Лебідь-Юрчиков лежала на полу.

— Ты дура, — сказал Василиса жене.

Ванда изменилась в лице и ответила:

— Я знала, что ты хам, уже давно. Твое поведение в последнее время достигло геркулесовых столбов.

Василисе мучительно захотелось ударить ее со всего размаху косо по лицу так, чтоб она отлетела и стукнулась об угол буфета. А потом еще раз, еще и бить ее до тех пор, пока это проклятое, костлявое существо не умолкнет, не признает себя побежденным. Он — Василиса, измучен ведь, он, в конце концов, работает, как вол, и он требует, требует, чтобы его слушались дома. Василиса

скрипнул зубами и сдержался, нападение на Ванду было вовсе не так безопасно, как это можно было предположить.

— Делай так, как я говорю, — сквозь зубы сказал Василиса, — пойми, что буфет могут отодвинуть, и что тогда? А это никому не придет в голову. Все в городе так делают.

Ванда повиновалась ему, и они вдвоем взялись за работу — к столу с внутренней стороны кнопками пришпиливали денежные бумажки.

Скоро вся внутренняя поверхность стола расцветилась и стала похожа на замысловатый шелковый ковер.

Василиса, кряхтя, с налитым кровью лицом, поднялся и окинул взором денежное поле.

— Неудобно, — сказала Ванда, — понадобится бумажка, нужно стол переворачивать.

— И перевернешь, руки не отвалятся, — сипло ответил Василиса, — лучше стол перевернуть, чем лишиться всего. Слышала, что в городе делается? Хуже, чем большевики. Говорят, что повальные обыски идут, всё офицеров ищут.

В одиннадцать часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из буфета достала кулек с черствым хлебом и головку зеленого сыра. Лампочка, висящая над столом в одном из гнезд трехгнездной люстры, источала с неполно накаленных нитей тусклый красноватый свет.

Василиса жевал ломтик французской булки, и зеленый сыр раздражал его до слез, как сверлящая зубная боль. Тошный порошок при каждом укусе сыпался вместо рта на пиджак и за галстух. Не понимая, что мучает его, Василиса исподлобья смотрел на жующую Ванду.

— Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук, — говорила Ванда, обращая взор к потолку, — я была уверена, что убьют кого-нибудь из них. Нет, все вернулись, и сейчас опять квартира полна офицерами...

В другое время слова Ванды не произвели бы на Василису никакого впечатления, но сейчас, когда вся его душа горела в тоске, они показались ему невыносимо подлыми.

— Удивляюсь тебе, — ответил он, отводя взор в сторону, чтобы не расстраиваться, — ты прекрасно знаешь,

что, в сущности, они поступили правильно. Нужно же кому-нибудь было защищать город от этих (Василиса понизил голос) мерзавцев... И притом напрасно ты думаешь, что так легко сошло с рук... Я думаю, что он...

Ванда впилась глазами и закивала головой.

— Я сама, сама сразу это сообразила... Конечно, его ранили...

— Ну, вот, значит, нечего радоваться — «сошло, сошло»...

Ванда лизнула губы.

— Я не радуюсь, я только говорю «сошло», а вот мне интересно знать, если, не дай Бог, к нам явятся и спросят тебя, как председателя домового комитета, а кто у вас наверху? Были они у гетмана? Что ты будешь говорить?

Василиса нахмурился и покосился:

— Можно будет сказать, что он доктор... Наконец, откуда я знаю? Откуда?

— Вот то-то, откуда...

На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнел, а Ванда повернула жилистую шею.

Василиса, шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал:

— Знаешь что? Может быть, сейчас сбегать к Турбиным, вызвать их?

Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился.

— Ах, Боже мой, — тревожно молвил Василиса, — нет, нужно идти.

Ванда глянула в испуге и двинулась за ним. Открыли дверь из квартиры в общий коридор. Василиса вышел в коридор, пахнуло холодком, острое лицо Ванды, с тревожными, расширенными глазами, выглянуло. Над ее головой в третий раз назойливо затрещало электричество в блестящей чашке.

На мгновенье у Василисы пробежала мысль постучать в стеклянные двери Турбиных — кто-нибудь сейчас же бы вышел, и не было бы так страшно. И он побоялся это сделать. А вдруг: «Ты чего стучал? А? Боишься чего-то?» — и, кроме того, мелькнула, правда слабая, надежда, что, может быть, это не они, а так что-нибудь...

— Кто... там? — слабо спросил Василиса у двери.

Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сиповатым голосом, а над Вандой еще и еще затрещал звонок.

— Видчиняй, — хрипнула скважина, — из штабу. Та не отходи, а то стрельнем через дверь...

— Ах, бож... — выдохнула Ванда.

Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок, не помнил и сам, как снял цепочку.

— Скорийш... — грубо сказала скважина.

Темнота с улицы глянула на Василису куском серого неба, краем акации, пушинками. Вошло всего трое, но Василисе показалось, что их гораздо больше.

— Позвольте узнать... по какому поводу?

— С обыском, — ответил первый вошедший волчьим голосом и как-то сразу надвинулся на Василису. Коридор повернулся, и лицо Ванды в освещенной двери показалось резко напудренным.

— Тогда, извините, пожалуйста, — голос Василисы звучал бледно, бескрасочно, — может быть, мандат есть? Я, собственно, мирный житель... не знаю, почему же ко мне? У меня — ничего, — Василиса мучительно хотел сказать по-украински и сказал, — нема.

— Ну, мы побачимо, — ответил первый.

Как во сне двигаясь под напором входящих в двери, как во сне их видел Василиса. В первом человеке все было волчье, так почему-то показалось Василисе. Лицо его было узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щеки запали сухими бороздами, он как-то странно косил, смотрел исподлобья и тут, даже в узком пространстве, успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой привычного к снегу и траве существа. Он говорил на странном и неправильном языке — смеси русских и украинских слов — языке, знакомом жителям Города, бывающим на Подоле, на берегу Днепра, где летом пристань свистит и вертит лебедками, где летом оборванные люди выгружают с барж арбузы... На голове у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал набок.

Второй — гигант, занял почти до потолка переднюю Василисы. Он был румян бабьим полным и радостным

румянцем, молод, и ничего у него не росло иа щеках. На голове у него был шлык с объеденными молью ушами, на плечах серая шинель, и на неестественно маленьких ногах ужасные скверные опорки.

Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гноеточащей коростой, и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды, на теле двубортный солдатский старинный мундир с медными, позеленевшими пуговицами, на ногах черные штаны, на ступнях лапти, поверх пухлых, серых казенных чулок. Его лицо в свете лампы отливало в два цвета — восково-желтый и фиолетовый, глаза смотрели страдальчески-злобно.

— Побачимо, побачимо, — повторил волк, — и мандат есть.

С этими словами он полез в карман штанов, вытащил смятую бумагу и ткнул ее Василисе. Один глаз его поразил сердце Василисы, а второй, левый, косой, проткнул бегло сундуки в передней.

На скомканном листке — четвертушке со штампом:

Штаб 1-го сичевого куреня

было написано химическим карандашом косо крупными каракулями:

> «Предписуется зробить обыск у жителя Василия Лисовича, по Алексеевскому спуску, дом № 13. За сопротивление карается росстрилом.
>
> Начальник Штабу *Проценко*
> Адъютант *Миклун*».

В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать.

Цветы букетами зелени на обоях попрыгали немного в глазах Василисы, и он сказал, пока волк вновь овладевал бумажкой:

— Прохаю, пожалуйста, но у меня ничего...

Волк вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом браунинг и направил его на Василису. Ванда тихонько вскрикнула: «Ай». Лоснящийся от машинного масла кольт, длинный и стремительный, оказался в руке изуродованного. Василиса согнул колени и немного при-

сел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко-бело и радостно.

— Хто в квартире? — сипловато спросил волк.

— Никого нету, — ответил Василиса белыми губами, — я та жинка.

— Нуте, хлопцы, — смотрите, та швидче, — хрипнул волк, оборачиваясь к своим спутникам, — нема часу.

Гигант тотчас тряхнул суидук, как коробку, а изуродованный шмыгнул к печке. Револьверы спрятались. Изуродованный кулаками постучал по стене, со стуком открыл заслонку, из черной дверцы ударило скуповатым теплом.

— Оружие е? — спросил волк.

— Честное слово... помилуйте, какое оружие...

— Нет у нас, — одним дыханием подтвердила тень Ванды.

— Лучше скажи, а то бачил — росстрил? — внушительно сказал волк...

— Ей-богу... откуда же?

В кабинете загорелась зеленая лампа, и Александр II, возмущенный до глубины чугунной души, глянул на троих. В зелени кабинета Василиса в первый раз в жизни узнал, как приходит, грозно кружа голову, предчувствие обморока. Все трое принялись первым долгом за обои. Гигант пачками, легко, игрушечно, сбросил с полки ряд за рядом книги, и шестеро рук заходили по стенам, выстукивая их... Туп... туп... глухо постукивала стена. Тук, отозвалась внезапно пластинка в тайнике. Радость сверкнула в волчьих глазах.

— Що я казав? — шепнул он беззвучно. Гигант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальцами гиганта, и он выдрал из стены пластинку. Бумажный перекрещенный пакет оказался в руках волка. Василиса пошатнулся и прислонился к стене. Волк начал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василису.

— Что же ты, зараза, — заговорил он горько, — що ж ты? Нема, нема, ах ты, сучий хвост. Казал нема, а сам гроши в стенку запечатав? Тебя же убить треба!

— Что вы! — вскрикнула Ванда.

С Василисой что-то странное сделалось, вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом, и смех этот был ужасен, потому что в голубых глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щеки.

— Декрета, панове, помилуйте, никакого же не было. Тут кой-какие бумаги из банка и вещицы... Денег-то мало... Заработанные... Ведь теперь же все равно царские деньги аннулированы...

Василиса говорил и смотрел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение.

— Тебя заарестовать бы требовалось, — назидательно сказал волк, тряхнув пакетом и запихнув его в бездонный карман рваной шинели. — Нуте, хлопцы, беритесь за ящики.

Из ящиков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки, портсигары. Листы усеяли зеленый ковер и красное сукно стола, листы, шурша, падали на пол. Урод перевернул корзину. В гостиной стучали по стенам поверхностно, как бы нехотя. Гигант сдернул ковер и потопал ногами в пол, отчего на паркете остались замысловатые, словно выжженные следы. Электричество, разгораясь к ночи, разбрызгивало веселый свет, и блистал цветок граммофона. Василиса шел за тремя, волоча и шаркая ногами. Тупое спокойствие овладело Василисой, и мысли его текли как будто складнее. В спальне мгновенно — хаос: полезли из зеркального шкафа, горбом, одеяла, простыни, кверху ногами встал матрас. Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати глянули Василисины шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису.

— Яки гарны ботинки, — сказал он тонким голосом, — а что они, часом, на меня не придутся?

Василиса не придумал еще, что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса дрогнул.

— Они шевровые, панове, — сказал он, сам не понимая, что говорит.

Волк обернулся к нему, в косых глазах мелькнул горький гнев.

— Молчи, гнида, — сказал он мрачно. — Молчать! — повторил он, внезапно раздражаясь. — Ты спасибо скажи нам, що мы тебя не расстреляли, як вора и бандита, за утайку сокровищ. Ты молчи, — продолжал он, наступая на совершенно бледного Василису и грозно сверкая глазами. — Накопил вещей, нажрал морду, розовый, як свинья, а ты бачишь, в чем добрые люди ходют? Бачишь? У него ноги мороженые, рваные, он в окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел, на граммофонах играл. У-у, матери твоей, — в глазах его мелькнуло желание ударить Василису по уху, он дернул рукой. Ванда вскрикнула: «Что вы...» Волк не посмел ударить представительного Василису и только ткнул его кулаком в грудь. Бледный Василиса пошатнулся, чувствуя острую боль и тоску в груди от удара острого кулака.

«Вот так революция, — подумал он в своей розовой и аккуратной голове, — хорошенькая революция. Вешать их надо было всех, а теперь поздно...»

— Василько, обувайсь, — ласково обратился волк к гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. Ботинки не налезали на серые, толстые чулки. — Выдай казаку носки, — строго обратился волк к Ванде. Та мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа и вынула носки. Гигант сбросил серые чулки, показав ступни с красноватыми пальцами и черными изъединами, и натянул носки. С трудом налезли ботинки, шнурок на левом с треском лопнул. Восхищенно, по-детски улыбаясь, гигант затянул обрывки и встал. И тотчас как будто что лопнуло в натянутых отношениях этих странных пятерых человек, шаг за шагом шедших по квартире. Появилась простота. Изуродованный, глянув на ботинки на гиганте, вдруг проворно снял Василисины брюки, висящие на гвоздике, рядом с умывальником. Волк только еще раз подозрительно оглянулся на Василису, — не скажет ли чего, — но Василиса и Ванда ничего не говорили, и лица их были совершенно одинаково белые, с громадными глазами. Спальня стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых в клочья изодранных подштанниках и рассматривал на свет брюки.

— Дорогая вещь, шевиот... — гнусаво сказал он, присел в синее кресло и стал натягивать. Волк сменил гряз-

ную гимнастерку на серый пиджак Василисы, причем вернул Василисе какие-то бумажки со словами: «Якись бумажки, берите, пане, може, нужные». Со стола взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирно и черно красовались римские цифры.

Волк натянул шинель, и под шинелью было слышно, как ходили и тикали часы.

— Часы нужная вещь. Без часов — як без рук, — говорил изуродованному волк, все более смягчаясь по отношению к Василисе, — ночью глянуть сколько времени — незаменимая вещь.

Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет. Василиса и Ванда рядом молча шли позади. В кабинете волк, кося глазами, о чем-то задумался, потом сказал Василисе:

— Вы, пане, дайте нам расписку... (Какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой.)

— Как? — шепнул Василиса.

— Расписку, що вы нам вещи выдалы, — пояснил волк, глядя в землю.

Василиса изменился в лице, его щеки порозовели.

— Но как же... Я же... (Он хотел крикнуть: «Как, я же еще и расписку?!» — но у него не вышли эти слова, а вышли другие.) вы... вам надлежит расписаться так сказать...

— Ой, убить тебя надо, — злобно задумчиво ответил волк, — вбыть тебе треба, як собаку. У-у, кровопийца... Знаю я, что ты думаешь. Знаю. Ты, як бы твоя власть была, изничтожил бы нас, як насекомых. У-у, вижу я, добром с тобой не сговоришь. Хлопцы, ставь его к стенке. У, як вдарю...

Он рассердился и нервно притиснул Василису к стене, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгновенно стал красным.

— Ай! — в ужасе вскрикнула Ванда и ухватила за руку волка. — Что вы. Помилуйте... Вася, напиши, напиши...

Волк выпустил инженерово горло, и с хрустом в сторону отскочил, как на пружине, воротничок. Василиса и сам не заметил, как оказался сидящим в кресле. Руки его тряслись. Он оторвал от блокнота листок, макнул перо.

Настала тишина, и в тишине было слышно, как в кармане волка стучал стеклянный глобус.

— Как же писать? — спросил Василиса слабым, хрипловатым голосом.

Волк задумался, поморгал глазами.

— Пышить... по предписанию штаба сичевого куреня... вещи... вещи... в размере... у целости сдал...

— В разм... — как-то скрипнул Василиса и сейчас же умолк.

— ...Сдал при обыске. И претензий ниякие не маю. И подпишить...

Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза:

— А кому?

Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдержал негодование и только вздохнул.

— Пишить: получив... получили у целости Немоляка (он задумался, посмотрел на урода) ...Кирпатый и отаман Ураган.

Василиса, мутно глядя в бумагу, писал под его диктовку. Написал требуемое, вместо подписи поставил дрожащую «Василис», протянул бумагу волку. Тот взял листок и стал в него вглядываться.

В это время далеко на лестнице вверху загремели стеклянные двери, послышались шаги и грянул голос Мышлаевского.

Лицо волка резко изменилось, потемнело. Зашевелились его спутники. Волк стал бурым и тихонько крикнул: «Ша». Он вытащил из кармана браунинг и направил его на Василису, и тот страдальчески улыбнулся. За дверями в коридоре слышались шаги, перекликанья. Потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь — запирали дверь. Еще пробежали шаги, донесся смех мужчины. После этого стукнула стеклянная дверь, ушли ввысь замирающие шаги, и все стихло. Урод вышел в переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда он вернулся, многозначительно переглянулся с волком, и все, теснясь, стали выходить в переднюю. Там, в передней, гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал:

— Холодно буде.

Он надел Василисины галоши.

Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом, бегая глазами:

— Вы вот що, пане... Вы молчите, що мы были у вас. Бо як накапаете на нас, то вас наши хлопцы вбьють. С квартиры до утра не выходить, за це строго взыскуеться...

— Прощении просим, — сказал провалившийся нос гнилым голосом.

Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмотрел на Василису и искоса, радостно — на сияющие галоши. Шли они из двери Василисы по коридору к уличной двери, почему-то приподымаясь на цыпочки, быстро, толкаясь. Прогремели запоры, глянуло темное небо, и Василиса холодными руками запер болты, голова его кружилась, и мгновенно ему показалось, что он видит сон. Тотчас сердце его упало, потом заколотилось часто, часто. В передней рыдала Ванда. Она упала на сундук, стукнулась головой об стену, крупные слезы залили ее лицо.

— Боже! Что же это такое?.. Боже. Боже. Вася... Среди бела дня. Что же это делается?..

Василиса трясся перед ней, как лист, лицо его было искажено.

— Вася, — вскричала Ванда, — ты знаешь... Это никакой не штаб, не полк. Вася! Это были бандиты!

— Я сам, сам понял, — бормотал Василиса, в отчаянии разводя руками.

— Господи! — вскрикнула Ванда. — Нужно бежать скорей, сию минуту, сию минуту заявить, ловить их. Ловить! Царица небесная! Все вещи. Все! Все! И хоть бы кто-нибудь, кто-нибудь... А?.. — Она затряслась, скатилась с сундука на пол, закрыла лицо руками. Волосы ее разметались, кофточка расстегнулась на спине.

— Куда ж, куда?.. — спрашивал Василиса.

— Боже мой, в штаб, в варту! Заявление подать. Скорей. Что ж это такое?!

Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать в дверь. Он налетел на стеклянную преграду и поднял грохот.

Все, кроме Шервинского и Елены, толпились в квартире Василисы. Лариосик, бледный, стоял в дверях. Мышлаевский, раздвинув ноги, поглядел на опорки и лохмотья, брошенные неизвестными посетителями, повернулся к Василисе.

— Пиши пропало. Это бандиты. Благодарите Бога, что живы остались. Я, сказать по правде, удивлен, что вы так дешево отделались.

— Боже... что они с нами сделали! — сказала Ванда.

— Они угрожали мне смертью.

— Спасибо, что угрозу не привели в исполнение. Первый раз такую штуку вижу.

— Чисто сделано, — тихонько подтвердил Карась.

— Что же теперь делать?.. — замирая, спросил Василиса. — Бежать жаловаться?.. Куда?.. Ради Бога, Виктор Викторович, посоветуйте.

Мышлаевский крякнул, подумал.

— Никуда я вам жаловаться не советую, — молвил он, — во-первых, их не поймают — раз. — Он загнул длинный палец. — Во-вторых...

— Вася, ты помнишь, они сказали, что убьют, если ты заявишь?

— Ну, это вздор, — Мышлаевский нахмурился, — никто не убьет, но, говорю, не поймают их, да и ловить никто не станет, а второе, — он загнул второй палец, — ведь вам придется заявить, что у вас взяли, вы говорите, царские деньги... Нуте-с, вы заявите там в штаб этот ихний или куда там, а они вам, чего доброго, второй обыск устроят.

— Может быть, очень может быть, — подтвердил высокий специалист Николка.

Василиса, растерзанный, облитый водой после обморока, поник головой, Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке, всем стало их жаль. Лариосик тяжело вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза.

— Вот оно, у каждого свое горе, — прошептал он.

— Чем же они были вооружены? — спросил Николка.

— Боже мой. У обоих револьверы, а третий... Вася, у третьего ничего не было?

— У двух револьверы, — слабо подтвердил Василиса.

— Какие, не заметили? — деловито добивался Николка.

— Ведь я ж не знаю, — вздохнув, ответил Василиса, — не знаю я систем. Один большой черный, другой маленький черный с цепочкой.

— Цепочка, — вздохнула Ванда.

Николка нахмурился и искоса, как птица, посмотрел на Василису. Он потоптался на месте, потом беспокойно двинулся и проворно отправился к двери. Лариосик поплелся за ним. Лариосик не достиг еще столовой, когда из Николкиной комнаты долетел звон стекла и Николкин вопль. Лариосик устремился туда. В Николкиной комнате ярко горел свет, в открытую форточку несло холодом и зияла огромная дыра, которую Николка устроил коленями, сорвавшись с отчаяния с подоконника. Николкины глаза блуждали.

— Неужели? — вскричал Лариосик, вздымая руки. — Это настоящее колдовство!

Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную, через кухню, мимо ошеломленной Анюты, кричащей: «Никол, Никол, куда ж ты без шапки? Господи, аль еще что случилось?..» И выскочил через сени во двор. Анюта, крестясь, закинула в сенях крючок, убежала в кухню и припала к окну, но Николка моментально пропал из глаз.

Он круто свернул влево, сбежал вниз и остановился перед сугробом, запиравшим вход в ущелье между стенами. Сугроб был совершенно нетронут. «Ничего не понимаю», — в отчаянии бормотал Николка и храбро кинулся в сугроб. Ему показалось, что он задохнется. Он долго месил снег, плевался и фыркал, прорвал, наконец, снеговую преграду и весь белый пролез в дикое ущелье, глянул вверх и увидал: вверху, там, где из рокового окна его комнаты выпадал свет, черными головками виднелись костыли и их остренькие густые тени, но коробки не было.

С последней надеждой, что, может быть, петля оборвалась, Николка, поминутно падая на колени, шарил по битым кирпичам. Коробки не было.

Тут яркий свет осветил вдруг Николкину голову. «А-а», — закричал он и полез дальше к забору, закрывающе-

му ущелье с улицы. Он дополз и ткнул руками, доски отошли, глянула широкая дыра на черную улицу. Все понятно... Они отшили доски, ведущие в ущелье, были здесь и даже, п-о-нимаю, хотели залезть к Василисе через кладовку, но там решетка на окне.

Николка, весь белый, вошел в кухню молча.

— Господи, дай хоть почищу... — вскричала Анюта.

— Уйди ты от меня, ради Бога, — ответил Николка и прошел в комнаты, обтирая закоченевшие руки об штаны. — Ларион, дай мне по морде, — обратился он к Лариосику. Тот заморгал глазами, потом выкатил их и сказал:

— Что ты, Николаша? Зачем же так впадать в отчаяние? — Он робко стал шаркать руками по спине Николки и рукавом сбивать снег.

— Не говоря о том, что Алеша оторвет мне голову, если, даст Бог, поправится, — продолжал Николка, — но самое главное... Най-Турсов кольт!.. Лучше б меня убили самого, ей-богу!.. Это Бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты понимаешь, они этим самым револьвером его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать, как липочку... Такой уж человек. Эх... Вот какая история. Бери бумагу, Ларион, будем окно заклеивать.

Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и молотком Николка, Мышлаевский и Лариосик. Ущелье было короткими досками забито наглухо. Сам Николка с остервенением вгонял длинные, толстые гвозди с таким расчетом, чтобы они остриями вылезли наружу. Еще позже на веранде со свечами ходили, а затем через холодную кладовую на чердак лезли Николка, Мышлаевский и Лариосик. На чердаке, над квартирой, со зловещим топотом они лазили всюду, сгибаясь между теплыми трубами, между бельем, и забили слуховое окно.

Василиса, узнав об экспедиции на чердак, обнаружил живейший интерес и тоже присоединился и лазил между балками, одобряя все действия Мышлаевского.

— Какая жалость, что вы не дали нам как-нибудь знать. Нужно было бы Ванду Михайловну послать к нам

через черный ход, — говорил Николка, капая со свечи стеарином.

— Ну, брат, не очень-то, — отозвался Мышлаевский, — когда уже они были в квартире, это, друг, дело довольно дохлое. Ты думаешь, они не стали бы защищаться? Еще как. Ты прежде чем в квартиру бы влез, получил бы пулю в живот. Вот и покойничек.

— Так-то-с. А вот не пускать, это дело другого рода.

— Угрожали выстрелить через дверь, Виктор Викторович, — задушевно сказал Василиса.

— Никогда бы не выстрелили, — отозвался Мышлаевский, гремя молотком, — ни в коем случае. Всю бы улицу на себя навлекли.

Позже ночью Карась нежился в квартире Лисовичей, как Людовик XIV. Этому предшествовал такой разговор:

— Не придут же сегодня, что вы! — говорил Мышлаевский.

— Нет, нет, нет, — вперебой отвечали Ванда и Василиса на лестнице, — мы умоляем, просим вас или Федора Николаевича, просим!.. Что вам стоит? Ванда Михайловна чайком вас напоит. Удобно уложим. Очень просим и завтра тоже. Помилуйте, без мужчины в квартире!

— Я ни за что не засну, — подтвердила Ванда, кутаясь в пуховый платок.

— Коньячок есть у меня — согреемся, — неожиданно залихватски как-то сказал Василиса.

— Иди, Карась, — сказал Мышлаевский.

Вследствие этого Карась и нежился. Мозги и суп с постным маслом, как и следовало ожидать, были лишь симптомами той омерзительной болезни скупости, которой Василиса заразил свою жену. На самом деле в недрах квартиры скрывались сокровища, и они были известны одной Ванде. На столе в столовой появилась банка с маринованными грибами, телятина, вишневое варенье и настоящий, славный коньяк Шустова с колоколом. Карась потребовал рюмку для Ванды Михайловны и ей налил.

— Не полную, не полную, — кричала Ванда.

Василиса, отчаянно махнув рукой, подчиняясь Карасю, выпил одну рюмку.

— Ты не забывай, Вася, что тебе вредно, — нежно сказала Ванда.

После авторитетного разъяснения Карася, что никому абсолютно не может быть вреден коньяк и что его дают даже малокровным с молоком, Василиса выпил вторую рюмку, и щеки его порозовели, и на лбу выступил пот. Карась выпил пять рюмок и пришел в очень хорошее расположение духа. «Если б ее откормить, она вовсе не так уж дурна», — думал он, глядя на Ванду.

Затем Карась похвалил расположение квартиры Лисовичей и обсудил план сигнализации в квартиру Турбиных: один звонок из кухни, другой из передней. Чуть что — наверх звонок. И, пожалуйста, выйдет открывать Мышлаевский, это будет совсем другое дело.

Карась очень хвалил квартиру: и уютно, и хорошо меблирована, и один недостаток — холодно.

Ночью сам Василиса притащил дров и собственноручно затопил печку в гостиной. Карась, раздевшись, лежал на тахте между двумя великолепнейшими простынями и чувствовал себя очень уютно и хорошо. Василиса в рубашке, в подтяжках пришел к нему и присел на кресло со словами:

— Не спится, знаете ли, вы разрешите с вами немного побеседовать?

Печка догорела, Василиса, круглый, успокоившийся, сидел в креслах, вздыхал и говорил:

— Вот-с как, Федор Николаевич. Все, что нажито упорным трудом, в один вечер перешло в карманы каких-то негодяев... путем насилия... Вы не думайте, чтобы я отрицал революцию, о нет, я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие все это.

Багровый отблеск играл на лице Василисы и застежках его подтяжек. Карась в чудесном коньячном расслаблении начинал дремать, стараясь сохранить на лице вежливое внимание...

— Но, согласитесь сами. У нас в России, в стране, несомненно, наиболее отсталой, революция уже выродилась в пугачевщину... Ведь что ж такое делается... Мы лишились в течение каких-либо двух лет всякой опоры в законе, минимальной защиты наших прав человека и гражданина. Англичане говорят...

— М-ме, англичане... они, конечно, — пробормотал Карась, чувствуя, что мягкая стена начинает отделять его от Василисы.

— ...А тут, какой же «твой дом — твоя крепость», когда вы не гарантированы в собственной вашей квартире за семью замками от того, что шайка, вроде той, что была у меня сегодня, не лишит вас не только имущества, но, чего доброго, и жизни?!

— На сигнализацию и на ставни наляжем, — не очень удачно, сонным голосом ответил Карась

— Да ведь, Федор Николаевич! Да ведь дело, голубчик, не в одной сигнализации! Никакой сигнализацией вы не остановите того развала и разложения, которые свили теперь гнездо в душах человеческих. Помилуйте, сигнализация — частный случай, а предположим, она испортится?

— Починим, — ответил счастливый Карась.

— Да ведь нельзя же всю жизнь строить на сигнализации и каких-либо там револьверах. Не в этом дело. Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случай. Дело в том, что исчезло самое главное, уважение к собственности. А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли. Я убежденный демократ по натуре и сам из народа. Мой отец был простым десятником на железной дороге. Все, что вы видите здесь, и все, что сегодня у меня отняли эти мошенники, все это нажито и сделано исключительно моими руками. И, поверьте, я никогда не стоял на страже старого режима, напротив, признаюсь вам по секрету, я кадет, но теперь, когда я своими глазами увидел, во что все это выливается, клянусь вам, у меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно... — Откуда-то из мягкой пелены, окутывающей Карася, донесся шепот... — Самодержавие. Да-с... Злейшая диктатура, какую можно только себе представить... Самодержавие...

«Эк разнесло его, — думал блаженный Карась. — М-да, самодержавие — штука хитрая». Эхе-мм... — проговорил он сквозь вату.

— Ах, ду-ду-ду-ду — хабеас корпус, ах, ду-ду-ду-ду... Ай, ду-ду... — бубнил голос через вату, — ай, ду-ду-ду, напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго, ай ду-ду-ду, и восклицают многие

лета. Нет-с! Многие лета это не продолжится, да и смешно было бы думать, что...

— Крепость Ивангород, — неожиданно перебил Василису покойный комендант в папахе, — многая лета!

— И Ардаган и Карс, — подтвердил Карась в тумане,

— многая лета!

Реденький почтительный смех Василисы донесся издали.

— Многая лета!! —

радостно спели голоса в Карасевой голове.

16

Многая лета. Многая лета.
Много-о-о-о-га-ая ле-е-е-т-а...

вознесли девять басов знаменитого хора Толмашевского.

Мн-о-о-о-о-о-о-о-о-гая ле-е-е-е-е-е-та... —

разнесли хрустальные дисканты.

Многая... Многая... Многая...

рассыпаясь в сопрано, ввинтил в самый купол хор.

— Бач! Бач! Сам Петлюра...

— Бач, Иван...

— У, дурень... Петлюра уже на площади...

Сотни голов на хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, свешивались с балюстрады между древними колоннами, расписанными черными фресками. Крутясь, волнуясь, напирая, давя друг друга, лезли к балюстраде, стараясь глянуть в бездну собора, но сотни голов, как желтые яблоки, висели тесным, тройным слоем. В бездне качалась душная тысячеголовая волна, и над ней плыл, раскаляясь, пот и пар, ладанный дым, нагар сотен свечей, копоть тяжелых лампад на цепях. Тяжкая завеса серо-голубая, скрипя, ползла по кольцам и закрывала резные, витые, векового металла, темного и мрачного, как весь мрачный собор Софии, царские врата. Огненные хвосты свечей в паникадилах потрескивали, колыхались,

тянулись дымной ниткой вверх. Им не хватало воздуха. В приделе алтаря была невероятная кутерьма. Из боковых алтарских дверей, по гранитным истертым плитам сыпались золотые ризы, взмахивали орари. Лезли из круглых картонок фиолетовые камилавки, со стен, качаясь, снимались хоругви. Страшный бас протодиакона Серебрякова рычал где-то в гуще. Риза, безголовая, безрукая, горбом витала над толпой, затем утонула в толпе, потом вынесло вверх один рукав ватной рясы, другой. Взмахивали клетчатые платки, свивались в жгуты.

— Отец Аркадий, щеки покрепче подвяжите, мороз лютый, позвольте, я вам помогу.

Хоругви кланялись в дверях, как побежденные знамена, плыли коричневые лики и таинственные золотые слова, хвосты мело по полу.

— Посторонитесь...

— Батюшки, куда ж?

— Манька! Задавят...

— О ком же? (Бас, шепот.) Украинской народной республике?

— А черт ее знает (шепот).

— Кто ни поп, тот батька...

— Осторожно...

Многая лета!!! —

зазвенел, разнесся по всему собору хор... Толстый, багровый Толмашевскнй угасил восковую жидкую свечу и камертон засунул в карман. Хор, в коричневых до пят костюмах, с золотыми позументами, колыша белобрысыми, словно лысыми, головенками дискантов, качаясь кадыками, лошадиными головами басов, потек с темных, мрачных хор. Лавинами из всех пролетов, густея, давя друг друга, закипел в водоворотах, зашумел народ.

Из придела выплывали стихари, обвязанные, словно от зубной боли, головы с растерянными глазами, фиолетовые, игрушечные, картонные шапки. Отец Аркадий, настоятель кафедрального собора, маленький щуплый человек, водрузивший сверх серого клетчатого платка самоцветами искрящуюся митру, плыл, семеня ногами в потоке. Глаза у отца были отчаянные, тряслась бороденка.

— Крестный ход будет. Вали, Митька.

— Тише вы! Куда лезете? Попов подавите...

— Туда им и дорога.

— Православные!! Ребенка задавили...

— Ничего не понимаю...

— Як вы не понимаете, то вы б ишлы до дому, бо тут вам робыть нема чого...

— Кошелек вырезали!!!

— Позвольте, они же социалисты. Так ли я говорю? При чем же здесь попы?

— Выбачайте.

— Попам дай синенькую, так они дьяволу обедню отслужат.

— Тут бы сейчас на базар, да по жидовским лавкам ударить. Самый раз...

— Я на вашей мови не размовляю.

— Душат женщину, женщину душат...

— Га-а-а-а... Га-а-а-а...

Из боковых заколонных пространств, с хор, со ступени на ступень, плечо к плечу, не повернуться, не шелохнуться, тащило к дверям, вертело. Коричневые с толстыми икрами скоморохи неизвестного века неслись, приплясывая и наигрывая на дудках, на старых фресках на стенах. Через все проходы, в шорохе, гуле, несло полузадушенную, опьяненную углекислотой, дымом и ладаном толпу. То и дело в гуще вспыхивали короткие болезненные крики женщин. Карманные воры с черными кашне работали сосредоточенно, тяжело, продвигая в слипшихся комках человеческого давленого мяса ученые виртуозные руки. Хрустели тысячи ног, шептала, шуршала толпа.

— Господи Боже мой...

— Иисусе Христе... Царица небесная, матушка...

— И не рад, что пошел. Что же это делается?

— Чтоб тебя, сволочь, раздавило...

— Часы, голубчики, серебряные часы, братцы родные. Вчера купил...

— Отлитургисали, можно сказать...

— На каком же языке служили, отцы родные, не пойму я?

— На божественном, тетка.

— От строго заборонють, щоб не було бильш московской мовы.

— Что ж это, позвольте, как же? Уж и на православном, родном языке говорить не разрешается?

— С корнями серьги вывернули. Пол-уха оборвали...

— Большевика держите, козаки! Шпиен! Большевицкий шпиен!

— Це вам не Россия, добродию.

— Ох, Боже мой, с хвостами... Глянь, в галунах, Маруся.

— Дур... но мне...

— Дурно женщине.

— Всем, матушка, дурно. Всему народу чрезвычайно плохо. Глаз, глаз выдушите, не напирайте. Что вы взбесились, анафемы?!

— Геть! В Россию! Геть с Украины!

— Иван Иванович, тут бы полиции сейчас наряды, помните, бывало, в двунатесятые праздники... Эх, хо, хо.

— Николая вам кровавого давай? Мы знаем, мы все знаем, какие мысли у вас в голове находятся.

— Отстаньте от меня, ради Христа. Я вас не трогаю.

— Господи, хоть бы выход скорей... Воздуху живого глотнуть.

— Не дойду. Помру.

Через главный выход напором перло и выпихивало толпу, вертело, бросало, роняли шапки, гудели, крестились. Через второй боковой, где мгновенно выдавили два стекла, вылетел, серебряный с золотом, крестный, задавленный и ошалевший, ход с хором. Золотые пятна плыли в черном месиве, торчали камилавки и мирты, хоругви наклонно вылезали из стекол, выпрямлялись и плыли торчком.

Был сильный мороз. Город курился дымом. Соборный двор, топтанный тысячами ног, звонко, непрерывно хрустел. Морозная дымка веяла в остывшем воздухе, поднималась к колокольне. Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную, вопящую кутерьму. Маленькие колокола тявкали, заливаясь, без ладу и складу, вперебой, точно сатана влез на колокольню, сам дьявол в рясе и, забавляясь, поднимал гвалт. В черные прорези многоэтажной коло-

кольни, встречавшей некогда тревожным звоном косых татар, видно было, как метались и кричали маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи. Мороз хрустел, курился. Расплавляло, отпускало душу на покаяние, и черным-черно разливался по соборному двору народушко.

Старцы божии, несмотря на лютый мороз, с обнаженными головами, то лысыми, как спелые тыквы, то крытыми дремучим оранжевым волосом, уже сели рядом по-турецки вдоль каменной дорожки, ведущей в великий пролет старософийской колокольни, и пели гнусавыми голосами.

Слепцы-лирники тянули за душу отчаянную песню о Страшном суде, и лежали донышком книзу рваные картузы, и падали, как листья, засаленные карбованцы, и глядели из картузов трепаные гривны.

Ой, когда конец века искончается,
А тогда Страшный суд приближается...

Страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками.

— Братики, сестрички, обратите внимание на убожество мое. Подайте, Христа ради, что милость ваша будет.

— Бегите на площадь, Федосей Петрович, а то опоздаем.

— Молебен будет.

— Крестный ход.

— Молебствие о даровании победы и одоления революционному оружию народной украинской армии.

— Помилуйте, какие же победы и одоление? Победили уже.

— Еще побеждать будут!

— Поход буде.

— Куды поход?

— На Москву.

— На какую Москву?

— На самую обыкновенную.

— Руки коротки.

— Як вы казалы? Повторить, як вы казалы? Хлопцы, слухайте, що вин казав!

— Ничего я не говорил!

— Держи, держи его, вора, держи!!

— Беги, Маруся, через те ворота, здесь не пройдем. Петлюра, говорят, на площади. Петлюру смотреть.

— Дура, Петлюра в соборе.

— Сама ты дура. Он на белом коне, говорят, едет.

— Слава Петлюри! Украинской народной республике слава!!!

— Дон... дон... дон... Дон-дон-дон... Тирли-бом-бом. Дон-бом-бом, — бесились колокола.

— Воззрите на сироток, православные граждане, добрые люди... Слепому... Убогому...

Черный, с обшитым кожей задом, как ломаный жук, цепляясь рукавицами за затоптанный снег, полез безногий между ног. Калеки убогие выставляли язвы на посиневших голенях, трясли головами, якобы в тике и параличе, закатывали белесые глаза, притворяясь слепыми. Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадежность, безысходную дичь степей, скрипели, как колеса, стонали, выли в гуще проклятой лиры.

— Вернися, сиротко, далекий свит зайдешь...

Косматые, трясущиеся старухи с клюками совали вперед иссохшие пергаментные руки, выли:

— Красавец писаный! Дай тебе Бог здоровечка!

— Барыня, пожалей старуху, сироту несчастную.

— Голубчики, милые, Господь Бог не оставит вас...

Салопницы на плоских ступнях, чуйки в чепцах с ушами, мужики в бараньих шапках, румяные девушки, отставные чиновники с пыльными следами кокард, пожилые женщины с выпяченным мысом животом, юркие ребята, казаки в шинелях, в шапках с хвостами цветного верха, синего, красного, зеленого, малинового с галуном, золотыми и серебряными, с кистями золотыми с углов гроба, черным морем разливались по соборному двору, а двери собора все источали и источали новые волны. На воздухе воспрянул духом, глотнул силы крестный ход, перестроился, подтянулся, и поплыли в стройном чине и порядке обнаженные головы в клетчатых платках, митры и камилавки, буйные гривы дьяконов, скуфьи монахов, острые кресты на золоченых древках, хоругви Христа-спасителя и Божьей Матери с младенцем, и поплыли раз-

резные, кованые, золотые, малиновые, писанные славянской вязью хвостатые полотнища.

То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые, мутные реки текут по старым улицам — то сила Петлюры несметная на площадь старой Софии идет на парад.

Первой, взорвав мороз ревом труб, ударив блестящими тарелками, разрезав черную реку народа, пошла густыми рядами синяя дивизия.

В синих жупанах, в смушковых, лихо заломленных шапках с синими верхами, шли галичане. Два двухцветных прапора, наклоненных меж обнаженными шашками, плыли следом за густым трубным оркестром, а за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое сукно. За первым батальоном валили черные в длинных халатах, опоясанных ремнями, и в тазах на головах, и коричневая заросль штыков колючей тучей лезла на парад.

Несчитанной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрельцов. Шли курени гайдамаков, пеших, курень за куренем, и, высоко танцуя в просветах батальонов, ехали в седлах бравые полковые, куренные и ротные командиры. Удалые марши, победные, ревущие, выли золотом в цветной реке.

За пешим строем, облегченной рысью, мелко прыгая в седлах, покатили конные полки. Ослепительно резнули глаза восхищенного народа мятые, заломленные папахи с синими, зелеными и красными шлыками с золотыми кисточками.

Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки. Весело гремящие бунчуки метались среди конного строя, и рвались вперед от трубного воя кони командиров и трубачей. Толстый, веселый, как шар, Болботун катил впереди куреня, подставив морозу блестящий в сале низкий лоб и пухлые радостные щеки. Рыжая кобыла, кося кровавым глазом, жуя мундштук, роняя пену, поднималась на дыбы, то и дело встряхивая шестипудового Болботуна, и гремела, хлопая ножнами, кривая сабля, и колол легонько шпорами полковник крутые нервные бока.

Бо старшины з нами,
З нами як з братами! —

разливаясь, на рыси пели и прыгали лихие гайдамаки, и трепались цветные оселедцы.

Трепля простреленным желто-блакитным знаменем, гремя гармоникой, прокатил полк черного, остроусого, на громадной лошади, полковника Козыря-Лешко. Был полковник мрачен и косил глазом и хлестал по крупу жеребца плетью. Было от чего сердиться полковнику — побили Най-Турсовы залпы в туманное утро на Брест-Литовской стреле лучшие Козырины взводы, и шел полк рысью и выкатывал на площадь сжавшийся, поредевший строй.

За Козырем пришел лихой, никем не битый черноморский конный курень имени гетмана Мазепы. Имя славного гетмана, едва не погубившего императора Петра под Полтавой, золотистыми буквами сверкало на голубом шелке.

Народ тучей обмывал серые и желтые стены домов, народ выпирал и лез на тумбы, мальчишки карабкались на фонари и сидели на перекладинах, торчали на крышах, свистали, кричали: ура... ура...

— Слава! Слава! — кричали с тротуаров.

Лепешки лиц громоздились в балконных и оконных стеклах.

Извозчики, балансируя, лезли на козлы саней, взмахивая кнутами.

— Ото казалы банды... Вот тебе и банды. Ура!

— Слава! Слава Петлюри! Слава нашему Батько!

— Ур-ра...

— Маня, глянь, глянь... Сам Петлюра, глянь, на серой. Какой красавец...

— Що вы, мадам, це полковник.

— Ах, неужели? А где же Петлюра?

— Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы.

— Що вы, добродию, сдурели? Яких послов?

— Петлюра, Петр Васильевич, говорят (шепотом), в Париже, а, видали?

— Вот вам и банды... Меллиен войску.

— Где же Петлюра? Голубчики, где Петлюра? Дайте хоть одним глазком взглянуть.

— Петлюра, сударыня, сейчас на площади принимает парад.

— Ничего подобного. Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза.

— Якому президенту?! Чего вы, добродию, распространяете провокацию?

— Берлинскому президенту... По случаю республики...

— Видали? Видали? Який важный... Вин по Рыльскому переулку проехал у кареты. Шесть лошадей...

— Виноват, разве они в архиереев верят?

— Я не кажу, верят — не верят... Кажу — проехал, и больше ничего. Самы истолкуйте факт...

— Факт тот, что попы служат сейчас...

— С попами крепче...

— Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра...

Гремели страшные тяжелые колеса, тарахтели ящики, за десятью конными куренями шла лентами бесконечная артиллерия. Везли тупые, толстые мортиры, катились тонкие гаубицы; сидела прислуга на ящиках, веселая, кормленая, победная, чинно и мирно ехали ездовые. Шли, напрягаясь, вытягиваясь, шестидюймовые, сытые кони, крепкие, крутокрупые, и крестьянские, привычные к работе, похожие на беременных блох, коняки. Легко громыхала конно-горная легкая, и пушечки подпрыгивали, окруженные бравыми всадниками.

— Эх... эх... вот тебе и пятнадцать тысяч... Что же это наврали нам. Пятнадцать... бандит... разложение... Господи, не сочтешь. Еще батарея... еще, еще...

Толпа мяла и мяла Николку, и он, сунув птичий нос в воротник студенческой шинели, влез, наконец, в нишу в стене и там утвердился. Какая-то веселая бабенка в валенках уже находилась в нише и сказала Николке радостно:

— Держитесь за меня, панычу, а я за кирпич, а то звалимся.

— Спасибо, — уныло просопел Николка в заиндевевшем воротнике, — я вот за крюк буду.

— Да ж сам Петлюра? — болтала словоохотливая бабенка. — Ой, хочу побачить Петлюру. Кажуть, вин красавец неописуемый.

— Да, — промычал Николка неопределенно в барашковом мехе, — неописуемый. «Еще батарея... Вот черт... Ну, ну, теперь я понимаю...»

— Вин на автомобиле, кажуть, проехав, — тут... Вы не бачили?

— Он в Виннице, — гробовым и сухим голосом ответил Николка, шевеля замерзшими в сапогах пальцами. «Какого черта я валенки не надел. Вот мороз».

— Бач, бач, Петлюра.

— Та який Петлюра, це начальник варты.

— Петлюра мае резиденцию в Билой Церкви. Теперь Била Церковь буде столицей.

— А в Город они разве не придут, позвольте вас спросить?

— Придут своевременно.

— Так, так, так...

Лязг, лязг, лязг. Глухие раскаты турецких барабанов неслись с площади Софии, а по улице уже ползли, грозя пулеметами из амбразур, колыша тяжелыми башнями, четыре страшных броневика. Но румяного энтузиаста Страшкевича уже не было внутри. Лежал еще до сих пор не убранный и совсем уже не румяный, а грязно-восковой, неподвижный Страшкевич на Печерске, в Мариинском парке, тотчас за воротами. Во лбу у Страшкевича была дырочка, другая, запекшаяся, за ухом. Босые ноги энтузиаста торчали из-под снега, и глядел остекленевшими глазами энтузиаст прямо в небо сквозь кленовые голые ветви. Кругом было очень тихо, в парке ни живой души, да и на улице редко кто показывался, музыка сюда не достигала от старой Софии, поэтому лицо энтузиаста было совершенно спокойно.

Броневики, гудя, разламывая толпу, уплыли в поток туда, где сидел Богдан Хмельницкий с булавой, чернея на небе, указывал на северо-восток. Колокол еще плыл густейшей масляной волной по снежным холмам и кровлям города, и бухал, бухал барабан в гуще, и лезли остервенёвшие от радостного возбуждения мальчишки к копытам черного Богдана. А по улицам уже гремели грузовики, скрипя цепями, и ехали на площадках в украинских кожухах, из-под которых торчали разноцветные плахты, ехали с соломенными венками на головах девушки и

хлопцы в синих шароварах под кожухами, пели стройно и слабо...

А в Рыльском переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то бежал с воплем:

— Ой, лышечко!

Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый:

— Я знаю. Тримай их! Офицеры. Офицеры. Офицеры... Я их бачив в погонах!

Во взводе десятого куреня имени Рады, ожидавшего выхода на площадь, торопливо спешились хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо, надрывно вскрикивал схваченный за руки капитан Плешко:

— Я не офицер. Ничего подобного. Ничего подобного. Что вы? Я служащий в банке.

Хватили с ним рядом кого-то, тот, белый, молчал и извивался в руках...

Потом хлынуло по переулку, словно из прорванного мешка, давя друг друга. Бежал ошалевший от ужаса народ. Очистилось место совершенно белое, с одним только пятном — брошенной чьей-то шапкой. В переулке сверкнуло и трахнуло, и капитан Плешко, трижды отрекшийся, заплатил за свое любопытство к парадам. Он лег у палисадника церковного софийского дома навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал ему на ноги и откинулся лицом в тротуар. И тотчас лязгнули тарелки с угла площади, опять попер народ, зашумел, забухал оркестр. Резнул победный голос: «Кроком рушь!» И ряд за рядом, блестя хвостатыми галунами, тронулся конный курень Рады.

Совершенно внезапно лопнул в прорезе между куполами серый фон, и показалось в мутной мгле внезапное солнце. Было оно так велико, как никогда еще никто на Украине не видал, и совершенно красно, как чистая кровь. От шара, с трудом сияющего сквозь завесу облаков, мерно и далеко протянулись полосы запекшейся крови и сукровицы. Солнце окрасило в кровь главный

купол Софии, а на площадь от него легла странная тень, так что стал в этой тени Богдан фиолетовым, а толпа мятущегося народа еще чернее, еще гуще, еще смятеннее. И было видно, как по лестнице поднимались на скалу серые, опоясанные лихими ремнями и штыками, пытались сбить надпись, глядящую с черного гранита. Но бесполезно скользили и срывались с гранита штыки. Скачущий же Богдан яростно рвал коня со скалы, пытаясь улететь от тех, кто навис тяжестью на копытах. Лицо его, обращенное прямо в красный шар, было яростно, и попрежнему булавой он указывал в дали.

И в это время над гудящей растекающейся толпой напротив Богдана, на замерзшую, скользкую чашу фонтана, подняли руки человека. Он был в темном пальто с меховым воротником, а шапку, несмотря на мороз, снял и держал в руках. Площадь по-прежнему гудела и кишела, как муравейник, но колокольня на Софии уже смолкла, и музыка уходила в разные стороны по морозным улицам. У подножия фонтана сбилась огромная толпа.

— Петька, Петька. Кого это подняли?..

— Кажись, Петлюра.

— Петлюра речь говорит...

— Що вы брешете... Це простый оратор...

— Маруся, оратор. Гляди... Гляди...

— Декларацию объявляют...

— Ни, це Универсал будут читать.

— Хай живе вильна Украина!

Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысячной гущи голов куда-то, где, все явственнее вылезая, солнечный диск золотил густым красным золотом кресты, взмахнул рукой и слабо выкрикнул:

— Народу слава!

— Петлюра... Петлюра.

— Да який Петлюра. Що вы, сказились?

— Чего на фонтан Петлюра полезет?

— Петлюра в Харькове.

— Петлюра только что проследовал во дворец на банкет...

— Не брешить, нияких банкетов не буде.

— Слава народу! — повторял человек, и тотчас прядь светлых волос прыгнула, соскочила ему на лоб.

— Тише!

Голос светлого человека окреп и был слышен ясно сквозь рокот и хруст ног, сквозь гуденье и прибой, сквозь отдаленные барабаны.

— Видели Петлюру?

— Как же, Господи, только что.

— Ах, счастливица. Какой он? Какой?

— Усы черные кверху, как у Вильгельма, и в шлеме. Да вот он, вон он, смотрите, Марья Федоровна, глядите, глядите — едет...

— Що вы провокацию робите! Це начальник Городской пожарной команды.

— Сударыня, Петлюра в Бельгии.

— Зачем же в Бельгию он поехал?

— Улаживать союз с союзниками...

— Та ни. Вин сейчас с экскортом поехал в Думу.

— Чого?..

— Присяга...

— Он будет присягать?

— Зачем он? Ему будут присягать.

— Ну, я скорей умру (шепот), а не присягиу...

— Та вам и не надо... Женщин не тронут.

— Жидов тронут, это верно...

— И офицеров. Всем им кишки повыпустят.

— И помещиков. Долой!!

— Тише.

Светлый человек с какой-то страшной тоской и в то же время решимостью в глазах указал на солнце.

— Вы чулы, громадяне, браты и товарищи, — заговорил он, — як козаки пели: «Бо старшины з нами, з нами, як з братами». З нами. З нами воны! — человек ударил себя шапкой в грудь, на которой алел громадной волной бант, — з нами. Бо тии старшины з народу, з ним родились, з ним и умрут. З нами воны мерзли в снегу при облоге Города и вот доблестно узяли его, и прапор червонный уже висит над теми громадами...

— Ура!

— Який червонный? Що вин каже? Жовто-блакитный.

— У большаков тэж червонный.

— Тише! Слава!

— А вин погано размовляе на украинской мови...

— Товарищи! Перед вами теперь новая задача — поднять и укрепить новую незалежну Республику, для счастия усих трудящих элементов — рабочих и хлеборобов, бо тильки воны, полившие своею свежею кровью и потом нашу ридну землю, мають право владеть ею!

— Верно! Слава!

— Ты слышишь, «товарищами» называет? Чудеса-а...

— Ти-ше.

— Поэтому, дорогие граждане, присягнем тут в радостный час народной победы, — глаза оратора начали светиться, он все возбужденнее простирал руки к густому небу, и все меньше в его речи становилось украинских слов, — и дадим клятву, що мы не зложим оружие, доки червонный прапор — символ свободы — не будет развеваться над всем миром трудящихся.

— Ура! Ура! Ура!.. Интер...

— Васька, заткнись. Что ты, сдурел?

— Щур, что вы, тише!

— Ей-богу, Михаил Семенович, не могу выдержать — вставай... прокл...

Черные онегинские баки скрылись в густом бобровом воротнике, и только видно было, как тревожно сверкнули в сторону восторженного самокатчика, сдавленного в толпе, глаза, до странности похожие на глаза покойного прапорщика Шполянского, погибшего в ночь на четырнадцатое декабря. Рука в желтой перчатке протянулась и сдавила руку Щура...

— Ладно. Ладно, не буду, — бормотал Щур, въедаясь глазами в светлого человека.

А тот, уже овладев собой и массой в ближайших рядах, вскрикивал:

— Хай живут Советы рабочих, селянских и казачьих депутатов. Да здравствует...

Солнце вдруг угасло, и на Софии и куполах легла тень; лицо Богдана вырезалось четко, лицо человека тоже. Видно было, как прыгал светлый кок над его лбом...

— Га-а. Га-а-а, — зашумела толпа...

— ...Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Пролетарии всех стран, соединяйтесь...

— Как? Как? Что?! Слава!!

В задних рядах несколько мужских и один голос тонкий и звонкий запели «Як умру, то...».

— Ур-ра! — победно закричали в другом месте. Вдруг вспыхнул водоворот в третьем.

— Тримай його! Тримай! — закричал мужской надтреснутый и злобный и плаксивый голос. — Тримай! Це провокация. Большевик! Москаль! Тримай! Вы слухали, що вин казав...

Всплеснули чьи-то руки в воздухе. Оратор кинулся набок, затем исчезли его ноги, живот, потом исчезла и голова, покрываясь шапкой.

— Тримай! — кричал в ответ первому второй тонкий тенор. — Це фальшивый оратор. Бери его, хлопцы, берить, громадяне.

— Га, га, га. Стой! Кто? Кого поймали? Кого? Та никого!!!

Обладатель тонкого голоса рванулся вперед к фонтану, делая такие движения руками, как будто ловил скользкую большую рыбу. Но бестолковый Щур в дубленом полушубке и треухе завертелся перед ним с воплем: «Тримай!» — и вдруг гаркнул:

— Стой, братцы, часы срезали!

Какой-то женщине отдавили ногу, и она взвыла страшным голосом.

— Кого часы? Где? Врешь — не уйдешь!

Кто-то сзади обладателя тонкого голоса ухватил за пояс и придержал, в ту минуту большая, холодная ладонь разом и его нос и губы залепила тяжелой оплеухой фунта в полторы весом.

— Уп! — крикнул тонкий голос и стал бледный как смерть, и почувствовал, что голова его голая, что на ней нет шапки. В ту же секунду его адски резнула вторая оплеуха, и кто-то взвыл в небесах:

— Вот он, ворюга, марвихер, сукин сын. Бей его!!

— Що вы?! — взвыл тонкий голос. — Що вы меня бьете?! Це не я! Не я! Це большевика держать треба! О-о! — завопил он...

— Ой, Боже мой, Боже мой, Маруся, бежим скорей, что же это делается?

В толпе, близ самого фонтана, завертелся и взбесился винт, и кого-то били, и кто-то выл, и народ раскидывало,

и, главное, оратор пропал. Так пропал чудесно, колдовски, что словно сквозь землю провалился. Кого-то вынесло из винта, а впрочем, ничего подобного, оратор фальшивый был в черной шапке, а этот выскочил в папахе. И через три минуты винт улегся сам собой, как будто его и не было, потому что нового оратора уже поднимали на край фонтана, и со всех сторон слушать его лезла, наслаиваясь на центральное ядро, толпа мало-мало не в две тысячи человек.

В белом переулке у палисадника, откуда любопытный народ уже схлынул вслед за расходящимся войском, смешливый Щур не вытерпел и с размаху сел прямо на тротуар.

— Ой, не могу, — загремел он, хватаясь за живот. Смех полетел из него каскадами, причем рот сверкал белыми зубами, — сдохну со смеху, как собака. Как же они его били, Господи Иисусе!

— Не очень-то рассаживайтесь, Щур, — сказал спутник его, неизвестный в бобровом воротнике, как две капли воды похожий на знаменитого покойного прапорщика и председателя «Магнитного Триолета» Шполянского.

— Сейчас, сейчас, — затормошился Щур, приподнимаясь.

— Дайте, Михаил Семенович, папироску, — сказал второй спутник Щура, высокий человек в черном пальто. Он заломил папаху на затылок, и прядь волос светлая налезла ему на брови. Он тяжело дышал и отдувался, словно ему было жарко на морозе.

— Что? Натерпелись? — ласково спросил неизвестный, отогнул полу пальто и, вытащив маленький золотой портсигар, предложил светлому безмундштучную немецкую папироску; тот закурил, поставив щитком руки, от огонька на спичке и, только выдохнув дым, молвил:

— Ух! Ух!

Затем все трое быстро двинулись, свернули за угол и исчезли.

В переулочек с площади быстро вышли две студенческие фигуры. Один маленький, укладистый, аккуратный, в блестящих резиновых галошах. Другой высокий, широкоплечий, ноги длинные циркулем и шагу чуть не в сажень.

У обоих воротники надвинуты до краев фуражек, а у высокого даже и бритый рот прикрыт кашне; немудре-

но — мороз. Обе фигуры словно по команде повернули головы, глянули на труп капитана Плешко и другой, лежащий ничком, уткнувши в стороны разметанные колени, и, ни звука не издав, прошли мимо.

Потом, когда из Рыльского студенты повернули к Житомирской улице, высокий повернулся к низкому и молвил хрипловатым тенором:

— Видал-миндал? Видал, я тебя спрашиваю?

Маленький ничего не ответил, но дернулся так и так промычал, точно у него внезапно заболел зуб.

— Сколько жив буду, не забуду, — продолжал высокий, идя размашистым шагом, — буду помнить.

Маленький молча шел за ним.

— Спасибо, выучили. Ну, если когда-нибудь встретится мне эта самая каналья... гетман... — из-под кашне послышалось сипение, — я его, — высокий выпустил страшное трехэтажное ругательство и не кончил. Вышли на Большую Житомирскую улицу, и двум преградила путь процессия, направляющаяся к Старо-Городскому участку с каланчой. Путь ей с площади был, в сущности говоря, прям и прост, но Владимирскую еще запирала не успевшая уйти с парада кавалерия, и процессия дала крюк, как и все.

Открывалась она стаей мальчишек. Они бежали и прыгали задом и свистали пронзительно. Затем шел по истоптанной мостовой человек с блуждающими в ужасе и тоске глазами в расстегнутой и порванной бекеше и без шапки. Лицо у него было окровавлено, и из глаз текли слезы. Расстегнутый открывал широкий рот и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, мешая русские и украинские слова:

— Вы не маете права! Я известный украинский поэт. Моя фамилия Горболаз. Я написал антологию украинской поэзии. Я жаловаться буду председателю Рады и министру. Це неописуемо!

— Бей его, стерву, карманщика, — кричали с тротуаров.

— Я, — отчаянно надрываясь и поворачиваясь во все стороны, кричал окровавленный, — зробив попытку задержать большевика-провокатора...

— Что, что, что, — гремело на тротуарах.

— Кого это?!

— Покушение на Петлюру.

— Ну?!

— Стрелял, сукин сын, в нашего батько.

— Так вин же украинец.

— Сволочь он, не украинец, — бубнил чей-то бас, — кошельки срезал.

— Ф-юх, — презрительно свистали мальчишки.

— Что такое? По какому праву?

— Большевика-провокатора поймали. Убить его, падаль, на месте.

Сзади окровавленного ползла взволнованная толпа, мелькал на папахе золотогалунный хвост и концы двух винтовок. Некто, туго перепоясанный цветным поясом, шел рядом с окровавленным развалистой походкой и изредка, когда тот особенно громко кричал, механически ударял его кулаком по шее; тогда злополучный арестованный, хотевший схватить неуловимое, умолкал и начинал бурно, но беззвучно рыдать.

Двое студентов пропустили процессию. Когда она отошла, высокий подхватил под руку низенького и зашептал злорадным голосом:

— Так его, так его. От сердца отлегло. Ну, одно тебе скажу, Карась, молодцы большевики. Клянусь честью — молодцы. Вот работа, так работа! Видал, как ловко орателя сплавили? И смелы. За что люблю — за смелость, мать их за ногу.

Маленький сказал тихо:

— Если теперь не выпить, повеситься можно.

— Это мысль. Мысль, — оживленно подтвердил высокий. — У тебя сколько?

— Двести.

— У меня полтораста. Зайдем к Тамарке, возьмем полторы...

— Заперто.

— Откроет.

Двое повернули на Владимирскую, дошли до двухэтажного домика с вывеской:

«Бакалейная торговля», а рядом «Погреб — замок Тамары». Нырнув по ступеням вниз, двое стали осторожно постукивать в стеклянную, двойную дверь.

17

Заветной цели, о которой Николка думал все эти три дня, когда события падали в семью, как камни, цели, связанной с загадочными последними словами распростертого на снегу, цели этой Николка достиг. Но для этого ему пришлось весь день перед парадом бегать по городу и посетить не менее девяти адресов. И много раз в этой беготне Николка терял присутствие духа, и падал и опять поднимался, и все-таки добился.

На самой окраине, в Литовской улице, в маленьком домишке он разыскал одного из второго отделения дружины и от него узнал адрес, имя и отчество Ная.

Николка боролся часа два с бурными народными волнами, пытаясь пересечь Софийскую площадь. Но площадь нельзя было пересечь, ну просто немыслимо! Тогда около получаса потерял иззябший Николка, чтобы выбраться из тесных клещей и вернуться к исходной точке — к Михайловскому монастырю. От него по Костельной пытался Николка, дав большого крюку, пробраться на Крещатик вниз, а оттуда окольными, нижними путями на Мало-Провальную. И это оказалось невозможным! По Костельной вверх, густейшей змеей, шло, так же как и всюду, войско на парад. Тогда еще больший и выпуклый крюк дал Николка и в полном одиночестве оказался на Владимирской горке. По террасам и аллеям бежал Николка, среди стен белого снега, пробираясь вперед. Попадал и на площадки, где снегу было уже не так много. С террас был виден в море снега залегший напротив на горах Царский сад, а далее, влево, бесконечные черниговские пространства в полном зимнем покое за рекой Днепром — белым и важным в зимних берегах.

Был мир и полный покой, но Николке было не до покоя. Борясь со снегом, он одолевал и одолевал террасы одну за другой и только изредка удивлялся тому, что снег кое-где уже топтан, есть следы, значит, кто-то бродит по Горке и зимой.

По аллее спустился наконец Николка, облегченно вздохнул, увидел, что войска на Крещатике нет, и устремился к заветному, искомому месту. «Мало-Провальная, 21». Таков был Николкой добытый адрес, и этот незаписанный адрес крепко врезан в Николкином мозгу.

Николка волновался и робел... «Кого же и как спросить получше? Ничего не известно...» Позвонил у двери флигеля, приютившегося в первом ярусе сада. Долго не откликались, но наконец зашлепали шаги, и дверь приоткрылась немного под цепочкой. Выглянуло женское лицо в пенсне и сурово спросило из тьмы передней:

— Вам что надо?

— Позвольте узнать... Здесь живут Най-Турс?

Женское лицо стало совсем неприветливым и хмурым, стекла блеснули.

— Никаких Турс тут нету, — сказала женщина низким голосом.

Николка покраснел, смутился и опечалился...

— Это квартира пять...

— Ну да, — неохотно и подозрительно ответила женщина, — да вы скажите, вам что.

— Мне сообщили, что Турс здесь живут...

Лицо выглянуло больше и пытливо шмыгнуло по садику глазом, стараясь узнать, есть ли еще кто-нибудь за Николкой... Николка разглядел тут полный, двойной подбородок дамы.

— Да вам что?.. Вы скажите мне.

Николка вздохнул и, оглянувшись, сказал:

— Я насчет Феликс Феликсовича... у меня сведения.

Лицо резко изменилось. Женщина моргнула и спросила:

— Вы кто?

— Студент.

— Подождите здесь, — захлопнулась дверь, и шаги стихли.

Через полминуты за дверью застучали каблуки, дверь открылась совсем и впустила Николку. Свет проникал в переднюю из гостиной, и Николка разглядел край пушистого мягкого кресла, а потом даму в пенсне. Николка снял фуражку, и тотчас перед ним очутилась сухонькая другая невысокая дама, со следами увядшей красоты на лице. По каким-то незначительным и неопределенным чертам, не то на висках, не то по цвету волос, Николка сообразил, что это мать Ная, и ужаснулся — как же он сообщит... Дама на него устремила упрямый, блестящий

взор, и Николка, пуще потерялся. Сбоку еще очутился кто-то, кажется, молодая и тоже очень похожая.

— Ну, говорите же, ну... — упрямо сказала мать...

Николка смял фуражку, взвел на даму глазами и вымолвил:

— Я... я...

Сухонькая дама — мать метнула в Николку взор черный и, как показалось ему, ненавистный и вдруг крикнула звонко, так, что отозвалось сзади Николки в стекле двери:

— Феликс убит!

Она сжала кулаки, взмахнула ими перед лицом Николки и закричала:

— Убили... Ирина, слышишь? Феликса убили!

У Николки в глазах помутилось от страха, и он отчаянно подумал: «Я ж ничего не сказал... Боже мой!» Толстая в пенсне мгновенно захлопнула за Николкой дверь. Потом быстро, быстро подбежала к сухонькой даме, охватила ее плечи и торопливо зашептала:

— Ну, Марья Францевна, ну, голубчик, успокойтесь... — Нагнулась к Николке, спросила: — Да, может быть, это не так?.. Господи... Вы же скажите... Неужели?..

Николка ничего на это не мог сказать... Он только отчаянно глянул вперед и опять увидал край кресла.

— Тише, Марья Францевна, тише, голубчик... Ради Бога... Услышат... Воля Божья... — лепетала толстая.

Мать Най-Турса валилась навзничь и кричала:

— Четыре года! Четыре года! Я жду, все жду... Жду! — Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к матери и подхватила ее. Николке нужно было бы помочь, но он неожиданно бурно и неудержимо зарыдал и не мог остановиться.

Окна завешены шторами, в гостиной полумрак и полное молчание, в котором отвратительно пахнет лекарством...

Молчание нарушила наконец молодая — эта самая сестра. Она повернулась от окна и подошла к Николке. Николка поднялся с кресла, все еще держа в руках фуражку, с которой не мог разделаться в этих ужасных обстоятельствах. Сестра поправила машинально завиток черных волос, дернула ртом и спросила:

— Как же он умер?

— Он умер, — ответил Николка самым своим лучшим голосом, — он умер, знаете ли, как герой... Настоящий герой... Всех юнкеров вовремя прогнал, в самый последний момент, а сам, — Николка, рассказывая, плакал, — а сам их прикрыл огнем. И меня чуть-чуть не убили вместе с ним. Мы попали под пулеметный огонь, — Николка и плакал и рассказывал в одно время, — мы... только двое остались, и он меня гнал и ругал и стрелял из пулемета... Со всех сторон наехала конница, потому что нас посадили в западню. Положительно, со всех сторон.

— А вдруг его только ранили?

— Нет, — твердо ответил Николка и грязным платком стал вытирать глаза, и нос, и рот, — нет, его убили. Я сам его ощупывал. В голову попала пуля и в грудь.

Еще больше потемнело, из соседней комнаты не доносилось ни звука, потому что Марья Францевна умолкла, а в гостиной, тесно сойдясь, шептались трое: сестра Ная — Ирина, та толстая в пенсне — хозяйка квартиры Лидия Павловна, как узнал Николка, и сам Николка.

— У меня с собой денег нет, — шептал Николка, — если нужно, я сейчас сбегаю за деньгами, и тогда поедем.

— Я денег дам сейчас, — гудела Лидия Павловна, — деньги-то это пустяки, только вы, ради Бога, добейтесь там. Ирина, ей ни слова не говори, где и что... Я прямо и не знаю, что и делать...

— Я с ним поеду, — шептала Ирина, — и мы добьемся. Вы скажете, что он лежит в казармах и что нужно разрешение, чтобы его видеть.

— Ну, ну... Это хорошо... хорошо...

Толстая тотчас засеменила в соседнюю комнату, и оттуда послышался ее голос, шепчущий, убеждающий:

— Мария Францевна, ну, лежите, ради Христа... Они сейчас поедут и все узнают. Этот юнкер сообщил, что он в казармах лежит.

— На нарах?.. — спросил звонкий и, как показалось опять Николке, ненавистный голос.

— Что вы, Марья Францевна, в часовне он, в часовне...

— Может, лежит на перекрестке, собаки его грызут.

— Ах, Марья Францевна, ну, что вы говорите... Лежите спокойно, умоляю вас...

— Мама стала совсем ненормальной за эти три дня... — зашептала сестра Ная и опять отбросила непокорную прядь волос и посмотрела далеко куда-то за Николку, — а впрочем, теперь все вздор.

— Я поеду с ними, — раздалось из соседней комнаты...

Сестра моментально встрепенулась и побежала.

— Мама, мама, ты не поедешь. Ты не поедешь. Юнкер отказывается хлопотать, если ты поедешь. Его могут арестовать. Лежи, лежи, я тебя прошу...

— Ну, Ирина, Ирина, Ирина, Ирина, — раздалось из соседней комнаты, — убили, убили его, а ты что ж? Что же?.. Ты, Ирина... Что я буду делать теперь, когда Феликса убили? Убили... И лежит на снегу... Думаешь ли ты... — Опять началось рыдание, и заскрипела кровать, и послышался голос хозяйки:

— Ну, Марья Францевна, ну, бедная, ну, терпите, терпите...

— Ах, Господи, Господи, — сказала молодая и быстро пробежала через гостиную. Николка, чувствуя ужас и отчаяние, подумал в смятении: «А как не найдем, что тогда?»

У самых ужасных дверей, где, несмотря на мороз, чувствовался уже страшный тяжелый запах, Николка остановился и сказал:

— Вы, может быть, посидите здесь... А... А то там такой запах, что, может быть, вам плохо будет.

Ирина посмотрела на зеленую дверь, потом на Николку и ответила:

— Нет, я с вами пойду.

Николка потянул за ручку тяжелую дверь, и они вошли. Вначале было темно. Потом замелькали бесконечные ряды вешалок пустых. Вверху висела тусклая лампа.

Николка тревожно обернулся на свою спутницу, но та — ничего — шла рядом с ним, и только лицо ее было бледно, а брови она нахмурила. Так нахмурила, что напомнила Николке Най-Турса, впрочем, сходство мимолетное — у Ная было железное лицо, простое и му-

жественное, а эта — красавица, и не такая, как русская, а, пожалуй, иностранка. Изумительная, замечательная девушка.

Этот запах, которого так боялся Николка, был всюду. Пахли полы, пахли стены, деревянные вешалки. Ужасен этот запах был до того, что его можно было даже видеть. Казалось, что стены жирные и липкие, а вешалки лоснящиеся, что полы жирные, а воздух густой и сытный, падалью пахнет. К самому запаху, впрочем, привыкнешь очень быстро, но уже лучше не присматриваться и не думать. Самое главное — не думать, а то сейчас узнаешь, что значит тошнота. Мелькнул студент в пальто н исчез. За вешалками слева открылась со скрипом дверь, и оттуда вышел человек в сапогах. Николка посмотрел на него и быстро отвел глаза, чтобы не видеть его пиджака. Пиджак лоснился, как вешалка, и руки человека лоснились.

— Вам что? — спросил человек строго...

— Мы пришли, — заговорил Николка, — по делу, нам бы заведующего... Нам нужно найти убитого. Здесь он, вероятно?

— Какого убитого? — спросил человек и поглядел исподлобья...

— Тут вот на улице, три дня, как его убили...

— Ага, стало быть, юнкер или офицер... И гайдамаки попадали. Он — кто?

Николка побоялся сказать, что Най-Турс именно офицер, и сказал так:

— Ну да, и его тоже убили...

— Он офицер, мобилизованный гетманом, — сказала Ирина, — Най-Турс, — и пододвинулась к человеку.

Тому было, по-видимому, все равно, кто такой Най-Турс, он боком глянул на Ирину и ответил, кашляя и плюя на пол:

— Я не знаю, як тут быть. Занятия уже кончены, и никого в залах нема. Другие сторожа ушли. Трудно искать. Очень трудно. Бо трупы перенесли в нижние кладовки. Трудно, дуже трудно...

Ирина Най расстегнула сумочку, вынула денежную бумажку и протянула сторожу. Николка отвернулся, боясь, что честный человек сторож будет протестовать против этого. Но сторож не протестовал...

— Спасибо, барышня, — сказал он и оживился, — найти можно. Только разрешение нужно. Если профессор дозволит, можно забрать труп.

— А где же профессор?.. — спросил Николка.

— Они здесь, только они заняты... Я не знаю... доложить?..

— Пожалуйста, пожалуйста, доложите ему сейчас же, — попросил Николка, — я его сейчас же узнаю, убитого...

— Доложить можно, — сказал сторож и повел их. Они поднялись по ступенькам в коридор, где запах стал еще страшнее. Потом по коридору, потом влево, и запах ослабел, и посветлело, потому что коридор был под стеклянной крышей. Здесь и справа и слева двери были белы. У одной из них сторож остановился, постучал, потом снял шапку и вошел. В коридоре было тихо, и через крышу сеялся свет. В углу вдали начинало смеркаться. Сторож вышел и сказал:

— Зайдите сюда.

Николка вошел туда, за ним Ирина Най... Николка снял фуражку и разглядел первым долгом черные пятна лоснящихся штор в огромной комнате и пучок страшного острого света, падавшего на стол, а в пучке черную бороду и изможденное лицо в морщинах и горбатый нос. Потом, подавленный, оглянулся по стенам. В полутьме поблескивали бесконечные шкафы, и в них мерещились какие-то уроды, темные и желтые, как страшные китайские фигуры. Еще вдали увидал высокого человека в жреческом кожаном фартуке и черных перчатках. Тот склонился над длинным столом, на котором стояли, как пушки, светлея зеркалами и золотом в свете спущенной лампочки, под зеленым тюльпаном, микроскопы.

— Что вам? — спросил профессор.

Николка по изможденному лицу и этой бороде узнал, что он именно профессор, а тот жрец меньше — какой-то помощник.

Николка кашлянул, все глядя на острый пучок, который выходил из лампы, странно изогнутой — блестящей, и на другие вещи — на желтые пальцы от табаку, на ужасный отвратительный предмет, лежащий перед профессором, — человеческую шею и подбородок, состоящие

из жил и ниток, утыканных, увешанных десятками блестящих крючков и ножниц...

— Вы родственники? — спросил профессор. У него был глухой голос, соответствующий изможденному лицу и этой бороде. Он поднял голову и прищурился на Ирину Най, на ее меховую шубку и ботики.

— Я его сестра, — сказала Най, стараясь не смотреть на то, что лежало перед профессором.

— Вот видите, Сергей Николаевич, как с этим трудно. Уже не первый случай... Да, может, он еще и не у нас. В чернорабочую ведь возили трупы?

— Возможно, — отозвался тот высокий и бросил какой-то инструмент в сторону...

— Федор! — крикнул профессор...

— Нет, вы туда... Туда вам нельзя... Я сам... — робко молвил Николка...

— Сомлеете, барышня, — подтвердил сторож. — Здесь, — добавил он, — можно подождать.

Николка отвел его в сторону, дал ему еще две бумажки и попросил его посадить барышню на чистый табурет. Сторож, пыхтя горящей махоркой, вынес табурет откуда-то, где стояли зеленая лампа и скелеты.

— Вы не медик, панычу? Медики, те привыкают сразу, — и, открыв большую дверь, щелкнул выключателем. Шар загорелся вверху под стеклянным потолком. Из комнаты шел тяжкий запах. Цинковые столы белели рядами. Они были пусты, и где-то со стуком падала вода в раковину. Под ногами гулко звенел каменный пол. Николка, страдая от запаха, оставшегося здесь, должно быть, навеки, шел, стараясь не думать. Они со сторожем вышли через противоположные двери в совсем темный коридор, где сторож зажег маленькую лампу, затем прошли немного дальше. Сторож отодвинул тяжелый засов, открыл чугунную дверь и опять щелкнул. Холодом обдало Николку. Громадные цилиндры стояли в углах черного помещения и доверху, так что выпирало из них, были полны кусками и обрезками человеческого мяса, лоскутами кожи, пальцами, кусками раздробленных костей. Николка отвернулся, глотая слюну, а сторож сказал ему:

— Понюхайте, панычу.

Николка закрыл глаза, жадно втянул в нос нестерпимую резь — запах нашатыря из склянки.

Как в полусне, Николка, сощурив глаз, видел вспыхнувший огонек в трубке Федора и слышал сладостный дух горящей махорки. Федор возился долго с замком у сетки лифта, открыл его, и они с Николкой стали на платформу. Федор дернул ручку, и платформа пошла вниз, скрипя. Снизу тянуло ледяным холодом. Платформа стала. Вошли в огромную кладовую. Николка мутно видел то, чего он никогда не видел. Как дрова в штабелях, одни на других, лежали голые, источающие несносный, душащий человека, несмотря на нашатырь, смрад, человеческие тела. Ноги, закоченевшие или расслабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и разметанными волосами, а груди их были мятыми, жеваными, в синяках.

— Ну, теперь будем ворочать их, а вы глядите, — сказал сторож, наклоняясь. Он ухватил за ногу труп женщины, и она, скользкая, со стуком сползла, как по маслу, на пол. Николке она показалась страшно красивой, как ведьма, и липкой. Глаза ее были раскрыты и глядели прямо на Федора. Николка с трудом отвел глаза от шрама, опоясывающего ее, как красной лентой, и глядел в стороны. Его мутило, и голова кружилась при мысли, что нужно будет разворачивать всю эту многослитную груду слипшихся тел.

— Не надо. Стойте, — слабо сказал он Федору и сунул склянку в карман, — вон он. Нашел. Он сверху. Вон, вон.

Федор тотчас двинулся, балансируя, чтобы не поскользнуться на полу, ухватил Най-Турса за голову и сильно дернул. На животе у Ная ничком лежала плоская, широкобедрая женщина, и в волосах у нее тускло, как обломок стекла, светился в затылке дешевенький забытый гребень. Федор ловко, попутно выдернул его, бросил в карман фартука и перехватил Ная под мышки. Голова того, вылезая со штабеля, размоталась, свисла, и острый, небритый подбородок задрался кверху, одна рука соскользнула.

Федор не швырнул Ная, как швырнул женщину, а бережно, под мышки, сгибая уже расслабленное тело, по-

вернул его так, что ноги Ная загребали по полу, к Николке лицом, и сказал:

— Вы смотрите — он? Чтобы не было ошибки...

Николка глянул Наю прямо в глаза, открытые, стеклянные глаза Ная отозвались бессмысленно. Левая щека у него была тронута чуть заметной зеленью, а по груди, животу расплылись и застыли темные широкие пятна, вероятно, крови.

— Он, — сказал Николка.

Федор так же под мышки вытащил Ная на платформу лифта и опустил его к ногам Николки. Мертвый раскинул руки и опять задрал подбородок. Федор взошел сам, тронул ручку, и платформа ушла вверх.

В ту же ночь в часовне все было сделано так, как Николка хотел, и совесть его была совершенно спокойна, но печальна и строга. При анатомическом театре в часовне, голой и мрачной, посветлело. Гроб какого-то неизвестного в углу закрыли крышкой, и тяжелый, неприятный и страшный чужой покойник сосед не смущал покоя Ная. Сам Най значительно стал радостнее и повеселел в гробу.

Най — обмытый сторожами, довольными и словоохотливыми, Най — чистый, во френче без погон, Най с венцом на лбу под тремя огнями, и, главное, Най с аршином пестрой георгиевской ленты, собственноручно Николкой уложенной под рубаху на холодную его вязкую грудь. Старуха мать от трех огней повернула к Николке трясущуюся голову и сказала ему:

— Сын мой. Ну, спасибо тебе.

И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом, над двором анатомического театра, была ночь, снег, и звезды крестами, и белый Млечный Путь.

18

Турбин стал умирать днем двадцать второго декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества. В особенности этот отблеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натертого совместными усилиями Анюты, Ни-

колки и Лариосика, бесшумно шаркавших накануне. Так же веяло Рождеством от переплетиков лампадок, начищенных Анютиными руками. И, наконец, пахло хвоей и зелень осветила угол у разноцветного Валентина, как бы навеки забытого над открытыми клавишами...

Я за сестру...

Елена вышла около полудня из двери турбинской комнаты не совсем твердыми шагами и молча прошла через столовую, где в совершенном молчании сидели Карась, Мышлаевский и Лариосик. Ни один из них не шевельнулся при ее проходе, боясь ее лица. Елена закрыла дверь к себе в комнату, а тяжелая портьера тотчас улеглась неподвижно.

Мышлаевский шевельнулся.

— Вот, — сиплым шепотом промолвил он, — все хорошо сделал командир, а Алешку-то неудачно пристроил...

Карась и Лариосик ничего к этому не добавили. Лариосик заморгал глазами, и лиловатые тени разлеглись у него на щеках.

— Э... черт, — добавил еще Мышлаевский, встал и, покачиваясь, подобрался к двери, потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Елены. — Слушайте, ребята, вы посматривайте... А то...

Он потоптался и вышел в книжную, там его шаги замерли. Через некоторое время донесся его голос и еще какие-то странные ноющие звуки из Николкиной комнаты.

— Плачет, Никол, — отчаянным голосом прошептал Лариосик, вздохнул, на цыпочках подошел к Елениной двери, наклонился к замочной скважине, но ничего не разглядел. Он беспомощно оглянулся на Карася, стал делать ему знаки, беззвучно спрашивать. Карась подошел к двери, помялся, но потом стукнул все-таки тихонько несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал:

— Елена Васильевна, а Елена Васильевна...

— Ах, не беспокойтесь вы, — донесся глуховато Еленин голос из-за двери, — не входите.

Карась отпрянул, и Лариосик тоже. Они оба вернулись на свои места — на стулья под печкой Саардама — и затихли.

Делать Турбиным и тем, кто с Турбиными был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Там и так стало тесно от трех мужчин. Это был тот золотоглазый медведь, другой, молодой, бритый и стройный, больше похожий на гвардейца, чем на врача, и, наконец, третий, седой профессор. Его искусство открыло ему и турбинской семье нерадостные вести, сразу, как только он появился шестнадцатого декабря. Он все понял и тогда же сказал, что у Турбина тиф. И сразу как-то сквозная рана у подмышки левой руки отошла на второй план. Он же час всего назад вышел с Еленой в гостиную и там, на ее упорный вопрос, вопрос не только с языка, но и из сухих глаз и потрескавшихся губ и развитых прядей, сказал, что надежды мало, и добавил, глядя в Еленины глаза глазами очень, очень опытного и всех поэтому жалеющего человека, — «очень мало». Всем хорошо известно и Елене тоже, что это означает, что надежды вовсе никакой нет и, значит, Турбин умирает. После этого Елена прошла в спальню к брату и долго стояла, глядя ему в лицо, и тут отлично и сама поняла, что, значит, нет надежды. Не обладая искусством седого и доброго старика, можно было знать, что умирает доктор Алексей Турбин.

Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадет. И лицо его уже начало пропускать какие-то странные восковые оттенки, и нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступившей. Еленины ноги похолодели, и стало ей туманно-тоскливо в гнойном камфарном, сытом воздухе спальни. Но это быстро прошло.

Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, и дышал он с присвистом, через оскаленные зубы притягивая липкую, не влезающую в грудь струю воздуха. Давно уже не было у него сознания, и он не видел и не понимал того, что происходит вокруг него. Елена постояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и шепнул:

— Вы идите, Елена Васильевна, мы сами все будем делать.

Елена повиновалась и сейчас же вышла. Но профессор ничего не стал больше делать.

Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и еще раз посмотрел в лицо Турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа.

— Безнадежен, — очень тихо сказал на ухо бритому профессор, — вы, доктор Бродович, оставайтесь возле него.

— Камфору? — спросил Бродович шепотом.

— Да, да, да.

— По шприцу?

— Нет, — глянул в окно, подумал, — сразу по три грамма. И чаще. — Он подумал, добавил: — Вы мне протелефонируйте в случае несчастного исхода, — такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозь завесу бреда и тумана не воспринял их, — в клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции.

Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них двадцать четвертого декабря в сумерки, а вечером дробящимися, теплыми огнями зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе. Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом Богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная набок, глядела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский беззвучный день, в углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер. Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевитого паркета и, молча, положила первый земной поклон.

В столовой прошел Мышлаевский, за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам:

— Помирает... — набрал воздуху.

— Вот что, — заговорил Мышлаевский, — не позвать ли священника? А, Никол?.. Что ж ему так-то, без покаяния...

— Лене нужно сказать, — испуганно ответил Николка, — как же без нее. И еще с ней что-нибудь сделается...

— А что доктор говорит? — спросил Карась.

— Да что тут говорить. Говорить более нечего, — просипел Мышлаевский.

Они долго тревожно шептались, и слышно было, как вздыхал бледный отуманенный Лариосик. Еще раз ходили к доктору Бродовичу. Тот выглянул в переднюю, закурил папиросу и прошептал, что это агония, что, конечно, священника можно позвать, что ему это безразлично, потому что больной все равно без сознания и ничему это не повредит.

— Глухую исповедь...

Шептались, шептались, но не решились пока звать, а к Елене стучали, она через дверь глухо ответила: «Уйдите пока... я выйду...»

И они ушли.

Елена с колен исподлобья смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шепотом:

— Слишком много горя сразу посылаешь, мать-заступница. Так в один год и кончаешь семью. За что?.. Мать взяла у нас, мужа у меня нет и не будет, это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и старшего отнимаешь. За что?.. Как мы будем вдвоем с Николом?.. Посмотри, что делается кругом, ты посмотри... Мать-заступница, неужто ж не сжалишься?.. Может быть, мы люди и плохие, но за что же так карать-то?

Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась и, вновь простирая руки, стала просить:

— На тебя одна надежда, Пречистая Дева. На тебя. Умоли сына своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо...

Шепот Елены стал страстным, она сбивалась в словах, но речь ее была непрерывна, шла потоком. Она все чаще и чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтоб сбить назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь. День исчез в квадратах окон, исчез и белый сокол, неслышным

прошел плещущий гавот в три часа дня, и совершенно неслышным пришел тот, к кому через заступничество смуглой Девы взывала Елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший, и благостный, и босой. Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнились светом, переполнились сухим бесслезным плачем. Она лбом и щекой прижалась к полу, потом, всей душой вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуя уже жесткого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное в венец, явно оживало, а глаза выманивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами, день темнел страшно быстро, и еще раз возникло видение — стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор.

— Мать-заступница, — бормотала в огне Елена, — упроси его. Вон он. Что же тебе стоит. Пожалей нас. Пожалей. Идут твои дни, твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает он, да и тебя умолю за грехи. Пусть Сергей не возвращается... Отымаешь, отымай, но этого смертью не карай... Все мы в крови повинны, но ты не карай. Не карай. Вон он, вон он...

Огонь стал дробиться, и один цепочный луч протянулся длинно, длинно к самым глазам Елены. Тут безумные ее глаза разглядели, что губы на лике, окаймленном золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце, она сникла к полу и больше не поднималась.

По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога, на цыпочках через столовую пробежал кто-то. Еще кто-то поцарапался в дверь, возник шепот: «Елена... Елена... Елена...» Елена, вытирая тылом ладони холодный скользкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед собой слепо, как дикарка, не глядя больше в сияющий угол, с совершенно стальным сердцем прошла к двери. Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой, и Никол предстал в обрамлении портьеры. Николкины глаза выпятились на Елену в ужасе, ему не хватало воздуху.

— Ты знаешь, Елена... ты не бойся... не бойся... иди туда... кажется...

Доктор Алексей Турбин, восковой, как ломаная, мятая в потных руках свеча, выбросив из-под одеяла костистые руки с нестрижеными ногтями, лежал, задрав кверху острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а высохшая скользкая грудь вздымалась в прорезах рубахи. Он свел голову книзу, уперся подбородком в грудину, расцепил пожелтевшие зубы, приоткрыл глаза. В них еще колыхалась рваная завеса тумана и бреда, но уже в клочьях черного глянул свет. Очень слабым голосом, сиплым и тонким, он сказал:

— Кризис, Бродович. Что... выживу?.. А-га.

Карась в трясущихся руках держал лампу, и она освещала вдавленную постель и комья простынь с серыми тенями в складках.

Бритый врач не совсем верной рукой сдавил в щипок остатки мяса, вкалывая в руку Турбину иглу маленького шприца. Мелкие капельки выступили у врача на лбу. Он был взволнован и потрясен.

19

Пэтурра. Было его жития в Городе сорок семь дней. Пролетел над Турбиными закованный в лед и снегом запорошенный январь 1919 года, подлетал февраль и завертелся в метели.

Второго февраля по турбинской квартире прошла черная фигура, с обритой головой, прикрытой черной шелковой шапочкой. Это был сам воскресший Турбин. Он резко изменился. На лице, у углов рта, по-видимому, навсегда, присохли две складки, цвет кожи восковой, глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и мрачными.

В гостиной Турбин, как сорок семь дней тому назад, прижался к стеклу и слушал, и, как тогда, когда в окнах виднелись теплые огонечки, снег, опера, мягко слышны были дальние пушечные удары. Сурово сморщившись, Турбин всею тяжестью тела налег на палку и глядел на улицу. Он видел, что дни колдовски удлинились, свету было больше, несмотря на то, что за стеклом валилась, рассыпаясь миллионами хлопьев, вьюга.

Мысли текли под шелковой шапочкой, суровые, ясные, безрадостные. Голова казалась легкой, опустевшей, как бы чужой на плечах коробкой, и мысли эти приходили как будто извне и в том порядке, как им самим было желательно. Турбин рад был одиночеству у окна и глядел...

«Пэтурра... Сегодня ночью, не позже, свершится, не будет больше Пэтурры... А был ли он?.. Или это мне все снилось? Неизвестно, проверить нельзя. Лариосик очень симпатичный. Он не мешает в семье, нет, скорее нужен. Надо его поблагодарить за уход... А Шервинский? А, черт его знает... Вот наказание с бабами. Обязательно Елена с ним свяжется, всенепременно... А что хорошего? Разве что голос? Голос превосходный, но ведь голос, в конце концов, можно и так слушать, не вступая в брак, не правда ли... Впрочем, не важно. А что важно? Да, тот же Шервинский говорил, что они с красными звездами на папахах... Вероятно, жуть будет в Городе? О да... Итак, сегодня ночью... Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам... Тем не менее я пойду, пойду днем... И отнесу... Брынь. Тримай! Я убийца. Нет, я застрелил в бою. Или подстрелил... С кем она живет? Где ее муж? Брынь. Малышев. Где он теперь? Провалился сквозь землю. А Максим... Александр Первый?»

Текли мысли, но их прервал звоночек. В квартире никого не было, кроме Анюты, все ушли в Город, торопясь кончить всякие дела засветло.

— Если это пациент, прими, Анюта.

— Хорошо, Алексей Васильевич.

Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице, в передней снял пальто с козьим мехом и прошел в гостиную.

— Пожалуйте, — сказал Турбин.

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточены. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет.

— Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

— У меня сифилис, — хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина и прямо и мрачно.

— Лечились уже?

— Лечился, но плохо и не аккуратно. Лечение мало помогало.

— Кто направил вас ко мне?

— Настоятель церкви Николая Доброго, отец Александр.

— Как?

— Отец Александр.

— Вы что же, знакомы с ним?..

— Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение, — объяснил посетитель, глядя в небо. — Мне не следовало лечиться... Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне Богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему.

Турбин внимательнейшим образом вгляделся в зрачки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.

— Вот что, — сказал Турбин, отбрасывая молоток, — вы человек, по-видимому, религиозный.

— Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь ему. Единственному прибежищу и утешителю.

— Это, конечно, очень хорошо, — отозвался Турбин, не спуская глаз с его глаз, — и я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую: на время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею фикс. А в вашем состоянии это вредно. Вам нужны воздух, движение и сон.

— По ночам я молюсь...

— Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой.

Больной покорно опустил глаза.

Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру.

— Кокаин нюхали?

— В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет.

«Черт его знает... а вдруг жулик... притворяется; надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».

Турбин нарисовал ручкой молотка на груди больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный.

— Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание.

— Хорошо, доктор.

— Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщин тоже...

— Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей, — говорил больной, застегивая рубашку, — злой гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.

— Батюшка, нельзя так, — застонал Турбин, — ведь вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?

— Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками. Он уехал в царство антихриста в Москву, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра...

— Это вы большевиков аггелами? Согласен. Но все-таки так нельзя... Вы бром будете пить. По столовой ложке три раза в день.

— Он молод. Но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним.

— Троцкого?

— Да, это его имя, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Ава́ддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.

— Серьезно вам говорю, если вы не прекратите это, вы, смотрите... у вас мания развивается...

— Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?

— Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой». Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я за курс, как все. Если будете лечиться у меня, оставьте задаток.

— Очень хорошо.

Френч расстегнулся.

— У вас, может быть, денег мало, — пробурчал Турбин, глядя на потертые колени. — «Нет, он не жулик... иет... но свихнется».

— Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по-своему человечество.

— И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.

— Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там, — больной вдохновенно указал в беленький потолок. — А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.

— Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.

— Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя, — бормотал больной, напяливая козий мех в передней, — ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь.

«Где-то я уже слыхал это... Ах, ну конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу — прелесть».

— Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста...

— Вы не откажитесь принять это... Мне хочется, чтобы спасшая мне жизнь хоть что-нибудь на память обо мне... это браслет моей покойной матери.

— Не надо... Зачем это... Я не хочу, — ответила Рейсс и рукой защищалась от Турбина, но он настоял и застегнул на бледной кисти тяжкий, кованый и темный браслет. От этого рука еще больше похорошела и вся Рейсс показалась еще красивее... Даже в сумерках было видно, как розовеет ее лицо.

Турбин не выдержал, правой рукой обнял Рейсс за шею, притянул ее к себе и несколько раз поцеловал ее в щеку... При этом выронил из ослабевших рук палку, и она со стуком упала у ножки стола.

— Уходите... — шепнула Рейсс, — пора... Пора. Обозы идут на улице. Смотрите, чтоб вас не троиули.

— Вы мне милы, — прошептал Турбин. — Позвольте мне прийти к вам еще.

— Придите...

— Скажите мне, почему вы одни и чья это карточка на столе? Черный, с баками.

— Это мой двоюродный брат... — ответила Рейсс и потупила свои глаза.

— Как его фамилия?

— А вам зачем?

— Вы меня спасли... Я хочу знать.

— Спасла, и вы имеете право знать? Его зовут Шполянский.

— Он здесь?

— Нет, он уехал... В Москву. Какой вы любопытный.

Что-то дрогнуло в Турбине, и он долго смотрел на черные баки и черные глаза... Неприятная, сосущая мысль задержалась дольше других, пока он изучал лоб и губы председателя «Магнитного Триолета». Но оиа была неясна... Предтеча. Этот несчастный в козьем меху... Что беспокоит? Что сосет? Какое мне дело. Агтелы... Ах, все равно... Но лишь бы прийти еще сюда, в странный и тихий домик, где портрет в золотых эполетах.

— Идите. Пора.

— Никол? Ты?

Братья столкнулись нос к носу в нижнем ярусе таинственного сада у другого домика. Николка почему-то смутился, как будто его поймали с поличным.

— А я, Алеша, к Най-Турсам ходил, — пояснил он и вид имел такой, как будто его поймали на заборе во время кражи яблок.

— Что ж, дело доброе. У него мать осталась?

— И еще сестра, видишь ли, Алеша... Вообще.

Турбин покосился на Николку и более расспросам его не подвергал.

Полпути братья сделали молча. Потом Турбин прервал молчание.

— Видно, брат, швырнул нас Пэтурра с тобой на Мало-Провальную улицу. А? Ну, что ж, будем ходить. А что из этого выйдет — неизвестно. А?

Николка с величайшим интересом прислушался к этой загадочной фразе и спросил в свою очередь:

— А ты тоже кого-нибудь навещал, Алеша? В Мало-Провальной?

— Угу, — ответил Турбин, поднял воротник пальто, скрылся в нем и до самого дома не произнес более ни одного звука.

Обедали в этот важный исторический день у Турбиных все — и Мышлаевский с Карасем, и Шервинский. Это была первая трапеза с тех пор, как лег раненый Турбин. И все было по-прежнему, кроме одного — не стояли на столе мрачные, знойные розы, ибо давно уже не существовало разгромленной конфетницы «Маркизы», ушедшей в неизвестную даль, очевидно, туда, где покоится и мадам Анжу. Не было и погон ни на одном из сидевших за столом, и погоны уплыли куда-то и растворились в метели за окнами.

Открыв рты, Шервинского слушали все, даже Анюта пришла из кухни и прислонилась к дверям.

— Какие такие звезды? — мрачно расспрашивал Мышлаевский.

— Маленькие, как кокарды, пятиконечные, — рассказывал Шервинский, — на папахах. Тучей, говорят, идут... Словом, в полночь будут здесь...

— Почему такая точность: в полночь...

Но Шервинскому не удалось ответить — почему, так как после звонка в квартире появился Василиса.

Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли, — подумал Николка и мысленно пофилософствовал: — Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные».

Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. Хе, хе. Как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел за тем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик у двери, и вот оно. «Счел своим долгом. Честь имею кланяться». Василиса, подпрыгивая, попрощался.

Елена ушла с письмом в спальню...

«Письмо из-за границы? Да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уже знаешь, что там такое. И как оно пришло? Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в поезде едет. Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, найдет адресата. Вар... Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой, серенькой бумаги лежал в пучке света.

> ...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве — он уезжает в Париж, вместе с семьей Герц; говорят, что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил:

— От Тальберга?

Елена помолчала, ей было стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал все до конца, потом еще раз обращение прочитал:

Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли...

У него на лице заиграли различные краски. Так — общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные.

— С каким бы удовольствием... — процедил он сквозь зубы, — я б ему по морде съездил...

— Кому? — спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись слезы.

— Самому себе, — ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин, — за то, что поцеловался тогда с ним.

Елена моментально заплакала.

— Сделай ты мне такое одолжение, — продолжал Турбин, — убери ты к чертовой матери вот эту штуку, — он рукоятью ткнул в портрет на столе. Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по-бабьи заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадочка в золотой решетке.

«Вот помолилась... условие поставила... ну, что ж... не сердись... не сердись, Матерь Божия», — подумала суеверная Елена. Турбин испугался:

— Тише, ну тише... услышат они, что хорошего?

Но в гостиной не слыхали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш: «Двуглавый орел», и слышался смех.

20

Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней.

В ночь со второго на третье февраля у входа на Цепной мост через Днепр человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови волокли по

снегу два хлопца, а пан куренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сипло:

— Ух... а...

— А, жидовская морда! — исступленно кричал пан куренной. — К штабелям его, на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться. Я т-тебе покажу! Что ты робив за штабелем? Шпион!..

Но окровавленный не отвечал яростному пану куренному. Тогда пан куренной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей, блестящей трости. Пан куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней крякнуло, черный не ответил уже «ух»... Повернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной и унавоженной земли. Пальцы крючковато согнулись и загребли грязный снег. Потом в темной луже несколько раз дернулся лежащий в судороге и стих.

Над поверженным шипел электрический фонарь у входа на мост, вокруг поверженного метались встревоженные тени гайдамаков с хвостами на головах, а выше было черное небо с играющими звездами.

И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над Слободкой под Городом вдруг разорвалась в замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила.

Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

И тотчас синяя гайдамацкая дивизия тронулась с моста и побежала в Город, через Город и навеки вон.

Следом за синей дивизией волчьей побежкой прошел на померзших лошадях курень Козыря-Лешко, пропляса-ла какая-то кухня... потом исчезло все, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея в черном у входа на мост, да утоптанные хлопья сена, да конский навоз.

И только труп и свидетельствовал, что Пэтурра не миф, что он действительно был... Дзынь... Трень... гитара, турок... кованый на Бронной фонарь... девичьи косы, метущие снег, огнестрельные раны, звериный вой в ночи, мороз... Значит, было.

Ой, Гриць, до роботы...
В Гриця порваны чоботы...

А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь?

Нет. Никто.

Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю... выйдут пышные всходы... задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет.

Никто.

С вечера жарко натопили Саардамские изразцы, и до сих пор, до глубокой ночи, печи все еще держали тепло. Надписи были смыты с Саардамского Плотника, и осталась только одна:

...Лен... я взял билет на Анд...

Дом на Алексеевском спуске, дом, накрытый шапкой белого генерала, спал давно и спал тепло. Сонная дрема ходила за шторами, колыхалась в тенях.

За окнами расцветала все победоноснее студеная ночь и беззвучно плыла над землей. Играли звезды, сжимаясь и расширяясь, и особенно высоко в небе была звезда красная и пятиконечная — Марс.

В теплых комнатах поселились сны.

Турбин спал в своей спаленке, и сон висел над ним, как размытая картина. Плыл, качаясь, вестибюль, и император Александр I жег в печурке списки дивизиона... Юлия прошла и поманила и засмеялась, проскакали тени, кричали: «Тримай! Тримай!»

Беззвучно стреляли, и пытался бежать от них Турбин, но ноги прилипали к тротуару на Мало-Провальной, и погибал во сне Турбин. Проснулся со стоном, услышал

храп Мышлаевского из гостиной, тихий свист Карася и Лариосика из книжной. Вытер пот со лба, опомнился, слабо улыбнулся, потянулся к часам.

Было на часиках три.

— Наверно, ушли... Пэтурра... Больше не будет никогда.

И вновь уснул.

Ночь расцветала. Тянуло уже к утру, и погребенный под мохнатым снегом спал дом. Истерзанный Василиса почивал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом. Видел Василиса сон нелепый и круглый. Будто бы никакой революции не было, все была чепуха и вздор. Во сне сомнительное, зыбкое счастье наплывало на Василису. Будто бы лето, и вот Василиса купил огород. Моментально выросли на нем овощи. Грядки покрылись веселыми завитками, и зелеными шишами в них выглядывали огурцы. Василиса в парусиновых брюках стоял и глядел на милое, заходящее солнышко, почесывая живот...

Тут Василисе приснились взятые круглые, глобусом, часы. Василисе хотелось, чтобы ему стало жалко часов, но солнышко так приятно сияло, что жалости не получалось.

И вот в этот хороший миг какие-то розовые, круглые поросята влетели в огород и тотчас пятачковыми своими мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватил с земли палку и собирался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные — у них острые клыки. Они стали наскакивать на Василису, причем подпрыгивали на аршин от земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне. Черным боковым косяком накрыло поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная, сыроватая его спальня...

Ночь расцветала. Сонная дрема прошла над городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя сторонкой крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до станции Дарницы и задержалась над ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо, до колес, были зажаты площадки в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха

его вываливался огненный плат, разлегаясь на рельсах, и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскаленными углями. Он сипел тихонько и злобно, сочилось что-то в боковых стенках, тупое рыло его молчало и щурилось в приднепровские леса. С последней площадки в высь, черную и синюю, целилось широченное дуло в глухом намордннке верст на двенадцать и прямо в полночный крест.

Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму и светилась в ней осевшими от вечернего грохота глазками желтых огней. Суета на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком желтом бараке телеграфа три окна горели ярко, и слышался сквозь стекла непрекращающийся стук трех аппаратов. По платформе бегали взад и вперед, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колено, в шинелях и черных бушлатах. В стороне от бронепоезда и сзади, растянувшнсь, не спал, перекликался и гремел дверями теплушек эшелон.

А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона, ходил, как маятник, человек в длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял на руке, как уставшая мать ребенка, и рядом с ним ходила меж рельсами, под скупым фонарем, по снегу, острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал и зверски, не по-человечески озяб. Руки его, синие и холодные, тщетно рылнсь деревянными пальцами в рвани рукавов, ища убежища. Из окаймленной белой накипью и бахромой неровной пасти башлыка, открывавшей мохнатый, обмороженный рот, глядели глаза в снежных космах ресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные.

Человек ходил методически, свесив штык, и думал только об одном, когда же истечет, наконец, морозный час пытки и он уйдет с озверевшей земли вовнутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие эшелон, где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распластаться. Человек и тень ходили от огненного всплеска броневого брюха к темной стене первого боевого ящика, до того места, где чернела надпись:

Бронепоезд «Пролетарий».

Тень, то вырастая, то уродливо горбатясь, но неизменно остроголовая, рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две голубоватые луны, не грея и дразня, горели на платформе. Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его; стиснув зубы, потеряв надежду согреть пальцы ног, шевеля ими, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сияющую в небе впереди над Слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка, истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остановившись, мгновенно и прозрачно засыпал, и черная стена бронепоезда не уходила из этого сна, не уходили и некоторые звуки со станции. Но к ним присоединялись новые. Вырастал во сне небосвод невиданный. Весь красный, сверкающий и весь одетый Марсами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный, непонятный всадник в кольчуге и братски наплывал на человека. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд, и вместо него вырастала в снегах зарытая деревня — Малые Чугры. Он, человек, у околицы Чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк.

— Жилин? — говорил беззвучно, без губ, мозг человека, и тотчас грозный сторожевой голос в груди выстукивал три слова:

— Пост... часовой... замерзнешь...

Человек уже совершенно нечеловеческим усилием отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, отдирал ноги и шел опять.

Вперед — назад. Вперед — назад. Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная.

Металась и металась потревоженная дрема. Летела вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и упала над Подолом. На нем очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер дешевенькой гостиницы, комнате, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвым, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.

.....

и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

.....

и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет».

По мере того как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.

Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире, он дошел до слов: «...слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязно улыбались.

— Я демон, — сказал он, щелкнув каблуками, — а он не вернется, Тальберг, — и я пою вам...

Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клубов выходило ярко-кукольным. Он пел пронзительно, не так, как наяву:

— Жить, будем жить!!

— А смерть придет, помирать будем... — пропел Николка и вошел.

В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи:

— Николка. О, Николка?

И долго, всхлипывая, слушала бормотание ночи.

И ночь все плыла.

И, наконец, Петька Щеглов во флигеле видел сон.

Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни Демоном. И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.

Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. Вот весь сон Петьки. От удовольствия он расхохотался в ночи. И ему весело стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные, легкие и радостные сны, а сверчок все пел свою песню, где-то в щели, в белом углу за ведром, оживляя сонную, бормочущую ночь в семье.

Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в незримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с

грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла — слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.

Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?

1923 — 1924 гг.
г. Москва

ДНИ ТУРБИНЫХ

Пьеса в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Турбин Алексей Васильевич — полковник-артиллерист, 30 лет.
Турбин Николай — его брат, 18 лет.
Тальберг Елена Васильевна — их сестра, 24-х лет.
Тальберг Владимир Робертович — генштаба полковник, ее муж, 38 лет.
Мышлаевский Виктор Викторович — штабс-капитан, артиллерист, 38 лет.
Шервинский Леонид Юрьевич — поручик, личный адъютант гетмана.
Студзинский Александр Брониславович — капитан, 29 лет.
Лариосик — житомирский кузен, 21 года.
Гетман всея Украины.
Болботун — командир 1-й конной петлюровской дивизии.
Галаньба — сотник-петлюровец, бывший уланский ротмистр.
Ураган.
Кирпатый.
Фон Шратт — германский генерал.
Фон Дуст — германский майор.
Врач германской армии.
Дезертир-сечевик.
Человек с корзиной.
Камер-лакей.
Максим — гимназический педель, 60 лет.
Гайдамак — телефонист.
Первый офицер.
Второй офицер.
Третий офицер.
Первый юнкер.
Второй юнкер.
Третий юнкер.
Юнкера и гайдамаки.

Первое, второе и третье действия происходят зимой 1918 года, четвертое действие — в начале 1919 года.
Место действия — город Киев.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Квартира Турбиных. Вечер. В камине огонь. При открытии занавеса часы бьют девять раз и нежно играют менуэт Боккерини. Алексей склонился над бумагами.

Николка *(играет на гитаре и поет)*.

Хуже слухи каждый час.
Петлюра идет на нас!
Пулеметы мы зарядили,
По Петлюре мы палили,
Пулеметчики-чики-чики...
Голубчики-чики...
Выручали вы нас, молодцы!

Алексей. Черт тебя знает, что ты поешь! Кухаркины песни. Пой что-нибудь порядочное.

Николка. Зачем кухаркины? Это я сам сочинил, Алеша. *(Поет.)*

Хошь ты пой, хошь не пой,
В тебе голос не такой!
Есть такие голоса...
Дыбом встанут волоса...

Алексей. Это как раз к твоему голосу и относится.

Николка. Алеша, это ты напрасно, ей-богу! У меня есть голос, правда не такой, как у Шервинского, но все-таки довольно приличный. Драматический, вернее всего — баритон. Леночка, а Леночка! Как, по-твоему, есть у меня голос?

Елена *(из своей комнаты)*. У кого? У тебя? Нету никакого.

Николка. Это она расстроилась, потому так и отвечает. А между прочим, Алеша, мне учитель пения говорил: «Вы бы, говорит, Николай Васильевич, в опере, в сущности, могли петь, если бы не революция».

Алексей. Дурак твой учитель пения.

Николка. Я так и знал. Полное расстройство нервов в турбинском доме. Учитель пения — дурак. У меня голоса нет, а вчера еще был, и вообще пессимизм. А я по

своей натуре более склонен к оптимизму. *(Трогает струны.)* Хотя ты знаешь, Алеша, я сам начинаю беспокоиться. Девять часов уже, а он сказал, что утром приедет. Уж не случилось ли чего-нибудь с ним?

Алексей. Ты потише говори. Понял?

Николка. Вот комиссия, создатель, быть замужней сестры братом.

Елена *(из своей комнаты)*. Который час в столовой?

Николка. Э... девять. Наши часы впереди, Леночка.

Елена *(из своей комнаты)*. Не сочиняй, пожалуйста.

Николка. Ишь, волнуется. *(Напевает.)* Туманно... Ах, как все туманно!..

Алексей. Не надрывай ты мне душу, пожалуйста. Пой веселую.

Николка *(поет)*.

Здравствуйте, дачницы!
Здравствуйте, дачники!
Съемки у нас уж давно начались...
Гей, песнь моя!.. Любимая!..
Буль-буль-буль, бутылочка
Казенного вина!!.
Бескозырки тонные,
Сапоги фасонные,
То юнкера-гвардейцы идут...

Электричество внезапно гаснет. За окнами с песней проходит воинская часть.

Алексей. Черт знает что такое! Каждую минуту тухнет. Леночка, дай, пожалуйста, свечи.

Елена *(из своей комнаты)*. Да!.. Да!..

Алексей. Какая-то часть прошла.

Елена, выходя со свечой, прислушивается. Далекий пушечный удар.

Николка. Как близко. Впечатление такое, будто бы под Святошином стреляют. Интересно, что там происходит? Алеша, может быть, ты пошлешь меня узнать, в чем дело в штабе? Я бы съездил.

Алексей. Конечно, тебя еще не хватает. Сиди, пожалуйста, смирно.

Николка. Слушаю, господин полковник... Я, собственно, потому, знаешь, бездействие... обидно несколько... Там люди дерутся... Хотя бы дивизион наш был скорее готов.

Алексей. Когда мне понадобятся твои советы в подготовке дивизиона, я тебе сам скажу. Понял?

Николка. Понял. Виноват, господин полковник.

Электричество вспыхивает.

Елена. Алеша, где же мой муж?

Алексей. Приедет, Леночка.

Елена. Но как же так? Сказал, что приедет утром, а сейчас девять часов, и его нет до сих пор. Уж не случилось ли с ним чего?

Алексей. Леночка, ну, конечно, этого не может быть. Ты же знаешь, что линию на запад охраняют немцы.

Елена. Но почему же его до сих пор нет?

Алексей. Ну, очевидно, стоят на каждой станции.

Николка. Революционная езда, Леночка. Час едешь, два стоишь.

Звонок.

Ну вот и он, я же говорил! *(Бежит открывать дверь.)* Кто там?

Голос Мышлаевского. Открой, ради Бога, скорей!

Николка *(впускает Мышлаевского в переднюю).* Да это ты, Витенька?

Мышлаевский. Ну я, конечно, чтоб меня раздавило! Никол, бери винтовку, пожалуйста. Вот, дьяволова мать!

Елена. Виктор, откуда ты?

Мышлаевский. Из-под Красного Трактира. Осторожно вешай, Никол. В кармане бутылка водки. Не разбей. Позволь, Лена, ночевать, не дойду домой, совершенно замерз.

Елена. Ах, Боже мой, конечно! Иди скорей к огню.

Идут к камину.

Мышлаевский. Ох... Ох... Ох...

Алексей. Что же они, валенки вам не могли дать, что ли?

Мышлаевский. Валенки! Это такие мерзавцы! *(Бросается к огню.)*

Елена. Вот что: там ванна сейчас топится, вы его раздевайте поскорее, а я ему белье приготовлю. *(Уходит.)*

Мышлаевский. Голубчик, сними, сними, сними...

Николка. Сейчас, сейчас. *(Снимает с Мышлаевского сапоги.)*

Мышлаевский. Легче, братик, ох, легче! Водки бы мне выпить, водочки.

Алексей. Сейчас дам.

Николка. Алеша, пальцы на ногах поморожены.

Мышлаевский. Пропали пальцы к чертовой матери, пропали, это ясно.

Алексей. Ну что ты! Отойдут. Николка, растирай ему ноги водкой.

Мышлаевский. Так я и позволил ноги водкой тереть. *(Пьет.)* Три рукой. Больно!.. Больно!.. Легче.

Николка. Ой-ой-ой! Как замерз капитан!

Елена *(появляется с халатом и туфлями)*. Сейчас же в ванну его. На!

Мышлаевский. Дай тебе Бог здоровья, Леночка. Дай-ка водки еще. *(Пьет.)*

Елена уходит.

Николка. Что, согрелся, капитан?

Мышлаевский. Легче стало. *(Закурил.)*

Николка. Ты скажи, что там под Трактиром делается?

Мышлаевский. Метель под Трактиром. Вот что там. И я бы эту метель, мороз, немцев-мерзавцев и Петлюру!..

Алексей. Зачем же, не понимаю, вас под Трактир погнали?

Мышлаевский. А мужички там эти под Трактиром. Вот эти самые милые мужички сочинения графа Льва Толстого!

Николка. Да как же так? А в газетах пишут, что мужики на стороне гетмана...

Мышлаевский. Что ты, юнкер, мне газеты тычешь? Я бы всю эту вашу газетную шваль перевешал на одном суку! Я сегодня утром лично на разведке напоролся на одного деда и спрашиваю: «Где же ваши хлопцы?» Деревня точно вымерла. А он сослепу не разглядел, что у меня погоны под башлыком, и отвечает: «Уси побиглы до Петлюры...»

Николка. Ой-ой-ой-ой...

Мышлаевский. Вот именно «ой-ой-ой-ой»... Взял я этого толстовского хрена за манишку и говорю: «Уси побиглы до Петлюры? Вот я тебя сейчас пристрелю, старую... Ты у меня узнаешь, как до Петлюры бегают. Ты у меня сбегаешь в царство небесное».

Алексей. Как же ты в город попал?

Мышлаевский. Сменили сегодня, слава тебе, Господи! Пришла пехотная дружина. Скандал я в штабе на посту устроил. Жутко было! Они там сидят, коньяк в вагоне пьют. Я говорю, вы, говорю, сидите с гетманом во дворце, а артиллерийских офицеров вышибли в сапогах на мороз с мужичьем перестреливаться! Не знали, как от меня отделаться. Мы, говорят, комаидируем вас, капитан, по специальности в любую артиллерийскую часть. Поезжайте в город... Алеша, возьми меня к себе.

Алексей. С удовольствием. Я и сам хотел тебя вызвать. Я тебе первую батарею дам.

Мышлаевский. Благодетель...

Николка. Ура!.. Все вместе будем. Студзинский — старшим офицером... Прелестно!..

Мышлаевский. Вы где стоите?

Николка. Александровскую гимназию заняли. Завтра или послезавтра можно выступать.

Мышлаевский. Ты ждешь не дождешься, чтобы Петлюра тебя по затылку трахнул?

Николка. Ну, это еще кто кого!

Елена *(появляется с простыней)*. Ну, Виктор, отправляйся, отправляйся. Иди мойся. На́ простыню.

Мышлаевский. Лена ясная, позволь, я тебя за твои хлопоты обниму и поцелую. Как ты думаешь, Ле-

ночка, мне сейчас водки выпить или уже потом, за ужином, сразу?

Елена. Я думаю, что потом, за ужином, сразу. Виктор! Мужа ты моего не видел? Муж пропал.

Мышлаевский. Что ты, Леночка, найдется. Он сейчас приедет. *(Уходит.)*

Начинается непрерывный звонок.

Николка. Ну вот он-он! *(Бежит в переднюю.)*

Алексей. Господи, что это за звонок?

Николка отворяет дверь. Появляется в передней Ларносик с чемоданом и узлом.

Лариосик. Вот я и приехал. Со звонком у вас я что-то сделал.

Николка. Это вы кнопку вдавили. *(Выбегает за дверь, на лестницу.)*

Лариосик. Ах, Боже мой! Простите, ради Бога! *(Входит в комнату.)* Вот я и приехал. Здравствуйте, глубокоуважаемая Елена Васильевна, я вас сразу узнал по карточкам. Мама просит вам передать ее самый горячий привет.

Звонок прекращается. Входит Николка.

А равно также и Алексею Васильевичу.

Алексей. Мое почтение.

Лариосик. Здравствуйте, Николай Васильевич, я много о вас слышал. *(Всем.)* Вы удивлены, я вижу? Позвольте вам вручить письмо, оно вам все объяснит. Мама сказала мне, чтобы я, даже не раздеваясь, дал вам прочитать письмо.

Елена. Какой неразборчивый почерк!

Лариосик. Да, ужасно! Позвольте, лучше я сам прочитаю. У мамы такой почерк, что она иногда напишет, а потом сама не понимает, что она такое написала. У меня тоже такой почерк. Это у нас наследственное. *(Читает.)* «Милая, милая Леночка! Посылаю к вам моего мальчика прямо по-родственному; приютите и согрейте его, как вы умеете это делать. Ведь у вас такая громадная квартира...» Мама очень любит и уважает вас,

а равно и Алексея Васильевича. *(Николке.)* И вас тоже. *(Читает.)* «Мальчуган поступает в Киевский университет. С его способностями...» ах уж эта мама!.. — «невозможно сидеть в Житомире, терять время. Содержание я вам буду переводить аккуратно. Мне не хотелось бы, чтобы мальчуган, привыкший к семье, жил у чужих людей. Но я очень спешу, сейчас идет санитарный поезд, он сам вам все расскажет...» Гм... вот и все.

Алексей. Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить?

Лариосик. Как — с кем? Вы меня не знаете?

Алексей. К сожалению, не имею удовольствия.

Лариосик. Боже мой! И вы, Елена Васильевна?

Николка. И я тоже не знаю.

Лариосик. Боже мой, это прямо колдовство! Ведь мама послала вам телеграмму, которая должна вам все объяснить. Мама послала вам телеграмму в шестьдесят три слова.

Николка. Шестьдесят три слова!.. Ой-ой-ой!..

Елена. Мы никакой телеграммы не получали.

Лариосик. Не получали? Боже мой! Простите меня, пожалуйста. Я думал, что меня ждут, и прямо, не раздеваясь... Извините... я, кажется, что-то раздавил... Я ужасный неудачник!

Алексей. Да вы, будьте добры, скажите, как ваша фамилия?

Лариосик. Ларион Ларионович Суржанский.

Елена. Да это Лариосик?! Наш кузен из Житомира?

Лариосик. Ну да.

Елена. И вы... к нам приехали?

Лариосик. Да. Но, видите ли, я думал, что вы меня ждете... Простите, пожалуйста, я наследил вам... Я думал, что вы меня ждете, а раз так, то я поеду в какой-нибудь отель...

Елена. Какие теперь отели?! Погодите, вы прежде всего раздевайтесь.

Алексей. Да вас никто не гонит, снимайте пальто, пожалуйста.

Лариосик. Душевно вам признателен.

Николка. Вот здесь, пожалуйста. Пальто можно повесить в передней.

Лариосик. Душевно вам признателен. Как у вас хорошо в квартире!

Елена *(шепотом)*. Алеша, что же мы с ним будем делать? Он симпатичный. Давай поместим его в библиотеке, все равно комната пустует.

Алексей. Конечно, поди скажи ему.

Елена. Вот что, Ларион Ларионович, прежде всего в ванну... Там уже есть один — капитан Мышлаевский... А то, знаете ли, после поезда...

Лариосик. Да-да, ужасно!.. Ужасно!.. Ведь от Житомира до Киева я ехал одиннадцать дней...

Николка. Одиннадцать дней!.. Ой-ой-ой!..

Лариосик. Ужас, ужас!.. Это такой кошмар!

Елена. Ну пожалуйста!

Лариосик. Душевно вам... Ах, извините, Елена Васильевна, я не могу идти в ванну.

Алексей. Почему вы не можете идти в ванну?

Лариосик. Извините меня, пожалуйста. Какие-то злодеи украли у меня в санитарном поезде чемодан с бельем. Чемодан с книгами и рукописями оставили, а белье все пропало.

Елена. Ну, это беда поправимая.

Николка. Я дам, я дам!

Лариосик *(интимно, Николке)*. Рубашка, впрочем, у меня здесь, кажется, есть одна. Я в нее собрание сочинений Чехова завернул. А вот не будете ли вы добры дать мне кальсоны?

Николка. С удовольствием. Они вам будут велики, но мы их заколем английскими булавками.

Лариосик. Душевно вам признателен.

Елена. Ларион Ларионович, мы вас поместим в библиотеке. Николка, проводи!

Николка. Пожалуйте за мной.

Лариосик и Николка уходят.

Алексей. Вот тип! Я бы его остриг прежде всего. Ну, Леночка, зажги свет, я пойду к себе, у меня еще масса дел, а мне здесь мешают. *(Уходит.)*

Звонок.

Елена. Кто там?

Голос Тальберга. Я, я. Открой, пожалуйста.

Елена. Слава Богу! Где же ты был? Я так волновалась!

Тальберг *(входя)*. Не целуй меня, я с холоду; ты можешь простудиться.

Елена. Где же ты был?

Тальберг. В германском штабе задержали. Важные дела.

Елена. Ну иди, иди скорей, грейся. Сейчас чай будем пить.

Тальберг. Не надо чаю, Лена, погоди. Позвольте, чей это френч?

Елена. Мышлаевского. Он только что приехал с позиций, совершенно замороженный.

Тальберг. Все-таки можно прибрать.

Елена. Я сейчас. *(Вешает френч за дверь.)* Ты знаешь, еще новость. Сейчас неожиданно приехал мой кузен из Житомира, знаменитый Лариосик, Алексей оставил его у нас в библиотеке.

Тальберг. Я так и знал! Недостаточно одного сеньора Мышлаевского. Появляются еще какие-то житомирские кузены. Не дом, а постоялый двор. Я решительно не понимаю Алексея.

Елена. Володя, ты просто устал и в дурном расположении духа. Почему тебе не нравится Мышлаевский? Он очень хороший человек.

Тальберг. Замечательно хороший! Трактирный завсегдатай.

Елена. Володя!

Тальберг. Впрочем, сейчас не до Мышлаевского. Лена, закрой дверь... Лена, случилась ужасная вещь.

Елена. Что такое?

Тальберг. Немцы оставляют гетмана на произвол судьбы.

Елена. Володя, да что ты говоришь?! Откуда ты узнал?

Тальберг. Только что, под строгим секретом, в германском штабе. Никто не знает, даже сам гетман.

Елена. Что же теперь будет?

Тальберг. Что теперь будет... Гм... Половина десятого. Так-с... Что теперь будет?.. Лена!

Елена. Что ты говоришь?

Тальберг. Я говорю — «Лена»!

Елена. Ну что «Лена»?

Тальберг. Лена, мне сейчас нужно бежать.

Елена. Бежать? Куда?

Тальберг. В Германию, в Берлин. Гм... Дорогая моя, ты представляешь, что будет со мной, если русская армия не отобьет Петлюру и он войдет в Киев?

Елена. Тебя можно будет спрятать.

Тальберг. Миленькая моя, как можно меня спрятать! Я не иголка. Нет человека в городе, который не знал бы меня. Спрятать помощника военного министра. Не могу же я, подобно сеньору Мышлаевскому, сидеть без френча в чужой квартире. Меня отличнейшим образом найдут.

Елена. Постой! Я не пойму... Значит, мы оба должны бежать?

Тальберг. В том-то и дело, что нет. Сейчас выяснилась ужасная картина. Город обложен со всех сторон, и единственный способ выбраться — в германском штабном поезде. Женщин они не берут. Мне одно место дали благодаря моим связям.

Елена. Другими словами, ты хочешь уехать один?

Тальберг. Дорогая моя, не «хочу», а иначе не могу! Пойми — катастрофа! Поезд идет через полтора часа. Решай, и как можно скорее.

Елена. Через полтора часа? Как можно скорее? Тогда я решаю — уезжай.

Тальберг. Ты умница. Я всегда это говорил. Что я хотел еще сказать? Да, что ты умница! Впрочем, я это уже сказал.

Елена. На сколько же времени мы расстаемся?

Тальберг. Я думаю, месяца на два. Я только пережду в Берлине всю эту кутерьму, а когда гетман вернется...

Елена. А если он совсем не вернется?

Тальберг. Этого не может быть. Даже если немцы оставят Украину, Антанта займет ее и восстановит гетмана. Европе нужна гетманская Украина как кордон от московских большевиков. Ты видишь, я все рассчитал.

Елена. Да, я вижу, но только вот что: как же так, ведь гетман еще тут, они формируют свои войска, а ты вдруг бежишь на глазах у всех. Ловко ли это будет?

Тальберг. Милая, это наивно. Я тебе говорю по секрету — «я бегу», потому что знаю, что ты этого никогда никому не скажешь. Полковники генштаба не бегают. Они ездят в командировку. В кармане у меня командировка в Берлин от гетманского министерства. Что, недурно?

Елена. Очень недурно. А что же будет с ними со всеми?

Тальберг. Позволь тебя поблагодарить за то, что сравниваешь меня со всеми. Я не «все».

Елена. Ты же предупреди братьев.

Тальберг. Конечно, конечно. Отчасти я даже рад, что еду один на такой большой срок. Как-никак ты все-таки побережешь наши комнаты.

Елена. Владимир Робертович, здесь мои братья! Неужели же ты думаешь, что они вытеснят нас? Ты не имеешь права...

Тальберг. О нет, нет, нет... Конечно, нет... Но ты же знаешь пословицу: «Qui va à la chasse, perd sa place»[1]. Теперь еще просьба, последняя. Здесь, гм... без меня, конечно, будет бывать этот... Шервинский...

Елена. Он и при тебе бывает.

Тальберг. К сожалению. Видишь ли, моя дорогая, он мне не нравится.

Елена. Чем, позволь узнать?

Тальберг. Его ухаживания за тобой становятся слишком назойливыми, и мне было бы желательно... Гм...

Елена. Что желательно было бы тебе?

Тальберг. Я не могу сказать тебе что́. Ты женщина умная и прекрасно воспитана. Ты прекрасно понимаешь, как нужно держать себя, чтобы не бросить тень на фамилию Тальберг.

Елена. Хорошо... я не брошу тень на фамилию Тальберг.

---

[1] «Кто уходит на охоту, теряет свое место» (*фр.*). *Здесь и в дальнейшем перевод сделан автором.*

Тальберг. Почему ты отвечаешь мне так сухо? Я ведь не говорю тебе о том, что ты можешь мне изменить. Я прекрасно знаю, что этого не может быть.

Елена. Почему ты полагаешь, Владимир Робертович, что этого не может быть?..

Тальберг. Елена, Елена, Елена! Я не узнаю тебя. Вот плоды общения с Мышлаевским! Замужняя дама — изменить!.. Без четверти десять! Я опоздаю!

Елена. Я сейчас тебе уложу...

Тальберг. Милая, ничего, ничего, только чемоданчик, в нем немного белья. Только ради Бога, скорее, даю тебе одну минуту.

Елена Ты же все-таки простись с братьями.

Тальберг. Само собой разумеется, только смотри, я еду в командировку.

Елена. Алеша! Алеша! *(Убегает.)*

Алексей *(входя)*. Да, да... А, здравствуй, Володя.

Тальберг. Здравствуй, Алеша.

Алексей. Что за суета?

Тальберг. Видишь ли, я должен сообщить тебе важную новость. Нынче ночью положение гетмана стало весьма серьезным.

Алексей. Как?

Тальберг. Серьезно и весьма.

Алексей. В чем дело?

Тальберг. Очень возможно, что немцы не окажут помощи и придется отбивать Петлюру своими силами.

Алексей. Что ты говоришь?!

Тальберг. Очень может быть.

Алексей. Дело желтенькое... Спасибо, что сказал.

Тальберг. Теперь второе. Так как я сейчас еду в командировку...

Алексей. Куда, если не секрет?

Тальберг. В Берлин.

Алексей. Куда? В Берлин?

Тальберг. Да. Как я ни барахтался, выкрутиться не удалось. Такое безобразие!

Алексей. Надолго, смею спросить?

Тальберг. На два месяца.

Алексей. Ах вот как.

Тальберг. Итак, позволь пожелать тебе всего хорошего. Берегите Елену. *(Протягивает руку.)*

Алексей прячет руку за спину.

Что это значит?

Алексей. Это значит, что командировка ваша мне не нравится.

Тальберг. Полковник Турбин!

Алексей. Я вас слушаю, полковник Тальберг.

Тальберг. Вы мне ответите за это, господин брат моей жены!

Алексей. А когда прикажете, господин Тальберг?

Тальберг. Когда... Без пяти десять... Когда я вернусь.

Алексей. Ну, Бог знает что случится, когда вы вернетесь!

Тальберг. Вы... вы... Я давно уже хотел поговорить с вами.

Алексей. Жену не волновать, господин Тальберг!

Елена *(входя)*. О чем вы говорили?

Алексей. Ничего, ничего, Леночка!

Тальберг. Ничего, ничего, дорогая! Ну, до свидания, Алеша!

Алексей. До свидания, Володя!

Елена. Николка! Николка!

Николка *(входя)*. Вот он я. Ох, приехал?

Елена. Володя уезжает в командировку. Простись с ним.

Тальберг. До свидания, Никол.

Николка. Счастливого пути, господин полковник.

Тальберг. Елена, вот тебе деньги. Из Берлина немедленно вышлю. Честь имею кланяться. *(Стремительно идет в переднюю.)* Не провожай меня, дорогая, ты простудишься. *(Уходит.)*

Елена идет за ним.

Алексей *(неприятным голосом)*. Елена, ты простудишься!

Пауза.

Николка. Алеша, как же это он так уехал? Куда?

Алексей. В Берлин.

Николка В Берлин... В такой момент... *(Смотря в окно.)* С извозчиком торгуется. *(Философски.)* Алеша, ты знаешь, я заметил, что он на крысу похож.

Алексей *(машинально)*. Совершенно верно, Никол. А дом наш — на корабль. Ну, иди к гостям. Иди, иди.

Николка уходит.

Дивизион в небо, как в копеечку, попадает. «Весьма серьезно». «Серьезно и весьма». Крыса! *(Уходит.)*

Елена *(возвращается из передней. Смотрит в окно)*. Уехал...

КАРТИНА ВТОРАЯ

Накрыт стол для ужина

Елена *(у рояля, берет один и тот же аккорд)*. Уехал. Как уехал...

Шервинский *(внезапно появляется на пороге)*. Кто уехал?

Елена. Боже мой! Как вы меня испугали, Шервинский! Как же вы вошли без звонка?

Шервинский. Да у вас дверь открыта — все настежь. Здравия желаю, Елена Васильевна. *(Вынимает из бумаги громадный букет.)*

Елена. Сколько раз я просила вас, Леонид Юрьевич, не делать этого. Мне неприятно, что вы тратите деньги.

Шервинский. Деньги существуют на то, чтобы их тратить, как сказал Карл Маркс. Разрешите снять бурку?

Елена. А если б я сказала, что не разрешаю?

Шервинский. Я просидел бы всю ночь в бурке у ваших ног.

Елена. Ой, Шервинский, армейский комплимент.

Шервинский. Виноват, это гвардейский комплимент. *(Снимает в передней бурку, остается в великолепнейшей черкеске.)* Я так рад, что вас увидел! Я так давно вас не видел!

Елена. Если память мне не изменяет, вы были у нас вчера.

Шервинский. Ах, Елена Васильевна, что такое в наше время «вчера»! Итак, кто же уехал?

Елена. Владимир Робертович.

Шервинский. Позвольте, он же сегодня должен был вернуться!

Елена. Да, он вернулся и... опять уехал.

Шервинский. Куда?

Елена. Какие дивные розы!

Шервинский. Куда?

Елена. В Берлин.

Шервинский. В... Берлин? И надолго, разрешите узнать?

Елена. Месяца на два.

Шервинский. На два месяца! Да что вы!.. Печально, печально, печально... Я так расстроен, я так расстроен!!

Елена. Шервинский, пятый раз целуете руку.

Шервинский. Я, можно сказать, подавлен... Боже мой, да тут все! Ура! Ура!

Голос Николки. Шервинский! Демона!

Елена. Чему вы так бурно радуетесь?

Шервинский. Я радуюсь... Ах, Елена Васильевна, вы не поймете!..

Елена. Вы не светский человек, Шервинский.

Шервинский. Я не светский человек? Позвольте, почему же? Нет, я светский... Просто я, знаете ли, расстроен... Итак, стало быть, он уехал, а вы остались.

Елена. Как видите. Как ваш голос?

Шервинский *(у рояля)*. Ма-ма... миа... ми... Он далеко, он да... он далеко, он не узнает... Да... В бесподобном голосе. Ехал к вам на извозчике, казалось, что и голос сел, а сюда приезжаю — оказывается, в голосе.

Елена. Ноты захватили?

Шервинский. Ну как же, как же... Вы чистой воды богиня!

Елена. Единственно, что в вас есть хорошего, — это голос, и прямое ваше назначение — это оперная карьера.

Шервинский. Кое-какой материал есть. Вы знаете, Елена Васильевна, я однажды в Жмеринке пел эпиталаму, там вверху «фа», как вам известно, а я взял «ля» и держал девять тактов.

Елена. Сколько?

Шервинский. Семь тактов держал. Напрасно вы не верите. Ей-богу! Там была графиня Гендрикова... Она влюбилась в меня после этого «ля».

Елена. И что же было потом?

Шервинский. Отравилась. Цианистым калием.

Елена. Ах, Шервинский! Это у вас болезнь, честное слово. Господа, Шервинский! Идите к столу!

Входят Алексей, Студзинский и Мышлаевский.

Алексей. Здравствуйте, Леонид Юрьевич. Милости просим.

Шервинский. Виктор! Жив! Ну, слава Богу! Почему ты в чалме?

Мышлаевский *(в чалме из полотенца)*. Здравствуй, адъютант.

Шервинский *(Студзинскому)*. Мое почтение, капитан.

Входят Ларносик и Николка.

Мышлаевский. Позвольте вас познакомить. Старший офицер нашего дивизиона капитан Студзинский, а это мсье Суржанский. Вместе с ним купались.

Николка. Кузен наш из Житомира.

Студзинский. Очень приятно.

Лариосик. Душевно рад познакомиться.

Шервинский. Ее Императорского Величества Лейб-Гвардии Уланского полка и личный адъютант гетмана поручик Шервинский.

Лариосик. Ларион Суржанский. Душевно рад с вами познакомиться.

Мышлаевский. Да вы не приходите в такое отчаяние. Бывший лейб, бывшей гвардии, бывшего полка...

Елена. Господа, идите к столу.

Алексей. Да-да, пожалуйста, а то двенадцать часов, завтра рано вставать.

Шервинский. Ух, какое великолепие! По какому случаю пир, позвольте спросить?

Николка. Последний ужин дивизиона. Завтра выступаем, господин поручик...

Шервинский. Ага...

Студзинский. Где прикажете, господин полковник?

Шервинский. Где прикажете?

Алексей. Где угодно, где угодно. Прошу вас! Леночка, будь хозяйкой.

Усаживаются.

Шервинский. Итак, стало быть, он уехал, а вы остались?

Елена. Шервинский, замолчите.

Мышлаевский. Леночка, водки выпьешь?

Елена. Нет-нет-нет!..

Мышлаевский. Ну, тогда белого вина.

Студзинский. Вам позволите, господин полковник?

Алексей. Мерси, вы, пожалуйста, себе.

Мышлаевский. Вашу рюмку.

Лариосик. Я, собственно, водки не пью.

Мышлаевский. Помилуйте, я тоже не пью. Но одну рюмку. Как же вы будете селедку без водки есть? Абсолютно не понимаю.

Лариосик. Душевно вам признателен.

Мышлаевский. Давно, давно я водки не пил.

Шервинский. Господа! Здоровье Елены Васильевны! Ура!

Студзинский
Лариосик
Мышлаевский } Ура!..

Елена. Тише! Что вы, господа! Весь переулок разбудите. И так уж твердят, что у нас каждый день попойка.

Мышлаевский. Ух, хорошо! Освежает водка. Не правда ли?

Лариосик. Да, очень!

Мышлаевский. Умоляю, еще по рюмке. Господин полковник...

Алексей. Ты не гони особенно, Виктор, завтра выступать.

Николка. И выступим!

Елена. Что с гетманом, скажите?

Студзинский. Да-да, что с гетманом?

Шервинский. Все обстоит благополучно. Какой вчера был ужин во дворце!.. На двести персон. Рябчики... Гетман в национальном костюме.

Елена. Да говорят, что немцы нас оставляют на произвол судьбы?

Шервинский. Не верьте никаким слухам, Елена Васильевна.

Лариосик. Благодарю, глубокоуважаемый Виктор Викторович. Я ведь, собственно говоря, водки не пью.

Мышлаевский *(выпивая)*. Стыдитесь, Ларион!

Шервинский }
Николка } Стыдитесь!

Лариосик. Покорнейше благодарю.

Алексей. Ты, Никол, на водку-то не налегай.

Николка. Слушаю, господин полковник! Я — белого вина.

Лариосик. Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович.

Мышлаевский. Достигается упражнением.

Алексей. Спасибо, капитан. А салату?

Студзинский. Покорнейше благодарю.

Мышлаевский. Лена золотая! Пей белое вино. Радость моя! Рыжая Лена, я знаю, отчего ты так расстроена. Брось! Все к лучшему.

Шервинский. Все к лучшему.

Мышлаевский. Нет-нет, до дна, Леночка, до дна!

Николка *(берет гитару, поет)*. Кому чару пить, кому здраву быть... пить чару...

Все *(поют)*. Свет Елене Васильевне!

— Леночка, выпейте!

— Выпейте... выпейте...

Елена пьет.

— Браво!!!

Аплодируют.

Мышлаевский. Ты замечательно выглядишь сегодня. Ей-богу. И капот этот идет к тебе, клянусь честью. Господа, гляньте, какой капот, совершенно зеленый!

Елена. Это платье, Витенька, и не зеленое, а серое.

Мышлаевский. Ну, тем хуже. Все равно. Господа, обратите внимание, не красивая она женщина, вы скажете?

Студзинский. Елена Васильевна очень красивая. Ваше здоровье!

Мышлаевский. Лена ясная, позволь, я тебя обниму и поцелую.

Шервинский. Ну, ну, Виктор, Виктор!..

Мышлаевский. Леонид, отойди. От чужой, мужней жены отойди!

Шервинский. Позволь...

Мышлаевский. Мне можно, я друг детства.

Шервинский. Свинья ты, а не друг детства...

Николка *(вставая)*. Господа, здоровье командира дивизиона!

Студзинский, Шервинский и Мышлаевский встают.

Лариосик. Ура!.. Извините, господа, я человек не военный.

Мышлаевский. Ничего, ничего, Ларион! Правильно!

Лариосик. Многоуважаемая Елена Васильевна! Не могу выразить, до чего мне у вас хорошо...

Елена. Очень приятно.

Лариосик. Многоуважаемый Алексей Васильевич... Не могу выразить, до чего мне у вас хорошо!..

Алексей. Очень приятно.

Лариосик. Господа, кремовые шторы... за ними отдыхаешь душой... забываешь о всех ужасах гражданской войны. А ведь наши избранные души так жаждут покоя...

Мышлаевский. Вы, позвольте узнать, стихи сочиняете?

Лариосик. Я? Да... пишу.

Мышлаевский. Так. Извините, что я вас перебил. Продолжайте.

Лариосик. Пожалуйста... Кремовые шторы... Они отделяют нас от всего мира... Впрочем, я человек не военный... Эх!.. Налейте мне еще рюмочку.

Мышлаевский. Браво, Ларион! Ишь, хитрец, а говорил — не пьет. Симпатичный ты парень, Ларион, но речи произносишь, как глубокоуважаемый сапог.

Лариосик. Нет, не скажите, Виктор Викторович, я говорил речи и не однажды... в обществе сослуживцев моего покойного папы... в Житомире... Ну, там податные инспектора... Они меня тоже... ох как ругали!

Мышлаевский. Податные инспектора — известные звери.

Шервинский. Пейте, Лена, пейте, дорогая!

Елена. Напоить меня хотите? У, какой противный!

Николка *(у рояля, поет)*.

Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль на радость соседей-врагов
Могильной засыплюсь землею?

Лариосик *(поет)*.

Так громче, музыка, играй победу.

Все *(поют)*.

Мы победили, и враг бежит.
Так за...

Лариосик. Царя...

Алексей. Что вы, что вы!

Все *(поют фразу без слов)*.

.....

Мы грянем громкое «Ура! Ура! Ура!».

Николка *(поет)*.

Из темного леса навстречу ему...

Все поют.

Лариосик. Эх! До чего у вас весело, Елена Васильевна, дорогая! Огни!.. Ура!

Шервинский. Господа! Здоровье его светлости гетмана всея Украины. Ура!

Пауза.

Студзинский. Виноват. Завтра драться я пойду, но тост этот пить не стану и другим офицерам не советую.

Шервинский. Господин капитан!

Лариосик. Совершенно неожиданное происшествие.

Мышлаевский *(пьян)*. Из-за него, дьявола, я себе ноги отморозил. *(Пьет.)*

Студзинский. Господин полковник, вы тост одобряете?

Алексей. Нет, не одобряю!

Шервинский. Господин полковник, позвольте, я скажу!

Студзинский. Нет, уж позвольте, я скажу!

Лариосик. Нет, уж позвольте, я скажу! Здоровье Елены Васильевны, а равно ее глубокоуважаемого супруга, отбывшего в Берлин!

Мышлаевский. Во! Угадал, Ларион! Лучше — трудно.

Николка *(поет)*.

Скажи мне всю правду, не бойся меня...

Лариосик. Простите, Елена Васильевна, я человек не военный.

Елена. Ничего, ничего, Ларион. Вы душевный человек, хороший. Идите ко мне сюда.

Лариосик. Елена Васильевна! Ах, Боже мой, красное вино!..

Николка. Солью, солью посыплем... ничего.

Студзинский. Этот ваш гетман!..

Алексей. Одну минуту, господа!.. Что же, в самом деле? В насмешку мы ему дались, что ли? Если бы ваш гетман, вместо того чтобы ломать эту чертову комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, ведь Петлюры бы духу не пахло в Малороссии. Но этого мало: мы бы большевиков в Москве прихлопнули,

как мух. И самый момент! Там, говорят, кошек жрут. Он бы, мерзавец, Россию спас!

Шервинский. Немцы бы не позволили формировать армию, они ее боятся.

Алексей. Неправда-с. Немцам нужно было объяснить, что мы им не опасны. Конечно! Войну мы проиграли! У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем вообще все на свете: у нас большевики. Немцам нужно было сказать: «Вам что? Нужен хлеб, сахар? Нате, берите, лопайте, подавитесь, но только помогите нам, чтобы наши мужички не заболели московской болезнью». А теперь поздно, наше офицерство превратилось в завсегдатаев кафе. Кафейная армия! Пойди его забери. Так он тебе и пойдет воевать. У него, у мерзавца, валюта в кармане. Он в кофейне сидит на Крещатике, а вместе с ним вся эта гвардейская штабная орава. Нуте-с, великолепно! Дали полковнику Турбину дивизион: лети, спеши, формируй, ступай, Петлюра идет!.. Отлично-с! А вот глянул я вчера на них, и, даю вам слово чести, — в первый раз дрогнуло мое сердце.

Мышлаевский. Алеша, командирчик ты мой! Артиллерийское у тебя сердце! Пью здоровье!

Алексей. Дрогнуло, потому, что на сто юнкеров — сто двадцать студентов, и держат они винтовку, как лопату. И вот вчера на плацу... Снег идет, туман вдали... Померещился мне, знаете ли, гроб...

Елена. Алеша, зачем ты говоришь такие мрачные вещи? Не смей!

Николка. Не извольте расстраиваться, господин командир, мы не выдадим.

Алексей. Вот, господа, сижу я сейчас среди вас, и все у меня одна неотвязная мысль. Ах! Если бы мы все это могли предвидеть раньше! Вы знаете, что такое этот ваш Петлюра! Это миф, это черный туман. Его и вовсе нет. Вы гляньте в окно, посмотрите, что там. Там метель, какие-то тени... В России, господа, две силы: большевики и мы. Мы еще встретимся. Вижу я более грозные времена. Вижу я... Ну, ладно! Мы не удержим Петлюру. Но ведь он ненадолго придет. А вот за ним придут большевики. Вот из-за этого я и иду! На рожон, но пойду! Потому что, когда мы встретимся с ними, дело пойдет веселее.

Или мы их закопаем, или, вернее, они нас. Пью за встречу, господа!

Лариосик *(за роялем, поет).*

Жажда встречи,
Клятвы, речи —
Все на свете
Трын-трава...

Николка. Здорово, Ларион! *(Поет.)*

Жажда встречи,
Клятвы, речи...

Все сумбурно поют. Ларносик внезапно зарыдал.

Елена. Лариосик, что с вами?

Николка. Ларион!

Мышлаевский. Что ты, Ларион, кто тебя обидел?

Лариосик *(пьян).* Я испугался.

Мышлаевский. Кого? Большевиков? Ну, мы им сейчас покажем! *(Берет маузер.)*

Елена. Виктор, что ты делаешь?!

Мышлаевский. Комиссаров буду стрелять. Кто из вас комиссар?

Шервинский. Маузер заряжен, господа!!

Студзинский. Капитан, сядь сию минуту!

Елена. Господа, отнимите у него!

Отнимает маузер. Ларносик уходит.

Алексей. Что ты, с ума сошел? Сядь сию минуту! Это я виноват, господа.

Мышлаевский. Стало быть, я в компанию большевиков попал. Очень приятно. Здравствуйте, товарищи! Выпьем за здоровье комиссаров. Они симпатичные!

Елена. Виктор, не пей больше.

Мышлаевский. Молчи, комиссарша!

Шервинский. Боже, как нализался!

Алексей. Господа, это я виноват. Не слушайте того, что я сказал. Просто у меня расстроены нервы.

Студзинский. О нет, господин полковник. Поверьте, что мы понимаем и что мы разделяем все, что

вы сказали. Империю Российскую мы будем защищать всегда!

Николка. Да здравствует Россия!

Шервинский. Позвольте слово! Вы меня не поняли! Гетман так и сделает, как вы предлагаете. Вот когда нам удастся отбиться от Петлюры и союзники помогут нам разбить большевиков, вот тогда гетман положит Украину к стопам Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича...

Мышлаевский. Какого Александровича? А говорит, я нализался.

Николка. Император убит...

Шервинский. Господа! Известие о смерти Его Императорского Величества...

Мышлаевский. Несколько преувеличено.

Студзинский. Виктор, ты офицер!

Елена. Дайте же сказать ему, господа!

Шервинский. ...вымышлено большевиками. Вы знаете, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана? Император Вильгельм сказал: «А о дальнейшем с вами будет говорить...» — портьера раздвинулась, и вышел наш государь.

Входит Лариосик.

Он сказал: «Господа офицеры, поезжайте на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет время, я лично вас поведу в сердце России, в Москву!» И прослезился.

Студзинский. Убит он!

Елена. Шервинский! Это правда?

Шервинский. Елена Васильевна!

Алексей. Поручик, это легенда! Я уже слышал эту историю.

Николка. Все равно. Пусть император мертв, да здравствует император! Ура!.. Гимн! Шервинский! Гимн! *(Поет.)* Боже, царя храни!..

Шервинский
Студзинский } Боже, царя храни!
Мышлаевский

Лариосик *(поет)*. Сильный, державный...

Николка
Студзинский } Царствуй на...
Шервинский

Елена
Алексей } Господа, что вы! Не нужно этого!

Мышлаевский *(плачет)*. Алеша, разве это народ! Ведь это бандиты. Профессиональный союз цареубийц. Петр Третий... Ну что он им сделал? Что? Орут: «Войны не надо!» Отлично... Он же прекратил войну. И кто? Собственный дворянин царя по морде бутылкой!.. Павла Петровича князь портсигаром по уху... А этот... забыл, как его... с бакенбардами, симпатичный, дай, думает, мужикам приятное сделаю, освобожу их, чертей полосатых. Так его бомбой за это? Пороть их надо, негодяев, Алеша! Ох, мне что-то плохо, братцы...

Елена. Ему плохо!

Николка. Капитану плохо!

Алексей. В ванну.

Студзинский, Николка и Алексей поднимают Мышлаевского и выносят.

Елена. Я пойду посмотрю, что с ним.

Шервинский *(загородив дверь)*. Не надо, Лена!

Елена. Господа, господа, ведь нужно же так... Хаос... Накурили... Лариосик-то, Лариосик!..

Шервинский. Что вы, что вы, не будите его!

Елена. Я сама из-за вас напилась. Боже, ноги не ходят.

Шервинский. Вот сюда, сюда... Вы мне разрешите... возле вас?

Елена. Садитесь... Шервинский, что с нами будет? Чем же все это кончится? А?.. Я видела дурной сон. Вообще кругом за последнее время все хуже и хуже.

Шервинский. Елена Васильевна! Все будет благополучно, а снам не верьте...

Елена. Нет, нет, мой сон — вещий. Будто мы все ехали на корабле в Америку и сидим в трюме. И вот шторм. Ветер воет. Холодно-холодно. Волны. А мы в трюме. Вода поднимается к самым ногам... Влезаем на какие-то нары. И вдруг крысы. Такие омерзительные, такие огромные. Так страшно, что я проснулась.

Шервинский. А вы знаете что, Елена Васильевна? Он не вернется.

Елена. Кто?

Шервинский. Ваш муж.

Елена. Леонид Юрьевич, это нахальство. Какое вам дело? Вернется, не вернется.

Шервинский. Мне-то большое дело. Я вас люблю.

Елена. Слышала. И все вы сочиняете.

Шервинский. Ей-богу, я вас люблю.

Елена. Ну и любите про себя.

Шервинский. Не хочу. Мне надоело.

Елена. Постойте, постойте. Почему вы вспомнили о моем муже, когда я сказала про крыс?

Шервинский. Потому что он на крысу похож.

Елена. Какая вы свинья все-таки, Леонид! Во-первых, вовсе не похож.

Шервинский. Как две капли. Пенсне, носик острый...

Елена. Очень, очень красиво! Про отсутствующего человека гадости говорить, да еще его жене!

Шервинский. Какая вы ему жена!

Елена. То есть как?

Шервинский. Вы посмотрите на себя в зеркало. Вы красивая, умная, как говорится, интеллектуально развитая. Вообще женщина на ять. Аккомпанируете прекрасно на рояле. А он рядом с вами — вешалка, карьерист, штабной момент.

Елена. За глаза-то! Отлично! *(Зажимает ему рот.)*

Шервинский. Да я ему это в глаза скажу. Давно хотел. Скажу и вызову на дуэль. Вы с ним несчастливы.

Елена. С кем же я буду счастлива?

Шервинский. Со мной.

Елена. Вы не годитесь.

Шервинский. Ого-го!.. Почему это я не гожусь?

Елена. Что в вас есть хорошего?

Шервинский. Да вы всмотритесь.

Елена. Ну побрякушки адъютантские, смазлив, как херувим. И голос. И больше ничего.

Шервинский. Так я и знал! Что за несчастье! Все твердят одно и то же: Шервинский — адъютант, Шервин-

ский — певец, то, другое... А что у Шервинского есть душа, этого никто не замечает. И живет Шервинский как бездомная собака, и не к кому Шервинскому на грудь голову склонить.

Елена *(отталкивает его голову)*. Вот гнусный ловелас! Мне известны ваши похождения. Всем одно и то же говорите. И этой вашей, длинной. Фу, губы накрашенные...

Шервинский. Она не длинная. Это меццо-сопрано. Елена Васильевна, ей-богу, ничего подобного я ей не говорил и не скажу. Нехорошо с вашей стороны, Лена, как нехорошо с твоей стороны, Лена.

Елена. Я вам не Лена!

Шервинский. Ну, нехорошо с твоей стороны, Елена Васильевна. Вообще у вас нет никакого чувства ко мне.

Шервинский. К несчастью, вы мне очень нравитесь.

Шервинский. Ага! Нравлюсь. А мужа своего вы не любите.

Елена. Нет люблю.

Шервинский. Лена, не лги. У женщины, которая любит мужа, не такие глаза. Я видал женские глаза. В них все видно.

Елена. Ну да, вы опытны, конечно.

Шервинский. Как он уехал?!

Елена. И вы бы так сделали.

Шервинский. Я? Никогда! Это позорно. Сознайтесь, что вы его не любите!

Елена. Ну, хорошо: не люблю и не уважаю. Не уважаю. Довольны? Но из этого ничего не следует. Уберите руки.

Шервинский. А зачем вы тогда поцеловались со мной?

Елена. Лжешь ты! Никогда я с тобой не целовалась. Лгун с аксельбантами!

Шервинский. Я лгу?.. А у рояля? Я пел «Бога всесильного»... и мы были одни. И даже скажу когда — восьмого ноября. Мы были одни, и ты поцеловала в губы.

Елена. Я тебя за голос поцеловала. Потому что голос у тебя замечательный. И больше ничего.

Шервинский. Ничего?

Елена. Это мучение. Честное слово! Посуда грязная. Эти пьяные. Муж куда-то уехал. Кругом свет...

Шервинский. Свет мы уберем. *(Тушит верхний свет.)* Так хорошо? Слушай, Лена, я тебя очень люблю. Я тебя все равно не выпущу. Ты будешь моей женой.

Елена. Пристал, как змея... как змея.

Шервинский. Какая же я змея?

Елена. Пользуется каждым случаем и соблазняет. Ничего ты не добьешься. Ничего. Какой бы он ни был, не стану я из-за тебя ломать свою жизнь. Может быть, ты еще хуже окажешься.

Шервинский. Лена, до чего ты хороша!

Елена. Уйди! Я пьяна. Это ты сам меня напоил нарочно. Ты известный негодяй. Вся жизнь наша рушится. Все пропадает, валится.

Шервинский. Елена, ты не бойся, я тебя не покину в такую минуту. Я возле тебя буду, Лена.

Елена. Выпустите меня. Я боюсь бросить тень на фамилию Тальберг.

Шервинский. Лена, ты брось его совсем и выходи за меня... Лена!

Целуются.

Разведешься?

Елена. Ах, пропади все пропадом!

Целуются.

Лариосик *(внезапно)*. Не целуйтесь, а то меня тошнит.

Елена. Пустите меня! Боже мой! *(Убегает.)*

Лариосик. Ох!..

Шервинский. Молодой человек, вы ничего не видали!

Лариосик *(мутно)*. Нет, видал.

Шервинский. То есть как?

Лариосик. Если у тебя король, ходи с короля, а дам не трогай!.. Не трогай!.. Ой!..

Шервинский. Я с вами не играл.

Лариосик. Нет, ты играл.

Шервинский. Боже, как нарезался!

Лариосик. Вот посмотрим, что мама вам скажет, когда я умру. Я говорил, что я человек не военный, мне водки столько нельзя. *(Падает на грудь Шервинскому.)*

Шервинский. Как надрался!

Часы бьют три, играют менуэт.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Рабочий кабинет гетмана во дворце. Громадный письменный стол, на нем телефонные аппараты. Отдельно полевой телефон На стене огромная карта в раме. Ночь. Кабинет ярко освещен. Дверь отворяется, и камер-лакей впускает Шервинского.

Шервинский. Здравствуйте, Федор.

Лакей. Здравия желаю, господин поручик.

Шервинский. Как! Никого нет? А кто из адъютантов дежурит у аппаратов?

Лакей. Его сиятельство князь Новожильцев.

Шервинский. А где же он?

Лакей. Не могу знать. С полчаса назад вышли.

Шервинский. Как это так? И аппараты полчаса стояли без дежурного?

Лакей. Да никто не звонил. Я все время был у дверей.

Шервинский. Мало ли что не звонил! А если бы позвонил? В такой момент! Черт знает что такое!

Лакей. Я бы принял телефонограмму. Они так и распорядились, чтобы, пока вы не приедете, я бы записывал.

Шервинский. Вы? Записывать военные телефонограммы?!.. Да что у него, размягчение мозга? А, понял, понял! Он заболел?

Лакей. Никак нет. Они вовсе из дворца выбыли.

Шервинский. То есть как это — вовсе из дворца? Вы шутите, дорогой Федор. Не сдав дежурства, отбыл из дворца? Значит, он в сумасшедший дом отбыл?

Лакей. Не могу знать. Только они забрали свою зубную щетку, полотенце и мыло из адъютантской комнаты. Я же им еще газету давал.

Шервинский. Какую газету?

Лакей. Я же докладываю, господин поручик: во вчерашний номер они мыло завернули.

Шервинский. Позвольте, да вот же его шашка!

Лакей. Да они в штатском уехали.

Шервинский. Или я с ума сошел, или вы. Запись-то он мне оставил, по крайней мере? Что-нибудь приказал передать?

Лакей. Приказали кланяться.

Шервинский. Вы свободны, Федор.

Лакей. Слушаю. Разрешите доложить, господин адъютант?

Шервинский. Нуте-с?

Лакей. Они изволили неприятное известие получить.

Шервинский. Откуда? Из дому?

Лакей. Никак нет. По полевому телефону. И сейчас же заторопились. При этом в лице очень изменились.

Шервинский. Я надеюсь, Федор, что вас не касается окраска лица адъютантов его светлости. Вы лишнее говорите.

Лакей. Прошу извинить, господин поручик. *(Уходит.)*

Шервинский *(говорит по телефону на гетманском столе)*. 12-23... Мерси... Это квартира князя Новожильцева?.. Попросите Сергея Николаевича... Что? Во дворце? Его нет во дворце. Я сам говорю из дворца... Постой, Сережа, да это твой голос!.. Сере... Позвольте...

Телефон звонит отбой.

Что за хамство! Я же отлнчно слышал, что это он сам. *(Пауза.)* Шервинский, Шервинский... *(Вызывает по полевому телефону, телефон пищит.)* Штаб Святошинского отряда... Попросите начштаба... Как — его нет! Помощника... Штаб Святошинского отряда?.. Что за чертовщина!.. *(Садится за стол, звонит.)*

Входит камер-лакей.

(Пишет записку.) Федор, сейчас же эту записку передайте вестовому. Чтобы срочно поехал ко мне на квартиру на Львовскую улицу, там ему по этой записке дадут сверток. Чтобы сейчас же привез его сюда. Вот два карбованца ему на извозчика. Вот записка в комендатуру на пропуск.

Лакей. Слушаю. *(Уходит.)*

Шервинский *(трогает баки, задумчиво)*. Что за чертовщина, честное слово!

На столе звонит телефон.

Я слушаю... Да. Личный адъютант его светлости поручик Шервинский... Здравия желаю, ваше превосходительство... Как-с? *(Пауза.)* Болботун?!. Как, со всем штабом?.. Слушаю!.. Так-с, передам... Слушаю, ваше превосходительство... Его светлость должен быть в двенадцать часов ночи. *(Вешает трубку.)*

Телефон звонит отбой. Пауза.

Я убит, господа! *(Свистит.)*

За сценой глухая команда: «Смирно!» — потом многоголосый крик караула: «Здравия желаем, ваша светлость!»

Лакей *(открывает обе половинки двери)*. Его светлость!

Входит гетман. Он в богатейшей черкеске, малиновых шароварах и сапогах без каблуков кавказского типа и без шпор. Блестящие генеральские погоны. Коротко подстриженные седеющие усы, гладко обритая голова, лет сорока пяти.

Гетман. Здравствуйте, поручик.

Шервинский. Здравия желаю, ваша светлость.

Гетман. Приехали?

Шервинский. Осмелюсь спросить — кто?

Гетман. Как это — кто? Я назначил без четверти двенадцать совещание у меня. Должен быть командующий русской армией, начальник гарнизона и представители германского командования. Где они?

Шервинский. Не могу знать. Никто не прибыл.

Гетман. Вечно опаздывают. Сводку мне за последний час. Живо!

Шервинский. Осмелюсь доложить вашей светлости: я только что принял дежурство. Корнет князь Новожильцев, дежуривший передо мной...

Гетман. Я давно уже хотел поставить на вид вам и другим адъютантам, что следует говорить по-украински. Это безобразие, в конце концов! Ни один мой офицер не говорит на языке страны, а на украинские части это производит самое отрицательное впечатление. Прохаю ласково.

Шервинский. Слухаю, ваша светлость. Дежурный адъютант корнет... князь... *(В сторону.)* Черт его знает, как «князь» по-украински!.. Черт! *(Вслух.)* Новожильцев, временно исполняющий обязанности... Я ду́маю... ду́маю... думова́ю...

Гетман. Говорите по-русски!

Шервинский. Слушаю, ваша светлость. Корнет князь Новожильцев, дежуривший передо мной, очевидно, внезапно заболел и отбыл домой еще до моего прибытия...

Гетман. Что вы такое говорите? Отбыл с дежурства? Вы сами-то как? В здравом уме? То есть как это — отбыл с дежурства? Значит, бросил дежурство? Что у вас тут происходит, в конце концов? *(Звонит по телефону.)* Комендатура?.. Дать сейчас же наряд... По голосу надо слышать, кто говорит. Наряд на квартиру к моему адъютанту корнету Новожильцеву, арестовать его и доставить в комендатуру. Сию минуту.

Шервинский *(в сторону)*. Так ему и надо! Будет знать, как чужими голосами по телефону разговаривать. Хам!

Гетман *(по телефону)*. Зараз! *(Шервинскому.)* Ну а запись он оставил?

Шервинский. Так точно. Но на ленте ничего нет.

Гетман. Да что ж он? Спятил? Рехнулся? Да я его расстреляю сейчас, здесь же, у дворцового парапета. Я вам покажу всем! Соединитесь сейчас же со штабом командующего. Просить немедленно ко мне! То же самое начгарнизона и всех командиров полков. Живо!

Шервинский. Осмелюсь доложить, ваша светлость, известие чрезвычайной важности.

Гетман. Какое там еще известие?

Шервинский. Пять минут назад мне звонили из штаба командующего и сообщили, что командующий добровольческой армии при вашей светлости внезапно заболел и отбыл со всем штабом в германском поезде в Германию.

Пауза.

Гетман. Вы в здравом уме? У вас глаза больные... Вы соображаете, о чем вы доложили? Что такое произошло? Катастрофа, что ли? Они бежали? Что же вы молчите? Ну!..

Шервинский. Так точно, ваша светлость, катастрофа. В десять часов вечера петлюровские части прорвали городской фронт и конница Болботуна пошла в прорыв...

Гетман. Болботуна?.. Где?..

Шервинский. За Слободкой, в десяти верстах.

Гетман. Погодите... погодите... так... что такое?.. Вот что... Во всяком случае, вы отличный, расторопный офицер. Я давно это заметил. Вот что. Сейчас же соединитесь со штабом германского командования и просите представителей его сию минуту пожаловать ко мне. Живо, голубчик, живо!

Шервинский. Слушаю. *(По телефону.)* Третий. Seien Sie bitte so liebenswürdig, Herrn Major fon Dust an den Apparat zu bitten.

Стук в дверь.

Ja... Ja...[1]

Гетман. Войдите, да.

Лакей. Представители германского командования генерал фон Шратт и майор фон Дуст просят их принять.

Гетман. Просить сюда сейчас же. *(Шервинскому.)* Отставить.

---

[1] Будьте любезны, позовите к телефону господина майора фон Дуста. Да... Да... (*нем.*)

Лакей впускает фон Шратта и фон Дуста. Оба в серой форме. Шратт — длиннолицый, седой. Дуст — с багровым лицом. Оба в моноклях.

Шратт. Wir haben die Ehre, Euer Durchlaucht zu begrüssen[1].

Гетман. Sehr erfreut, Sie zu sehen, meine Herren. Bitte nehmen Sie Platz.

Немцы усаживаются.

Ich habe eben die Nachricht von der schwierigen Lage unserer Armee erhalten[2].

Шратт. Das ist uns schon längere Zeit bekannt[3].

Гетман *(Шервинскому)*. Пожалуйста, записывайте протокол совещания.

Шервинский. По-русски разрешите, ваша светлость?

Гетман. Генерал, могу просить говорить по-русски?

Шратт *(с резким акцентом)*. О да! С большим удовольствием.

Гетман. Мне сейчас стало известно, что петлюровская конница прорвала городской фронт.

Шервинский пишет.

Кроме того, из штаба русского командования я имею какие-то совершенно невероятные известия. Штаб русского командования позорно бежал. Das ist ja unerhört![4] *(Пауза.)* Я обращаюсь через ваше посредство к германскому правительству... со следующим заявлением: Украине угрожает смертельная опасность. Банды Петлюры грозят занять столицу. В случае такого исхода в столице произойдет анархия. Поэтому я прошу германское командование немедленно дать войска для отражения хлынувших сюда банд и восстановления порядка на Украине, столь дружественной Германии.

---

[1] Имеем честь приветствовать вашу светлость (*нем.*).

[2] Я очень рад вас видеть, господа. Прошу вас, садитесь... Я только что получил известия о тяжелом положении нашей армии (*нем.*).

[3] Мы об этом знали уже давно (*нем.*).

[4] Это неслыханно! (*нем.*)

Шратт. С зожалени, германски командование не может такое сделайть.

Гетман. Как? Уведомьте, генерал, почему?

Шратт. Physisch unmöglich! Физически невозможно есть. Erstens, во-первых, по нашим сведениям, Петлюра имеет двести тисч войск, великолепно вооружен. А между тем германски командование забирайт дивизии и уводит их в Германии.

Шервинский *(в сторону)*. Мерзавцы!

Шратт. Таким образом, в распоряжении нашим вооружении достаточны сил нет. Zweitens, во-вторых, вся Украина оказывает на стороне Петлюры.

Гетман. Поручик, подчеркните эту фразу в протоколе.

Шервинский. Слушаю-с.

Шратт. Ничего не имейт протиф. Подчеркнить. Таким образом, остановить Петлюру невозможно есть.

Гетман. Значит, меня, армию и правительство германское командование внезапно оставляет на произвол судьбы?

Шратт. Ниэт, ми командированы брать мери к спасению вашей светлости.

Гетман. Какие же меры командование предлагает?

Шратт. Моментальную эвакуацию вашей светлости. Сейчас вагон и nach Германия.

Гетман. Простите, я ничего не понимаю. Как же так?.. Виноват. Может быть, это германское командование эвакуировало князя Белорукова?

Шратт. Точно так.

Гетман. Без согласия со мной? *(Волнуясь.)* Я не согласен. Я заявляю правительству Германии протест против таких действий. У меня есть еще возможность собрать армию в городе и защищать Киев своими средствами. Но ответственность за разрушение столицы ляжет на германское командование. И я думаю, что правительства Англии и Франции...

Шратт. Правительство Англии! Правительство Франции!! Германское правительство ощущает в себе достаточно силы, чтобы не давать разрушение столицы.

Гетман. Это угроза, генерал?

Шратт. Предупреждение, ваша светлость. В распоряжении вашей светлости никаких вооруженных сил нет. Положение катастрофическое...

Дуст *(тихо Шратту)*. Mein General, wir haben gar keine Zeit. Wir müssen...[1]

Шратт. Ja-ja... Ваша светлость, позвольте сказать последнее: мы сейчас перехватали сведения, что конница Петлюры восемь верст от Киева. И завтра утром она войдет...

Гетман. Я узнаю об этом последний!

Шратт. Ваша светлость, вы знаете, что будет с вами случае взятия вас в плен? На вашей светлости есть приговор. Он есть весьма печален.

Гетман. Какой приговор?

Шратт. Прошу извинения у вашей светлости. *(Пауза.)* Повиэсить. *(Пауза.)* Ваша светлость, я попросил бы ответ мгновенно. В моем распоряжении только десять маленьких минут, после этого я раздеваю с себя ответственность за жизнь вашей светлости.

Большая пауза.

Гетман. Я еду!

Шратт. Ах, едете? *(Дусту.)* Будьте любезны, де́ствовать тайно и без всяки шум.

Дуст. О, никакой шум! *(Стреляет из револьвера в потолок два раза.)*

Шервинский растерян.

Гетман *(берясь за револьвер)*. Что это значит?

Шратт. О, будьте спокойны, ваша светлость. *(Скрывается в портьере правой двери.)*

За сценой гул, крики: «Караул, в ружье!» Топот.

Дуст *(открывая среднюю дверь.)* Ruhig![2] Спокойно! Генерал фон Шратт зацепил брюками револьвер, ошибочно попал к себе на голова.

---

[1] Ваше превосходительство, у нас нет времени. Мы должны... (*нем.*)

[2] Тише! (*нем.*)

Голоса за сценой: «Гетман! Где гетман?»

Гетман есть очень здоровый. Ваша светлость, любезно высуньтесь... Караул...

Гетман *(в средних дверях)*. Все спокойно, прекратите тревогу.

Дуст *(в дверях)*. Прошу, пропускайте врача с инструментом.

Тревога утихает. Входит врач германской армии с ящиком и медицинской сумкой. Дуст закрывает среднюю дверь на ключ.

Шратт *(выходя из-за портьеры)*. Ваша светлость, прошу переодеваться в германский униформ, как будто вы есть я, а я есть раненый. Мы вас тайно вывезем из города, чтобы никто не знал, чтобы не вызвать возмущения караул.

Гетман. Делайте как хотите.

Звонок по полевому телефону.

Поручик, к аппарату!

Шервинский. Кабинет его светлости... Как?.. Что?.. *(Гетману.)* Ваша светлость, два полка сердюков перешли на сторону Петлюры... На обнаженном участке появилась неприятельская конница. Ваша светлость, что передать?

Гетман. Что передать? Передайте, чтобы задержали конницу ну хотя бы на полчаса! Я же должен уехать! Я дам им бронемашины!

Шервинский *(по телефону)*. Вы слушаете?.. Задержитесь на полчаса хотя бы! Его светлость даст вам бронемашины!

Дуст *(вынимая из ящика германскую форму)*. Ваша светлость! Где угодно?

Гетман. В спальне.

Гетман и Дуст уходят направо.

Шервинский *(у авансцены)*. Бежать, что ли? Поедет Елена или не поедет? *(Решительно, Шратту.)* Ваше превосходительство, покорнейше прошу взять меня с гет-

маном, я его личный адъютант. Кроме того, со мной... моя невеста...

Шратт. С сожалением, поручик, не только ваша невеста, но и вас не могу брать. Если вы хотите ехайть, отправляйтесь станцию наш штабной поезд. Предупреждаю — никаких мест нет, там уж есть личный адъютант.

Шервинский. Кто?

Шратт. Как его... Князь Новожильцев.

Шервинский. Новожильцев! Да когда же он успел?

Шратт. Когда бывает катастрофа, каждый стаёт проворный очень. Он был у нас в штабе сейчас.

Шервинский. И он там, в Берлине, будет при гетмане служить?

Шратт. О ниэт! Гетман будет один. Никакая свита. Мы только довезем до границ тех, кто желает спасать своя шея от ваш мужик, а там каждый как желает.

Шервинский. О, покорнейше благодарю. Я и здесь сумею спасти свою шею...

Шратт. Правильно, поручик. Никогда не следует покидать свой родина. Heimat ist Heimat[1].

Входят гетман и Дуст. Гетман переодет германским генералом. Растерян, курит.

Гетман. Поручик, все бумаги здесь сжечь.

Дуст. Herr Doctor, seien Sie so liebenswürdig...[2] Ваша светлость, садитесь.

Гетмана усаживают. Врач забинтовывает ему голову наглухо.

Врач. Fertig[3].

Шратт *(Дусту)*. Машину!

Дуст. Sogleich[4].

Шратт. Ваша светлость, ложитесь.

Гетман. Но ведь нужно объявить об этом народу... Манифест?..

---

[1] Родина есть родина (*нем.*).

[2] Господин доктор, будьте так любезны... (*нем.*)

[3] Готово (*нем.*).

[4] Сию минуту (*нем.*).

Шратт. Манифест!.. Пожалюй...

Гетман *(глухо)*. Поручик, пишите... Бог не дал мне силы... и я...

Дуст. Манифест... Нет никакой времени манифест... Из поезда телеграммой...

Гетман. Отставить!

Дуст. Ваша светлость, ложитесь.

Гетмана укладывают на носилки. Шратт прячется. Среднюю дверь открывают, появляется лакей. Дуст, врач и лакей выносят гетмана в левую дверь. Шервинский помогает до двери, возвращается. Входит Шратт.

Шратт. Все в порядке. *(Смотрит на часы-браслет.)* Один час ночи. *(Надевает кепи и плащ.)* До свидания, поручик. Вам советую не засиживаться здесь. Вы можете покойно расходиться. Снимайте погоны. *(Прислушивается.)* Слышите?

Шервинский. Беглый огонь.

Шратт. Именно. Каламбур! «Беглый»! Пропуск на боковой ход имеете?

Шервинский. Так точно.

Шратт. Auf Wiedersehen[1]. Спешите. *(Уходит.)*

Шервинский *(подавлен)*. Чистая немецкая работа. *(Внезапно оживает.)* Нуте-с, времени нету. Нету, нету... нету... *(У стола.)* О, портсигар! Золотой! Гетман забыл. Оставить его здесь? Невозможно, лакеи сопрут. Ого! Фунт, должно быть, весит. Историческая ценность. *(Прячет портсигар в карман.)* Нуте-с... *(За столом.)* Бумаг мы никаких палить не будем, за исключением адъютантского списка. *(Сжигает бумаги.)* Свинья я или не свинья? Нет, я не свинья. *(По телефону.)* 14-53... Да... Дивизион?.. Командира к телефону! Срочно!.. Разбудить! *(Пауза.)* Полковник Турбин?.. Говорит Шервинский. Слушайте, Алексей Васильевич, внимательно: гетман драпу дал... Драпанул!.. Серьезно говорю... Нет, до рассвета есть время... Елене Васильевне передайте, чтобы из дома завтра ни в коем случае не выходила... Я приеду утром прятаться. Прощайте. *(Дает отбой.)* И совесть моя чиста и спокойна... Федор!

---

[1] До свидания! (*нем.*)

Входит камер-лакей.

Вестовой привез сверточек?

Лакей. Так точно.

Шервинский. Скорей дайте его сюда!

Лакей выходит, потом возвращается с узлом.

Лакей *(растерян)*. Позвольте узнать, что с их светлостью?

Шервинский. Что это за вопрос? Гетман изволит почивать. И вообще молчите. Вы хороший человек, Федор. В вашем лице есть что-то... этакое... привлекательное... пролетарское...

Лакей. Так-с.

Шервинский. Федор, принесите мне из адъютантской комнаты мое полотенце, бритву и мыло.

Лакей. Слушаю. Газету прикажете?

Шервинский. Совершенно верно. И газету.

Лакей выходит в левую дверь. Шервинский в это время надевает штатское пальто и шляпу, снимает шпоры. Свою шашку и шашку Новожильцева увязывает в узел. Появляется лакей.

Идет мне эта шляпа?

Лакей. Как же-с. Бритвочку в карман возьмете?

Шервинский. Бритву в карман... Ну-с... Дорогой Федор, позвольте вам на память оставить пятьдесят карбованцев.

Лакей. Покорнейше благодарю.

Шервинский. Позвольте пожать вашу честную трудовую руку. Не удивляйтесь, я демократ по натуре. Федор! Я во дворце никогда не был, адъютантом никогда не служил.

Лакей. Понятно.

Шервинский. Вас не знаю. Вообще я оперный артист...

Лакей. Неужто ходу дал?

Шервинский. Смылся.

Лакей. Ах, прощелыга!

Шервинский. Бандит неописуемый!

Лакей. А нас всех, стало быть, на произвол судьбы?

Шервинский. Вы же видите. Вам-то еще полгоря, а каково мне?

Звонок телефона.

Слушаю... А! Капитан!.. Да! Бросайте все к чертовой матери и бегите... Значит, знаю, что говорю... Шервинский... Всего хорошего. До свидания!.. Дорогой Федор, как ни приятно мне беседовать с вами, но вы сами видите, что у меня времени нет никакого... Федор, пока я у власти, дарю вам этот кабинет. Что вы смотрите? Чудак! Вы сообразите, какое одеяло выйдет из этой портьеры. *(Исчезает.)*

Пауза. Звонок телефона.

Лакей. Слушаю... Чем же я вам могу помочь?.. Знаете что? Бросайте все к чертовой матери и бегите... Федор говорит... Федор!..

КАРТИНА ВТОРАЯ

Пустое, мрачное помещение. Надпись: «Штаб 1-й кинной дивизии». Штандарт голубой с желтым. Керосиновый фонарь у входа. Вечер. За окнами изредка стук лошадиных копыт. Тихо наигрывает гармоника знакомые мотивы.

Телефонист *(по телефону)*. Це я, Франько, вновь включився в цепь... В цепь, кажу!.. Слухаете?.. Це штаб кинной дивизии.

Телефон поет сигналы. Шум за сценой. Ураган и Кирпатый вводят дезертира-сечевика. Лицо у него окровавленное.

Болботун. Що такое?

Ураган. Дезертира поймали, пан полковник.

Болботун. Якого полку?

Молчание.

Якого полку, я тебя спрашиваю?

Молчание.

Телефонист. Та це ж я! Я из штабу, Франько, включился в цепь! Це штаб кинной дивизии!.. Слухаете?.. Тьфу ты, черт!..

Болботун. Що ж ты, бога душу твою мать! А? Що ж ты... У то время, як всякий честный казак вийшов на защиту Украиньской республики вид белогвардейцив та жидив-коммунистив, у то время, як всякий хлибороб встал в ряды украиньской армии, ты ховаешься в кусты? А ты знаешь, що роблють з нашими хлиборобами гетманьские офицеры, а там комиссары? Живых у землю зарывают! Чув? Так я ж тебе самого закопаю у могилу! Самого! Сотника Галаньбу!

Голос за сценой: «Сотника требуют к полковнику!» Суета.

Де ж вы его взяли?..

Кирпатый. По-за штабелями, сукин сын, бежав, ховався!..

Болботун. Ах ты зараза, зараза!

Входит Галаньба, холоден, черен, с черным штыком.

Допросить, пан сотник, дезертира... Франько, диспозицию! Не ковыряй аппарат!

Телефонист. Зараз, пан полковник, зараз! Що з ним зробишь? «Не ковыряй...»

Галаньба *(с холодным лицом)*. Якого пóлку?

Молчание.

Якого пóлку?

Дезертир *(плача)*. Я не дезертир. Змилуйтесь, пан сотник! Я до лазарету пробырався. У меня ноги поморожены зовсим.

Телефонист *(по телефону)*. Де же диспозиция?.. Прохаю ласково. Командир кинной дивизии прохае диспозицию... Вы слухаете?.. Что ты будешь робить с этим аппаратом!

Галаньба. Ноги поморожены? А чому же це ты не взяв посвидченья вид штабу своего полка? А? Якого полку? *(Замахивается.)*

Слышно, как лошади идут по бревенчатому мосту.

Дезертир. Второго сечевого.

Галаньба. Знаем вас, сечевиков. Вси зрадники. Изменники. Большевики. Скидай сапоги, скидай. И если ты

не поморозив ноги, а брешешь, то я тебя тут же расстреляю. Хлопцы! Фонарь!

Телефонист *(по телефону)*. Пришлить нам ординарца для согласования... В Слободку!.. Так! Так!.. Слухаю!.. Грицько! Хай ординарец захватит диспозицию для нашего штабу. Добре?.. Пан полковник, диспозиция зараз буде...

Болботун. Добре...

Галаньба *(вынув маузер)*. И вот тебе условие: ноги здоровые — будешь ты у меня на том свете. Отойдите сзади, чтобы я в кого-нибудь не попал.

Дезертир садится на пол, разувается. Молчание.

Болботун. Це правильно. Щоб другим був пример.

Фонарем освещают дезертира.

Кирпатый *(со вздохом)*. Поморожены... Правду казав.

Галаньба. Записку треба було узять. Записку, мразь! А не бежать из полка...

Дезертир. Нема у кого записку взять. У нас ликаря в полку нема. Никого нема. *(Плачет.)*

Галаньба. Взять его под арест! И под арестом до лазарету! Як ему ликарь ногу перевяжет, вернуть его сюды в штаб и дать ему пятнадцать шомполив, щоб вин знав, як без документов бегать с своего полку.

Ураган *(выводя)*. Иди, иди!

За сценой гармоника. Голос поет уныло: «Ой, яблочко, куды котишься, к гайдамакам попадешь — не воротишься...» Тревожные голоса за окном: «Держи их! Держи их! Мимо мосту .. Побиглы по льду...»

Галаньба *(в окно)*. Хлопцы, що там? Що?

Голос: «Якись жиды, пан сотник, мимо мосту по льду дали ходу из Слободки».

Хлопцы! Разведка! По коням! По коням! Садись! Садись! Кирпатый! А ну, проскачить за ними! Тильки живыми вызьмить! Живыми!

Болботун. Франько, держи связь!

Телефонист. Держу, пан полковник, во как держу!

Топот за сценой. Появляется Ураган, вводит человека с корзиной.

Человек с корзиной. Миленькие, я ж ничего. Что вы!.. Я ремесленник...

Галаньба. С чем задержали?

Человек с корзиной. Помилуйте, товарищ военный...

Галаньба. Що? Товарищ? Кто ж тут тебе товарищ?

Человек с корзиной. Виноват, господин военный.

Галаньба. Я тебе не господин. Господа все с гетманом в городе сейчас. И мы твоим господам кишки повыматываем. Хлопец, дай ему, тебе близче. Урежь этому господину по шее. Теперь бачишь, яки господа тут? Видишь?

Человек с корзиной. Вижу.

Галаньба. Осветить его, хлопцы! Мени щесь здается, що вин коммунист.

Человек с корзиной. Что вы! Что вы, помилуйте! Я, изволите ли видеть, сапожник.

Болботун. Що-то ты дуже гарно размовляешь на московской мови.

Человек с корзиной. Калуцкие мы, ваше здоровье. Калужской губернии. Да уж и жизни не рады, что сюда, на Украину к вам заехали. Сапожник я.

Галаньба. Документ.

Человек с корзиной. Паспорт? Сию минуту. Паспорт у меня истый, можно сказать.

Галаньба. С чем корзина? Куда шел?

Человек с корзиной. Сапоги в корзине, ваше... бла... ва... сапожки... с... Мы на магазин работаем. Сами в Слободке живем, а сапоги в город носим.

Галаньба. Почему ночью?

Человек с корзиной. Как раз в самый раз, к утру в городе.

Болботун. Сапоги... Ого-го... це гарно!

Ураган вскрывает корзину.

Человек с корзиной. Виноват, уважаемый гражданин, они не наши, из хозяйского товару.

Болботун. Из хозяйского! Це наикраще. Хозяйский товар — хороший товар. Хлопцы, берите по паре хозяйского товару.

Разбирают сапоги.

Человек с корзиной. Гражданин военный министр! Мне без этих сапог погибать. Прямо форменно в гроб ложиться! Тут на две тысячи рублей... Это хозяйское...

Болботун. Мы тебе расписку дадим.

Человек с корзиной. Помилуйте, что ж мне расписка? *(Бросается к Болботуну, тот дает ему в ухо. Бросается к Галаньбе.)* Господин кавалерист! На две тысячи рублей. Главное, что если б я буржуй был бы или, скажем, большевик...

Галаньба дает ему в ухо.

(Садится на землю, растерянно.) Что ж это такое делается? А впрочем, берите! Это значит — на снабжение армии?.. Только позвольте и мне парочку за компанию. *(Начинает снимать сапоги.)*

Телефонист. Дивись, пан полковник, что вин робит?

Болботун. Ты що ж, смеешься, гнида? Отойди от корзины. Долго ты будешь крутиться под ногами? Долго? Ну, терпение мое лопнуло. Хлопцы, расступитесь. *(Берется за револьвер.)*

Человек с корзиной. Что вы! Что вы! Что вы!..

Болботун. Геть отсюда!

Человек с корзиной бросается к двери.

Все. Покорно благодарим, пан полковник!

Телефонист *(по телефону)*. Слухаю!.. Слухаю!.. Слава! Слава! Пан полковник! Пан полковник! В штаб пришли ходоки от двух гетьманских сердюкских полкив. Батько веде с ними переговоры о переходе на нашу сторону.

Болботун. Слава! Як ти полки будут з нами, то Киев наш.

Телефонист *(по телефону)*. Грицько! А у нас сапоги новые!.. Так... так... Слухаю, слухаю... Слава! Слава, пан полковник, пожалуйте швидче до аппарату.

Болботун *(по телефону)*. Командир першей кинной дивизии полковник Болботун... Я вас слухаю... Так... Так... Выезжаю зараз. *(Галаньбе.)* Пан сотник, прикажите швидче, вси четыре полка на конь! Подступы к городу взяли! Слава! Слава!

Ураган
Кирпатый } Слава! Наступление!

Суета.

Галаньба *(в окно)*. Садись! Садись! По ко́ням!

За окном гул: «Ура!» Галаньба убегает.

Болботун. Снимай аппарат! Коня мне!

Телефонист снимает аппарат. Суета.

Ураган. Коня командиру!
Голоса. Перший курень, рысью марш!..
— Другой курень, рысью марш!

За окном топот, свист. Все выбегают со сцены. Потом гармоника гремит, пролетая...

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Вестибюль Александровской гимназии. Ружья в козлах. Ящики, пулеметы. Гигантская лестница. Портрет Александра I наверху. В стеклах рассвет. За сценой грохот: дивизион с музыкой проходит по коридорам гимназии.

Николка *(за сценой запевает на нелепый мотив солдатской песни)*.

Дышала ночь восторгом сладострастья,
Неясных дум и трепета полна.

Свист.

Юнкера *(оглушительно поют)*.

Я вас ждала с безумной жаждой счастья,
Я вас ждала и млела у окна.

Свист.

Николка *(поет)*.

Наш уголок я убрала цветами...

Студзинский *(на площадке лестницы)*. Дивизион, стой!

Дивизион за сценой останавливается с грохотом.

Отставить! Капитан!

Мышлаевский. Первая батарея! На месте! Шагом марш!

Дивизион марширует за сценой.

Студзинский. Ножку! Ножку!

Мышлаевский. Ать! Ать! Ать! Первая батарея, стой!

Первый офицер. Вторая батарея, стой!

Дивизион останавливается.

Мышлаевский. Батарея, можете курить! Вольно!

За сценой гул и говор.

Первый офицер *(Мышлаевскому)*. У меня, господин капитан, пятерых во взводе не хватает. По-видимому, ходу дали. Студентики!

Второй офицер. Вообще чепуха свинячья. Ничего не разберешь.

Первый офицер. Что ж командир не едет? В шесть назначено выходить, а сейчас без четверти семь.

Мышлаевский. Тише, поручик, во дворец по телефону вызвали. Сейчас приедет. *(Юнкерам.)* Что, озябли?

Первый юнкер. Так точно, господин капитан, прохладно.

Мышлаевский. Отчего ж вы стоите на месте? Синий, как покойник. Потопчитесь, разомнитесь. После команды «вольно» вы не монумент. Каждый сам себе

печка. Пободрей! Эй, второй взвод, в классы парты ломать, печи топить! Живо!

Юнкера *(кричат)*. Братцы, вали в класс!

— Парты ломать, печки топить!

Шум, суета.

Максим *(появляется из каморки, в ужасе)*. Ваше превосходительство, что ж это вы делаете такое? Партами печи топить?! Что ж это за поношение! Мне господином директором велено...

Первый офицер. Явление четырнадцатое...

Мышлаевский. А чем же, старик, печи топить?

Максим. Дровами, батюшка, дровами.

Мышлаевский. А где у тебя дрова?

Максим. У нас дров нету.

Мышлаевский. Ну, катись отсюда, старик, колбасой к чертовой матери! Эй, второй взвод, какого черта?..

Максим. Господи Боже мой, угодники-святители! Что же это делается! Татары, чистые татары. Много войска было... *(Уходит. Кричит за сценой.)* Господа военные, что же это вы делаете!

Юнкера *(ломают парты, пилят их, топят печь. Поют)*.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

Максим. Эх, кто же так печи растопляет?

Юнкера *(поют)*.

Ах, вы Сашки-канашки мои!..

(Печально.)

Помилуй нас, Боже, в последний раз...

Внезапный близкий разрыв. Пауза. Суета.

Первый офицер. Снаряд.

Мышлаевский. Разрыв где-то близко.

Первый юнкер. Это по нас, господин капитан, пожалуй.

Мышлаевский. Вздор! Петлюра плюнул.

Песня замирает.

Первый офицер. Я думаю, господин капитан, что придется сегодня с Петлюрой повидаться. Интересно, какой он из себя?

Второй офицер *(мрачен)*. Узнаешь, не спеши.

Мышлаевский. Наше дело маленькое. Прикажут — повидаем. *(Юнкерам.)* Юнкера, какого ж вы... Чего скисли? Веселей!

Юнкера *(поют)*.

И когда по белой лестнице
Поведут нас в синий край...

Второй юнкер *(подлетает к Студзинскому)*. Командир дивизиона!

Студзинский. Становись! Дивизион, смирно! Равнение на середину! Господа офицеры! Господа офицеры!

Мышлаевский. Первая батарея, смирно!

Входит Алексей.

Алексей *(Студзинскому)*. Список! Скольких нету?

Студзинский *(тихо)*. Двадцати двух человек.

Алексей *(рвет список)*. Наша застава на Демиевке?

Студзинский. Так точно!

Алексей. Вернуть!

Студзинский *(второму юнкеру)*. Вернуть заставу!

Второй юнкер. Слушаю. *(Убегает.)*

Алексей. Приказываю господам офицерам и дивизиону внимательно слушать то, что я им объявлю. Слушать, запоминать. Запомнив, исполнять.

Тишина.

За ночь в нашем положении, в положении всей русской армии, я бы сказал, в государственном положении Украины произошли резкие и внезапные изменения... Поэтому я объявляю вам, что наш дивизион я распускаю.

Мертвая тишина.

Борьба с Петлюрой закончена. Приказываю всем, в том числе и офицерам, немедленно снять с себя погоны, все знаки отличия и немедленно же бежать и скрыться по домам.

Пауза.

Я кончил. Исполнять приказание!

Студзинский. Господин полковник! Алексей Васильевич!

Первый офицер. Господин полковник! Алексей Васильевич!

Второй офицер. Что это значит?

Алексей. Молчать! Не рассуждать! Исполнять приказание! Живо!

Третий офицер. Что это значит, господин полковник? Арестовать его!

Шум.

Юнкера. Арестовать!

— Мы ничего не понимаем!..

— Как — арестовать?!. Что ты, взбесился?!.

— Петлюра ворвался!..

— Вот так штука! Я так и знал!..

— Тише!..

Первый офицер. Что это значит, господин полковник?

Третий офицер. Эй, первый взвод, за мной!

Вбегают растерянные юнкера с винтовками.

Николка. Что вы, господа, что вы делаете?

Второй офицер. Арестовать его! Он передался Петлюре!

Третий офицер. Господин полковник, вы арестованы!

Мышлаевский *(удерживая третьего офицера)*. Постойте, поручик!

Третий офицер. Пустите меня, господин капитан, руки прочь! Юнкера, взять его!

Мышлаевский. Юнкера, назад!

Студзинский. Алексей Васильевич, посмотрите, что делается.

Николка. Назад!

Студзинский. Назад, вам говорят! Не слушать младших офицеров!

Первый офицер. Господа, что это?

Второй офицер. Господа!

Суматоха. В руках у офицеров револьверы.

Третий офицер. Не слушать старших офицеров!

Первый юнкер. В дивизионе бунт!

Первый офицер. Что вы делаете?

Студзинский. Молчать! Смирно!

Третий офицер. Взять его!

Алексей. Молчать! Я буду еще говорить!

Юнкера. Не о чем разговаривать!

— Не хотим слушать!

— Не хотим слушать!

— Равняйся по командиру второй батареи!

Николка. Дайте ему сказать.

Третий офицер. Тише, юнкера, успокойтесь! Дайте ему высказаться, мы его не выпустим отсюда!

Мышлаевский. Уберите своих юнкеров назад сию секунду.

Первый офицер. Смирно! На месте!

Юнкера. Смирно! Смирно! Смирно!

Алексей. Да... Очень я был бы хорош, если бы пошел в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог в вашем лице. Но, господа, то, что простительно юноше-добровольцу, непростительно *(третьему офицеру)* вам, господин поручик! Я думал, что каждый из вас поймет, что случилось несчастье, что у командира вашего язык не поворачивается сообщить позорные вещи. Но вы недогадливы. Кого вы желаете защищать? Ответьте мне.

Молчание.

Отвечать, когда спрашивает командир! Кого?

Третий офицер. Гетмана обещали защищать.

Алексей. Гетмана? Отлично! Сегодня в три часа утра гетман, бросив на произвол судьбы армию, бежал, переодевшись германским офицером, в германском поезде, в Германию. Так что в то время, как поручик собирается защищать гетмана, его давно уже нет. Он благополучно следует в Берлин.

Юнкера. В Берлин?

— О чем он говорит?!

— Не хотим слушать!

Первый юнкер. Господа, да что вы его слушаете?

Студзинский. Молчать!

Гул. В окнах рассвет.

Алексей. Но этого мало. Одновременно с этой канальей бежала по тому же направлению другая каналья — его сиятельство командующий армией князь Белоруков. Так что, друзья мои, не только некого защищать, но даже и командовать нами некому, ибо штаб князя дал ходу вместе с ним.

Гул.

Юнкера. Быть не может!

— Быть не может этого!

— Это ложь!

Алексей. Кто сказал — ложь? Кто сказал — ложь? Я сейчас был в штабе. Я проверил все сведения. Я отвечаю за каждое мое слово!.. Итак, господа! Вот мы, нас двести человек. А там — Петлюра. Да что я говорю — не там, а здесь! Друзья мои, его конница на окраинах города! У него двухсоттысячная армия, а у нас — на месте мы, две-три пехотные дружины и три батареи. Понятно? Тут один из вас вынул револьвер по моему адресу. Он меня безумно напугал. Мальчишка!

Третий офицер. Господин полковник.

Алексей. Молчать! Так вот-с. Если бы вы все сейчас, вот при этих условиях вынесли бы постановление защищать... что? кого?.. одним словом, идти в бой, — я вас не поведу, потому что в балагане я не участвую, тем более что за этот балаган заплатите своей кровью и совершенно бессмысленно вы за все!

Николка. Штабная сволочь!

Гул и рев.

Юнкера. Что нам делать теперь?
— В гроб ложиться!
— Позор!..
— Поди ты к черту!.. Что ты, на митинге?
— Стоять смирно!
— В капкан загнали.

Третий юнкер *(вбегает с плачем)*. Кричали: вперед, вперед, а теперь — назад. Найду гетмана — убью!

Первый офицер. Убрать эту бабу к черту! Юнкера, слушайте: если верно, что говорит этот полковник, — равняйся на меня! Достанем эшелоны — и на Дон, к Деникину!

Юнкера. На Дон! К Деникину!..
— Легкое дело... что ты несешь!
— На Дон — невозможно!..

Студзинский. Алексей Васильевич, верно, надо все бросить и вывезти дивизион на Дон.

Алексей. Капитан Студзинский! Не сметь! Я командую дивизионом! Я буду приказывать, а вы — исполнять! На Дон? Слушайте, вы! Там, на Дону, вы встретите то же самое, если только на Дон проберетесь. Вы встретите тех же генералов и ту же штабную ораву.

Николка. Такую же штабную сволочь!

Алексей. Совершенно правильно. Они вас заставят драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу... Я знаю, что в Ростове то же самое, что и в Киеве. Там дивизионы без снарядов, там юнкера без сапог, а офицеры сидят в кофейнях. Слушайте меня, друзья мои! Мне, боевому офицеру, поручили вас толкнуть в драку. Было бы за что. Я публично заявляю, что я вас не поведу и не пущу! Я вам говорю: белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду! Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка! И вот я, кадровый офицер Алексей Турбин, вынесший войну с германцами, чему свидетелями капитаны Студзинский и Мышлаевский, я на свою совесть и ответственность принимаю все, все принимаю, предупреждаю и, любя вас, посылаю домой. Я кончил.

Рев голосов. Внезапный разрыв.

Срывайте погоны, бросайте винтовки и немедленно по домам!

Юнкера срывают погоны, бросают винтовки.

Мышлаевский *(кричит)*. Тише! Господин полковник, разрешите зажечь здание гимназии?

Алексей. Не разрешаю.

Пушечный удар. Дрогнули стекла.

Мышлаевский. Пулемет!

Студзинский. Юнкера, домой!

Мышлаевский. Юнкера, бей отбой, по домам!

Труба за сценой. Юнкера и офицеры разбегаются. Николка ударяет винтовкой в ящик с выключателями и убегает. Гаснет свет. Алексей у печки рвет бумаги, сжигает их. Долгая пауза. Входит Максим.

Алексей. Ты кто такой?

Максим. Я сторож здешний.

Алексей. Пошел отсюда вон, убьют тебя здесь.

Максим. Ваше высокоблагородие, куда ж это я отойду? Мне отходить нечего от казенного имущества. В двух классах парты поломали, такого убытку наделали, что я и выразить не могу. А свет... Много войска бывало, а такого — извините...

Алексей. Старик, уйди ты от меня.

Максим. Меня теперь хоть саблей рубите, а я не уйду. Мне что было сказано господином директором...

Алексей. Ну, что тебе сказано господином директором?

Максим. Максим, ты один останешься... Максим, гляди... А вы что же...

Алексей. Ты, старичок, русский язык понимаешь? Убьют тебя. Уйди куда-нибудь в подвал, скройся там, чтоб духу твоего не было.

Максим. Кто отвечать-то будет? Максим за все отвечай. Всякие — за царя и против царя были, были оголтелые, но чтоб парты ломать...

Алексей. Куда списки девались? *(Разбивает шкаф ногой.)*

Максим. Ваше высокопревосходительство, ведь у него ключ есть. Гимназический шкаф, а вы — ножкой. *(Отходит, крестится.)*

Пушечный удар.

Царица небесная... Владычица... Господи Иисусе...

Алексей. Так его! Даешь! Даешь! Концерт! Музыка! Ну, попадешься ты мне когда-нибудь, пан гетман! Гадина!

Мышлаевский появляется наверху. В окна пробивается легонькое зарево.

Максим. Ваше превосходительство, хоть вы ему прикажите. Что ж это такое? Шкаф ногой взломал!

Мышлаевский. Старик, не путайся под ногами. Пошел вон.

Максим. Татары, прямо татары... *(Исчезает.)*

Мышлаевский *(издали)*. Алеша! Зажег я цейхгауз! Будет Петлюра шиш иметь вместо шинелей!

Алексей. Ты, Бога ради, не задерживайся. Беги домой.

Мышлаевский. Дело маленькое. Сейчас вкачу еще две бомбы в сено — и ходу. Ты-то чего сидишь?

Алексей. Пока застава не прибежит, не могу.

Мышлаевский. Алеша, надо ли? А?

Алексей. Ну что ты говоришь, капитан!

Мышлаевский. Я тогда с тобой останусь

Алексей. На что ты мне нужен, Виктор? Я приказываю: к Елене сейчас же! Карауль ее! Я следом за вами. Да что вы, взбесились все, что ли? Будете ли вы слушать или нет?

Мышлаевский. Ладно, Алеша. Бегу к Ленке!

Алексей. Николка, погляди, ушел ли. Гони его в шею, ради Бога.

Мышлаевский. Ладно! Алеша, смотри не рискуй!

Алексей. Учи ученого!

Мышлаевский исчезает.

Серьезно. «Серьезно и весьма»... И когда по белой лестнице... поведут нас в синий край... Застава бы не засыпалась...

Николка *(появляется наверху, крадется)*. Алеша!

Алексей. Ты что же, шутки со мной вздумал шутить, что ли?! Сию минуту домой, снять погоны! Вон!

Николка. Я без тебя, полковник, не пойду.

Алексей. Что?! *(Вынул револьвер.)*

Николка. Стреляй, стреляй в родного брата!

Алексей. Болван.

Николай. Ругай, ругай родного брата. Я знаю, чего ты сидишь! Знаю, ты командир, смерти от позора ждешь, вот что! Ну, так я тебя буду караулить. Ленка меня убьет.

Алексей. Эй, кто-нибудь! Взять юнкера Турбина! Капитан Мышлаевский.

Николка. Все уже ушли.

Алексей. Ну погоди, мерзавец, я с тобой дома поговорю!

Шум и топот. Вбегают юнкера, бывшие в заставе.

Юнкера *(пробегая)*. Конница Петлюры следом!..

Алексей. Юнкера! Слушать команду! Подвальным ходом на Подол! Я вас прикрою. Срывайте погоны по дороге!

За сценой приближающийся лихой свист, глухо звучит гармоника: «И шумит, и гудит...»

Бегите, бегите! Я вас прикрою! *(Бросается к окну наверху.)* Беги, я тебя умоляю. Ленку пожалей!

Близкий разрыв снаряда. Стекла лопнули. Алексей падает.

Николка. Господин полковник! Алешка! Алешка! Что ты наделал?!

Алексей. Унтер-офицер Турбин, брось геройство к чертям! *(Смолкает.)*

Николка. Господин полковник... этого быть не может! Алеша, поднимись!

Топот и гул. Вбегают гайдамаки.

Ураган. Тю! Бач! Бач! Тримай его, хлопцы! Тримай!

Кирпатый стреляет в Николку.

Галаньба *(вбегая)*. Живьем! Живьем возьмите его, хлопцы!

Николка отползает вверх по лестнице, оскалился.

Кирпатый. Ишь волчонок! Ах сукино отродье!

Ураган. Не уйдешь! Не уйдешь!

Появляются гайдамаки.

Николка. Висельники, не дамся! Не дамся, бандиты! *(Бросается с перил и исчезает.)*

Кирпатый. Ах циркач! *(Стреляет.)* Нема больше никого.

Галаньба. Что ж вы выпустили его, хлопцы? Эх, шляпа!..

Гармоника: «И шумит, и гудит...» За сценой крик. «Слава, Слава!» Трубы за сценой. Болботун, за ним — гайдамаки со штандартами. Знамена плывут вверх по лестнице. Оглушительный марш.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Квартира Турбиных. Рассвет. Электричества нет. Горит свеча на ломберном столе.

Лариосик. Елена Васильевна, дорогая! Располагайте мной, как вам будет угодно! Хотите, я оденусь и отправлюсь их искать?

Елена. Ах, нет, нет! Что вы, Лариосик! Вас убьют на улице. Будем ждать. Боже мой, еще зарево. Какой ужасный рассвет! Что там делается? Я только хотела бы одно знать: где они?

Лариосик. Боже мой, как ужасна гражданская война!

Елена. Знаете что: я женщина, меня не тронут. Я пойду посмотрю, что делается на улице.

Лариосик. Елена Васильевна, я вас не пущу! Да я... я вас просто не пущу!.. Что мне скажет Алексей Васи-

льевич! Он велел ни в коем случае не выпускать вас на улицу, и я ему дал слово.

Елена. Я близко...

Лариосик. Елена Васильевна!

Елена. Хотя бы узнать, в чем дело...

Лариосик. Я сам пойду...

Елена. Оставьте это... Будем ждать...

Лариосик. Ваш супруг очень хорошо сделал, что отбыл. Это очень мудрый поступок. Он переживет теперь в Берлине эту ужасную кутерьму и вернется.

Елена. Мой супруг? Мой супруг?.. Имени моего супруга больше в доме не упоминайте. Слышите?

Лариосик. Хорошо, Елена Васильевна... Всегда я найду что сказать вовремя... Может быть, вы чаю хотите? Я бы поставил самоварчик...

Елена. Нет, не надо...

Стук.

Лариосик. Постойте, постойте, не открывайте, надо спросить, кто там. Кто там?

Шервинский. Это я! Я... Шервинский...

Елена. Слава Богу! *(Открывает.)* Что это значит? Катастрофа?

Шервинский. Петлюра город взял.

Лариосик. Взял? Боже, какой ужас!

Елена. Где они? В бою?

Шервинский. Не волнуйтесь, Елена Васильевна! Я предупредил Алексея Васильевича несколько часов тому назад. Все обстоит совершенно благополучно.

Елена. Как же все благополучно? А гетман? Войска?

Шервинский. Гетман сегодня ночью бежал.

Елена. Бежал? Бросил армию?

Шервинский. Точно так. И князь Белоруков. *(Снимает пальто.)*

Елена. Подлецы!

Шервинский. Неописуемые прохвосты!

Лариосик. А почему свет не горит?

Шервинский. Обстреляли станцию.

Лариосик. Ай-ай-ай...

Шервинский. Елена Васильевна, можно у вас спрятаться? Сейчас офицеров будут искать.

Елена. Ну конечно!

Шервинский. Елена Васильевна, если бы вы знали, как я счастлив, что вы живы и здоровы.

Стук в дверь.

Ларион, спросите, кто там...

Лариосик. Кто там?

Голос Мышлаевского. Свои, свои...

Лариосик открывает дверь. Входит Мышлаевский и Студзинский.

Елена. Слава тебе, Господи! А где же Алеша и Николай?

Мышлаевский. Спокойно, спокойно, Лена. Сейчас придут. Не бойся ничего, улицы еще свободны. Их обоих застава проводит. А, этот уже тут? Ну, стало быть, ты все знаешь...

Елена. Спасибо, все. Ну, немцы! Ну, немцы!

Студзинский. Ничего... ничего... когда-нибудь вспомним мы все... Ничего!

Мышлаевский. Здравствуй, Ларион!

Лариосик. Вот, Витенька, какие ужасные происшествия!

Мышлаевский. Да, происшествия первого сорта.

Елена. На кого вы похожи! Идите грейтесь, я вам сейчас самовар поставлю.

Шервинский *(от камина)*. Помочь вам, Лена?

Елена. Не надо. Я сама. *(Убегает.)*

Мышлаевский. Здоровеньки булы, пане личный адъютант. Чому же вы без аксельбантов?.. «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части»... И прослезился. За ноги вашу мамашу!

Шервинский. Что означает этот балаганный тон?

Мышлаевский. Балаган получился, оттого и тон балаганный. Ты ж сулил и государя императора и за здоровье светлости пил. Кстати, где эта светлость теперь, в настоящее время?

Шервинский. Зачем тебе?

Мышлаевский. А вот зачем: если бы мне попалась сейчас эта самая светлость, взял бы я ее за ноги и хлопал бы головой о мостовую до тех пор, пока не по-

чувствовал бы полного удовлетворения. А вашу штабную ораву в уборной следует утопить!

Шервинский. Господин Мышлаевский, прошу не забываться!

Мышлаевский. Мерзавцы!

Шервинский. Что-о?

Лариосик. Зачем же ссориться

Студзинский. Сию же минуту, как старший, прошу прекратить этот разговор! Совершенно нелепо и ни к чему не ведет! Чего ты, в самом деле, пристал к человеку? Поручик, успокойтесь.

Шервинский. Поведение капитана Мышлаевского в последнее время нестерпимо... И главное — хамство! Я, что ль, виноват в катастрофе? Напротив, я всех вас предупредил. Если бы не я, еще вопрос, сидел бы он сейчас здесь живой или нет!

Студзинский. Совершенно верно, поручик. И мы вам очень признательны.

Елена *(входит)*. Что такое? В чем дело?

Студзинский. Елена Васильевна, вы не волнуйтесь, все будет в полном порядке. Я вам ручаюсь. Идите к себе.

Елена уходит.

Виктор, извинись, ты не имеешь никакого права.

Мышлаевский. Ну, ладно, брось, Леонид! Я погорячился. Ведь такая обида!

Шервинский. Довольно странно.

Студзинский. Бросьте, совсем не до этого. *(Садится к огню.)*

Пауза.

Мышлаевский. Где Алеша с Николкой, в самом деле?

Студзинский. Я сам беспокоюсь... Пять минут жду, а после этого пойду навстречу...

Пауза.

Мышлаевский. Что ж, он, значит при тебе ходу дал?

Шервинский. При мне: я был до последней минуты.

Мышлаевский. Замечательное зрелище! Дорого бы дал, чтобы присутствовать при этом! Что же ты не пришиб его как собаку?

Шервинский. Ты бы пошел и сам его пришиб!

Мышлаевский. Пришиб бы, будь спокоен. Что ж, он тебе сказал что-нибудь на прощанье?

Шервинский. Что ж, сказал! Обнял, поблагодарил за верную службу...

Мышлаевский. И прослезился?

Шервинский. Да, прослезился...

Лариосик. Прослезился? Скажите пожалуйста!...

Мышлаевский. Может быть, подарил что-нибудь на прощанье? Например, золотой портсигар с монограммой.

Шервинский. Да, подарил портсигар.

Мышлаевский. Вишь, черт!.. Ты меня извини, Леонид, боюсь, что ты опять рассердишься. Человек ты, в сущности, неплохой, но есть у тебя странности...

Шервинский. Что ты хочешь этим сказать?

Мышлаевский. Да как бы выразиться... Тебе бы писателем быть... Фантазия у тебя богатая... Прослезился... Ну а если бы я сказал: покажи портсигар!

Шервинский молча показывает портсигар.

Убил! Действительно монограмма!

Шервинский. Что нужно сказать, капитан Мышлаевский?

Мышлаевский. Сию минуту. При вас, господа, прошу у него извинения.

Лариосик. Я в жизни не видал такой красоты! Целый фунт, вероятно, весит.

Шервинский. Восемьдесят четыре золотника.

В окно стук.

Господа!..

Встают.

Мышлаевский. Не люблю фокусов... Почему не через дверь?..

Шервинский. Господа... револьверы... лучше выбросить. *(Прячет портсигар за камин.)*

Студзинский и Мышлаевский подходят к окну и, осторожно отодвинув штору, выглядывают.

Студзинский. Ах, я себе простить не могу!

Мышлаевский. Что за дьявольщина!

Лариосик. Ах, Боже мой! *(Кидается известить Елену.)* Елена...

Мышлаевский. Куда ты, черт?.. С ума сошел!.. Да разве можно!.. *(Зажимает ему рот.)*

Все выбегают. Пауза. Вносят Николку.

Ленку, Ленку надо убрать куда-нибудь... Боже мой! Алеша-то где же?.. Убить меня мало!.. Кладите, кладите... прямо на пол...

Студзинский. Лучше бы на диван. Ищи рану, рану ищи!

Шервинский. Голова разбита!..

Студзинский. Кровь в сапоге... Снимайте сапоги...

Шервинский. Давайте перенесем его... туда... Нельзя же на полу, в самом деле...

Студзинский. Лариосик! Живо несите подушку и одеяло. Кладите на диван.

Переносят Николку на диван.

Режь сапог!.. Режь сапог!.. У Алексея Васильевича бинты в кабинете.

Шервинский убегает.

Спирт захватите! Господи Боже мой, как он подвернулся? Что такое?.. Где Алексей Васильевич?..

Шервинский прибегает с йодом и бинтами. Студзинский бинтует голову Николки.

Лариосик. Он умирает?

Николка *(приходя в себя)*. О!

Мышлаевский. С ума сойти! Говори одно только слово: где Алешка?

Студзинский. Где Алексей Васильевич?

Николка. Господа...

Мышлаевский. Что?

Стремительно входит Елена.

Леночка, ты не волнуйся. Упал он и головой ударился. Страшного ничего нет.

Елена. Да его ранили! Что ты говоришь?

Николка. Нет, Леночка, нет...

Елена. А где Алексей? Где Алексей? *(Настойчиво.)* Ты же с ним был. Отвечай одно слово: где Алексей?

Мышлаевский. Что же теперь делать-то?

Студзинский *(Мышлаевскому)*. Этого не может быть! Не может!..

Елена. Что же ты молчишь?

Николка. Леночка... Сейчас...

Елена. Не лги! Только не лги!

Мышлаевский делает знак Николке — «молчи».

Студзинский. Елена Васильевна...

Шервинский. Лена, что вы...

Елена. Ну, все понятно! Убили Алексея!

Мышлаевский. Что ты, что ты, Лена! С чего ты взяла?

Елена. Ты посмотри на его лицо. Посмотри. Да что мне лицо! Я ведь знала, чувствовала, еще когда он уходил, знала, что так кончится!

Студзинский *(Николке)*. Говорите, что с ним?

Елена. Ларион! Алешу убили...

Шервинский. Дайте воды...

Елена. Ларион! Алешу убили! Вчера вы с ним за столом сидели — помните? А его убили...

Лариосик. Елена Васильевна, миленькая...

Шервинский. Лена, Лена...

Елена. А вы?! Старшие офицеры! Старшие офицеры! Все домой пришли, а командира убили?..

Мышлаевский. Лена, пожалей нас, что ты говоришь?! Мы все исполняли его приказание. Все!

Студзинский. Нет, она совершенно права! Я кругом виноват. Нельзя было его оставить! Я старший офицер, и я свою ошибку поправлю! *(Берет револьвер.)*

Мышлаевский. Куда? Нет, стой! Нет, стой!

Студзинский. Убери руки!

Мышлаевский. Что ж, я один останусь? Ты ни в чем ровно не виноват! Ни в чем! Я его видел последним, предупреждал и все исполнил. Лена!

Студзинский. Капитан Мышлаевский, сию минуту выпустите меня!

Мышлаевский. Отдай револьвер! Шервинский!

Шервинский. Вы не имеете права! Вы что, еще хуже сделать хотите? Вы не имеете права! *(Держит Студзинского.)*

Мышлаевский. Лена, прикажи ему! Все из-за твоих слов. Возьми у него револьвер!

Елена. Я от горя сказала. У меня помутилось в голове. Отдайте револьвер!

Студзинский *(истерически)*. Никто не смеет меня упрекать! Никто! Никто! Все приказания полковника Турбина я исполнил!

Елена. Никто!.. Никто!.. Я обезумела.

Мышлаевский. Николка, говори... Лена, будь мужественна. Мы его найдем... Найдем... Говори начистоту...

Николка. Убили командира...

Елена падает в обморок.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Через два месяца. Крещенский сочельник 1919 года. Квартира освещена: Елена и Лариосик убирают елку.

Лариосик *(на лесенке)*. Я полагаю, что эта звезда... *(Таинственно прислушивается.)*

Елена. Что вы?

Лариосик. Нет, это мне показалось... Елена Васильевна, уверяю вас, это конец. Они возьмут город.

Елена. Не спешите, Лариосик, ничего еще не известно.

Лариосик. Верный признак — стрельбы нет. Откровенно вам признаюсь, Елена Васильевна, за эти пос-

ледние два месяца мне страшно надоела стрельба. Я не люблю...

Елена. Я разделяю ваш вкус.

Лариосик. Я полагаю, что эта звезда здесь будет очень уместна.

Елена. Слезайте, Лариосик, а то я боюсь, что вы себе голову разобьете.

Лариосик. Ну что вы, Елена Васильевна!.. Елка на ять, как говорит Витенька. Хотел бы я видеть человека, который бы сказал, что елка некрасива! Ах, Елена Васильевна, если бы вы знали!.. Елка напоминает мне невозвратные дни моего детства в Житомире... Огни... Елочка зеленая... *(Пауза.)* Впрочем, здесь мне лучше, гораздо лучше, чем в детстве. Вот отсюда я никуда бы не ушел... Так бы просидел весь век под елкой у ваших ног и никуда бы не ушел...

Елена. Вы бы соскучились. Вы страшный поэт, Ларион.

Лариосик. Нет, уж какой я поэт! Куда там, к чер... Ах, извините, Елена Васильевна!

Елена. Прочтите, прочтите что-нибудь новенькое. Ну прочтите. Мне очень нравятся ваши стихи. Вы очень способный.

Лариосик. Вы искренно говорите?

Елена. Совершенно искренно.

Лариосик. Ну хорошо... Я прочту... Я прочту... Посвящается... Ну, одним словом, посвящается... Нет, не буду я вам читать стихи.

Елена. Почему?

Лариосик. Нет, зачем?..

Елена. А кому посвящается?

Лариосик. Одной женщине.

Елена. Секрет?

Лариосик. Секрет. Вам.

Елена. Спасибо вам, милый.

Лариосик. Что мне спасибо?.. Из спасибо шинели не сошьешь... Ой, извините, Елена Васильевна, это я от Мышлаевского заразился. Вы знаете, такие выражения вырываются...

Елена. Я вижу. По-моему, вы в Мышлаевского влюблены.

Лариосик. Нет. Я в вас влюблен.

Елена. Не надо в меня влюбляться, Ларион, не надо.

Лариосик. Знаете что? Выйдите за меня замуж.

Елена. Вы трогательный человек. Только это невозможно.

Лариосик. Он не вернется!.. А как же вы будете одна? Одна, без поддержки, без участия. Ну, правда, я поддержка довольно парши... слабая, зато я вас очень буду любить. Всю жизнь. Вы — мой идеал. Он не приедет. Теперь в особенности, когда наступают большевики... Он не вернется!

Елена. Он не вернется. Но не в этом дело. Если бы он даже и вернулся, все равно моя жизнь с ним кончена.

Лариосик. Его отрезали... Я не мог смотреть на вас, когда он уехал. У меня сердце кровью обливалось. Ведь на вас было страшно смотреть, ей-богу...

Елена. Разве я такая плохая была?

Лариосик. Ужас! Кошмар! Худая-прехудая... Лицо — желтое-прежелтое...

Елена. Что вы выдумываете, Ларион!

Лариосик. Ой... действительно, черт-те что... Но теперь вы лучше, гораздо лучше... Вы теперь румяная-прерумяная...

Елена. Вы, Лариосик, неподражаемый человек. Идите ко мне, я вас в лоб поцелую.

Лариосик. В лоб? Ну, в лоб — так в лоб!

Елена целует его в лоб.

Конечно, разве можно меня полюбить!

Елена. Очень даже можно. Только у меня есть роман.

Лариосик. Что? Роман! У кого? У вас? У вас роман? Не может быть!

Елена. Разве уж я не гожусь?

Лариосик. Вы — святая! Вы... А кто он? Я его знаю?

Елена. И очень хорошо.

Лариосик. Очень хорошо знаю?.. Стойте... Кто же? Стойте, стойте, стойте!.. Молодой человек... вы ничего не

видали... Ходи с короля, а дам не трогай... А я думал, что это сон. Проклятый счастливец!

Елена. Лариосик! Это нескромно!

Лариосик. Я ухожу... Я ухожу...

Елена. Куда, куда?

Лариосик. Пойду к армянину за водкой и напьюсь до бесчувствия...

Елена. Так я вам и позволила... Ларион, я буду вам другом.

Лариосик. Читал, читал в романах... Как «другом буду» — значит кончено, крышка! Конец! *(Надевает пальто.)*

Елена. Лариосик! Возвращайтесь скорее! Скоро гости придут!

Лариосик, открыв дверь, сталкивается в передней с входящим Шервинским. Тот в мерзкой шляпе и изодранном пальто, в синих очках.

Шервинский. Здравствуйте, Елена Васильевна! Здравствуйте, Ларион!

Лариосик. А... здравствуйте... здравствуйте. *(Исчезает.)*

Елена. Бог мой! На кого вы похожи!

Шервинский. Ну, спасибо, Елена Васильевна. Я уж попробовал! Сегодня еду на извозчике, а уже какие-то пролетарии по тротуарам так и шныряют, так и шныряют. И один говорит таким ласковым голоском: «Ишь, украинский барин! Погоди, говорит, до завтра. Завтра мы вас с извозчиков поснимаем!» У меня глаз опытный. Я, как на него посмотрел, сразу понял, что надо ехать домой и переодеваться. Поздравляю вас, — Петлюре крышка!

Елена. Что вы говорите?!

Шервинский. Сегодня ночью красные будут. Стало быть, Советская власть и тому подобное!

Елена. Чему ж вы радуетесь? Можно подумать, что вы сами большевик!

Шервинский. Я сочувствующий! А пальтишко я у дворника напрокат взял. Это — беспартийное пальтишко.

Елена. Сию минуту извольте снять эту гадость!

Шервинский. Слушаю-с! *(Снимает пальто, шляпу, калоши, очки, остается в великолепном фрачном костюме.)* Вот, поздравьте, только что с дебюта. Пел и принят.

Елена. Поздравляю вас.

Шервинский. Лена, никого дома нет? Как Николка?

Елена. Спит...

Шервинский. Лена, Лена...

Елена. Пустите... Постойте, зачем же вы сбрили баки?

Шервинский. Гримироваться удобнее.

Елена. Большевиком вам так удобнее гримироваться. У, хитрое, малодушное создание! Не бойтесь, никто вас не тронет.

Шервинский. Ну пусть попробуют тронуть человека, у которого две полные октавы в голосе да еще две ноты наверху!.. Леночка! Можно объясниться?

Елена. Объяснитесь.

Шервинский. Лена! Вот все кончилось... Николка выздоравливает... Петлюру выгоняют... Я дебютировал... Теперь начинается новая жизнь. Больше томиться нам невозможно. Он не приедет. Его отрезали, Лена! Я не плохой, ей-богу!.. Я не плохой. Ты посмотри на себя. Ты одна. Ты чахнешь...

Елена. Ты исправишься?

Шервинский. А от чего мне, Леночка, исправляться?

Елена. Леонид, я стану вашей женой, если вы изменитесь. И прежде всего перестанете лгать!

Шервинский. Неужели я такой лгун, Леночка?

Елена. Вы не лгун, а Бог тебя знает, какой-то пустой, как орех... Что такое?! Государя императора в портьере видел. И прослезился... И ничего подобного не было. Эта длинная — меццо-сопрано, а оказывается, она — просто продавщица в кофейне Семадени...

Шервинский. Леночка, она очень недолго служила, пока без ангажемента была.

Елена. У нее, кажется, был ангажемент!

Шервинский. Лена! Клянусь памятью покойной мамы, а также и папы — у нас ничего не было. Я ведь сирота.

Елена. Мне все равно. Мне неинтересны ваши грязные тайны. Важно другое: чтобы ты перестал хвастать и лгать. Единственный раз сказал правду, когда говорил про портсигар, и то никто не поверил, доказательство пришлось предъявлять. Фу!.. Срам... Срам...

Шервинский. Про портсигар я именно все наврал. Гетман мне его не дарил, не обнимал и не прослезился. Просто он его на столе забыл, а я спрятал.

Елена. Стащил со стола?

Шервинский. Спрятал. Это историческая ценность.

Елена. Боже мой, этого еще недоставало! Дайте его сюда! *(Отбирает портсигар и прячет.)*

Шервинский. Леночка, папиросы там — мои.

Елена. Счастлив ваш Бог, что вы догадались мне об этом сказать. А если бы я сама об этом узнала?..

Шервинский. А как бы вы об этом узнали?

Елена. Дикарь!

Шервинский. Вовсе нет. Леночка, я страшно изменился. Сам себя не узнаю, честное слово! Катастрофа на меня подействовала или смерть Алеши... Я теперь иной. А материально ты не беспокойся, Ленушка, я ведь — ого-го... Сегодня на дебюте спел, а директор мне говорит: «Вы, говорит, Леонид Юрьевич, изумительные надежды подаете. Вам бы, говорит, надо ехать в Москву, в Большой театр...» Подошел ко мне, обнял меня и...

Елена. И что?

Шервинский. И ничего... Пошел по коридору...

Елена. Неисправим!

Шервинский. Лена!

Елена. Что ж мы будем делать с Тальбергом?

Шервинский. Развод. Развод. Ты адрес его знаешь? Телеграмму ему и письмо о том, что все кончено! Кончено!

Елена. Ну хорошо! Скучно мне и одиноко. Тоскливо. Хорошо! Я согласна!

Шервинский. Ты победил, Галилеянин! Лена! *(Поет.)* И будешь ты царицей ми-и-и-ра... «Соль» чистое! *(Указывает на портрет Тальберга.)* Я требую выбросить его вон! Я его видеть не могу!

Елена. Ого, какой тон!

Шервинский *(ласково)*. Я его, Леночка, видеть не могу. *(Выламывает портрет из рамы и бросает его в камин.)* Крыса! И совесть моя чиста и спокойна!

Елена. Тебе жабо очень пойдет... Красив ты, что говорить!..

Шервинский. Мы не пропадем...

Елена. О, за тебя-то я не боюсь!.. Ты не пропадешь!

Шервинский. Лена, идем к тебе... Я спою, ты проаккомпанируешь... Ведь мы два месяца не виделись. Все на людях да на людях.

Елена. Да ведь придут сейчас.

Шервинский. А мы тогда вернемся обратно.

Уходят, закрывают дверь. Слышен рояль. Шервинский великолепным голосом поет эпиталаму из «Нерона».

Николка *(входит, в черной шапочке, на костылях. Бледен и слаб. В студенческой тужурке)*. А!.. Репетируют!.. *(Видит раму портрета.)* А!.. Вышибли. Понимаю... Я давно догадывался. *(Ложится на диван.)*

Лариосик *(появляется в передней)*. Николаша! Встал? Один? Подожди, сейчас подушку тебе принесу. *(Приносит подушку Николке.)*

Николка. Не беспокойся, Ларион, не нужно. Спасибо. Видно, Ларион, я так калекой и останусь.

Лариосик. Ну что ты, что ты, Николаша, как тебе не стыдно!

Николка. Слушай, Ларион, что их-то еще нету?

Лариосик. Нет еще, но скоро будут. Ты знаешь, иду сейчас по улице — обозы, обозы, и на них эти, с хвостами. Видно, здорово поколотили их большевики.

Николка. Так им и надо!

Лариосик. Но тем не менее я водочки достал! Единственный раз в жизни мне повезло! Думал, ни за что не достану. Такой уж я человек! Погода была великолепная, когда я выходил. Небо ясно, звезды блещут, пушки не стреляют... Все обстоит в природе благополучно. Но стоит мне показаться на улице — обязательно пойдет снег. И действительно, вышел — и мокрый снег лепит в самое лицо. Но бутылочку достал! Пусть знает Мышлаевский, на что я способен. Два раза упал, затылком трахнулся, но бутылку держал в руках.

Голос Шервинского. «Ты любовь благословляешь...»

Николка. Смотри, видишь?.. Потрясающая новость! Елена расходится с мужем. Она за Шервинского выйдет.

Лариосик *(роняет бутылку)*. Уже?

Николка. Э, Лариосик, э-э!.. Что ты, Ларион, что ты?.. А-а... понимаю! Тоже врезался?

Лариосик. Никол, когда речь идет о Елене Васильевне, такие слова, как «врезался», неуместны. Понял? Она золотая!

Николка. Рыжая она, Ларион, рыжая. Прямо несчастье. Оттого всем и нравится, что рыжая. Как кто увидит, сейчас букеты начинает таскать. Так что у нас все время в квартире букеты, как веники, стояли. А Тальберг злился. Ну, ты осколки собирай, а то сейчас Мышлаевский явится, он тебя убьет.

Лариосик. Ты ему не говори. *(Собирает осколки.)*

Звонок. Лариосик впускает Мышлаевского и Студзинского. Оба в штатском.

Мышлаевский. Красные разбили Петлюру! Войска Петлюры город оставляют!

Студзинский. Да-да! Красные уже в слободке. Через полчаса будут здесь.

Мышлаевский. Завтра, таким образом, здесь получится советская республика... Позвольте, водкой пахнет! Кто пил водку раньше времени? Сознавайтесь! Что ж это делается в этом богоспасаемом доме?!.. Вы водкой полы моете?! Я знаю, чья это работа! Что ты все бьешь?! Что ты все бьешь! Это в полном смысле слова золотые руки! К чему ни притронется — бац, осколки! Ну если уж у тебя такой зуд — бей сервизы!

За сценой все время рояль.

Лариосик. Какое ты имеешь право делать мне замечания! Я не желаю!

Мышлаевский. Что это на меня все кричат! Скоро бить начнут! Впрочем, я сегодня добрый почему-то. Мир, Ларион, я на тебя не сержусь.

Николка. А почему стрельбы нет?

Мышлаевский. Тихо, вежливо идут. И без всякого боя!

Лариосик. А главное, удивительнее всего, что все радуются, даже буржуи недорезанные. До того всем Петлюра надоел!

Николка. Интересно, как большевики выглядят?

Мышлаевский. Увидишь, увидишь.

Лариосик. Капитан, ваше мнение?

Студзинский. Не знаю, ничего не понимаю теперь. Лучше всего нам подняться и уйти вслед за Петлюрой. Как мы, белогвардейцы, уживемся с большевиками, не представляю себе!

Мышлаевский. Куда за Петлюрой?

Студзинский. Пристроиться к какому-нибудь обозу и уйти в Галицию.

Мышлаевский. А потом куда?

Студзинский. А там на Дон, к Деникину, и биться с большевиками.

Мышлаевский. Опять, значит, к генералам под команду? Это очень остроумный план. Жаль, что лежит Алешка в земле, а то бы он много интересного мог рассказать про генералов. Но жаль, успокоился командир.

Студзинский. Не терзай мою душу, не вспоминай.

Мышлаевский. Нет, позвольте, его нет, позвольте, я поговорю... Опять в армию, опять биться?.. И прослезился?.. Спасибо, спасибо, я уже смеялся. В особенности когда Алешу повидал в анатомическом театре.

Николка заплакал.

Лариосик. Николаша, Николаша, что ты, погоди!

Мышлаевский. Довольно! Я воюю с девятьсот четырнадцатого года. За что? За отечество? А это отечество, когда бросили меня на позор?!.. И я опять иди к этим светлостям?! Ну нет. Видали? *(Показывает шиш.)* Шиш!

Студзинский. Изъясняйся, пожалуйста, словами.

Мышлаевский. Я сейчас изъяснюсь, будьте благонадежны. Что я, идиот, в самом деле? Нет, я, Виктор

Мышлаевский, заявляю, что больше я с этими мерзавцами-генералами дела не имею. Я кончил!

Лариосик. Виктор Мышлаевский большевиком стал.

Мышлаевский. Да, ежели угодно, я за большевиков!

Студзинский. Виктор, что ты говоришь?

Мышлаевский. Я за большевиков, но только против коммунистов.

Студзинский. Это смешно. Надо понимать, о чем ты говоришь.

Лариосик. Позволь тебе сказать, что это одно и то же: большевизм и коммунизм.

Мышлаевский *(передразнивая)*. «Большевизм и коммунизм». Ну, тогда и за коммунистов...

Студзинский. Слушай, капитан, ты упомянул слово «отечество». Какое же отечество, когда большевики? Россия кончена. Вот помнишь, командир говорил, и командир был прав: вот они, большевики!..

Мышлаевский. Большевики?.. Великолепно! Очень рад!

Студзинский. Да ведь они тебя мобилизуют.

Мышлаевский. И пойду, и буду служить. Да!

Студзинский. Почему?!

Мышлаевский. А вот почему! Потому! Потому что у Петлюры, вы говорили, сколько? Двести тысяч! Вот эти двести тысяч пятки салом подмазали и дуют при одном слове «большевики». Видал? Чисто! Потому что за большевиками мужички тучей... А я им всем что могу противопоставить? Рейтузы с кантом? А они этого канта видеть не могут... Сейчас же за пулеметы берутся. Не угодно ли... Спереди красногвардейцы, как стена, сзади спекулянты и всякая рвань с гетманом, а я посередине? Слуга покорный! Нет, мне надоело изображать навоз в проруби. Пусть мобилизуют! По крайней мере буду знать, что я буду служить в русской армии. Народ не с нами. Народ против нас. Алешка был прав!

Студзинский. Да какая же, к черту, русская армия, когда они Россию прикончили?! Да они нас все равно расстреляют!

Мышлаевский. И отлично сделают! Заберут в Чека, обложат и выведут в расход. И им спокойнее, и нам...

Студзинский. Я с ними буду биться!

Мышлаевский. Пожалуйста, надевай шинель! Валяй! Дуй!.. Шпарь к большевикам, кричи им: не пущу! Николку с лестницы уже сбросили раз! Голову видал? А тебе ее и вовсе оторвут. И правильно — не лезь. Теперь пошли дела не наши!

Лариосик. Я против ужасов гражданской войны. В сущности, зачем проливать кровь?

Мышлаевский. Ты на войне был?

Лариосик. У меня, Витенька, белый билет. Слабые легкие. И, кроме того, я единственный сын у моей мамы.

Мышлаевский. Правильно, товарищ белобилетник.

Студзинский. Была у нас Россия — великая держава!..

Мышлаевский. И будет!.. Будет!

Студзинский. Да, будет, будет — ждите!

Мышлаевский. Прежней не будет, новая будет. Новая! А ты вот что мне скажи. Когда вас расхлопают на Дону — а что вас расхлопают, я вам предсказываю, — и когда ваш Деникин даст деру за границу — а я вам это тоже предсказываю, — тогда куда?

Студзинский. Тоже за границу.

Мышлаевский. Нужны вы там, как пушке третье колесо! Куда ни приедете, в харю наплюют от Сингапура до Парижа. Я не поеду, буду здесь в России. И будь с ней что будет!.. Ну и кончено, довольно, я закрываю собрание.

Студзинский. Я вижу, что я одинок.

Шервинский *(вбегает)*. Подождите, подождите, не закрывайте собрания. Я имею внеочередное заявление. Елена Васильевна Тальберг разводится с мужем своим, бывшим полковником генерального штаба Тальбергом, и выходит... *(Кланяется, указывая рукой на себя.)*

Входит Елена.

Лариосик. А!..

Мышлаевский. Брось, Ларион, куда нам с суконным рылом в калашный ряд. Лена ясная, позволь, я тебя обниму и поцелую.

Студзинский. Поздравляю вас, Елена Васильевна.

Мышлаевский *(идет за Лариосиком, убежавшим в переднюю)*. Ларион, поздравь — неудобно! Потом опять сюда придешь.

Лариосик *(Елене)*. Поздравляю вас и желаю вам счастья. *(Шервинскому.)* Поздравляю вас... поздравляю.

Мышлаевский. Но ты молодец, молодец! Ведь какая женщина! По-английски говорит, на фортепьянах играет, а в то же время самоварчик может поставить. Я сам бы на тебе, Лена, с удовольствием женился.

Елена. Я бы за тебя, Витенька, не вышла.

Мышлаевский. Ну и не надо. Я тебя и так люблю. А сам я по преимуществу человек холостой и военный. Люблю, чтобы дома было уютно, без женщин и детей, как в казарме... Ларион, наливай! Поздравить надо!

Шервинский. Погодите, господа! Не пейте это вино! Я вам сейчас принесу. Вы знаете, какое это вино! Ого-го-го!.. *(Взглянул на Елену, увял.)* Ну так, среднее винишко. Обыкновенное Абрау-Дюрсо.

Мышлаевский. Лена, твоя работа! Женись, Шервинский... ты совершенно здоров! Ну, поздравляю вас и желаю вам...

Дверь в переднюю открывается, входит Тальберг в штатском пальто, с чемоданом.

Студзинский. Господа! Владимир Робертович... Владимир Робертович...

Тальберг. Мое почтение.

Мертвая пауза.

Мышлаевский. Это номер!

Тальберг. Здравствуй, Лена! Вы как будто удивлены?

Пауза.

Немного странно! Казалось бы, я мог больше удивляться, застав на своей половине столь веселую компанию

в столь трудное время. Здравствуй, Лена. Что это значит?

Шервинский. А вот что...

Елена. Погоди... Господа, выйдите все на минутку, оставьте нас вдвоем с Владимиром Робертовичем.

Шервинский. Лена, я не хочу!

Мышлаевский. Постой, постой... Все уладим. Соблюдай спокойствие... Нам выкатываться, Леночка?

Елена. Да.

Мышлаевский. Я знаю, ты умница. В случае чего кликни меня. Персонально. Ну что ж, господа, покурим, пойдем к Лариону. Ларнон, забирай подушку, и идем.

Все уходят, причем Лариосик почему-то на цыпочках.

Елена. Прошу вас.

Тальберг. Что это все значит? Прошу объяснить.

Пауза.

Что за шутки? Где Алексей?

Елена. Алексея убили.

Тальберг. Не может быть!.. Когда?

Елена. Два месяца тому назад, через два дня после вашего отъезда.

Тальберг. Ах, Боже мой, это ужасно! Но ведь я же предупреждал. Ты помнишь?

Елена. Да, помню. А Николка — калека.

Тальберг. Конечно, все это ужасно... Но ведь я же не виноват во всей этой истории... И согласись, это никак не причина для устройства такой, я бы сказал, глупой демонстрации.

Пауза.

Елена. Скажите, как же вы вернулись? Ведь сегодня большевики уже будут...

Тальберг. Я прекрасно в курсе дела. Гетманщина оказалась глупой опереткой. Немцы нас обманули. Но в Берлине мне удалось достать командировку на Дон, к генералу Краснову. Киев надо бросить немедленно... времени нету... Я за тобой.

Елена. Я, видите ли, с вами развожусь и выхожу замуж за Шервинского.

Тальберг *(после долгой паузы)*. Хорошо! Очень хорошо! Воспользоваться моим отсутствием для устройства пошлого романа...

Елена. Виктор!..

Входит Мышлаевский.

Мышлаевский. Лена, ты меня уполномачиваешь объясниться?

Елена. Да! *(Уходит.)*

Мышлаевский. Понял. *(Подходит к Тальбергу.)* Ну? Вон!.. *(Ударяет его.)*

Тальберг растерян. Идет в переднюю, уходит.

Мышлаевский. Лена! Персонально!

Входит Елена.

Уехал. Дает развод. Очень мило поговорили.

Елена. Спасибо, Виктор! *(Целует его и убегает.)*

Мышлаевский. Ларион!

Лариосик *(входит)*. Уже уехал?

Мышлаевский. Уехал!

Лариосик. Ты гений, Витенька!

Мышлаевский. «Я гений — Игорь Северянин». Туши свет, зажигай елку и сыграй какой-нибудь марш.

Лариосик тушит свет в комнате, освещает елку электрическими лампочками, выбегает в соседнюю комнату. Марш.

Господа, прошу!

Входят Шервинский, Студзинский, Николка и Елена.

Студзинский. Очень красиво! И как стало сразу уютно!

Мышлаевский. Ларионова работа. Ну, теперь позвольте вас поздравить по-настоящему. Ларион, довольно!

Входит Лариосик с гитарой, передает ее Николке.

Поздравляю тебя, Лена ясная, раз и навсегда. Забудь обо всем. И вообще — ваше здоровье! *(Пьет.)*

Николка *(трогает струны гитары, поет).*

Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль на радость соседей-врагов
Могильной засыплюсь землею?
Так громче, музыка, играй победу,
Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!

Мышлаевский *(поет).*

Так за Совет Народных Комиссаров...

Все, кроме Студзинского, подхватывают:

«Мы грянем громкое «Ура! Ура! Ура!».

Студзинский. Ну, это черт знает что!.. Как вам не стыдно!

Николка *(запевает).*

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник...

Лариосик. Замечательно!.. Огни... елочка...

Мышлаевский. Ларион! Скажи нам речь!

Николка. Правильно, речь!..

Лариосик. Я, господа, право, не умею! И, кроме того, я очень застенчив.

Мышлаевский. Ларион говорит речь!

Лариосик. Что ж, если обществу угодно, я скажу. Только прошу извинить: ведь я не готовился. Господа! Мы встретились в самое трудное и страшное время, и все мы пережили очень, очень много... и я в том числе. Я пережил жизненную драму... И мой утлый корабль долго трепало по волнам гражданской войны...

Мышлаевский. Как хорошо про корабль...

Лариосик. Да, корабль... Пока его не прибило в эту гавань с кремовыми шторами, к людям, которые мне так понравились... Впрочем, и у них я застал драму... Ну, не стоит говорить о печалях. Время повернулось. Вот сгинул Петлюра... Все живы... да... мы все снова вместе... И

даже больше того: вот Елена Васильевна, она тоже пережила очень и очень много и заслуживает счастья, потому что она замечательная женщина. И мне хочется сказать ей словами писателя: «Мы отдохнем, мы отдохнем...»

Далекие пушечные удары.

Мышлаевский. Так-с!.. Отдохнули!.. Пять... шесть... Девять!..

Елена. Неужто бой опять?

Шервинский. Нет. Это салют!

Мышлаевский. Совершенно верно: шестидюймовая батарея салютует.

За сценой издалека, все приближаясь, оркестр играет «Интернационал».

Господа, слышите? Это красные идут!

Все идут к окну.

Николка. Господа, сегодняшний вечер — великий пролог к новой исторической пьесе.

Студзинский. Кому пролог, а кому — эпилог.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Роман

19 и 20 главы романа *(ранняя редакция)*

19

— Шаркни ножкой, скажи дяде: здравствуй, дядя, — научила Елена, наклоняясь.

— Драсту, дядя, — недоверчиво и вздохнув сказал Петька Щеглов Мышлаевскому.

— Здравствуй, — мрачно ответил ему Мышлаевский, потом покосился вниз и добавил: — Судя по твоей физиономии, ты большой шалун.

Петька Щеглов тотчас же взялся за юбку Елены, засопел, губы выпятил кувшинчиком, нахмурился.

— Ну балбес, ну балбес длинный, чего ребенка дразнишь?

— Чиво дразнишь, — выговорил и Петька неприязненно.

Шервинский, Карась, сама Елена захохотали, а Петька спрятался за юбку, так что выглядывала левая его нога в тупоносом ботинке и праздничной лиловой штанине.

— Не слушай их, не слушай, маленький, они нехорошие, — говорила Елена, извлекая Петьку из складок, — гляди на елку, смотри, какие огоньки.

Петька вылез из юбки, глаза его устремились по направлению маленьких огней. От них вся гостиная сверкала, переливалась, источала запах леса, сверкал дед.

— Дать ему апельсин, — растрогался Мышлаевский, — дать.

— Потом апельсин, — распорядилась Елена, — а теперь танцевать давайте. Все. Танцевать хочешь? Ну, ладно.

Колыхнулась портьера, и в гостиную вышел Турбин. Он был в смокинге, открывавшем широкую белую грудь, с черными запонками. Голова его, наголо остриженная во время тифа, чуть-чуть начала обрастать, гладко выбритое лицо было лимонного оттенка, он опирался на палку. Блестящие глаза его еще больше заблестели от елочных огней. Следом за Турбиным явился Лариосик, и тоже в смокинге. И главное, добытом неизвестно где; всем отлично было известно, что в багаже Лариосика этого одеяния не было. Как большой хомут на Лариосиковой шее сидел отложной крахмальный воротник с лентой черной бабочкой, и из рукавов вылезали твердые манжеты с запонками в виде лошадиной морды с хлыстом. Лариосик целых два дня летал где-то по городу и достал все-таки смокинг, узнав, что это дело принципиальное. Петлюра — каналья. Пусть хоть десять Петлюр будет в городе, а здесь, в стенах Анны Владимировны, он не властен. Пусть стены еще пахнут формалином, пусть из-за этого чертова формалина провалилась первая елка в сочельник, не провалится вторая, и последняя, сегодня — в крещенский сочельник. Она будет, она есть, и вот он, Турбин, встал вчера, желтый. И рана его заживает чудесно. Сверхъестественно. Это даже Янчевский сказал, а он, все видевший на своем веку, знает, что сверхъестественного не бывает в жизни. Ибо все в ней сверхъестественно.

На Мышлаевском смокинг сидит, как не на каждом сядет. И не поймешь, в чем дело. И не нов, и пластрон не первоклассный, а между тем все как-то к месту. Вероятно, штаны первоклассные. Вот, например, Лариосику трудно как-то в смокинге, выражение лица трудно как-то подобрать к смокингу, и все время кажется, что подтяжки выскочат в прорез жилета, а Мышлаевский ворочается свободно, размашисто, никаких выражений лица не устраивает, а между тем его хоть в кинематографе снимай. И портит его только одно. Не свойственная Мышлаевскому дума, довольно тревожная. Она улеглась в трех складках на патрицианском лбу и в беспокойных глазах. И так: то оживится, Мышлаевский, то вдруг нахмурится и задумается. В чем дело — неизвестно. Во всяком случае, когда Николка на печке в столовой изобразил свежую своевременную надпись китайской тушью:

Пор. Мышлаевский сделал попытку воспитать ребенка в крещенский сочельник 1919 года. Он хороший семьянин, — Мышлаевскому эта надпись не понравилась. Он нахмурился, как облако, пожевал губами.

— Ты что-то много последнее время острить стал.

Николка густо раскраснелся.

— Если, Витенька, тебе не нравится, я сотру. Ты обиделся?

— Нет, не обиделся, а просто интересуюсь, чего это ты распрыгался так. Что-то больно весел. Манжетки выставил... на жениха похож.

Николка расцвел малиновым огнем, и глаза его утонули в озере смущения.

— На Мало-Провальную слишком часто ходишь, — продолжал Мышлаевский добивать противника шестидюймовыми снарядами, — это, впрочем, хорошо. Рыцарем нужно быть, поддерживай турбинские традиции.

— Не понимаю, Витенька, про что ты говоришь, — забормотал Николка, — на какую такую Провальную?..

— Вот такую самую... Иди встречай.

Звонок протрещал в передней высоко и в сердце Николки. В гостиной оборвалась на клавишах фриска из 2-й рапсодии под пальцами Елены.

— Очень рада. Очень. Позвольте же вас познакомить. Все белогвардейцы.

— У вас так нагадно, я не знала. Пгамо смутишься...

— Что вы. Не обращайте внимания. Только свои. Смокинги — это они принципиально. По поводу Петлюры.

— Социальной революции, — вставил Мышлаевский.

Ирина Най, вся в черном и траурном, худая, блекла рядом с пышной Еленой, отливающей золотом, и в елочных огнях казалась креповой свечой. Николка без толку мыкался где-то сзади представляющихся. Ему казалось, что руки и ноги у него привинчены неудобно и неудачно и некуда их пристроить. Воротничок резал шею. Он был в студенческом, еще на Карасе не было смокинга, а визитка и полосатые брюки, благодаря которым плотный Карась был похож на удачливого подрядчика. И Шервинский был не в смокинге. Но зато Шервинский один мог затмить всех в смокингах. Шервинский во фраке. Но

зато уже фрак. Будьте благонадежны. Во-первых, правая сторона пластрона у него гофрирована, с вашего разрешения, как бумажная оборка на окороке, в полулунии жилета вставлено что-то сверкающее шелковыми красками, похожее на звездный флаг величественных Соединенных Штатов. Запонки бриллиантовые, каждая — карат. Значит, 1/2 карата. Брюки заутюжены и вздернуты, так что видны ажурные чулки. И, наконец, туфли открытые с черными бантами. Будьте покойны. Через месяц будет дебютировать в Оперном, невзирая на этого мужлана с его оравой. Демона будет петь. Re...la...fa...re! Экм... Чем он хорош... Че-е-е-ем.

— Голос действительно поразительный.

— Как же, я слышала. Мне говогили пго вас. Это вы пели на гетманском вечеге в купеческом.

— Он самый.

— Пожалуйста, спойте. Очень пгошу. Демона.

— Де-мо-на. (Изображение галерки Николкой. Весьма сходно.)

— Говогят, что у вас гоос, как у Баттистини.

— И даже немного хуже.

— Не плачь, дитя... (С галерки.)

— Он не гордый. Споет.

— Ирина Феликсовна, близко не садитесь. Абсолютно невозможно слушать.

— Его лучше слушать из другой комнаты.

— А еще лучше с другой улицы.

Черными нотными значками, густыми, встал Демон над стогубой клавиатурой и вытеснил Валентина в сторону под розовый абажур. Все равно Валентина скоро убьют и даже уже убили. Будет царить коварный Демон. Но Демон не воцарился, и перешиб его Василиса. На Василисе, конечно, никаких смокингов. И даже ботинки не праздничные, а деловые, обыкновенные. Праздничные ушли на ногах Немоляки в неизвестную тьму.

Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли, —

подумал Николка и мысленно пофилософствовал: — Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные[1].

Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. Хе, хе. Как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик в двери, и вот оно. Счел своим долгом. Честь имеет кланяться. Василиса, подпрыгивая, попрощался, на Ирину Най покосился внимательнейшим образом. «Ишь, тоже смотрит, — сурово подумал Николка, — в сущности, и ловелас этот Василиса. Жалко Ванды нет, небось не посмотрел бы».

Елена просит извинения.

— Пожа-пожа-пожалуйста, — пели на разные голоса.

— Никол, играй марш пока.

— Одну секунду.

Елена ушла с письмом в спальню.

«Письмо из-за границы. Да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уж знаешь, что там такое. И как оно пришло? Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в поезде едет? Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, найдет адресата. Var... Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк, и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой серенькой бумаги лежал в пучке света.

---

[1] Далее в «новомирской» публикации следует: «И я, в сущности, симпатичен. Но горе в том, что я некрасив. Эх... Эх».

«...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве — он уезжает в Париж вместе с семьей Герц: говорят, что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...»

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил:

— От Тальберга?

Елена помолчала, ей стало стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал все до конца, потом еще раз обращение прочитал:

«Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли...»

У него на лице заиграли различные краски. Так — общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные[1].

— С каким бы удовольствием... — процедил он сквозь зубы, — я б по морде съездил...

— Кому? — спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись слезы.

— Самому себе, — ответил, изнывая от стыда доктор Турбин, — за то, что поцеловался тогда с ним.

Елена моментально заплакала.

— Сделай ты мне такое одолжение, — продолжал Турбин, — убери ты к чертовой матери вот эту штуку. — Он рукоятью ткнул в портрет на столе.

Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по-бабьи заревела, тряся пле-

---

[1] Далее в «новомирской» публикации: В общем, это бывало с доктором Турбиным редко, в общем, он был человек мягкий, совершенно излишне мягкий.

чами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадочка в золотой решетке.

«Вот помолилась... условие поставила... ну что ж... не сердись... не сердись, Матерь Божия», — подумала суеверная Елена. Турбин испугался:

— Тише, ну тише... услышат они, что хорошего?

Но в гостиной не слыхали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш «Двуглавый Орел» и слышался топот ног. Потом долетел взрыв смеха.

— Я на службу поступлю, — растерянно бормотала Елена, давясь слезами.

— А ну тебя со службой, — сипло шептал Турбин.

* * *

Елена, напудренная, с подмазанными поблекшими глазами, вышла в гостиную. Все двинулись к ней. Шервинский выпихнул на середину Петьку Щеглова. Тот, ошеломленный огнями, пляской и неизвестными веселыми людьми, готовый на все, выступил и выложил Елене с таким видом, как будто ему все равно:

— Папа мажет...

— Йодом... *(Шепот суфлера.)*

— Йодом бок, мама пляшет кек-вок.

— Господа!!

* * *

Ходить можно только до двенадцати часов ночи. Почему — неизвестно. Но до двенадцати. Поэтому ровно в четверть двенадцатого поднялась Ирина Най и стала прощаться. Огни на елке догорели, разогретая хвоя источала лесной дух, на полу блестело в двух местах олово конфет, пахло апельсиновыми корками.

— Приходите, приходите к нам еще, — говорила Елена, — мы все так рады были познакомиться с вами.

— Сейчас мы вас проводим, будьте спокойны, — говорил Мышлаевский, улыбаясь Ирине и косясь на Ни-

колку, — кто-нибудь проводит. Я или Федор Николаевич...

Николка побледнел и засопел. «Какая свинь... — подумал он слезливо, — чего он на меня взъелся и портит мне жизнь».

— Или, может быть, Никол Васильевич? — сжалился Мышлаевский. — Никол, ты можешь?.. Или ты будешь хозяйничать?

— Нет, я могу, конечно. Я... — не своим голосом ответил Николка и тотчас же надел фуражку.

— Да, я могу... сию минуту... — встрял Лариосик, хотя его никто и не просил, и тотчас начал щурить глаза, разыскивая свою шапку.

«Вот несчастье, Господи... вот несчастье», — подумал Николка и торопливо, оборвав вешалку на шинели, полез в рукава.

— Нет, Ларион, уж Никол проводит, он оделся, — отозвался с колен Мышлаевский, он застегивал пуговицы на серых ботах Ирины Най, — ты, пожалуйста, останься. Ты специалист по разведению спирта. Я спирту принес.

— Я? Ага?.. Да... — в высшей степени изумленно отозвался Лариосик, ни разу в жизни не разводивший спирта.

— Господа, напрасно вы беспокоитесь, я сама дойду. Я нисколько не боюсь.

— Нет уж, это нельзя, — скрепил Мышлаевский, — так мы вас отпустить не можем. А с Николом вы будете как за каменной стеной.

Был ясный сильный мороз, пустынная улица. Как только они вышли и дверь прогремела сложными запорами под руками Лариосика, глаза Ирины Най провалились в черных кольцах, а лицо побелело; потом брызнул из-за угла свет высокого фонаря, и они миновали дощатый забор, ограждавший двор № 13, и стали подниматься вверх по спуску. Ирина зябко передернула плечами и уткнула подбородок в мех. Николка шагал рядом, мучась страшным и непреодолимым: как предложить ей руку. И никак не мог. На язык как будто повесили гирю фунта в два. «Идти так нельзя. Невозможно. А как сказать?.. Позвольте вам... Нет, она, может быть, что-нибудь подума-

ет. И может быть, ей неприятно идти со мной под руку?.. Эх!..»

— Какой мороз, — сказал Николка.

Ирина глянула вверх, где в небе многие звезды и в стороне иа скате купола луна над потухшей семинарией на далеких горах, ответила:

— Очень. Я боюсь, что вы замегзнете.

«На тебе. На, — подумал тяжко Николка, — не только не может быть и речи о том, чтобы взять ее под руку, но ей даже неприятно, что я с ней пошел. Иначе никак иельзя истолковать такой иамек...»

Ирина тут же поскользнулась, крикнула «ай» и ухватилась за рукав шинели. Николка захлебнулся. Но такой случай все-таки не пропустил. Ведь уж дураком нужно быть. Он сказал:

— Позвольте вас под руку...

— А где ваши пегчатки?.. Вы замезгнете... Не хочу.

Николка побледнел и твердо поклялся звезде Венере: «Приду и тотчас же застрелюсь. Кончено. Позор».

— Я забыл перчатки под зеркалом...

Тут ее глаза оказались поближе возле него, и он убедился, что в этих глазах не только чернота звездной ночи и уже тающий траур по картавому полковнику, но лукавство и смех. Она сама взяла правой рукой его правую руку, продернула ее через свою левую, кисть его всунула в свою муфту, уложила рядом со своей и добавила загадочные слова, над которыми Николка продумал целых двенадцать минут до самой Мало-Провальной:

— Нужно быть половчей...

«Царевна... На что я надеюсь? Будущее мое темно и безнадежно. Я неловок. И университета еще даже не начинал... Красавица...» — думал Никол. И никакой красавицей Ирина Най вовсе не была. Обыкновенная миловидная девушка с черными глазами. Правда, стройная, да еще рот недурен, правилен, волосы блестящие, черные.

У флигеля, в первом ярусе таинственного сада, у темной двери остановились. Луна где-то вырезывалась за переплетом деревьев, и снег был пятнами, то черный, то фиолетовый, то белый. Во флигеле все окошки были черны, кроме одного, светящегося уютным огнем. Ирина

прислонилась к черной двери, откинула голову и смотрела на Николку, как будто чего-то ждала. Николка в отчаянии что он, «О, глупый», за двадцать минут ничего ровно не сумел ей сказать, в отчаянии, что сейчас она уйдет от него в дверь, в этот момент, как раз когда какие-то важные слова складываются у него в ннкуда не годной голове, осмелел до отчаяния, сам залез рукой в муфту и искал там руку, в великом изумлении убедившись, что эта рука, которая всю дорогу была в перчатке, теперь оказывается без перчатки. Кругом была совершенная тишина. Город спал.

— Идите, — сказала Ирина Най очень негромко, — идите, а то вас петлюговцы агестуют.

— Ну и пусть, — искренне ответил Николка, — пусть.

— Нет, не пусть. Не пусть.. — Она помолчала. — Мне будет жалко...

— Жал-ко?.. А?.. — И он сжал руку в муфте сильней.

Тогда Ирина высвободила руку вместе с муфтой, так с муфтой и положила ему на плечо. Глаза ее сделались чрезвычайно большими, как черные цветы, как показалось Николке, качнула Николку так, что он прикоснулся пуговицами с орлами к бархату шубки, вздохнула и поцеловала его в самые губы.

— Может быть, вы хгабгый, но такой неповоготливый...

Тут Николка, чувствуя, что он стал безумно храбрым, отчаянным и очень поворотливым, охватил Най и поцеловал в губы. Ирина Най коварно закннула правую руку назад и, не открывая глаз, ухитрилась позвонить. И тотчас шаги и кашель матери послышались во флигеле, и дрогнула дверь... Николкины руки разжались.

— Завтга пгиходите, — зашептала Най, — вечегом. А сейчас уходите, уходите...

По совершенно пустым улицам, хрустя, вернулся Николка, и почему-то не по тротуару, а по мостовой посредине, близ рельсов трамвая. Он шел как пьяный, расстегнув шинель, заломив фуражку, чувствуя, что мороз так и щиплет уши. В голове и на языке гудела веселая фриска из рапсодии, а ноги шли сами. Город был бел, ослеплен луной, и тьма-тьмущая звезд красовалась над головой. Ни один черт их не подсчитает. Да и надобности нет счи-

тать их, знать по именам. Кажется, сидела среди них одна пастушеская вечерняя Венера, да еще мерцал безумно далекий, зловещий и красный Марс.

* * *

Рана Турбина заживала сверхъестественно. Круглые дырки перестали источать гной. Затем они стали зарастать. Турбин перестал носить разрезанные рубахи, уменьшилась повязка, а 24 января Николка спустился по лестнице, все двери прошел и снял заклейку с таблицы. Таблица выглянула на свет Божий. Ясным ровным молочным январским днем в кабинете Турбина горел синим лохматым пламенем примус; Турбин возился в белом кабинетике, звеня инструментами, пересматривая и перекладывая какие-то склянки. Вечер 24 января тов.Турбин походил по гостиной, очень часто поглядывая на карманные часы, в восемь часов вечера оделся и ушел из квартиры, неопределенно сказав:

— Вернусь в половине десятого или в одиннадцать.

И вечер пошел своим порядком. Понятное дело, появились и Шервинский и Мышлаевский. Карась бывал редко. Карась решил плюнуть на все и, запасшись студенческим документом, а офицерские запрятав куда-то, так что сам черт бы их не нашел, ухитрился поступить в петлюровскую продовольственную управу. Изредка Карась появлялся в турбинском убежище и рассказывал, какой нехороший украинский язык.

— Какой он украинский?.. — сипел Мышлаевский. — Никогда на таком языке никакой дьявол не говорил. Это его твой этот, как его, Винниченко выдумал...

— Почему он мой?.. — протестовал Карась. — Я ничего общего с ним не желаю иметь.

— И не имей, — говорил Мышлаевский, выставляя ноги на середину комнаты, — подозрительная личность этот Винниченко, а ты джентльмен.

— Выбачайте, панове, — говорил по-украински Николка и делал при этом маленькие глаза.

Если при этом присутствовал Турбин, он говорил:

— Я тебя покорнейше прошу не говорить на этом языке.

— Выбачаюсь, — отвечал Николка.

Потом с Николкой происходила резкая перемена. Он переставал шутить, становился серьезным и выбирался к себе в комнату; там дольше, чем обыкновенно, делал туалет, там же надевал пальто и уходил, стараясь сделать это незаметно. Но, несмотря на все это, все прекрасно знали, куда направляется Николка. Да и знать это было нетрудно. Николка приобрел страсть к крахмальным воротничкам. Щеткой чистил локти, которые вечно были в мелу, и один раз неожиданно побрился, взяв для этой цели бритву у Лариосика. Вежливый и отзывчивый Лариосик охотно снабдил Николку всеми принадлежностями, необходимыми для бритья, но не удержался, чтобы не сказать, щурясь и моргая:

— Ты, Николка, светлый, тебе, в сущности, можно и не бриться. Ничего не заметно. А щеку ты подпирай языком...

Николка, косясь в зеркало, подпер густо намыленную щеку языком, и тотчас по щеке, смешиваясь с белым мылом, потекла вишневая кровь.

Итак, братья Турбины большею частью отсутствовали по вечерам. Мышлаевский же и Шервинский прочно обосновались в убежище и ночевали почти всякую ночь. Благодаря присутствию Мышлаевского все трапезы, как дневные, так и вечерние, превратились в закусывания, при которых горячие блюда были второстепенными добавлениями. В фокусе стали селедки под острым соусом, огурцы и лук, и в столовой в конце концов утвердился прочный запах небольшого и уютного ресторана.

— Ты, Виктор, такую массу водки пьешь, что у тебя склероз сделается, — говорила золотая Елена, плавая в струях синего табачного дыма.

— Шампанского для нас еще Петлюра не припас, — хрипел Мышлаевский, исчезая в облаках ядовитого дыма, — вся надежда на большевиков; теперь, может, они напоят.

* * *

Глубокими вечерами или ночью, когда уже все сходились, и Турбин, таинственно погруженный в свои склянки и бумаги, сидел, окрашенный зеленым светом, у себя в

спальне, из комнаты Николки доносились гитарные звоны-переливы, и часто, сидя по-турецки на кровати, слушал Николка, как Лариосик декламирует ему свои стихи.

И падает время,
И падает время... —

глухим голосом читал Лариосик, выкатывая глаза, —

Как капли в пещере...

— Очень хорошо, Ларион, очень, — одобрял Николка.

Да, время падало совершенно незаметно, как капли в пещере. Пролетали белые дни то с вертящмися метелями, то закованные в белый мороз, медленно протекали жаркие вечера. Из гостиной часто слышалось медовое пение Демона:

К тебе я стану прилетать...

Демон каждый вечер в бобровой шапке и шубе приезжал в трамвае из далекого Дикого переулка. И пел. Голос его становился все лучше и лучше, как будто бы с каждым днем.

«В сущности, дрянь малый, беспринципный, — думала Елена в тихой печали, глядя в окно на оперные огни, — но голос изумительный, Бог его знает, приспособленный. Нет, этот не пропадет, будьте покойны».

Огни подмигивали ложно, как будто стараясь уверить, что все хорошо и спокойно в Городе, что Петлюра — это так, вздор — Петтура, а соль вся здесь, в теплых стенах, в полутемной гостиной. И чувствовалось, что это ложно, увы, нет там, в небесах, покоя, где горит дрожащий Марс. Нужно ловить каждую эту минутку, что падает, как капля, в жарком доме, скатываясь с часов; а то кто поручится, что не разломятся небеса змеевидной шрапнельной ракетой, не заворчит опять даль.

— Оставьте руку, Шервинский, — вяло говорила Елена полушепотом, — оставьте.

Но Шервинский не отставал, пальцы его играли на кисти, потом пробирались к локтю, к плечу. Изредка он

наклонялся к плечу, норовил гладкими бритыми губами поцеловать в плечо.

— Ах, наглец, наглец, — шепотом говорила Елена. Гитара... трэнь... трэнь... Неопределенно... глухо... потому что, видите ли, ничего еще не известно...

«Не было печали, — думал под зеленым абажуром Турбин, — от одной дряни избавились, и обязательно будет другая. Вот чертовы бабы... Никогда их к хорошему человеку не потянет. Он, правда, особенного ничего плохого не сделал, но ведь какой же он, к черту, муж? Врун, каких свет не производил, идейки никакой в голове. Только что голос. Но ведь голос можно и так слушать, не выходя замуж. Да... А, черт...»

Турбин вставал, ходил, курил, дергал ртом, и все прогулки по комнате неизменно заканчивались одним и тем же: Турбин доставал из ящика письменного стола кабинетный портрет, откидывал папиросную бумагу и вглядывался в лицо женщины с черными бровями и светлыми волосами. Вздыхал, рот кривил. Говорил — «не пойду...». Стискивал зубы и немедленно уезжал.

Глубокими вечерами сидел в пыльной, низкой, со старинным запахом комнате и бормотал, глядя то на эполеты сороковых годов, то в глаза Юлии Марковны:

— Скажи мне, кого ты любишь?

— Никого, — отвечала Юлия Марковна и глядела так, что сам черт не разобрал бы, правда ли это или нет.

— Выходи за меня... выходи, — говорил Турбин, стискивая руку.

Юлия Марковна отрицательно качала головой и улыбалась.

Турбин хватал ее за горло, душил, шипел:

— Скажи, чья это карточка стояла на столе, когда я раненый был у тебя?.. Черные баки...

Лицо Юлии Марковны наливалось кровью, она начинала хрипеть. Жалко — пальцы разжимаются.

— Это мой двою... троюродный брат.

— Где он?

— Уехал в Москву.

— Большевик?

— Нет, он инженер.

— Зачем в Москву поехал?

— Дело у него.

Кровь отливала, и глаза Юлии Марковны становились хрустальными. Интересно, что можно прочитать в хрустале? Ничего нельзя.

— Почему тебя муж оставил?

— Я его оставила.

— Почему?

— Он — дрянь.

— Ты дрянь и лгунья. Я тебя люблю, гадину.

Юлия Марковна улыбалась.

Так вечера и так ночи. Турбин уходил около полуночи через многоярусный сад, с искусанными губами. Смотрел на дырявый закостеневший переплет деревьев, что-то шептал.

— Деньги нужны...

И однажды напоролся на Николку. Николка, блестя воротничком и пуговицами шинели, шел, заломив голову и изучая звезды. Так и столкнулись нос к носу в нижнем ярусе сада у начала кирпичной дорожки, ведущей к мшистой калитке. Произошла пауза.

— Ты, Никол? Ты где был? Гм...

— Я к Най-Турсам ходил, — сообщил Николка, убирая глаза куда-то в сторону, — расписание поездов иосил.

— Разве они уезжают?

— Нет, они нет, — ответил неожиданно навравший про расписание Николка и сам же испугался. Как это так уезжают? Кто уезжает? Даже жутко. — Нет, это, видишь ли, Алеша, старушка-хозяйка.

— Ну, ладно. Не важно... Так они тут во флигеле?

— Ей-богу, — сказал Николка.

— Ну, идем вместе.

Братья заскрипели по снегу. Захлопнули калитку.

— А ты, Алеша, здесь тоже был?

— М-да, — послышалось в воротнике.

— По делам или к больному?

— К... угу, — ответил воротник.

— Оригинальный сад, — начал занимать Николка брата разговором, — все ярусы, ярусы, флигеля...

— Угу.

* * *

Турбин дал себе слово не читать газет, тем более украинских. Сидел дома, смутно слышал о том, что творится в Городе; за вечерним чаем, лишь только начинался разговор о Петлюре, начинал речь о том, что это, конечно, мнф и что продолжаться это долго не может.

— А что же будет? — спросила Елена.

— А будут, кажется, большевики, — ответил Турбин.

— Господи, Боже мой, — сказала Елена.

— Пожалуй, лучше будет, — неожиданно вставил Мышлаевский, — по крайней мере сразу поотвинчивают нам всем головы, и станет чисто и спокойно. Зато на русском языке. Заберут в эту, как их, че-ку, по матери обложат и выведут в расход.

— Что ты гадости какие-то говоришь?

— Извини, Леночка, но, кажется, что-то здорово с Москвы ветром потянуло.

— Да, будьте любезны, — присоединился к разговору и Демон-Шервинский и выложил на стол газету — «Вести».

— Вот сволочь, — ответил Турбин, — как же она уцелела?

Действительно, эта бессмертная газета была единственно уцелевшей на русском языке. Полмесяца жила газета тем, что поносила покойного гетмана и говорила о том, что Петлюра имеет здоровые корни и что мобилизация идет у нас блестяще. Вторые полмесяца она печатала приказы таинственного Петлюры на двух языках — ломаном украинском и параллельно ломаном русском, а третьи — передовые о том, что большевики негодяи и покушаются иа здоровую украинскую государственность, и еще какие-то таинственные и мутные сводки, из которых можно было при внимательном чтении узнать, что какая-то чепуха вновь закипает на Украине и где-то, оказывается, идет драка с поляками, где-то идет драка с большевиками, причем...

— Позвольте... позвольте...

Р-раз... и нарушил Турбин свое честное слово. Впился в газету...

...врачам и фельдшерам явиться на регистрацию... под угрозой тягчайшей ответственности...

— Начальник санитарного управления у этого босяка Петлюры доктор Курицкий...

— Ты смотри, Алексей, лучше зарегистрируйся, — насторожился Мышлаевский, — а то влипнешь, как пить дать. Ты на комиссию подай.

— Покорнейше благодарю, — Турбин указал на плечо, — а они меня разденут и спросят, кто вам это украшение посадил? Дырки-то свежие. И влипнешь еще хуже. Вот что придется сделать. Ты, Никол, снеси за меня эту идиотскую анкету, сообщишь, что я немного нездоров. А там видно будет.

— А они тебя катанут в полк, — сказал Мышлаевский, — раз ты здоровым себя покажешь.

Турбин сложил кукиш и показал его туда, где можно было предполагать мифического и безликого Петлюру.

— В ту же минуту на нелегальное положение, и буду сидеть, пока этого проходимца не вышибут из Города.

— Уберут, — сказал уверенно Карась.

— Кто?

— Об этом товарищ Троцкий позаботится, можешь быть уверен, — пояснил мрачный Мышлаевский.

* * *

Деньги. Черт возьми, практика лопнула. Позвольте. Звонок. Ну-ка, Никол, открывай.

Первый пациент появился 30 января вечером, часов около шести. Вежливо приподняв шапку Николке, он подиялся с ним вместе по лестнице, в передней снял пальто с козьим мехом и попал в гостиную. Обитатели квартиры сошлись в столовой и повели тихую беседу, как всегда бывало, когда Алексей начинал принимать.

— Пожалуйте, — сказал Турбин.

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточены. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет.

— Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

— У меня сифилис, — хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина прямо и мрачно.

— Лечились уже?

— Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало.

— Кто направил вас ко мне?

— Настоятель церкви Николая Доброго отец Александр.

— Как?

— Отец Александр.

— Вы что же, знакомы с ним?

— Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение, — объяснил посетитель, глядя в небо. — Мне не следовало лечиться... Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне Богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что это я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему.

Турбин внимательнейшим образом вгляделся в зрачки пациенту и первым долгом начал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.

— Вот что, — сказал Турбин, отбрасывая молоток, — вы человек, по-видимому, религиозный?

— Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь ему. Единственному прибежищу и утешителю.

— Это, конечно, очень хорошо, — отозвался Турбин, не спуская глаз с его глаз, — и я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую: на время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею фикс. А в вашем состоянии это вредно. Вам нужен воздух, движение и сон.

— По ночам я молюсь.

— Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой.

Больной покорно опустил глаза.

Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру.

— Кокаин нюхали?

— В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет.

«Черт его знает... а вдруг жулик... притворяется; надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».

Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного большой знак вопроса. Белый знак превратился в красный.

— Вот видите, дермографизм у вас есть. Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание.

— Хорошо, доктор.

— Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщины тоже...

— Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей, — говорил больной, застегивая рубашку, — злой гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.

— Батюшка, нельзя так, — застонал Турбин, — ведь вы же в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?

— Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками.

— Как вы говорите? С черными баками? А скажите, пожалуйста, где он живет?

— Он уехал в царство антихриста, в Москву, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра...

— Это вы большевиков аггелами? Согласен. Но все-таки так нельзя...

— «Баки»... — Вот что... Вы бром будете пить. По столовой ложке три раза в день... Какой он из себя... этот ваш предтеча?

— Он черный...

— Молодой?

— Да, он молод. Но мерзости в нем, как в тысячелетнем диаволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны, и идущего за ним.

— Троцкого?!

— Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.

— Серьезно вам говорю: если вы не прекратите это, вы смотрите... у вас мания развивается...

— Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?

— Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой»? Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я за курс, как все. Если будете лечиться у меня, оставьте часть в задаток[1].

— Очень хорошо.

Френч расстегнулся.

— У вас, может быть, денег мало? — пробурчал Турбин, глядя на потертые колени, — «Нет, он не жулик... иет... но свихнется».

— Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по-своему человечество.

— И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.

— Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там. — Больной вдохновенно указал в беленький потолок. — А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.

— Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.

— Нельзя зарекаться, доктор, ох нельзя, — бормотал больной, напяливая козий мех в передней, — ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь.

«Где-то я уже слыхал это?.. Ах, ну, конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу — прелесть».

— Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно... Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста...

---

[1] Здесь тоже есть несколько мелких разночтений, которые можно указать при подготовке академического издания романа.

* * *

Однажды вечером Шервинский вдохновенно поднял руку и молвил:

— Ну-с? Здорово? И когда стали их поднимать, оказалось, что на папахах у них красные звезды...

Открыв рты, Шервинского слушали все, даже Анюта прислонилась к дверям.

— Какие такие звезды? — мрачнейшим образом расспрашивал Мышлаевский.

— Маленькие, как кокарды, пятиконечные. На всех папахах. А в середине серп и молоточек. Прут, как саранча, из-за Днепра... так и лезут. Первую дивизию Петлюрину побили, к чертям.

— Да откуда это известно? — подозрительно спросил Мышлаевский.

— Очень хорошо известно, если уже есть раненые в госпиталях в Городе.

— Алеша, — вскричал Николка, — ты знаешь, красные идут! Сейчас, говорят, бои идут под Бобровицами.

Турбин первоначально перекосил злобно лицо и сказал с шипением:

— Так и надо. Так ему, сукину сыну, мрази, и надо. — Потом остановился и тоже рот открыл. — Позвольте... это еще, может быть, так, утки... небольшая банда...

— Утки? — радостно спросил Шервинский. Он развернул «Весть» и маникюренным ногтем отметил:

«На Бобровицком направлении наши части доблестным ударом отбросили красных».

— Ну, тогда действительно гроб... Раз такое сообщено, значит, красные Бобровицы взяли.

— Определенно, — подтвердил Мышлаевский.

* * *

Эполеты на черном полотне. Старая кушетка.

— Ну-с, Юленька, — молвил Турбин и вынул из заднего кармана револьвер Мышлаевского, взятый напрокат на один вечер, — скажи, будь добра, в каких ты отношениях с Михаилом Семеновичем Шполянским?

Юлия попятилась, наткнулась на стол, абажур звякнул... дзинь... В первый раз лицо Юлии стало неподдельно бледным.

— Алексей... Алексей... что ты делаешь?

— Скажи, Юлия, в каких ты отношениях с Михаилом Семеновичем? — повторил Турбин твердо, как человек, решившийся наконец вырвать измучивший его гнилой зуб.

— Что ты хочешь знать?— спросила Юлия, глаза ее шевелились, она руками закрылась от дула.

— Только одно: он твой любовник или нет?

Лицо Юлии Марковны ожило немного. Немного крови вернулось к голове. Глаза ее блеснули странно, как будто вопрос Турбина показался ей легким, совсем нетрудным вопросом, как будто она ждала худшего. Голос ее ожил.

— Ты не имеешь права мучить меня... ты, — заговорила она, — ну хорошо... в последний раз говорю тебе — он моим любовником не был. Не был. Не был.

— Поклянись.

— Клянусь.

Глаза у Юлии Марковны были насквозь светлы, как хрусталь.

Поздно ночью доктор Турбин стоял перед Юлией Марковной на коленях, уткнувшись головой в колени, и бормотал:

— Ты замучила меня. Замучила меня, и этот месяц, что я узнал тебя, я не живу. Я тебя люблю, люблю... — страстно, облизывая губы, он бормотал...

Юлия Марковна наклонялась к нему и гладила его волосы.

— Скажи, зачем ты мне отдалась? Ты меня любишь? Любишь? Или же нет?

— Люблю, — ответила Юлия Марковна и посмотрела на задний карман стоящего на коленях.

* * *

Когда в полночь Турбин возвращался домой, был хрустальный мороз. Небо висело твердое, громадное, и звезды на нем были натисканы красные, пятиконечные.

Громаднее всех и всех живее — Марс. Но доктор не смотрел на звезды.

Шел и бормотал:

— Не хочу испытаний. Довольно. Только эта комната. Эполеты. Шандал.

В три дня все повернулось наново, и испытание — последнее перед началом новой, неслыханной и невиданной жизни — упало сразу на всех. И вестником его был Лариосик. Это произошло ровно в четыре часа дня, когда в столовой собрались все к обеду. Был даже Карась. Лариосик появился в столовой в виде несколько более парадном, чем обычно (твердые манжеты торчали), и вежливо и глухо попросил:

— Не можете ли вы, Елена Васильевна, уделить мне две минуты времени?

— По секрету? — спросила удивленная Елена, шурша поднялась и ушла в спальню.

Лариосик приплелся за ней.

— Придумал Ларион что-то интересненькое, — задумчиво сказал Николка.

Мышлаевский, с каждым днем мрачневший, мрачно оглянулся почему-то (он разбавлял на буфете спирт).

— Что такое? — спросила Елена.

Лариосик потянул носом воздух, прищурился на окно, поморгал и произнес такую речь:

— Я прошу у вас, Елена Васильевна, руки Анюты. Я люблю эту девушку. А так как она одинока, а вы ей вместо матери, я, как джентльмен, решил довести об этом до вашего сведения и просить вас ходатайствовать за меня.

Рыжая Елена, подняв брови до предела, села в кресло. Произошла большая пауза.

— Ларион, — наконец заговорила Елена, — решительно не знаю, что вам на это и сказать. Во-первых, простите, ведь так недавно еще пережили вашу драму... Вы сами говорили, что это неизгладимо...

Лариосик побагровел.

— Елена Васильевна, я вычеркнул ту дурную женщину из своего сердца. И даже карточку ее разорвал. Кончено. — Лариосик ладонью горизонтально отрезал кусок воздуха.

— Потом... Да вы серьезно говорите?

Лариосик обиделся.

— Елена Васильевна... Я...

— Ну простите, простите... Ну если серьезно, то вот что. Все-таки, Ларион Ларионыч, вы не забывайте, что вы по происхождению вовсе не пара Анюте...

— Елена Васильевна, от вас с вашим сердцем я никак не ожидал такого возражения.

Елена покраснела, запуталась.

— Я говорю это только вот к чему — возможен ли счастливый брак при таких условиях? Да и притом, может быть, она вас не любит?

— Это другое дело, — твердо вымолвил Лариосик, — тогда, конечно... Тогда... Во всяком случае, я вас прошу передать ей мое предложение...

— Почему вы ей сами не хотите сказать?

Лариоснк потупился.

— Я смущаюсь... я застенчив.

— Хорошо, — сказала Елена, вставая, — но только хочу вас предупредить... мне кажется, что она любит кого-то другого...

Лариосик изменился в лице и затопал вслед за Еленой в столовую. На столе уже дымился суп.

— Начинайте без меня, господа, — сказала Елена, — я сейчас...

В комнате за кухней Анюта, сильно изменившаяся за последнее время, похудевшая и похорошевшая какою-то наивной зрелой красотой, попятилась от Елены, взмахнула руками и сказала:

— Да что вы, Елена Васильевна. Да не хочу я его.

— Ну что же... — ответила Елена с облегченным сердцем, — ты не волнуйся, откажи и больше ничего. И живи спокойно. Успеешь еще.

В ответ на это Анюта взмахнула руками и, прислонившись к косяку, вдруг зарыдала.

— Что с тобой? — беспокойно спросила Елена. — Анюточка, что ты? Что ты? Из-за таких пустяков?

— Нет, — ответила, всхлипывая, Анюта, — нет, не пустяки. Я, Елена Васильевна, — она фартуком размазала по лицу слезы и в фартук сказала, — беременна.

— Что-о? Как? — спросила ошалевшая Елена таким тоном, словно Анюта сообщила ей совершенно невероятную вещь. — Как же ты это? Анюта?

* * *

В спальне под соколом поручик Мышлаевский впервые в жизни нарушил правило, преподанное некогда знаменитым командиром тяжелого мортирного дивизиона, — артиллерийский офицер никогда не должен теряться.

Если он теряется, он не годится в артиллерию.

Поручик Мышлаевский растерялся.

— Знаешь, Виктор, ты все-таки свинья, — сказала Елена, качая головой.

— Ну уж и свинья?.. — робко и тускло молвил Мышлаевский и поник головой.

* * *

В сумерки знаменитого этого дня 2 февраля 1919 года, когда обед, скомканный к черту, отошел в полном беспорядке, а Мышлаевский увез Анюту с таинственной запиской Турбина в лечебницу (записка была добыта после страшной ругани с Турбиным в белом кабинетике Еленой), а Николка, сообразивший, в чем дело, утешал убитого Лариосика в спальне у себя, Елена в сумерках у притолоки сказала Шервинскому, который играл свою обычную гамму на кистях ее рук:

— Какие вы все прохвосты...

— Ничего подобного, — ответил шепотом Демон, нимало не смущаясь, и притянул Елену, предварительно воровски оглянувшись, поцеловал ее в губы (в первый раз в жизни, надо сказать правду).

— Больше не появляйтесь в доме, — неубедительно шепнула Елена.

— Я не могу без вас жить, — зашептал Демон, и неизвестно, что бы он еще нашептал, если бы не брызнул в передней звонок[1].

---

[1] Здесь кончается «новомирская» публикация.

* * *

Двое вооруженных в сером толклись в передней, не спуская глаз с доктора Турбина. Николка в крайней степени расстройства метался возле него и все-таки успел не только нашептать ему: «При первой возможности беги, Алеша... у них уже эвакуация...», но и всунуть ему в карман револьвер Мышлаевского. Турбин, щурясь и стараясь не волноваться в присутствии хлопцев, глядел в бумагу. В ней по-украински было написано:

С одержанием с"его препонуеться вам негойно...

Одним словом: явиться в 1-й полк синей дивизии в распоряжение командира полка для назначения на должность врача. А за неявку на мобилизацию, согласно объявления третьего дня, подлежите военному суду.

— Плевать, — совершенно беззвучно шептал Николка, отдавливая Турбина к двери в столовую, — в первый момент беги. Беги сейчас? А?

— Нельзя. Елену возьмут, — одними губами, — лучше с дороги...

— Так я сам приеду, — мрачно говорил Турбин.

— Ни, — хлопцы качали головами, — приказано вас узять под конвой.

— Где же этот полк?

— Сейчас из Города выступает в Слободку, — пояснил один из хлопцев.

— Кто командует?

— Полковник Мащенко.

Турбин еще раз перечел подпись — «Начальник Санитарного Управления лекарь Курицький».

— Вот тебе и кит и кот, — возмущенно и вслух сказал Николка.

20

Пан куренный в ослепительном свете фонаря блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим — паном куренным: — В бога и мать!!! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь! И если ты не

поморозив, так я тебя расстреляю, бога, душу, твою мать!!

Пан куренный взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, нависшую над Слободкой, и давнул гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно-весело ударил грохот из руки пана куренного, и пять же раз, весело кувыркнувшись, — трах-тах-ах-тах-дах, — взмыло в обледеневших пролетах игривое эхо.

Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Турбина сбросили с моста. Сечевики шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты насели на них черной стеной, гнилой парапет крякнул, лопнул, и доктор Турбин, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.

Так — снег холодный. Но если с высоты трех саженей с моста в бездонный сугроб — он горячий, как кипяток.

Доктор Турбин вонзился, как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на руках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах) — и, наконец, твердая обледеневшая покатость. На ней доктор сделал, против всякого своего желания, гигантский пируэт, ободрал о колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.

С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом — безукоризненная темно-синяя ночь, густо усыпанная звездами. К дрожащим звездам Турбин обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта.

— Я — дурак!

Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:

— Дураков надо учить. Так мне и надо. За то, что не удрал...

Закоченевшей рукой он вытащил кой-как из кармана брюк платок и обмотал кисть. На платке сейчас же вы-

ступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:

— Господи, если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту. Я монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт. Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы! Ну и мерзавцы! Господи, дай так, чтобы большевики сейчас же, вон оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.

Турбин слодострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают как ураган, и больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и эта гнусная обезьяна в алой шапке — полковник Мащенко. Оба они, конечно, падают на колени.

— Змилуйтесь, добродию, — вопят они.

Но тут доктор Турбин выступает вперед и говорит:

— Нет, товарищи, нет. Я монар...

Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да, против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь, в этой кутерьме, но этих двух надо убить как бешеных собак. Это — негодяи. Гнусные погромщики и грабители.

— А-а... так... — зловеще отвечают матросы.

— Д-да, т-товарищи. Я сам застрелю их.

В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому.

Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Турбин опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало и в голове звонили колокола.

Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ним и сгинули в загадочной Слободке. Шагах в двух от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренный, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.

— Скидай, скидай, зануда, — говорил он. На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз.

Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизая, пятнистая, заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзкую тряпку.

«Убьет... убьет... — гудело в голове, — ведь целы ноги у этого идиота. Господи, чего же он молчит. Вмешаться? Не поможет, самого, чего доброго... Ах, я сволочь».

Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.

Сечевик сбросил, наконец, омерзительную ветошку, медленно, обеими руками поднес ногу к самому носу пана куренного. Торчала совершенно замороженная, белая корявая ступня.

Мутное облако растерянности смыло решимость с круглого лица пана куренного.

— До лазарету. Пропустить його.

Больничные халаты расступились, и сечевик, ковыляя, пошел на мост. Турбин глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним. Тут. Вот он — Город — тут. Горит на горах за рекой владимирский крест, и в небе лежит фосфорический бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой. О мир. О благостный покой...

Звериный визг внезапно вырвался из белого здания. Визг. Потом уханье. Визг.

— Жида порют, — негромко и сочно звякнул голос.

Турбин застыл в морозной пудре и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, случайно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом. Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся Слободка полна воем тысячи человек.

— Что это такое? — звонко и резко выкрикнул чей-то голос. Только когда широкоскулое подобие оказалось у самых глаз Турбина, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще минута человеческого воя, и он с легким и радостным сердцем впустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане, пораженное выходкой врага.

— За что же вы его бьете?!

Не произошло непоправимой беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме и самого Турбина. Новая толпа дезертиров-сечевиков и гайдамаков посыпалась из пасти слободки к мосту. Пан куренный, пятясь, поверх голов послал в черное устье четыре пули.

— Сыняя дывызия! Покажи себе, — как колотушка стукнул голос полковника Мащенки. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавленный черными халатами, хрипя от налезавшей щетины штыков, встал на дыбы.

— Кроко... руш!!!

Черный батальон синей дивизии грянул хрустом сотен ног и, вынося в клещах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного парапета, ввалился в черное устье и погнал перед собой ошалевших сечевиков. В грохоте смутно послышался голос:

— Хай живе батько Петлюра!!

* * *

О звездные родные украинские ночи.
О мир и благостный покой.

* * *

В десять часов вечера, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора и вообще все к черту, там — в Городе за рекой, в чудной квартире был обычный мир в вещах и смятение в душах. Елена ходила от одного черного окна к другому и всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в темной гуще с огоньками Слободку и брата. Николка и Леонид Юрьевич ходили за ней по пятам.

— Да брось, Леля! Ну чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случится. Ведь догадается же он удрать!

— Ей-богу, ничего не случится, — утверждал и Леонид Юрьевич, и намасленные перья стояли у него дыбом на голове.

— Ах, ну к чему эти утешения. Поймите, они его в Галицию утащат.

— Ну, что ты, в самом деле! Придет он...

— Елена Васильевна!

— Хорошо, я проаккомпанирую... Позвольте... Позвольте, — Елена взяла Леонида Юрьевича за плечи и повернула к свету. — Боже мой! Что это за гадость? Что за перья? Да вы с ума сошли. Где пробор?

— Хи-хи. Это он сделал прическу а-ля большевик.

— Ничего подобного, — залившись густой краской, солгал Леонид Юрьевич.

Это, однако, была сущая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной вывеской «Голярня», Леонид Юрьевич зазевался, глядя, как петлюровские штабные, с красными хвостами, драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то черным блузником. Леонид Юрьевич вправо, и тот вправо, влево и влево... Наконец разминулись.

— Подумаешь — украинский барин. Полпанели занимает. Палки-то с золотыми шарами отберут в общую кассу...

Вдумчивый и внимательный Леонид Юрьевич обернулся, смерил черную замасленную спину, улыбнулся так, словно прочел на ней какие-то письмена и пробормотал:

— Не стоит связываться. Поздравляю. Большевики ночью будут в Городе.

Махнув знаменитой палкой, он вдруг изменил маршрут. На трамвае вернулся на Львовскую, а оттуда к себе в Дикий переулок. Приехав домой, он решил изменить облик и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака оказался свитер с дырой на животе; палка была сдана на хранение матери. Ушастая дрянь заменила бобровую шапку. А под дрянью на голове было черт знает что. Леонид Юрьевич размочил сооружение Жана из голярни и волосы зачесал назад.

Получилось будто бы ничего. Так, идейный молодой человек с бегающими глазами. Ничего офицерского.

— Уезжаю к Турбиным, у них и ночевать буду, — крикнул Леонид Юрьевич, возясь в передней и примеряя еще какую-то мерзость.

И вот теперь, когда волосы высохли и поднялись... Господи, Боже мой.

— Уберите это. Я не буду аккомпанировать. Черт знает... папуас.

— Чистой воды команч.

— Вождь Соколиный Глаз.

Затравленный Леонид Юрьевич низко опустил голову.

— Ну, хорошо, я перечешусь.

— Я думаю, перечешетесь. Николка, отведи его в свою комнату.

Николка распахнул дверь и заиграл марш на пианино. Шервинский прошел мимо багровый с шепотом:

— Мерзавец ты...

Когда вернулись, Леонид Юрьевич был по-прежнему не команч, а гладенько причесанный гвардейский офицер.

Го-род пре-крас-ный.
Го-о-род счастли-и-вый.

Лава, как штука аметистового бархата, без всякого напряжения потекла и смягчила сердца, полные тревоги.

О, го-о-о-о-о-ород...

Шервинский не удержался и выпустил, постепенно открывая, свое знаменитое mi. Аметист мгновенно превратился в серебряный сверлящий поток. Гостиная загремела, как деревянная коробка, бесчисленными отражениями от стен и стекол. Николка съежился в кресле и от ужаса и наслаждения втянул голову в плечи.— Эт-то голосок, — не удержался он, чтобы не шепнуть.

И только, когда приглаженный команч, притушив звук и властвуя над покоренным аккомпанементом, вывел меццо-воче.

Месяц сия-а-ает...

и Николка и Елена расслышали дьявольски грозный звук тазов. Аккорд оборвался, но под педалью еще гудело «до», оборвался и голос. Николка вскочил.

— Голову даю на отрез, что это Василиса! Он, он проклятый.

— Боже мой...

— Спокойно, спокойно, Елена Васильевна...

— Голову даю. И как такого труса земля терпит.

За окнами плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Николка заметался, втискивая в карман парабеллум из (кобуры) Мышлаевского.

— Николенька, брось револьвер. Никол, прошу тебя.

Стукнула дверь в столовой, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш на секунду ворвался в комнаты. Во дворе, рядом во дворе и дальше по всей улице звонили тазы для варенья. Разливался, потрясая морозный воздух, качающийся тревожный грохот.

— Никол, не ходи со двора. Леонид, не пускайте его...

Николка угадал. Именно Василиса и был причиной тревоги. Николка, ведавший в качестве секретаря домового комитета списками домовой охраны, не мог отказать себе в удовольствии в смутную ночь на 3-е число поставить на дежурство именно Василису в паре с рыхлой и сдобной Авдотьей Семеновной — женой сапожника. Поэтому в графе:

2-е число
От 8 до 10 час. вечера
Авдотья и Василиса

Вообще удовольствия было много. Целый вечер Николка учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамеечке под стеной, обмякший и с помутневшими глазами, а Николка с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попадать ими в Василису. Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации таз для варенья (бить тревогу) и ушел, оставив на скамейке смущенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей.

— Вы посматривайте, Васл...ис... Иванович, — уныло, озабоченно бросил Николка. — В случае чего... того... на мушку, — и он зловеще подмигнул на карабин.

Авдотья плюнула.

— Чтоб он издох этот Петлюра, сколько беспокойства людям...

Василиса пошевелился единственный раз после ухода Николки. Он осторожно приподнял карабин руками за

дуло и за ложе, положил его на скамейку дулом в сторону и замер. Отчаяние овладело Василисой при самом окончании его срока в 10 часов, когда в Городе начали замирать звуки жизни и Авдотья категорически заявила, что ей необходимо отлучиться на пять минут. И она отлучилась. Песнь Веденецкого гостя, глухо, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы. Но только на минуту. Как раз в это время на пригорке над крышей сарая, к которому уступами сбегал запущенный снегом сад, явственно мелькнула тень и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин: вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло, и вот он — Василиса — лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, ударил палкой в таз. Тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту весь Алексеевский спуск завывал медными угрожающими голосами, а в № 17-м немедленно начали стрелять. Василиса, растопырив ноги, закоченел с палкой в руках.

Месяц сия-а-о...

Загремела дверь и выскочил, натаскивая пальто в рукава, Николка, за ним Шервинский.

— Что случилось?

Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая на сарай. Николка и Шервинский осторожно обошли его, поднялись по лесенке и заглянули в калитку черного сада. Предохранитель тихонько щелкнул в руке Николки. Но пусто и молчаливо было в саду, и Авдотьин блудливый кот давно удрал, ошалев от дьявольского грохота. — Вы первый ударили?

Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил:

— Нет, кажется, не я...

Николка закрыл предохранитель, возвел глаза к небу и произнес в сторону:

— О, что это за человек?

Затем он, несмотря на запрещение Елены, выбежал в калитку и пропадал минут десять. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17-м, в 19-м и только долго-долго какой-то неугомонный гражданин стрелял в конце

улицы, но перестал в конце концов и он. И опять наступило тревожное безмолвие.

Николка, вернувшись, прекратил пытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Щеглова с женой (10—12 часов) и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в гостиную, он не дал Елене обрушиться на него с укорами, выкатил глаза и крикнул суфлерским шепотом:

— Ур-ра. Радуйся, Елена! Ура! Гонят Петлюру. Краснoиндейцы идут по пятам.

— Да что ты?

— Слушайте... Я сейчас выбежал за ворота и слышал скрип. Обозы идут, батюшка, обозы. Хвосты уходят! Петлюре каюк!!

— Ты не врешь?

— Чудачка, какая же мне корысть?

Елена встала с кресла.

— Неужели Алексей вырвется?

— Да конечно же. Не идиот же он. Ты слушай: я уверен, что их выдавили уже из Слободки... Хорошо-с. Как только их погонят, куда они пойдут? Ясно на Город, обратно через мост. Когда они будут проходить Город, тут Алексей и даст ходу.

— А если они не пустят?

— Ну-у... не пустят. Дураком не надо быть. Пусть бежит.

— Ясно. Другого пути нет, — подтвердил Шервинский и тихонько, с лицом, изображающим в комическом виде священный ужас перед грядущим, пошел к пианино.

— Поздравляю вас, товарищи, — мгновенно изобразил Николка оратора на митинге, — таперича наши идут: Троцкий, Луначарский и прочие, — он заложил руку за борт блузы и оттопырил левую ногу. — Прр-авильно, — ответил он сам себе от имени невидимой толпы, а затем зажал рот руками и изобразил, как солдаты на площади кричат «ура».

— У а а а а!!

Шервинский ткнул пальцами в клавиши.

Соль... ... ...до.
Проклятьем заклейменный.

В ответ оратору заиграл духовой оркестр. Иллюзия получилась настолько полная, что Елена вначале подавилась смехом, а потом пришла в ужас.

— Вы с ума сошли оба. Петлюровцы на улице!

— У а а а! Долой Петлю!.. ап!

Елена бросилась к Николке и зажала ему рот.

* * *

Первое убийство в своей жизни доктор Турбин увидел секунда в секунду на переломе ночи со 2-го на 3-е число. В полночь у входа на проклятый мост. Человека в разорванном пальто, с лицом синим и черным в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренный бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сиплое:

— Ух... а.

Ноги Турбина стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная Слободка.

— А-а, жидовская морда! — исступленно кричал пан куренный. — К штабелю его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я т-тебе покажу! Що ты робив за штабелем? Що?..

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренный забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренный не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже... «ух»... Как-то странно, подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Турбин видел, как крючковато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Турбин всхлипнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зда-

нию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше светило опять черное небо, опоясанное бледной перевязью Млечного Пути, и играющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венера над Слободкой разорвалась в застывшей выси огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная даль, долго терпевшая злодейство, пришла наконец в помощь обессилевшему и жалкому в бессилье человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

* * *

...Бежали серым стадом сечевики. И некому их было удерживать. Бежала и синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой.

Исчез пан куренный, исчез полковник Мащенко. Осталась позади навеки Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И Город прекрасный, Город счастливый выплывал навстречу на горах.

* * *

У белой церкви с колоннами доктор Турбин вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Еще ближе... Спину начали жечь как будто тысячи взглядов. Боже, все заколочено. Нет ни души. Куда бежать? Куда? И вот оно сзади, наконец, знакомое страшное:

— Стый!

Ближе колонна. Сердца нет.

— Стый! Сты-ый!

Тут доктор Турбин сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо.

— Тримай! Тримай його!!

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной прямой, заколоченной Александровской улице.

Но дальше — сеть переулков, кривых и черных. Прощайте навсегда! Прощай Петурра!! Петурра!!.....

* * *

В пролом стены вдавился доктор Турбин. С минуту ждал смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. Развеял по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача «першего полку сыней дывызии». На случай, если в пустом Городе встретится красный первый патруль. Кто знает?..

* * *

Около 3-х ночи в квартире залился оглушительный звонок.

— Ну, я ж говорил! — заорал Николка. — Перестань реветь, перестань.

— Елена Васильевна, это он. Полноте.

Николка сорвался и полетел открывать.

— Боже ты мой!

Лена рыжая кинулась к Турбину и отшатнулась.

— Да ты... да ты седой.

Турбин тупо посмотрел в зеркало и улыбнулся криво, дернув щекой. Затем, поморщившись, с помощью Николки стащил пальто и, ни слова не говоря, прошел в столовую, опустился на стул и весь обвис как мешок. Елена глянула на него, и слезы снова закапали у нее из глаз. Леонид Юрьевич и Николка, открыв рты, глядели в затылок на бéлый вихор.

Турбин обвел глазами тихую столовую, остановил мутный взгляд на самоваре, несколько минут вглядывался в свое изображение в блестящей грани.

— Да, — наконец выдавил он из себя бессмысленно.

Николка, услыхав это первое слово, решился спросить.

— Слушай, ты... Бежал, конечно? Да ты скажи, что ты у них делал?

— Вы знаете, — медленно ответил Турбин, — они, представьте, в больничных халатах, эти самые синие-то петлюровцы. В черных...

Еще что-то хотел сказать Турбин, но вместо речи получилось неожиданное. Он всхлипнул звонко, всхлипнул еще раз и разрыдался, как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки. Елена, не зная еще в чем дело, заплакала в ту же секунду. Леонид Юрьевич и Николка растерялись до того, что даже побледнели. Николка опомнился первый и полетел в кабинет за валерианкой, а Леонид Юрьевич сказал, прочистив горло, неизвестно к чему:

— Да, каналья этот Петлюра.

Турбин же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, вскрикнул:

— Бандиты!! Но я... я... интеллигентская мразь, — и тоже неизвестно к чему...

И распространился запах эфира. Николка дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку.

* * *

В половине четвертого жизнь семьи кольцом свилась опять у той же жаркой площади Саардамского Плотника. Натопили с вечера, но и до сих пор печь все еще держала тепло. Полустертые обреченные надписи по-прежнему глядели с блестящей поверхности, и кремовые шторы были задернуты. Часы шли, как тридцать лет тому назад — тонк-танк и, в их бое в эту ночь была какая-то важность и значительность.

Зеленый ломберный стол поставили углом к печке — иначе он не влезал — и рыжую важную Елену, пережившую все испытания, какие может пережить женщина за полтора лихих и страшных месяца, поместили в кресло у печки с тем, чтобы ее не беспокоить и не пересаживать, как бы ни сложились карты в конце роббера. Пуховый платок обнимал Елену, и белые ее руки лежали на зеле-

ной равнине стола, и Шервинский, не отрываясь, глядел на них. В длинных пальцах была женская мощь и какая-то уверенность, примирение и спокойствие.

И Лариосик, напившись чаю с бутербродами, пригрелся у левой руки Елены рыжей, стал забывать про Анюту и новый удар и все свое внимание сосредоточил на атласном синем крапе любимой турбинской колоды.

Николка играл сосредоточенно и напористо — у него была такая мыслишка — выиграть карбованов тридцать у Шервинского... у него денег — о-го-го! Всегда есть. Несмотря на эти соображения, уши Николка навострил и слушал внимательно — не раздается ли стук в ворота, не отзовутся ли громом цепи? Все Николкой было налажено как следует, как все, что его приучили делать в инженерном высшем училище. Ну, конечно, иногда не выходит... ну, что же сделаешь — не везет иногда.

Во всяком случае, все сделано честь честью. Ход из кухни заперт только на один легкий крючок. А ключ от калитки на улицу самолично Николкой прикарманен. Если кинутся искать доктора, бежавшего из полка и прибегут по его адресу, тотчас Алексея поднимают и через черный ход во двор, а там узкой щелью между двумя сараями, где Николкой расшиты доски, под гору и среди снежных канав Алексей проникнет в соседний 15-й номер и там в темной, лепящейся под горой усадебке переждет, пока уйдут.

Что они сделают?

Ни черта они сделать не могут.

«Где доктор? Доктор мобилизован и ушел с полком. Его в полку нет. Ну, это уж не наше дело. Мы сами волнуемся, мы сами встревожены».

* * *

Но никто не придет, никто. Это чувствуется по всему, даже по рукам Елены, теплым, белым, чувствуется и часами... Тонк — томк. Чувствуется и Лариосиком, погруженным в божественную игру в винт. Чувствуется и при взгляде на печку. Лоснится, пылает белый изразец — таинственная, мудрая скала — благостная, жаркая...

Времячко-то, времячко... Эх, эх... Ну ничего... ничего... пережили и еще переживем... И Николка сквозь зубы напевает

Бескозырки тонные
Сапоги фасонные...

Но гитара уже не идет маршем, не сыплет со струн инженерная рота. Нет этого больше ничего... Надвигается новое, совершенно неизведанное, страшное. Тихонько, господа, тихонечко... Эх... Эх...

Съемки примерные
Съемки глазомерные...

* * *

Никто не придет. Никто. И напрасно Алексей мучится там тревожным сном. Ныне отпущаеши раба твоего с миром... Кончено... Что будет дальше, неизвестно... А сейчас с миром... И напрасно, напрасно мучится человек...

Просто даже если в окна посмотреть, сразу чувствуется, что ничего уже не будет... Петурра!.. Петурра!... Петурра.., Петурра... храпит Алексей... Но Петурры уже не будет... Не будет, кончено. Вероятно, где-то в небе петухи уже поют предутренние, а значит, вся нечистая сила растаяла, унеслась в клубок в далях за Лысой Горой и более не вернется. Кончено. Во всяком случае посидим, покараулим, покараулим... пусть спит Алексей, пусть, а на рассвете ляжем и мы и крепко заснем...

* * *

Руки Шервинского вдруг наполнились красными картами. Дрогнув, он хищно скосил глаз на прикуп и сказал:

— Две в червях.

— Везет им, черт возьми, — скрипнул Николка, полный мелких пик и любуясь на трефовую даму, похожую на Ирину Най, и, чтобы перебить, он крикнул:

— Четыре черви.

— Пять бубен, — сказала Елена.

— Пять червей, — рискнул Лариосик и так выкатил глаза, что Николка перекрестился демонстративно.

— Не дадим играть, — рявкнул Николка и заявил, выкатывая глаза, — малый в пиках.

— В червях, — купила Елена.

— Э-эх.., — вздохнул Николка, — бери, бери.

Зашуршали карты. Шервинский дрогнул, получив от Елены четыре червы. Он разнес три трефки. Подумал: «Черт, не напороться бы на пенонс», и торжественно бухнул в колокол:

— Большой шлем в червях.

Лариосик подумал, подумал и хлестко выложил туза пик. Была слабая надежда, что Николка убьет, но, увы, Николка был полон пик. И Шервинский червонной тройкой убил туза. Затем он, торжествуя, веером развернул двенадцать карт. Они были сплошь красные. Червонные сердца загорелись на зеленом лугу над белыми знаками цифр... Одиннадцать червонных карт светились на столе, и лишь двенадцатая была бубновый туз.

— Видали? — победно спросил Шервинский.

Партнеры были убиты.

Далеко за окнами медленно и важно ударил пушечный выстрел. Расширились глаза у четырех игроков. За первым ударом пришел второй, третий.

— Бой?

— Бой.

Но удары шли через правильные интервалы, изредка тихо-тихо вздрагивала застекленная веранда. Стреляли недалеко, где-то у Днепра на Подоле. Возможно, на самом берегу, Шервинский стоял и, тихо шевеля губами, считал:

— 29... 30... 31...

И удары смолкли. Все недоуменно переглянулись. Глаза Шервинского торжественно заблистали.

— Вы знаете, что это такое? — спросил он победоносно и ответил сам себе: — Это салют. Тридцать один выстрел. — Он торжественно встал и, выгнув грудь колесом, сказал:

— Поздравляю вас, господа. Большевики заняли Город. Это их батарея стреляет где-то на Днепре.

Черные часы шли и шли. Показывали они начало четвертого часа 3 февраля 1919 года.

А в четыре маленький дом на Алексеевском спуске спал после треволнений глубоким сном. Ночь теплая, семейная в еще неразрушенном очаге Анны Владимировны. Сонная дрема ходила в черной гостиной, колыхалась в слоистых тенях. Печи еще отдавали тепло, грели старые комнаты. А за окнами расцветала все победоноснее и победоноснее студеная ночь и беззвучно шла над землей. Путь серебряный, млечный, как перевязь сиял, и на небе играли звезды, сжималась н расширялась звезда Венера.

В теплых комнатах поселились сны. В своей комнате спал старший Турбин. Неизменная лампочка маленькая, малюсенькая — верный друг ночей (Турбин не мог спать в темноте) горела у кровати на стуле. Тикали карманные часы. Сон развернулся во всю. Видел Турбин тяжкий, больной, ревнивый сон. Был он в своей страшной ясности — сон вещий. Ах, замучила Юлия Алексея Васильевича Турбина. Любит Алексей Васильевич Юлию таинственную.

Была какая-то скверная ночь. Понимаете, ночь, а видно, как днем. И в то же время темно. И вот крадется, крадется Алексей по ступеням этого лучшего в мире садика к флигельку, к этому флигельку. Крадется за неизвестным человеком; у человека прекрасный соболий воротник, дорогое пальто, ноги в гетрах. И мелькнет странно временами бок лица. Будто на нем черные баки. Черные баки у ненавистного Онегина. Крадется Турбин, полный злобы, подозрения и отваги, и верный браунинг у него в кармане... Ах, если бы разглядеть лицо этого проклятого человека! Но лицо не дается. Не дается. Нет у человека лица. О, сны вещие! Ой, слушайтесь снов. Если кто скажет,

что верить снам — позорно и смешно,
ой, не слушайте. Вещие сны бывают.

И вот, пересек человек без лица маленький дворик-сад, укрытый ветвями, и прямо подошел к заветной двери. Дверь распахнулась перед ним сама собой и впустила человека к Юлии в дом. «Вот оно что, — в бешеной злобе во сне подумал Турбин, — вот оно что. Убью его».

За ним, в дверь, в гостиную. И видит, целует Юлию неизвестный заколдованный Онегин. И лица опять нет. А Юлия зубы оскалила, улыбается. Любовь у нее на лице. Турбин знал, что ревность бессмысленна. Револьвером не добудешь любовь. Покорил Юлию неизвестный безликий. А он, Турбин, не мог — что же сделаешь. Но это наяву. А во сне злая злоба. Убью! Эх, доктор Турбин. Не нужно, забудьте Юлию, бросьте, плохая она женщина!

Он врывается в гостиную вслед за Онегиным и видит: целует Онегин Юлию и валит ее на диван. Сует руку в карман Турбин, вытаскивает браунинг. Юлия в ужасе кричит, Онегин поворачивается и, вот все-таки лица у него нет. Мелькнут пурпуровые губы, покажет нос, но нельзя их слить в целое. Не составляется целое лицо никак. И браунинг изменяет Турбину: жмет он гашетку, а она сгибается, как восковая свеча в руках, скрипит браунинг, пружина внутри его воет, а не стреляет. Безликое же лицо становится грозным и опасным. Опасен этот окаймленный баками Онегин, и чувствуется за ним грозная поддержка. Ни звука не произносит коварный Онегин, но Турбин уже чувствует, что пришла чрезвычайная комиссия по его, турбинскую душу. Озирается Турбин, как волк — что же он делать-то будет, если браунинг не стреляет? Голоса смутные в передней — идут. Идут! Чекисты идут! И начинает Турбин отступать и чувствует, что подлый страх заползает к нему в душу. Что ж!..

Страшная ревность, страстная неразделенная любовь и измена, но Че-ка — страшнее всего на свете[1].

— Ах ты... — хрипит Турбин Юлии. —

Хожу ли я,
Брожу ли я,
Плюю ли я!
Все Юлия, да Юлия!! —

и грозит пистолетом. Но что значит нестреляющий пистолет! И отступает Турбин в дверь, дверь проваливается

[1] Возможно, прочитав эти строчки про ЧК в рукописи, переданной в редакцию журнала «Россия», чекисты и нагрянули с обыском к М.А Булгакову: 7 мая 1926 года у Булгаковых были чекисты, забрали рукопись «Собачьего сердца», три тетради дневников, стали внимательно следить за ним.

в черную мрачную дыру-сарай, а в конце его загорается свет: с фонарями идут — ищут Турбина. И ужаснее всего то, что среди чекистов один в сером, в папахе. И это тот самый, которого Турбин ранил в декабре на Мало-Провальной улице. Турбин в диком ужасе. Турбин ничего не понимает. Да ведь тот был петлюрровец, а эти чекисты-большевики?! Ведь они же враги? Враги, черт их возьми! Неужели же теперь они соединились? О, если так, Турбин пропал!

— Берите его, товарищи! — рычит кто-то. Бросаются на Турбина. — Хватай его! Хватай! — орет недостреленный окровавленный оборотень, — тримай його! Тримай!

Все мешается. В кольце событий, сменяющих друг друга, одно ясно — Турбин всегда при пиковом интересе, Турбин всегда и всем враг. Турбин холодеет.

Просыпается. Пот. Нету! Какое счастье. Нет ни этого недостреленного, ни чекистов, никого нет.

На стуле у постели мирно и ровно горит лампочка, выстукивают часики, лежит портсигар. Тепло в комнате. А на столе в тени стоит на блестящем подрамнике в лакированной раме Юлия. В тени.

— Во-первых... во-первых, — бормочет Турбин, — что же это я сплю... а как же петлюровцы? А вдруг придут за мной?

Он тянется к часикам. На них без четверти пять. Ночь совершенно спокойна, и сонную дрему не колышет ничто. Плывет слоистый дым от папиросы Турбина. Папироса потухла сама собой во рту. Выронил ее Турбин, она упала и прожгла дыру в пятак в простыне. Потом края, потлев немного, угасли. Турбин оказался в глубоком сне. Портрет же Юлии бессонной все стоял в резкой тени и глубокими подведенными глазами глядел на спящего любовника.

* * *

Ночь расцветала и расцветала. Тянуло к утру, и, погребенный под мохнатым снегом, спал дом. Истерзанный Василиса спал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом. Видел Василиса сон нелепый и круглый. Будто бы никакой революции не было, все это была

чепуха и вздор. Во сне. Сомнительное, зыбкое счастье наплывало на Василису. Будто бы лето, и вот Василиса купил огород. Моментально выросли на нем огурцы. Грядки покрылись веселыми зелеными завитками, и зелеными шишками в них выглядывали огурцы. Василиса в парусиновых брюках стоял и глядел на милое заходящее солнышко, почесывая живот, и бормотал:

— Так-то оно лучше... А то революция. Нет, знаете ли, с такими свиньями никаких революций производить иельзя...

Часы... а?

Тут Василисе приснились взятые круглые глобусом часы: Василисе хотелось, чтобы ему стало жалко (часов), но солнышко так приятно сияло, что жалости не получалось.

И вот в этот хороший миг какие-то розовые, круглые поросята взлетели на огород и тотчас пятачковыми своими мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватил с земли палку и собирался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные — у них острые клыки. Они стали наскакивать на Василису, причем подпрыгивали на аршин от земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне. Черным боковым косяком накрыло поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная, сыроватая его спальня...

* * *

Ночь расцветала. Сонная дрема прошла над Городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя стороной сияющий крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до станции Дарницы и задержалась над ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо, до колес, были зажаты вагоны в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вывалился огненный плат, разлегся на рельсах, и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскаленными углями. Он сипел тихонько и злобно, сочилось что-то в боковых стенах, тупое рыло его молчало и щурилось в приднепровские леса. Закрытые площад-

ки, где сквозь щели-амбразуры торчали пулеметы и острые иглы света, переходили в последнюю тяжкую и открытую площадку. С нее в высь, черную и синюю, широченное дуло в глухом намордник целилось верст на двенадцать прямо в полночный крест.

Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму, и светились на ней осовевшие от вечернего грохота глазки желтых огней. Суета на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком желтом бараке телеграфа три окна горели ярко, и слышался сквозь стекла непрекращающийся стук трех аппаратов.

По платформе бегали взад и вперед, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колено, в шинелях и черных бушлатах. В стороне от бронепоезда и сзади, растянувшись, не спал, перекликался и гремел дверями теплушек эшелон. Били снопы света на черные рельсы и шпалы, усеянные по снегу разноцветным шлаком. Торчали пистолетные дула из кобур, мотались сумки.

А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона, ходил, как маятник, человек в длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял на руке, как уставшая мать ребенка, и рядом с ним ходила меж рельсами, под скупым фонарем, по снегу острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал и зверски нечеловечески озяб. Руки его, синие и холодные, тщетно рылись деревянными пальцами в рвани рукавов, ища убежища. Из окаймленной белой накипью и бахромой неровной пасти башлыка, открывавшей мохнатый обмороженный рот, в верхней части глядели глаза над снежными космами ресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные.

Человек ходил методически, свесив штык, и думал только об одном, когда же истекут, наконец, морозные часы пытки, и он уйдет с озверевшей от мороза земли вовнутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие теплушки бронепоезда, где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней рас-

пластаться. Человек и тень ходили от огненного выплеска броневого брюха к темной стене первого боевого ящика до того места, где чернела надпись:

Бронепоезд «Пролетарий».

Тень, то вырастая, то уродливо горбатясь, но неизменно остроголовая, рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две голубоватые луны, не грея и не дразня, горели на платформе. Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его; стиснув зубы, потеряв надежду согреть пальцы ног, шевеля ими, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Венеру, сияющую в небе впереди над Слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка, истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остановившись, мгновенно и прозрачно засыпал. Черная сталь бронепоезда не уходила из этого сна, и не уходили и некоторые звуки со станции. Но к ним присоединялись новые. Вырастал во сне небосвод невиданный... Весь красный, сверкающий и весь одетый Венерами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный непонятный всадник в кольчуге и братски наплывал на человека. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд, и вместо него вырастала в снегах зарытая деревня — Малые Чугры, и почему-то настойчиво. Он, человек, у околицы Чугрова, а навстречу ему идет сосед и земляк.

— Жилин? — говорил беззвучно без губ мозг человека, и тотчас грозный сторожевой голос в груди выстукивал три слова:

Пост.. часовой... замерзнешь...

Человек уже совершенно нечеловеческими усилиями отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, отдирал ноги и шел опять.

Вперед-назад. Вперед-назад. Исчезал небосвод, опять одевало весь морозный мир шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Ве-

нера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная.

* * *

Металась и металась потревоженная дрема. Лётом вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и понеслась над Подолом. На нем давно уже, очень давно погасли все окна. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер дешевенькой гостиницы, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Пред Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.

И увидел я мертвых и великих, стоящих перед Богом, и Книги раскрыты были, и иная Книга раскрыта, которая есть Книга Жизни; и судимы были мертвые по написанному в Книгах, сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.

.....

И кто не был записан в Книге Жизни, тот был брошен в озеро огненное.

.....

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.

По мере того как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.

Болезни и страдания казались ему не важными, несущественными. Недуг отпал, как короста с забытой в лесу, отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов:

«...слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

* * *

Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Размасленные волосы стояли дыбом. Выпуклые глаза развязно улыбались.

— Честь имею, — сказал он, щелкнув каблуками, — командир стрелковой школы — товарищ Шервинский.

Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клуба входило ярко-кукольным.

— Это ложь, — вскричала во сне Елена. — Вас стоит повесить.

— Не угодно ли, — ответил кошмар. — Рискните, мадам.

Он свистнул нахально и раздвоился. Левый рукав покрылся ромбом, и в ромбе запылала вторая звезда — золотая. От нее брызгали лучи, а с правой стороны на плече родился бледный уланский погон. Правая стала (...), левая в рыжем френче. Правая нога в синей тонкого сукна рейтузе с кантами, левая в черной. И лишь сапоги были одинаковые блестящие, неподражаемые тонные...

— Сапоги фасонные, — запел Николка под гитару.

На голове был убор двусторонний.

Левая его половина защитно зеленая с половиной красной звезды, правая ослепительно блестящая с (...).

— Поеду, — во сне сказала Елена с презрением и ужасом.

— Искуситель, — ответил Шервинский.

— Кондотьер! Кондотьер! — кричала Елена.

— Простите, — ответил двуцветный кошмар, — всего по два, всего у меня по два, но шея-то у меня одна и та не казенная, а моя собственная. Жить будем.

— А смерть придет, помирать будем... — пропел Николка и вышел.

В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно поняла, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи.

И ночь все плыла да плыла.

* * *

И, наконец, Петька видел сон.

Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни любовью взрослых. Поэтому и сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.

Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на том лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мучатся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги и резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, всхлипнув от радостного смеха, обхватил его руками. Шар обдал Петьку дождем сверкающих брызг. Вот и весь сон Петьки. От удовольствия Петька расхохотался в ночи. И ему весело стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные, но те же легкие и радостные сны, а сверчок пел и пел свою песню, где-то в щели, в белом углу и за ведром, (...) бормочущую ночь в семье во флигеле.

Снаружи ночь расцветала и расцветала. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылся звездами. Похоже было, что в неизмерной высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали и зажигали огоньки, и они проступали на занавесе отдельными трепещущими огнями и целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную и мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла — слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.

Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Звезды будут также неизменны, так же трепетны и прекрасны. Нет ни одного человека на земле, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим мира, не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?

Конец.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Пьеса в пяти актах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Турбин Алексей Васильевич, военный врач, 30 лет.
Турбин Николка, его брат, юнкер, 18 лет.
Тальберг Елена Васильевна, их сестра, 24-х лет
Тальберг Владимир Робертович, 35 лет, генштаба полковник, муж Елены.
Мышлаевский Виктор Викторович, штабс-капитан, артиллерист, 27 лет.
Шервинский Леонид Юрьевич, 24-х лет, поручик, личный адъютант гетмана и дебютант оперы.
Студзинский Александр Брониславович, капитан-артиллерист, 29 лет.
Малышев, полковник-артиллерист, командир белогвардейского артиллерийского дивизиона, 35 лет.
Лисович Василий Иванович, по прозвищу Василиса, инженер, домовладелец, 45 лет.
Ванда Степановна, его жена, 39 лет.
Болботун, командир 1-й конной петлюровской дивизии, 43 лет.
Галаньба, сотник, командир разведки при 1-й петлюровской дивизии, 27 лет.
Лариосик (Ларион Ларионович Суржанский), поэт и неудачник, 22-х лет.
Гетман всея Украины.
Фон Шратт, германского генштаба генерал-майор, 45 лет.
Фон Дуст, германского штаба майор, 40 лет.
Врач германской армии.
Камер-лакей.
Еврей.
Человек с корзиной.
Дезертир-сечевик.
Доктор.
Максим, гимназический педель, дряхлый старик.
Юнкер Павловский.
1-й бандит, 2-й бандит, 3-й бандит.
1-й офицер, 2-й офицер, 3-й офицер.
Гайдамак-телефонист.
Най-Турс, полковник, гусар.
Юнкера-артиллеристы, Юнкера-пехотные, Гайдамаки.

Действие происходит в период декабря 1918 года — января 1919 года в Киеве во время гетмановщины и петлюровщины.

АКТ ПЕРВЫЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Бьют старинные часы девять раз и нежно играют менуэт. Загорается свет. Открывается квартира Турбиных. Большая, очень уютно обставленная комната с тремя дверьми. Одна из них ведет на половину Алексея Васильевича, другая на половину Елены, третья в переднюю, внутренность которой зрителям видна В комнате камин, на изразцах над камином рисунок красками, изображающий голову петлюровца в папахе с красным шлыком, и крупная надпись тушью: «Союзники — мерзавцы». В камине догорает огонь.

На сцене Николка (он в защитной блузе, в черных рейтузах и высоких сапогах, погоны юнкер-офицерские, Николка немного заикается), и Алексей (в синих рейтузах с гусарским галуном, во френче без погон).

Оба греются у камина

Николка *(играет на гитаре и поет).*

Пулеметы мы зарядили,
По Петлюре мы палили
Киев город мы прославим,
На Крещатике киоск поставим
Петлюрчики, чики...
Голубчики, чики...
Покажите-ка ваш мандат!

Пулеметы мы зарядили,
По Петлюре мы палили
Пулеметчики, чики...
Голубчики, чики...
Выручали вы нас, молодцы!

Алексей. Черт тебя знает, что ты поешь. Пой что-нибудь порядочное.

Николка *(поет).*

Хошь ты пой, хошь не пой,
В тебе голос не такой!
Есть такие голоса,
Дыбом встанут волоса.

Алексей. Это как раз к твоему голосу и относится.

Николка. Алеша, это ты напрасно. Ей-богу, у меня есть голос. Ну, конечно, не такой, как у Шервинского, но все-таки порядочный. Драматический, вернее всего,

тенор. Леночка, а Леночка, как по-твоему, есть у меня голос?

Елена *(за сценой)*. У кого? У тебя? Нету никакого.

Николка. Это она расстроилась, оттого так и отвечает. А между тем, Алеша, мне учитель пения говорил: «Вы бы, говорит, Николай Васильевич, в опере, в сущности, могли петь, если бы не революция».

Алексей. Дурак твой учитель пения.

Николка. Я так и знал. Полное расстройство нервов в турбинском доме — у меня голоса нет, а вчера еще был, учитель пения дурак, и вообще пессимизм. А между тем я более склонен к оптимизму. *(Играет на гитаре.)* Хотя ты знаешь, Алеша, я сам начинаю удивляться. Ведь девять часов уже, а он сказал, что днем приедет. Уж не случилось ли с ним чего-нибудь в самом деле?

Алексей. Ты потише говори.

Николка. И главное, неизвестно, что предпринять. *(Пауза.)* Вот комиссия, создатель, быть замужней сестры братом.

Алексей. В особенности, когда у этой сестры симпатичный муж.

Николка. Да. Вообще, туманно и паршиво. *(Бренчит, напевает минорно.)* Туманно... туманно... ах, как все туманно.

Елена *(за сценой)*. Который час в столовой?

Николка. Э... девять. Без пяти. Наши часы впереди, Леночка.

Елена *(за сценой)*. Не сочиняй, пожалуйста.

Николка. Ишь, волнуется... Ах, как все туманно...

Алексей. Не надрывай ты душу, пожалуйста. Спой лучше юнкерскую.

Николка *(встает, начинает марш на гитаре и поет, постепенно выходя на авансцену)*.

Здравствуйте, дачники,
Здравствуйте, дачницы!
Съемки у нас опять начались.
Гей, песнь моя любимая,
Буль, буль, буль, бутылка казенного вина!

Бескозырки тонные,
Сапоги фасонные...

За сценою, приближаясь, громадный хор — глухо и грозно, в тон Николке, как бы рождаясь из его гитары, — поет ту же песню. Электричество внезапно тухнет, и все, кроме освещенного Николки, исчезает в темноте.

Хор.

То юнкера, гвардейцы идут...

Затихает, удаляется.

Алексей *(в темноте)*. Елена! Где ты? Свечи у тебя есть? Это наказание, честное слово! Каждую минуту тухнет.

Елена появляется со свечой, и электричество тотчас загорается.

Какая-то часть прошла.

Елена тушит свечу.

Николка *(поет)*.

Съемки примерные,
Съемки глазомерные,
Вы научили нас дачниц любить...

Елена. Тише. Погоди.

Николкина песня обрывается, все прислушиваются. Далекие пушечные удары.

Николка. Странно. Так близко. Впечатление такое, будто бы под Святошиным стреляют. Интересно, что там такое происходит. Я бы поехал на Пост. Узнать, в чем дело.

Елена. Тебя там не хватало. Сиди, пожалуйста, смирно. Успеешь еще. *(Пауза.)* Алеша, а Алеша...

Алексей. Ну?

Елена. Я сильно беспокоюсь. Где ж Владимир, в самом деле?

Алексей. Приедет. Не беспокойся, Лена.

Елена. Как же так? Сказал, что вернется днем, а сейчас начало десятого. А вдруг на их поезд напали?

Алексей. Ничего этого не может быть. Линия на запад совершенно свободна. Ее немцы охраняют.

Елена. Почему же его нет до сих пор?

Алексей. Ну, стояли на каждой станции.

Николка. Революционная езда — час едешь, два стоишь.

Елена. Так-то так, а все-таки нехорошо на душе, беспокойно. Я хочу съездить на вокзал, узнать, что с их поездом.

Алексей. Ни на какой вокзал мы тебя не пустим. Если уж на то пошло, я сам съезжу, только попозже. А сейчас и не к чему. Подождем еще.

Николка. Ты, Леночка, пожалуйста, не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.

Елена. Легко сказать...

Звонок.

Николка. Ну вот. Я же говорил. Сейчас я открою. *(Уходит в переднюю.)*

Алексей. Это Владимир, конечно.

Николка. Кто там?

Глухо голос Мышлаевского: «Открой, ради Бога, скорее».

Алексей. Нет, это не Тальберг.

Николка *(удивленно)*. Ты, Виктор?

Впускает Мышлаевского. Тот в длинной шинели, в заиндевевшем башлыке, с винтовкой и револьвером на поясе.

Алексей. Виктор, да это ты!

Мышлаевский. Ну я, конечно, чтоб меня раздавило! Никол, убери винтовку к чертям. О, дьяволова мать!..

Алексей. Откуда ты?

Елена. Да это Виктор! Откуда?

Мышлаевский. Здравствуй, Леночка. *(Снимает башлык.)* Сейчас... Ох... Осторожнее вешай, Никол. В кармане бутылка водки, не разбей. Здравствуйте, все здравствуйте. Ох. Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать у вас. Не дойду домой! Совершенно замерз...

Елена. Ах Боже мой, конечно, конечно.

Алексей. Иди скорее к огню.

Идут к камину.

Мышлаевский. Вот сукины дети, Боже ты мой! Вот свиньи собачьи, чтоб им... *(Со стоном бросается к огню.)*

Алексей. Что же — они вам валенки не могли дать, что ли?

Мышлаевский. «Валенки»!

Елена. Вот что — там ванна сейчас топится, вы его раздевайте поскорее, а я все приготовлю. *(Уходит.)*

Мышлаевский. Кабак, черт их возьми! *(Указывая на сапоги.)* Ох, снимите, снимите, снимите...

Алексей и Николка снимают с Мышлаевского сапоги.

Алексей. Никол, принеси скорее спирт из кабинета.

Николка уходит.

Мышлаевский. Неужто отрезать пальцы придется? Боже мой, Боже мой.

Алексей. Ну что... Погоди. Ничего... Так... Приморозил большой. Отойдет. И этот отойдет.

Прибегает Николка с халатом, туфлями и склянкой.

Снимай френч.

Растирают ноги, надевают халат.

Мышлаевский. Легче, ох легче, братики... Водки бы мне выпить.

Николка. Сейчас.

Наливает у буфета. Мышлаевский пьет.

Легче, Витенька?

Мышлаевский. Отлегло немного.

Алексей. Ты, Виктор, скажи, что там делается под Трактиром?

Мышлаевский. Ад! Дай папиросу, пожалуйста.

Алексей. Ради Бога.

Николка. Под Трактиром что, Витенька?

Мышлаевский. Метель под Трактиром! Вот что там. И я б эту метель... Я б этого полковника Щеткина, и мороз, и немцев, и Петлюру!..

Елена проходит с простыней и бросает ее Мышлаевскому.

Елена. Сейчас, Виктор, мыться пойдешь. *(Уходит.)*

Мышлаевский. Спасибо, Леночка. Что это у нее физиономия такая опрокинутая? Что случилось?

Алексей. Да наше сокровище, муж ее, уехал вчера с денежным поездом в Мáлин и обещал вернуться утром, а до сих пор его нет, вот она и волнуется.

Мышлаевский. Гм... Да. Время тревожное. Не люблю я, грешник, признаюсь откровенно, вашего зятя. Тип довольно среднего качества, но тут понимаю. Елену жалко.

Николка. Ты, капитан, наверно, больше в курсе дела. На Мáлинской линии петлюровцы могут быть?

Мышлаевский. Всюду они могут быть. Всюду. Понял?

Алексей. Так это что ж, выходит, город обложили со всех сторон?

Мышлаевский. Говорю тебе — кабак. Ничего не пойму. Нас сорок человек офицеров. Погнали под Трактир зачем-то. Неизвестно. Приезжает эта лахудра, полковник Щеткин, штабная крыса, и говорит *(передразнивает сюсюкающим голосом)*: «Господа офицеры. Вся надежда города на вас. Оправдайте доверие». И исчез на машине со своим адъютантом. Тьфу! И темно как в... *(Алексей и Николка испуганно взмахивают руками)* желудке. Выкинул нас на мороз, а сам убрался домой.

Алексей. Зачем, объясни, пожалуйста, Трактир понадобилось охранять? Ведь Петлюры там не может быть?

Мышлаевский. Ты Достоевского читал когда-нибудь?

Алексей. И сейчас, только что. Вон «Бесы» лежат. И очень люблю.

Николка. Выдающийся писатель земли русской.

Мышлаевский. Вот. Вот. Я бы с удовольствием повесил этого выдающегося писателя земли.

Алексей. За что так строго, смею спросить?

Мышлаевский. За это — за самое. За народ-богоносец. За сеятеля, хранителя, землепашца и... впрочем, это Апухтин сказал...

Алексей. Это Некрасов сказал. Побойся Бога.

Мышлаевский *(зевая)*. Ну и Некрасова повесить.

Николка. Так.

Мышлаевский. Кавалергард! Во дворце! Да я б его, если б моя воля была!.. Из-за него, дьявола, в сапогах на морозе...

Алексей. Постой, какой Некрасов кавалергард?

Мышлаевский. Да не Некрасов. Гетман. Он, изволите ли видеть, во дворце сидит с немцами, а мы Трактир караулим. Веришь ли, на морозе стоял, как баба, ревел от боли.

Алексей. Кто ж там под Трактиром все-таки?

Мышлаевский. А вот эти самые достоевские мужички, богоносцы окаянные. Все, оказывается, на стороне Петлюры.

Николка. Неужели? А в газетах пишут...

Мышлаевский. Что ты, юнкер, мне газеты тычешь! Я бы всю эту газетную шваль тоже перевешал на одном суку! Все деревни против нас. Я сегодня утром напоролся на одного деда в деревне Попелихе и спрашиваю его: «Деж вси ваши хлопци?» Деревня словно вымерла. А он-то со слепу не разобрал, что у меня погоны под башлыком, и за петлюровца меня принял и отвечает: «Уси побиглы до Петлюры...» Как тебе нравится?

Алексей. Да, здорово.

Мышлаевский. Ну тут уж я не вытерпел. Мороз. Остервенился. Взял этого деда за манишку и говорю: «Уси побиглы до Петлюры? Вот я тебя сейчас пристрелю, старая б...! *(Алексей и Николка взмахивают руками.)* Ты узнаешь у меня, как до Петлюры бегают, ты у меня сбегаешь в царство небесное!..» Да не бойтесь, не скажу. И конечно, святой хлебороб прозрел в два счета. В ноги кинулся и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, це я сдуру, сослепу, тильки нэ вбивайте». Вообще, хорошенькие дела. *(Зевает.)*

Алексей. Как же ты в город попал?

Мышлаевский. Сменили нас, слава тебе, Господи. А я в штабе на Посту Волынском скандал Щеткину устроил. Они рады были от меня отделаться и послали меня сюда в штаб. Ну их к лешему. Я завтра же перевожусь в дивизион по специальности. Довольно. Я свое сделал. *(Зевает.)* Мортирный дивизион тут формируется, Студзинский там старшим офицером... Я сейчас на паровозе приехал, совершенно обледенел... Мне бы Студзинского повидать. Две ночи не спал. *(Дремлет.)*

Николка. Он к нам сегодня вечером придет.

Мышлаевский. Ну, превосходно.

Алексей. Я сам к ним записываюсь, пойду врачом в дивизион...

Мышлаевский внезапно засыпает.

Николка. Ц...ц...ц... Витя! Витя! Господин капитан, ты не засыпай. Ты сейчас купаться будешь.

Алексей. Оставь его, пусть. Видишь, человек замучен.

Долгий тревожный звонок.

Николка. О... пожалуй, это он.

Алексей. Звоночек похож.

Елена *(выходя)*. Открывай, Николка, скорее.

Николка уходит в переднюю.

Николка. Кто там?

Голос Тальберга: «Я... Я...»

Алексей. Ну вот видишь, приехал.

В переднюю входит Тальберг.

Тальберг. Здравствуй, Николка.

Николка. Здравствуй, господин полковник.

Елена. Если б ты знал, как я волновалась!

Тальберг. Не целуй меня, я с холоду. Ты можешь простудиться.

Снимает шинель, остается во френче с двумя значками. Лицом Тальберг похож на крысу в пенсне, а фигурой на автомат.

Елена. Голову ломала, что с тобой случилось!

Тальберг. К счастью, я, как видишь, жив и здоров. У нас все благополучно? *(Входит в столовую.)* Здравствуй, Алексей.

Алексей. Здравствуй.

Елена. Отчего же ты так долго? Я бог знает что думала. Иди сюда, грейся.

Тальберг. На каждой станции были непредвиденные задержки. Я даже хотел послать тебе телеграмму, но потом решил, что это пустая трата денег.

Мышлаевский всхрапывает.

Ба! Мертвое тело. Пьян, вероятно?

Алексей. Он не пьян. Замерз человек и не спал две ночи. Он только что с позиций.

Тальберг. Ах, вот как! А почему же такой экзотический наряд?

Алексей. Пришлось переодеть его.

Елена. Алеша, ты лучше его разбуди. А то он разоспится, потом не поднимешь. Ванна уже готова.

Тальберг. Мне, Лена, нужно сказать тебе два слова по важному делу.

Алексей. Мы сейчас уйдем к себе. Виктор! Виктор! *(Будит Мышлаевского.)*

Николка. Капитан! Вставай мыться.

Мышлаевский. Исчезни сию минуту.

Тальберг. Господин Мышлаевский строг по своему обыкновению.

Елена. Ну что ты, Володя, осуждаешь? Он совсем разбит, бедняга. На него смотреть было жалко.

Алексей. Виктор, поднимайся, поднимайся.

Мышлаевский. Мм... Ну в чем дело? Петлюра пришел, что ли?

Тальберг. Петлюры здесь, к счастью, нет.

Мышлаевский. Тем лучше. Мм... А!.. Здравствуйте, господин полковник.

Тальберг. Мое почтение, капитан.

Мышлаевский. Извини, Леночка, что я заснул.

Елена. Ну что тут извиняться. Иди купаться, спать потом будешь.

Мышлаевский. Нет, потом я лучше ужинать буду.

Алексей. Никол, идем его купать.

Мышлаевский. Дай папиросу, Алеша.

Николка, Мышлаевский и Алексей уходят.

Тальберг *(прикрывая за ними дверь)*. Я органически не выношу эту трактирную физиономию.

Елена. Володя, как тебе не стыдно! Ну что он тебе сделал плохого?

Тальберг. Он принимает наш дом, то есть, пардон, дом твоих братьев и наш, за постоялый двор. Как только появляется господин Мышлаевский, появляется водка, казарменные анекдоты и прочее. Я совершенно не понимаю Алексея. У него система окружать себя бог знает кем! Впрочем, все это скверно кончится. Среди всех этих Шервинских и Мышлаевских Алексей сам сопьется.

Елена. Если б ты знал, Володя, как мне тяжело, что ты не любишь братьев. Только что ты приехал, я так волновалась, и первые твои слова...

Тальберг. Прости, пожалуйста, это не я не люблю твоих братьев, а они меня ненавидят.

Елена. Да, они тебя тоже не любят. И это так омрачает нашу жизнь. Кругом и так все страшно, все рушится, а у нас какая-то трещина в семье и все расползается, расползается. Нехорошо.

Тальберг. Ах трещина!.. Ну конечно, трещина... Это я устроил трещину. Очаровательное семейство Турбиных, и вот я женился, ворвался. *(Тревожно глянул на часы на руке.)* Ах, Боже мой! Десять часов. Ээ... Десять часов. Вот что, Лена, в сторону трещину и Мышлаевского. Случилась важная вещь.

Елена. Что такое?

Тальберг. Слушай меня внимательно. Немцы оставляют гетмана на произвол судьбы.

Елена. Володя, да что ты!

Тальберг. Тсс... Никто еще не знает об этом. И даже сам гетман.

Елена. Откуда ты это узнал?

Тальберг. Только что и под строгим секретом — в германском штабе.

Елена. Что же теперь будет?

Тальберг. Что же теперь будет... Гм... Десять часов три минуты. Так-с... Что теперь будет? Лена. *(Пауза.)* Лена.

Елена. Что ты говоришь?

Тальберг. Я говорю — Лена.

Елена. Ну что, Лена?

Тальберг. Лена. Мне сейчас нужно бежать.

Елена. Бежать? Куда?

Тальберг. В Берлин. Гм... Десять часов и четыре минуты. Дорогая Лена. Ты знаешь, что меня ждет в случае, если придет Петлюра...

Елена. Тебя можно будет спрятать.

Тальберг. Нет-с, дорогая моя, спрятать меня негде. Да и что значит — спрятать! Не могу же я, подобно сеньору Мышлаевскому, сидеть в каком-то дурацком халате в чужой квартире. Да и все равно найдут. И ты знаешь, что ждет тех, кто служил на видных должностях у гетмана.

Елена. Постой, я не пойму, как бежать? Значит, мы оба должны уехать?

Тальберг. То-то что нет. Сейчас выяснилась ужасающая картина. Город обложен со всех сторон, и единственный способ выбраться — это выехать в германском штабном поезде сегодня ночью. Женщин они не берут. Мне одно место они дали. Благодаря моим связям.

Елена. Другими словами, ты хочешь уехать один?

Тальберг. Дорогая моя, не «хочу», а иначе не могу. Гм... Десять часов шесть минут. Лена. Поезд идет через полтора часа. Решай. Думай. И как можно скорее.

Елена. Как можно скорей? Через полтора часа? Тогда я решаю. Уезжай.

Тальберг. Ты умница. Я всегда это утверждал. Что, бишь, я хотел сказать еще? Да, что ты умница. Впрочем, это я уже сказал. Что еще... Гм...

Елена. На сколько же времени мы расстаемся?

Тальберг. Я думаю, месяца на два, на три. Я сейчас же отправляюсь в Берлин и там пережду время этой кутерьмы с Петлюрой. А когда гетман вернется...

Елена. А если он совсем не вернется?

Тальберг. Этого не может быть. Если немцы его совсем бросят, Антанта через два месяца его восстановит. Ей нужна гетманская Украина как кордон от московских большевиков. Ты видишь, я все рассчитал.

Елена. Да, я вижу. Но только вот что: как же так, ведь гетман еще тут, они формируются в армию, а ты вдруг убежишь на глазах у всех. Ловко ли это будет?

Тальберг. Милая. Это наивно. Я тебе говорю по секрету: «Я бегу», потому что ты моя жена, но ты, конечно, этого никому не скажешь. Полковники генштаба не бегают. Полковники генштаба ездят в командировку. У меня, моя дорогая, командировка в Берлин в качестве председателя технической комиссии от гетманского министерства. Что, недурно?

Елена. Очень недурно. Слушай, а что же будет с ними, со всеми?

Тальберг. Еще раз позволь тебя поблагодарить за то, что ты сравниваешь меня со всеми. Я — не все.

Елена. Ты же предупреди братьев.

Тальберг. Конечно. Конечно. Ну, итак, все устраивается хорошо. Как мне ни тяжело расстаться, Лена, на такой большой срок, обстоятельства сильнее нас. Я отчасти даже доволен, что уезжаю один. Ты побережешь нашу половину.

Елена. Владимир Робертович, здесь мои братья. Неужели же ты хочешь сказать, что они вытеснят нас? Ты не имеешь права.

Тальберг. О нет, нет, нет, конечно. Десять минут одиннадцатого. Но ты знаешь ведь пословицу: ки ва а ля шасс, пер са плас[1].

Елена. Да, эта пословица мне известна.

Тальберг. Итак, наши личные дела. Гм... У меня есть к тебе просьба. Гм... Видишь ли...

Елена. Говори, пожалуйста.

---

[1] Рукой Елены Сер. Булгаковой над этой фразой вписаны француз. слова: Qui va à la chasse, perd sa place. — Кто место свое покидает, тот его теряет (букв.: кто уходит на охоту, теряет свое место. *Франц.*).

Тальберг. Здесь без меня, конечно, будет бывать... этот... Шервинский...

Елена. Он и при тебе бывает.

Тальберг. Конечно, и при мне. Но вот в чем дело. В последнее время его поведение мне не нравится, моя дорогая.

Елена. Чем, позволю спросить?

Тальберг. Его ухаживания за тобой становятся слишком назойливыми, и вот мне было бы желательно... Гм...

Елена. Что желательно было бы тебе?

Тальберг. Я не могу тебе сказать — что! Ты — женщина умная и воспитанная твоей покойной матушкой, — прекрасно понимаешь, как должно себя держать, чтобы не бросить тень на мою фамилию.

Елена. Хорошо, я не брошу тень на твою фамилию.

Тальберг. Почему же так отвечаешь мне сухо? Я ведь не говорю тебе о том, что ты мне изменишь. Я прекрасно понимаю, что этого не может быть ни в каком случае.

Елена *(рассмеявшись)*. Почему же ты полагаешь, Владимир Робертович, что я не могу тебе изменить?

Тальберг. Елена! Елена! Елена! Я не узнаю тебя. Вот плоды общения с Мышлаевским. Мне неприятна эта шутка. Замужняя женщина. Изменить. Из хорошей семьи. Изменить. Четверть одиннадцатого. Я опоздаю.

Елена. Я сейчас тебе уложу. Позволь, а где же твой чемодан.

Тальберг. Милая. Никаких «уложу». Никаких чемоданов. Мой чемодан в штабе, а документы со мной. Нам остается только попрощаться.

Елена. А с братьями?

Тальберг. Само собой разумеется. Только смотри же — я еду в командировку.

Елена. Хорошо. Ну, прощай.

Тальберг. Не прощай, а до свиданья. *(Целует.)*

Елена. Алеша! Никол! Алеша!

Голос Алексея: «Да, да». Выходят Алексей и Николка.

Тальберг. Вот что, Алексей. Мне приходится сейчас опять ехать в командировку.

Алексей. Как, опять?

Тальберг. Да, такое безобразие, как я ни барахтался, не удалось выкрутиться, посылают в Берлин.

Алексей. Ах вот как!

Тальберг. И главное — очень срочно. Поезд идет сейчас.

Алексей. Сколько же ты времени там пробудешь?

Тальберг. Месяц. Два.

Алексей. А ты не боишься, что тебя отрежут от Киева?

Тальберг. Вот я и хотел сказать по этому поводу. Должен предупредить, что положение гетмана весьма серьезно.

Алексей. Так.

Тальберг. Серьезно и весьма.

Алексей. Так.

Тальберг. Весьма серьезно. *(Многозначительная пауза.)* Я предупредил.

Алексей. Мерси.

Тальберг. Четверть одиннадцатого. Пора, пора, пора. Елена. Вот тебе деньги. Из Берлина немедленно переведу. Будь... до свидания, Алексей... здоро́во. До свидания, Никол. Двадцать минут одиннадцатого. Будьте здоровы, Никол.

Николка. До свиданья, господин полковник.

Тальберг стремительно идет в переднюю. Одевается.

Тальберг. Найду ли я здесь извозчика?

Елена. На углу всегда есть.

Тальберг. До свиданья, моя дорогая. *(Целует.)* Смотри, ты простудишься.

Алексей *(из столовой)*. Елена, ты простудишься.

Пауза.

Николка. Алеша, как же это он так уехал? В такой момент.

Алексей молчит. Слышно, как подъезжает извозчик. Глухие голоса.

С извозчиком торгуется. Алеша, ты знаешь, я сегодня заметил. Он на крысу похож.

Алексей. А дом — на корабль. Идем, а то там Мышлаевский, наверно, утонул в ванне.

Уходят.

Елена *(возвращается в переднюю. Становится на стул. Кричит в форточку)*. До свидания! Ты пришлешь телеграмму из Берлина? *(Закрывает форточку, слезает, садится на стул. Недоуменно.)* Уехал? Уехал?!

Внезапно в передней появляется Шервинский, в шинели, с огромным букетом в бумаге и со свертком. Шервинский небольшого роста, очень красив, с черными баками. Похож на Севильского цирюльника.

Шервинский. Кто уехал?

Елена. Боже мой, как вы меня испугали, Шервинский! Как же вы вошли без звонка?

Шервинский. Да ведь парадная дверь не заперта. Я ее и закрыл за собой. Прихожу, извозчик с кем-то отъезжает, и все настежь. Здравия желаю, Елена Васильевна. Позвольте вам... *(Разворачивает букет.)*

Елена. Леонид Юрьевич, я же просила вас не делать больше этого. Мне неприятно, что вы тратите деньги.

Шервинский. Деньги, дорогая Елена Васильевна, существуют на то, чтобы их тратить, как сказал Карл Маркс. Вы разрешите мне снять шинель?

Елена. К чему эти вопросы, раз вы пришли! А если бы я сказала — не разрешаю? Прелестные розы...

Шервинский. Я просидел бы весь вечер в шинели у ваших ног.

Елена. Ой, Шервинский, армейский комплимент!

Шервинский. Помилуйте, это гвардейский комплимент. Я так рад, что вас увидел. Я так давно вас не видал...

Елена. Если память мне не изменяет, вы были у нас вчера...

Шервинский. Ах, Елена Васильевна, что такое значит вчера! *(В столовой Шервинский снимает маузер и кладет его вместе со свертком на стол у тахты. Елена ставит цветы в вазу. Шервинский в адъютантских аксельбантах.)* Итак, кто же уехал?

Елена. Владимир Робертович.

Шервинский. Виноват, он же сегодня должен был вернуться?

Елена. Да, он вернулся и опять уехал.

Шервинский. Куда?

Елена. За границу.

Шервинский. Как-с?.. за границу... и надолго, позвольте узнать?

Елена. Неизвестно.

Шервинский. Ах, какая жалость. Скажите, пожалуйста...

Елена. Ах, Шервинский, Шервинский.

Шервинский. Я расстроен, Елена Васильевна. Я так расстроен. *(Целует руку.)*

Елена. Пятый раз целуете. Довольно.

Шервинский. Я расстроен, Елена Васильевна. А где же Алексей и Николка?

Елена. Они там возятся с Мышлаевским. Он приехал с позиции совершенно замороженный.

Шервинский. Что вы говорите? Это приятно. Это чрезвычайно приятно. То есть что он вернулся, а не то, что замороженный. Я уж боялся, не убили ли его. Вы знаете, сейчас Студзинский к вам придет, и все мы в сборе! Ура!.. Ура!..

Елена. Чему вы так бурно радуетесь?

Шервинский. Ах, Елена Васильевна. Я, видите ли, радуюсь...

Елена. Вы не светский человек, Шервинский.

Шервинский *(подавлен)*. Я не светский? Позвольте. Почему? *(Задумчиво.)* Нет, я светский.

Елена. Скажите лучше, светский человек, что такое с гетманом?

Шервинский. Все в полном порядке.

Елена. А как же ходят слухи, что будто бы положение катастрофическое. Говорят, что немцы оставляют нас на произвол судьбы.

Шервинский. Да ничего подобного. Не верьте никаким слухам.

Елена. Что ж, вам виднее.

Шервинский *(после паузы)*. Итак, стало быть, Владимир Робертович уехал, а вы остались?

Елена. Как видите.

Шервинский. Так-с...

Елена *(после паузы)*. Как ваш голос?

Шервинский. Миа... Миа... мама... мама... миа... В бесподобном голосе... Кхе... кхе... мама... Ехал к вам на извозчике, казалось, что голос немножко сел, а сюда приехал — оказывается, в голосе. Ми!

Голоса Мышлаевского и Николки: «Шервинский! «Демона»!»

Идите сюда!

Голос Николки: «Мы сейчас».

Елена. Ноты захватили с собой?

Шервинский. Как же-с.

Елена. Ну идите, проаккомпанирую.

Шервинский. Вы чистой воды богиня. *(Целует руку.)*

Елена. Отстаньте. Единственно, что в вас есть хорошего, — это голос, и прямое ваше назначение — это оперная карьера.

Шервинский. Мм... да... Кхе... Ми... Кое-какой материал есть. Вы знаете, Елена Васильевна, я однажды пел в Жмеринке «Эпиталаму». Там вверху «фа», как вы знаете, а я взял вместо него «ля» и держал девять тактов.

Елена. Сколько?

Шервинский. Восемь тактов держал. Не верите? Как хотите. У нас тогда рядом в отряде служила сестрой милосердия графиня Гендрикова. Так она влюбилась в меня после этого «ля».

Елена смеется.

Напрасно вы не верите.

Елена. И что ж дальше было?

Шервинский. Отравилась. *(Задумчиво.)* Цианистым калием.

Елена. Ах, Шервинский, Шервинский... Ей-богу, это у вас болезнь. Идемте.

Шервинский. Сию минуту ноты возьму.

Елена уходит. В соседней комнате зажигается свет, виден бок рояля. Слышен аккорд.

Шервинский *(со свертком нот)*. Уехал. Уехал. *(Приплясывает.)* Уехал!

Занавес

Конец первой картины

КАРТИНА ВТОРАЯ

Квартира Турбиных уходит вверх. Снизу поднимается нижняя квартира Василисы. Мещански-уютно обставленный кабинет с граммофоном, зеленая лампа. От нее — таинственный свет. Окно, завешенное только в нижней его половине. На сцене домовладелец Василиса, чрезвычайно похожий на бабу, и жена его Ванда, сухая злобная, с прической в виде фиги.

Василиса. Ты — дура.

Ванда. Я знала, что ты хам, уже давно, но в последнее время твое поведение достигло геркулесовых столбов.

Василиса. Делай так, как я говорю.

Ванда. Пойми ты, понадобятся деньги, стол нужно переворачивать.

Василиса. И перевернешь, руки не отвалятся.

Ванда. Гораздо лучше за буфет спрятать.

Василиса. За всеми буфетами ищут. А это никому не придет в голову. Все в городе так делают.

Ванда. О Боже мой! Ну хорошо.

Василиса. Принеси, пожалуйста, простыню и английскую булавку.

Ванда. Заметно будет. Простыня на окне белая. Еще хуже сделаешь.

Василиса. Вот характерец! Ну не простыню, так плед. Не плед, так какого-нибудь черта.

Ванда. Попрошу не ругаться.

Василиса. Неси!

Ванда уходит. Василиса переворачивает ломберный стол кверху ножками. Ванда возвращается с пледом.

Держи. *(Влезает на стул. Завешивает окно пледом. Достает пачку денежных бумажек.)* Давай кнопки. *(При-*

шпиливают бумажки к нижней поверхности стола.) Великолепно. *(Ставит стол на место.)* Вот и ничего не заметно. А ты спорила.

Ванда. Тоже удовольствие — каждый день отколупывать по бумажке.

Василиса. И отколупнешь. Ничего с тобой не сделается. Ну-с, теперь самое главное. Двери-то заперты?

Ванда. Да, заперты.

Василиса. Ладно. *(Смотрит задумчиво на стену. Бормочет. Делает непонятные движения руками.)* Так. На четверть аршина... Гм... Прекрасно. Давай стул.

Ванда подает стул. Василиса достает из письменного стола пакет. Влезает на стул.

Подержи. *(Ножиком вскрывает разрез на стене, открывает тайник.)*

Ванда подает ему пакет. Плед на окне отваливается. За стеклом появляется физиономия 1-го бандита, наблюдает за работой. Василиса прячет пакет.

Давай обои и клей.

Ванда поворачивается, лицо бандита мгновенно исчезает.

Ванда. Отвалился!

Василиса. «Отвалился»! Это свинство с твоей стороны, ничего не можешь сделать аккуратно.

Ванда. Да никто не видал.

Василиса. Никто! Никто, а вдруг кто! Вот будет тогда здорово — никто! Город полон бандитами. Не обрадуешься.

Ванда. Говорю тебе, никто не успел увидать.

Василиса. Окно на улицу!

Ванда. До чего нудный человек, Боже ты мой.

Василиса. Поправляй.

Ванда поправляет плед.

Давай синдетикон. *(При помощи Ванды заклеивает тайник обоями. Слезает.)* Отлично. Ну, пусть теперь Петлюра приходит. Никто не догадается. Совершенно незаметно.

Ванда. Пожалуй, действительно незаметно. Идем спать.

Василиса. Сейчас. Нужно еще деньги пересчитать, на мелкие расходы.

Ванда уходит. Полоска света из портьеры. Шум воды в умывальнике. Василиса достает деньги, считает, бормочет.

Пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать... За фальшування карається тюрмою. Вот деньги, прости Господи.

Голос Ванды: «Куда ты поставил валериановые капли? У меня такое нервное настроение, что я заснуть не могу».

В тумбочке.

Голос Ванды: «Нету там».

Ну не знаю. *(Плюет.)* Фу ты, черт! *(Смотрит на свет лампы бумажку.)* Вот мерзавцы! Фальшивая. *(Считает, смотрит на свет.)* Вторая фальшивая... Господи Иисусе... Девяносто... Сто... Третья фальшивая. Что же это такое делается?!

Голос Ванды: «Что такое?»

Да понимаешь, на двадцать пять бумажек семь фальшивых.

Ванда *(выходя в белой ночной кофточке).* Нужно было смотреть, что дают. Рохля.

Василиса. Полюбуйся.

Ванда. По-моему, она хорошая.

Василиса. Твоей работы. Посмотри на морду хлебороба.

Ванда. Ну...

Василиса. Ну, он должен быть веселый, радостный должен быть хлебороб на государственной бумажке. А у этого кислая рожа.

Ванда. Да, хлебороб подозрительный.

Василиса. Что ж нам теперь делать?

Ванда. Завтра я на базаре одну сплавлю.

Василиса. А я извозчику. Все равно мне завтра нужно будет ехать. И откуда только берутся эти фальшивки, так по рукам и ходят, так и ходят.

Ванда. Ну ладно. Нечего делать. Иди лучше спать. А то ты даже похудел.

Василиса. Сейчас. Похудеешь тут. Вот времечко. *(Прячет деньги. Раздумывает. Любуется на то место, где тайник. Бормочет.)* Нет, что ни говори, а остроумная шутка. Никому в голову не придет.

Из квартиры Турбиных сверху глухо слышен смех, потом рояль и пение.

Никогда покоя нет. Ведь это ужас. Вот орава-то. Половина первого, а у них пение начинается. *(Подходит к окну и снимает плед.)*

Голос Ванды за сценой: «Одеяло возьми».

Спи, пожалуйста. Сейчас. *(Приближается к окну. Всматривается в ночь.)* Нет, никого не могло быть. *(Тушит лампу. Уходит.)*

За сценою голоса то его, то Ванды: «Ну в нижнем ящике...» — «Да нету там...» — «Ну завтра найдешь...» — «Ох, ох, ох...» Сверху яснее рояль и голос Шервинского поет «Пою тебе, бог Гименея...» Квартира Василисы угасает, уходит вниз.

Занавес

Конец второй картины

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Появляется квартира Турбиных. Ярко освещена. Ночь. Дымно. На столе ужин, вино.

На сцене Николка, Алексей (в погонах), капитан Студзинский (в погонах). Мышлаевский (после ванны в белой чалме и в полосатом бухарском халате). Постепенно во время картины пьянеют. Портьера откинута, слышен рояль и голос Шервинского. Он поет.

Шервинский. Эрос, бог любви... Он их благословляет... Венера предлагает чертоги им свои... Слава и хвала Кризе и Нерону... Слава и хвала. Пою тебе, бог Гименея... Бог Гименей!!! *(Берет блистательную высокую ноту.)*

Николка. Вот это голосок!

Студзинский Браво! Браво, браво...

Все аплодируют.

Николка. «Демона»! «Демона»!

Шервинский *(выходя)*. Не могу больше.

Мышлаевский. Ты заслужил, баритон, стакан белого вина.

Алексей. Елена, ужин продолжается!

Елена выходит к столу.

Мышлаевский. Да-с, господа. Голым профилем на ежа не сядешь!

Елена. Витька, что за гадости ты говоришь.

Мышлаевский. Виноват. Извини, Лена. Не я придумал, а господа журналисты. *(Показывает газету.)* Остроумие, черт меня возьми. Но — талантливые, черти, ничего не поделаешь, и совершенно верно. Голым профилем... Николка. Ну-ка, ну-ка, как это у них? Азбуку.

Николка *(играет на гитаре. Поет)*.

Арбуз не стоит печь на мыле,
Американцы победили!

Подпевают Николке.

Елена. Какая мерзость!

Шервинский. Стойте. Стойте. Я придумал припев. До, ми, соль. *(Поет на церковный мотив.)*

Голым профилем...

Все хором *(кроме Елены)*.

На ежа не сядешь...

Елена. Это безобразие, господа, перестаньте! Ведь это кощунство!

Мышлаевский. Леночка, брось, дорогая! Весело, и слава Богу! Пей белое вино. Господа, здоровье Елены Васильевны!

Все. Ура!!!

Елена. Тише вы. Василису разбудите. И так уж он твердит, что у нас попойки каждый день. Вы как мастеровые, ей-богу.

Студзинский. Это Лисович? Почему его, Елена Васильевна, все Василисой называют?

Николка. Он, господин капитан, вылитая Василиса. Вся разница в том, что на нем штаны надеты, и подписывается на всех бумажках — вместо Василий Лисович — Вас. Лис.

Мышлаевский. Лена золотая, пей белое вино. Я знаю, отчего ты так расстроена. Знаю. Радость моя, рыжая Лена. Плюнь. Он даже лучше сделал, что уехал. Пересидит там, в Берлине, и велнколепно. Ты, Леночка, замечательно выглядишь сегодня. Я тебе откровенно говорю. И капот этот идет к тебе, клянусь честью. Капитан, глянь, какой капот — совершенно зеленый.

Елена. Это электрик, Витенька.

Мышлаевский. Ну, тем хуже. Все равно. Капитан, обрати внимание, не красивая она женщина, ты скажешь?

Студзинский. Елена Васильевна — чрезвычайно красива.

Мышлаевский. Лена. Позволь я тебя обниму и поцелую. *(Обнимает и целует.)*

Шервинский. Эээ...

Мышлаевский. Шервинский, отойди. От чужой мужней жены отойди.

Шервинский. Позвольте.

Мышлаевский. Мне можно. Я — друг детства.

Шервинский. Свинья ты, а не друг детства.

Николка *(поет)*.

Игривы Брейтмана остроты,
И где же сенегальцев роты?

Студзинский. Там лучше есть, — про Родзянко!

Николка *(поет)*.

Рожают овцы под брезентом,
Родзянко будет президентом.

Мышлаевский. Кукиш с маслом он будет президентом. И где же сенегальцев роты? Отвечай, личный адъютант, где обещанные сенегальцы? Леночка, пей вино!

Шервинский. Будут. Тише. Позвольте сообщить вам важную новость. Сегодня на Крещатике я сам видел сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее — через три дня, в город придут два сербских полка.

Мышлаевский. Слушай, это верно?

Шервинский. Даже странно. Если я говорю, что сам видел, вопрос мне кажется неуместным, господин штабс-капитан.

Мышлаевский. Два полка! Что значит — два полка!

Шервинский. Хорошо-с. Тогда не угодно ли выслушать? Вчера его светлость сам сказал мне.

Все. Гетман?

Шервинский. Точно так, Елена Васильевна, гетман. Он сам говорил мне, что в Одесском порту уже разгружают транспорты. Пришли две дивизии сенегалов. Стоит нам продержаться неделю, и нам, Елена Васильевна, простите за выражение, на немцев наплевать.

Студзинский. Предатели!

Мышлаевский. Ну, если это верно, вот Петлюру тогда поймать да повесить.

Николка. Правильно!

Мышлаевский. Повесить, повесить, повесить... Единственное спасение — всех повесить.

Алексей. Вы знаете, кого надо повесить раньше, чем Петлюру?

Шервинский. Интересно.

Алексей. Вот эту самую светлость, вашего гетмана.

Шервинский. Го...го...го...

Алексей. Да-с, господин личный адъютант. И именно за устройство этой миленькой Украины. «Хай живе вильна Украина, от Киева до Берлина». Полгода он издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Кто терроризовал население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? — Гетман! Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Сам же гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, он, небось, начал формировать русскую армию. И теперь в двух шагах враг, а у нас дружины, штабы. Смотрите! Ой, смотрите!

Студзинский. Панику сеете, господин доктор.

Алексей. Я — панику? Вы меня просто понять не хотите. Простите, ведь мы говорили уже. Завтра я иду в ваш дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, пойду простым рядовым. Мне все это осточертело. С Петлюрой надо покончить. Ох, этот мне гетман!

Студзинский. Зачем же рядовым, Алексей Васильевич? Устроим врачом. Нам это страшно нужно.

Мышлаевский. Завтра пойдем все вместе. Вся императорская Александровская гимназия! Ура!

Алексей. Сволочь он...

Елена. Алеша!

Алексей. Ведь он же сам не говорит иа этом проклятом языке. Вчера, не угодно ли? Встречаю эту каналью, доктора Курицкого. Он, изволите лн видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Тридцать лет говорил и вдруг забыл, и был Курицкий, а стал Курицький, с мягким знаком в середине. Да, так вот я его н спрашиваю: скажите, пожалуйста, как по-украински — кот? Он отвечает: «Кит». Спрашиваю: а как — кит, а он вытаращил глаза и молчнт. А теперь не кланяется.

Николка. Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты. А в России всего много, в Белом море киты есть.

Алексей. Мобнлизация против Петлюры! Жалко, что вы не видели, что делалось вчера в призывных участках. Все спекулянты знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого — грыжа, у всех — верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки — ну просто пропал, черт его знает куда он делся, словно сквозь землю провалился. А уж если, господа, на мобилизацию никто не идет, это признак грозный. Вот если бы ваш гетман вместо того, чтобы ломать эту чертову комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, Петлюры бы теперь духу не пахло в Малороссии. Но этого мало. Мы бы большевиков прихлопнули в Москве, как мух. И самый момент, там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас!

Шервинский. Тебе бы, знаешь, не врачом, а министром обороны быть. Право.

Николка. Алексей на митинге — незаменимый человек. Оратор.

Алексей. Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк. Пей лучше вино.

Шервинский. Немцы бы не позволили формировать армию. Они боятся ее.

Алексей. Неправда. Нужно иметь только голову на плечах. И всегда можно было столковаться с гетманом. Нужно было немцам объяснить, что мы им не опасны.

Кончено. Войну мы проиграли. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем вообще все на свете. У нас Троцкий! Немцам нужно было сказать: вам нужен сахар, хлеб? Берите, лопайте, подавитесь, только помогите, чтобы наши богоносцы не заболели б московской болезнью.

Мышлаевский. Аа... Богоносцы... Достоевский. Смерть моя. Слышал. Вот кого повесить. Достоевского повесить!

Елена. За что?

Алексей. Капитан, ты ничего не понимаешь. Ты знаешь, кто такой был Достоевский?

Мышлаевский. Подозрительная личность.

Николка. Витенька! Это ты уж чересчур.

Студзинский. Ээ... Виктор.

Алексей. Он был пророк! Ты знаешь, он предвидел все, что получится. Смотрите, вон книга лежит — «Бесы». Я читал ее как раз перед вашим приходом. Ах, если бы это мы все раньше могли предвидеть! Но только теперь, когда над нами стряслась такая беда, я начал все понимать. Знаете, что такое этот ваш Петлюра?

Мышлаевский. Пакость порядочная.

Алексей. Это не пакость. Это страшный миф. Его вовсе нет на свете. Это черный туман, мираж. Гляньте в окна. Посмотрите, что там видно.

Елена. Алеша, ты напился.

Алексей. Там тени с хвостами на головах и больше ничего нет. В России только две силы. Большевики и мы. Мы встретимся. И один из нас уберет другого. И вернее всего, они уберут нас. А Петлюра, эта ваша светлость, вот эти хвосты, все это кошмар, все это сгниет. Допустим вероятное. Допустим — Петлюра возьмет Киев. Вы думаете, он долго продержится? Две недели, самое большее — три. А вслед за ним придет и совершенно неизбежно с полчищами своих аггелов Троцкий.

Студзинский. Господа, доктор совершенно прав.

Мышлаевский. Аа... Троцкий! Это я понимаю. *(Раздражен, встает.)* Троцкий. *(К зрительному залу.)* Который из вас Троцкий? *(Берет маузер Шервинского, вынимает из футляра.)*

Студзинский. Капитан, сядь. Сядь.

Елена. Виктор, что ты делаешь!

Мышлаевский *(у рампы)*. Сейчас в комиссаров буду стрелять... Ах ты, ма...

Елена. Господа, держите его, он с ума сошел!

Шервинский. Маузер заряжен! Отнимите у него!

Алексей, Студзинский и Шервинский отнимают маузер у Мышлаевского.

Алексей. Ты что, спятил?

Елена. Виктор, если ты не перестанешь безобразничать, я уйду из-за стола.

Мышлаевский. Ах вот как, стало быть, я в компанию большевиков попал? Очень, очень приятно. Здравствуйте, товарищи. Ладно, выпьем за здоровье Троцкого. Он симпатичный.

Елена. Виктор, не пей больше.

Мышлаевский. Молчи, комиссарша.

Шервинский. Боже, до чего надрался! Стойте. Ты, доктор, прав. Гетман — старый кавалергард и дипломат. У него хитрый план. Когда вся эта кутерьма уляжется, он положит Украину к стопам его императорского величества государя императора Николая Александровича.

Гробовая пауза.

Николка. Император убит.

Мышлаевский. А говорят, я надрался.

Алексей. Какого Николая Александровича?

Шервинский. Вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?

Студзинский. Никакого понятия не имеем.

Шервинский. Ну-с, а мне известно.

Мышлаевский. Ему все известно. Ты ж не ездил.

Елена. Господа, дайте же ему сказать.

Шервинский. Когда Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он закончил так: «О дальнейшем с вами будет говорить...» Портьера раздвинулась, и вышел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично поведу вас в сердце России — в Москву». И прослезился.

Мышлаевский плюет.

Алексей. Слушай, это легенда. Я уже слышал эту историю.

Студзинский. Убиты все: и государь, и государыня, и наследник.

Шервинский. Напрасно вы не верите, известие о смерти его императорского величества...

Мышлаевский. Несколько преувеличено.

Шервинский. ...вымышлено большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера, месье Жильяра, и он теперь в гостях у императора Вильгельма.

Студзинский. Поручик, Вильгельма же тоже выкинули!!

Шервинский. Ну, значит, они оба в Дании. И вот: сообщил мне это сам гетман.

Николка *(вставая)*. Я предлагаю тост: здоровье его императорского величества.

Мышлаевский. Ладно, встанем.

Все встают.

Николка. Если император мертв, да здравствует император!

Все. Ура, ура, ура...

Елена. Тише вы, что вы делаете!

Шервинский *(поет)*. Боже, царя храни...

Все *(кроме Елены, поют)*.

Сильный, державный,
Царствуй на славу...

Елена. Господа, что вы делаете?

Квартира Турбиных уходит вверх. Поднимается квартира Василисы. Маленькая спальня. На двухспальной кровати сидят Ванда и Василиса. Оба в ужасе.

Василиса. Что же это такое делается? Два часа ночи! Я жаловаться, наконец, буду. Я им от квартиры откажу.

Ванда. Это какие-то разбойники, Вася! Постой, ты слышишь, что они поют?

Василиса. Боже мой.

Замерли. Из квартиры Турбиных: «...царь православный. Боже, царя храни». Глухой крик: «Ура».

Нет, они душевнобольные. Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебаешь. Ведь слышно все. Слышно.

Ванда. Вася, завтра с ними надо будет решительно поговорить.

Василиса. Какие-то отчаянные люди, честное слово.

Тушат свет.
Появляется квартира Турбиных.

Мышлаевский. Алеша. *(Плачет горькими слезами.)* Разве это народ... ведь это сукины дети. Профессиональный союз цареубийц. Петр Третий... Ну что он им сделал? Что? Орут — войны не надо! Отлично. Он же прекратил войну. И что?!. Собственный дворянин царя по морде бутылкой... Хлоп. Где царь? Нет царя! Павла Петровича князь портсигаром по уху...

Елена. Господа, уложите его, ради Бога.

Мышлаевский. А этот. Забыл... с бакенбардами, симпатичный такой, дай, думает, мужичкам приятное сделаю. Освобожу их, чертей полосатых! Так его за это бомбой, так его!.. Пороть их надо, негодяев, Алеша...

Алексей. Вот Достоевский это и видел и сказал: «Россия — страна деревянная, нищая и опасная, а честь русскому человеку только лишнее бремя!»

Шервинский. На Руси возможно только одно. Вот правильно сказано: вера православная, а власть самодержавная!

Николка. Правильно! Я, господа, неделю тому назад был в театре на «Павле Первом», и, когда артист произнес эти слова, я не вытерпел и крикнул: «Правильно!..»

Елена. Господа, вы весь дом разбудите.

Николка. Что же вы думаете? Кругом стали аплодировать, и только какой-то мерзавец в ярусе крикнул: «Идиот».

Мышлаевский. Ох, мне что-то жарко, братцы... *(Снимает халат.)*

Студзинский. Это все евреи наделали!

Мышлаевский *(лежа на тахте)*. Ой, мне что-то плохо, братцы.

Елена. Так я и знала.

Николка. Капитану плохо. Смотрите.

Елена. Алексей. Брось ты своего Петра Третьего. Посмотри, что с ним.

Алексей. Да, здóрово.

Шервинский. Поужинал штабс-капитан.

Елена. Что? Пульса нет?

Алексей. Нет, ничего, отойдет. Никол, бери, помогай. Господа, помогите его перенести ко мне.

Студзинский, Николка, Алексей поднимают Мышлаевского и выносят.

Николка, таз, таз приготовь.

Елена. Боже мой, я пойду посмотрю, что с ним.

Шервинский. Не нужно, Елена Васильевна, его тошнить будет, больше ничего. Не ходите.

Елена. Ведь это не нужно так. Ах, господа, господа... Хаос... Накурили...

Шервинский. Да, ужасно. Я удивляюсь Мышлаевскому. Как это так все-таки.

Елена. Не вам бы говорить. Я и сама из-за вас напилась. Вообще, в вашу компанию попасть, пропадешь.

Шервинский. Можно здесь сесть возле вас?

Елена. Садитесь, Шервинский... что с нами будет? Я видела дурной сон. Вообще, последнее время кругом все хуже и хуже.

Шервинский. Елена Васильевна, все будет благополучно, ей-богу. А снам вы не верьте. Какой вы сон видели?

Елена. Нет. Нет. Мой сон вещий. Будто мы все ехали на корабле в Америку и сидим в трюме, и вот шторм. Ветер воет. Холодно. Холодно. Волны. А мы в трюме. Волны к нам плещут, подбираются к самым ногам... А мы в трюме... Влезаем на какие-то нары, а вода все выше, выше. И главное, крысы. Омерзительные, быстрые, такие огромные, и лезут прямо по чулкам. Брр... Царапаются так. До того страшно, что я проснулась.

Шервинский. А вы знаете что, Елена Васильевна? Он не вернется.

Елена. Кто?

Шервинский. Ваш муж.

Елена. Леонид Юрьевич, это нахальство! Какое вам дело? Вернется, не вернется.

Шервинский. Мне-то большое дело, я вас люблю.

Елена. Слышала. И все вы сочиняете.

Шервинский. Ей-богу, я вас люблю.

Елена. Ну и любите про себя.

Шервинский. Не хочу. Мне надоело.

Елена. Постойте! Постойте! Почему вы вспомнили о моем муже, когда я заговорила про крыс?

Шервинский. Потому что он на крысу похож.

Елена. Какая вы свинья все-таки, Леонид. Во-первых, вовсе не похож.

Шервинский. Как две капли воды. В пенсне, носик острый.

Елена. Очень, очень красиво. Про отсутствующего человека гадости говорить, да еще его жене.

Шервинский. Какая вы ему жена!

Елена. То есть как?

Шервинский. Вы посмотрите на себя в зеркало. Вы — красивая, умная, как говорится, интеллектуально развитая. Вообще женщина на ять. Аккомпанируете прекрасно. А он рядом с вами — вешалка, карьерист, штабной момент.

Елена. За глаза-то. отлично! *(Зажимает ему рот.)*

Шервинский. Да я ему это и в глаза скажу. Давно хотел. Скажу и вызову на дуэль. Вы с ним несчастливы.

Елена. С кем же я буду счастлива?

Шервинский. Со мной.

Елена. Вы не годитесь.

Шервинский. Почему это я не гожусь?.. Ого...

Елена. Что в вас есть хорошего?

Шервинский. Да вы всмотритесь.

Елена. Ну, побрякушки адъютантские, смазлив, как херувим. И больше ничего. И голос.

Шервинский. Так я и знал. Что за несчастье? Все твердят одно и то же. Шервинский — адъютант, Шервинский — певец, то, другое... А что у Шервинского есть душа, этого никто не замечает. Никто. И живет Шервин-

ский, как бездомная собака. Без всякого участия. И не к кому ему на грудь голову склонить.

Елена *(отталкивая его голову)*. Вот гнусный ловелас! Мне известны ваши похождения. Всем одно и то же говорите. И этой вашей длинной... Фу... губы накрашенные...

Шервинский. Она не длинная, это меццо-сопрано, Елена Васильевна, ей-богу, ничего подобного я ей не говорил и не скажу. Нехорошо с вашей стороны, Лена, как нехорошо с твоей стороны.

Елена. Я вам не Лена.

Шервинский. Нехорошо с твоей стороны, Елена Васильевна, значит, у вас нет никакого чувства ко мне.

Елена. К несчастью, вы мне очень нравитесь.

Шервинский. Ага, нравлюсь, а мужа своего вы не любите.

Елена. Нет, люблю.

Шервинский. Лена, не лги. У женщины, которая любит мужа, не такие глаза. О, женские глаза! В них все видно.

Елена. Ну да вы опытны, конечно.

Шервинский. Как он уехал?

Елена. И вы бы так сделали.

Шервинский. Что? Я? Никогда. Это позорно. Сознайтесь, что вы его не любите.

Елена. Ну хорошо. Не люблю и не уважаю. Не уважаю. Не уважаю. Довольны? Но из этого ничего не следует. Уберите руки.

Шервинский. А зачем вы тогда поцеловались со мной?

Елена. Лжешь ты! Никогда я с тобой не целовалась. Лгун с аксельбантами!

Шервинский. Я лгу? Нет... У рояля. Я пел «Бога всесильного», и мы были одни. И даже скажу когда — восьмого ноября. Мы одни, и ты меня поцеловала в губы.

Елена. Я тебя поцеловала за голос. Понял? За голос. Матерински поцеловала. Потому что голос у тебя замечательный. И больше ничего.

Шервинский. Ничего?

Елена. Это мученье, честное слово. Нашел время, когда объясняться. Дым коромыслом. Посуда грязная... Эти пьяные... Муж куда-то уехал... Кругом свет...

Шервинский. Свет мы уберем. *(Тушит верхний свет.)* Так хорошо? Слушай, Лена, я тебя очень люблю. Я ведь тебя все равно не выпущу. Ты будешь моей женой.

Елена. Пристал, как змея. Как змея.

Шервинский. Какая же я змея? Лена, ты посмотри на меня.

Елена. Пользуется каждым случаем и смущает меня и соблазняет. Ничего ты не добьешься. Ничего. Какой бы он ни был, не стану я ломать свою жизнь. Может быть, ты еще хуже окажешься. Все вы на один лад и покрой. Оставь меня в покое.

Шервинский. Лена, до чего ты хороша.

Елена. Уйди. Я пьяна. Это ты сам меня напоил нарочно. Ты известный негодяй.

Часы бьют три, играют менуэт.

Вся жизнь наша рушится. Все кругом пропадает, валится.

Шервинский. Елена, ты не бойся. Я тебя не покину в такую минуту. Я возле тебя буду, Лена.

Елена. Выпусти меня. Я боюсь бросить тень на фамилию Тальберг.

Шервинский. Лена, ты брось его совсем и выходи за меня, Лена!

Целуются.

Разведешься?

Елена. Ах, пропади все пропадом!

Целуются

Николка *(появился в дверях, совершенно подавлен)*. Эх...

Елена. Ну что, пришел он в себя? Слава Богу. Я пойду на него погляжу. Пусть он там и спит, а Алеше здесь постелим. Пора спать. *(Уходит.)*

Шервинский. Ты чего рот раскрыл? Хочешь, может быть, мне что-нибудь сказать?

Николка *(заикнувшись)*. Который час?

Занавес

Конец первого акта

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

У Турбиных. Ночь. Близко к рассвету. Алексей спит на тахте.

Алексей *(говорит во сне)*. Кто там? Кто. Кто. Кто. *(Пауза.)* Да кто же здесь, Боже мой? *(Просыпается, поднимается, берет со стула револьвер, целится в портьеру.)* Фу ты, черт, халат. *(Засыпает, бормочет.)* Чертова водка.

Сцену затягивает туман. Халат на стене внезапно раскрывается, из него выходит Кошмар. Лицом сморщен, лыс, в визитке семидесятых годов, в клетчатых рейтузах, в сапогах с желтыми отворотами.

Кошмар. Голым профилем на ежа не сядешь. Святая Русь страна деревянная, нищая и опасная, а русскому человеку честь — одно только лишнее бремя. *(Поет.)*

Здравствуйте, дачники,
Здравствуйте, дачницы,
Съемки у нас опять начались...

Сцена наполняется гитарным звоном.

Я бы этого вашего гетмана повесил бы, честное слово. *(Вскакивает на грудь Алексею, душит его.)*

Алексей *(во сне)*. Пусти.

Кошмар. Я к вам, Алексей Васильевич, с поклоном от Федора Михайловича Достоевского. Я бы его, ха, ха... повесил бы... Игривы Брейтмана остроты, а где же сенегальцев роты. Скажу вам по секрету, уважаемый Алексей Васильевич, не будет никаких сенегальцев, они, кстати, и сингалезы. Впрочем, правильнее говорить не сингалезы, а гансилезы. А союзники — сволочь.

Алексей. Отойди. Гансилезы — это вздор. Такого слова нет. И тебя нет. Я вижу тебя во сне. И сейчас же проснусь. Проснусь. Проснусь, проснусь.

Кошмар. Ошибаетесь, доктор. Я не сон, а самая подлинная действительность. Да и кто может сказать, что такое сон? Кто? Кто?

Алексей *(во сне)*. Кто? Кто? Кто?

Кошмар. Вот то-то. А чтобы доказать вам, что я не сон, я вам скажу, милейший доктор, я превосходно знаю, что с вами будет.

Алексей. Что? Что? Что?

Кошмар. Очень нехорошие вещи. *(Кричит глухо.)* Доктор, не размышляйте, снимите погоны.

Алексей. Уйди, мне тяжело... Ты Кошмар. Самое страшное — твои сапоги с отворотом. Брр... Гадость. Таких отворотов никогда не бывает наяву.

Кошмар. Как так не бывает? Очень даже бывает, если, например, кожи нет в Житомире?

Алексей. Что ты мучаешь мой мозг. Я ничего не понимаю — в каком Житомире. Уйди. Ты — миф. Ты — харя, такая же, как та, что Николка нарисовал на печке. Сгинь.

Кошмар. Вот как? Стало быть, ее нет на самом деле? А гляньте-ка, доктор.

Рисунок на камине превращается в живую голову полковника Болботуна.

Алексей. Петлюровец. Капитан Мышлаевский, сюда!

Болботун угасает.

Вздор. Миф. Ты дразнишь меня. Пугаешь. Я прекрасно сознаю, что я сплю и у меня расстроены нервы. Вон, а то я буду в тебя стрелять. Это все миф, миф.

Кошмар. Ах, все-таки миф? Ну, я вам сейчас покажу, какой это миф. *(Свистит пронзительно.)*

Стены турбинской квартиры исчезают Из-под полу выходит какая-то бочка, ларь и стол. И выступает из мрака пустое помещение с выбитыми стеклами, надпись «Штаб 1-й кінной дивізіи. Керосиновый фонарь у входа.

Фонарь со свечой на столе. В стороне полевой телефон, возле него на скамейке гайдамак-телефонист. Кошмар проваливается. Исчезает Алексей. На сцене полковник Болботун — страшен, изрыт оспой, в шинели, в папахе с красным хвостом, так же, как и телефонист. За окнами изредка стук лошадиных копыт, громыхание двуколок и изредка тихо наигрывает гармоника знакомый мотив. Внезапно за сценою свист, удары. Голос за окном кричит отчаянно: «Що вы, панове, за що, за що?» Визг. Голос сотника Галаньбы: «Я тебе, жидовская морда, я тебе!» Визг. Выстрел.

Телефонист *(в телефон)*. Це я, Франько, знову включився в цепь. В цепь, кажу. Слухаете? Слухаете? Це штаб кинной дивизии.

Телефон поет сигналы. Шум за сценою. Гайдамаки в черных хвостах вводят дезертира-сечевика. Лицо у него окровавленное.

Болботун. Що такое?

Гайдамак. Дезертира поймалы, пан полковник.

Болботун. Якого полку?

Молчание.

Якого полку, я тебе спрашиваю?

Молчание

Телефонист. Та це ж я. Я из штабу, Франько, включився в цепь!

Болботун. Що ж ты, Бога душу твою мать! А? Що ж ты? В то время як всякий честный козак вийшов на защиту Украинськой республики вид билогвардейцев та жидив коммунистов, в то время як всякий хлибороб встал в ряды украинской армии, ты ховаешься в кусты? Ты знаешь, що роблють з нашими хлиборобами гетманские офицеры, а там в Москве комиссары? Живых в землю зарывают. Чув? Так я ж тебе самого закопаю в могилу. Самого. Сотник Галаньба!

Голоса за окном: «Сотника требуют к полковнику». Суета.

Деж вы его взялы?

Гайдамак. По за штабелями, сукин сын, бежав, ховався.

Болботун. Ах ты зараза, зараза!

Входит Галаньба, холоден, черен, с черным шлыком.

Допросить, пан сотник, дезертира.

Галаньба с холодным лицом. Берет со стола шомпол, бьет дезертира по лицу. Тот молчит.

Галаньба. Якого полку? *(Молчание, удар.)*

Дезертир *(плача)*. Я не дезертир. Змилуйтесь, пан сотник. Я до лазарету пробырался. У мене ноги поморожены зовсим.

Телефонист *(в телефон)*. Деж диспозиция? Прохаю ласково. Командир кинной дивизии прохае диспозицию. Вы слухаете?

Галаньба. Ноги поморожены? А чему ж це ты не взяв посвидченя вид штабу своего полка? А? Якого полку? *(Замахивается.)*

Слышно, как лошади идут по бревенчатому мосту.

Дезертир. Второго сечевого.

Галаньба. Знаем вас, сечевиков. Вси зрадники. Изменники. Большевики. Скидай сапоги, скидай. И если ты не поморозив ноги, а брешешь, то я тебе тут же расстреляю. Хлопцы, фонарь!

Телефонист. Пришлить нам ординарца для согласования. В слободку. Так. Так. Слухаю.

Фонарем освещают дезертира.

Галаньба *(вынув маузер)*. И вот тебе условие: ноги здоровые, будешь ты у меня на том свете. Отойдите сзади, чтоб я в кого-нибудь не попал.

Дезертир садится на пол, разувается. Молчание.

Болботун. Це правильно. Щоб другим був пример.

Гайдамаки *(со вздохом)*. Поморожены... Правду казав.

Галаньба. Записку треба було узять. Записку. Сволочь. А не бежать из полка.

Дезертир. Нема у кого. У нас ликаря в полку нема. Никого нема. *(Плачет.)*

Галаньба. Взять его под арест. И под арестом до лазарету. Як ему ликарь ногу перевяжет, вернуть его сюды в штаб и дать ему пятнадцать шомполив, щоб вин знав, як без документу бегать с своего посту.

Гайдамаки *(выводя)*. Иди. Иди.

За сценою гармоника. Голос поет уныло: «Ой, яблочко, куда котишься, к гайдамакам попадешь, не воротишься». Тревожные голоса за окном: «Держи их. Держи их. Мимо мосту... Побиглы по льду».

Галаньба *(в окно)*. Хлопцы, що там? Що?

Голос: «Якись жиды, пан сотник, мимо мосту по льду дали ходу из Слободки».

Хлопцы! Разведка! По коням! По коням! Садись! Садись! Хорунжий Овсиенко, а ну проскочить за ними. Тильки живыми возьмить. Живыми!

Топот за сценой. Появляются гайдамаки. Вводят человека с корзиной.

Человек. Миленькие, я ж ничего. Что вы? Я ремесленник!

Галаньба. С чем задержали?

Человек. Помилуйте, товарищ военный.

Галаньба. Що? Товарищ? Кто тут тебе товарищ?

Человек. Виноват, господин военный.

Галаньба. Я тебе не господин. Господа с гетманом в городе все сейчас. И мы твоим господам кишки повыматываем. Хлопец, тебе близче. Урежь этому господину по шее. Теперь бачишь, яки господа тут. Видишь?

Человек. Вижу-с.

Галаньба. Осветить его, хлопцы. Мени щесь здаеться, що вин коммунист.

Человек. Что вы! Что вы, помилуйте. Я, изволите ли видеть, сапожник.

Галаньба. Що-то ты дуже гарно размовляешь на московской мови.

Человек. Калужские мы, ваше здоровье, Калужской губернии. Да уж и жизни не рады, что сюда, на Украину, заехали. Сапожник я.

Галаньба. Документ.

Человек. Паспорт? Сию минуту. Паспорт у нас чистый, можно сказать.

Галаньба. С чем корзина? Куда шел?

Человек. Сапоги в корзине, ваше... бла... ва... сапожки-с. Мы на магазин работаем. Сами в слободке живем, а сапоги в город носим.

Галаньба. Почему ночью?

Человек. Как раз в самый раз. К утру в городе.

Болботун. Сапоги. Ого... го... Це гарно.

Гайдамаки вскрывают корзину.

Человек. Виноват, уважаемый гражданин. Они не наши, из хозяйского товару.

Болботун. Из хозяйского? Це найкраще. Хозяйский хороший товар. Хлопцы, берить по паре хозяйского товару. А я-то ломал голову, як штабных хлопцев снабдить обувью.

Разбирают сапоги.

Человек. Гражданин военный министр. Мне без этих сапог погибать. Прямо форменно в гроб ложиться. Тут на две тысячи рублей. Это хозяйские.

Болботун. Мы тебе расписку дадим.

Человек. Помилуйте, что ж мне расписка! *(Бросается к Болботуну, тот дает ему в ухо. Бросается к Галаньбе.)* Господин кавалерист! На две тысячи рублей. Главное, что если б я буржуй был или, скажем, большевик...

Галаньба дает ему в ухо, человек садится на землю, растерян.

Что ж такое делается? А впрочем, берите на снабжение армии... Пропадай все. Только уж позвольте и мне парочку за компанию. *(Начинает снимать сапог.)*

Болботун. Ты що ж смеешься, гнида? Отойди от корзины. Долго ты будешь крутиться под ногами? Долго? Ну, терпение мое лопнуло. Хлопцы, расступитесь. *(Берется за револьвер.)*

Человек. Что вы. Что вы? Что вы.

Болботун. Геть отсюда!

Человек *(бросается к двери)*.

Сталкивается с гайдамаками, которые втаскивают окровавленного еврея.

(Крестится.) Берите все, только душу на покаяние отпустите.

Галаньба. Аа... Добро пожаловать.

Гайдамак. Двоих, пан сотник, подстрелили, а этого удалось взять живьем, согласно приказа.

Еврей. Пан сотник!

Галаньба. Ты не кричи. Не кричи.

Еврей. Пан старшина! Що вы хочете зробыть со мною?

Галаньба. Що треба, то и зробым. *(Пауза.)* Ты чего шел по льду?

Еврей. Щоб мне лопнули глаза, щоб я непобачив бильш солнца, я шел повидать детей в городу, пан сотник, в мене дити малы в городу.

Болботун. Через мост треба ходить до детей! Через мост!

Еврей. Пан генерал! Ясновельможный пан! На мосту варта, ваши хлопцы. Они гарны хлопцы, тильки жидов не любять. Воны меня уже билы утром и через мост не пустили.

Болботун. Ну, видно, мало тебя били.

Еврей. Пан полковник шутит. Веселый пан полковник, дай ему Бог здоровья.

Болботун. Я? Я — веселый. Ты нас не бойся. Мы жидов любимо, любимо.

Слабо слышна гармоника.

Ты перекрестись, перекрестись.

Еврей *(крестится)*. Я перекрещусь с удовольствием. *(Крестится.)*

Смех.

Гайдамак. Испугался жид.

Болботун. А ну кричи: «Хай живе вильна Вкраина».

Еврей. Хай живе вильна Вкраина.

Хохот.

Галаньба. Ты патриот Вкраины?

Молчание. Галаньба внезапно ударяет еврея шомполом.

Обыщите его, хлопцы.

Еврей. Пане...

Галаньба. Зачем шел в город?

Еврей. Клянусь, к детям.

Галаньба. Ты знаешь, кто ты? Ты шпион!

Болботун. Правильно.

Еврей. Клянусь, нет!

Галаньба. Сознавайся, что робыл у нас в тылу?

Еврей. Ничего. Ничего, пан сотник, я портной, здесь в слободке живу, в мене здесь старуха мать...

Болботун. Здесь у него мать, в городе дети. Весь земной шар занял.

Галаньба. Ну я вижу, с тобой не сговоришь. Хлопец, открой фонарь, подержите его за руки. *(Жжет лицо.)*

Еврей. Пане... Пане... Бойтесь Бога... Що вы робыте? Я не могу больше. Я не могу. Пощадите.

Галаньба. Сознаешься, сволочь?

Еврей. Сознаюсь.

Галаньба. Шпион?

Еврей. Да. Да. *(Пауза.)* Нет. Нет. Не сознаюсь. Я ни в чем не сознаюсь. Це я от боли. Панове, у меня дети, жена. Я портной. Пустите. Пустите.

Галаньба. Ах, тебе мало? Хлопцы, руку, руку ему держите.

Еврей. Убейте меня лучше. Сознаюсь. Убейте.

Галаньба. Що робыл в тылу?

Еврей. Хлопчик родненький, миленький, отставь фонарь. Я все скажу. Шпион я. Да. Да. О мой Бог.

Галаньба. Коммунист?

Еврей. Коммунист.

Болботун. Жида некоммуниста не бывае на свете. Як жид — коммунист.

Еврей. Нет. Нет. Что мне сказать, пане? Що мне сказать? Тильки не мучьте. Не мучьте. Злодеи! Злодеи! Злодеи! *(В исступлении вырывается, бросается в окно.)* Я не шпион!

Галаньба. Тримай его, хлопцы. Держи.

Гайдамаки. В прорубь выскочит.

Галаньба стреляет еврею в спину.

Еврей *(падая)*. Будьте вы про...

Болботун. Эх, жаль. Эх, жаль.

Галаньба. Держать нужно было.

Гайдамак. Легкою смертью помер, собака.

Грабят тело.

Телефонист. Слухаю. Слухаю... Слава. Слава. Пан полковник. Пан полковник!

Болботун *(в телефон)*. Командир першей кинной... Слухаю, так... так. выступаю зараз. *(Галаньбе.)* Пан сотник, прикажить швидче, чтоб вси четыре полка садились на конь. Подступы к городу взяли. Слава. Слава.

Гайдамаки. Слава. Наступление.

Суета.

Галаньба *(в окно)*. Садись! Садись! По коням!

За окном гул: «Ура». Галаньба убегает.

Болботун. Снимай аппарат.

Телефонист снимает аппарат. Суета.

Коня мне!

Гайдамаки. Коня командиру!

За окном топот, гул, крики, свист. Все выбегают со сцены. Потом гармоника гремит, пролетая. Бочка и ларь проваливаются.

Кошмар. Видал? *(Проваливается.)*

Алексей *(во сне)*. Помогите! Помогите!

Елена *(появляется, зажигая свет)*. Алеша. Алеша! Что ты, Бог с тобой?

Алексей. Скорей. Скорей. Надо помочь. Вон он, может быть, еще жив...

Елена. Кто, Алеша?

Алексей. Еврей.

Елена. Алеша, проснись.

Алексей *(просыпаясь)*. Что это лежит?

Елена. Голубчик, это халат.

Алексей. Халат? Разве халат?

Елена. Алеша, ты знаешь, у тебя нервы расстроены. Ты успокойся. Успокойся.

Алексей. Но до чего реально, Господи Боже мой.

Елена. Дать тебе валерианки?

Алексей. Нет, не надо.

Елена. Что ты увидал?

Алексей. Кошмар. Будто бы гайдамаки появились, петлюровцы и тут вот убили еврея, замучили. И Кошмар с желтыми отворотами, зеленый весь, показал мне...

Николка *(появляясь в одеяле)*. Что тут такое происходит?

Елена. Алексей страшный сон увидал и закричал.

Николка. Страшный сон. Ага... Это, видишь ли, Алеша, у тебя нервы расстроены под влиянием гражданской войны. Я думаю, лучше всего принять валериановых капель.

Алексей. Не хочу. Не надо. Елена, иди спать. Извини, что я вас всех взбудоражил.

Елена. Ну, засыпай спокойно.

Алексей. Слушай, Никол, а ты возле меня посиди, пока я не засну.

Николка. Ага. Хорошо. С большим удовольствием. Я даже в крайнем случае могу здесь спать лечь. *(Садится в кресло.)*

Алексей. Не надо. Ты только посиди.

Пауза.

Николка. У меня у самого нервы расстроены. *(Зевает.)* Ты знаешь, Алеша, события мне начинают представляться в крайне серьезном свете. Я думаю, что нас ожидают большие неприятности.

Алексей *(засыпая)*. Угу...

Николка. Если мы этого Петлюру не отразим, то Бог знает, что получится. Вы спите, господин доктор. Алеша, спишь?

Пауза.

Ну и я засну. *(Тушит свет.)*

Часы бьют шесть раз. Играют менуэт.

Конец первой картины

КАРТИНА ВТОРАЯ

Вестибюль Александровской гимназии. Колоннада. Громаднейшая лестница с двумя площадками. Наверху лестницы портрет, завешенный кисеей, по бокам него стекла Внизу, у подножия лестницы, наскоро сдвинутые шкафы, столы и телефон, щит с выключателями в ящике на стене.

На сцене офицеры и юнкера формирующегося артиллерийского дивизиона. Дивизион вооружается к бою. Ящики, пулеметы. Все офицеры в длинных шинелях, с револьверами и в шпорах. Юнкера в таких же шинелях, большинство тоже со шпорами. Гул. Движение.

Студзинский *(на верхней площадке)*. Поживее, господа офицеры.

Мышлаевский. Студенты, смотрите! *(Влезает на ящик, целится, показывает, как заряжать винтовку.)* Кто не умеет — осторожнее. Юнкера, объясните студентам.

Движение. Голоса: «Давай сюда ящики. Не так. Не так...», «Выбрось патроны...», «Крышку приподнимите...»
Движение.

Студзинский. Господин доктор, будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкцию на случай боя.

Алексей. Хорошо-с. *(Перед ним двое санитаров с повязками Красного Креста.)* В цейхгаузе ящики с медикаментами, вскройте их, выньте сумки, наденьте на себя. Артиллеристам раздайте по два индивидуальных пакета и объясните, как с ними нужно обращаться в случае надобности.

Санитар. Слушаю, господин доктор.

Алексей. Так не козыряют, голубчик. *(Показывает)*. Ступайте.

Санитары уходят. Гул и стук. Весь дивизион выравнивается в две шеренги с винтовками и со штыками.

Мышлаевский. Первая батарея, смирно...

3-й офицер. Вторая батарея, смирно...

Мышлаевский. Господин капитан, дивизион готов.

Тишина.

Студзинский. Отставить. Вольно. Дайте им отдохнуть. Господ офицеров попрошу ко мне.

Мышлаевский, 1-й, 2-й, 3-й офицеры подходят к Студзинскому.

Впечатление?

Мышлаевский. У меня в батарее человек сорок понятия не имеют о винтовке. Трудновато.

Пауза.

1-й офицер. Студенты...

Студзинский. Настроение?

Мышлаевский. Сегодня утром гробы с убитыми офицерами пронесли как раз мимо гимназии. Дивизион в

это время был на плацу и видел. Студентики смутились. На них дурно влияет.

Пауза.

Студзинский. Потрудитесь поднять настроение.

Офицеры козыряют, расходятся.

Мышлаевский *(кричит)*. Юнкер Павловский.

Крики: «Павловского! Павловского! К командиру первой батареи...

Павловский *(выбегая)* Я.

Мышлаевский. Алексеевского училища?

Павловский. Так точно, господин капитан.

Мышлаевский. А ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее, так, чтоб Петлюра умер, матери его черт.

Павловский. Слушаю. *(Убегает.)*

Среди юнкеров на сцене и за сценою движение. Поет.

Артиллеристом я рожден.

Тенора подхватывают:

В семье бригадной я учился.

Грандиознейший хор внезапно подхватывает:

Огнем шрапнельным я крещен
И черным бархатом обвился.

Студзинский *(манит к себе)*. Прапорщик, пожалуйте сюда.

К нему подбегает 2-й офицер.

Помогите мне сорвать кисею с портрета.

2-й офицер. Слушаю-с.

Поднимается со Студзинским наверх к портрету, шашками срывает кисею. Появляется громадный Александр I. Скупой зимний, последний луч падает на портрет. Гул Удивление Отдельные выкрики: «Александр Первый. Александр Первый . », «Императору Александру Первому ура...» Страшный рев: «Ура».

Студзинский *(2-му офицеру)*. Скажите командирам батарей, чтобы вывели дивизион на прогулку, пусть разомнутся.

2-й офицер. Слушаю-с. *(Убегает.)*

За сценою звуки марша постепенно приближаются.

Юнкер *(появившись возле Студзинского)*. Господин капитан, оркестр подошел.

Студзинский. Превосходно. Ведите его к дивизиону.

Звуки марша ближе. Марш обрывается.

Мышлаевский. Дивизион, смирно. Первая батарея, левым плечом вперед.

3-й офицер. Вторая батарея, шагом марш.

Оркестр начинает марш — мотив Николкиной песни. Дивизион поет оглушительно вместе с оркестром:

Идут и поют юнкера гвардейской школы,
Трубы, литавры, тарелки звенят.
Модистки, кухарки, горничные, няньки
Вслед юнкерам проходящим глядят.
Гей, песнь моя, любимая,
Буль, буль, буль, бутылка казенного вина.

Грузный топот марша постепенно стихает, удаляясь. Студзинский и Алексей на площадке.

Алексей *(указывая на портрет)*. Правильно, капитан. А гляньте-ка, и солнце, как нарочно, вышло. Воистину — се дней Александровых восходящее солнце.

Студзинский. Да, немножко взвинтились, а то совсем скисли.

Санитар *(появляясь)*. Господин доктор, большие и малые ящики вскрывать?

Алексей. Сейчас я посмотрю. *(Уходит с санитаром.)*

Юнкер. Господин капитан, командир дивизиона!

Студзинский, поправляя пояс, бежит навстречу.

Малышев *(выходит)*. Здравствуйте, капитан.

Студзинский. Здравие желаю, господин полковник.

Малышев. Дивизион одет?

Студзинский. Так точно, все приказания исполнены.

Малышев. Какие ваши впечатления?

Студзинский. Драться будут, но полная неопытность. На сто двадцать юнкеров — сто человек студентов, не умеющих в руках держать винтовку. *(Пауза.)* Великое счастье, что хорошие офицеры попались, в особенности новый — Мышлаевский. Как-нибудь справимся.

Малышев. Так-с. Ну-с, вот что. Потрудитесь после моего осмотра весь дивизион, за исключением офицеров и человек шестидесяти опытных юнкеров, конх вы оставите на охране здания и у орудий, распустить по домам с тем, чтобы завтра на рассвете в семь часов весь дивизион был в сборе здесь.

Студзинский *(поражен)*. Господин полковник! Разрешите доложить. Это невозможно. Единственный способ сохранить дивизион хоть сколько-нибудь боеспособным — это задержать его на ночь здесь.

Малышев. Капитан Студзинский, я вам прикажу в ведомости выписать жалованье не как старшему офицеру, а как лектору, читающему командирам дивизионов, и это мне будет неприятно, потому что в вашем лице я предполагал иметь именно старшего офицера, а не штатского профессора. Ну-с, так вот: лекции мне не нужны. Попрошу вас советов мне не давать. Слушать, запоминать, а запомнив — исполнять.

Студзинский. Слушаю, господин полковник.

Малышев. Эх, Александр Брониславович, я вас знаю не первый день как опытного и боевого офицера. Но ведь и вы меня знаете. Стало быть, обиды нет. Обида в такой час неуместна. Я неприятно сказал — забудьте. Ведь вы тоже...

Студзинский. Точно так. Я виноват.

Малышев. Ну-с, и отлично. Словом, все на завтра. Завтра будет яснее видно. Во всяком случае, скажу заранее, на орудие — внимания нуль. Имейте в виду, лошадей не будет, снарядов тоже. Стало быть, завтра утром — стрельба из винтовок. Стрельба и стрельба. Как хотите, а к полудню выучите их стрелять.

Студзинский. Слушаю. Господин полковник, разрешите спросить.

Малышев. Знаю, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать, я сам вам отвечу. Погано-с. Бывает хуже, но редко. Понятно?

Студзинский. Так точно.

Слышится пение дивизиона.

Малышев. Они с прогулки?

Студзинский. Точно так.

Малышев. Отлично. Знаете что, поставьте их внизу, я отсюда с ними буду говорить.

Студзинский. Слушаю.

Пение гремит ближе. Дивизион поет на мотив солдатской песни:

Дышала ночь восторгом сладострастия,
Неясных дум и трепета полна. *(Свист.)*
Я вас ждала с безумной жаждой счастья,
Я вас ждала и млела у окна.

Топот. Голос Мышлаевского: «Дивизион, стой». Тишина.

Студзинский. Смирно! Господа офицеры!

Малышев *(с площадки)*. Здравствуйте, артиллеристы.

Дивизион *(рев)*. Здравия желаем, господин полковник!

Малышев. Бесподобно. Артиллеристы! Слов тратить не буду, говорить не умею, потому что на митингах никогда не выступал. Скажу коротко: на город наступает Петлюра. И вот мы будем его, сукина сына, встречать. Среди вас — юнкера лучших и славных артиллерийских училищ. Орлы их еще ни разу не видали сраму от них. А многие из вас — воспитанники этой гимназии. Старые ее стены смотрят на вас. Артиллеристы мортирного дивизиона! Отстоим город в час осады бандитом. Если мы обкатим этого милого президента шестью дюймами, небо ему покажется величиной с его собственные подштанники. Мать его душу, через семь гробов!

Взрыв. Гул.

Постарайтесь, артиллеристы!

Дивизион *(с грохотом)*. Рады стараться, господин полковник.

Малышев. Вольно! Капитан! Отпустите по домам всех, кроме юнкеров, как я сказал.

Студзинский. Слушаю-с. *(Убегает.)*

На сцене, за сценой гул, движение, офицерские выкрики: «Юнкерам остаться, студенты по домам. Господа офицеры, разведите караулы». Голос 3-го офицера: «Завтра в семь часов сюда, не опаздывать». Топот.

1-й офицер *(появляется с группой юнкеров)*. За мной! Сюда! *(Ведет караул.)*

2-й офицер *(с ним группа юнкеров с пулеметом)*. За мною!

Малышев. Доктор!

Алексей. Я, господин полковник.

Малышев. Санитарная часть в порядке у вас?

Алексей. Так точно, все готово.

Надвигаются сумерки.

Малышев. Санитаров вы, доктор, отпустите наравне со всеми. Сами также можете ехать домой отдыхать. А завтра утром попрошу сюда часикам к восьми.

Алексей. Слушаю.

Мышлаевский появляется, за ним юнкер Павловский с трубой.

Мышлаевский. А ну-ка, дайте тревогу.

Павловский трубит.

Повыше берите. А то вы не доносите. Раздуйте, раздуйте ее. Залежалась, матушка.

Труба.

Малышев *(Алексею)*. Не угодно ли?

Алексей. Благодарю вас.

Зажигают папиросы. Сумерки.

Малышев. Темнеет, однако. *(Пробует выключатель.)* Эге-ге... свету-то нет. Это не годится. Капитан Мышлаевский, пожалуйте сюда.

Труба смолкает. Мышлаевский поднимается по лестнице к Малышеву.

Вот что-с. В здании свету нет. Поручаю вам этот вопрос полностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны овладеть электричеством настолько, чтобы в любое время вы всюду могли не только зажечь его, но и потушить, и ответственность за освещение целиком ваша.

Мышлаевский. Слушаю-с. *(Уходит. Его голос за сценой: «Где сторож? Подать сюда сторожа».)*

За сценой стук в двери. На сцене проходит Студзинский с двумя юнкерами.

Студзинский. Здесь стать, у шкафа.

Ставит юнкера на часы. С другим юнкером уходит. Появляется дряхлый педель Максим с ключом. Мышлаевский за ним.

Максим. Ваше высокоблагородие... сию минуточку, сию... Стар я стал. Все требуют... много разного войска было.

Мышлаевский. Живее, живее, старикан. Что ползешь, как вошь по струне.

Максим. Стар я стал, ваше высокоблагородие, много разного войска было, и каждый требует, а я один.

Мышлаевский *(у ящика с выключателями)*. Здесь?

Максим. Здесь, здесь, так точно.

Мышлаевский. Открывай, старикуся.

Максим открывает ящик. Мышлаевский щелкает выключателями.

Ага... Так, так.

Начинается игра света. То в одном матовом шаре, то в другом на сцене и за сценой.

Как теперь? Эй!

Голос: «Погасло». Голос с другой стороны: «Есть, горит». Внезапно загорается верхний фонарь. Всю сцену заливает светом. Потом вспыхивает рефлектор над Александром I. Тот оживает.

Ну ладно. Все в полном порядке. Катись, патриарх, спать.

Максим. А ключик-то? Ключик-то как же, ваше высокоблагородие, у вас, что ль, будет?

Мышлаевский. Ключик у меня будет, вот именно.

Максим. Вы же не потеряйте его, ваше высокоблагородие. Ключ-то мне поручен.

Мышлаевский. Спасибо, что научил. Отчаливай, старик, в свою гавань. Стань на якорь у себя в комнате. Ты больше не нужен.

Максим уходит.

Юнкер!

Появляется юнкер.

Стать здесь, к ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня. Но никого более.

Выходит Студзинский.

В случае надобности, по приказанию одного из трех ящик взломаете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить щита.

Юнкер встал на часы.

Малышев. Хороший офицер. *(Мышлаевскому.)* Капитан, пожалуйте сюда. Ну, вот я очень доволен, что вы попали к нам в дивизион. *(Студзинскому.)* Спасибо за рекомендацию. Рад познакомиться.

Мышлаевский. Рад стараться.

Малышев. Вы еще наладите нам отопление здесь, в залах, и в вестибюлях, чтобы отогревать смены юнкеров.

Мышлаевский. Слушаю-с.

Малышев. А уж об остальном я позабочусь сам. Ужин мы вам сюда доставим. А равно также и водку. В количестве небольшом, но достаточном, чтобы согреться как господам офицерам, так и юнкерам. Водку пьете, капитан?

Мышлаевский. Никак нет, господин полковник, я непьющий.

Малышев. Жаль, жаль. Ну, одну-то рюмку можно, не правда ли? *(Студзинскому.)* Караулы как?

Студзинский. Разведены, господин полковник, все в полном порядке.

Малышев. Ладно-с. Итак-с. Поручаю вам гимназию. Я поеду в штаб, через час вернусь. Будем ужинать. Будем здесь ночевать. Огонь, огонь, капитан Мышлаевский, разведите.

Мышлаевский. Будет исполнено, господин полковник.

Малышев. До приятного свидания, господа.

Алексей.
Мышлаевский.
Студзинский.
} Честь имеем кланяться, господин полковник. *(Берут под козырек.)*

Занавес

Конец второй картины

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Рабочий кабинет гетмана во дворце. Три двери. Громадный письменный стол, на нем телефонные аппараты, отдельно полевой телефон. На стене портрет Вильгельма II.
Ночь. Кабинет ярко освещен.
Дверь открывается, и камер-лакей (старик, гладко выбрит, в ливрее) впускает Шервинского.

Шервинский. Здравствуйте, Федор.

Лакей. Здравия желаю, господин поручик.

Шервинский. Как? Никого нет? Федор, а кто из адъютантов дежурит у аппарата?

Лакей. Его сиятельство князь Новожильцев.

Шервинский. Так где же он?

Лакей. Не могу знать. Только что вышли, с полчаса так, приблизительно.

Шервинский. Что за безобразие! И аппараты полчаса стояли без дежурного? Как же так? Ничего не понимаю!

Лакей. Да никто не звонил: я все время был у дверей.

Шервинский. Мало ли что не звонил! А если бы звонил? В такой момент, — черт знает что такое!

Лакей. Я бы принял телефонограмму. Они так и распорядились, чтобы, пока вы не приедете, я бы записывал.

Шервинский. Вы? Записывать военные телефонограммы? Да у него размягчение мозга! А, понял, понял. У него живот заболел? Он в уборной?

Лакей. Никак нет, они вовсе из дворца выбыли.

Шервинский. Вовсе из дворца? Вы шутите, дорогой Федор. Не сдав дежурство, отбыл из дворца? Значит, он в сумасшедший дом отбыл?

Лакей. Не могу знать. Только они забрали свою зубную щетку, полотенце и мыло из адъютантской уборной. Я же им еще газету давал.

Шервинский. Что? Какую газету?

Лакей. Я же докладываю, господин поручик. Во вчерашний номер они мыло завернули.

Шервинский. Позвольте, да вот же его шашка.

Лакей. Да они в штатском уехали.

Шервинский. Или я с ума сошел, или вы. Запись-то он мне оставил, по крайней мере? *(Шарит на столе.)* Ничего нет. Что-нибудь приказал передать?

Лакей. Приказали кланяться.

Пауза

Шервинский. Вы свободны, Федор.

Лакей. Слушаю. Разрешите доложить, господин адъютант?

Шервинский. Нуте-с.

Лакей. Они изволили неприятное известие получить.

Шервинский. Откуда, из дому?

Лакей. Никак нет. По полевому телефону. И сейчас же заторопились. При этом в лице очень изменились.

Шервинский. Мне кажется, Федор, что вас не касается окраска лиц адъютантов его светлости. Вы лишнее говорите.

Лакей. Прошу извинить, господин поручик. *(Уходит.)*

Шервинский *(протяжно свистит, потом говорит в телефон на гетманском столе)*. Будьте добры: 15-12. Мерси. Это квартира князя Новожильцева? Попросите Сергея Николаевича. Что? Во дворце? Его нет во дворце, я сам говорю из дворца. Постой, Сережа, да это твой голос. Сере... Позвольте... *(Телефон звенит отбой.)* Что

за хамство! Я же отлично слышал, что это он сам. *(Пауза.)* Шервинский, Шервинский... *(Вызывает по полевому телефону, телефон пищит.)* Это штаб Святошинского отряда? Попросите начштаба. Как это нет? Помощника. Вы слушаете? *(Пауза.)* Фу ты, черт!

Садится за стол, звонит.
Входит лакей. Шервинский пишет записку.

Федор, сейчас же эту записку вестовому. Чтобы срочно поехал ко мне на квартиру, на Львовскую улицу, там ему по этой записке дадут сверток. Чтобы сейчас же привез его сюда. Вот три карбованца ему на извозчика. Вот записка в комендатуру на пропуск.

Лакей. Слушаю. *(Уходит.)*

Шервинский *(трогает баки, задумчиво)*. А пожалуй, без них я даже красивей буду... Чертовщина, честное слово! Как же быть с Еленой? Елена...

На столе звонит телефон.

Я слушаю. Да. Личный адъютант его светлости, поручик Шервинский. Здравия желаю, ваше превосходительство! Как-с? *(Пауза.)* Слушаю. Так-с, передам. Слушаю, ваше превосходительство. Его светлость должен быть в двенадцать часов ночи, через полчаса. *(Вешает трубку, телефон звенит отбой. Пауза.)* Я убит, господа. *(Свистит.)* Вот так клюква! *(Звонит по другому телефону.)* Второй. Попрошу к телефону генерал-майора Траубе. Это, ваше превосходительство, личный адъютант его светлости. *(Пауза.)* Так-с. *(Вешает трубку. Отбой.)* Второй. Попрошу к телефону полковника Щеткина. Что вы говорите? *(Пауза. Пожимает плечами, вешает трубку.)*

За сценой глухая команда «Смирно», потом глухой многоголосый крик караула: «Здравия желаем, ваша светлость».

Лакей *(открывая обе половины двери)*. Его светлость.

Гетман *(входит. Он в белой богатейшей черкеске, малиновых шароварах и сапогах без каблуков кавказского типа и без шпор. Блестящие погоны. Коротко подстриженные седеющие усы, гладко обритая голова. Лет сорока пяти)*. Здравствуйте, поручик!

Шервинский. Здравия желаю, ваша светлость!

Гетман. Позвольте, разве никого нет? Я назначил без четверти двенадцать совещание у меня. Должен быть командующий русской армии, начальник гарнизона и представители германского командования. Уже пора быть здесь. Разве нет никого?

Шервинский. Никак нет.

Гетман. Потрудитесь дать мне сводку за последний час.

Шервинский. Осмелюсь доложить вашей светлости, я только что принял дежурство. Корнет князь Новожильцев, дежуривший передо мной...

Гетман. Я давно уже хотел поставить на вид вам и другим адъютантам, что следует говорить по-украински. Это безобразие, в конце концов! Ни один человек не говорит на языке страны, а на украинские части это производит самое отрицательное впечатление. Прохаю ласково.

Шервинский. Слухаю, ваша светлость. Дежурный адъютант, корнет... *(В сторону.)* Как «князь» по-украински?.. Черт! *(Вслух.)* Новожильцев тым часово выконуючий обовязки... Я думаю, что вин захворав...

Гетман. Говорите по-русски!

Шервинский. Слушаю, ваша светлость. Корнет Новожильцев отбыл домой внезапно, по-видимому захворав, до моего прибытия...

Гетман. Что вы такое говорите? Отбыл с дежурства! Вы сами, как? В здравом уме? Бросил дежурство! Что у вас тут происходит, в конце концов? *(Звонит по телефону.)* Комендатура? Дать сейчас же наряд... По голосу надо слышать, кто говорит! Наряд на квартиру к моему адъютанту, корнету Новожильцеву, арестовать его и доставить в комендатуру! Сию минуту! Зараз!

Шервинский *(в сторону)*. Будешь знать, как чужими голосами по телефону разговаривать. Хам!

Гетман. Ленту он оставил?

Шервинский. Так точно. Но на ленте ничего нет.

Гетман. Да что ж он?! Спятил? Да я его расстреляю сейчас, здесь же, у дворцового парапета! Я вам покажу всем! Соединитесь сейчас же со штабом командующего. Просить немедля ко мне. То же самое начгарнизона и всем командирам полков. Живо!

Шервинский. Осмелюсь доложить, ваша светлость, известие чрезвычайной важности.

Гетман. Какое там еще известие?

Шервинский. Пять минут назад мне звонил начштаба командующего генерал Бубнов и сообщил, что его сиятельство командующий русской армией при вашей светлости тяжко заболел и отбыл в германском поезде в Германию.

Пауза.

Гетман. У вас голова не болит? У вас глаза какие-то странные. Да я с князем два часа тому назад разговаривал по телефону!

Шервинский. Осмелюсь добавить. Генерал Бубнов дополнил сообщение так: я, сказал он, сам болен и сдаю штаб своему помощнику, генерал-майору Траубе. А когда я позвонил тому, мне ответили, что генерал Траубе заболел и сдал штаб полковнику Щеткину...

Гетман. И полковник заболел? Скорее! Что вы тянете?

Шервинский. Никак нет, ваша светлость. Полковник Щеткин мне вовсе ничего не ответил.

Гетман. Вы соображаете, о чем вы доложили? Что такое произошло? Катастрофа, что ли? Они бежали? Что же вы молчите? Ну?!

Шервинский *(в сторону)*. Ну, Шервинский... *(Вслух.)* Так точно, ваша светлость. Катастрофа. Я это сразу сообразил и обдумываю вопрос о принятии мер к охране вашей особы.

Гетман. Сводку мне, черт возьми! Что там на фронте произошло?! Где сердюцкая дивизия, которую я жду сюда?

Шервинский. Ваша светлость, есть слух, что у сердюков неладно... Я только что...

Гетман. Погодите... погодите... Так... что такое?.. Вот что... во всяком случае, вы — отличный, расторопный офицер. Я давно это заметил. Вот что, сейчас же соединяйтесь со штабом германского командования и просите представителей его сию минуту пожаловать ко мне.

Шервинский. Слушаю. *(По телефону.)* Третий.

Зейн зи битте либенсвюрдих ден херн майор фон Дуст анс телефон цу биттен...

Стук в двери.

Я... я...[1]

Гетман. Войдите, да!

Лакей. Представители германского командования, генерал фон Шратт и майор фон Дуст просят их принять.

Гетман. Просить сюда сейчас же. *(Шервинскому.)* Отставить.

Лакей впускает фон Шратта и фон Дуста. Оба в серой форме, в гетрах. Шратт длиннолицый, седой Дуст с багровым лицом. Оба в моноклях

Шратт. Вир хабен эре ирэ хохейт цу бегрюссен[2].

Гетман. Их фрейэ мих херцлих дас зи, мейне херрн, гекоммен зенд. Битте, немен зи платц.

Немцы усаживаются.

Их хабе эбен нахрихте фон зер шверем цуштанде унзерер арме бекоммен[3].

Шратт. Дас хабен вир я шон ланге эрфарен[4].

Гетман *(Шервинскому)*. Пожалуйста, записывайте протокол совещания.

Шервинский. Слушаю По-русски разрешите, ваша светлость?

Гетман. Генерал, могу попросить говорить по-русски?

Шратт *(с резким акцентом)*. О, с большим удовольствием!

---

[1] Seien Sie bitte so liebenswürdig, Herrn Major fon Dust an den Apparat zu bitten Ja... Ja .. Будьте любезны, позовите к телефону господина майора фон Дуста... Да . да... (*Нем.*)

[2] Wir haben die Ehre, Euer Hohheit, zu begrüssen. — Имеем честь приветствовать вашу светлость. (*Нем.*)

[3] Ich freue mich herzlich das Sie, meine Herren, gekommen sind. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich habe eben die Nachricht von sehr schwerem Zustande unserer Armee bekommen. — Я очень рад вас видеть, господа. Прошу вас, садитесь. Я только что получил известие о тяжелом положении нашей армии. (*Нем.*)

[4] Das haben wir ja schon lange erfaren. — Мы об этом знали уже давно. (*Нем.*)

Гетман. Мне сейчас стало известно, что городской фронт в катастрофическом положении.

Шервинский пишет.

Кроме того, из штаба русского командования я имею какие-то совершенно невероятные и позорные известия. Штаб русского командования позорно сбежал! Дас ист я унерхерт![1] *(Пауза.)* Я обращаюсь через ваше посредство к генералу Фон Буссову как к представителю германского правительства... ви цум форштелер дер дэйтшен регирунг... со следующим заявлением: Украине угрожает смертельная опасность. Бандиты Петлюры грозят занять столицу! В случае такого исхода столице грозит анархия. Анархия эта опасна для германской армии. Дизэ анарши ист фюр дэйтише армэ геферлих. Поэтому прошу германское командование немедленно дать войска для отражения хлынувших сюда банд и восстановления порядка на Украине, столь дружественной Германии.

Шратт. С сожалени, германски командование лишено возможность это сделайт.

Гетман. Как? Уведомите, генерал, почему?

Шратт. Физиш унмеглих. Это физически невозможно ест. Эрстэнс. Во-первый. У Петлюры, по сведениям штаба, до двести тисч войск великолепно вооружен. А между тем германское командование снимает дивизии и уводит их в Германи.

Шервинский *(в сторону)*. Ах, сукины дети!

Шратт. Знатшит, в распоряжени генераль фон Буссов вооружени достаточны сил нет. Во-вторых, вся Украина, оказывает, на стороне Петлюры...

Гетман. Поручик, подчеркните эту фразу в протоколе!

Шервинский. Слушаю-с!

Шратт. Я ничего не имейт протиф. Подчеркните. Итак, остановить Петлюру невозможно.

Гетман. Альзо, ман ферлест мих онэ иргенд вельхе хильфэ? Значит, меня, армию и правительство германское командование оставляет на произвол судьбы?

---

[1] Das ist ja unerhört! — Это неслыханно! (*Нем.*)

Шратт. Ниэт. Ми командированы для принятия меры к спасению вас.

Гетман. Какие же меры командование предлагает?

Шратт. Немедленную эвакуацию вашей светлости. Тотчас же в вагон и в Германию.

Гетман. Простите, я ничего не понимаю... Как же так? Виноват. Может быть, это германское командование эвакуировало князя Белорукова?

Шратт. Точно так.

Гетман. Без согласия со мной? *(Волнуясь.)* Я заявляю правительству Германии протест против таких действий. Я не согласен! У меня еще есть возможность собрать армию в городе и защищать его своими средствами. Но ответственность за разрушение столицы ляжет на германское командование. И я думаю, что правительства Англии и Франции...

Шратт. Германское правительство ощущает достаточно сили, чтобы предотвратить разрушение столицы.

Гетман. Это угроза, генерал?

Шратт. Предупреждение, ваша светлость. У вашей светлости не имеется никаких сил в распоряжении. Положение катастрофическое...

Дуст *(тихо Шратту)*. Мэйн генераль, вир хабен гар кэйне цэйт. Вир мюссен...[1]

Шратт. Да, да... Итак, ваша светлость, позвольте сообщить последнее: только что ми получили сведения, что конница Петлюры в восьми верстах от Киева. И утром завтра она войдет...

Гетман. Я узнаю об этом последним!

Шратт. Ваша светлость, конечно, знает, что ожидает его в случае взятия в плен? Относительно вашей светлости есть приговор. Он весьма есть очень печален.

Гетман. Какой приговор?

Шратт. Прошу извинения у вашей светлости. *(Пауза.)* Повиэсить. *(Пауза.)* Позвольте вас попросить ответ сейчас же. В моем распоряжении есть только десять минут, после этого я снимаю с себя ответственность за жизнь и благополучие вашей светлости.

---

[1] Mein General, wir haben gar keine Zeit. Wir mussen... Ваше превосходительство, у нас нет времени. Мы должны... (*Нем.*)

Большая пауза.

Гетман. Я еду.

Шратт *(Дусту)*. Будьте любезны, майор, дэствовать тайно и без всяки шум.

Дуст. О, никакой шум! *(Стреляет из револьвера в потолок два раза.)*

Шервинский растерян.

Гетман *(берясь за револьвер)*. Что это значит?

Шратт. О, будьте спокойны, ваша светлость! О, зайн зи руих, ире хохейт, тише!

Шратт скрывается в портьере правой двери. За сценой гул тревоги, крик: «Караул, в ружье!» Топот.

Дуст *(открывая среднюю дверь)*. Руих! Спокойно! Генерал фон Шратт разряжал револьвер, случайно попал к себе на голова.

Голоса за сценой: «Гетман, где гетман?»

Гетман есть очень здоровый! Ваша светлость, благоволите показаться им...

Гетман *(в средних дверях)*. Все спокойно, прекратите тревогу!

Дуст *(в дверь)*. Прошу пропускайт врача с инструментом.

Тревога утихает. Входит германский врач с ящиком и медицинской сумкой. Дуст закрывает средние двери на ключ.

Шратт. Ваша светлость, прошу переодеться в германскую форму, и как будто я есть раненый. Вас в моем виде вывезем, а вы как будто есть во дворце, чтобы никто в городе не знал, чтоб не вызвать возмущение среди караул.

Гетман. Делайте, как хотите!

Дуст *(вынимая из ящика германскую форму)*. Прошу вашу светлость переодеваться. Где угодно?

Гетман. Направо, в спальне.

Он и Дуст уходят направо.

Шервинский *(у авансцены)*. Поедет Елена или не поедет? *(Решительно, к Шратту.)* Ваше превосходительство, покорнейше прошу взять меня с гетманом, я его личный адъютант, — кроме того, со мной моя... невеста.

Шратт. С зожалением, поручик, не только невеста, но и вас я не могу брать — только одного гетмана. Если вы хотите ехайт, отправляйтесь станцию наш штабной поезд, имейт в виду, мест нет, — там уже есть личный адъютант.

Шервинский. Кто?

Шратт. Как его? Князь Новожильцев.

Шервинский. Новожильцев? Да когда же он успел?

Шратт. Когда катастрофа, каждый стает проворный очень. Он был у нас штабе сейчас вечером.

Шервинский. И он там, в Берлине, будет при гетмане служить?

Шратт. О, нейт. Гетман будет один: никакя свита. Мы только довезем до границы. Кто желает спасать свою шею от ваших мужиков, а там каждый как желает.

Шервинский. О, покорнейше благодарю! Я и здесь сумею спасти свою шею...

Шратт. Правильно, молодой человек: никогда не следует покидать родину.

Выходят гетман и Дуст, гетман переодет германским генералом. Растерян, курит.

Гетман. Поручик, все бумаги здесь сжечь!

Дуст. Гер доктор, зайн зи либенсвюрдиг...[1] Ваша светлость, пожалейста, садитесь.

Гетмана усаживают. Врач забинтовывает его голову наглухо.

Врач. Фертиг[2].

Шратт *(Дусту)*. Машину.

Дуст. Зоглейх[3].

Шратт *(гетману)*. Ваша светлость, ложитесь!

---

[1] Herr Doctor, seien Sie so liebenswürdig... — Господин доктор, будьте так любезны... (*Нем.*)

[2] Fertig. — Готово. (*Нем.*)

[3] Sogleich. — Сейчас. (*Нем.*)

Гетмана укладывают на диван; Шратт прячется. Среднюю дверь открывают, появляется лакей. Дуст, врач и лакей выносят гетмана в левую дверь. Шервинский помогает до двери, возвращается. Выходит Шратт.

Шратт. Все в порядке. *(Смотрит на часы-браслет.)* Один час ночи. *(Надевает кепи и плащ.)* До свидания, поручик. Вам советую не задерживаться здесь, вы свободно можете уходить. Снимайте погоны. *(Прислушиваясь.)* Слышайте?

Шервинский. Беглый огонь.

Шратт. Именно. Каламбур: беглый. Пропуск имеете?

Шервинский. Точно так.

Шратт. Так до свидания. Спешите! *(Уходит.)*

Шервинский. Честь имею кланяться, ваше превосходительство... *(Подавлен.)* Чистая немецкая работа. *(Внезапно оживает.)* Нуте-с, времени нету. Нету, нету, нету. *(У стола.)* О, портсигар? Золотой! Гетман забыл. Оставить его здесь? Невозможно — лакеи сопрут. Ого! Фунт, должно быть, весит. Историческая ценность. *(Закуривает, прячет в карман.)* Нуте-с, бумаг мы никаких палить не будем, за исключением адъютантского списка. *(Рвет бумаги, прячет в карман.)* Так-с. *(За столом.)* Свинья я или не свинья? Нет, я не свинья. *(В телефон.)* 14-05. Да. Это дивизион? Командира к телефону попросите, срочно! Разбудить! *(Пауза.)* Полковник Малышев? Говорит Шервинский. Слушай, Сергей, внимательно: гетман драпу дал... Серьезно говорю... Гетман драпу дал... Дал драпу, говорю... Да все равно, пускай слышат. Тебе сообщаю потому, что жаль наших офицеров... Драпу дал, говорю тебе... Вот и спасай людей. Поступай, как хочешь... Нет, до рассвета есть время... Но... прощай. Спасай дивизион. *(Дает отбой.)* И совесть моя чиста и спокойна. *(Звонит.)*

Входит лакей.

Вестовой привез пакет?

Лакей. Так точно.

Шервинский. Сейчас же дайте его сюда.

Лакей выходит, потом возвращается с узлом.

Благодарю вас.

Лакей *(растерян)*. Позвольте узнать, что с их светлостью?

Шервинский. Что это за вопрос?

Лакей. Виноват.

Шервинский. Вы хороший человек, Федор. В вашем лице есть что-то... эдакое... привлекательное... пролетарское. Гетман изволит почивать. И вообще — молчите.

Лакей. Так-с.

Шервинский. Федор, живо из адъютантской принесите мне мое полотенце, бритву, мыло!

Лакей. Газету прикажете?

Шервинский. Совершенно верно. И газету.

Лакей выходит в левую дверь. Шервинский в это время надевает штатское пальто и шляпу, свою шашку и шашку Новожильцева увязывает в узел. Появляется лакей.

Идет мне эта шляпа?

Лакей. Как же-с. Бритвочку в карман возьмете?

Шервинский. Бритву в карман... Ну-с, дорогой Федор, позвольте вам на память оставить пятьдесят карбованцев.

Лакей. Покорнейше вас благодарю.

Шервинский. А также пожать вашу честную трудовую руку. Не удивляйтесь, я демократ по натуре. Федор, я адъютантом никогда не служил.

Лакей. Понятно.

Шервинский. Во дворце никогда не был, вас не знаю. Вообще, я оперный певец...

Лакей. Неужто ходу дал?

Шервинский. Смылся...

Лакей. Ах, сволочь!..

Шервинский. Неописуемый бандит!

Лакей. А нас всех, стало быть, на произвол судьбы?

Шервинский. Вы же видите!? Вам-то еще полгоря, но каково мне? Ну, дорогой Федор, задерживаться я больше не могу, как ни приятно беседовать с вами... Слышите?

Далекий пушечный гул.

До свидания. *(От двери.)* Федор, вы человек хороший, и пока я у власти, — дарю вам этот кабинет. Что вы смотрите? Чудак! Вы сообразите, какое одеяло выйдет из этой портьеры... *(Исчезает.)*

Лакей. Ну-ну... *(Вдруг яростно срывает портьеру с двери.)*

Занавес

Конец второго акта

АКТ ТРЕТИЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Вестибюль гимназии. В печке догорает огонь. У ящика с выключателями юнкер на часах, второй у телефона. Ружья на козлах. На нижней площадке Мышлаевский, 1-й, 2-й и 3-й офицеры. Студзинский на верхней площадке с листом и карандашом в руках. Рассвет.

Студзинский *(кричит)*. Тарутин?

Голос из подвала: «Есть!!!»

Терский?

«Есть!»

Тунин?

«Есть!»

Ушаков?

«Есть!»

Федоров?

Гул голосов, выкрики: «Нету!»

Фирсов?

«Есть!»

Хотунцев?

«Есть!»

Яшин?

Гул... «Нету!»

Вольно!

За сценой: топот, движение, звон шпор, говор. Студзинский проверяет лист.

Мышлаевский *(кричит)*. Батарея, можете курить! *(Вынимает портсигар.)*

1-й офицер. Позвольте огоньку, господин капитан.

Мышлаевский. Ради Бога.

Курят.

1-й офицер. Двадцати человек не хватает, однако.

2-й офицер. М-да... То-то на капитане лица нет.

Мышлаевский. Чепуха. Подойдут. Вот холод дьявольский. Это паршиво. В двух классах все парты поломал, да разве за одну ночь натопишь!

2-й офицер. Немыслимо. *(Топчется, напевает сквозь зубы «Пупсика».)* Пупсик, ты красота сама...

Мышлаевский *(юнкерам)*. Что? Озябли?

Голос: «Так точно, господин капитан. Прохладно».

Так что вы стоите на месте? Синий как покойник. Потопчитесь, разомнитесь. Вы не монумент. Каждый сам себе печка. Пободрей.

Топот, звон шпор.

2-й офицер *(напевает «Пупсика»)*. Прекрасный, бесподобный. Он нянек всех порол... За сценой напевают тот же мотив, ритмически звенят шпорами. Вот это так. Трудненько с ними, господин капитан.

Мышлаевский. Что говорить.

2-й офицер. Он аппетитный, сдобный... прелестный мальчуган... Звон, напевают за сценой.

1-й офицер. Командир что-то не едет. Уже семь.

Мышлаевский. В штаб уехал. Известия, наверно, есть.

1-й офицер. Я думаю, господин капитан, что, пожалуй, придется сегодня с Петлюрой повидаться. Интересно, какой он из себя.

3-й офицер *(мрачно)*. Узнаешь. Не спеши.

Мышлаевский. Наше дело маленькое, но верное. Прикажут, повидаем.

1-й офицер. Так точно.

2-й офицер. Тара... тара... ли... ли... Пупсик. Мой милый Пупсик...

1-й офицер. Огонь-то стих.

Студзинский *(внезапно на верхней площадке)*. Дивизион, смирно!

Пауза.

Господа офицеры.

1-й офицер. Приехал.

Бросают папиросы.

Мышлаевский. Первая батарея, смирно...

1-й и 2-й офицеры убегают.

3-й офицер. Вторая батарея, смирно...

Мышлаевский. Подравняйте, подравняйте...

Наверху появляется Малышев, крайне взволнован.

Малышев *(Студзинскому)*. Список! Скольких нет?

Студзинский *(тихо)*. Двадцати двух человек.

Малышев. Позвольте-ка мне его. *(Прячет список за обшлаг, подходит к парапету, кричит.)* Здравствуйте, артиллеристы!

Студзинский и Мышлаевский делают знаки. Крик: «Здравия желаем, господин полковник!» Пауза.

Приказываю дивизиону слушать внимательно то, что я ему объявлю.

Тишина, пауза.

За ночь... в нашем положении, в положении всей русской армии и, я бы сказал, в государственном положении на Украине произошли резкие и внезапные изменения. *(Пауза.)* Поэтому я объявляю вам, что наш дивизион я распускаю.

Мертвая тишина. Студзинский, Мышлаевский, 3-й офицер поражены

Борьба с Петлюрой закончена. Приказываю вам всем, в том числе и офицерам, немедленно снять с себя погоны и все знаки отличия и немедленно же скрыться по домам. *(Вытирает пот со лба.)* При этом каждый из вас может, но не теряя на это времени, взять здесь в цейхгаузе все, что он пожелает, на память и что он может унести на себе. *(Пауза.)* Я кончил. Исполнять приказание.

Мертвая пауза.

3-й офицер. Что такое?.. *(Резко.)* Это измена!

За сценой шевеление, гул.

Его надо арестовать!

Гул голосов: «Арестовать!», «Мы ничего не понимаем...», «Петлюра ворвался...», «Вот так штука!», «Я так и знал...», «Тише!» Вбегают 1-й и 2-й офицеры.

1-й офицер. Что это значит?

Студзинский *(внезапно, выйдя из оцепенения)*. Эй! Первый взвод! Сюда!

Выбегают юнкера с винтовками.

Господин офицер, вы арестованы!

3-й офицер. Арестовать его! Он передался Петлюре! *(Бросается вверх по лестнице.)*

Мышлаевский *(удерживая его)*. Постойте, поручик!

3-й офицер. Пустите меня, господин капитан! Руки прочь!

Мышлаевский. Взвод, назад!

Студзинский. Вашу шашку, полковник! Взвод, сюда!

1-й офицер. Господа, что это?

2-й офицер. Господа!

Суматоха.

3-й офицер. Агент Петлюры!

2-й офицер. Что вы делаете?

Малышев. Молчать! Смирно!

3-й офицер. Взять его!

Мышлаевский. Замолчите сию минуту!

Малышев. Молчать, я буду еще говорить!

2-й офицер. Тише, погодите!

3-й офицер *(Мышлаевскому)*. Вы тоже заодно с ним?

Студзинский. Что вы сделали, господин полковник? Посмотрите, что происходит! На места! Я принимаю команду над дивизионом! Дивизион!

Малышев. Смирно!!.

Мышлаевский. Смирно!.. *(1-му офицеру.)* Уберите свой взвод сию секунду! Назад!

1-й офицер. Смирно! На место.

Голоса, гул: «Смирно!»

Мышлаевский. Успокойтесь!

Малышев *(подняв руку)*. Тише! Буду говорить.

Наступает тишина.

Дивизион, слушать. Да, да. Очень я был хорош, если б пошел в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог в вашем лице. Но, господа, то, что простительно юноше-добровольцу, непростительно *(Студзинскому)* вам, господин капитан. Я слишком понадеялся на вашу дисциплину, полагая, что вы исполните мое приказание, не требуя объяснений. Оказывается, я вас переоценил. Что ж. Итак. Я думал, что каждый из вас поймет, что случилось несчастье, что у командира вашего язык не поворачивается сообщить вам позорные вещи. Но вы недогадливы. Кого вы желаете защищать? Ответьте мне.

Молчание.

Отвечать, когда спрашивает командир. Кого?

Мышлаевский. Гетмана.

Малышев. Гетмана? Отлично. Дивизион! Сегодня в три часа утра гетман, бросив на произвол судьбы армию, бежал, переодевшись германским офицером, в германском поезде в Германию. Так что в то время, когда капитан Мышлаевский собирается защищать гетмана, его давно уже нет. Он благополучно следует в Берлин.

Гул. В окнах рассвет.

Но этого мало. *(Пауза.)* Одновременно с этой канальей бежала по тому же направлению другая каналья, его сия-

тельство командующий армией князь Белоруков. Так что, друзья мои, не только некого защищать, но даже и командовать нами некому, ибо штаб князя дал ходу вместе с ним.

Гул.

Тише! Меня предупредил один из штабных офицеров. И сейчас я проверил эти сведения. Итак. Вот мы, нас двести человек, а там Петлюра... Да что я говорю. Не там, а здесь. Друзья мои, сейчас он на окраинах города, и у него двухсоттысячная армия. А у нас на месте, мы... три-четыре пехотных дружины и три батареи. Понятно? Тут один из вас вынул револьвер по моему адресу. Он меня страшно испугал. Мальчишка.

3-й офицер. Господин...

Малышев. Молчать! Ну так вот-с. Если при таких условиях вы все вынесли бы сейчас постановление защищать... что? кого?! — одним словом — идти в бой, я вас не поведу. Потому что в балагане я не участвую, тем более что за балаган заплатите своей кровью и совершенно бессмысленно вы! *(Вытирает лоб.)* Дети мои! Слушайте меня. Я — кадровый офицер, вынесший войну с германцами, чему свидетель капитан Студзинский, на свою совесть и ответственность принимаю все... все... Вас предупреждаю и, любя вас, посылаю домой. *(Отворачивается.)*

Рев голосов. Отдельные выкрики: «Что это делается?», «Винтовки-то брать, что ли?», «Взорвать гимназию!», «Вали, братцы!», «Убить их мало!», «Повесить!» Выбегают отдельные юнкера.
3-й офицер, закрыв лицо руками, плачет.

2-й офицер *(срывая погоны)*. К чертовой матери! К чертовой матери!

Юнкер *(на часах у телефона, швырнув винтовку)*. Штабная сволочь!

Гул, рев, топот.

Мышлаевский *(кричит)*. Тише!

Тишина.

Господин полковник, разрешите зажечь здание гимназии?

Малышев. Не разрешаю.

Пушечный удар, дрогнули стекла.

Поздно. Бегите домой.

Мышлаевский. Юнкер Павловский! Бейте отбой.

Труба за сценой. С грохотом бросают винтовки.

(У щита.) Ломайте ящик, гасите свет! *(Ударяет винтовкой в ящик, взламывает его. Разбивает щит.)*

Свет мгновенно гаснет, и все исчезает.

Занавес

Конец первой картины

КАРТИНА ВТОРАЯ

Та же декорация. Мутное утро. Полусвет. В печке огонь. Разбросаны винтовки. Весь пол усеян обрывками бумаги. Малышев сидит на корточках и жжет бумагу, рвет ее. Взломанный шкаф Возле Малышева стоит Максим. Время от времени за сценой взрывы снарядов, от которых вздрагивают стекла.

Малышев. Отойди от меня, старик, ради самого создателя.

Максим. Ваше высокоблагородие... куда же это я отойду... Мне отходить нечего от казенного имущества... В двух классах парты поломали. Такого убытку наделали, что я и выразить не могу. А свет... ведь что ж это мне делать теперь? А? Ведь это чистый погром. Много войска бывало, а такого, извините...

Малышев. Старик, уйди от меня.

Максим. Меня теперь хоть саблей рубите... Я уйти... не могу... Мне сказано господином директором: «Максим, ты один останешься... Максим, гляди...»

Малышев. Ты, старичок, русский язык понимаешь? Убьют тебя, как перепела, если ты тут торчать будешь. Уйди куда-нибудь в подвал, скройся там, чтоб твоего и духу не было.

Максим. Всякие, и за царя, и против царя... Солдаты оголтелые, а чтоб щиты ломать...

Малышев. Куда ж она девалась? *(Шарит. Второй шкаф разбивает ногой.)*

Максим. Ваше высокопревосходительство, ведь у него ключ есть. Гимназический шкаф, а вы ножкой.

Малышев уходит. Удар.

(Поднимаясь вверх по лестнице, крестится.) Царица небесная, владычица, настала наша кончина, антихристово пришествие... Господи Иисусе. *(Подходит к щиту, всплескивает руками.)* Господи Иисусе.

Наверху слева появляется Алексей.

Алексей. Что за чертовщина! Кто это? Максим? Максим.

Максим. А...

Алексей. Где дивизион? Где дивизион?

Максим. Ваше превосходительство! Хоть вы ему прикажите, ведь это разбой. Шкаф ногой изломал...

Алексей. Старик, где дивизион! Отвечай!

Максим. Много было войска... А сейчас ушли... Всю гимназию разбили.

Алексей. Куда? Куда? Покажи, куда ушли!

Максим. Не могу знать.

Алексей. Вчера что были! Куда, хоть скажи, ушли?! Когда?

Максим. Все прибегают, топчут, а потом разошлись — кто куда.

Алексей. Ах ты, Господи Боже мой! Кто тут есть?

Максим *(уходя)*. Толку ни от кого не добьешься. Ломать это все, а как платить... *(Бормочет, уходит.)*

Появляется Малышев.

Алексей. Кто это? Полковник!

Малышев. А, доктор. Ну, прекрасно. Вы последний.

Алексей. Что это? *(Глухо.)* Кончено?

Малышев. Кончено. Повоевали и будет. Вот что, доктор, думать тут некогда. Имейте в виду, что я один остался. Снимайте сию секунду погоны и бегите, прячьтесь. Мышлаевский хотел к вам бежать, предупредить. Не был?

Алексей. Не был. Я ничего не знаю. Сейчас из дому.

Малышев. Видно, уж не мог добраться. Доктор, не размышляйте, снимайте погоны. Бегите. *(Рвет бумагу,*

бросает в печь.) Ну, вот и все. Ищи теперь концов. *(Застегивается.)*

Алексей. А защищаться?.. Здесь же... Все равно пропадать!

Малышев. Какая тут защита, к дьяволу? Вы слышите? Петлюра тут.

Удар.

Вон оно. Даешь. Даешь. Ишь, кроет беглым.

Удар.

Даешь? Концерт, прямо музыка.

Алексей. А что ж будет с остальными?

Малышев. С остальными-с? Не касается. *(Внезапно, истерически.)* Не касается, ничего меня больше не касается. Все, что мне полагалось, все сделал. Все. И даже больше. Здесь, видите, сижу. Прибегали две пехотные части, спровадил и их по домам. Им, видите ли, велено было гимназию защищать. Защищать, туда ее в душу мать. *(Истерически.)* Уу... Штабная сволочь! Сволочь! Сволочь! Попадешься мне, пан гетман, когда-нибудь. Мать твою душу!..

Блеск за окнами. Страшнейший удар, от которого вылетает стекло, и тотчас начинает постепенно разгораться в окнах зарево.

Ну-с, уважаемый доктор, больше беседовать невозможно. Видите, господин Петлюра просит нас честью расходиться по домам. Доктор, снимайте погоны.

Алексей. Почему ж вы не снимаете?

Малышев. После вас. Я, видите ли, командир-с.

Алексей *(срывая погоны)*. Я иду искать брата. У меня брат юнкер. Утром сегодня вышел. Убьют как собаку, а за что?..

Малышев. Вероятно, убили уже. Доктор, послушайте доброго совета — не делайте глупостей, бегите домой.

Алексей. Пойду искать.

Малышев. Ну, как хотите. Имейте в виду, доктор, что я еще здесь буду. Я предупрежу. Ну если уж хотите, идите через ход, а я посмотрю со стороны сюда. Может, еще кто-нибудь явится.

Алексей срывает кокарду, вынимает револьвер, убегает вправо и вниз. Сцена пуста. Большой разрыв за сценой. Зарево ярче и ярче. Голоса за сценой: «Эй, эй! Кто тут есть? Эй!» Справа и сверху вбегают двое юнкеров, оба с винтовками... Растеряны.

1-й юнкер. Эй! Эй! Кто есть? Где русские части?

2-й юнкер. Вот дьявольщина! Куда ж бежать-то?

1-й юнкер. Гляди, гляди, университет горит.

2-й юнкер. Уходи от окна, Васька. Никого нету.

1-й юнкер. А велели сюда. *(Спускается по лестнице.)* Смотри, побросали винтовки. Видно, катастрофа и тут. Какого ж черта сюда гнали?

Снизу и справа выбегает Алексей. Шинель разорвана, на пол капает кровь. Неожиданно спотыкается, падает, поднимается, рвет здоровой рукой платок.

Кто это? Доктор! Какой вы части?

Поднимают Алексея.

Алексей. Мортирного дивизиона. Помогите мне и сами бегите! Бегите!

1-й юнкер. Куда?

Алексей. Сюда... низом... Подвальным коридором, потом во двор... мимо угольных сараев... не бросайте меня...

1-й юнкер. Как можно...

Ведут.

Где вас ранили?

Алексей. Тут, у подъезда. Только что вышел, начали из пулемета садить...

2-й юнкер. Части-то наши где?

Алексей. Нету больше никого, никого...

Скрываются Сцена пуста. Разрыв. Второй разрыв. За сценой слева и сверху топот, выкрики: «Сюда». Появляется Николка с перекрещенными лентами на груди, за ним юнкера с винтовками.

Николка. Сюда, братцы! Вон он — вестибюль. Сюда!

1-й юнкер. Да в вестибюле никого нету.

Николка. Нам дела нету. Сказано — сюда, значит, сюда. А ну, к окнам правым плечом вперед.

Юнкера у окон.

2-й юнкер. Господин ефрейтор, конница неприятельская на улице.

Смятение.

Николка. Юнкер Ивашин, пулемет сюда! Пулемет!

Появляются три юнкера с пулеметом.

Бейте стекла прикладами!

Бьют стекла.

3-й юнкер. Что за дьявольщина? Петлюровцы вон у музея!

Николка. Тише там! Ну и бей в них! Взвод, по наступающей кавалерии залпами огонь!

Стреляют.

Давай пулемет. Огонь.

Стреляют.

Приляг, закройсь за подоконникамн! Огонь!

Стреляют. Топот справа и слышны крнки... Выбегают юнкера из части Най-Турса в погонах.

1-й юнкер Ная *(на бегу)*. Прекратите огонь! Довольно! Какой части?

Николка. Первой дружины. Куда вы?

1-й юнкер Ная. Бросайте винтовки! Спасайтесь! Бегите за нами! За нами! *(Пробегает.)*

Бегут следующие. Юнкера Николки в смятении, вскакивают.

2-й юнкер Ная *(пробегая)*. Конница за иами следом! Конница вошла в город! Бегите! Спасайся кто может! *(Рвет погоны.)*

3-й юнкер Ная. Домой! За нами! За нами! Братцы, бросайте винтовки! *(Пробегает.)*

Юнкера Николки *(в смятении)*. Что такое... Господин ефрейтор... Бросай... Катастрофа... Постой...

Николка. Не сметь! Позор! Назад! Не сметь! Вставать![1] Слушать команду! *(Вниз.)* Куда вы?

Юнкера Ная *(пробегая)*. Бегите. Катастрофа. Катастрофа. Конец. За нами. За нами.

Последним появляется Най-Турс, в красных рейтузах, шинель расстегнута, в руке револьвер.

Най-Турс *(вслед своим)*. Подвальными ходами. Мимо угольных сараев! Так. Так.

Николка. Господин полковник. Ваши юнкера бегут в панике. Господин полковник... господин полковник. А, господин...

За сценой топот, выбегают пятеро гайдамаков с красными хвостами на папахах, в руках шашки.

1-й гайдамак. Тю. Бач. Бач. Тримай его[2].

Захватывают низ сцены
2-й гайдамак (стреляет из револьвера в Николку.)

3-й гайдамак *(выбегая)*. Живьем. Живьем возьмите его, хлопцы!

2-й гайдамак. Ишь, волчонок. Ах, сукино отродье.

Николка отползает от Ная с его револьвером в руке вверх по ступенькам, стреляет три раза. Оскалился, бледен, лезет вверх.

1-й гайдамак. Не уйдешь. Не уйдешь.

Бегут вверх. В это время гайдамак появляется сверху и справа. Николка мгновенно вскакивает на перила на высоте у самого портрета и, перекрестившись, бросается вниз. Внизу за сценой грохот его падения, топот.

Гайдамак *(наверху, хлопнув себя по бедрам. Восторженно и ошеломленно)*. Ах, сукин кот! Циркач! *(Стреляет Николке вслед один раз из револьвера.)*

3-й гайдамак. Держите его, хлопцы. Що ж вы выпустили? Ээ...

---

[1] Так в рукописи. А по смыслу: «Не сметь вставать!» В других копиях исправлено.

[2] В машинописи: «Примай его». Явная опечатка.

2-й гайдамак со средней площадки стреляет вслед. Гайдамаки бегут вниз и налево, перехватывают Николку. Глухой одинокий выстрел за сценой.

3-й гайдамак *(машет рукой)*. Взвод, сюда. Сюда. Ура. Взяли гимназию. Взяли.

За сценой многоголосый крик: «Слава», «Слава».

Галаньба *(появляясь)*. По коридорам гимназии, хлопцы. Швыдче! Выбовийте остаток!

Гайдамаки в черных хвостах бегут, рассыпаясь повсюду.

Гайдамак *(наверху. Машет шашкой)*. Нема больше никого. Нема билогвардейцев. Победа. Победа.

Галаньба. Хлопцы, пулеметы к окнам, занимайте все углы. За́раз. За́раз.

Гайдамаки разбегаются.

Гайдамак *(на средней площадке, наклоняясь к Наю)*. Не дыхает, падаль офицерская. *(Толкает ногой.)*

Най-Турс *(поднимаясь по лестнице)*. Кто командует отрядом? Где офицер?

Николка. Никого из офицеров нет. Я старший, я командую.

Най-Турс. Ладно. Я пгинимаю команду. Юнкега, слушать. Сгывайте погоны, кокагды, подсумки, бгосайте винтовки, бегите домой. Спгячьтеь, гассыпьтесь. Отсюда из гимназии подвальным ходом на Подол. Бой кончен. Бегом магш.

Юнкера Ная бросают винтовки, бегут вниз. Крики: «Куда», «Как же так», «Спасайтесь», «Скорее». Все бегут, кроме Николки.

Най-Турс. Так. Так. Вниз, вниз. На Подол *(Николке)*. Оглох, что ли. Команду слышал?

Срывает с Николки левый погон.

Снимай. Снимай. Сказано — беги, щенок.

Вбегает наверх к пулемету, направляет его.

Уходи!

Николка. Не желаю, господин полковник.

Направляет ленту в пулемет Най начинает стрелять. Верхние стекла трескаются.

Най-Турс. Удигай, глупый малый, говогю, удигай.

Удар в окно, блеск. Най внезапно вытягивается во весь рост и с верхней площадки падает на ступени.

Николка *(сбегая к нему)*. Господин полковник, господин, господин...

Грохот стекол за сценой.

Най-Турс. Унтег-цег, бгосьте гегойствовать к чегтям... Я умигаю... У меня сестга...

Смолкает.

2-й гайдамак. Брось, убитый в бою.

1-й гайдамак. Офицерская сволочь. Бач, царский гусар... ишь ты... штаны яки чорвонны...

Галаньба *(поднимаясь по лестнице)*. Убрать его вон.

Гайдамаки поднимают труп.

1-й гайдамак. Гоп!

Раскачивают Ная и бросают его в провал. Труба за сценой. Гул далеких криков. Появляется Болботун, за ним, звеня шпорами, гайдамаки в красных хвостах и 1-й штандарт голубой с синим.

Галаньба. Пан полковник, гимназия взята.

Болботун. Слава. Слава.

Галаньба. Якими частями занимать здание?

Болботун. Перший курень станет на хороне здесь. Вместе со штабом и разведкой. Штандарты всех куреней сюда.

Галаньба. Хлопцы, занимайте весь корпус. Штандарты сюда. Сюда!

Гайдамаки вносят один за другим штандарты разных полков. Движение, суета. За сценою приближающийся марш.

Гайдамак *(выбегая)*. Пан полковник. Подходит третий и четвертый курени.

Болботун. Це гарно. *(Галаньбе.)* Пан сотник, знамена треба поднять на балкон, показать войскам.

Галаньба. Слухаю, пан полковник. Хлопцы со штандартами за мной.

Знамена плывут вверх по лестнице Галаньба наверху у портрета.

Гайдамаки, скидайте царя.

Гайдамаки шашками выламывают портрет, поднимают его. Внизу появляется Максим.

Гайдамак. Ты кто? Откуда?

Максим. Много войска было... и каждые ломают... ломают... а кто будет отвечать? Максим.

Гайдамак. Сказывся старик. Кто ты такой? Ты сторож?

Максим. Господи Боже мой...

Гайдамак. Уйди, старик.

Портрет с громом падает в провал.

Гайдамаки. Ура!

За портретом балконная дверь. Взламывают ее Выносят штандарты на балкон.

Болботун *(среди штандартов на балконе. Взмахивает рукой. Гул несколько утихает)*. Киев занят. Белогвардейские гетманские банды разбиты. Украинской победоносной республиканской армии — слава!

На сцене и за сценой громкий крик «Слава!»

Вождю армии батькови Петлюре — слава!

Крик.

Першей кинной дивизии — слава! Слава!

Громовой крик: «Слава!»

Занавес

Конец третьего акта

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Квартира Турбиных, утром. Николка в рубашке, подтяжках и штатских брюках спит на тахте. Висок у него заклеен марлей.

Лариосик *(говорит в портьеру)*. Да, с любовником. На том самом диване, где я ей в начале нашей совместной жизни читал стихи Пушкина. *(Входит в комнату спиной. В руках у Лариосика чемодан, клетка с птицей и голубое письмо.)* Хорошо, Елена Васильевна, я побуду с ним и познакомлюсь, пока вы оденетесь.

Николка *(спросонок)*. Кто? Кто? Кто?

Лариосик. С любовником...

Николка. Это я еще не проснулся и как Алеша вижу кошмар с желтыми отворотами. *(Лариосику.)* Уйди!

Лариосик *(приятно улыбаясь)*. Виноват. Простите, что я вас разбудил. Позвольте мне пожать вашу руку. *(Жмет.)* Я вижу, что вы удивлены. Вам, вероятно, не все ясно, так вот не угодно ли вам письмо. Оно вам все объяснит. Впрочем, позвольте, я его сам прочитаю. У моей мамы такой почерк, что только я один могу его разобрать. Она, знаете ли, иногда напишет, а потом сама ничего не разбирает. У моего покойного папы, впрочем, тоже был отвратительный почерк. Это у нас фамильное. Вы разрешите?

Николка. Пожалуйста.

Лариосик *(читает письмо)*. «Милая, милая, милая Леночка...» Это мама Елене Васильевне пишет. «С бедным Лариосиком случилось страшное несчастье. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась подколодною змеей и опозорила его фамилию. Я боялась, что Лариосик...» Это я Лариосик. Меня с детства, когда я еще был совсем маленьким, называли Лариосиком, и я к этому привык. *(Читает дальше.)* «Я боялась, что Лариосик не перенесет удара, и Житомир стал ему ненавистен. Милая Леночка, я знаю ваше доброе сердце...» Мама очень любит и уважает Елену Васильевну, да... Гм... гм... «знаю ваше доброе сердце и посылаю его к вам прямо по-родственному, пригрейте его, как вы умеете это делать. Бедный мальчик теперь, больше чем

когда бы ни было, нуждается в участии. Он хрупкий по натуре человек...» Мама меня очень любит. «Впрочем, я так взволнована, что больше ничего не могу писать, а содержание я вам буду переводить аккуратно, сейчас идет санитарный поезд, он сам вам все расскажет». И вот и все. Вам ясно?

Николка. Да. Очень.

Лариосик. Я птицу захватил с собой. Птица — лучший друг человека. Многие, правда, считают ее лишней в доме, но я одно могу сказать: птица уж во всяком случае никому не делает зла.

Николка. Господи Иисусе... Это канарейка?

Лариосик. Но какая! Собственно, даже это и не канарейка, а настоящий кенар-самец. И таких у меня в Житомире было пятнадцать штук. Я перевез их всех к маме, пускай она кормит их. Этот негодяй, наверно, посворачивал бы им шеи. Он ненавидит птиц. Разрешите пока ее поставить на этот стол?

Николка. Пожалуйста... Вы из Житомира?

Лариосик. Ну, да конечно. Конечно. Можно мне присесть?

Николка. Прошу вас. Извините, что я без тужурки.

Лариосик. Николай Васильевич, исполните мою просьбу, не надевайте тужурку. Мне это будет очень приятно. Я ничем не хочу нарушить уклад турбинской жизни. Позвольте узнать, что с вашей головой. Уж не ранены ли вы?

Николка *(подозрительно)*. Это я прыгнул вчера и ударился о шкаф.

Лариосик. Скажите, какой ужас. И так сильно? Это вы дома прыгнули?

Николка. Да. Дома.

Лариосик. Ай... яй... яй... Как у вас уютно в квартире. Прелесть! А где же Алексей Васильевич? Я горю желанием познакомиться с ним.

Николка. Его нет дома.

Лариосик. Он, наверно, придет к обеду?

Николка *(мрачно)*. Нет, он не придет к обеду. Сегодня мы пойдем его искать. Его, вероятно, убили. Он ушел вчера и не вернулся.

Лариосик. Что вы говорите!! Как убили? Не может быть!

Николка. Очень может быть.

За сценой стук. Потом глухой голос Алексея: «Елена, Елена», торопливые шаги Елены, потом ее крик: «Алеша!» Николка вскакивает.

Елена *(за сценой)*. Николка. Николка... Скорее... скорее... Помогите ему... Ларион Ларионович.

Появляется, ведет под руку Алексея. Тот в штатском пальто, лицо вымазано сажей, шатается, потом падает.

Алексей. Елена... *(Теряет сознание.)*

Елена. Николка. Николка, поднимай его. Он ранен. Скорее за доктором.

Лариосик. Ах, Боже мой...

Поднимают Алексея втроем, кладут его на тахту.

Николка. Откуда же он взялся?

Елена. Сейчас переодетый юнкер привез. Скорей, скорей расстегивай его, воды...

Николка. Сейчас, сейчас... *(Мечется.)*

Лариосик за ним.

Лариосик. Ах, Боже мой...

Николка брызжет водой.

Алексей. Глотнуть воды дай.

Елена. Стакан, стакан... Ларион Ларионович, стакан...

Лариосик мечется.

В буфете, в буфете...

Лариосик *(бросается к буфету и обрушивает с него сервиз и разбивает его)*. Ах, Боже мой.

Николка схватывает стакан и дает Алексею пить.

Елена. Алеша, ты дышишь? Скажи только одно слово. Ты дышишь?

Алексей. Рана на левой руке у плеча... осторожно... снимайте с меня... снимайте... и хирурга сейчас же...

Елена. Николка, умоляю. Иди скорей за Черновым. Он рядом.

Николка схватывает тужурку, бежит в переднюю, на ходу надевает и исчезает.

Ларион Ларионович, помогите мне.

Раздевают Алексея. Рука у него обвязана окровавленной марлей.

Алеша, ты дышишь? Скажи, что тебе сейчас сделать?

Алексей. Течет кровь?

Елена. Мокрая повязка.

Алексей. У меня в кабинете бинты на столе... скорее бинтом сверху завяжи...

Елена. Ларион Ларионович, тут налево в кабинете бинты на столе с красным крестом. Бегите, принесите.

Лариосик. Сюда?

Елена. Да, да, налево.

Лариосик убегает.

Алексей. Кто это такой?

Елена. Понимаешь, какое совпадение. Минутки за две до тебя явился из Житомира... Это Ларион Суржанский, мой троюродный брат, ты же знаешь. Ну, знаменитый Лариосик... у него там какая-то драма, жена его бросила... мать его посылает ко мне.

Алексей. К тебе?

Елена. Потом, потом, Алеша. Не говори, молчи, а то ты ослабеешь. Как ты спасся?

Алексей. Юнкера спрятали в угольном ящике... Там всю ночь пролежал... а на рассвете достали в знакомой квартире штатское... привезли меня сюда.

Елена. Спасибо, спасибо им.

Ларносик появляется с бинтами.

Лариосик. Вот.

Алексей. Бинтуйте сверху, только тихонько... тихонько...

Бинтуют руку. В передней появляется Николка и с ним доктор, раздеваются.

Доктор. Сюда?

Николка. Сюда, сюда, господин доктор.

Елена. Слава Богу.

Доктор. Вы доктор Турбин?

Алексей. Да.

Доктор. Ранили вас?

Алексей. Да, в плечо, сквозная рана, по-видимому.

Доктор. Крови много потеряли?

Алексей. Угу...

Доктор. Так. Он всегда здесь лежит?

Елена. Нет. У него спальня там.

Доктор. Ну, вот что. Поднимайте его осторожно и в спальню несите. Совсем надо раздеть.

Все поднимают Алексея.

Алексей. Тише. Ох... тише... Пульс плохой?

Доктор. Помолчите, коллега.

Уносят Алексея. За сценой голоса. Доктор: «Так. Укладывайте». Елена: «Сюда, сюда, Лариои Ларионович, ноги, ноги. Простыню отверни». Выбегает Николка, пробегает через сцену. Голос доктора за сценой: «Разрезайте до конца ножницами». Николка пробегает с кувшином воды. Лариосик выходит.

Лариосик *(глядя на осколки сервиза)*. Боже мой... Боже мой... до чего ж мне не везет. В первый раз в доме! *(Подходит к портьере и смотрит в нее.)*

Доктор *(выходя)*. Теперь лежите, молчите. *(Вытирает руки полотенцем.)*

Елена *(прикрывает дверь к Алексею)*. Опасно это, доктор, скажите?

Доктор. Гм... Кость цела, крупные сосуды тоже, но нагноение будет. В рану попали клочья шерсти от шинели.

Елена. Что же делать?

Доктор. Пусть неподвижно лежит. Повязку не трогайте. Если пропитается кровью, сверху подбинтуйте. Температуру смеряйте часов в шесть. Жидкое дадите есть, бульон. А вечером я приду, если будет мучиться, сам впрысну морфий. Больше ничего не нужно делать. *(Тихо.)* Как это он так подвернулся?

Елена пожимает плечами.

Ну, ладно, до свиданья. Вечером приду.

Елена. Доктор... *(Предлагает деньги.)*

Доктор. Что вы? С врача-то!.. Не нужно. *(Уходит в переднюю.)*

Николка его провожает и возвращается.

Лариосик. Елена Васильевна. Я ужасный неудачник. У вас такое горе, а я еще сервиз разбил. Меня самого следует убить за сервиз. Но я сейчас же поеду в магазины, и у вас будет новый сервиз.

Елена. Ни в какие магазины я вас попрошу не ездить. Все магазины закрыты. Да разве вы не знаете, что у нас тут происходит?

Лариосик. Как же не знать! Ведь я санитарным поездом, как вы знаете из телеграммы.

Елена. Из какой телеграммы? Мы никакой телеграммы не получили.

Лариосик. Как? А мама дала телеграмму вам в шестьдесят три слова.

Николка. Уй... юй... юй... шестьдесят три слова...

Лариосик. То-то я смотрю, вы на меня с таким изумлением... вам даже неизвестно, кто я...

Елена. Тебе хорошо, Алеша? Лежи, лежи.

Лариосик. Тогда позвольте представиться. Ларион Ларионович Суржанский.

Николка. Очень приятно. Николай Турбин.

Лариосик. Я в отчаянии, Елена Васильевна, я думал, что меня здесь ждут. Как же мне теперь быть? Вы позволите вещи оставить пока у вас, а сам я поеду в какой-нибудь отель.

Елена. Что вы, Господь с вами, какие теперь отели? Оставайтесь у нас, место есть. Я поговорю с братом.

Лариосик. Елена Васильевна, я душевно тронут. *(Целует руку.)* О вашем семействе у нас говорили столько хорошего. У моей мамы всегда наворачиваются слезы на глазах, когда она говорит о вас.

Елена. Очень тронута. Вы расположитесь пока в библиотеке. Николка вам поможет. Там вам поставим кровать.

Лариосик. Душевно тронут. Вы знаете, я в санитарном поезде... одиннадцать дней ехал из Житомира...

Николка. Ой... ой... ой... одиннадцать дней.

Лариосик. Многоуважаемая Елена Васильевна, а вы разрешите мне птицу мою взять с собой? Это кенар. Я с ним никогда не расстаюсь... это мой лучший друг...

Елена. Что ж, я думаю, она никому не будет мешать?

Лариосик. Боже сохрани. Если она начнет тарахтеть, я закрою ее черным платком, она сейчас же перестанет.

Елена. Я ничего не имею против.

Алексей *(за сценой глухо.)* Елена...

Елена быстро уходит.

Лариосик. Вот какое несчастье у вас стряслось.

Николка. Да. Это все из-за негодяя гетмана. Послали нас, прямо можно сказать, на форменный убой.

Лариосик. Вы, вероятно, юнкер?

Николка. Нет, я никогда юнкером не был. Я, знаете, студент, то есть я только поступил.

Лариосик. Вы меня боитесь? Вы не бойтесь. Я ведь прекрасно понимаю...

Николка. Нет, я вас не боюсь. Я, видите ли, не кадровый юнкер. Я добровольно прослужил в училище три месяца.

Лариосик. То-то у вас такая замечательная выправка. Вообще, не сочтите за лесть, ваше лицо произвело на меня самое приятное впечатление. У вас так называемое открытое лицо.

Николка. Покорнейше вас благодарю. Вы мне тоже очень понравились. Позвольте спросить, если не секрет, почему вы носите сапоги с желтыми отворотами? Вы, вероятно, любитель верховой езды?

Лариосик. Боже сохрани, я лошадей боюсь как огня. Нет. Это мама заказала мне сапоги, а кожи у нас не хватило черной, пришлось делать желтые отвороты. Нету кожи в Житомире.

Николка. Получилось очень красиво. Позвольте, я провожу вас в вашу комнату.

Лариосик. Благодарю вас. *(Забирает чемодан и клетку.)*

Николка. Вы так всегда и живете с птицей?

Лариосик. Всегда. Людей я, знаете ли, как-то немного боюсь, а к птицам я привык. Птица — лучший друг человека. Птица никогда никому не делает зла.

Уходят.

Занавес

Конец первой картины

КАРТИНА ВТОРАЯ

У Турбиных. Вечером. Портьеры задернуты. Разговоры идут тревожно, вполголоса. На сцене Лариосик, Николка, Студзинский, Мышлаевский и Шервинский. Все в штатском.

Мышлаевский. Здоровеньки булы, пане адъютант. В одесском порту разгружаются две дивизии сенегалов, они же и сенгалезы. Кстати, почему вы без ваших аксельбантов? Портьера раскрылась, вышел наш государь и сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части». И прослезился, за ноги вашу мамашу.

Шервинский. Чего ты ко мне пристал? Я, что ли, виноват в катастрофе? Я сам ушел последним из дворца. Ночью. Когда в предместье уже показывалась неприятельская конница. И кроме того, не забудь, пожалуйста, что я предупредил Малышева, и если б не я — я, может быть, не имел бы удовольствия беседовать с тобой сегодня.

Мышлаевский. Ты герой. Мы тебе очень признательны. Кстати о героях: не можешь ли ты мне сказать, где сейчас находится его светлость пан гетман всея Украины?

Шервинский. Тебе зачем?

Мышлаевский. А вот зачем. Если бы мне сейчас попалась эта самая светлость, я взял бы ее за ноги и хлопал бы головой о тротуар, пока не почувствовал себя бы удовлетворенным. А вашу штабную ораву в уборной нужно утопить.

Шервинский. Господин Мышлаевский, поосторожнее. Попрошу вас прекратить этот тон — я такой же офицер, как и вы.

Николка. Господа, тише.

Студзинский. Прошу вас, господа, сейчас же прекратить, этот разговор совершенно ни к чему не ведет.

Мышлаевский. Да ведь обидно. За что ухлопали Най-Турса? Какой был офицер! Алешку зачем подстрелили?

Студзинский. При чем тут Шервинский? Что ты, в самом деле, пристал?

Шервинский. Поведение капитана Мышлаевского...

Николка. Господа!

Лариосик. Зачем же ссориться?

Мышлаевский. Ну ладно. Брось, баритон, я погорячился. Уж очень жаль.

Шервинский. Довольно-таки странно.

Студзинский. Бросьте, голубчик, не до этого совсем.

Молчание

Мышлаевский. Ну, как у него?

Николка. Сорок температура. Доктор говорит, что, кроме раны, еще сыпной тиф.

Выходит Елена, берет со стола склянку. Все встают.

Мышлаевский. Ну как у него, Леночка?

Елена. Бредит.

Мышлаевский. Жаль бабу... *(Пауза.)* Ну что ж, господа, кваканьем тут ничего не поможешь. Одним словом, все остаемся ночевать.

Шервинский. Конечно. Нельзя же оставить Елену одну.

Студзинский. Если Елена Васильевна разрешит...

Мышлаевский. Конечно, разрешит. Что ж тут не разрешать? Деваться нам некуда. По всем квартирам, наверно, ходят. Ищут офицерские душеньки.

Шервинский. Будьте покойны.

Пауза.

Мышлаевский. Так что ж, он, стало быть, при тебе ходу дал?

Шервинский. Конечно, при мне. Я был до последней минуты.

Мышлаевский. Дорого бы дал, чтобы присутствовать при этом замечательном зрелище. Что ж ты не пришиб его как собаку на месте?

Шервинский. Ты б сам его пришиб.

Мышлаевский. Пришиб бы. Клянусь Богом. Что он тебе, по крайней мере, говорил на прощанье?

Шервинский. Гетман обнял меня и поцеловал, поблагодарил за хорошую службу.

Мышлаевский. Так-с. Впрочем, я так и полагал. Не подарил ли чего-нибудь еще на прощанье? Например, золотой портсигар с монограммами?

Шервинский. Да, подарил портсигар.

Мышлаевский. Ты меня извини, баритон. Человек ты, в сущности, не плохой, но есть у тебя какая-то странность.

Шервинский. Не объяснишь ли, что ты хочешь сказать?

Мышлаевский. Нет, нет. Ты не сердись, ради Бога. Не хочется мне тебя затруднять... Ну, а если б я сказал, покажи портсигар.

Шервинский молча показывает портсигар.

Студзинский. Черт возьми!

Мышлаевский. Убил. Действительно монограмма.

Шервинский. Господин Мышлаевский, что нужно сказать?

Мышлаевский. Сию минуту. Господа, при вас прошу у него извинения.

Николка. Что ж он тебе при этом, Леня, говорил?

Шервинский. Обнял и сказал: «Леонид Юрьевич, примите от меня последнюю память о нашей совместной службе». И прослезился.

Лариосик. Прослезился, скажите, пожалуйста.

Мышлаевский. Верю. Всему теперь верю.

Николка. Целый фунт весит, вероятно.

Шервинский. Восемьдесят четыре с половиной золотника.

Мышлаевский. Да, чудеса в решете. Ну что ж, господа, стало быть, дежурство у Алеши учиним?

Студзинский. Конечно.

Мышлаевский. Спать все равно не придется.

Николка. Какой тут сон?

Мышлаевский. Знаете что, ребята? Раскинем столик, поиграем в винт, время будет незаметно идти.

Студзинский. Неудобно как-то.

Николка. Что же тут неудобного, господин капитан?

Мышлаевский. Почему неудобно? Сядем впятером с выходящим. Выходящий будет Елену сменять. По крайней мере, забудешься немного.

Николка приготовляет ломберный стол.

(Лариосику.) Вы играете?

Лариосик. Я. Я, видите ли... Да... Играю... Только очень, очень скверно. Я играл, знаете ли, в Житомире с сослуживцами моего покойного папы, с податными инспекторами. Они меня так ругали, так ругали...

Мышлаевский. Да что вы? Впрочем, податные инспектора — известные звери. У нас вы можете не беспокоиться. Мы люди тихие.

Шервинский. У Елены Васильевны принят тон корректный.

Лариосик. Помилуйте, я сразу это заметил. Вообще, дом Турбиных произвел на меня самое приятное впечатление. Здесь, несмотря на все эти ужасные события, как-то отдыхаешь душой, забываешь свои душевные раны, которые есть, конечно, у каждого. А нам, израненным, так нужен покой, так хочется предаться мечтаниям.

Мышлаевский. Вы, позвольте узнать, стихи сочиняете?

Лариосик. Я? Да, пишу.

Мышлаевский. Так-с. Извините, что я вас перебил, продолжайте, пожалуйста. Так вы говорите — отдаться мечтаниям? Что касается Житомира, судить, конечно, не берусь, но у нас здесь мечтать трудно. *(Николке.)* Ты щетку смочи водой, а то пылит здорово.

Николка зажигает свечи.

Студзинский. Хорошенькие мечтания!

Лариосик. Я сам понимаю. Конечно, когда весь мир погряз в кровавых ужасах гражданской войны, трудно сосредоточиться в своей личной жизни. Я хотел толь-

ко сказать, что за этими кремовыми шторами как-то смягчаются наши острые переживания. Елена Васильевна распространяет какой-то внутренний свет, тепло вокруг себя, да и все ваше общество кажется мне дружной семьей... Я, видите ли, только что пережил личную драму. Ну, не будем говорить о ней...

Мышлаевский. Что ж, вы, конечно, правы в том, что касается Елены Васильевны и всего семейства Турбиных. Виноват, ваше имя-отчество: Ларион Иванович, если не ошибаюсь?

Лариосик. Ларион Ларионович. Но, право, мне бы было очень приятно, если бы вы меня называли попросту — Ларион.

Мышлаевский. Ну что ж. Вот, даст Бог, сойдемся поближе. За фасонами мы особенно не гоняемся.

Лариосик. Я очень счастлив, что попал к Турбиным, может быть, я выражаюсь несколько сентиментально. Я, видите ли, лирик по натуре. Я бы даже выразился — поэт. А многие смеются над поэтами.

Мышлаевский. Да храни Бог! Вы напрасно так поняли мой вопрос. Я против поэтов ничего не имею. Не читаю я, правда, стихов.

Студзинский. И никаких других книг.

Мышлаевский. Не слушайте, капитан сочиняет. Тащите карты. Неправда-с, если угодно знать — «Войну и мир» читал. Вот, действительно, книга. До самого конца читал и с удовольствием. А почему? Потому что писал не хулиган какой-нибудь, а артиллерийский офицер. У меня девятка пик. Вы со мной. Капитан — с Шервинским. Николка, выходи... Да-с... Вот был писатель, граф Лев Николаевич Толстой. Гвардейской артиллерии поручик. Жаль, что бросил служить. До генерал-лейтенанта дослужился бы совершенно свободно. Впрочем, ему легко было писать, у него имение было. В имении это просто. Зимой делать не черта, вот и пиши себе. Пики.

Шервинский. Пасс.

Николка *(подсказывает Лариосику)*. Две пики.

Лариосик. Две пики.

Студзинский. Пасс.

Мышлаевский. Пасс.

Шервинский. Две бубны.

Николка *(подсказывает Лариосику)*. Без козыря два.

Лариосик. Два без козыря.

Студзинский. Пять бубен! Не дам.

Мышлаевский. Не лезьте, дорогой капитан. Малый в пиках.

Шервинский. Ничего не поделаешь, пасс.

Мышлаевский. Купил. *(Посылает карты Лариосику.)* По карточке попрошу.

Неожиданно глухие звуки граммофона из квартиры Василисы.

Николка. Тсс... погодите.

Все прислушиваются.

Граммофон. У Василисы гости. В такое время, неслыханная вещь!

Мышлаевский. Да... тнп ваш Василиса.

Лариосик раздает по карте.

Что ж вы говорите, что плохо играете? Совершенно правильно! Вас не ругать, а хвалить вот именно нужно! Твой ход, баритон.

Играют. Мышлаевский внезапно зловещим голосом.

Какого ж ты лешего мою даму долбанул? Ларион!

Шервинский. Го... го... Вот и без одной!

Студзинский. Запишем семнадцать тысяч.

Лариосик. Я думал, что у Александра Брониславовича король.

Мышлаевский. Как можно это думать, когда ты своими руками у меня купил и мне прислал?! Вот он — он! Как вам это нравится? А?! Он покоя ищет! А без одной сидеть при считанной игре — это покой?!

Студзинский. Постой, может быть, у Шервинского...

Мышлаевский. Что может быть, ничего не может быть!..

Николка. Тише, Витенька, ради Бога.

Елена *(выглянув)*. Тише, что вы!

Мышлаевский *(зловещим шепотом)*. Ничего не может быть, кроме ерунды! Нет, батюшка мой, может

быть, в Житомире податные ннспектора так и делают, но у нас такая игра немыслима!

Студзинский. Он думал...

Мышлаевский. Ничего он не думал! Винт, батенька, не стихи! Тут надо головой вертеть! Да и стихи стихами, но все-таки Пушкин или Надсон, например, никогда бы такой штуки не выкинули — собственную даму по башке лупить!

Лариосик. Я так и знал, мне так не везет...

Звонок. Гробовое молчанне. Звонок повторяется.

Мышлаевский. Так-с. Вот так клюква.

Николка. Все может быть. А вернее всего, обыск.

Шервинский. Ах, черт возьми!

Елена *(выходя)*. Звонок. Витенька, мне, что ль, пойти открыть?

Мышлаевский. Нет-с, Елена Васильевна. Теперь я за швейцара буду. *(Вынимает револьвер.)* На, Николка. Играй к черному ходу или форточке. В случае, если это петлюровские архангелы, я закашляюсь, тогда выброси. Только, чтоб потом найти. Вещь дорогая.

Николка. Слушаю-с, господин капитан.

Мышлаевский. Итак. Диспозиция. Знаешь, капитан *(Студзинскому)*, ты будешь студент медик. Ступай к больному, скажешь, что дежуришь у него.

Студзинский. Ладно. *(Уходит.)*

Мышлаевский. Нниолка, брат — студент. Юнкером никогда не был. Так-с. Ты — певец местной оперы, в гости пришел. Черт возьми, много нас. Ну, да ничего. Я двоюродный брат — кооператор. Ларион — квартирант. Документы у тебя какие?

Лариосик. У меня царский паспорт.

Мышлаевский. Под ноготь его!

Ларион убегает.

Постой, оружия у него нету? Спроси.

Николка. Ларион Ларионович, оружия у вас нету?

Лариосик. Боже сохрани.

Долгий звонок.

Елена. Открывай лучше, Витя.

Мышлаевский. Успеется. У доктора тиф, раны нету. Ты. Ты — чепуха, женщина. Ну, Господи, благослови. *(Идет в переднюю.)*

Шервинский *(задувая свечи)*. Пасьянс раскладывали.

Мышлаевский. Кто там?

Голос глухо, слов не разберешь.

Давайте ее сюда! *(Приоткрывает дверь на цепочке.)*

Рука просовывается, протягивает ему беленький квадратик. Мышлаевский закрывает дверь.

(Возвращаясь.) Удивительное дело, действительно телеграмма.

Николка. Телеграмма. Удивительно.

Елена. Мне. *(Разрывает. Читает.)* Бедного Лариосика постиг страшный удар. Актер Линский соблазнил...

Лариосик. Не читайте, Елена Васильевна! Я маму изругаю.

Николка. Это та самая в шестьдесят три слова. Смотрите, кругом исписана. Двенадцать дней шла из Житомира.

Елена. Простите, Ларион Ларионович, я сразу не сообразила.

Мышлаевский. Что это за чертовщина?

Николка. Тише. У него драма. Понимаешь, жена его бросила.

Студзинский. Действительно, телеграмма.

Внезапно из квартиры Василисы глухие вопли: «Турбины, Турбины, Турбины ..» Смятение.

Елена. Господи Боже мой! Что это такое?

Николка. Что-то с Василисой случилось.

Алексей *(за сценой)*. Кто? Кто? Кто?

Елена. Ах, Боже мой. *(Бросается за сцену к Алексею.)*

Все остальные бегут на вопли.

Занавес

Конец второй картины

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Квартира Василисы. В тот же вечер.

Ванда. Удивляюсь, как им все легко с рук сходит! Я думала, что убьют кого-нибудь из них, ей-богу. Нет, все вернулись, и опять квартира полна офицерами!

Василиса *(мрачно)*. Поражают меня твои слова все-таки. «Сошло». «Сошло!» Ты как будто злорадствуешь!

Ванда. Ничего я не злорадствую, а просто странно! До чего все-таки оголтелая публика!

Василиса. Оголтелая или не оголтелая, а все-таки, надо сознаться, поступали они правильно: нужно же было кому-нибудь город защищать от этих бандитов. Ты вот, однако ж, не пошла!

Ванда. Ну спасибо, защитили!

Василиса *(хмуро)*. Что же они поделают? У него, видишь, миллион войска. И притом подло так говорить: «сошло, сошло...» Я думаю, что Алексея Васильевича...

Ванда. Неужели ранили?..

Василиса. И очень просто.

Ванда. То-то я смотрю, у Елены физиономия перевернутая! Спрашиваю, а она мне в глаза не смотрит! Вот какая история!

Василиса. Стало быть, и нечего говорить: «сошло, сошло». Надо все-таки соображать...

Ванда. Ты, пожалуйста, меня не учи. *(Заплетает косичку.)* Я ничего плохого не говорю. А мне вот интересно, что ты будешь говорить, когда к нам явятся с допросом? Кто у вас там наверху? Что ты будешь говорить? Есть у вас офицеры?

Василиса. Можно будет сказать, что он врач.

Ванда. Это все хорошо, что врач. Но кроме врача каждый день десять человек сидят. Хорошенькие у вас врачи, скажут. И нам же будут неприятности...

Василиса. Что же ты прикажешь: донести на них, что ли?

Ванда. Не донести, а как-нибудь предложить им, чтобы они здесь сборище прекратили...

Василиса. Спасибо! Предложи сама. Как это так? Я им буду предлагать? Они скажут, к нам гости пришли — не ваше дело.

Ванда. Не смеют они так говорить. Ты председатель домового комитета. Еще, чего доброго, тебя арестуют. Ты отвечаешь за то, что происходит в доме.

Василиса. Перестань ты меня пилить, ради самого Господа! И какой у тебя удивительно недоброжелательный характер — у людей несчастье, а ты думаешь о том, как бы им еще что-нибудь устроить!

Ванда. Господи! Какой дурак! Вот дурак! Ничего я им не собираюсь устраивать, а просто хочу, чтобы все было в доме в порядке. А ты рохля и размазня!

Василиса. Время настолько ужасное, если хочешь знать, что я даже доволен, что они тут. В случае какой-нибудь неприятности или нападения, защиту всегда можно иметь.

Ванда. Я глубоко убеждена, что никакого нападения на мирных людей быть не может. Мы никого не трогаем, а вот на них — может быть, потому что они в драку ввязываются. Арестуют их всех, вот тогда будут знать...

Звонок.

Василиса. Кто это может быть?

Ванда. Телеграмма какая-нибудь?

Василиса. Какая там телеграмма! Может быть, дать знать Турбиным?

Звонок и стук и очень глухой голос.

Ты слышишь? Ломятся?

Ванда. Да, странно. *(Крестится.)*

Звонки и грохот. Василиса и Ванда уходят. Голос Василисы за сценой: «Кто там?» Грохот. Глухие голоса. Голос Ванды: «Ах, Боже мой!» Стук запора. Грохот. Появляется Ванда задом. Она крайне испугана. За ней Василиса задом.

Василиса *(в дверь)*. Позвольте узнать, панове?

Входят три бандита. 1-й в папахе со шлыком. Похож на волка. 2-й с провалившимся носом, гнусавый, в дворянской фуражке, 3-й — молодой, румяный, веселый.

1-й бандит. С обыском. Показывай квартиру!..

Василиса. С обыском?.. Видите ли, панове, я мирный житель. Почему же у меня обыск?

1-й бандит. Ты почему, гадюка, так долго не открывал?

Василиса. Я... я...

Ванда. Помилуйте, мы так испугались, вы появились так внезапно...

Василиса. А позвольте узнать, от кого же обыск? Может быть, мандат есть?

1-й бандит. Я тебе покажу сейчас Господа Бога твоего мандат! *(Вынимает револьвер.)*

Ванда. А-ах!..

1-й бандит. Руки вверх!

Василиса. Помилуйте, я совершенно мирный житель!

1-й бандит. Знаю я тебя, субчика, какой ты мирный житель. Кто в квартире?

Василиса. Ни... никого нет, то есть я и жена, больше никого нет.

2-й бандит. Оружие есть?

Василиса. Какое же у нас оружие?

2-й бандит. Говори правду, а то мы расстреляем, если что найдем...

Василиса хотел перекреститься.

1-й бандит. Руки! *(3-му.)* Василько, обыщи их!

Бандит обыскивает Василису, 2-й Ванду.

2-й бандит. Богатый домовладелец, а жену не кормишь!

Бандит 3-й вынимает часы из кармана Василисы.

Василиса. Это часы, панове!

1-й бандит. Что же я, Богородицу, боженят и угодников, — слепой, по-твоему? Слепой?

Василиса. Нет, вы не слепой...

1-й бандит. Незаменимая вещь — часы, ночью узнать, который час... *(Прячет часы в свой карман.)* Опустить руки! *(Василисе.)* Ну, кажи теперь, деньги е?

Василиса. Какие же у нас деньги?

1-й бандит *(смотрит на него)*. Нема? Обеднел? Ах, бедолага, бедолага! *(2-му и 3-му.)* Поглядите, братцы, на пролетария всех стран! Так нема? *(Яростно.)* Ах ты, сучий хвост! *(Берет Василису за горло.)*

Ванда. Ах! Что вы делаете?!

1-й бандит *(ей.)* Граммофон умеешь заводить? Заводи!

Ванда в ужасе заводит граммофон. Тот поет: «Куда, куда, куда вы удалились...»

Хлопцы, стучить стены!

1-й и 2-й бандиты выстукивают стены.

Стучи над книжками! Тут!..

Василиса. Ах, Боже мой!

Стук.

3-й бандит *(радостно)*. Здесь! *(Вынимает пакет.)*

1-й бандит разрывает его.

1-й бандит. О, це здорово! Что ж ты, зараза, казал: «Нема, нема». А це што? Це ж гроши!

Василиса. Помилуйте, здесь так немного. Это заработанные, кровные...

1-й бандит. Ты знаешь, что тебе полагается за утайку народных сокровищ? Ты ж бандит! Мы тебя расстрелять должны, согласно революционному закону!..

Ванда. Что вы?!

1-й бандит. Молчать!

Граммофон хрипит и останавливается.

А ну, Василько, переверни-ка стол! *(Ванде.)* Ну, заводи, заводи опять.

Граммофон поет уныло: «Паду ли я, стрелой пронзенный!»

3-й бандит *(переворачивает стол)*. О-го-го!..

Весь стол залеплен денежными бумажками. 2-й и 3-й бандиты отдирают их, прячут в карманы.

1-й бандит. Так нема, кажешь, денег? Ай, ай, ай...

Василиса. Я больше не буду!

Ванда. Это мы на хозяйство...

1-й бандит. Молчи, грымза! Баб не спрашивают! *(Василисе.)* Ты ж дурак! Кто ж деньги так прячет? Мы уж в пятой квартире булы, и в каждой деньги налеплены под столами. Интеллигент! Деньги в погребе надо держать!

Василиса *(не помня себя)*. Хорошо...

За сценой шум. Отдаленный звонок в квартире Турбиных.

2-й бандит. Ша! *(Вынимает револьвер. Прислушивается.)*

1-й бандит. Ну, вот что, хлопцы, нема часу. Собирайтесь!

3-й бандит *(берет Василисины ботики у дивана)*. Яки гарны башмаки!

Василиса. Это шевровые, панове!

1-й бандит. Так что ж, что шевровые? Так, по-твоему, добрый человек не может носить шевровые ботинки? Что ж он, хуже тебя? Ах ты, сволочь, сволочь! Ты посмотри на себя в зеркало: розовый, як свинья, нажрал себе морду. Ты посмотри, в чем казак ходит? У него ноги мороженые, рваные. Он за тебя на империалистической войне в окопах гнил, а ты в это время в квартире сидел, гроши копил, на граммофоне играл. Ты ж паразит на теле трудящего народа!

2-й бандит. Да убить его треба. Что с ним разговаривать? Он все равно несознательный!

Ванда. Господа! Что вы? Что вы? Вася, оставь, пожалуйста, пусть!

1-й бандит. Бери, Василько, ботинки!

2-й бандит снимает брюки с гвоздика.

2-й бандит. Дорогая вещь, шевиот! *(Снимает свои рваные штаны, надевает брюки Василисы.)*

3-й бандит шарит в ящиках.

1-й бандит. Да, хлопцы, плюньте на это барахло! Ходим скорее, пока кто-нибудь не помешал!

2-й бандит что-то шепчет 3-му, взглядывает на Ванду.

3-й бандит *(колеблется)*. Нема часу!

1-й бандит. Бросьте, хлопцы! Нашли тоже! *(Плюет по адресу Ванды.)* Тьфу! *(Василисе.)* Ты посмотри, до какого состояния ты жену довел, что добрые люди на нее и смотреть не хочуть?! Ну, вот що, уважаемый домовладелец, слухайте приказ: из квартиры до утра не выходить, ни якой тревоги не поднимать, никому ничего не заявлять! Бо если вы подымете тревогу, так я вам завтра пришлю хлопцев, они вас поубивают, як клопов!

2-й бандит. Вы не думайте, що у вас бандиты булы. Це из штабу, по предписанию.

Василиса *(робко)*. Из какого штаба, позвольте узнать?

1-й бандит. Из штаба первой вольной дружины революционной украинской армии. Садитесь, пане, пишите расписку!

Василиса. Какую расписку! Виноват, вам надлежит расписаться, так сказать...

1-й бандит. Садись, зараза!

Ванда. Вася, сядь, сядь! Напиши!

Василиса *(за столом)*. Что написать-то?

1-й бандит. Пишить: «Вещи при обыске в целости сдал, претензий ни яких не маю». Пишить! Принял начальник штабу первой дружины атаман Ураган.

2-й бандит. И меня запиши...

1-й бандит. И личный адъютант его Кирпатый, а равно и адъютант его... *(Смотрит на 3-го.)* Немоляка...

3-й бандит. Хи, хи, хи... Адъютант!

1-й бандит. Ну, бувайте здоровеньки! Что же вы молчите?

Ванда. До свиданья...

3-й бандит, задерживаясь, протягивает Ванде руку — та в ужасе пожимает ее. Обнимает ее неожиданно.

Ванда. Вася!..

1-й бандит *(из двери)*. Брось, Василько, який ты сладострастный! *(Ванде.)* Да не бойся ты, никому ты не нужна.

Уходят. Стук. Пауза.

Василиса. Что же это такое?! Двадцать пять тысяч золотом! Что же это такое?! Господи! Господи, что же это такое!?

Ванда. Вася, это сон! Вася, они хотели меня изнасиловать! Ты видел?

Василиса *(мутно)*. Что? Кого? Изнасиловать? Ну тебя к черту с твоими глупостями! Изнасиловать! Двадцать пять тысяч! Куда бежать? Что теперь делать?

Ванда. Вася, мне плохо! *(Падает.)*

Василиса. Турбины! Турбины!

Занавес

Конец четвертого акта

АКТ ПЯТЫЙ

У Турбиных. Квартира ярко освещена. Украшенная елка. Над камином надпись тушью: « Поздравляю вас, товарищи, с прибытием!»

Елена. Бог мой! Да на кого же вы похожи!

Шервинский *(в изодранном пальто, мерзкой шапке и в очках)*. Ну, спасибо, Елена Васильевна, я уже попробовал сегодня. Иду домой и на тротуаре столкнулся с каким-то типом. Глянул я на него, ну, думаю, фю... фю... большевик. А он мне и говорит эдаким коммунистическим голосом: «Ишь, украинский барин, погоди до завтра, мы вам хвосты всем подвяжем!» Ну, я сразу понял, что нужно ехать переодеваться. У меня глаз опытный. Поздравляю вас, — красные вечером будут в городе!

Елена. Чего же вы так радуетесь? Вот чудак! Можно подумать, что вы сами большевик!

Шервинский. Я не большевик. Но уж, если на то пошло, ежели мне дадут на выбор — петлюровца или большевика, — то я, простите, предпочитаю большевика. Я — сочувствующий. Похож я на пролетария?

Елена. Простите за резкость, — вы на босяка похожи с Подола. Сейчас же снимайте эту дрянь!

Шервинский. Слушаю. Я у дворника это пальтишко напрокат взял. Беспартийное пальтишко...

Елена. От этого пальтишки какой-нибудь гадостью можно заболеть. Трус! И очки сию минуту долой!

Шервинский снимает пальто, шляпу, калоши и очки и остается в великолепнейшем фрачном костюме.

Шервинский. Вот!

Елена. Зачем же вы баки сбрили?

Шервинский. Гримироваться, знаете ли, удобнее...

Елена. Большевиком вам так удобнее гримироваться! Фу, хитрое и малодушное создание! Ну ладно, садитесь, будьте гостем.

Шервинский. Я первый?

Елена. Лариосик и Николка водку побежали разыскивать к ужину, а Алеша у себя сидит, — занимается.

Шервинский. Так-с. Я нарочно, знаете ли, дорогая Елена Васильевна, приехал пораньше... Пораньше приехал. Э... Вы позволите мне объясниться?

Елена. Объяснитесь.

Шервинский *(закрыв все двери)*. Ну вот, видите ли. Все кончилось. Алеша выздоровел. Так ведь?

Елена. Так. Дальше?

Шервинский. Я говорю: все кончилось! Да. Я больше не могу мучиться. Да. Елена Васильевна, я прошу вас стать моей женой.

Елена. Все?

Шервинский. Все.

Елена *(подумав)*. Я соглашусь...

Шервинский. Лена!

Елена. Погодите! Сядьте! Я соглашусь, если вы мне объясните, как мне поступить с моим мужем? Ведь я, изволите ли видеть, замужем.

Шервинский. Сейчас, сию минуту, мгновенно, моментально объясню: вы с ним разведетесь. И кончено.

Елена. Ну, знаете ли, Владимир Робертович такого сорта человек, что он может не согласиться на развод.

Шервинский. Да тогда я его убью!

Елена. Не горячитесь! Его здесь нет. Я согласна — развод. Это можно устроить...

Шервинский. Лена!

Елена. Сядьте! Второе важнее первого, и оно не во Владимире Робертовиче, а в вас самих. *(Пауза.)* Шервинский, Шервинский, сколько тактов вы держали «ля» в эпиталаме?

Шервинский. Ну, семь тактов держал...

Елена. В первый раз вы сказали девять, потом восемь, теперь уже семь?

Шервинский. Я забыл...

Елена. Леня! Если ты хочешь, чтобы я тебя любила, перестань врать. Слышишь?

Шервинский. Неужто я уж такой лгун, Леночка?

Елена. Вы?.. Ты?.. Я сама не понимаю. У вас какая-то страсть! Так вот ее не будет! Не будет! Что это за безобразие, в самом деле! То в него какая-то графиня в Жмеринке влюбилась, то император прослезился, то он сербских квартирьеров видал... Шервинский! Ты лгать не будешь! У нас в доме никто не лжет, и я не хочу, чтобы это прививалось... Единственный раз в жизни правду сказал про гетманский портсигар, и то никто не поверил, пришлось доказательства предъявлять. Фу, срам!

Шервинский *(торжественно и мрачно).* Про портсигар я все наврал. Гетман мне его не дарил, не целовал и не прослезился. Он его на столе забыл, а я спрятал...

Елена. Стащил со стола? Этого недоставало!

Шервинский. Лена!

Елена. Дайте сюда сию секунду портсигар!

Шервинский. Лена! Вы никому не скажете... Слышите?

Елена. Дайте сюда! *(Прячет портсигар в стол и запирает на ключ.)*

Шервинский. Там мои папиросы, Леночка.

Елена. У Алеши возьмете!

Шервинский. Лена!

Елена. Счастлив ваш бог, что надоумил вас сказать. Нехорошо бы вам было, мосье Шервинский, если бы я сама об этом узнала!

Шервинский. А как бы вы узнали?

Елена. Не срамись, молчи! Какой-то готтентот, человек, лишенный всякой морали... О, какое легкомыслие я совершаю!

Шервинский. Лена! Не огорчай меня! Лена... *(Целует ее.)*

Елена. Алеша! Алеша! Поди сюда!

Алексей *(за сценой).* Сейчас...

Выходит Алексей. Он худ, бледен, опирается на палку. Голова обрита, в черной шапочке.

Фу, какой парадный...

Шервинский. Здравствуй, Алеша. Как ты себя чувствуешь?

Алексей. Спасибо. Видишь, двигаюсь понемногу. *(Садится.)* Ну, тогда о погоде. Как на дворе?

Елена. Алеша, пока никого нет, я хочу тебе сообщить важную для меня вещь. Алеша, я расхожусь с Владимиром Робертовичем и выхожу замуж за него...

Алексей. Вот как? Как это вы так быстро успели?

Шервинский. Мы давно любим друг друга.

Елена. Леонид, говори больше за себя... Что, Алеша, ты на это скажешь?

Алексей. Ведь я ей несколько сродни? Говоря словами Грибоедова. Господи! Вы — люди взрослые! Совет да любовь!

Шервинский. Разве я уж такой плохой человек, Алексей, что ты относишься настолько холодно к этому?

Алексей. Помилуй! Я ничего против тебя не имею. Человек ты неплохой, а по сравнению с Тальбергом даже отличный. Только, Лена, как же ты будешь с первым мужем?

Шервинский. Мы тотчас пишем ему в Берлин, и она требует развода. Развод! Да он все равно не вернется...

Алексей. Ну что ж. Действуй! Желаю тебе счастья. И тебе!

Шервинский. Нет! Ты слишком холоден...

Алексей. Ты видишь: я прыгать не могу. А чтобы залиться слезами и сдирать икону со стены, — я ведь не будущая теща! Ну, желаю тебе счастья. Ты как же, Леночка, отчалишь теперь из дому? Нас с Николкой оставишь?

Елена. Нет, нет. Слушай, Леонид, когда мы повенчаемся, ты сюда переедешь. А?

Шервинский. Господи! Да с удовольствием! Алеша, нам, если ты ничего не имеешь против, хотелось бы занять половину Тальбергов. Те две комнаты, а эта общая. А?

Алексей. Ладно!

Шервинский. Ты имей в виду, Алеша, что теперь даже лучше, если народу будет в квартире...

Алексей. Правильно! Ну, Лена, с ним ты не пропадешь. Действуйте!

Елена. Куда же ты, Алеша?

Алексей. Я, Леночка, пойду работу кончу, уж очень запустил за время болезни. А когда все соберутся, я выйду. Ведь еще рано.

Елена. Ну ладно.

Алексей уходит.

Шервинский *(подойдя к портрету Тальберга)*. Лена! Я его выкину сейчас же. Видеть его не могу!

Елена. Ого! Какой тон!

Шервинский *(нежно)*. Я его, Леночка, видеть не могу. *(Выламывает портрет из рамы, рвет, бросает в камин.)* Крыса!.. И совесть моя чиста и спокойна!

Елена. Легкомыслие я совершаю... Ох, чувствует мое сердце! Ну смотри, Шервинский, ой, смотри!

Шервинский. Леночка, пойдем к тебе, посидим. Я хочу с тобой по душам поговорить. Ведь целый месяц, пока вся эта кутерьма шла, звука не сказали друг другу. Словом не перемолвились. Все на людях, на людях. Поиграй мне. *(Целует.)*

Елена. Нежности в тебе много, что говорить!

Шервинский. А насчет того, как материально устроиться, ты не беспокойся. Через месяц у меня дебют в опере, и ого... го... го! И какая власть — все равно!

Елена. Я менее всего об этом беспокоюсь. Ты не пропадешь, уж в этом-то я уверена... Костюм Севильского цирюльника мы тебе сделаем замечательный. Красную шапочку и сетку. *(Целует его.)*

Шервинский. Идем, идем... ми... ми...

Уходят.

Алексей *(за сценой)*. Лена! Разводись скорей!

Елена. Алешка! Я сама знаю!

Шервинский. Мы петь идем! *(Закрывает дверь.)* Чтобы ему не мешать.

За дверью глухо звук вальса, потом Шервинский поет из «Севильского цирюльника»:

Конец счастливый, без сомненья,
Вот и свадьба в заключенье...
Фонарь, друг похождений,
Тушить тебя пора...

Потом опять вальс. Звонок. Никто не открывает. Потом стук. Алексей проходит через сцену в переднюю, впускает Николку.

Николка. Алеша, достал я бутылку водки. Ура! *(Раздевается.)* Ну, Алеша, вещи важные! Красные-то входят, ей-богу!

Алексей. Почему же стрельбы не слышно?

Николка. Без стрельбы идут, понимаешь ли... Тихо, мирно. Вся армия петлюровская дует сейчас через город. Потеха! И главное, удивительно, на улице все буржуи и радуются! Вот до чего Петлюра осточертел! Понимаешь, Алеша, Троцкий, говорят, сам ведет...

Алексей. А эти что же, так, без боя и уходят?

Николка. Без боя... Вот мерзавцы, а? Я сейчас за углом спрятался, сам видел: конная дивизия уходит. Едут и оглядываются. Что же теперь с нами будет, Алеша? Ведь это надо обсудить. Я решительно не понимаю. Просидели Петлюру в квартире, а дальше как? Ведь завтра Совдепия получится...

Алексей. Увидим... Погоди, вот Мышлаевский придет, все обсудим.

Николка. Лена где? *(Порывается к двери.)*

Алексей. Погоди, ты к ней не ходи. Ты что, насчет большевиков ей хочешь сказать?

Николка. Ну да.

Алексей. Успеешь, не мешай ей!

Николка. А! Они репетируют?

Алексей. Вот именно: репетируют. Придут, все тогда переговорим. Раскупоривай бутылки!

Николка. Хорошо!

Алексей уходит. Николка видит выломанный портрет.

(Многозначительно свистит.) А-а! *(Прислушивается.)* Вышибли! Так я и догадывался. Ну, слава тебе, Господи!

Стук. Николка открывает. Входит Лариосик. Запорошен снегом.

Лариосик. Николаша! Раз в жизни мне свезло! Ну, думаю, ни за что не достану, и вот, видишь, достал! *(Показывает бутылку.)* Такой уж я человек: из дому выхожу и думаю, погода прекрасная, все обстоит в природе благополучно,— но если я появлюсь на улице, пойдет снег... И верно: только что вышел, мокрый снег так и лепит, в самое лицо. Ужас прямо... Но водку достал. *(Входит в гостиную.)* Пусть теперь Мышлаевский видит, как Ларион Суржанский держит свое слово! Два раза упал, затылком трахнулся, но водку держал в руках!

Николка. Ты знаешь, Ларион, потрясающая новость: Елена разводится с мужем!

Лариосик *(уронил бутылку и разбил)*. Что?! Боже мой! Что я за человек!

Николка. Э, Ларион... Ну как же так...

Лариосик. Постой... С мужем разводится? Разводится? Неужели?

Николка. Вот удивительно! Все радуются! До чего, значит, надоел всем! Постой, впрочем, ведь ты его не знал?

Лариосик. Разводится? Это замечательно! Это поразительно...

Николка. Да ты чего радуешься-то? А-а! Ларион! Ты что? Врезался? Ну, по глазам вижу — врезался...

Лариосик. Я, Николаша, попрошу тебя, когда речь идет о Елене Васильевне, таких слов, как «врезался», не говорить. Это не подходит...

Николка. Что ты, Ларион?

Лариосик. Ты знаешь, какой человек Елена Васильевна? Она... она золотая.

Николка. Рыжая она, рыжая, Ларион.

Лариосик. Я не про волосы говорю, а про внутренние ее качества! А если хочешь, то и волосы золотые. Да!

Николка. Рыжие, Лариончик, ты не сердись. От этого в нее все и влюбляются. Нравится каждому — рыжая. Прямо несчастье. Кто ни придет, потом начинает букеты таскать. Так что у нас, как веники, все время букеты стояли по всей квартире. А Тальберг злился.

Лариосик. На свету волосы отливают в цвет ржи. Ты видел на полях, Никол, в час заката, когда лучи косые и ветер чуть шевелит колосья? Видел? Вот такой на ней нимб!

Николка. Пропал человек! Лариосик, я тебе друг?

Лариосик. Да, Николаша, я тебя очень люблю.

Николка. Я тебя по дружбе предупреждаю... За ней Шервинский ухаживает.

Пауза.

Лариосик. Шервинский? Шервинский... Шервинский ее не достоин! Он не может ей нравиться.

Николка. Видишь ли, голос у него замечательный... Слушай, Ларион, давай собирать осколки, а то Мышлаевский придет, он тебя убьет...

Лариосик. Ты ему не говори! *(Собирает осколки.)* Не такой человек, как Шервинский, ей нужен! О, нет! Не такой!

Николка. Да бабы, они, знаешь ли, разве понимают...

Лариосик. Бабы! До чего ты не чуток! Ну разве можно такое слово применить...

Звонок.

Погоди, не открывай... *(Собирает осколки.)*

Стук.

Алексей *(выходит)*. Что же вы не открываете?

Николка. Сейчас, Алеша, сейчас... У нас тут несчастье.

Алексей открывает, впускает Мышлаевского и Студзинского. Мышлаевский со свертком.

Студзинский. Ура! Доктор на ногах! Когда встали?

Алексей. Вчера в первый раз.

Студзинский. Очень рад...

Мышлаевский. Здорово, Алеша!

Студзинский. Елка, подумайте! Очень хорошо...

Алексей. Это у нас традиция.

Студзинский и Мышлаевский раздеваются. Входят в гостиную.

Мышлаевский *(целуясь)*. Ну-с, Алеша, с двойным праздничком. С сочельником и с благополучным прибы-

тием товарища Троцкого в Киев. Опять, стало быть, в бест к тебе в квартиру садиться. Можно?

Алексей. Ради Бога...

Николка *(тихо Лариосику)*. У него с собой есть. Обойдется...

Студзинский. Здравствуйте, господа!

Мышлаевский. Водкой пахнет! Ей-богу — водкой! *(Грозно.)* Кто пил водку раньше времени?

Алексей. Что ты, Христос с тобой!

Мышлаевский. Да слышу я! *(Заметил пятно.)* Что же в этом богоспасаемом доме делается? А? Вы водкой полы моете? Кто это сделал, признавайтесь! *(Лариосику.)* Что ты все бьешь? Что ты все бьешь? Это в полном смысле слова золотые руки! К чему ни притронется, хлоп! Осколки. Музейный человек...

Лариосик. Чего ж ты на меня кричишь, Витенька?

Студзинский. Виктор!

Мышлаевский. Ты подумай, что ты разбил! Но если у тебя уж такой зуд в руках, бей тарелки!

Алексей. Ну нет, позвольте!

Лариосик. Мне так не везет. Нет, я вижу, мне невозможно жить между людьми. Мне нужно уйти от них. Я приношу только несчастье.

Мышлаевский. Ну, ну, Ларион...

Алексей. Знаешь что, Виктор, я тебя попрошу все-таки: ты на людей перестань бросаться. И в особенности на Лариона Ларионовича. Нельзя же, в самом деле, злоупотреблять деликатностью.

Мышлаевский. Ларион. Ты обиделся на меня? Брось! Я вспыльчив, но я и отходчив. Я на тебя уже не сержусь. Давай руку!

Алексей. Ну и отлично.

Мышлаевский. Где Елена?

Алексей. Погоди немного. Мы ее потом позовем. Дело вот в чем, господа...

Николка. Товарищи! Господа все с гетманом уехали...

Алексей. Слушайте, товарищ капитан, красные город занимают?

Студзинский. Точно так.

Алексей. Далеко они?[1]

Студзинский. На плечах у этих идут. Сейчас последние колонны петлюровцев проходили. Значит, эти будут с минуты на минуту. Обсудить надо положение.

Алексей. Придется.

Николка. Митинг! Митинг!

Мышлаевский. Правильно! Садитесь, дорогие товарищи! Где Шервинский? Зовите Шервинского!

Алексей. Не надо, Виктор! Не мешай им. За него не беспокойся. Он устроился в оперу, и никто его трогать не будет.

Николка. Правильно! Предлагаю выбрать председателем Алешу!

Алексей. Я не хочу. Господа, я калека...

Лариосик. Вас, вас, Алексей Васильевич!

Мышлаевский. Садись, Алеша!

Николка раскрывает ломберный стол.

Мышлаевский. Зажигай сразу и свечи. Все равно сейчас винтить сядем.

Николка зажигает.

Студзинский. Итак, председательствует на митинге, как старший, доктор Турбин.

Алексей. Секретаря предлагаю выбрать.

Мышлаевский. Лариосика! Он человек грамотный. Стихи пишет!

Лариосик. Я, господа, очень вам благодарен. Я ведь человек не военный.

Мышлаевский. Как бутылки бить, ты военный? А я военный? Почему я военный? Садись, Ларион.

Алексей. Итак, в повестке дня у нас два вопроса: один — приход товарища Троцкого в город, а второй — текущие дела. Возражений нет?

Студзинский. Нету.

Алексей. Слово для информации предоставляется бывшему капитану, Александру Брониславовичу Студзинскому.

---

[1] Этой фразы нет в рукописи. Вставлена по смыслу. — *В.П.*

Николка. Чисто как у большевиков! Честное слово! *(Берет гитару.)* Троцкий, если бы увидел, прямо бы обнял нас. Порядок образцовый. И физиономии у всех сознательные...

Алексей. С места не говорить!

Студзинский. Информация моя будет краткой. Войска большевиков, по слухам, предводительствуемые самим Троцким, вытеснили Петлюру из Киева. Таким образом, сегодня Украина становится советской, а что нам делать, — неизвестно.

Николка в продолжение митинга тихо бренчит на гитаре разные мотивы.

Алексей. Вы кончили?

Студзинский. Больше говорить нечего.

Пауза.

Николка. Товарищ председатель, я прошу слова: предлагаю всем бежать за границу. Вот!

Алексей. Кончил?

Николка. Кончил.

Алексей. Кто желает еще?

Студзинский. Положение наше трудное. Что мы, в самом деле, делать-то будем? Как мы будем жить? Ведь они самого слова «белогвардейцы» не выносят! Жизнь начнется удивительная, непонятная и для нас совершенно неприемлемая. Может быть, действительно, пока не поздно, подняться и уйти всем за петлюровцами?

Мышлаевский. Куда?

Студзинский. За границу.

Мышлаевский. А дальше, за границей, куда?

Алексей *(стучит)*. Вы кончили?

Студзинский. Кончил.

Николка. Туманно... туманно... большие испытания... ох, большие испытания... Будем мы еще биться с красными...

Мышлаевский. Позвольте мне...

Алексей. Пожалуйста, товарищ!

Мышлаевский. Только я рюмку водки выпью. *(Идет к столу, пьет.)*

Студзинский. Тогда уж и мне позвольте.

Мышлаевский. Испытания?.. Испытания? Да что я, в самом деле, у Бога теленка съел, что ли? В 1914 году, когда добрые люди глазом моргнуть еще не успели, мне уже прострелили левую ногу! Раз. В 1915-м — контузили, и полгода я ходил с мордой, свороченной на сторону. В 1916 году разворотили правую ногу, и я до сих пор в сырую погоду не могу от боли мыслей собрать. Только водка и спасает. *(Выпивает рюмку.)* Но это было за отечество. Ладно. Отечество, так отечество. В 1917-м наши батарейные богоносцы ухлопали командира за жестокость. А мне говорят: уезжайте вы, ваше высокородие, к чертовой матери, а то, хотя вы человек хороший,— вас за компанию убьют. Ладно. К чертовой, так к чертовой. Приезжаю домой, к гетману. Здрасьте! Немедленно заявляют: Мышлаевский, спасай отечество! Во-первых, — петлюровцы, а за ними большевики. Мышлаевский, как болван, полетел. Ногу отморозил, крутился, вертелся. Людей на его глазах побили! И не угодно ли? Большевики, и опять жди испытаний и бейся. Ну нет! Видали? *(Показывает зрительному залу кукиш.)* Фига!

Алексей. Собрание просит оратора фиг не показывать. Изъясняйтесь словами!

Мышлаевский. Я сейчас изъяснюсь, будьте благонадежны! Что я, идиот? В самом деле? Нет, я Господу Богу моему, штабс-капитан, заявляю, что больше я с этими сукиными детьми, генералами, дела не имею... Я кончил!

Николка. Капитан Мышлаевский большевиком стал! Ура!

Мышлаевский. Да! Ежели угодно, я за большевиков, но только против коммунистов.

Шум.

Николка. Так ведь они же...

Студзинский. Слушай, Виктор...

Лариосик. Вот так происшествие...

Алексей. Тише!

Студзинский. Слушай, капитан. Ты упомянул слово «отечество»? Какое же отечество, когда Троцкий идет? Россия кончена. Пойми: Троцкий! Доктор был прав. Вот он, Троцкий!

Мышлаевский. Троцкий! Великолепная личность! Очень рад. Я бы с ним познакомился и корпусным командиром назначил бы...

Студзинский
Николка } Почему?!

Мышлаевский. А вот почему! Потому! Потому что у Петлюры, вы говорили, сколько? Двести тысяч. Вот эти двести тысяч салом пятки подмазали и дуют при одном слове «Троцкий». Троцкий! И никого нету. Видал? Чисто! Потому что Троцкий глазом мигнул, а за ним богоносцы тучей. А я этим богоносцам что могу противопоставить? Рейтузы с кантом? А они этого канта видеть не могут. Сейчас за вилы берутся. Не угодно ли? Спереди красногвардейцы, как стена, в задницу спекулянты и всякая рвань с гетманом, а я посередине? Да, слуга покорный! Мне надоело изображать навоз в проруби! Кончен бал!

Николка. Он Россию прикончил!

Студзинский. Да они нас все равно расстреляют!

Шум.

Мышлаевский. И отлично сделают! Заберут в Чеку, по матери обложат и выведут в расход! И им спокойнее, и нам...

Николка. Я с ними буду биться!

Мышлаевский. Пожалуйста, надевай шинель, валяй! Дуй! Шпарь к Троцкому — кричи ему: не пущу! Тебя с лестницы спустили уже раз?

Николка. Я сам прыгнул! Господин капитан!

Мышлаевский. Башку разбил? А теперь ее тебе и вовсе оторвут. И правильно: не лезь! Теперь пошли дела богоносные.

Лариосик. Я против ужасов гражданской войны. Зачем проливать кровь?

Мышлаевский. Правильно! Ты на войне был?

Лариосик. У меня, Витенька, белый билет. Слабые легкие, и, кроме того, я единственный сын при моей маме.

Мышлаевский. Правильно, товарищ белобилетник. Присоединяюсь, товарищи.

Шум.

Алеша, скажи ты им.

Алексей. Вот что... Мышлаевский прав. Тут капитан упомянул слово «Россия» и говорит — больше ее нет Видите ли... Это что такое?

Николка. Ломберный стол.

Алексей. Совершенно верно, и он всегда ломберный стол, что бы ты с ним ни делал. Можешь перевернуть его кверху ножками, опрокинуть, оклеить деньгами, как дурак Василиса, и всегда он будет ломберный стол. И больше того, настанет время, и придет он в нормальное положение, ибо кверху ножками ему стоять несвойственно...

Мышлаевский. Правильно! *(Выпивает рюмку водки.)* Какого пса, в самом деле, я на позициях буду гнить, а он деньги копить под столом...

Николка. Василиса симпатичный стал после того, как у него деньги поперли.

Студзинский. Тише!

Алексей. Вернется на прежнее место. Вернется! Россию поставьте кверху ножками, настанет час, и она станет на место. Все может быть: пусть они хлынут, потопят, но пусть наново устроят, но ничего не устроят, кроме России. Она — всегда она. Видите ли, они нас раздавили. Нас списывают со счетов. Ну что ж? Мы, братцы, в меньшинстве, поэтому не будем мешать. Попробовали, вот меня и искалечили. Я теперь смотрю и думаю, зачем? Ради чего, в самом деле?

Мышлаевский. Да, ради чего?

Николка *(напевает.)*

Была у нас Россия,
Великая держава...

Алексей. И будет... Значит, надо сидеть в ней и терпеливо ждать.

Студзинский. Доктор, будет ли когда-нибудь она?

Алексей. Будьте покойны, капитан. Не будет прежней, новая будет. А за границу? Что ж там делать? Что вы там будете делать?

Мышлаевский. Куда ни приедешь, в харю наплюют: от Сингапура до Парижа. Нужны мы там, за границей, как пушке третье колесо!

Алексей. Я не поеду. Я не поеду! Буду здесь, в России, и будь с ней, что будет!

Мышлаевский. Да здравствует Россия!

Николка. Ну, на это я согласен: да здравствует Россия!

Мышлаевский. Закрывай, Алеша, собрание, а то Троцкий дожидается: входить ему или не входить, не задерживай товарища!

Выходят Елена и Шервинский. У Шервинского открытая бутылка в руках.

Николка. Встать смирно!

Алексей. Тише! Собрание объявляю закрытым. Имею заявление. Вот что: сестра моя Елена Васильевна Тальберг разводится с мужем своим, бывшим полковником генерального штаба Тальбергом, и выходит... *(Указывает рукой.)*

Лариосик. А!

Мышлаевский. Брось, Ларион, куда нам с суконным рылом в калашный ряд. *(Шервинскому.)* Честь имею вас поздравить. Ну, и ловок же ты, штабной момент!

Студзинский. Поздравляю вас, глубокоуважаемая Елена Васильевна.

Мышлаевский. Ларион, поздравь, неудобно!

Лариосик. Поздравляю вас и желаю вам счастья!

Мышлаевский. Лена ясная! Но ты молодец. Молодец! Ведь какая женщина, по-английски говорит, на фортепианах играет, в то же время самоварчик может поставить. Я сам бы на тебе, Лена, с удовольствием женился.

Елена. Я бы за тебя, Витенька, не вышла...

Мышлаевский. Ну и не надо. Я тебя и так люблю, а сам я по преимуществу человек холостой и военный, люблю, чтобы дома было уютно, без женщин и детей, как в казарме.

Николка. Портянки чтобы висели...

Мышлаевский. Попрошу без острот! Ларион, наливай!

Шервинский. Погодите, господа! Не пейте это вино. Я вам шампанского налью. Вы знаете, какое это винцо. О-го, го, го! *(Оглянувшись на Елену, увял.)* Обыкновенное Абрау-Дюрсо. Три с полтиной бутылка. Среднее винишко!

Мышлаевский. Ленина работа. Лена, рыжая! А ты молодец! Шервинский, женись, ты совершенно здоров!

Шервинский. Что за шутки, я не понимаю...

Елена. Виктор, что же ты не выпьешь шампанского?

Мышлаевский. Спасибо, Леночка, я лучше водки сперва выпью. Ларион, скажи им речь, ты поэт!

Студзинский.
Николка. } Речь, правильно!

Лариосик. Я, господа, право, не умею, и, кроме того, я очень застенчив...

Мышлаевский. Ларион, говори речь!

Лариосик. Что ж? Если обществу угодно, я скажу. Только прошу извинить, ведь я не готовился. Мы встретились в самое трудное и страшное время, и все мы пережили очень, очень много, и я в том числе. Я, видите ли, перенес жизненную драму, и мой утлый корабль долго трепало по волнам гражданской войны...

Мышлаевский. Очень хорошо про корабль. Очень...

Студзинский. Тише!

Лариосик. Да, корабль... Пока его не прибило в эту гавань с кремовыми шторами, к людям, которые мне так понравились. Впрочем, и у них я застал драму... Елена Васильевна, я сервиз куплю вам, честное слово!

Елена. Ларион, что вы?

Лариосик. Впрочем, не стоит вспоминать о печалях. Время повернулось. Вот сгинул Петлюра... Мы живы и здоровы... Все снова вместе... Я даже больше того, вот, Елена Васильевна, она тоже много перенесла и заслуживает счастья, потому что она замечательная женщина...

Мышлаевский. Правильно, товарищ! *(Выпивает рюмку водки.)*

Лариосик. И мне хочется ей сказать словами писателя: «Мы отдохнем, мы отдохнем!»

За сценой глухой и грузный пушечный удар, за ним другие.

Мышлаевский. Так. Отдохнули! Пять, шесть, девять...

Елена. Неужели бой опять?

Шервинский. Знаете что? Это салют!

Мышлаевский. Совершенно верно: шестидюймовая батарея салютует.

Николка. Поздравляю вас, в радости дождамшись. Они пришодши, товарищи.

Мышлаевский. Ну что ж? Не будем им мешать, как справедливо сказал уважаемый доктор. Тащите карточки, господа. Кто во что, а мы в винт. Буду у тебя, Алеша, сидеть сорок дней и сорок ночей, пока там все не придет в норму, а за сим поступлю в продовольственную управу. Жених, ты будешь?

Шервинский. Нет, благодарю.

Мышлаевский. Впрочем, конечно, тебе не до винта. У меня пиковая девятка. Ларион, бери!

Лариосик. У меня, конечно, тоже пики.

Мышлаевский. Сердца наши разбиты. Ничего, не унывай. Доктор, прошу. Капитан! Черт, у всех пики. Николка, выходи!

Николка выходит и зажигает елку, потом берет гитару.

Вот здорово! Черт, уютно!

Николка. Как в казарме!

Мышлаевский. Попрошу без острот!

Лариосик. Огни, огни...

Студзинский. Сыграйте, Никол, вашу юнкерскую песню на прощание!

За карточный стол усаживаются Студзинский, Мышлаевский, Лариосик и Алексей.

Мышлаевский. Только не громко, а то влетит вам по шапке за юнкерские песни. *(Тасует карты.)*

Николка *(напевает)*. Вставай, та-там, тата-там-та.

Мышлаевский. Вставай! Только что уютно сел, и опять вставай. Нет уж, я не встану, дорогие товарищи, как я уже имел честь доложить! Меня теперь хоть клещами отдирай! *(Сдает карты.)*

Елена. Николка, спой «Съемки».

Николка *(поет, выходя с гитарой к рампе)*.

Прощайте, граждане,
Прощайте, гражданки,
Съемки закончились у нас...
Гей, песнь моя,
Любимая...
Бутылочка, бутылочка казенного вина!

За сценой начинается неясная оркестровая музыка, странно сливается с Николкиной гитарой.

Елена. Идут! Леонид, идут!

Убегает с Шервинским к окну. За ломберным столом подпевают Николке.

Николка.

Уходят и поют
Юнкера гвардейской школы,
Их трубы, литавры,
Тарелки звенят...
Граждане и гражданки
Взором отчаянным вслед
Юнкерам уходящим глядят...

Лариосик. Господа, слышите, идут! Вы знаете, этот вечер — великий пролог к новой исторической пьесе...

Мышлаевский. Но нет, для кого пролог, а для меня эпилог. Товарищи зрители, белой гвардии конец. Беспартийный штабс-капитан Мышлаевский сходит со сцены; у меня пики.

Сцена внезапно гаснет. Остается лишь освещенный Николка у рампы.

Николка.

Бескозырки тонные,
Сапоги фасонные...

Гаснет и исчезает.

Занавес

Конец

Июнь — сентябрь. 1925 года.
Москва

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Пьеса в четырех действиях

Вторая редакция

Велик был год и страшен год
по Рождестве Христовом 1918...

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Турбин Алексей Васильевич — полковник-артиллерист, 30 лет.
Турбин Николка — его брат, 18 лет
Тальберг Елена Васильевна — их сестра, 24-х лет.
Тальберг Владимир Робертович — генштаба полковник, ее муж, 35 лет.
Мышлаевский Виктор Викторович — штабс-капитан, артиллерист, 28 лет
Шервинский Леонид Юрьевич — поручик, личный адъютант гетмана.
Студзинский Александр Брониславович — капитан, 29 лет
Лариосик — житомирский кузен, 21 года.
Лисович Василий Иванович по прозвищу «Василиса» — домовладелец, 45 лет.
Ванда Степановна — его жена, 39 лет.
Гетман всея Украины.
Болботун — командир 1-й конной петлюровской дивизии
Галаньба — сотник-петлюровец
Ураган — бандит
Кирпатый — сифилитик
Бандит в дворянской фуражке.
Фон Шратт — германский генерал
Фон Дуст — германский майор
Врач германской армии.
Дезертир — сечевик
Человек с корзиной
Камер-лакей
Еврей.
Максим — гимназический педель, 60 лет.
Гайдамак — телефонист.
Первый офицер.
Второй офицер.
Третий офицер
Юнкера и гайдамаки.

Первое, второе и третье действия происходят зимой 1918 года, четвертое действие — в начале 1919 года. Место действия — город Киев.

АКТ ПЕРВЫЙ

КАРТИНА 1-Я

Квартира Турбиных. Вечер. В камине огонь. При открытии занавеса часы бьют 9 раз и нежно играют менуэт Боккерини Алексей склонился над бумагами Николка с гитарой.

Николка *(играет на гитаре и поет).*

Хуже слухи каждый час.
Петлюра идет на нас!
Пулеметы мы зарядили,
По Петлюре мы палили.
Пулеметчики-чики-чики...
Голубчики-чики-чики...
Выручали вы нас, молодцы!

Алексей. Черт тебя знает, что ты поешь! Кухаркины песни! Пой что-нибудь порядочное.

Николка. Зачем кухаркины? Это я сам сочинил, Алеша. *(Поет.)*

Хошь ты пой, хошь не пой,
В тебе голос не такой!
Есть такие голоса,
Дыбом встанут волоса...

Алексей. Это как раз к твоему голосу и относится!

Николка. Алеша, это ты напрасно, ей-богу. У меня есть голос, правда, не такой как у Шервинского, но все-таки довольно приличный. Драматический, вернее всего баритон. Леночка, а Леночка! Как по-твоему — есть у меня голос?

Елена *(из своей комнаты).* У кого? У тебя? Нет никакого!

Николка. Это она расстроилась, потому так и отвечает. А между тем, Алеша, мне учитель пения говорил: «Вы бы, говорит, Николай Васильевич, в опере, в сущности, могли петь, если бы не революция».

Алексей. Дурак твой учитель пения.

Николка. Я так и знал. Полное расстройство нервов в турбинском доме. У меня голоса нет, а вчера еще

был. Учитель пения дурак, и вообще — пессимизм. А я по своей натуре более склонен к оптимизму. *(Трогает струны.)* Хотя ты знаешь, Алеша, я сам начинаю беспокоиться. Девять часов уже, а он сказал, что днем приедет. Уж не случилось ли чего-нибудь с ним?

Алексей. Ты потише говори.

Николка. Вот комиссия, Создатель, быть замужней сестры братом.

Елена. Который час в столовой?

Николка. Э... девять. Наши часы вперед, Леночка.

Елена. Не сочиняй, пожалуйста.

Николка. Ишь, волнуется. *(Напевает.)* Туманно, ах как все туманно...

Алексей. Не надрывай ты мне душу, пожалуйста. Пой веселую.

Николка *(поет)*. Здравствуйте, дачники,
Здравствуйте, дачницы,
Съемки у нас уж давно начались...
Гой песнь моя, любимая...
Буль-буль-буль бутылочка
Казенного вина...
Бескозырки тонные,
Сапоги фасонные,
То юнкера гвардейцы идут...

Электричество внезапно гаснет Громадный хор за сценой в тон Николке поет проходя: «Бескозырки тонные» и т д.

Алексей. Лена, свечи у тебя есть?

Елена. Да, да.

Алексей. Черт их возьми. Каждую минуту тухнут...

Елена *(входя со свечой)*. Тише, погодите. *(Прислушивается Электричество вспыхивает. Елена тушит свечу. Далекий пушечный выстрел.)*

Николка. Странно, как близко. Впечатление такое, будто бы под Святошином. Интересно, что там происходит. Алеша, может быть, ты пошлешь меня узнать, в чем дело в штабе? Я бы съездил.

Алексей. Сиди, пожалуйста, смирно!

Николка. Слушаю, г-н полковник. Я, собственно, потому, что, знаешь ли, бездействие обидно несколько...

Там люди дерутся... Хоть бы дивизион наш был скорее готов...

Алексей. Когда мне понадобятся твои советы в подготовке дивизиона — я тебе сам скажу.

Николка. Виноват, г-н полковник.

Елена. Алеша, где же мой муж?

Алексей. Приедет, Леночка. *(Звонок.)*

Николка. Ну вот он, я же говорил. *(Бежит открывать.)* Кто там?

Мышлаевский *(за сценой)*. Открой, ради Бога, скорей.

Алексей. Нет, это не Тальберг.

Николка *(впуская Мышлаевского в переднюю)*. Да это ты, Витенька.

Мышлаевский. Ну я, конечно, чтоб меня раздавило. Никол, бери винтовку, пожалуйста. Вот дьяволова мать.

Алексей. Да это Мышлаевский...

Елена. Виктор, откуда ты?

Мышлаевский. Ох, здравствуй, Лена. Сейчас. Ох... Осторожней вешай, Никол. В кармане бутылка водки. Не разбей. Здравствуйте, все здравствуйте. Ох, из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой. Совершенно замерз.

Елена. Ах, Боже мой, конечно. Иди скорей к огню. *(Ведут)*

Мышлаевский. Ох... ох... ох...

Алексей. Что же, они валенки не могли дать, что ли?

Мышлаевский. «Валенки!» Это такие сукины сыны.

Елена. Вот что: там ванная сейчас топится. Вы его раздевайте поскорее, а я ему белье приготовлю. *(Уходит.)*

Мышлаевский. Голубчики, сними́, сними...

Николка. Сейчас, сейчас. *(Снимает с Мышлаевского сапоги.)*

Мышлаевский. Легче, братик, ох легче! Водки бы мне выпить. Водочки!

Алексей. Сейчас дам.

Мышлаевский. Пропали пальцы к чертовой матери, пропали, это ясно.

Алексей. Ну что ты! Отойдут. Николка, растирай ему ноги водкой.

Мышлаевский. Так я и позволю ноги водкой растирать! Три рукой. Больно!.. Больно!.. Легче.

Николка. Тс... тс... как замерз капитан.

Елена *(появляется с халатом и туфлями)*. Сейчас же в ванную его. На! Эх бедняга!

Мышлаевский. Дай тебе Бог здоровья, Леночка, а равно и богатства. Дай-ка водки еще! *(Пьет.)*

Алексей. Снимай с него френч. *(Помогают переодеться Мышлаевскому.)*

Николка. Что, согрелся, капитан?

Мышлаевский. Легче стало.

Николка. Ты скажи, что там под Трактиром делается?

Мышлаевский. Метель под Трактиром. Вот что там. И я бы эту метель, мороз, немцев мерзавцев и Петлюру...

Алексей. Зачем, не понимаю, вас под Трактир погнали?

Мышлаевский. А мужички там еще под Трактиром. Вот эти самые богоносцы окаянные, сочинения господина Достоевского.

Николка. Да неужели? А в газетах пишут, что мужички на стороне Гетмана.

Мышлаевский. Что ты, юнкер, мне газеты тычешь? Я бы всю эту вашу газетную шваль перевешал бы на одном суку! Я сегодня утром, лично, на разведке напоролся на одного деда и спрашиваю: «Где же ваши хлопцы? Деревня точно вымерла». А он-то сослепу не разглядел, что у меня погоны под башлыком и отвечает: «Уси побигли до Петлюры».

Николка. Ой-ой-ой.

Мышлаевский. Вот именно: «Ой-ой-ой». Взял я этого богоносца хрена за манишку и говорю: «Уси побигли до Петлюры». Вот я тебя сейчас пристрелю, старую... Ты у меня узнаешь, как до Петлюры бегать. Ты у меня сбегаешь в царствие небесное... у меня сбегаешь в царствие небесное...

Николка. Ты его пристрелил, капитан?

Алексей. Надеюсь, что нет.

Мышлаевский. Нужен он мне очень. Я ему говорю: «Идите, говорю, к лешему. Но только пискни мне про Петлюру еще раз». Святой землепашец версты полторы летел как заяц.

Николка смеется.

Алексей. Смешного тут очень мало, юнкер! Как же ты в город попал?

Мышлаевский. Сменили сегодня, слава тебе, Господи. Пришла пехотная дружина. Скандал я в штабе на посту устроил. Жутко было. Они там сидят, коньяк в вагоне пьют. Я говорю, вы сидите с гетманом во дворце, артиллерийских офицеров вышибли в сапогах на мороз с мужичьем перестреливаться. Не знали, как от меня отделаться. Мы, говорят, командируем вас, капитан, по специальности, в любую артиллерийскую часть. Поезжайте в город. Я и поехал на паровозе... совершенно обледенел. Алеша, возьми меня к себе.

Алексей. С удовольствием! Я и сам хотел тебя вызвать. Я тебе первую батарею дам.

Мышлаевский. Благодетель!

Николка. Ура!!! Все вместе будем. Студзинский старшим офицером. Прелестно!

Мышлаевский. Вы где стоите?

Николка. Александровскую гимназию заняли. Мы уж готовы, Витенька, завтра или послезавтра можно выступать.

Мышлаевский. Не терпится тебе, я вижу, юнкер, чтобы Петлюра тебе по затылку трахнул[1].

Николка. Ну, это еще кто кого!

Елена *(появляется)*. Ну, Виктор, отправляйся. Иди мойся.

Мышлаевский. Лена ясная, позволь я за твои хлопоты тебя обниму и поцелую.

Елена. На́ простыню.

Мышлаевский. Как ты думаешь, Леночка, мне сейчас водки выпить или уже потом, за ужином сразу?

---

[1] В рукописи: тряхнул. Явная опечатка.

Елена. Вне всякого сомнения за ужином. Иди, иди. Мужа моего ты там где-нибудь не видел? Муж пропал.

Мышлаевский. Что ты, Леночка, найдется. Он сейчас приедет.

Уходит. Начинается непрерывный звонок.

Николка. Ну, вот он, он. *(Бежит в переднюю.)*

Алексей. Господи, что это за звонок?

Николка открывает дверь.

Лариосик *(появляется в передней с чемоданом и узлом)*. Вот я и приехал. Со звонком я у вас что-то сделал.

Николка. Это вы кнопку вдавили. *(Выбегает за дверь.)*

Лариосик. Ах, Боже мой, простите ради Бога. Вот я и приехал. Здравствуйте, глубокоуважаемая Елена Васильевна. Я вас сразу узнал по карточкам. Мама просит вам передать ее самый горячий привет. *(Звонок прекращается. Входит Николка.)* А равно также и Алексею Васильевичу.

Алексей. Мое почтенье.

Лариосик. Здравствуйте, Николай Васильевич, я так много о вас слышал. Вы удивлены, я вижу. Позвольте вам вручить письмо — оно вам все объяснит. Мама мне сказала, чтобы я даже не раздевался, а прежде всего дал бы вам прочитать письмо.

Елена. Какой неразборчивый почерк.

Лариосик. Да, ужасно! Разрешите лучше мне, я сам прочитаю. У мамы такой почерк, что она иногда напишет и потом сама не понимает, что она такое написала. У меня тоже такой почерк. Это у нас наследственное. *(Читает.)* «Милая, милая Леночка, посылаю я вам моего мальчика прямо по-родственному, приютите и согрейте его, как вы умеете это делать. Ведь у вас такая громадная квартира...» Мама очень любит и уважает вас, а равно и Алексея Васильевича. *(Читает.)* «Мальчуган поступает в Киевский университет. С его способностями...» Ах уж эта мама. Гм... гм... «... невозможно сидеть в Житомире и терять время. Содержание я вам буду переводить аккуратно. Мне не хотелось бы, чтобы мальчуган, привыкший к

семье, жил у чужих людей. Но я очень спешу. Сейчас идет санитарный поезд. Он сам вам все расскажет». Гм... вот и все.

Алексей. Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить?

Лариосик. С кем? Вы не знаете меня?

Алексей. К сожалению, не имею удовольствия.

Лариосик. Боже мой! И вы, Елена Васильевна?

Елена. И я тоже не знаю.

Лариосик. Боже мой, это прямо колдовство. Да ведь мама в телеграмме все написала. Мама дала вам телеграмму в шестьдесят три слова.

Николка. Шестьдесят три слова! Ой-ой-ой!

Елена. Мы никакой телеграммы не получали.

Лариосик. Боже мой, какой скандал! Простите меня, пожалуйста. Я думал, что меня ждут и, прямо, не раздеваясь... Извините, я, кажется, что-то раздавил. Я ужасный неудачник.

Алексей. Да вы, будьте добры, скажите, как ваша фамилия?

Лариосик. Ларион Ларионович Суржанский.

Елена. Вы — Лариосик, житомирский кузен?

Лариосик. Ну да!

Елена. И вы что? К нам приехали?

Лариосик. Да! Но видите ли, я думал, что вы меня ждете, после маминой телеграммы. А раз так... Простите, пожалуйста, я наследил вам на ковре... я сейчас поеду в какой-нибудь отель.

Елена. Какие теперь отели?! Погодите — вы прежде всего раздевайтесь.

Алексей. Да вас никто не гонит. Снимайте пальто, пожалуйста.

Лариосик. Душевно вам признателен.

Николка. Вот здесь, пожалуйста. Пальто можете повесить в передней.

Лариосик. Душевно вам признателен. Как у вас хорошо в квартире.

Алексей. В первый раз такого парня вижу.

Елена *(шепотом.)* Ну что ж, Алеша, надо будет его оставить. Он симпатичный. Ты ничего не будешь иметь против, если мы его в библиотеке поместим, все

равно комната пустует. *(Лариосик входит.)* Вот что, Ларион Ларионович, прежде всего в ванну. Там уже есть один, — капитан Мышлаевский... А то, знаете ли, после поезда...

Лариосик. Душевно вам признателен. Ведь я одиннадцать дней ехал от Житомира до Киева.

Николка. Ой-ой-ой!.. Одиннадцать дней!

Лариосик. Ужас, ужас. Это такой кошмар...

Елена. Ну пожалуйте.

Лариосик. Душевно вам... Ах, извините, Елена Васильевна, я не могу идти в ванну.

Алексей. Почему?

Лариосик. Извините, пожалуйста, дело вот в чем: какие-то злодеи украли у меня в санитарном поезде чемодан с бельем. Я ужасный неудачник. Чемодан с книжками и рукописями оставили, а белье все пропало.

Елена. Ну, это беда поправимая.

Николка. Я дам, я дам.

Лариосик *(интимно Николке)*. Рубашка, впрочем, у меня здесь, кажется, есть одна. Я в нее собрание сочинений Чехова завернул, а вот не будете ли вы добры дать мне кальсоны?

Николка. С удовольствием. Они вам будут велики, но мы их заколем английскими булавками.

Лариосик. Душевно вам признателен.

Елена. Мы вас устроим, Ларион Ларионович, в библиотеке. Николка, проводи.

Николка. Пожалуйте за мной. *(Уходит с Лариосиком.)*

Алексей. Вот тип! Я бы его остриг прежде всего. *(Звонок.)* Ну, уж я не берусь угадывать кто это. Ну, Леночка, я пойду к себе. У меня еще масса дел, а мне здесь мешают. *(Уходит.)*

Елена. Кто там?

Тальберг *(за сценой)*. Я... Я... Открой, пожалуйста.

Елена *(открывает и впускает Тальберга)*.Слава Богу! Где же ты пропадал? Я так волновалась.

Тальберг. Не целуй меня с холоду. Ты можешь простудиться.

Елена. Где же ты был?

Тальберг. В германском штабе задержали. Важные дела.

Елена. Ну иди, иди скорей, грейся. Сейчас чай будем пить.

Тальберг. Не надо чаю, Лена, погоди. Позвольте, чей это френч?

Елена. Мышлаевского. Он только что приехал, с позиций, совершенно замороженный...

Тальберг. Все-таки можно прибрать.

Елена. Я сейчас. *(Вешает френч на дверь.)* Ты знаешь, еще новость. Сейчас неожиданно приехал мой кузен из Житомира, знаменитый Лариосик.

Тальберг. Я так и знал.

Елена. Алексей оставил его у нас. В библиотеке.

Тальберг. Я так и знал. Недостаточно одного синьора Мышлаевского. Появляются еще какие-то Житомирские кузены! Не дом, а постоялый двор! Я решительно не понимаю Алексея.

Елена. Володя, ты просто устал и в дурном расположении духа. Не могу понять — что тебе сделал Мышлаевский. Он очень хороший пьяница.

Тальберг. Замечательно хороший. Трактирный завсегдатай.

Елена. Володя!

Тальберг. Впрочем, сейчас не до Мышлаевского. Вот что, Елена, случилась важная вещь.

Елена. Что такое?

Тальберг. Немцы оставляют гетмана на произвол судьбы.

Елена. Володя, да что ты? Откуда ты узнал?

Тальберг. Только что под строгим секретом, в германском штабе. Никто не знает, даже сам гетман.

Елена. Что же теперь будет?

Тальберг. Что теперь будет?.. Гм... Половина десятого... так-с... Что теперь будет?.. Лена.

Елена. Что ты говоришь?

Тальберг. Я говорю, Лена...

Елена. Ну что «Лена»...

Тальберг. Лена, мне сейчас нужно бежать.

Елена. Бежать? Куда?

Тальберг. В Берлин. Гм... без двадцати девяти десять. Дорогая моя, ты знаешь, что меня ждет в случае, если русская армия не отобьет Петлюру и он придет в Киев.

Елена. Тебя можно будет спрятать.

Тальберг. Миленькая моя, как можно меня спрятать? Я не иголка. Нет человека в городе, который не знал бы меня. Спрятать помощника военного министра при гетмане! Не могу же я, подобно синьору Мышлаевскому, сидеть без френча в чужой квартире. Меня отличнейшим образом найдут.

Елена. Постой, я не пойму, как же бежать? Значит, мы оба должны уехать?

Тальберг. В том-то и дело, что нет. Сейчас выяснилась ужасная картина. Город обложен со всех сторон. И единственный способ выбраться — в германском штабном поезде. Женщин они не берут. Мне одно место дали благодаря моим связям.

Елена. Другими словами — ты хочешь уехать один?

Тальберг. Дорогая моя — «не хочу», а иначе не могу. Десять часов без двадцати пяти минут. Пойми, катастрофа! Поезд идет через полтора часа. Решай, и как можно скорей.

Елена. Как можно скорей. Через полтора часа. Тогда я решаю — уезжай.

Тальберг. Ты умница. Я всегда это утверждал. Что я хотел еще сказать? Да, что ты умница. Впрочем, это я уже сказал.

Елена. На сколько времени мы расстаемся?

Тальберг. Я думаю — месяца на два. Я только пережду в Берлине всю эту кутерьму, а когда гетман вернется...

Елена. А если он совсем не вернется?

Тальберг. Этого не может быть. Даже если немцы оставят Украину, Антанта займет ее и восстановит гетмана. Европе нужна гетманская Украина, как кордон от московских большевиков. Ты видишь, я все рассчитал.

Елена. Да, я вижу. Но только вот что: как же так — гетман ведь еще тут. Наши формируются в

армию, а ты, вдруг, бежишь на глазах у всех. Ловко ли это будет?

Тальберг. Милая, это наивно! Я тебе говорю по секрету... «я бегу», потому что знаю, что ты этого никогда никому не скажешь. Полковники генштаба не бегают — они ездят в командировку. В кармане у меня командировка в Берлин от гетманского министерства. Что, недурно?

Елена. Очень недурно. А что же будет с ними, со всеми?

Тальберг. Позволь тебя поблагодарить за то, что сравниваешь меня со всеми. Я не все.

Елена. Ты же предупреди братьев.

Тальберг. Конечно, конечно. Ну и так, все устраивается. Слава Богу. Как мне ни тяжело расставаться на такой большой срок, я отчасти доволен, что уезжаю один. Ты побережешь наши комнаты.

Елена. Владимир Робертович, здесь мои братья. Неужели же ты хочешь сказать, что они вытесняют нас? Ты не имеешь права.

Тальберг. О, нет, нет, нет... Конечно, нет... Без двадцати десять. Но ведь ты знаешь пословицу: «Ки ва а ла шас, пер са плас»[1].

Елена. Да, эта пословица мне известна.

Тальберг. Теперь еще просьба, последняя. Здесь... гм... без меня, конечно, будет бывать этот... Шервинский...

Елена. Он и при тебе бывает.

Тальберг. К сожалению. Видишь ли, моя дорогая, он мне не нравится.

Елена. Чем, позволь узнать?

Тальберг. Его ухаживания за тобой становятся слишком назойливыми, и мне было бы желательно... гм...

Елена. Что желательно было бы тебе?

Тальберг. Я не могу тебе сказать что. Ты женщина умная и достаточно воспитана. Ты прекрасно понимаешь, как должна держать себя, чтобы не бросить тень на мою фамилию.

---

[1] Кто место свое покидает, тот его теряет.

Елена. Хорошо... Я не брошу тень на твою фамилию.

Тальберг. Почему же ты отвечаешь мне так сухо? Я ведь не говорю тебе о том, что ты мне изменяешь. Я прекрасно знаю, что этого не может быть.

Елена. Почему ты полагаешь, Владимир Робертович, что я не могу тебе изменить?

Тальберг. Елена, Елена, Елена!.. Я не узнаю тебя. Вот плоды общения с Мышлаевским. Мне неприятна эта шутка. Замужняя дама — изменить. Без четверти десять... Еще опоздаю.

Елена. Я сейчас тебе уложу.

Тальберг. Милая, ничего, ничего, ничего... только чемоданчик, в него немного белья. Только ради Бога скорей, даю тебе одну минуту.

Елена. Ты же с братьями попрощайся.

Тальберг. Само собой разумеется, только смотри, я еду в командировку!

Елена. Алеша, Алеша! *(Убегает.)*

Алексей *(выходя)*. Да, да... А, здравствуй, Володя.

Тальберг. Здравствуй, Алеша!

Алексей. Что за суета?

Тальберг. Видишь ли, я должен сообщить тебе важную новость. Предупреждаю, что сегодня положение гетмана стало весьма серьезным.

Алексей. Как?

Тальберг. Серьезно и весьма.

Алексей. В чем дело?

Тальберг. Очень возможно, что немцы не окажут помощи и придется отбивать Петлюру своими силами.

Алексей. Неужели? Дело желтенькое. Спасибо, что сказал.

Тальберг. Теперь второе. Я сию минуту должен уехать в командировку. Поезд идет через час.

Алексей. Куда? Если не секрет.

Тальберг. В Берлин...

Алексей. Куда? В Берлин?

Тальберг. Да! Как я ни барахтался, выкрутиться не удалось. Такое безобразие.

Алексей. Надолго, смею спросить?

Тальберг. На два месяца.

Алексей. Ах, вот как.

Тальберг. Итак, позволь пожелать тебе всего хорошего. Берегите Елену. *(Протягивает руку.)* Что это значит?

Алексей *(спрятав руку за спину)*. Это значит, что мне ваша командировка не нравится.

Тальберг. Полковник Турбин.

Алексей. Я у телефона, полковник Тальберг.

Тальберг. Вы мне ответите за это, господин брат моей жены.

Алексей. А когда прикажете, господин муж моей сестры?

Тальберг. Когда?.. Без десяти десять... Когда я вернусь.

Алексей. Ну, Бог знает, что случится, когда вы вернетесь.

Тальберг. Вы... вы... я давно хотел объясниться с вами.

Алексей. Жену не волновать, господин Тальберг.

Елена *(выходя с чемоданчиком)*. О чем вы говорили? Что такое у вас? В такой момент! Как нехорошо.

Алексей. Что ты, что ты, Леночка.

Тальберг. Что ты, что ты, моя дорогая. Ну, до свиданья, Алеша.

Алексей. До свиданья, Володя!

Елена. Николка! Николка!

Николка *(входя)*. Вот он я...

Елена. Володя уезжает в командировку. Попрощайся.

Тальберг. До свиданья, Никол.

Николка. Счастливого пути, г-н полковник.

Тальберг. Елена, вот тебе деньги. Из Берлина немедленно переведу. Будьте здоровы. Будьте здоровы. *(Стремительно идет в переднюю.)* Не провожай меня, дорогая, ты простудишься.

Алексей *(неприятным голосом)*. Елена, ты простудишься.

Николка. Алеша, как же это он так уехал? Куда?

Алексей. В Берлин.

Николка. В Берлин. Ага... В такой момент... С извозчиком торгуется. *(Философски.)* Алеша, ты знаешь, я заметил — он на крысу похож.

Алексей *(машинально)*. А дом — на корабль. Ну иди к гостям, иди, иди.

Николка уходит.

Алексей. Дивизион в небо, как в копеечку попадает. Весьма серьезно! Серьезно и весьма. Крыса. *(Уходит.)*

Елена *(возвращается и смотрит в окно)*. Уехал.

КАРТИНА 2-Я

Квартира Турбиных угасает и появляется квартира домовладельца Василисы. Мещанский кабинетик с граммофоном. От зеленой лампы — таинственный свет.

Василиса. Ты дура!

Ванда. Я знала, что ты хам уже давно. Но в последнее время твое поведение достигло «геркулесовых столбов».

Василиса. Делай так, как я говорю.

Ванда. Пойми ты — заметно будет, простыня на окне белая! Еще хуже сделаешь.

Василиса. Вот характерец. Ну, не простыню, так плед. Не плед — так какого-нибудь черта.

Ванда. Попрошу не ругаться.

Василиса. Неси!

Ванда уходит.

Василиса *(делает непонятные жесты, бормочет)*. Так, на четверть аршина.

Ванда появляется с пледом.

Василиса. Прекрасно! Давай стул. Лезь.

Ванда влезает на стул и завешивает пледом окно.

Василиса. Ладно, двери заперты?

Ванда. Заперты..

Василиса *(достает из письменного стола пакет)*. Подержи. *(Влезает на стул, вскрывает на стене тайник, прячет туда пакет.)* Давай обои и клей. *(Плед на окне*

отваливается, за окном появляется физиономия бандита в дворянской фуражке.)

Ванда *(поворачивается. Лицо бандита исчезает).* Отвалился.

Василиса. Отвалился[1]. Это свинство с твоей стороны. Ничего не можешь сделать аккуратно.

Ванда. Да никто не видал.

Василиса. Никто, никто — а вдруг — кто. Вот и будет тогда здорово. Не обрадуешься потом. Поправляй, пожалуйста.

Ванда поправляет плед.

Василиса *(влезает на стул, заклеивает тайник обоями, слезает).* Отлично! Ну, пусть теперь Петлюра приходит. Никто не догадается, совершенно незаметно.

Ванда. Пожалуй, действительно незаметно. Идем спать.

Василиса. Сейчас. Нужно еще деньги пересчитать, что на мелкие расходы.

Ванда уходит.

Василиса *(достает деньги, считает, бормочет).* 15, 20, 25, 30... «За фальшувания карается тюрьмой». Вот деньги, прости, Господи! Вот времячко.

Ванда *(за сценой).* Куда ты поставил валерьяновые капли? У меня такое нервное настроение, что заснуть не могу.

Василиса. В тумбочке.

Ванда *(за сценой).* Нету там.

Василиса. Ну, не знаю. *(Плюет.)* Тьфу, черт, вот мерзавцы. Ах мерзавцы, — фальшивая... 50, — вторая фальшивая. Господи Иисусе... 90... третья фальшивая... 100... четвертая фальшивая. Что такое делается в Киеве!

Ванда *(за сценой.)* Что такое? Что такое?

Василиса. Да понимаешь — на 25 бумажек, семь фальшивых.

Ванда *(выходя в белой кофточке).* Нужно было смотреть, что дают, рохля.

Василиса. В банке дали, понимаешь. Полюбуйся!

---

[1] В рукописи: отвалилась. Явная опечатка.

Ванда. А по-моему она хорошая.

Василиса. Твоей работы. Посмотри на личико хлебороба.

Ванда. Ну...

Василиса. Ну, он должен быть веселый. Радостный должен быть хлебороб на государственной бумажке, а у этого кислая рожа.

Ванда. Да, хлебороб подозрительный.

Василиса. И откуда они берутся?

Ванда. Я думаю, что они сразу и печатают — настоящие и фальшивые вместе, чтобы больше было.

Василиса. Умница! Что я с ними теперь буду делать?

Ванда. Завтра на базаре я одну сплавлю.

Василиса. А я извозчику. Все равно завтра нужно будет ехать. И откуда только берутся эти фальшивки? Так по рукам и ходят. Так и ходят.

Ванда. Ну ладно — делать нечего. Иди лучше спать. А ты даже похудел. *(Уходит.)*

Василиса. Сейчас. Похудеешь тут. Ну, время настало. *(Прячет деньги, раздумывает, любуется на то место, где тайник.)* Нет, что ни говори, а остроумная штука — никому в голову не придет. *(Из квартиры Турбиных смех и гитара.)* Никогда покоя нет, ведь это ужас. Вот орава. Полночь, а у них гости начинаются.

Снимает плед с окна.

Ванда *(за сценой)*. Плед возьми.

Василиса. Спи, пожалуйста. Сейчас. *(Всматривается в окно.)* Нет, никого не могло быть. *(Тушит лампу, уходит.)* Пауза. Ну, в нижнем ящике...

Ванда *(за сценой)*. Да нету там.

Василиса. Ну завтра найдешь. Ох-ох-ох. *(Тьма. Сонное бормотание.)*

КАРТИНА 3-Я

Квартира Турбиных. Ярко освещена. Комната Алексея открыта. Николка готовит ломберный стол.

Мышлаевский *(в белой чалме из полотенца, после ванны)*. Позвольте вас познакомить: капитан Александр

Брониславович Студзинский — старший офицер нашего дивизиона. А это месье Суржанский. Вместе с ним купались только что.

Николка. Кузен наш, из Житомира.

Студзинский. Очень приятно.

Лариосик. Душевно рад познакомиться.

Мышлаевский. Ваше имя, отчество — Ларион Иванович, если не ошибаюсь?

Лариосик. Ларион Ларионович. Но мне было бы очень приятно, если бы называли меня попросту Лариосик. Вы, уважаемый Виктор Викторович, произвели на меня такое приятное впечатление, что я даже выразить не могу.

Мышлаевский. Ну, что ж. Сойдемся поближе — отчего. За фасонами особенно не гоняемся. Вы в винт играете?

Лариосик. Я... Я... Да, играю, только...

Мышлаевский. Превосходно! Алеша, есть четвертый.

Алексей. Да, я сейчас.

Лариосик. Только я, знаете, очень плохо играю. Я играл в Житомире с сослуживцами моего покойного папы — податными инспекторами. Они меня так ругали, так ругали.

Мышлаевский. Ну, податные инспектора ведь известные звери. *(Николке.)* Ты щетку смочи водой[1], а то — пылишь.

Студзинский. Здесь вы можете не беспокоиться. У Елены Васильевны принят тон корректный.

Лариосик. Помилуйте, я сразу это заметил. Изумительно хорошо в семье у Елены Васильевны. За этими кремовыми шторами отдыхаешь душой, забываешь про ужасы гражданской войны. А ведь наши израненные души так жаждут покоя.

Мышлаевский. Вы, позвольте узнать, стихи сочиняете?

Лариосик. Я... я... Да, пишу.

Мышлаевский. Так-с... Простите, пожалуйста, что я вас перебил. Так вы изволите говорить — покой. Не знаю, как у вас в Житомире, а здесь в Киеве...

---

[1] В рукописи: водкой. Явная опечатка.

Студзинский. Да, уж устроил нам Петлюра покой.

Николка. Как бы от такого покоя мы в покойников не обратились.

Мышлаевский. Не обращайте внимания — наш придворный остряк. Тащите карты. У меня девятка... Полковник.

Алексей. Да, да... *(Выходит из своей комнаты.)* Вчетвером. Отлично-с.

Студзинский. Прошу брать карту.

Лариосик. Душевно вам признателен.

Мышлаевский. Полковник с капитаном — вы со мной. Николка, подсядь к Лариону Ларионовичу — будешь советовать по мере собственного разумения.

Усаживаются в комнате Алексея.

Алексей *(сдает)*. Пасс...

Николка *(подсказывает)*. Две пики.

Лариосик. Две пики...

Студзинский. Пасс...

Мышлаевский. Пасс...

Алексей. Две бубны...

Николка *(подсказывает)*. Два без козыря.

Лариосик. Два без козыря.

Студзинский. Пять бубен. Не дам,

Мышлаевский. И не пытайтесь, дорогой капитан. Малый в пиках.

Алексей. Ничего не поделаешь, пасс...

Мышлаевский. Купил.

Студзинский. Вот везет.

Мышлаевский. По карточке попрошу.

Лариосик раздает по карте

Мышлаевский. Что ж вы говорите, что плохо играете! Ишь, плутишка. Вас не ругать, а хвалить безудержно нужно. Нуте-сь! Так и будет. Твой ход, Алеша.

Алексей. Пожалте-с...

Играют.

Лариосик переглянулся с Николкой, тот в недоумении сделал ход.

Мышлаевский *(внезапно)*. Душевно вам признателен. Какого же ты лешего мою даму долбанул, Ларион!?

Студзинский. Здорово! Без одной.

Алексей. Семнадцать тысяч такой ход стоит, Ларион Ларионович.

Лариосик. Я думал, что у Александра Брониславовича король.

Мышлаевский. Как можно это думать, когда я его своими руками купил и тебе показал? Вон он. Как вам это нравится? Он покоя за кремовыми шторами ищет и садит без одной — это покой?

Алексей. Ну что ты налетел, в самом деле, на человека? Может быть, у капитана...

Мышлаевский. Что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды. Нет, батюшка мой, винт — это не стихи. Тут надо головой вертеть. Да и стихи стихами, а все-таки Пушкин, или какой-нибудь Лермонтов, никогда б такой штуки не выкинули — собственную даму по башке лупить.

Лариосик. Я — ужасный неудачник.

Алексей. Да вы не расстраивайтесь. А ты, Виктор, не бросайся все-таки на людей.

Мышлаевский. Ну ладно — мир. Не обращайте внимания. Я — человек вспыльчивый. Ваш ход.

Играют. Елена входит.

Алексей. Что ты бродишь там одна, Лена? Иди к нам.

Мышлаевский. Лена ясная. Брось тоску. Ползи к нам.

Елена. Да я нисколько не тоскую. Холодно у нас.

Николка. Я сейчас подброшу дров. Тут такая игра...

Мышлаевский. Ну, эта наша будет.

Студзинский. А эта наша.

Елена выходит в переднюю, там накидывает кофточку на меху, подходит к окну, всматривается в ночь.

Мышлаевский. Вам сдавать.

Лариосик сдает. Закрывается дверь и винтующие исчезают.

Елена *(одна в передней)*. Уехал. Как? Уехал.

Шервинский *(внезапно появляется в передней)*. Кто уехал?

Елена. Боже мой! Как вы меня испугали, Шервинский. Как же вы вошли без звонка?

Шервинский. Да ведь дверь не заперта. Прихожу, все настежь. Позвольте вам вручить. *(Вынимает из бумаги громадный букет.)*

Елена. Сколько раз я просила вас, Леонид Юрьевич, не делать этого. Мне неприятно, что вы тратите деньги.

Шервинский. Деньги существуют на то, чтобы их тратить, как сказал Карл Маркс. Позвольте снять бурку. Я так рад, что вас вижу, так по вас соскучился. Я так давно вас не видал.

Елена. Если память мне не изменяет, вы были у нас вчера.

Шервинский. Ах, Елена Васильевна, что такое вчера? *(Снимает бурку, остается в великолепной черкеске «гетманского конвоя».)* Ну, вот-с. Итак, кто же уехал?

Елена. Владимир Робертович.

Шервинский. Куда?

Елена. Какие дивные розы... В Берлин.

Шервинский. В Берлин? И надолго?

Елена. Месяца на два.

Шервинский. На два месяца! Да что вы! Ай-ай-ай! *(С радостной физиономией.)* Печально, печально.

Елена. Вы не светский человек, Шервинский.

Шервинский. Я не светский? Позвольте, почему же? Нет, я светский. Просто я, знаете ли, расстроен. Так расстроен. Просто можно сказать — подавлен. До глубины души.

Елена. Лучше скажите, как ваш голос.

Шервинский *(у рояля)*. Мама... мия... мии... «Он далеко и не узнает... Он... да... он... да-а-а... Он далеко и не узнает...» В хорошем голосе. Ехал к вам на извозчике, думал, что голос сел, а сюда приезжаю, оказывается — в голосе.

Елена. Единственно, что в вас есть хорошего, это голос и прямое ваше назначение — оперная карьера.

Шервинский. Кой-какой материал есть. Вы знаете, Елена Васильевна, я однажды пел эпиталаму из Нерона. Там вверху, как вам известно, «фа», — а я взял «ля» и держал девять тактов.

Елена. Сколько?

Шервинский. Восемь тактов держал. Напрасно не верите. Ей-богу. Там была графиня Генрикова, так она влюбилась в меня после этого «ля».

Елена. Что же потом было?

Шервинский. Отравилась цианистым калием.

Елена *(расхохоталась)*. Ах, Шервинский! Это у вас болезнь, честное слово. Ну идемте. После ужина проаккомпанирую...

Шервинский. Елена Васильевна... минутку... Итак, он, стало быть, уехал. А вы, стало быть, остались...

Елена. Пустите руки. *(Открывает дверь к Алексею.)* Господа, Шервинский.

Все. А-а!

Шервинский. Здравья желаю, господин полковник.

Алексей. Здравствуйте, Леонид Юрьевич, милости просим.

Шервинский. Виктор, почему это ты в чалме? Жив, ну и слава Богу.

Мышлаевский. Здравствуй, адъютант.

Шервинский. Мое почтенье, капитан.

Студзинский. Здравствуйте!

Алексей. Позвольте вас познакомить.

Николка. Наш кузен из Житомира.

Шервинский. Ея[1] Императорского Величества Лейб Гвардии Уланского полка, поручик Шервинский.

Лариосик. Ларион Суржанский. Душевно рад с вами познакомиться.

Мышлаевский. Да вы не приходите в такое отчаяние. Бывший лейб, бывшей гвардии, бывшего полка.

Елена. Господа, бросайте карты.

Алексей. Двенадцать. Господа, садимся — а то ведь завтра вставать рано.

---

[1] Ея Императорского — так в рукописи, так необходимо и оставить. Шервинский щеголяет этим.

Шервинский. Ух, какое великолепие. По какому случаю пир, позвольте спросить?

Николка. Последний ужин дивизиона. Завтра выступаем, господин поручик.

Шервинский. Ага!

Студзинский, Шервинский, Николка. Где прикажете, г-н полковник?

Алексей. Где угодно. Прошу. Леночка, будь хозяйкой.

Усаживаются.

Шервинский. Итак... стало быть... он уехал... а вы... остались.

Елена. Шервинский, замолчите.

Мышлаевский. Леночка, водки пьешь?[1]

Елена. Нет, нет, нет.

Мышлаевский. Ну, тогда белого вина.

Студзинский. Вам позволите, господин полковник?

Алексей. Мерси, вы себе, пожалуйста.

Мышлаевский. Вашу рюмку.

Лариосик. Я, собственно, водки не пью.

Мышлаевский. Помилуйте, я тоже не пью, но одну рюмку... Как же вы селедку будете без водки есть?

Лариосик. Душевно вам признателен.

Мышлаевский. Давно, давно я водки не пил.

Шервинский. Господа, здоровье Елены Васильевны! Ура!

Все. Ура!

Елена. Тише! Что вы, господа! Василису разбудите. Итак уж он твердит, что у нас попойка. Спасибо, спасибо.

Мышлаевский. Нет, нет, до дна, до дна.

Николка *(с гитарой)*. Кому чару пить, кому здраву быть... Пить чару... Быть здраву...

Все *(поют)*. Свет Елене Васильевне... Леночка, выпейте, выпейте.

Елена пьет.

---

[1] Так в рукописи.

Все. Браво! *(Аплодируют.)*

Мышлаевский. Уф, хорошо. Освежает водка. Не правда ли?

Лариосик. Да, очень.

Студзинский. Почему вашего домовладельца все Василисой называют?

Николка. Ой, господин капитан, великая Василиса. Вся разница в том, что на нем штаны надеты и подписывается на всех бумагах: Вас. Лис...

Мышлаевский. Тип! Умоляю, еще по рюмочке. Г-н полковник.

Алексей. Ты не гони особенно. Завтра-то выступать.

Мышлаевский. И выступим.

Елена. Что с гетманом, скажите?

Студзинский. Да, да, что с гетманом?

Шервинский. Все в полном порядке, Елена Васильевна.

Елена. А как же ходят слухи, что будто немцы оставляют нас?

Шервинский. Не верьте никаким слухам. Все обстоит благополучно.

Елена. Все благополучно.

Мышлаевский наливает водку Лариосику

Лариосик. Благодарю, глубокоуважаемый Виктор Викторович. Я ведь, собственно говоря, водки не пью.

Мышлаевский. Стыдитесь, Ларион.

Шервинский, Николка. Стыдитесь.

Лариосик. Покорнейше благодарю.

Алексей. Ты, Никол, на водку-то не налегай.

Николка. Слушаю, господин полковник. Я белого вина.

Лариосик. Как вы это ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович.

Мышлаевский. Достигается упражнением. Алеша...

Алексей. Спасибо. Капитан, а салату?

Студзинский. Покорнейше благодарю.

Мышлаевский. Лена золотая, пей белое вино. Радость моя. Рыжая Лена, — я знаю, отчего ты так расстроена. Брось... все к лучшему.

Шервинский. Все к лучшему.

Мышлаевский. Ты замечательно выглядишь сегодня. Ей-богу. И капот этот идет к тебе, клянусь честью. Господа, гляньте, какой капот, совершенно зеленый.

Елена. Это платье, Витенька, электрик.

Мышлаевский. Ну, тем хуже. Все равно. Господа, обратите внимание — не красивая она женщина, вы скажете?

Студзинский. Елена Васильевна очень красива. Ваше здоровье.

Мышлаевский. Лена ясная, позволь я тебя обниму и поцелую.

Шервинский. Э-э-э...

Мышлаевский. Леонид, отойди от чужой мужней жены, отойди.

Шервинский. Позволь...

Мышлаевский. Мне можно, — я друг детства.

Шервинский. Свинья ты, а не друг детства.

Николка. Господа, здоровье командира дивизиона.

Студзинский, Шервинский и Мышлаевский встают.

Лариосик. Ура! Извините, господа, я человек не военный.

Мышлаевский. Ничего, ничего Ларион. Правильно.

Лариосик. Многоуважаемая Елена Васильевна, я не могу выразить, до чего мне у вас хорошо. Глубокоуважаемый Алексей Васильевич...

Елена. Я очень, очень тронута.

Алексей. Очень приятно.

Лариосик. Кремовые шторы... Они отделяют нас от всего мира. Впрочем, я человек не военный. Ох, налейте мне еще рюмочку.

Мышлаевский. Браво, Ларион. Ишь хитрец! А говорил — не пью. Симпатичный ты парень, Ларион, но играешь в винт как глубокоуважаемый сапог.

Лариосик. Я, понимаете, забыл про короля, Виктор Викторович.

Мышлаевский. Ты что ж, не видал его, что ли?

Лариосик. Видал, видал.

Алексей. Стоит ли вспоминать, господа?

Шервинский *(Елене)*. Пейте, Лена, пейте, дорогая...

Елена. Напоить меня хотите. У, какой противный.

Мышлаевский. Давай сюда гитару, Николка... Давай.

Николка *(поет)*.

На поле бранном тишина,
Огни между шатрами...

Мышлаевский, Студзинский. Друзья, нам светит здесь луна...

Лариосик, Шервинский. Здесь кров... небес... над нами...

Елена. Тише, тише.

Николка.

Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною,
И скоро ль на радость соседей врагов,
Могильной засыплюсь землею?

Шервинский, Мышлаевский.

Не мо-гу знать, ваше сиятельство!

Лариосик. Так громче, музыка, играй победу!

Студзинский. Мы победили и враг бежит!

Все. Так за... *(Алексей грозит пальцем. Поют.....*
...фразу без слов.)

Мы грянем дружное
Ура, ура, ура!

Елена. Тихонько, тихонько, ради Бога.

Лариосик. Эх, до чего у вас весело, Елена Васильевна, дорогая. Огни... Ура!

Шервинский. Господа, я предлагаю тост. Здоровье его светлости, гетмана всея Украины!

Студзинский. Виноват, завтра драться я пойду, но этот тост пить не стану и другим офицерам не советую.

Шервинский. Господин капитан!

Лариосик. Совершенно неожиданное происшествие!

Мышлаевский. Из-за него, дьявола, я себе ноги отморозил!

Студзинский. Господин полковник, вы тост одобряете?

Алексей. Нет, не одобряю.

Шервинский. Господин полковник, позвольте я скажу...

Студзинский. Нет, уж позвольте, я скажу...

Лариосик. Нет, уж позвольте, я скажу... Здоровье Елены Васильевны, а равно ее глубокоуважаемого супруга, отбывшего в Берлин.

Мышлаевский. Во! Угадал, Ларион. Лучше трудно.

Лариосик. Простите, Елена Васильевна. Я человек не военный.

Елена. Не обращайте на них внимания, Ларион. Вы душевный человек, хороший. Идите ко мне сюда.

Лариосик. Елена Васильевна... *(Проливает рюмку.)* Ах, Боже мой... Красным вином.

Николка. Солью, солью...

Елена. Ничего, ничего.

Студзинский. Это ваш гетман...

Алексей. Минутку, господа. Что же в самом деле, в насмешку мы ему дались, что ли? Полгода он ломал эту чертову комедию с украинизацией, сам развел всю эту мразь с хвостами на головах, а когда эти хвосты кинулись на него самого... когда немцы начали вилять хвостами, так он, изволите ли видеть, бросился за помощью к русским офицерам. Чуть что — чуть где... конечно, русский офицер — выручай. Ладно-с, будем выручать. Нам не впервой. Дали полковнику Турбину дивизион. Скорей, скорей! Петлюра идет! Формируй, лети, ступай! Глянул я вчера на них, и в первый раз, даю вам слово чести — дрогнуло мое сердце.

Мышлаевский. Алеша, командирчик ты мой. Артиллерийское у тебя сердце. Пью здоровье!

Алексей. Дрогнуло потому, что на сто человек юнкеров, сто двадцать студентов и держат они винтовку, как лопату. Я много видел, уверяю вас, а тут, знаете, на плацу... снег идет, туман вдали и померещилось мне, знаете, гроб.

Елена. Алеша, зачем ты говоришь такие мрачные вещи? Алеша, не смей!

Николка. Господин командир, не извольте расстраиваться. Мы не выдадим.

Шервинский. Елена, Лена...

Алексей. Вот я сижу среди вас... смотрю... и все одна неотвязная мысль... Думаю, что мне ваш Петлюра?.. Вижу я более грозные времена. Вижу я... Ну не удержим Петлюру. Он ненадолго придет, а вот за ним придет Троцкий. Из-за этого я и иду. На рожон — но пойдем, потому что, когда придется нам встретиться с Троцким, дело пойдет веселей. Или мы его закопаем, или, вернее, он нас.

Лариосик зарыдал.

Елена. Алеша! Лариосик — что с вами?

Николка. Ларион.

Лариосик *(пьян)*. Я испугался.

Мышлаевский *(пьян)*. Троцкого? Ах, Троцкого. Мы ему сейчас покажем. *(Вынимает маузер.)*

Елена. Виктор, что ты делаешь?

Мышлаевский. В комиссаров буду стрелять. *(В зрительный зал.)* Который из вас Троцкий?

Шервинский. Маузер заряжен.

Студзинский. Капитан, сядь сию минуту!

Елена. Господа, отнимите от него! *(Офицеры отнимают.)*

Алексей. Что ты, с ума сошел? Сядь сию минуту! Это я виноват.

Мышлаевский. Стало быть, я в компанию большевиков попал. Очень приятно. Здравствуйте, товарищи... Выпьем за здоровье Троцкого... Он симпатичный.

Елена. Виктор, не пей больше.

Мышлаевский. Молчи, комиссарша!

Шервинский. Боже, как нализался!

Алексей. Господа, это я виноват. Не слушайте того, что я сказал. Просто у меня расстроены нервы.

Студзинский. Господин полковник. Мы понимаем и, поверьте, мы разделяем все, что вы сказали. Империю Российскую мы будем защищать всегда.

Николка. Да здравствует Россия!

Елена. Тише! Тише!

Шервинский. Господа, позвольте слово. Вы меня не поняли... Гетман так и сделает, как вы предлагаете.

Когда нам удастся отбиться от Петлюры, союзники помогут нам разбить большевиков — гетман положит Украину к стопам Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича.

Мышлаевский. Какого... Александровича?.. А говорит — я нализался!

Николка. Император убит.

Шервинский. Виноват. Известие о смерти Его Императорского Величества...

Мышлаевский. Несколько преувеличено...

Студзинский. Виктор, ты офицер!

Елена. Дайте же сказать ему.

Шервинский. Вымышлено большевиками. Вы знаете, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представилась свита гетмана. Император Вильгельм сказал: «а о дальнейшем с вами будет говорить»... портьера раздвинулась, и вышел наш государь.

Мышлаевский. Тьфу!

Шервинский. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части, когда же настанет время, я лично поведу вас в сердце России, в Москву». И прослезился.

Студзинский. Убит он.

Елена. Шервинский, это правда?

Шервинский. Елена Васильевна!

Алексей. Поручик, это легенда.

Николка. Все равно. Если даже Император мертв, да здравствует Император. Ура!

Студзинский, Шервинский, Мышлаевский, Лариосик. Ура!

Елена. Господа! Ради Бога!

Николка. Гимн! *(Поет.)* Боже, царя храни!..

Мышлаевский, Лариосик, Николка, Студзинский, Шервинский поют.

«Сильный, державный,
Царствуй на...

Алексей, Елена. Господа, что вы! Не нужно это.

Свет гаснет.

КАРТИНА 4-Я

Появляется квартира Василисы. Василиса и Ванда в ужасе просыпаются на постели.

Василиса. Что ж это такое делается? Два часа ночи. Я жаловаться, наконец, буду. Я им от квартиры откажу.

Ванда. Это какие-то разбойники. Вася, постой, ты слышишь, что они поют?

Василиса. Боже мой! *(Замерли. Из квартиры Турбиных глухое пение. «Царь православный... Боже, царя храни».)* Нет, они душевнобольные! Ведь они нас под такую беду подвести могут, что не расхлебаешь потом. Все слышно, все! Слышно! *(Глухой крик «Ура». Стихает.)*

Ванда. Вася, завтра нужно с ними решительно поговорить.

Василиса. Какие-то бандиты, честное слово.

Свет гаснет.

КАРТИНА 5-Я

Появляется квартира Турбиных. Лариосик спит, положив голову на стол.

Мышлаевский *(плачет)*. Алешка, разве это народ? Ведь сукины дети. Профессиональный союз цареубийц... Петр Третий... Ну, что он им сделал?.. Что? Орут — войны не надо. Отлично... Он же прекратил войну. И кто? Собственный дворянин царя по морде бутылкой, хлоп! Где царь? Нет царя. Павла Петровича князь портсигаром по уху...

Елена. Господа, уложите его, ради Бога.

Алексей. Эх, недоглядел я.

Мышлаевский. А этот... забыл, как его... с бакенбардами, симпатичный, дай, думает, мужикам приятное сделаю — освобожу их, чертей полосатых. Так его бомбой за это... Пороть их надо, негодяев. Алешка, ох, мне что-то плохо, братцы.

Елена. Ему плохо.

Николка. Капитану плохо.

Алексей. Черт возьми, недоглядел. Господа, поднимайте его. В ванну. *(Студзинский, Николка и Алексей поднимают Мышлаевского и выносят.)* Николка, нашатырный спирт приготовь.

Елена. Боже мой, Боже мой... Я пойду, посмотрю, что с ним.

Шервинский *(загородив дорогу)*. Не надо, Лена. Он придет в себя.

Елена. А Лариосик-то. Боже, и этот. Кошмар. Лариосик!

Шервинский. Что вы, что вы, не будите его. Он проспится, и все.

Елена. Я сама из-за вас напилась. Боже, ноги не ходят.

Шервинский. Сюда, сюда. Можно мне сесть рядом?

Елена. Садитесь... Чем все это кончится, Шервинский? А? Я видела дурной сон. Вообще, кругом, за последнее время все хуже и хуже.

Шервинский. Елена Васильевна — все будет благополучно. А снам не верьте. Какой вы сон видели?

Елена. Нет, нет... Мой сон вещий... Будто мы все ехали на корабле в Америку и сидим в трюме, и вот шторм. Ветер воет, холодно, холодно. Волны. А мы в трюме. Волны к нам плещут, подбираются к самым ногам — а мы в трюме... Влезаем на какие-то нары. А вода все выше и выше... и, главное, крысы. Омерзительные, быстрые такие, огромные, и лезут прямо по чулкам. Бр... Царапаются, так... До того страшно, что я проснулась.

Шервинский. А вы знаете что, Елена Васильевна, он не вернется.

Елена. Кто?

Щервинский. Ваш муж.

Елена. Леонид Юрьевич — это нахальство. Какое вам дело? Вернется, не вернется.

Шервинский. Мне-то большое дело. Я вас люблю.

Елена. Ну, и любите про себя.

Шервинский. Не хочу, мне надоело.

Елена. Постойте, постойте. Почему вы заговорили о моем муже, когда я сказала про крыс?

Шервинский. Потому что он на крысу похож.

Елена. Какая вы свинья, все-таки, Леонид. Во-первых — вовсе не похож.

Шервинский. Как две капли. В пенсне, носик острый.

Елена. Очень, очень красиво. Про отсутствующего человека гадости говорить, да еще его жене.

Шервинский. Какая вы ему жена?

Елена. То есть как?

Шервинский. Вы посмотрите на себя в зеркало. Вы — красивая, умная, как говорится — интеллектуально развитая. Вообще, женщина на ять. Аккомпанируете прекрасно... А он, рядом с вами — вешалка, карьерист, штабной момент.

Елена. За глаза-то, — отлично! *(Зажимает ему рот.)*

Шервинский. Да я ему это в глаза скажу. Давно хотел... Скажу и вызову на дуэль. Вы с ним несчастливы.

Елена. С кем же я буду счастлива?

Шервинский. Со мной.

Елена. Вы не годитесь.

Шервинский. Почему это я не гожусь? Ого...

Елена. Что в вас есть хорошего?

Шервинский. Да вы всмотритесь.

Елена. Ну, побрякушки адъютантские. Смазлив, как херувим, и больше ничего. И голос...

Шервинский. Так я и знал. Что за несчастье. Все твердят одно и то же: Шервинский — адъютант, Шервинский — певец, то, другое... А что у Шервинского есть душа — этого никто не замечает. Никто. И живет Шервинский как бездомная собака. Без всякого участия. И не к кому ему на грудь голову склонить!

Елена *(отталкивает его голову)*. Вот гнусный ловелас. Мне известны ваши похождения, — всем одно и то же говорите. И этой вашей длинной, фу... Губы накрашенные...

Шервинский. Она не длинная — это меццо-сопрано, Елена Васильевна. Ей-богу, ничего подобного я ей не говорил и не скажу. Нехорошо с вашей стороны, Лена, как нехорошо с твоей стороны.

Елена. Я вам не Лена.

Шервинский. Нехорошо с твоей стороны, Елена Васильевна. Значит, у вас нет никакого чувства ко мне?

Елена. К несчастью, вы мне очень нравитесь.

Шервинский. Ага, нравлюсь, а мужа своего вы не любите.

Елена. Нет, люблю.

Шервинский. Лена, не лги. У женщины, которая любит мужа, не такие глаза. О женские глаза! В них все видно.

Елена. Ну да, вы опытны, конечно!

Шервинский. Как он уехал!

Елена. И вы бы так сделали.

Шервинский. Что? Я, ннкогда! Это позорно. Сознайтесь, что вы его не любите.

Елена. Ну, хорошо, не люблю и не уважаю, не уважаю. Довольны? Но из этого ничего не следует. Уберите руки.

Шервинский. А зачем вы тогда поцеловались со мной?

Елена. Лжешь ты. Никогда я с тобой не целовалась. Лгун с аксельбантами.

Шервинский. Я лгу? Нет... У рояля я пел «Бога всесильного», и мы были одни. И даже скажу когда — восьмого ноября. Мы одни — и ты меня поцеловала в губы.

Елена. Я тебя поцеловала за голос — понял. За голос. Матерински поцеловала. Потому что голос у тебя замечательный. И больше ничего.

Шервинский. Ничего?

Елена. Это мученье, честное слово! Нашел время когда объясняться. Дым коромыслом, посуда грязная. Эти пьяные. Муж куда-то уехал. Кругом свет...

Шервинский. Свет мы уберем. *(Тушит верхний свет.)* Так хорошо. Слушай, Лена. Я тебя очень люблю.

Я ведь тебя все равно не выпущу. Ты будешь моей женой.

Елена. Пристал как змея, как змея.

Шервинский. Какая же я змея? Лена, ты посмотри на меня.

Елена. Пользуется каждым случаем и смущает меня и соблазняет. Ничего не добьешься. Ничего. Какой бы он ни был, не стану я ломать свою жизнь. Может быть, ты еще хуже окажешься. Все вы на один лад и покрой. Оставь меня в покое.

Шервинский. Лена, до чего ты хороша!

Елена. Уйди, я пьяна. Это ты сам меня напоил нарочно. Ты известный негодяй. Вся жизнь наша рушится, все кругом пропадает, валится...

Шервинский. Елена, ты не бойся. Я тебя не покину в такую минуту. Я возле тебя буду, Лена.

Елена. Выпусти меня. Я боюсь бросить тень на фамилию Тальберг.

Шервинский. Лена, ты брось его совсем и выходи за меня, Лена. *(Целуются.)* Разведешься?

Елена. Ах, пропади пропадом. *(Целуются.)*

Лариосик *(проснувшись, внезапно)*. Не целуйтесь, а то меня тошнит.

Елена. Пустите меня. Боже мой. *(Убегает.)*

Лариосик. Ох...

Шервинский. Молодой человек, вы ничего не видели.

Лариосик *(мутно)*. Нет, видал.

Шервинский. То есть как?

Лариосик. Если у тебя король, ходи королем, а дам не трогай. Не трогай. Ой...

Шервинский. Я с вами не играл.

Лариосик. Нет, ты играл.

Шервинский. Боже, как нарезался.

Лариосик. Вот посмотрим, что мама вам скажет, когда я умру. Я говорил, что я человек не военный, мне водки столько нельзя. Мне нехорошо. *(Падает на грудь Шервинского. Часы бьют три, играет менуэт.)*

Шервинский. Николка, Николка!

Занавес

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА 1-Я

Вестибюль Александровской гимназии. Гигантская лестница. Портрет Александра I наверху. Сумеречный день. За сценой грохот: дивизион подходит по коридорам к вестибюлю.

Николка *(за сценой запевает на нелепый мотив солдатскую песню).*

Дышала ночь восторгом сладострастья,
Неясных дум и трепета полна,
Я вас ждала с безумной жаждой счастья. *(Свист.)*
Я вас ждала и млела у окна.

Дивизион *(поет оглушительно).*

Наш уголок я убрала цветами,
К вам одному неслись мечты мои,
Мгновенья мне казалися часами...
Я вас ждала, а вы... вы все не шли. *(Свист.)*

Студзинский *(на площадке лестницы).* Дивизион, стой...

Мышлаевский *(за сценой).* Первая батарея, стой!

1-й офицер *(за сценой).* Вторая батарея, стой!

Дивизион останавливается за сценой.

Юнкер *(подбегает к Студзинскому).* Командир дивизиона.

Студзинский встречает

Алексей *(входя).* Здравствуйте, капитан.

Студзинский. Здравья желаю, господин полковник.

Алексей. Одеты?

Студзинский. Так точно. Одеты и вооружены. Все приказания исполнены.

Алексей. Ну, как?

Студзинский. Драться будут.

Алексей. Трудно.

Студзинский. Трудновато.

Алексей. Мышлаевский?

Студзинский. Днем опохмелился. Ожил. Прекрасный офицер.

Алексей. Ну вот что. На орудия внимания ноль. Снарядов не будет. Имейте в виду. Лошадей тоже. Возможно, что придется идти в пешем строю. Стало быть, стрельба из винтовок. Стрельба и стрельба. Сейчас же после моего смотра — разведите их по классам и пораньше спать. Накормите. Караулы — всех опытных юнкеров. Понятно-с?

Студзинский. Так точно. Господин полковник, разрешите спросить...

Алексей *(хмуро)*. Можете не спрашивать. Погано-с. Бывает хуже, но редко... Ночь будет скверная, подозрительная...

Студзинский. Эх...

Алексей. Капитан Студзинский, вас унылым я еще никогда не видал.

Студзинский. Слушаю, г-н полковник.

Алексей. Ладно. Не будем времени терять. Валите к дивизиону. А я отсюда с ними буду говорить.

Студзинский. Смирно... Господа офицеры.

Тишина.

Алексей *(с площадки)*. Здравствуйте артиллеристы.

Дивизион *(за сценой)*. Здравья желаем, господин полковник.

Алексей. Бесподобно. Артиллеристы, слов тратить не буду, говорить не умею, потому что на митингах никогда не выступал. Скажу коротко: на наш город наступает Петлюра. И мы его будем, сукина сына, встречать. Среди вас юнкера лучших и славных артиллерийских училищ. Орлы их еще ни разу не видали сраму от них. А многие из вас — воспитанники этой гимназии. Старые ее стены смотрят на вас. Артиллеристы мортирного дивизиона! Отстоим город. Встретим бандита штыками. А когда подошлют снаряды, мы обкатаем милого президента Украины шестидюймовыми так, что небо покажется ему величиною в его собственные подштанники. Постарайтесь, артиллеристы.

Дивизион. Рады стараться, г-н полковник!

Алексей. Вольно! Действуйте, капитан.

Студзинский *(за сценой)*. Господа офицеры, караулы — к орудиям, в цейхгауз и на выход. *(Гул, движение, офицерские выкрики. Труба за сценой.)*

1-й офицер *(проходит с тремя юнкерами).* За мной, сюда.

2-й офицер *(за ним три юнкера с пулеметом).* За мной.

Студзинский *(за сценой).* Третий взвод, ко мне.

3-й офицер *(за сценой).* Тулупы оденьте. *(Движение).*

Алексей *(пробуя выключатель).* Эге... Это не годится. Капитан Мышлаевский, пожалте сюда.

Мышлаевский входит

Алексей. Вот что-с. В здании света нет. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны совершенно овладеть электричеством.

Мышлаевский. Слушаю, г-н полковник. *(Убегает и кричит за сценой.)* Где сторож? Подать сюда сторожа.

Максим *(появляется с ключами).* Ваше высокоблагородие, сию минуточку, сию. Стар я стал. Все требуют, много разного войска было. И за царя и против царя.

Мышлаевский. Живей, живее старикан! Что ползешь, как вошь на струне.

Максим. У вас ноги-то молодые, ваше превосходительство. А я стар. Каждый требует.

Мышлаевский. Здесь?

Максим. Здесь, здесь, так точно.

Мышлаевский. Открывай, старикуся.

Максим открывает ящик с выключателями

Мышлаевский *(щелкает выключателями).* Ага! Так, так. *(Игра света в разных шарах)* Как теперь?

Голос. Погасло.

Мышлаевский. Эй! Теперь?

Голос. Горит. *(Зажигается рефлектор над Александром I, затем верхний фонарь. Сцену заливает светом.)*

Мышлаевский. Ну ладно — все в полном порядке. *(Закрывает ящик.)* Катись, патриарх, спать.

Максим. А ключик-то, ключик-то как же, ваше благородие, у вас, что ль, будет?

Мышлаевский. Ключик у меня будет, вот именно.

Максим. Вы ж его не потеряйте, ваше высокоблагородие. Ключ-то мне поручен.

Мышлаевский. Спасибо, что научил. Отчаливай, старик, в свою гавань. Стань на якорь у себя в комнате. Ты больше не нужен.

Максим уходит.

Мышлаевский. Юнкер Турбин!

Николка *(появляется)*. Я, господин капитан.

Мышлаевский. Стать здесь. К ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня. Но никого больше.

Студзинский входит.

Мышлаевский. В случае какой-то крайности, по приказанию одного из трех — ящик взломайте.

Николка. Слушаю, господин капитан. *(Брякнул винтовкой, стал на часы.)*

За сценой труба.

Алексей *(Студзинскому)*. Как караулы?

Студзинский. Разведены, г-н полковник.

Алексей. Отлично. Нуте-с. Я съезжу в штаб, потом вернусь и буду с вами ночевать. Холод собачий. Капитану Мышлаевскому поручаю отопление. Затопить.

Мышлаевский. Будет исполнено.

Алексей. Ну-с, всего хорошего. *(Уходит с Студзинским.)*

Мышлаевский *(пьет из манерки)*. Фу, шут его возьми. Холодно. *(Николке.)* Хлебни.

Николка. Никак нет, не могу, г-н капитан.

Мышлаевский. Замерзнешь ты, голова с ухом! Елена мне потом голову за тебя оторвет. Герой! Ну ладно! Как желаешь. Через два часа я тебя сниму. Потом опять станешь. *(Уходит, кричит за сценой.)* Эй, первый взвод, парты в классе ломать, печи топить. Стук за сценой. Выбегают юнкера с обломками парт, топят печь, поют.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Унылая труба. Юнкера исчезают у огня.

КАРТИНА 2-Я

Появляется пустое, мрачное помещение. Надпись· «Штаб первой конной дивизии». Штандарт — голубой с желтым. Керосиновый фонарь у входа. Вечер. За окнами изредка стук лошадиных копыт. Тихо наигрывает гармоника знакомые мотивы. Вдруг за сценой свист, удары.

Голос *(за окном кричит отчаянно)*. Шо вы, панове! За що? За що? *(Визг.)*

Галаньба *(за сценой)*. Я тебя, жидовская морда... Я тебе... *(Визг, выстрел.)*

Телефонист *(в телефон)*. Це я, Франько — вновь включився в цепь. В цепь кажу. Слухаете. Слухаете. Це штаб кинной дивизии.

Телефон поет сигналы. Шум за сценой. Ураган и Кирпатый в красных хвостах на папахах вводят Дезертира — сечевика. Лицо у него окровавленное.

Болботун. Що такое?

Ураган. Дезертира поймали, пан полковник.

Болботун. Якого полку? *(Молчание.)* Якого полку, я тебя спрашиваю?

Телефонист. Та це ж я... я из штабу, Франько, включився в цепь.

Болботун. Що ж, Бога душу твою мать. А? Що ж ты. В то время, як всякий честный казак вийшов на защиту Украинской республики бить белогвардейцев, та жидов коммунистов, в то время як всякий хлибороб встал в ряды Украинской армии, ты ховаешься в кусты! Ты знаешь, що роблють з нашими хлиборобами гетманьские офицеры, а там комиссары? Живых в землю зарывают. Чув... так я ж тебя самого закопаю в могилу. Самого. Сотник Галаньба!

Голос. Сотника требуют к полковнику. *(Суета.)*

Болботун. Де ж его взялы?

Кирпатый. По за штабелями сукин сын бежав, ховався.

Болботун. Ах ты зараза, зараза!

Галаньба входит. Холоден, черен, с черным штыком.

Болботун. Допросить, пан сотник, дезертира.

Галаньба *(с холодным лицом берет со стола шомпол. Бьет дезертира по лицу. Тот молчит).* Якого полку? *(Молчание. Удар.)*

Дезертир *(плача).* Я не дезертир. Змилуйтесь, пан сотник. Я до лазарету пробырався. У мене ноги поморожены зовсим.

Телефонист *(в телефон).* Де ж диспозиция. Прохаю ласково. Командир Конной дивизии прохае диспозицию. Вы слухаете?

Галаньба. Ноги поморожены. А чому ж це ты не взяв посвитчения вид штабу своего полка. А? Якого полку? *(Замахивается.)*

Слышно, как лошади бегут по бревенчатому мосту

Дезертир. Второго сечевого.

Галаньба. Знаем вас, сечевиков! Все зрадники. Изменники. Большевики. Скидай сапоги. Скидай. И если ты не поморозив ноги, а брешешь — то я тебя тут же расстреляю. Хлопцы — фонарь.

Телефонист. Пришлить нам ординарца для согласования. В слободку. Так, так. Слухаю.

Фонарем освещают дезертира.

Галаньба *(вынув маузер).* И вот тебе условие: ноги здоровые, будешь ты у меня на том свете. Отойдите сзади, чтобы я в кого-нибудь не попал.

Дезертир садится на пол, разувается. Молчание.

Болботун. Не правильно. Шо б другим був пример!

Кирпатый *(со вздохом).* Поморожены. Правду казав.

Галаньба. Записку треба було узять. Записку, сволочь. А не бежать из полка.

Дезертир. Нема у кого. У нас лекаря в полку нема. Никого нема. *(Плачет.)*

Галаньба. Взять его под арест, и под арестом до лазарету. Як ему лекарь ногу перевяжет, вернуть его сюда в штаб и дать ему пятнадцать шомполов, що б вин знав, без документу бегать с своего полку.

Ураган *(выводя).* Иди, иди!

За сценой гармоника. Голос поет уныло.

«Ой, яблочко, куда котишься,
К гайдамакам попадешь — не воротишься».

Голос *(тревожно за окном)*. Держи их. Держи их. Мимо мосту. Погибли по льду.

Галаньба *(в окно)*. Хлопцы. Що там? Що?

Голос. Якись жиды, пан сотник, мимо мосту по льду дали ходу из слободки.

Галаньба. Хлопцы. Разведка. По коням. По коням. Садись. Садись, Кирпатый. А ну, проскачить за ними. Тильки живыми визьмить. Живыми!

Топот за сценой Появляется Ураган. Вводит Человека с корзиной.

Человек. Миленькие, я ж ничего, что вы! Я ремесленник.

Галаньба. С чем задержали?

Человек. Помилуйте, товарищ военный...

Галаньба. Що? Товарищ? Кто ж тут тебе товарищ?

Человек. Виноват, господин военный...

Галаньба. Я тебе не господин. Господа с гетманом в городе вси сейчас. И мы твоим господам кишки повыматываем. Хлопец, дай тебе близче. Урежь этому господину по шее. *(Один гайдамак бьет его по шее.)* Теперь бачишь, яки господа тут. Видишь? Ты знаешь, что. Кто ты? Ты шпион.

Болботун. Правильно!

Еврей. Клянусь — нет!

Галаньба. Сознавайся, что робыл у нас в тылу.

Еврей. Ничего, ничего, пане сотник, я портной здесь, в слободке живу. В мене здесь старуха мать.

Болботун. Здесь у него мать, в городе дети — весь земной шар занял.

Галаньба. Ну, я вижу, с тобой не сговоришь. Хлопец, открой фонарь, поддержи его за руки. *(Жжет лицо.)*

Еврей. Пане... пане... бойтесь Бога... Що вы робите? Я не могу больше. Я не могу больше. Пощадите.

Галаньба. Сознаешься, сволочь.

Еврей. Сознаюсь.

Галаньба. Шпион.

Еврей. Да, да. *(Пауза.)* Нет, нет. Не сознаюсь. Я ни в чем не сознаюсь. Це я от боли. Панове, у меня дети, жена... я портной. Пустите, пустите.

Галаньба. Ах, тебе мало. Хлопцы, руку, руку ему держите.

Еврей. Убейте меня лучше. Сознаюсь. Убейте.

Галаньба. Що робыл в тылу?

Еврей. Хлопчик, родненький, миленький, оставь фонарь. Я все скажу. Шпион я. Да, да. О, мой бог!

Галаньба. Коммунист?

Еврей. Коммунист.

Болботун. Жида не коммуниста не бывает на свете. Як жид — коммунист.

Еврей. Нет, нет. Что мне сказать, пане? Що мне сказать? Тильки не мучьте. Не мучьте. Злодеи, злодеи, злодеи! *(В исступлении вырывается и бросается в окно.)* Я не шпион.

Галаньба. Тримайте его хлопцы. Держи.

Ураган. В прорубь выскочит.

Галаньба стреляет еврею в спину.

Еврей *(падая)*. Будьте вы про...

Болботун. Эх, жаль, эх, жаль.

Галаньба. Держать нужно было.

Кирпатый. Легкою смертью помер, собака. *(Грабят тело.)*

Телефонист. Слухаю, слухаю... Слава... Слава... Пан полковник.

Болботун *(в телефон)*. Командир первой кинной полковник Болботун... Слухаю... Так... так... выезжаю зараз. *(Галаньбе)*. Пан сотник, прикажить швитче, чтоб вси четыре полка садились на конь. Подступы к городу взяли. Слава! Слава!

Все. Слава! Наступление! *(Суета.)*

Галаньба *(в окно)*. Садись! Садись! По коням!

За окном гул. «Ура!» Галаньба убегает.

Болботун. Снимай аппарат! Коня мне!

Телефонист снимает аппарат. Суета.

Ураган. Коня командиру!

За окном топот, гул, крики, свист. Все выбегают со сцены. Потом гремит гармоника.

КАРТИНА 3-Я

Вспыхивает. Рабочий кабинет гетмана во дворце. Громадный письменный стол. За ним телефонные аппараты. Отдельно полевой телефон. На стене портрет Вильгельма второго. Ночь. Кабинет ярко освещен. Дверь открывается и Камер-Лакей впускает Шервинского.

Шервинский. Здравствуйте, Федор.

Лакей. Здравия желаем, господин поручик.

Шервинский. Как, никого нет? Федор, а кто из адъютантов дежурит у аппарата?

Лакей. Его сиятельство, князь Новожильцев.

Шервинский. А где же он?

Лакей. Не могу знать. С полчаса назад вышли.

Шервинский. Как это так? И аппараты полчаса стояли без дежурного? Ничего не понимаю.

Лакей. Да никто не звонил. Я все время был у дверей.

Шервинский. Мало ли что не звонил. А если бы позвонил? В такой момент, черт знает что такое.

Лакей. Я бы принял телефонограмму. Они так и распорядились, чтобы пока вы не придете, я бы записывал.

Шервинский. Вы? Записывать военные телефонограммы? Да у меня размягчение мозга. А, понял, понял. Он заболел.

Лакей. Никак нет. Они вовсе из дворца выбыли.

Шервинский. Вовсе из дворца? Вы шутите, дорогой Федор. Не сдав дежурство, отбыл из дворца! Значит — он в сумасшедший дом отбыл!

Лакей. Не могу знать. Только они забрали свою зубную щетку, полотенце и мыло из адъютантской уборной. Я же еще газету давал.

Шервинский. Что? Какую газету?

Лакей. Я же докладываю, г-н поручик. Во вчерашний номер они мыло завернули.

Шервинский. Позвольте, да вот его шашка.

Лакей. Да они в штатском уехали.

Шервинский. Или я с ума сошел или вы. Запись-то он мне оставил, по крайней мере? *(Шарит по столу.)* Ничего нет. Что-нибудь приказал передать?

Лакей. Приказали кланяться.

Шервинский. Вы свободны, Федор.

Лакей. Слушаю. Разрешите доложить, г-н адъютант.

Шервинский. Нуте-с?

Лакей. Они изволили неприятное известие получить.

Шервинский. Откуда? Из дому?

Лакей. Никак нет. По полевому телефону. И тотчас же заторопились. При этом в лице изменились.

Шервинский. Мне кажется, Федор, что вас не касается окраска лица адъютантов его светлости. Вы лишнее говорите.

Лакей. Прошу извинить, г-н поручик. *(Уходит.)*

Шервинский *(протяжно свистит, потом говорит в телефон на гетманском столе)*. Будьте добры 15-12. Мерси. Это квартира князя Новожильцева? Попросите Сергея Николаевича. Что? Во дворце? Его нет во дворце. Я сам говорю из дворца. Постой, Сережа — да это твой голос. Сере... позвольте... *(Телефон звонит отбой.)* Что за нахальство... я же отлично слышал, что это он сам. *(Пауза)* Шервинский... Шервинский... *(Вызывает по полевому телефону. Телефон пищит.)* Это штаб Святошинского отряда? Попросите Начштаба. Как это нет? Помощника. Вы слушаете? *(Пауза.)* Фу ты, черт. *(Садится за стол, звонит Входит Лакей. Шервинский пишет записку)* Федор, сейчас же эту записку вестовому, чтоб срочно поехал ко мне на квартиру, на Львовскую улицу. Там ему по этой записке дадут сверток, чтобы сейчас же привез сюда. Вот три карбованца ему на извозчика. Вот записка в комендатуру на пропуск.

Лакей. Слушаю. *(Уходит.)*

Шервинский *(трогает баки, задумчиво)*. А, пожалуй, без них я даже красивее буду. Чертовщина. Честное слово, как быть с Еленой. Елена. *(На столе звонит телефон.)* Я слушаю. Да... Личный адъютант его светлости,

поручик Шервинский. Здравия желаю, ваше превосходительство. Как-с? *(Пауза.)* Болботун. Как? Со всем штабом? Слушаю. Так-с. Передам. Слушаю, ваше превосходительство. Его светлость должен быть в двенадцать часов ночи. *(Вешает трубку. Пауза.)* Я убит, господа. *(Свистит.)* Вот так клюква!

За сценой глухая команда — «СМИРНО». Потом многоголосый крик караула — «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ, ВАША СВЕТЛОСТЬ!»

Лакей *(открывая обе половины двери)*. Его светлость!

Гетман *(входит. Он в богатейшей черкеске, малиновых шароварах и сапогах без каблуков, кавказского типа и без шпор. Блестящие генеральские погоны. Коротко подстриженные седеющие усы. Гладко обритая голова. Лет 45-ти)*. Здравствуйте, поручик.

Гетман. Приехали?

Шервинский. Осмелюсь спросить, кто?

Гетман. Я назначил без четверти двенадцать совещание у меня. Должен быть командующий Русской Армией, Начальник гарнизона и представители германского командования. Где они?

Шервинский. Не могу знать. Никто не прибыл.

Гетман. Сводку мне за последний час. Живо.

Шервинский. Осмелюсь доложить вашей светлости. Я только что принял дежурство. Корнет, князь Новожильцев, дежуривший передо мной...

Гетман. Я давно уже хотел поставить на вид вам и другим адъютантам, что следует говорить по-украински. Это безобразие в конце концов! Ни один человек не говорит на языке страны, а на украинские части это производит самое отрицательное впечатление. Прохаю ласкаво.

Шервинский. Слухаю, ваша светлость. Дежурный адъютант, корнет... *(В сторону.)* Как «князь» по-украински?.. черт... *(Вслух.)* Новожильцев, временно исполняющий обязанности... я думаю, что вин захворав.

Гетман. Говорите по-русски.

Шервинский. Слушаю, ваша светлость. Корнет Новожильцев отбыл домой внезапно, по-видимому, захворав до моего прибытия.

Гетман. Что вы такое говорите? Отбыл с дежурства? Вы сами-то как — в здравом уме? Бросил дежурство? Что у вас тут происходит, в конце концов. *(Звонит по телефону.)* Комендатура... Дать сейчас же наряд... по голосу надо слышать кто говорит! Наряд на квартиру к моему адъютанту корнету Новожильцеву. Арестовать его и доставить в комендатуру. Сию минуту. Зараз!

Шервинский *(в сторону)*. Будешь знать, как чужими голосами по телефону разговаривать. Хам.

Гетман. Ленту он доставил.

Шервинский. Так точно. Но на ленте ничего нет.

Гетман. Да что ж, он, спятил? Да я его расстреляю сейчас же, у дворцового парапета. Я вам покажу всем. Соединитесь сейчас же со штабом командующего. Просить немедленно ко мне. То же самое Начгарнизона и всех командиров полков. Живо...

Шервинский. Осмелюсь доложить, ваша светлость, — известие чрезвычайной важности.

Гетман. Какое там еще известие?

Шервинский. Пять минут назад мне звонили из штаба командующего и сообщили, что его сиятельство, командующий Добровольческой армией при вашей светлости, тяжко заболел и отбыл со своим штабом в германском поезде в Германию. *(Пауза.)*

Гетман. Что? Вы в здравом уме? У вас глаза больные. Вы соображаете, о чем вы доложили? Что такое произошло? Катастрофа, что ли? Они бежали. Что же вы молчите? Ну.

Шервинский *(в сторону)*. Ну, Шервинский. *(Вслух.)* Так точно, ваша светлость. Катастрофа. В десять часов вечера петлюровские части прорвали фронт и конница Болботуна пошла в прорыв.

Гетман. Болботуна. Где?

Шервинский. За слободкой. В десяти верстах.

Гетман. Погодите, погодите... так... Что такое... Вот что... Во всяком случае — вы отличный, расторопный офицер, я давно это заметил. Вот что, сейчас же соединяйтесь со штабом германского командования и просите представителя его сию минуту пожаловать ко мне.

Шервинский. Слушаю. *(По телефону.)* Третий... Зайн зи битте зо либенсвюрдих ден херрн майор фон Дуст анс телефон цу биттен. Я... я... *(Стук в дверь)*

Гетман. Войдите, да.

Лакей *(входит)*. Представители германского командования, генерал фон Шратт и майор фон Дуст, просят их принять.

Гетман. Просите сюда сейчас же. *(Шервинскому.)* Отставить. *(Лакей впускает фон Шратта и фон Дуста. Оба в серой форме, в гетрах. Шратт — длиннолицый, седой. Дуст — с багровым лицом. Оба в моноклях.)*

Шратт. Вир хабен ди эре ирэ хохейт цу бегрюсен.

Гетман. Их фрейз мих херцлих, даст зи, мейне херрен, гекомен зинд. Битте, немен зи платц. *(Немцы усаживаются)*. Их хабе эбен ди нахрихт фон дер шверем цуштанде унзерер армэ бекомен.

Шратт. Дас хабен вир шо зейт ланге эрфарен.

Гетман *(Шервинскому)*. Пожалуйста, записывайте протокол совещания.

Шервинский. Слушаю. По-русски, разрешите, ваша светлость?

Гетман. Генерал, могу попросить говорить по-русски?

Шратт *(с резким акцентом)*. О, с большим удовольствиэм.

Гетман. Мне сейчас стало известно, что петлюровская команда прорвала городской фронт.

Шервинский пишет.

Гетман. Кроме того, из штаба русского командования я имею какие-то совершенно невероятные известия. Штаб русского командования позорно бежал. Дас ист я унерхёрт. *(Пауза.)* Я обращаюсь через ваше посредство к германскому правительству со следующим заявлением. Украине угрожает смертельная опасность. Банды Петлюры грозят занять столицу. В случае такого исхода в столице произойдет анархия. Поэтому я прошу германское командование немедленно дать войска для отражения хлынувших сюда банд и восстановления порядка на Украине — столь дружественной Германии.

Шратт. С сожалени германски командование не имэить возможности такое сделать.

Гетман. Как? Уведомите, генерал, почему?

Шратт. Физиш унмоглих. Это физически невозможно есть. Эрстенс — во-первых: у Петлюры, по сведениям штаба — двести тысщ войск, великолепно вооружен. А между тем, германски командование забирайт дивизии и уводит их в Германии.

Шервинский *(в сторону)*. Ах, сукины дети!

Шратт. Таким образом, в распоряжении нашем вооружени достаточны сил нет. Во-вторых, вся Украина, оказывает, на стороне Петлюры.

Гетман. Поручик, подчеркните эту фразу в протоколе.

Шервинский. Слушаюсь.

Шратт. Я ничего не имейт протиф. Подчеркните. Итак, остановить Петлюру невозможно.

Гетман. Значит, меня, армию и правительство — германское комаидование внезапно оставляет на произвол судьбы.

Шратт. Ниэт. Ми командованы брать меры спасению вас.

Гетман. Какие же меры командование мне предлагает?

Шратт. Моментальную эвакуацию вашей светлости. Тотчас вагон и в Германию.

Гетман. Простите, — я ничего не понимаю. Как же так, виноват? Может быть, это германское командование эвакуировало князя Белорукова?

Шратт. Точно так.

Гетман. Без согласия со мной! *(Волнуясь.)* Я заявляю правительству Германии протест против таких действий. Я не согласен. У меня есть еще возможность собрать армию в городе и защищать его своими средствами Но ответственность за разрушение столицы ляжет на германское командование. И я думаю, что правительства Англии и Франции...

Шратт. Германское правительство ощущает достаточно силы, чтобы не давать разрушение столицы.

Гетман. Это угроза, генерал!

Шратт. Предупреждение, ваша светлость. У вашей светлости не имеется никаких сил в распоряжении. Положение катастрофическое.

Дуст *(тихо Шратту)*. Мейн генерал, вир хабен гар кэйне цайт, вир мюссен...

Шратт. Я! Я! Итак, ваша светлость... позвольте сообщить последнее. Мы сейчас хватали сведения, что конница Петлюры восемь верст от Киева и утром завтра она выдет...

Гетман. Я узнаю́ об этом последний!

Шратт. Ваша светлость знает, что будет его, случае взятия в плен. По вашей светлости у Петлюры есть приговор. Она весьма есть очень печален.

Гетман. Какой приговор?

Шратт. Прошу извинения у вашей светлости. *(Пауза.)* Повиэсить. *(Пауза.)* Позвольте вас попросить ответ мгновенно. В моэм распоряжении имею только диесять маленьких минут. После этого — я раздеваю с себя ответственность жизнь вашей светлости.

Гетман *(после большой паузы)*. Я еду.

Шратт *(Дусту)*. Будьте любезны, майор — дэствовать тайно и без всякий шум.

Дуст. О, никакой шум. *(Стреляет из револьвера в потолок два раза.)*

Шервинский растерян

Гетман *(берясь за револьвер)*. Что это значит?

Шратт. О, будьте спокойны, ваша светлость. *(Скрывается в портьере правой двери.)*

За сценой гул, крики. «КАРАУЛ, В РУЖЬЕ». Топот.

Дуст *(открывая среднюю дверь)*. Руих! Спокойно! Генерал фон Шратт зацепил брюками револьвер, ошибочно попал к себе на голова.

Голоса *(за сценой)*. Гетман, где Гетман?

Дуст. Гетман есть очень здоровый. Ваша светлость, любезно высуньтесь... Караул...

Гетман *(в средней двери)*. Все спокойно. Прекратите тревогу!

Дуст *(в дверь)*. Прошу пропускайт врача с инструментом.

Тревога утихает. Входит германский врач с ящиком и медицинской сумкой. Закрывает дверь на ключ.

Шратт. Ваша светлость, прошу переодеться в германский форм и, как будто, я есть раненый вас в моем виде, вывезем. А вы, как будто есть во дворце, чтобы никто в городе не знал. Чтоб не вызвать возмущения, среди караул.

Гетман. Делайте, как хотите.

Дуст *(вынимая из ящика германскую форму.)*. Прошу, ваша светлость. Где угодно?

Гетман. Направо, в спальне. *(Он, Дуст и врач уходят.)*

Шервинский *(у авансцены)*. Бежать, что ли? Поедет Елена или не поедет? *(Решительно к Шратту.)* Ваше превосходительство! Покорнейше прошу взять меня с гетманом. Я его личный адъютант. Кроме того, со мной моя... невеста.

Шратт. С зожалением, поручик, не только невеста, но и вас я не могу брать, только одного гетмана. Если вы хотите ехайт, отправляйтесь станцию, наш штабной поезд только имейт в виду, мест нет — там уже есть личный адъютант.

Шервинский. Кто?

Шратт. Как его... Князь Новожильцев.

Шервинский. Новожильцев. Да когда же он успел?

Шратт. Когда катастрофа, каждый станет проворный очень. Он был у нас в штабе сейчас.

Шервинский. И он там, в Берлине, будет при гетмане служить.

Шратт. О, нэйт. Гетман будет один: никакая свита. Мы только довезем до границ, кто желает спасать свою шею от ваших мужиков, а там — каждый как желает.

Шервинский. О, покорнейше благодарю. Я и здесь сумею спасти свою шею.

Шратт. Правильно, молодой человек. Никогда не следует покидать родину.

Гетман *(входит с Дустом и врачом. Переодет германским генералом. Растерян. Курит).* Все бумаги здесь сжечь, поручик.

Дуст. Хер доктор, зейн зи либенсвюрдих. Ваша светлость, пожалуйста, садитесь. *(Усаживают.)*

Врач *(забинтовывает ему голову наглухо).* Фертиг...

Шратт *(Дусту).* Машину.

Дуст. Зоглейх. *(Уходит.)*

Шратт. Ваша светлость, ложитесь.

Гетман. Но... нужно объявить об этом народу... манифест.

Шратт. Манифест, ия... пожалуй...

Гетман *(глухо).* Поручик, пишите. Бог не дал мне силы... и я...

Дуст *(входя).* Нет времени манифест.

Шратт. Из поезда телеграммой. Ваша светлость, ложитесь. *(Гетмана укладывают на диван. Шратт прячется. Среднюю дверь открывают. Появляется лакей. Дуст, врач и лакей выносят гетмана в левую дверь. Шервинский помогает до двери, возвращается. Входит Шратт.)* Все в порядке. *(Смотрит на часы-браслет.)* Один час ночи. *(Надевает кепи и плащ.)* До свидания, поручик. Вам советую не задерживаться здесь. Снимайте погоны. *(Прислушиваясь.)* Слышите?

Шервинский. Беглый огонь.

Шратт. Именно. Каламбур. Беглый. Пропуск имеете?

Шервинский. Точно так.

Шратт. Так. До свидания. Спешите. *(Уходит.)*

Шервинский. Честь имею кланяться, ваше превосходительство. *(Подавлен)* Чистая немецкая работа. *(Внезапно оживает.)* Нуте-с, времени нету. Нету, нету, нету. *(У стола.)* О, портсигар, золотой. Гетман забыл. Оставить его здесь? Невозможно. Лакеи сопрут. Ого! Фунт, должно быть, весит. Историческая ценность. *(Закуривает, прячет в карман.)* Нуте-сь! Бумаг мы никаких палить не будем, за исключением адъютантского списка. *(Рвет бумаги и прячет в карман.)* Так-с. *(За столом.)* Свинья я, или не свинья? Нет, я не свинья. *(В телефон.)* 14-05. Да. Это дивизион? Командира к телефону попросите срочно. Разбудить. *(Пауза.)* Полковник Турбин? Говорит Шер-

винский. Слушайте, Алексей Васильевич, внимательно: гетман драпу дал. Серьезно говорю... гетман драпу дал... дал драпу, говорю... Да все равно, пускай слышат. Вам сообщаю потому, что жаль наших офицеров. Драпу дал, говорю, вам... Вот и спасай людей. Поступайте, как хотите. Нет, до рассвета есть время. Елене Васильевне передайте, чтобы из дому завтра ни в коем случае не выходила. Я приеду к вечеру прятаться. Прощайте. Спасайте дивизион. *(Дает отбой.)* И совесть моя чиста и спокойна. *(Звонит. Входит лакей.)* Вестовой привез пакет?

Лакей. Так точно.

Шервинский. Сейчас же дайте его сюда.

Лакей выходит, потом возвращается с узлом.

Шервинский. Благодарю вас.

Лакей *(растерянно)*. Позвольте узнать, что с их светлостью.

Шервинский. Что это за вопрос.

Лакей. Виноват.

Шервинский. Вы хороший человек, Федор. В вашем лице есть что-то эдакое... привлекательное... пролетарское... Гетман изволит почивать. И вообще, молчите.

Лакей. Так-с.

Шервинский. Федор, живо, из адъютантской уборной принесите мне мое полотенце, бритву, мыло.

Лакей. Газету прикажете?

Шервинский. Совершенно верно, и газету.

Лакей выходит в левую дверь.

Шервинский *(надевает штатское пальто и шляпу. Снимает шпоры, свою шашку и шашку Новожильцева увязывает в узел. Появляется лакей.)* Идет мне эта шляпа?

Лакей. Как же-с. Бритвочку в карман возьмете.

Шервинский. Бритву в карман. Ну-с, дорогой Федор. Позвольте вам на память оставить пятьдесят карбованцев.

Лакей. Покорнейше вас благодарю.

Шервинский. А также пожать вашу честную трудовую руку. Не удивляйтесь. Я демократ по натуре. Федор — а адъютантом никогда не служил.

Лакей. Понятно.

Шервинский. Во дворце никогда не был. Вас не знаю. Вообще, я оперный артист.

Лакей. Неужто — ходу дал?

Шервинский. Смылся.

Лакей. Ах, сволочь.

Шервинский. Неописуемый бандит.

Лакей. А нас всех, стало быть, на произвол судьбы.

Шервинский. Вы же видите. Вам-то еще полгоря. Но каково мне? Ну, дорогой Федор, задерживаться я больше не могу. Как ни приятно беседовать с вами... *(Далекий пушечный гул.)* Слышите! До свиданья. *(От двери.)* Федор, вы человек хороший. И пока я у власти, дарю вам этот кабинет. Что вы смотрите? Чудак. Вы сообразите, какое одеяло выйдет из этой портьеры. *(Исчезает.)*

Лакей. Ну, ну... *(Вдруг яростно срывает портьеру с двери.)*

Занавес

АКТ ТРЕТИЙ

КАРТИНА 1-Я

Вестибюль гимназии. В печке догорает огонь. У ящика с выключателями Николка на часах. Ружья в козлах. На нижней площадке Мышлаевский, первый, второй и третий офицеры. Студзинский на верхней площадке с листом и карандашом в руках. Рассвет.

Студзинский *(кричит)*. Тарувин[1]. *(Голос из подвала: Я.)* Терский. *(Есть.)* Тунин. *(Есть.)* Ушаков. *(Я.)* Федоров. *(Гул голосов и выкрики «нету».)* Фирсов. *(Есть.)* Хотунцев. *(Есть.)* Яшвин. *(Гул «нету».)* Вольно. *(Проверяет лист.)*

За сценой топот, движение, звон шпор, говор.

Мышлаевский *(кричит)*. Батарея! Можете курить! *(Вынимает портсигар.)*

---

[1] В рукописи: Тарутин.

1-й офицер. Позвольте огоньку, г-н капитан.

Мышлаевский. Ради Бога. *(Курят.)*

1-й офицер. Двадцати человек не хватает, однако.

2-й офицер. М-да... То-то на капитане лица нет.

Мышлаевский. Чепуха. Подойдут. Вот холод дьявольский, — это паршиво. В двух классах все парты поломали. Да разве за одну ночь натопишь?

2-й офицер. Немыслимо. *(Топчется, напевая сквозь зубы «Как ныне сбирается вещий Олег».)*

Мышлаевский *(юнкерам)*. Что? Озябли? *(Голос: «Так точно, г-н капитан, прохладно».)* Так чего же вы стоите на месте? Синий как покойник. Потопчитесь. Разомнитесь. После команды «вольно» вы не монумент! Каждый сам себе печка! Пободрей! *(Топот, звон шпор.)*

2-й офицер *(напевает. За сценой напевают тот же мотив, ритмически звеня шпорами.)* Вот это так. Трудненько с ними, г-н капитан.

Мышлаевский. Что говорить.

2-й офицер *(напевает)*. Их села и нивы... *(Звон шпор за сценой.)*

1-й офицер. Командир что-то не едет, уже семь...

Мышлаевский. В штаб уехал. Известия, наверно, есть.

1-й офицер. Я думаю, г-н капитан, что сегодня придется с Петлюрой повстречаться. Интересно, какой он из себя.

3-й офицер *(мрачно)*. Узнаешь. Не спеши.

Мышлаевский. Наше дело — маленькое, но верное. Прикажут — повидаем.

1-й офицер. Так точно.

2-й офицер. «Тара... лили...»

1-й офицер. Огонь-то стих.

Студзинский *(внезапно на верхней площадке)*. Дивизион, смирно! *(Пауза.)* Господа офицеры.

1-й офицер. Приехал. *(Бросают папиросы.)*

Мышлаевский. Первая батарея, смирно!

3-й офицер. Вторая батарея, смирно!

Мышлаевский. Подровняйте, подровняйте.

Алексей *(появляется, крайне взволнован. Студзинскому.)* Список, скольких нет.

Студзинский *(тихо)*. Двадцати двух человек.

Алексей. Позвольте-ка мне его.

Студзинский. Слушаю.

Алексей. Наша застава на Денисовке. Вернуть ее. *(Прячет список за обшлаг. Подходит к парапету, кричит.)* Здравствуйте артиллеристы! *(Студзинский и Мышлаевский делают знаки. Крик: «Здравия желаем, господин полковник». Пауза.)* Приказываю дивизиону слушать внимательно то, что я ему объявляю. *(Тишина.)* За ночь... в нашем положении, в положении всей Русской армии, и, я бы сказал, в государственном положении на Украине, произошли резкие и внезапные изменения. *(Пауза.)* Поэтому я объявляю вам, что наш дивизион я распускаю. *(Мертвая тишина. Студзинский, Мышлаевский и все офицеры поражены.)* Борьба с Петлюрой закончена. Приказываю всем, в том числе и офицерам, немедленно снять с себя погоны и все знаки отличия, и немедленно же бежать и скрыться по домам. *(Вытирает пот со лба. Пауза.)* Я кончил. Исполнять приказание. *(Мертвая тишина.)*

3-й офицер. Что такое? Это измена!

За сценой волнение. Гул. «Его надо арестовать». «Арестовать». «Мы ничего не понимаем». «Петлюра ворвался». «Вот так штука». «Я так и знал». «Тише».

1-й офицер. Что это значит?

3-й офицер *(внезапно выйдя из оцепенения)*. Эй, первый взвод, за мной! *(Выбегают юнкера с винтовками)*. Г-н полковник, вы арестованы.

2-й офицер. Арестовать его. Он предался Петлюре.

Мышлаевский *(удерживая 3-го офицера)*. Постойте, поручик...

3-й офицер. Пустите меня, г-н капитан. Руки прочь!

Мышлаевский. Взвод, назад!

Студзинский. Назад, вам говорят! Не слушать младших офицеров!

1-й офицер. Господа, что это?

2-й офицер. Господа... *(Суматоха.)*

3-й офицер. Агент Петлюры... Не слушать старших офицеров!

Голос *(за сценой)*. В дивизионе бунт!

1-й офицер. Что вы делаете?

Студзинский. Молчать. Смирно!

3-й офицер. Взять его!

Мышлаевский. Замолчите сию минуту!

Алексей. Молчать! Я буду еще говорить.

2-й офицер. Тише. Погодите.

3-й офицер (*Мышлаевскому*). Вы тоже заодно с ним.

Студзинский. В чем дело, Алексей Васильевич? Посмотрите, что происходит. На места. Я принимаю команду над дивизионом. Дивизион.

Алексей. Смирно!

Мышлаевский. Смирно! (*3-му офицеру.*) Уберите свой взвод сию минуту. Назад.

1-й офицер. Смирно! На месте! (*Голоса, гул «Смирно».*)

Мышлаевский. Успокойтесь.

Алексей (*подняв руку*). Тише. Я буду говорить. (*Наступает тишина.*) Дивизион, слушать. Да, да. Очень я был бы хорош, если пошел бы в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог в вашем лице. Но, господа, то, что простительно юноше-добровольцу, не простительно (*3-му офицеру*) вам, господин поручик. Я слишком понадеялся на вашу дисциплину, полагая, что вы исполните мое приказание, не требуя объяснений... Оказывается, я вас переоценил. Что ж. Итак, я думаю, что каждый из вас поймет, что случилось несчастье, что у командира вашего язык не поворачивается сообщить вам позорные вещи. Но вы недогадливы. Кого вы желаете защищать? Ответьте мне. (*Молчание.*) Отвечать, когда спрашивает командир. Кого?

3-й офицер. Гетмана обязались защищать.

Алексей. Гетмана. Отлично. Дивизион! Сегодня, в три часа утра, гетман, бросив на произвол судьбы армию, бежал, переодевшись германским офицером, в германском поезде в Германию. Так что, в это время, когда поручик собирается защищать гетмана, его давно уже нет. Он благополучно следует в Берлин. (*Гул. В окнах рассвет.*) Но этого мало. (*Пауза.*) Одновременно с этой канальей бежала по тому же направлению другая канальа — его сиятельство командующий армией — князь Долгоруков. Так что, друзья мои, не только некого защи-

щать, но даже и командовать нами некому, ибо штаб князя дал ходу вместе с ним. *(Гул.)* Тише. Меня предупредил единственный, оказавшийся порядочным из штабных офицеров Шервинский, и сейчас я проверил эти сведения. Итак, вот мы, нас двести человек, а там — Петлюра, да что я говорю, не там — а здесь. Друзья мои, сейчас его конница на окраине города. У него двухсоттысячная армия, а у нас на месте — мы... три, четыре пехотных дружины и три батареи. Понятно... Тут один из вас вынул револьвер по моему адресу. Он меня страшно испугал! Мальчишка!

3-й офицер. Господин полковник!

Алексей. Молчать! Ну, так вот-с. Если при таких условиях вы все же вынесли бы сейчас постановление защищать... что... кого... Одним словом, идти в бой — я вас не поведу. Потому что в балагане я не участвую, тем более что за балаган заплатите своею кровью, и совершенно бессмысленно вы. *(Утирает лоб.)* Дети мои, слушайте меня! Я кадровый офицер, вынесший всю войну с германцами, чему свидетель капитан Студзинский и Мышлаевский, на свою совесть и ответственность принимаю все, все... Вас предупреждаю и, любя вас, посылаю домой. *(Отворачивается. Рев голосов. Отдельные выкрики: «Что это делается», «Винтовки-то брать, что ли», «Взорвать гимназию», «Вали, братцы», «Убить их мало», «Повесить». Выбегают отдельные юнкера.*

3-й офицер, закрыв лицо руками, плачет.)

2-й офицер (*срывает погоны*). К чертовой матери. К чертовой матери.

Николка *(на часах у телефона, швырнув винтовку)*. Штабная сволочь!

Гул, рев, топот.

Мышлаевский *(кричит)*. Тише... *(Тишина.)* Г-н полковник, разрешите зажечь здание гимназии.

Алексей. Не разрешаю. *(Пушечный выстрел. Дрогнули стены.)* Поздно. Бегите домой.

Мышлаевский. Юнкера! Бей отбой. Домой. *(Труба за сценой. С грохотом бросаются винтовки.)* Юнкер Турбин, ломайте ящик. Гасите свет.

Николка ударяет винтовкой ящик, взламывает ящик. Разбивает щит. Свет мгновенно гаснет, и все исчезает.
Долгая пауза. Затем зарево. В печке огонь Разбросаны винтовки. Весь пол усеян обрывками бумаги. Алексей сидит на корточках и жжет бумаги. Рвет. Взломанный шкаф.

Алексей. Отойди от меня, старик, ради самого Создателя.

Максим. Ваше высокоблагородие. Куда ж это я отойду? Мне отходить нечего от казенного имущества. В двух классах парты поломали. Такого убытку наделали, что я выразить не могу. А свет... ведь что ж это мне делать теперь? А? Ведь это чистый погром. Много войска бывало, а такого, извините...

Алексей. Старик, уйди от меня.

Максим. Меня теперь хоть саблей рубить, я уйти не могу. Мне сказано господином директором: «Максим, ты один остаешься... Максим, гляди».

Алексей. Ты, старичок, русский язык понимаешь. Убьют тебя, как перепела, если ты тут торчать будешь. Уйди куда-нибудь в подвал. Скройся там, чтоб твоего и духу не было.

Максим. Всякие, и за царя, и против царя были... солдаты оголтелые... а чтобы щиты ломать...

Алексей. Куда ж она девалась? *(Шарит. Второй шкаф разбивает ногой.)*

Максим. Ваше превосходительство — ведь у него ключ есть! Гимназический шкаф, а вы его ножкой... *(Поднимаясь вверх по лестнице, крестится.)* Царица Небесная, Владычица. Настала наша кончина. Антихристово нашествие. Господи Иисусе. *(Подходит к щиту, всплескивает руками.)* Господи Иисусе. *(За сценой удар.)*

Алексей. Так его, даешь! Еще даешь! Концерт! Музыка! Ну, попадешься ты когда-нибудь, пан гетман, попадешься. Сволочь, сволочь, сволочь. *(Наверху появляется Мышлаевский.)*

Максим. Ваше превосходительство, хоть вы ему прикажите. Что ж это такое? Шкаф ногой изломал.

Мышлаевский. Я теперь тебе такое же превосходительство, как и преосвященство. Старик, не путаться под ногами. Вон...

Максим. Прямо татары. *(Исчезает.)*

Мышлаевский *(издали)*. Алеша! Зажег я цейхгауз, будет Петлюра шиш иметь, вместо шинелей.

Алексей. Бога ради, не задерживайся.

Мышлаевский. Дело маленькое. Сейчас со Студзинским вкатим две бомбы в стену и ходу. Отзвонили и с колокольни долой. Чего же ты тут сидишь?

Алексей. Пока застава не прибежит, не могу.

Мышлаевский. Алеша, надо ли? А?

Алексей. Ну, что говоришь, капитан!

Мышлаевский. Я тогда с тобой останусь.

Алексей. На что ты мне нужен? Беги скорей. Я следом за вами. Николка, погляди, ушел ли. Гони его в шею, ради Бога.

Мышлаевский. Ладно! Алешка, смотри, не рискуй.

Алексей. Учи ученого.

Мышлаевский уходит.

Алексей. Серьезно, и весьма. Весьма серьезно. Да, да, да... Застава бы не засыпалась. *(Тревожно смотрит на часы.)*

Николка *(появляется наверху)*. Алеша!

Алексей. Ты, что ж, шутки со мной шутить вздумал? Сию секунду домой. Снять погоны. Вон!

Николка. Я без тебя, господин полковник, не пойду.

Алексей. Что?

Николка. Стреляй, стреляй в родного брата!

Алексей. Болван!

Николка. Ругай, ругай родного брата. Я знаю, чего ты сидишь. Знаю. Ты — командир — смерти от позора ждешь. Ну, так я тебя караулить буду. Ленка меня убьет.

Алексей. Эй, кто-нибудь! Взять юнкера Турбина! Капитан Мышлаевский!

Николка. Все уже ушли.

Алексей. Ну, ладно же... Я с тобой дома поговорю. *(Шум, топот.)* Дождался, щенок! *(Бросается на шум. Голоса: «Конница Петлюры следом», «Ходу. Ходу».)* Караулы, слушай мою команду. Подвальными ходами, срывайте погоны по дороге. *(За сценой пробегает караул.)*

Беги. Беги. Беги. Я вас прикрою. *(Бросается к окну, выбивает стекла и бросает гранату. Николка бросает другую гранату.)* Беги, я тебя умоляю. Ленку пожалей.

Николка. Г-н полковник, Алешка, Алешка, что же ты наделал.

Алексей. Унтер-офицер Турбин, брось геройство к чертям. *(Смолкает.)*

Николка. Г-н полковник. Это не может быть... Алеша. Поднимись.

За сценой топот. Выбегают Ураган, Кирпатый. В руках шашки.

Ураган. Тю! Бач! Бач! Тримай его! Тримай! *(Захватывают низ сцены.)*

Кирпатый стреляет из револьвера в Николку.

Галаньба *(вбегая)*. Живьем! Живьем визьмите его, хлопцы!

Кирпатый. Ишь, волченок. Ах, сукино отродье!

Николка отползает от Алексея вверх по ступенькам, оскалился, бледен.

Ураган. Не уйдешь. Не уйдешь. *(Бегут наверх. В это время Гайдамак появляется сверху.)*

Николка. Ишь, внсельники! Не дамся. Не дамся! Бандиты! *(Мгновенно вскакивает на перила, на выходе у самого портрета и, перекрестившись, бросается вниз. Внизу за сценой грохот его падения, топот.)*

Кирпатый *(наверху, хлопнув себя по бедрам, восторженно и ошеломленно)*. Ах, сукин сын! Циркач! *(Стреляет Николке вслед один раз из револьвера.)*

Галаньба. Держите его, хлопцы! Що ж вы выпустили. Э... э...

Ураган со средней площадки стреляет вслед. Гайдамаки бегут вниз перехватить Николку. Глухой, одинокий выстрел за сценой.

Галаньба *(машет рукой)*. Взвод, сюда! Сюда! Ура! Взяли гимназию. Взяли! *(За сценой многоголосый крик: «Слава! Слава!»)* По коридорам гимназии, хлопцы, швидче! Выбивайте остатки! *(Гайдамаки, в черных хвостах, бегут, рассыпаясь повсюду.)*

Кирпатый *(наверху машет шашкой)*. Нема больше никого. Нема белогвардейцев! Победа, победа!

Галаньба. Хлопцы, пулеметы к окнам. Занимайте все углы. Зараз, зараз! *(Гайдамаки разбегаются.)*

Кирпатый *(на средней площадке, наклонясь к Алексею)*. Не дыхает. Падаль офицерская. *(Толкает ногой.)*

Ураган. Брось. Убитый в бою.

Кирпатый. Офицерская наволочь. Бач, полковник. Ишь ты, штаны яки сыни...

Галаньба *(поднимаясь по лестнице)*. Убрать его вон. *(Гайдамаки окружают труп.)*

Ураган и Кирпатый. Гоп!

Раскачивают Алексея и бросают его в провал Труба за сценой. Гул далеких криков Появляется Болботун. За ним, звеня шпорами, гайдамаки в красных хвостах и первый штандарт голубой с синим.

Галаньба. Пан полковник, гимназия взята.

Болботун. Слава! Слава!

Гайдамаки. Слава! Слава!

Галаньба. Якими частями занимать здание?

Болботун. Первый курень станет на охраны здесь, вместе со штабом и разведкой. Штандарты всех куреней сюда!

Галаньба. Хлопцы, занимайте весь корпус. Штандарты сюда.

Гайдамаки вносят один за другим штандарты разных полков. Движение, суета. За сценой приближающийся марш.

Гайдамак *(вбегая)*. Пан полковник, подходят третий и четвертый курени.

Болботун. Це гарно. *(Галаньбе.)* Пан сотник, знамена треба поднять на балкон. Показать войскам.

Галаньба. Слухаю, пан полковник. Хлопцы, со штандартами за мной. *(Знамена плывут наверх по лестнице. Галаньба вверху у портрета.)* Гайдамаки, скидайте царя!

Гайдамаки шашками выламывают портрет. Поднимают его. Внизу появляется Максим.

Кирпатый. Ты кто? Откуда?

Максим. Много войска было... и каждые ломают... ломают... А кто будет отвечать?.. Максим.

Кирпатый. Сказывься старик, кто ты такой? Ты сторож?

Максим. Господи, Боже мой...

Кирпатый. Уйди, старик. *(Портрет с громом падает в провал.)*

Все *(кричат)*. Ура!

За портретом балконная дверь. Выламывают ее. Выносят штандарты на балкон.

Болботун *(среди штандартов на балконе. Взмахивает рукой. Гул несколько утихает.)* Киев занят. Белогвардейские, гетманские банды разбиты. Украинской победоносной республиканской армии — слава! *(На сцене и за сценой громовой крик: «Слава!»)* Вождю армии, батькови Петлюре — слава! *(Крики: «Слава!»)* Першей конной дивизии — слава! *(Громовой крик: «Слава!»)*

Занавес

КАРТИНА 2-Я

Квартира Турбиных. Вечер. Электричества нет. Горит свеча на ломберном столике.

Лариосик. Елена Васильевна, дорогая. Располагайте мною, как хотите. Я оденусь и пойду их искать.

Елена. Ах нет, нет. Что вы, Лариосик! Вас убьют на улице. Будем ждать. Боже мой, еще зарево.

Лариосик. Уй, юй, юй.

Елена. Что там делается? Я только хотела бы одно знать: где они?

Лариосик. Да Боже мой, как ужасна гражданская война. Я так обрадовался миру и покою в вашей семье, и вот... вот...

Елена. Знаете, что: я женщина, меня не тронут. Я пойду и посмотрю, что делается на улице.

Лариосик. Елена Васильевна, я вас не пущу. Что вы, что вы! Да я ... я вас не пущу. Что мне скажет Алексей Васильевич? Он велел ни в коем случае не выпускать вас на улицу, и я дал слово.

Елена. Я близко...

Лариосик. Елена Васильевна!

Елена. Хотя бы узнать, в чем дело.

Лариосик. Я иду.

Елена. Оставьте это... будем ждать.

Лариосик. Супруг ваш очень хорошо сделал, что отбыл. Это очень мудрый поступок. Он переживает теперь в Берлине в безопасности всю эту ужасную кутерьму и вернется.

Елена. Мой супруг, мой супруг... Вот что, Лариосик. Имени моего супруга больше в доме не упоминайте. Слышите?

Лариосик. Хорошо, Елена Васильевна. Всегда я что-нибудь найду, что сказать не вовремя. Может быть, вам чаю подогреть. Я бы поставил самоварчик.

Елена. Нет, не надо... не хочется. *(Стук в дверь.)*

Лариосик. Ага... Вот кто-то... Постойте, постойте. Не открывайте, Елена Васильевна, сразу так... Кто там?

Шервинский *(за сценой)*. Это я... я... Шервинский.

Елена. Слава Богу. *(Открывает.)*

Шервинский *(входит)*. Петлюра город взял.

Лариосик. Взял! Боже, какой ужас.

Елена. Где же наши? Погибли? Как взял?

Шервинский. Не волнуйтесь, Лена, Елена Васильевна. Что вы! Все в полном порядке.

Елена. Как в порядке?

Шервинский. Не волнуйтесь, Елена Васильевна — они все сейчас вернутся. Гм... если, конечно, не наделают глупостей. Но я уверен, что ни в коем случае не наделают. Алексея Васильевича я предупредил о катастрофе еще вчера ночью.

Елена. Где же они? В бою?

Шервинский. Успокойтесь, Елена Васильевна. Они не успели выйти из гимназии. Я предупредил.

Елена. А гетман, войска.

Шервинский. Гетман вчера ночью бежал.

Елена. Бежал! Бросил армию.

Шервинский. Точно так. И князь Долгоруков. *(Снимает пальто.)*

Елена. Подлецы!

Шервинский. Неописуемые прохвосты.

Лариосик. А почему свет не горит?

Шервинский. Обстреляли станцию.

Лариосик. Ай-яй-яй...

Шервинский. Елена Васильевна, можно у вас спрятаться? Теперь офицеров будут искать.

Елена. Ну конечно.

Шервинский. Я счастлив, что вы живы и здоровы.

Елена. Что же вы теперь будете делать?

Шервинский. Я в оперу поступаю. *(Стук в дверь.)* Спросите, кто там.

Лариосик. Кто там?

Мышлаевский *(за сценой.)* Свои, свои.

Лариосик открывает дверь. Входят Мышлаевский и Студзинский.

Елена. Слава Богу. А где же Алеша и Николай?

Мышлаевский. Спокойно, спокойно, Лена. Сейчас придут. Не бойся ничего. Улицы все свободны.

Студзинский. Елена Васильевна, можно у вас спрятаться?

Елена. Что вы спрашиваете. Конечно! Раздевайтесь, грейтесь.

Мышлаевский *(увидя Шервинского)*. А, уж он тут. Ну стало быть, ты все знаешь.

Елена. Спасибо, все. Ну, немцы, немцы.

Студзинский. Ничего, ничего. Когда-нибудь вспомним им все. Ничего...

Мышлаевский. Здравствуй, Ларион.

Лариосик. Вот, какие ужасные происшествия. Ай-яй-яй...

Мышлаевский. Да уж, происшествия первого сорта.

Елена. Господи, на кого вы похожи. Идите к огню. Я вам сейчас самовар поставлю.

Шервинский *(от камина)*. Помочь вам, Лена?

Елена. Не надо, сидите. *(Убегает.)*

Мышлаевский. Здоровеньки булы, пан личный адъютант. Чему ж це вы без аксельбантиев. «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части» и прослезился. За ноги вашу мамашу!

Шервинский. Что означает этот балаганный тон?

Мышлаевский. Балаган получился, оттого и тон балаганный. Ты ж служил у государя императора и за

здоровье светлости пил. Кстати, где эта светлость в настоящее время?

Шервинский. Зачем тебе?

Мышлаевский. А вот зачем: если бы мне попалась сейчас эта самая светлость, взял бы я ее за ноги и хлопал бы головой об мостовую до тех пор, пока не почувствовал бы полного удовлетворения. А вашу штабную ораву в уборной следует утопить.

Шервинский. Господин Мышлаевский, прошу не забываться.

Лариосик. Зачем же ссориться?

Студзинский. Сию минуту, как старший, прошу прекратить этот разговор. Совершенно нелепо и ни к чему не ведет. Чего ты в самом деле пристал к человеку? Поручик, успокойтесь.

Шервинский. Поведение капитана Мышлаевского в последнее время нестерпимо.

Лариосик. Господи, зачем же...

Шервинский. И, главное, хамство. Я, что ли, виноват в катастрофе? Напротив, я вас всех предупредил. Если бы не я, еще вопрос, сидел бы он сейчас здесь живой, или нет.

Студзинский. Совершенно верно, поручик. И мы вам очень признательны. Извинись, ты не имеешь никакого права.

Мышлаевский. Ну, ладно, брось, Леонид. Я погорячился. Ведь такая обида.

Шервинский. Довольно странно.

Студзинский. Бросьте, совсем не до этого. *(Садится к огню.)*

Мышлаевский *(после паузы)*. Где Алеша с Николкой, в самом деле?

Студзинский. Я сам беспокоюсь. *(Пауза.)*

Мышлаевский. Что ж, он, стало быть, при тебе ходу дал?

Шервинский. При мне. Я был до последней минуты.

Мышлаевский. Замечательное зрелище. Клянусь Богом. Дорого бы я дал, чтобы присутствовать при этом. Что ж ты не пришиб его, как собаку?

Шервинский. Спасибо. Ты бы пришел и сам его пришиб.

Мышлаевский. Пришиб бы, будь спокоен. Что ж тебе, по крайней мере, сказал на прощание?

Шервинский. Что же сказал? Обнял, поблагодарил за верную службу.

Мышлаевский. И прослезился.

Шервинский. Да, прослезился.

Лариосик. Прослезился. Скажите, пожалуйста.

Мышлаевский. Уж не подарил ли чего-нибудь на прощанье? Например, золотой портсигар с монограммой?

Шервинский. Да, подарил портсигар.

Мышлаевский. Вишь, черт! Ты меня извини, Леонид. Боюсь, что ты опять рассердишься. Человек ты в сущности не плохой, но есть у тебя странности.

Шервинский. Что ты хочешь этим сказать?

Мышлаевский. Да как бы выразиться. Тебе бы писателем быть... Фантазия у тебя богатая... Прослезился... Не хочется тебя затруднять... Ну, а если бы я сказал: покажи портсигар.

Шервинский молча показывает портсигар.

Студзинский. Ах, черт возьми!

Мышлаевский. Убил. Действительно, монограмма. *(В окно передней бросили снегом.)*

Мышлаевский. Сию минуту, при вас, господа, прошу у него извинения.

Лариосик. Я в жизни не видал такой красоты. Ого, целый фунт, вероятно, весит.

Шервинский. Восемьдесят четыре золотника. *(В окно бросили снегом.)* Постойте, господа. *(Встают.)*

Мышлаевский. Не люблю фокусов. Почему не через дверь? И где Алешка? *(Вынимает револьвер.)*

Студзинский. Черт возьми... А тут это барахло. *(Схватывает амуницию, бросает под диван.)*

Шервинский. Господа, вы поосторожнее с револьверами! Лучше выбросить. *(Прячет портсигар за портьеру. Все идут к окну, осторожно выглядывают.)*

Студзинский. Ах, я себе простить не могу...

Мышлаевский. Что за дьявольщина...

Лариосик Ах, Боже мой... *(Кинулся известить Елену.)* Елена...

Мышлаевский. Куда ты, черт. С ума сошел... Да разве можно... *(Зажал ему рот.)*

Все выбегают. Пауза Вносят Николку.

Мышлаевский. Тихонько, тихонько... Ленку, Ленку надо убрать куда-нибудь. Алешка-то где же?.. Убить меня мало. Кладите. Кладите... Снегом, снегом...

Студзинский. Ищи рану. Рану ищи.

Шервинский. Голова разбита...

Лариосик. Боже мой, он умирает.

Николка *(приходя в себя)*. О...

Мышлаевский. Говори одно только слово — подстрелили?

Николка. Нет... Я прыгнул, головой ударился. Еле дополз домой... А здесь упал... Швыряю.

Мышлаевский. А Алешка-то где же?

Николка. Господа...

Мышлаевский. Что-о?

Елена стремительно входит.

Мышлаевский. Леночка, ты не волнуйся. Упал он и головой ударился, страшного нет ничего.

Елена. Да его ранили! Что ты говоришь...

Николка. Нет, нет...

Елена. А где Алексей, где Алексей? *(Настойчиво.)* Ты с ним был. Отвечай одно слово, где Алексей?

Студзинский *(Мышлаевскому.)*. Этого не может быть.... не может...

Елена. Что же ты молчишь?

Николка. Леночка, сейчас...

Елена. Не лги, только не лги...

Мышлаевский делает знаки Николке: «Молчи».

Студзинский. Елена Васильевна...

Шервинский. Лена, что вы...

Елена. Ну, все понятно. Убили Алексея.

Мышлаевский. Что ты, что ты, Лена! Успокойся. Что ты, с чего ты взяла?

Елена. Ты посмотри на его лицо. Посмотри. Да что мне лицо. Я ведь знала, чувствовала. Еще когда он ушел. Знала, что так кончится.

Шервинский. Лена, перестаньте. Дайте воды.

Елена. Ларион, Алешу убили, Ларнон. Алешу убили... Позавчера вы с ним в карты играли. Помните? А его убили.

Лариосик. Елена Васильевна, миленькая.

Шервинский. Лена, Лена.

Елена. А вы, старшие офицеры. Старшие офицеры — все пришли домой. А командира убили.

Мышлаевский. Лена, пожалей нас. Что ты говоришь? Мы все исполнили его приказания. Все.

Студзинский. Нет, она совершенно права. Ладно. Я, старший офицер, я свою ошибку поправлю. *(Хочет уйти.)*

Мышлаевский. Куда? Нет, стой.

Студзинский. Убери руки.

Мышлаевский. Ну, нет. Что ж я один останусь. Я один. Ты ни в чем ровно не виноват, ни в чем. Я его видел последний. Предупреждал и все исполнил. Лена!

Студзинский. Капитан Мышлаевский, сию минуту выпустите меня.

Мышлаевский. Отдай револьвер. Шервинский...

Шервинский. Вы не имеете права. Вы что, еще хуже сделать хотите? Вы не имеете права. *(Держит Студзинского.)*

Мышлаевский. Лена, прикажи ему. Все из-за твоих слов. Возьми у него револьвер.

Студзинский *(истерически.)* Никто не смеет меня упрекать. Никто. Никто... Все приказания полковника Турбина я исполнил.

Елена. Никто, никто. Я обезумела. *(Бросает револьвер.)*

Мышлаевский. Николка, говори. Лена, будь мужественна. Мы его найдем. Говори начистоту...

Николка. Убили командира. *(Плачет.)*

Елена. Падает в обморок.

Занавес

КАРТИНА 3-Я

Через три дня. Квартира Василисы Вечер

Василиса. Похоронили?

Ванда. Похоронили. Ужас-то какой. Голый, понимаешь ли, лежал в анатомическом театре, и номер на ноге нарисован.

Василиса. Да дела. А Николка?

Ванда. Без сознания лежит. Доктор говорит, не то сотрясение, не то воспаление мозга.

Василиса. Ну, времячко, что делается.

Ванда. Да, вот тебе и довоевались.

Василиса. Поражают меня твои слова — честное слово. «Довоевались». «Довоевались». Ты как будто злорадствуешь!

Ванда. Ничего я не злорадствую, а просто констатирую факт на лицо.

Василиса. Просил я тебя не употреблять иностранных слов. Нужно сознаться, что поступили они правильно: нужно же было кому-нибудь город защищать от Петлюры. Ты посмотри, что делается, ведь это кошмар!

Ванда. Ну, спасибо, защитили.

Василиса. Что ж они поделают. Их горсточка, а у Петлюры миллионы войска. Немцы-то, мерзавцы, бросили нас. Довоевались! Нужно все-таки соображать!

Ванда. Ты, пожалуйста, меня не учи. Я к тому говорю, что у них все время офицерские сборища на квартире. И сейчас полно. Эти бандиты по всему городу рыщут — явятся, не дай Бог, в наш двор, тебя и спросят, как председателя домкома, есть ли у вас офицеры. Что ты будешь говорить?

Василиса. Что же, прикажете донести на них, что ли?

Ванда. Не донести, а как-нибудь предложить им прекратить эти собрания. Ночуют без прописки.

Василиса. Спасибо, предложи им сама. Как это так я буду им предлагать? Они скажут — к нам гости пришли.

Ванда. Не смеют они так говорить. Ты председатель домкома и за все отвечаешь, что происходит в доме. Тебя самого могут арестовать.

Василиса. Перестань ты меня пилить, ради самого Господа. И какой у тебя удивительно недоброжелательный характер. У людей такое несчастье, а ты думаешь о том, как бы им еще что-нибудь устроить. Если хочешь знать, я отчасти доволен, что они тут. В случае какого-нибудь нападения, вот и защита-то есть.

Ванда. Никакого нападения на мирных людей быть не может. А вот на них — может быть, потому что они в драку ввязываются.

Звонок

Василиса. Кто это может быть?

Ванда. Телеграмма какая-нибудь...

Василиса. Какие теперь к черту телеграммы... Стук.

Ураган *(за сценой)*. Видчиняй!

Василиса. Ты слышишь — ломятся.

Ванда. Да, страшно. *(Крестится, и оба уходят.)*

Стук, глухие голоса.

Ванда *(за сценой)*. Ах, Боже мой...

Василиса *(входя в комнату вместе с Ураганом, Кирпатым и Бандитом в дворянской фуражке)*. Позвольте узнать, панове, по какому случаю?

Ураган. З обыском. Показывай квартиру.

Василиса. С обыском. Видите ли... э... э... панове, я мирный житель, почему же у меня обыск?

Ураган. А почему ты, гадюка, так долго не открывал?

Василиса. Я... я...

Ванда. Помилуйте, мы так испугались. Вы появились так внезапно.

Василиса. А позвольте узнать, от кого же обыск? Может быть, у вас этот... как его... мандат есть?

Ураган. Я тебе покажу сичас Господа Бога твоего мандат...

Ванда. Ах!..

Ураган. Руки вверх!

Василиса. Помилуйте, я совершенно мирный житель...

Ураган. Знаю я тебя, субчика, який ты мирный житель. Кто в квартире?

Василиса. Никого нет, то есть я и жена. Больше абсолютно никого нет.

Ураган. Ты офицер?

Василиса. Какой же я офицер?

Ураган. Оружие есть?

Василиса. Какое же у нас оружие?

Кирпатый. Говори правду. А то мы тебя расстреляем, если что найдем.

Василиса. Ей-бо... *(Хочет перекреститься.)*

Ураган. Руки! Хлопцы, обыщите его.

Бандит обыскивает Василису

Кирпатый *(обыскивает Ванду)*. Богатый домовладелец, а жену не кормит.

Бандит вынимает часы из кармана Василисы.

Василиса. Это часы, панове.

Ураган. Что же я — в Богородицу, боженят и угодников, — слепой, по-твоему? Слепой?

Василиса. Нет, вы не слепой.

Ураган. Незаменимая вещь — часы. Ночью узнать, который час. *(Прячет часы в свой карман.)* Опустить руки. *(Василисе.)* Ну, кажи теперь деньги, е...

Василиса. Какие же у нас деньги?

Ураган *(смотрит на него)*. Нема. Обеднел. Ах, бедолага, бедолага. Поглядите, братцы, на пролетария всех стран. Так нема. *(Яростно.)* Ах ты, сучий хвост! *(Берет Василису за горло.)*

Ванда. Ах, что вы делаете?

Ураган *(Ванде)*. Граммофон умеешь заводить? Заводь.

Ванда в ужасе заводит граммофон. Тот поет: «Куда, куда вы удалились».

Ураган *(Бандиту)*. Показывай, где стукать.

Бандит *(примериваясь от окна)*. На той стене.

Ураган. Хлопцы! Стучить стены. Стучи под книжками. Тут.

Василиса. Ах, Боже мой.

Кирпатый и Бандит выстукивают стенку

Бандит *(радостно)*. Здесь. *(Вынимает пакет.)*

Ураган. О, це здорово. Что ж ты зараза казав «нема», «нема». А це що? Це ж гроши.

Василиса. Помилуйте, здесь так немного. Это заработанные, кровные.

Ураган. Ты знаешь, что тебе полагается за утайку народных сокровищ. Ты ж бандит. Мы тебя расстрелять должны, согласно революционным законам.

Ванда. Что вы!

Ураган. Молчать! *(Граммофон скрипит и останавливается Ванде)* Ну, заводы, заводы опять. *(Граммофон уныло поет «Паду ли я стрелой пронзенный».)*

Бандит *(переворачивает стол)* Ого-го-го!

Весь стол залеплен денежными знаками Бандиты отдирают их, прячут в карман

Ураган. Так, нема, кажешь, денег! Ай-ай-ай!

Василиса. Я больше не буду.

Ванда. Это мы на хозяйство.

Ураган. Молчи, грызма[1]. Баб не спрашивают. *(Василисе.)* Ты ж дурак. Кто ж деньги так прячет? Мы уж в пятой квартире булы, и в каждой деньги налеплены под столами. Интеллигент! Деньги в погребе надо держать.

Василиса *(не помня себя)*. Хорошо.

Ураган. Ну, вот что, хлопцы. Нема часу. Собирайтесь.

Бандит *(берет Василисины ботинки с дивана)*. Яки гарны башмаки!

Василиса. Это шевровые, панове.

Ураган. Так что ж, что шевровые? Так по-твоему, добрый человек не может носить шевровые ботинки? Что ж, он хуже тебя? Ах, ты, сволочь, сволочь. Ты погляди на себя в зеркало: розовый як свинья, нажрал себе морду. Ты посмотри, в чем казак ходит. У него ноги мороженые, рваные. Он за тебя на империалистической

---

[1] В рукописи гризма. Скорее всего здесь: грымза. См У Даля: грымза — старая карга и др.

войне гнил, а ты в это время в квартире сидел, гроши копил, на граммофоне играл. Ты ж паразит на теле трудящегося народа!

Кирпатый. Да убить его треба. Что с ним разговаривать? Он все равно несознательный.

Ванда. Господа, что вы, что вы? Вася, оставь, пожалуйста, пусть.

Ураган. Бери, Василько, ботинки.

Бандит снимает брюки с гвоздика.

Кирпатый. Дорогая вещь. Шевьет. *(Снимает свои рваные штаны, надевает брюки Василисы.)*

Бандит шарит в ящике.

Ураган Да, хлопцы, плюньте на это барахло. Ходим скорее, пока кто-нибудь не помешав.

Бандит что-то шепчет Кирпатому.

Кирпатый *(взглядывает на Ванду, колеблется)*. Нема часу.

Ураган. Бросьте, хлопцы. Нашли тоже. *(Плюет по адресу Ванды.)* Тьфу! *(Василисе.)* Ты посмотри, до какого состояния ты жену довев, что добрые люди на нее и смотреть не хочут. Ну, вот що, уважаемый домовладелец, слухай приказ: из квартиры до утра не выходить, ни якой тревоги не поднимать, никому ничего не заявлять. Бо, если вы поднимете тревогу, так я вам завтра пришлю хлопцев — они вас поубивают як клопов.

Кирпатый. Вы не думайте, що у вас бандиты булы. Це из штаба по предписанию.

Василиса *(робко)*. Из какого штаба, позвольте узнать?

Ураган. Це военная тайна. Садитесь, пане. Пишите расписку.

Василиса. Какую расписку? Виноват. Вам надлежит расписаться, так сказать...

Ураган. Садись, зараза.

Ванда. Вася, сядь, сядь. Напиши.

Василиса *(за столом)*. Что написать-то?

Ураган. Пишите — «вещи при обыске в целости сдал, претензий ниякие не имею» — пишить, «приняв атаман Ураган».

Кирпатый. И меня запиши.

Ураган. Личный адъютант его — Кирпатый, а равно, и понятый *(смотрит на бандита)* Немоляка, и подпишитесь.

Бандит. Хи-хи-хи. Понятый!

Ураган. Давай. Что ж ты пишешь? Ва... Василиса. Ты, что, баба?

Василиса. Я сокращенно: Василий Лисович.

Кирпатый. У него бабья психология.

Ураган. Ну, до свиданья.

Ванда. До свиданья.

Кирпатый, задерживаясь, протягивает Ванде руку. Ванда в ужасе пожимает ее. Кирпатый неожиданно обнимает ее.

Ванда. Вас...

Ураган *(из двери)*. Брось, Кирпатый. Який ты сладкострастный. *(Ванде.)* Да не бойся ты, никому ты не нужна. *(Уходят. Пауза.)*

Василиса. Что это такое? Двадцать пять тысяч золотом. Что же это такое? Господа, господа, что же это такое!

Ванда. Вася, это сон. Вася, это никакой не штаб, Вася, это бандиты. Вася, они хотели меня изнасиловать. Ты видел.

Василиса *(смутно)*. Что? Кто изнасиловать? Ну тебя к черту с твоими глупостями. Изнасиловать. 25 000. Куда бежать? Что теперь делать?

Ванда. Турбины, Турбины!..

Василиса. Турбины, Турбины!.. *(Загремели двери.)*

Мышлаевский. Что вы? Что вы? Что случилось?

Лариосик. Ради Бога, что произошло?

Василиса. Нас ограбили, ограбили...

Ванда. Нас грабят, и никто не слышит. Никто.

Мышлаевский. Помилуйте, как ограбили? Кто? У вас же гости были. Граммофон играл.

Василиса. С музыкой грабили. С музыкой.

Ванда. Это все из-за вас. Офицеров ищут, офицеров. Вася — благородный человек не выдал вас. Мне плохо. *(Падает на руки Мышлаевского.)*

Мышлаевский. Воды ей.

Лариосик. Сейчас. *(Кидается к буфету и обрушивает сервиз.)*

Василиса. Что же, молодой человек, последнее добиваете.

Лариосик. Я куплю вам сервиз.

Василиса. Да, пожалуйста. *(Склоняется к Лариосику на грудь.)*

Лариосик. Я ничего не понимаю.

Занавес

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Через два месяца. Крещенский сочельник 1919 года. Квартира радостно освещена. Убрана елка.

Лариосик. Я полагаю, что эта звезда здесь будет очень у места. Ах, Господи, я свечи уронил.

Елена. Слезайте, Лариосик. А то я боюсь, что вы себе голову разобьете. Ничего, ничего, там еще есть коробка.

Лариосик. Вот елка на ять, как говорит Витенька. Желал бы я видеть человека, который бы сказал, что елка не красива. Дорогая Елена Васильевна, если бы вы знали. Елка напоминает мне невозвратные дни моего детства в Житомире. Огни, елочка... зеленая... *(Испугался. Пауза.)* Впрочем, здесь мне лучше, чем в детстве. Мне не хочется никуда уходить. Так бы и сидел я весь век под елкой у ваших ног, и никуда бы я не ушел.

Елена. Вы бы соскучились. Вы страшный поэт, Лариосик!

Лариосик. Нет, уж какой я поэт! Куда там к чер... Извините, Елена Васильевна.

Елена. Прочтите, прочтите что-нибудь новенькое. Ну прочтите. Мне очень нравятся ваши стихи. Вы очень способны[1].

Лариосик. Вы искренно говорите?

Елена. Совершенно искренно.

---

[1] В рукописи: свободны. Явная опечатка.

Лариосик. Ну хорошо... Хорошо же... Я прочитаю. Посвящается... Ну, одним словом, посвящается... Нет, не буду я вам читать эти стихи.

Елена. Почему?

Лариосик. Нет, зачем.

Елена. Кому посвящается?

Лариосик. Одной женщине.

Елена. Секрет?

Лариосик. Секрет. Вам.

Елена. Спасибо вам, милый...

Лариосик. Что мне спасибо. Эх... из спасибо шинели не сошьешь. Ой, извините. Я от Мышлаевского заразился. Все, знаете такие выражения выражаются...

Елена. Я вижу. По-моему, вы влюблены в Мышлаевского.

Лариосик. Нет, я в вас влюблен.

Елена. Не надо в меня влюбляться, Ларион. Не надо.

Лариосик. Знаете что? Выйдите за меня замуж.

Елена. Вы трогательный, Ларион, только это невозможно.

Лариосик. Он не приедет. А как же вы будете одна. Одна... без поддержки, без участия. Хотя, конечно, я поддержка довольно парш... слабая... Я неудачник. Но я вас очень буду любить. Всю жизнь. Вы мой идеал. Он не приедет. Теперь в особенности, когда наступают большевики. Он не вернется.

Елена. Я знаю, что он не вернется. Но не в этом дело. Если б он даже и вернулся, моя жизнь с ним кончена.

Лариосик. Его отрезали. А у меня сердце обливалось кровью, когда я видел, что вы остались одна. Ведь на вас было страшно смотреть, ей-богу!

Елена. Разве я такая плохая была?

Лариосик. Ужас, кошмар. Худая, лицо желтое-прежелтое.

Елена. Что вы выдумываете, Ларион!

Лариосик. Ой, да разве я могу разговаривать с красавицами? Уж я скажу. Но вы теперь лучше. Гораздо лучше. Румяная-прерумяная.

Елена. Вы, Лариосик, неподражаемый человек. Идите ко мне. Я вас в лоб поцелую. В лоб.

Лариосик. В лоб. Эх... В лоб, так в лоб. Черная моя звезда.

Елена целует его в губы.

Лариосик. Конечно, разве можно полюбить меня?

Елена. Очень даже можно. Только у меня есть роман.

Лариосик. Что? У кого? Роман? У вас? Не может быть.

Елена. Позвольте! Разве уж я не гожусь?

Лариосик. Вы — святая. Кто он? Кто он? Я его знаю?

Елена. И очень хорошо...

Лариосик. Стойте, стойте, стойте, стойте. *(Садится, подумал, вспомнил.)* Молодой человек... вы ничего не видали... Ходи с короля... А я думал, что это сон. Проклятый счастливец.

Елена. Лариосик, это нескромно.

Лариосик. Я ухожу... Я ухожу...

Елена. Куда? Куда?

Лариосик. За водкой, к армянину: напьюсь до бесчувствия.

Елена. Так я вам и позволила. Ларион, я буду вам другом.

Лариосик. Читал, читал в романах... Как другом буду — значит — крышка, конец. *(Надевает пальто.)*

Елена. Лариосик, возвращайтесь скорей. Скоро гости придут.

Лариосик *(открыв дверь, сталкиваясь с входящим Шервинским. Тот в мерзкой шляпе и изорванном пальто.)* Кто это?

Шервинский. Здравствуйте!

Лариосик. Да, здравствуйте, здравствуйте. *(Уходит.)*

Елена. Бог мой, на кого вы похожи?

Шервинский. Ну, спасибо, Елена Васильевна. Я уж попробовал. Сегодня еду на извозчике, а уж какие-то пролетарии по тротуарам так и шныряют, и один говорит: ишь, украйнский барин, погоди до завтра. Завтра мы

вас с извозчиков поснимаем. Мерси! У меня глаз опытный. Поздравляю вас. Петлюре крышка. Сегодня ночью красные будут. Стало быть — Советская Республика и тому подобное.

Елена. Чему же вы радуетесь? Можно подумать, что вы сами большевик.

Шервинский. Я не большевик, но если уж на то пошло, и мне предложат выбор — петлюровца или большевика — простите, предпочитаю большевика. Я — сочувствующий. У дворника напрокат взял пальтишко, беспартийное пальтишко.

Елена. Сию минуту извольте снять эту гадость.

Шервинский. Слушаю! *(Снимает пальто, шляпу, галоши, очки, остается в великолепном фрачном костюме.)* Вот, Лена. Никого дома нет. Как Николка?

Елена. Николка-подлый. Не успел с постели встать, уже улетел вино доставать.

Шервинский. Лена, Лена.

Елена. Пустите. Постойте. Зачем же вы баки сбрили?

Шервинский. Гримироваться удобней.

Елена. Большевиком вам гримироваться удобней. У... Хитрое и малодушное создание. Ну, идите, идите!

Шервинский. Красиво... елка... Лена, пока никого нет... Я приехал объясниться... Можно?

Елена. Объяснитесь.

Шервинский. Лена! Вот все кончилось. Николка выздоровел. Петлюру выгоняют. Я дебютировал... Все хорошо. Больше томиться так невозможно. Он не приедет. Его отрезали. Разведись с ним и выходи за меня. Лена, я не плохой, ей-богу. Я не плохой. Ведь это мучение. Ты одна чахнешь.

Елена. Ты исправишься?

Шервинский. А чего мне, Леночка, исправляться?

Елена. Леонид, я стану вашей женой, если вы изменитесь и, прежде всего — перестанете лгать.

Шервинский. Неужто я такой лгун, Леночка?

Елена. Не лгун вы, а Бог знает, какой-то пустой, как орех. И хвастун. И ведь не глуп и не зол, а между тем... Когда погоны носил — ходил... *(Изображает.)* Что это такое? Лейб-гвардии... гм...

Шервинский. Мама, мма... кхе... Ей-богу, я так никогда не ходил.

Елена. Молчи! Что такое? У нас в доме никогда никто не лгал, и я не хочу, чтобы это прививалось. Срам! Государя императора в портьере видел... и прослезился... и ничего подобного не было... Эта длинная меццо-сопрано, а оказывается — она просто продавщица в кофейне Самадени.

Шервинский. Леночка! Она очень немного служила, пока без ангажемента была.

Елена. У нее, кажется, был ангажемент.

Шервинский. Лена! Клянусь памятью покойной мамы, а также и папы, у нас ничего не было. Я ведь сирота.

Елена. Мне все равно. Не интересны ваши грязные тайны. Мне важно другое — чтобы ты перестал хвастать и сочинять. Срам! Единственный раз мне рассказывая правду, сказал про портсигар, и то никто не поверил. Доказательства пришлось представлять. Фу... Сирота казанский.

Шервинский. Про портсигар я именно все наврал. Гетман мне его не дарил, не обнимал и не прослезился. Просто он его на столе забыл, а я подобрал.

Елена. Стащил со стола? Боже мой! Этого недоставало. Дайте его сюда! *(Отбирает портсигар и прячет.)*

Шервинский. Леночка, вы никому не скажете? Слышите!

Елена. Молчи. Счастлив ваш бог, что вы догадались мне об этом сказать. А если б я сама узнала?

Шервинский. А как бы вы узнали?

Елена. Дикарь!

Шервинский. Вовсе нет, Леночка, я, знаете ли, очень изменился. Сам себя не узнаю, честное слово. Катастрофа на меня подействовала, смерть Алеши тоже. Я теперь иной. А материально, ты не беспокойся, Ленушка. Я ведь — ого-го... Вчера на репетиции... я пою... режиссер говорит: «Вы, говорит, Леонид Юрьевич, изумительные надежды подаете. Вам бы, говорит, надо в Большой театр в Москву ехать». Обнял меня и...

Елена. И что?

Шервинский. И ничего... Пошел по коридору.

Елена. Неисправим.

Шервинский. Лена...

Елена. Что ж мы будем делать с Тальбергом?

Шервинский. Развод, развод! Ты адрес его знаешь. Телеграмму ему и письмо о том, что все кончено, кончено.

Елена. Ну хорошо. Тоскливо мне и скучно, одиноко. Хорошо, согласна.

Шервинский. Ты победил, галилеянин. Лена! *(Указывая на карточку Тальберга.)* Я требую выбросить его вон. Это оскорбление для меня. Я его видеть не могу!

Елена. Ого, какой тон!

Шервинский *(ласково)*. Я его, Леночка, видеть не могу! *(Выламывает портрет из рамы, рвет и бросает в камин.)* Крыса! И совесть моя чиста и спокойна.

Елена. Тебе жабо очень пойдет. Красив ты, что и говорить...

Шервинский. Мы не пропадем.

Елена. О, за тебя я не боюсь, ты не пропадешь.

Шервинский. Лена, поиграй мне. Идем к тебе. А то ведь два месяца мы ни словом не перемолвились. Все на людях, да на людях.

Елена. Да ведь придут сейчас. Ну идем. *(Уходят.)*

Дверь закрывают. Потом слышен рояль. Дверь из передней открывается. Входит Николка с палкой. Снимает студенческое пальто. Голова его завязана черным. Хромает, бледен. Принес вино.

Николка. Елена, Елена... где ты? Красные идут. Петлюра отступает. Ты слышишь? Сейчас город будут занимать. *(Подходит к двери, стучит, потом прислушивается.)* А, репетируют. *(Подходит к рамке портрета.)* А, а... вышибли... Понима... Я давно догадывался...

Входит Лариосик.

Лариосик *(выглянув из передней)*. Николаша, достал?

Николка. Достал, а ты?

Лариосик. И я, представь себе, достал. Единственный раз в жизни мне повезло. Думал, ни за что не достану — такой уж я человек. Погода была великолепная, когда я выходил. Ну, думаю — небо ясно, все обстоит в

природе благополучно, но стоит мне показаться на тротуаре, обязательно пойдет снег. И действительно, вышел, и мокрый снег лепит в самое лицо. Вот она — водочка. Принес. Пусть видит Мышлаевский, на что я способен. Два раза упал, затылком трахнулся, но бутылку удержал в руках.

Николка. Смотри. Видишь? Потрясающая новость... Елена расходится с мужем. Она за Шервинского выходит.

Лариосик *(уронил бутылку, разбил.)* Уже!

Николка. Эх, Лариосик! Эх...

Лариосик. Уже!

Николка. Что ты, Лариосик, что ты? А... а... Понимаю. Тоже врезался.

Лариосик. Николь! Когда речь идет об Елене Васильевне, такие слова, как врезался, неуместны. Понял? Она золотая.

Николка. Рыжая она, Лариосик. Рыжая. Прямо несчастье. Оттого всем и нравится, что рыжая. Все ухаживают. Кто ни видит, сейчас букеты начинают таскать. Так что, у нас все время в квартире букеты, как веники стояли, а Тальберг злился. Давай осколки соберем скорей, а то сейчас Мышлаевский явится. Он тебя убьет.

Лариосик. Ты ему не говори. *(Собирают осколки.)*

Входят Мышлаевский и Студзинский со свертками.

Мышлаевский. Принимайте[1] гостей. Встал Николка. Молодец.

Николка. Я встал, Витенька. Я уже выходил. Винцо принес.

Студзинский *(он резко изменился)*. Ну слава Богу. *(Входят)*. Здравствуйте! Ну, как здоровье? Я очень доволен. Очень. А без палки еще не можете?

Николка. Нет.

Мышлаевский. Ну, отлично. Все в полном порядке. Здорово, Ларион. Гм... Водкой пахнет. Ей-богу, водкой. Кто пил водку раньше времени? Сознавайтесь! Что же это делается в этом богоспасаемом доме? Вы водкой

[1] В рукописи: принимаете. Нюанс, но существенный. В прежних публикациях было: принимайте.

полы моете? Я знаю, чья эта работа. Что ты все бьешь? Что ты все бьешь? Это в полном смысле слова — золотые руки. К чему не притронутся — бьет, осколки. Ну, уж если у тебя такой уж зуд — бей сервизы!

Лариосик *(внезапно озлившись)*. Какое ты имеешь право делать мне замечания? Я не желаю.

Мышлаевский. Чтой-то это на меня все кричат? Скоро бить начнут. Впрочем, я сегодня добрый, почему-то. Мир, Ларион. Мир. Я на тебя уже не сержусь. Ну, братцы — перед елкой и ужином прошу обсуждения вопроса о том, что нам делать дальше. События чрезвычайной важности.

Николка. Правильно! Предлагаю митинг.

Мышлаевский. Можно. Можно.

Студзинский. Что вы все шутите, господа?

Мышлаевский. Какие тут шутки? Дело совершенно серьезное. Ларион, зажигай свечи. Все равно потом винтить сядем.

Лариосик. С большим удовольствием.

Николка берет гитару.

Мышлаевский. Прошу. Предлагаю, господа, в председатели выбрать, как старшего, Сашу.

Студзинский. Увольте, господа.

Николка. Просим, просим!

Студзинский. Шервинский тут. Надо его позвать.

Мышлаевский. Не надо. Ему не до этого. *(Садятся.)*

Николка. Картина — заглядение! Троцкий, если б увидал, в восторг бы пришел. Физиономии у всех сознательные.

Мышлаевский. Итак, Николка, делай доклад. Ты в курсе событий.

Николка. Так вот, события такие: красные разбили Петлюру. Войска вышеупомянутого Петлюры город покидают. Красные входят в него, и завтра, таким образом, здесь получится Советская Республика. А что нам делать — неизвестно.

Студзинский. Вы кончили?

Николка. Кончил. Больше говорить нечего. *(Наигрывает на гитаре.)*

Студзинский. Кто желает слова?

Лариосик. А почему стрельбы нет?

Николка. Тихо — вежливо идут. Нос в хвост этим. И без всякого боя. А главное, удивительнее всего, что все радуются, даже буржуи недорезанные, — до того всем Петлюра надоел.

Мышлаевский. Ну эти придут — дорежут.

Николка. Это удивительное событие. Интересно, как Троцкий выглядит.

Мышлаевский. Увидишь. Итак, капитан, — ваше мнение?

Студзинский. Не знаю. Ничего не понимаю, теперь. Думаю, что лучше всего нам подняться и уйти вслед за Петлюрой. Как мы, белогвардейцы, уживемся с ними — не представляю себе.

Мышлаевский. Куда за Петлюрой?

Студзинский. За границу.

Николка. Правильно, товарищи.

Мышлаевский. А за границей куда?

Николка. А там соберется армия. Встать в ее ряды и биться с большевиками.

Мышлаевский. Опять, значит, к генералам под команду. Это очень остроумный план. Жаль, жаль, что лежит Алешка в земле, а то бы он много интересного бы мог рассказать про генералов. Но жаль — успокоился командир.

Студзинский. Вечная ему память! Не терзайте мою душу. Не вспоминай.

Мышлаевский. Ну, ладно. Его нет. Позвольте, я поговорю. Опять в армию, опять биться. И прослезился... Спасибо, спасибо. Я уже смеялся. В особенности, когда Алешку повидал в анатомическом театре. Довольно! Я воюю с 1914 года. Ну, это было за отечество. Ладно! Отечество, так отечество. Но, когда меня бросили, — позор, — я опять иду к этим светлостям? Ну, нет. Видали? *(Показывает зрительному залу фигу.)* Шиш.

Студзинский. Собрание просит оратора фиг не показывать. Изъясняйтесь словами.

Мышлаевский. Я сейчас изъяснюсь. Будьте благонадежны. Что, я идиот, в самом деле, нет... Я Господу Богу моему штабс-капитан и заявляю, что больше я с

этими сукиными детьми-генералами дела не имею. Я кончил.

Студзинский. Слушай, капитан. Ты упомянул слово «отечество». Какое же отечество, когда Троцкий идет? Россия кончена. Пойми, Троцкий!.. Командир был прав. Помнишь? Вот он, Троцкий.

Мышлаевский. Троцкий. Великолепная личность. Очень рад. Я бы с ним познакомился и корпусным командиром назначил бы.

Студзинский и Николка. Почему?

Мышлаевский. А вот почему. Потому что у Петлюры, вы говорили — сколько? Двести тысяч. Вот они, эти двести тысяч, салом пятки подмазали и дуют при одном слове «большевик». Видал. Чисто. Потому, что Троцкий глазом, а за ним богоносцы тучей. А я этим богоносцам что могу противопоставить? Рейтузы с кантом. А они этого канта видеть не могут. Сейчас за вилы берутся. Не угодно ли? Спереди — красногвардейцы, как стена. В задницу — спекулянты и всякая рвань с гетманом, а посередине... Да! Слуга покорный. Мне надоело изображать навоз в проруби. Кончен бал.

Николка. Он Россию прикончил.

Студзинский. Да они нас все равно расстреляют. *(Шум.)*

Мышлаевский. И отлично сделают. Заберут в чеку, по матери обложат и выведут в расход. И им спокойнее, и нам...

Николка. Я с ними буду драться.

Мышлаевский. Пожалуйста. Надевай шинель, валяй. Дуй! Шпарь к Троцкому — крнчи ему: не пущу! Тебя с лестницы уже сбросили раз.

Николка. Я сам прыгнул, господин капитан.

Мышлаевский. Голову разбил. А теперь ее тебе и вовсе оторвут. И правильно, не лезь. Теперь пошли дела богоносные.

Лариосик. Я против ужасов гражданской войны. Зачем проливать кровь?

Мышлаевский. Правильно! Ты на войне был?

Лариосик. У меня, Витенька, белый билет. Слабые легкие и кроме того — я единственный сын у моей мамы.

Мышлаевский. Правильно, товарищ белобилетчик. Присоединяюсь, товарищи. *(Шум.)*

Николка *(напевает)*.

Была у нас Россия
Великая держава...

Мышлаевский. Закрывай, Саша, собрание. А то Троцкий дожидается: входить ему или не входить. Не задерживай товарища.

Входят Елена и Шервинский. У Шервинского в руках открытая бутылка шампанского

Николка. Встать, смирно!

Шервинский. Пожалуйста, пожалуйста. Заседаете? Я имею заявление. Вот что: Елена Васильевна Тальберг разводится с мужем своим, бывшим полковником генерального штаба Тальбергом, и выходит за... *(Указывает рукой.)*

Лариосик. А...

Мышлаевский. Брось, Ларион. Куда нам с суконным рылом в калашный ряд. *(Шервинскому.)* Честь имею вас поздравить. *(Шервинскому.)* Ну, и ловок же ты, штабной момент.

Студзинский. Поздравляю вас, глубокоуважаемая Елена Васильевна.

Мышлаевский. Ларион. Поздравь. Неудобно.

Лариосик. Поздравляю вас и желаю вам счастья.

Мышлаевский. Лена ясная. Но ты молодец. Молодец. Ведь какая женщина. По-английски говорит. На фортепьянах играет, в то же время самоварчик может поставить. Я бы сам бы на тебе, Лена, с удовольствием женился.

Елена. Я бы за тебя, Витенька, не вышла...

Мышлаевский. Ну и не надо. Я тебя и так люблю, а сам я, по преимуществу, человек холостой и военный. Люблю, чтобы дома было уютно без женщин и детей, как в казарме.

Николка. Портянки чтобы висели...

Мышлаевский. Прошу без острот. Ларион, наливай.

Шервинский. Погодите, господа. Не пейте это вино. Я вам шампанского налью. Вы знаете, какое это

винцо! Ого-го-го! *(Оглянувшись на Елену, увял.)* Обыкновенное, Абрау-Дюрсо, три с полтиной бутылка, среднее винишко.

Мышлаевский. Ленина работа. Лена рыжая — а ты молодец. Шервинский, женись, ты совершенно выздоровеешь.

Шервинский. Что за шутки, я не понимаю?

Елена. Виктор, что же ты не выпьешь шампанского?

Мышлаевский. Спасибо, Леночка, я водки выпью.

Дверь открывается и в переднюю входит Тальберг Он в штатском, с чемоданом. Снимает пальто.

Тальберг. Дверь почему-то не заперта. *(Появляется на пороге. Наступает мертвая тишина.)*

Мышлаевский. Это номер...

Тальберг. Виноват. Кажется, мое появление удивляет почтенное общество. Здравствуй, Лена. *(Молчание.)* Немного странно. Казалось бы, я мог больше удивиться, застав на своей половине столь веселую компанию в столь трудное время. Здравствуй, Лена. *(Молчание. Пожимает плечами.)* Что это значит?

Шервинский. Вот что... *(Встает.)*

Елена. Погоди... Вот что... Господа, прошу вас, выйдите все на минутку, оставьте нас вдвоем с Владимиром Робертовичем...

Шервинский. Лена, я не хочу...

Мышлаевский. Постой, постой. Все уладим. Соблюдай спокойствие. Ты слушайся. Вытряхиваться нам, Леночка?

Елена. Да, уйдите. Я все улажу.

Мышлаевский. Я знаю — ты умница. В случае чего — кликни меня персонально. Ну, что ж господа... Покурить пойдем к Лариону. Капитан, не смущайся. Это сплошь и рядом случается в высшем обществе. *(Шервинскому.)* Я тебя прошу. Я отвечаю. Прошу господа...

Все выходят, причем Лариосик почему-то на цыпочках.

Шервинский. Послушай...

Мышлаевский. Я тебя умоляю. *(Дверь закрывается.)*

Тальберг. Что все это означает? Прошу объяснить. *(Пауза.)* Что за шутки? Где Алексей?

Елена. Алексея убили.

Тальберг. Как? Не может быть. Когда?

Елена. Через два дня после твоего отъезда.

Тальберг. Ах, Боже мой, это, конечно, ужасно. Но ведь я же предупреждал. Ты помнишь.

Елена. Да, помню.

Тальберг. И согласитесь, это никак не причина для этой, я бы сказал, глупой демонстрации. Я же не виноват в его смерти. *(Пауза.)*

Елена. Скажи, как же ты вернулся? Ведь сегодня большевики уже будут.

Тальберг. Я прекрасно в курсе дела. Гетманщина оказалась глупой опереткой. Я решил вернуться и работать в контакте с Советской властью. Нам нужно переменить[1] вехи. Вот и все.

Елена. Так! Я, видишь ли, с тобой развожусь и выхожу замуж за Шервинского.

Тальберг *(после долгой паузы.)* А... теперь все понятно. Ага! Очень хорошо! Очень хорошо! Воспользоваться моим отсутствием для устройства пошлого романа. Ты...

Елена. Виктор...

Вбегают Шервинский и Мышлаевский.

Шервинский. Милостивый государь — вон!

Мышлаевский. Что ты, что ты, так нельзя!

Елена. Леня, я тебе запрещаю.

Тальберг. Нахал!

Елена. Леня, если ты сделаешь хоть одно движение, больше ты меня не увидишь.

Мышлаевский. Сию минуту замолчи. Лена, ты меня уполномачиваешь объясниться.

Елена. Да! Имей в виду: я или он.

Мышлаевский. Понял. Леонид, удаляйся.

---

[1] В других списках было: политические вехи. Уточнение не нужное в данном случае, а потому автор убрал это словечко.

Елена уводит Шервинского

Мышлаевский. Итак, простите, вам придется оставить этот дом.

Тальберг. Я с вами не желаю разговаривать, пьяница.

Мышлаевский. Кто пьяница? Кто?.. Верно! Я пьяница. Пью. Алкоголик, так называемый, но не... Не хочу говорить... Я сегодня добрый. Итак, вам нужно удалиться и разводиться.

Тальберг. Я сам не останусь здесь ни секунды.

Мышлаевский. Если вам нужна комната, я вам могу предоставить свою. Я все равно здесь все время.

Тальберг. К черту! Я не нуждаюсь!

Мышлаевский. До чего я сегодня добрый. Чего же вы сердитесь?

Тальберг. Завтра же развод. Передайте это, пожалуйста, мадам Шервинской!

Мышлаевский. Непременно. Очень хорошо.

Тальберг. Я... вы... это... *(идет в переднюю, одевается, берет чемодан и выходит.)*

Входит Лариосик.

Лариосик. Уже уехал?

Мышлаевский. Все улажено.

Лариосик. Ты гений, Витенька.

Мышлаевский. Я гений, Игорь Северянин. Чуть не изгадил радостный вечер. Голубчик, не в службу, а в дружбу, закрой дверь за ним. Я сейчас. *(Уходит.)*

Лариосик *(идет в переднюю и сталкивается с Василисой и Вандой)*. Ах, очень приятно.

Василиса. Здравствуйте, молодой человек. А мы к Елене Васильевне.

Лариосик. Как же, как же, мы ждем. Пожалуйте...

Ванда. Ах, Боже мой! Елочка. Как это вы, в такое время, умеете все устроить. А куда же дорогой гость вышел?

Василиса. Да, да... Вернулись ведь, а? Владимир Робертович. Вот обрадовалась, наверно, Елена-то Васильевна, а?

Лариосик. Да, да... очень.

Ванда. Куда же это? Смотрим — с чемоданом.

Василиса. Растерянный[1] такой. Не узнал нас даже.

Лариосик. Да, с чемоданом. Это, видите ли, он экстренно уехал. Понимаете ли... Вот это... в как его... в Воронеж[2].

Василиса. Скажите пожалуйста. А зачем?

Лариосик. Зачем?... За этим... *(Зовет.)* Виктор, Виктор!

Мышлаевский *(входя)*. А! А! Милости просим. Мое почтение. Елена Васильевна очень обрадуется.

Ванда. Куда же это Владнмир-то Робертович уехал? А?

Мышлаевский. Да, да... знаете... Как же, в Харьков, экстренно. Дела... дела...

Василиса. В Харьков? А Ларион Ларионович... Как же?

Мышлаевский. Фу, ты черт... я-то хорош... Вот голова... Знаете ли, тут Петлюра уходит... Большевики... Ну, и того... В этот ну, как его, ах ты Господи... Ларион... куда бишь он уехал?

Лариосик. В Воронеж.

Мышлаевский. А я — в Харьков! Вот голова-то. И что там делать в Харькове? Дрянной городишко. Натурально в Воронеж. Лена... Лена... гости... *(Все входят.)*

Елена. Очень, очень приятно.

Ванда. Соскучились мы внизу. Пойдем, говорю, Вася, к Елене Васильевне.

Василиса. Да, уж такой вечер... Как-то, знаете, одним сидеть тоскливо. Тем более такая перемена. Мое почтение, господа... Как вы себя чувствуете?

Николка. Покорнейше вас благодарю. Вот поправляюсь.

Ванда. До сих пор с палочкой. Ай-ай-ай!

Елена. Ну, милости просим, прямо к ужину. Никол, зажги елку.

Николка освещает елку электричеством.

Мышлаевский. Прошу...

---

[1] В других публикациях — рассеянный.

[2] В других публикациях — Житомир.

Василиса. Покорнейше благодарю.

Елена. Ванда Степановна, пожалуйте. Александр Брониславович. *(Усаживаются.)* У нас обычай — каждый сам себя угощает.

Шервинский *(Ванде)*. Вам позволите белого вина?

Ванда. Ах, немножко. Мерси! Мерси!

Мышлаевский. А вам водочки?

Ванда. Вася, тебе вредно. Не забудь.

Мышлаевский. Что вы, что вы, какой от водки вред?

Василиса. Покорнейше благодарю. Ну так за здоровье дорогой хозяюшки.

Ванда. Владимир-то Робертович уехал как не вовремя.

Мышлаевский. Да, да... Дела... Дела... В Житомир... в Житомир...

Елена. Да. Ваше здоровье!

Мышлаевский. Ларион, говори речь.

Лариосик. Что же, если обществу угодно — я скажу. Только прошу извинить. Ведь я не готовился. Мы встретились в самое трудное и страшное время, и все мы пережили очень, очень много... И я в том числе. Я, видите ли, перенес жизненную драму, и мой утлый корабль долго трепало по волнам гражданской войны.

Мышлаевский. Очень хорошо про корабль, очень...

Студзинский. Тише.

Лариосик. Да, корабль. Пока его не прибило в эту гавань с кремовыми шторами, к людям, которые мне так понравились. Впрочем, и у них я застал драму. Василис... Василий Иванович, я сервиз куплю вам, честное слово...

Ванда. Да уж...

Василиса. Да уж пожалуйста... А то совершенно обездолили. На блюдечках едим.

Лариосик. Впрочем, не стоит вспоминать о печалях. Время повернулось. Вот сгинул Петлюра... Мы живы и здоровы. Все снова вместе. И даже больше того. Вот Елена Васильевна... она тоже много перенесла и заслуживает счастья, потому что она замечательная женщина.

Мышлаевский. Правильно, товарищи! *(Выпивает рюмку водки.)*

Лариосик. И мне хочется ей сказать словами писателя: «Мы отдохнем, мы отдохнем»...

За сценой глухой и грузный пушечный удар. За ним другие — девять.

Мышлаевский. Так! Отдохнули! Пять, шесть, девять.

Ванда. Боже мой, опять начинается! Вася, нужно домой.

Елена. Неужели бой опять?

Шервинский. Спокойствие. Знаете что? Это салют.

Мышлаевский. Совершенно верно. Шестидюймовая батарея салютует!

Николка. Поздравляю вас, в радости дождамшись. Они пришедши, товарищи!

Мышлаевский. Ну что же? Не будем им мешать. Тащите карточки, господа. Кто во что, а мы в винт. Буду у тебя, Лена, сидеть сорок дней и сорок ночей, пока там все придет[1] в норму. А засим поступлю в Продовольственную Управу. Василий Иванович, не угодно ли роббе-рок?[2] А?

Василиса. Покорнейше благодарим. Уж я и не знаю. Домой бы.

Мышлаевский. Успеем. Прошу...

Ванда. Вася по крупной не играет...

Мышлаевский. Помилуйте, мы по маленькой... У меня пиковая девятка. Ларион, бери!

Лариосик. У меня, конечно, тоже пики.

Мышлаевский. Сердца наши разбиты. Ничего. Не унывай. Прошу, капитан. Черт. У всех пики. Николка, выходи!

Николка выходит и зажигает елку, потом берет гитару.

Мышлаевский. Вот здорово... Черт, уютно.

Николка. Как в казарме.

Мышлаевский. Прошу без острот!

---

[1] В других публикациях: не придет в норму.

[2] См Даля роббер — в картежной игре вист, несколько игр, составляющих как бы одну игру, по расчету.

Лариосик. Огни... огни...

Студзинский. Сыграйте, Никол, вашу юнкерскую на прощание.

За карточным столом усаживаются Студзинский, Мышлаевский, Лариосик и Василиса.

Мышлаевский. Только не громко, а то влетит вам по шапке за юнкерские песни. *(Тасует карты.)*

Николка *(напевает)*. Вставай, там-там, тата там та...

Мышлаевский. Вставай! Только что уютно уселся и опять вставай! Нет, уж я не встану, дорогие товарищи, как я уже имел честь доложить. Меня теперь клещами отдирай! *(Сдает.)*

Елена. Николка, спой «Съемки».

Николка *(Поет, выходя с гитарой к рампе.)*

Прощайте, граждане,
Прощайте, гражданки,
Съемки закончились у нас...
Гей, песнь моя, любимая...
Буль-буль бутылочка
Казенного вина..

За сценой начинается неясная оркестровая музыка. Оркестровая музыка за сценой странно сливается с Николкиной гитарой.

Елена. Идут, Леонид, идут. *(Убегает с Шервинским к окну.)*

Василиса вскакивает.
Ванда тоже вскакивает
За ломберным столом подпевают Николке.

Николка.

Уходят и поют,
Юнкера гвардейской школы,
Их трубы и литавры,
Тарелки звенят...
Граждане и гражданки
Взором отчаянным
Вслед юнкерам
Уходящим глядят...

Лариосик. Господа, слышите, идут! Вы знаете — этот вечер — великий пролог к новой исторической пьесе...

Мышлаевский. Но нет, для кого пролог, а для меня — эпилог. Товарищи зрители, белой гвардии — конец. Беспартийный штабс-капитан Мышлаевский сходит со сцены. У меня пики.

Сцена внезапно гаснет. Остается лишь освещенный Николка у рампы.

Николка.

Бескозырки тонные
Сапоги фасонные...

Гаснет и исчезает.

Занавес

Конец

КРАТКИЕ КОММЕНТАРИИ

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. *Роман.*

Впервые: журнал «Россия», 1925, №№ 4 и 5 (первые 13 глав) , № 6 с окончанием романа (7 глав) так и не вышел в связи с закрытием журнала. Полностью. Булгаков Мих. Дни Турбиных (Белая гвардия) . Париж, Concorde, т.1, 1927, т 2, 1929

Роман посвящен Любови Евгеньевне Белозерской (1895—1987), в 1924—1932 гг. жена М А Булгакова.

Многие современники М А Булгакова и его родственники были крайне удивлены и раздосадованы этим посвящением. Татьяна Николаевна Лаппа (1891—1982), первая жена М.А.Булгакова, вполне резонно утверждала, что роман был посвящен ей. После смерти М.А.Булгакова, 5 марта 1956 года, сестра М А , Надежда Афанасьевна Земская (1893—1971), писала Елене Сергеевне Булгаковой (1893—1970), душеприказчице М А

Милая Люся!

Я знаю, что теперь работаешь над подготовкой Мишиного архива для сдачи его в Пушкинский дом. В связи с этим я хочу написать тебе мое мнение о посвящениях на произведениях брата Миши.

Я знаю, что были случаи, когда посвящения у него выпрашивали, что он был против посвящений и в последнее время собственноручно снимал все посвящения со своих произведений Поэтому я думаю, что не надо оставлять посвящения ни на одном из его произведений.

Особо следует сказать о посвящении на печатных экземплярах романа «Белая гвардия» Там стоит «Любови Евгеньевне Белозерской» Когда я впервые прочитала это посвящение, оно было для меня совершенно неожиданным и даже больше того — вызвало тяжелое чувство недоумения и обиды. Михаил Афанасьевич писал «Белую гвардию» до своего знакомства с Любовью Евгеньевной. Я сама видела в 1924 году рукопись «Белой гвардии», на которой стояло «Посвящается Татьяне Николаевне Булгаковой», т е. первой жене брата Миши... И это было справедливо: она пережила с Мишей все трудные годы его скитаний, после окончания Университета, в 1916—1917 году, и в годы гражданской войны, она была с ним в годы начала его литературной деятельности. Об этом есть свидетельства и в его письмах и в рассказах начала двадцатых годов. Роман «Белая гвардия» создавался при ней.

Поэтому снятие ее имени и посвященье романа «Белая гвардия» Любови Евгеньевне было для нас, сестер Михаила Афанасьевича, и неожиданным, и неоправданным.

Это мое мнение разделяет и сестра Вера (Вера Афанасьевна Булгакова, 1892 — 1973), которая тоже видела рукопись романа «Белая гвардия» с посвящением Татьяне Николаевне Булгаковой.

Я прошу тебя не оставлять никаких посвящений ни на одном произведении Михаила Афанасьевича, в том числе снять посвящение и с «Белой гвардии». Да ты и сама знаешь, что Михаил Афанасьевич снимал все посвящения со своих произведений, говоря, что не нужно их.

Написать тебе это письмо я считаю своим долгом, так как думаю, что моя просьба о снятии посвящений совпадает с волей брата Миши». (ОР РГБ, ф. 562, к. 35, ед. хр.4) .

В.И. Лосев, цитируя это письмо, соглашается с Н.А.Земской: «Правильнее было бы это посвящение не печатать». (См.: Михаил Булгаков. Из лучших произведений, Москва, Изофакс, 1993, с.610.)

И Е С. Булгакова тоже хотела бы снять посвящение, во всяком случае такие попытки и у нее были: из первой публикации романа в журнале «Россия», сброшюрованной в один том, Е С. сняла посвящение, но в первой книжной публикации романа с ее, естественно, согласия посвящение осталось. (См.: Избранная проза, М., 1966, с.III.)

Воля Михаила Афанасьевича для нее была священна. К тому же она знала, что Любовь Евгеньевна вошла в жизнь М.А., как праздник, как любимая, желанная женщина, как умная, талантливая рассказчица, переводчица необходимых ему книг с иностранных языков... К тому же она знала еще и о том, что «Белую гвардию» Булгаков действительно начал писать при Татьяне Николаевне, а заканчивал роман при Любови Евгеньевне...

Так что этот вопрос не стоит даже и обсуждать: посвящение должно оставаться, хотя читатели должны помнить всегда и о Татьяне Николаевне, в которую М.А. тоже был влюблен и которая прошла с ним самые, может быть, трудные дороги Жизни.

КРОМЕ ТОГО, НЕОБХОДИМО ПОЯСНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

«...И судимы были мертвые»... — цитата из Апокалипсиса.

Велик был год... — не раз М.А. в своих произведениях, письмах, выступлениях подчеркнет, что он испытал в Киеве за полтора года гражданской войны и революции: борьба за власть между большевиками, Центральной Радой, Гетманом, белогвардейцами, Петлюрой несла с собой непредсказуемость декретов, приказов и постановлений. Человеческая жизнь в ходе последовательных смен власти в сущности ничего не стоила, а потому эти годы и были страшными.

Отец Александр — священник киевской церкви Николы Доброго, друг А.И. Булгакова, профессор Киевской духовной академии А.А. Гла-

голев: венчал М А.Булгакова и Татьяну Николаевну Лаппа, отпевал Варвару Михайловну, мать М А , в феврале 1922 года.

«Саардамский Плотник» — роман П Р.Фурмана (1809—1856), написан в 1849 году, роман о юности Петра I многократно переиздавался

Василий Иванович Лисович — по косвенным свидетельствам, биографы М.А. установили, что прототипом Василисы мог быть владелец дома № 13 по Андреевскому спуску, в котором Булгаковы снимали верхний этаж, инженер Василий Павлович Листовничий.

Рисунок: рожа Момуса — в греческой мифологии божество злословия. По совету Мома-Момуса Зевс начал Троянскую войну. В конце концов Зевс изгнал Мома с Олимпа за его постоянное злословие против богов. (См.: Мифы народов мира, т.2, с.170) **«Бей Петлюру!»** — Петлюра Симон Васильевич (1879—1926), один из лидеров Украинской социал-демократической рабочей партии (УСДРП), один из организаторов Центральной Рады и Директории (1917 — 1918), вождь крестьянского движения на Украине против немецких захватчиков и гетмановщины С 1920-го — эмигрант. Убит в Париже.

Я взял билет на «Аиду» — опера Верди (1813 — 1901) написана в 1870 году в честь торжественного открытия Суэцкого канала. Это еще одно свидетельство влюбленности М.А. в оперное искусство. В романе, как и вообще в творчестве, Булгаков не раз вспомнит те или иные оперы, такие, как «Фауст» Ш.Гуно, «Кармен» Бизе, «Гугеноты» Мейербера, «Нерон» Рубинштейна, «Пиковую даму» Чайковского и другие музыкальные произведения. По свидетельству родственников и друзей, М.А. Булгаков обладал хорошим баритоном и иной раз подумывал в юности об оперной карьере.

«Господин из Сан-Франциско» — рассказ И.Бунина, опубликован в 1915 году.

Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. — Абсурд в том, что немцы, потерпев поражение на Западном фронте, продолжали властвовать на Украине, поддерживая Гетмана. Петлюровцы часто нарушали нейтралитет, уничтожая отдельные отряды мародерствующих немцев. Украинские крестьяне во главе с Петлюрой вели патриотическую освободительную борьбу как против немцев, так и против большевиков Революция в Германии ускорила эвакуацию немцев с российских земель.

Над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича — Некоторые биографы и исследователи считают, что Булгаков в образе Мышлаевского изобразил Н Н.Сынгаевского, поражавшего своих друзей и знакомых «странной и печальной красотой». (См.: ОР РГБ, ф.218, к.1269, ед. хр.6)

Это местные мужички-богоносцы достоевские. — Мышлаевский вспоминает здесь роман Достоевского «Бесы», фразу Шатова: « ..единый народ — «богоносец» — это русский народ», и иронизирует по сему поводу.

Скверно действовали на братьев клиновидные... погоны... — здесь отчетливо выражено отрицательное отношение к службе у Гетмана, на-

сильственно, как и сейчас, насаждавшего украинизацию даже в исконно российских областях и губерниях

Сердюки. — Гвардейские полки Скоропадского, разложившиеся к концу 1918 года, часть сердюков перешла на сторону Петлюры, часть дезертировала.

Тальберг... арестовал знаменитого генерала Петрова. — Скорее всего Булгаков имел в виду генерала Николая Иудовича Иванова (1851 — 1919), командующего Юго-Западным фронтом в Первую мировую войну, а в начале Февральской революции по приказу царя двинул свои войска на Петроград, но потерпел неудачу по субъективным и объективным причинам Участвовал в белоказачьем движении под командованием атамана П Н.Краснова.

Игнатий Перпилло — на самом деле «Украинская грамматика», опубликованная в Киеве в 1918 году, принадлежала перу П Терпило.

В апреле восемнадцатого... выбирали «гетьмана всея Украины» — 29 апреля 1918 года была создана Украинская держава во главе с Гетманом Павлом Петровичем Скоропадским (1873 — 1945), сыгравшим отрицательную роль в становлении украинской государственности. К власти пришел, пусть и кратковременной, с помощью германских штыков. Эмигрировал в Германию, где спокойно доживал свой век

Настоящая сила идет с Дона... в мае, мы придем в Город. — Действительно, к концу 1918 года Добровольческая армия под руководством Антона Ивановича Деникина (1872 — 1947) накопила военную силу и вскоре начала наступательные действия против Красной Армии В Киев Добровольческая армия вошла в августе 1919 года.

Там же пятнадцать «катериною», девять «петров», десять «николаев первых» — дореволюционные деньги достоинством в 100, 500 и 50 рублей соответственно.

На кресле... «Чертова кукла» — юмористическая газета «Чертова перечница» основана в Петрограде, в Киеве стала выходить под редакцией Н.Василевского (Не-Буквы), А.Аверченко А Бухова и др. в середине 1918 года.

Голым профилем на ежа не сядешь! — строчка из «Чертовой перечницы»

Арбуз не стоит печь на мыле. — Эти и последующие стихотворные строчки — из «Азбуки Чертовой перечницы», составлены на манер «Семинарской азбуки», которую можно было исполнять только в мужской компании

Вся Александровская императорская гимназия. — Так назвали Первую Киевскую гимназию в честь основателя ее Александра Первого в ознаменование ее столетия в 1911 году.

Сволочь он... Был Курицкий, а стал Курицький. — Здесь Булгаков еще раз возвращается к больной для него теме — насильственной украинизации русских областей Украины.

Мобилизация... Да ведь если бы с апреля месяца он начал бы формирование офицерских корпусов. — В декабре 1918 года Гетман понял, что

его фальшивая украинизация оттолкнула русских офицеров в Киеве, не пожелавших защищать самостийную Украину. 16 ноября 1918 года в «Киевской мысли» появились призывы к совместной «работе над воссозданием единой России на федеративных началах» Но было поздно. мобилизованные русские офицеры уже ничего не могли сделать, не помогли и возвращенные трехцветные флаги как символ общей российской государственности. Эта противоречивая позиция Скоропадского продиктована немецким командованием, не терпевшим патриотически настроенное русское офицерство, вполне способное, как и в Первой мировой войне, повернуть штыки против немцев.

Да ведь Вильгельма же тоже выкинули — Вильгельм II Гогенцоллерн (1859 — 1941), германский император и прусский король в 1888 — 1918 гг., свергнут с престола в ходе ноябрьской революции 1918 года.

На Руси возможно только одно... — Мышлаевский, только что видевший спектакль по пьесе Д С. Мережковского «Павел I», вспоминает слова генерала Талызина. «Российская империя столь велика и обширна, что, кроме государя самодержавного, всякое иное правление неудобовозможно и пагубно . Одна Россия, как некий колосс непоколебимый, стоит, и основание этого колосса — вера православная, власть самодержавная». (См Д С.Мережковский. Собрание сочинений в четырех томах. М , изд-во «Правда», т.3, с.59—60.)

...глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал...: «Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя...» ...Святая Русь — страна деревянная...— Алексей Турбин возмутился рассуждениями писателя Карамзинова в романе Достоевского «Бесы» «Святая Русь — страна деревянная, нищая и . .опасная .. Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь. . Русскому человеку — честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его историю. Открытым «правом на бесчестье» его скорей всего увлечь можно .» (Ф Достоевский СС в 12 томах, М ,1982, т 8, 385 стр) Прекрасный человек Алексей Турбин с гневом прогнал «маленького роста Кошмар», глумливо говорившего эти кощунственные для него слова

...открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный... клуб «Прах». — Названия придуманы автором, в действительности в то время в Киеве давали свои представления такие театры, как «Кривой Джимми» и ему подобные театры типа «варьете». А «Прах» — это скорее всего Киевский литературно-артистический клуб — «Клак», о котором упоминает И.Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь». (М., 1961, книга первая и вторая) «Я туда частенько приходил. После очередиого переворота некоторые завсегдатаи исчезали: уходили с армией или, как говорил философический швейцар, их хватали за шиворот». Оставшиеся пели или слушали пение, читали стихи, ели биточки» (с.461) .

На Лысой Горе произошел взрыв. — 24 мая 1918 года произошли взрывы на складах артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ. Как

утверждают историки, около двухсот человек погибло и около десяти тысяч осталось без крова.

Среди бела дня, на Николаевской улице... — Это произошло 30 июля 1918 года.

Галльские петухи в красных штанах, на далеком европейском Западе. — В мае 1918 года начали военные действия против Германии США. Франция, успешно взаимодействуя с американскими войсками и войсками союзников, выиграла несколько сражений. В итоге — капитулировали Болгария, Турция, Австро-Венгрия. 11 ноября 1918 года капитулировала Германия.

Генрик Сенкевич в облаке и ядовито ухмыльнулся. — Польский писатель (1846—1916), автор замечательных исторических романов «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыёвский», «Камо грядеши», «Крестоносцы»... Лауреат Нобелевской премии. Здесь Булгаков подчеркивает национально-патриотическую направленность его творчества.

Затем появился писатель Винниченко — Владимир Кириллович Винниченко (1860—1951), автор романов «На весах жизни» (1911), «Заветы отцов» (1914); после Февральской революции занимал крайне националистическую позицию, был одним из организаторов Центральной Рады и Директории, одно время возглавлял правительство Украины. С 1920-го — эмигрант. В 1991 году вышла его «Забытая книга» в Москве

Неизвестное, таинственное имя — консул Энно — французский консул в Одессе, сыгравший немалую роль в период гражданской войны на Украине.

Да-с, вот тебе и взбунтовался против Петлюры! Полковник Болботун. — Как утверждают некоторые исследователи романа, прототипом полковника Болботуна послужил полковник П.Болбочан, яркая историческая личность, так и не нашедшая себя в ходе бурных событий гражданской войны: то командовал полком в армии Скоропадского, затем перешел на сторону Петлюры и, разочаровавшись в программе и личности Петлюры, попытался поднять против него свои отряды. За что и был расстрелян

Михаил Семенович Шполянский — Виктор Борисович Шкловский (1893—1984), литературовед, прозаик, сценарист, на вопрос М.О Чудаковой, действительно ли Булгаков в образе Шполянского показал его, Шкловского, ответил, что многие факты его биографии совпадают с фактами биографии Шполянского, который, как и он, служил в броневом дивизионе и действительно «засахаривал гетманские машины». (См : Жизнеописание Михаила Булгакова, с.337—342)

Суржанский... Ларион... Ну, знаменитый Лариосик. — По воспоминаниям Татьяны Николаевны Лаппа-Булгаковой, прототипом Лариосика стал Н.Н.Судзиловский, двоюродный брат Леонида Сергеевича Карума, мужа Варвары Афанасьевны Булгаковой.

Несчитанной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрельцов — полки украинцев, воевавших на стороне Австро-Венгрии в Первой мировой войне и попавших в русский плен. Сформированные из

этих военнопленных, сечевые полки стали крепким ядром армии Петлюры.

За Козырем пришел лихой, никем не битый черноморский конный курень имени гетмана Мазепы — Иван Степанович Мазепа (1644—1709), гетман Украины с 1687 по 1708 год. Мечтал об отделении Украины от России, и накануне Полтавской битвы решил, что такой момент настал: предал Петра и переметнулся на сторону Карла XII. Символ трусости, коварства и предательства. Лишь ярые нацибиалисты считают его имя знаменем своего движения, своей партии.

Имя славного гетмана — здесь употребляется в ироническом смысле.

...сидел Богдан Хмельницкий. — Гетман Украины (1595—1657), славный сын украинского народа, вождь освободительного восстания против захватнической Польши. В январе 1654 года на Переяславской раде провозгласил воссоединение Украины с Россией и направил послов в Москву для переговоров

Пэтурра. Было его жития в Городе сорок семь дней... подлетел февраль и завертелся в метели — 3—5 февраля 1919 года полки Петлюры покинули Киев В город вошли части Красной Армии.

Это вы большевиков ангелами? Согласен. — Булгаков не без удовольствия вкладывает эту реплику в уста Алексея Турбина. По Далю ангел — это злой дух, диавол, сатана. И Троцкий, предводитель большевиков, часто упоминается именно в этом смысле, как предводитель ангелов...

А настоящее его имя по-еврейски Ава́ддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель. — В иудаистической мифологии олицетворение поглощающей, скрывающей и бесследно уничтожающей ямы пропасти преисподней (шеол) , фигура, близкая к ангелу смерти... В христианской мифологии А., называемый по-гречески Аполлион , ведет против человечества в конце времен карающую рать чудовищной «саранчи» (Апокалипсис) (См.: Мифы народов мира, т.1, с.23)

Публикуется по расклейке книги: Михаил Булгаков. Белая гвардия. М., Современник, 1990. Сверено с версткой романа «Дни Турбиных» (Белая гвардия), кн.1 и 2, Париж, 1927 и 1929, хранящейся в ОР РГБ, ф. 562, к.3, ед.хр.1, к.3, ед.хр.2.

ДНИ ТУРБИНЫХ. *Пьеса в четырех действиях.*

5 октября 1926 года — премьера в МХАТе. Постановка И.Судакова под руководством К С. Станиславского при участии М.А. Булгакова. Вспоминая работу над постановкой и участие в ней М.А. Булгакова, Станиславский писал: «Вот из него может выйти режиссер. Он не только литератор, но он и актер. Сужу по тому, как он показывал актерам на репетициях «Дней Турбиных». Собственно — он поставил их, по крайней мере, дал те блестки, которые сверкали и создавали успех спектаклю» (Собрание сочинений, т.8, с.269) .

Роли исполняли: Алексей Турбин — Н.Хмелев, Николка — И.Кудрявцев, Елена Тальберг — В Соколова, Тальберг — Вербицкий, Мышлаевский — Б.Добронравов, Шервинский — М.Прудкин, Студзинский — Е.Калужский, Ларносик — М.Яншин, Гетман «всея Украины» — В Ершов и др. Оформление спектакля — Н Ульянов.

Спектакль имел феноменальный успех. «Дни Турбиных» за период с 1926 по 1941 год выдержали 987 представлений, — писал К Рудницкий в примечаниях к книге : Михаил Булгаков. Пьесы, М ,1962.— С большим успехом играли в этом спектакле также А.Тарасова в роли Елены Тальберг, В.Топорков в роли Мышлаевского, В. Вербицкий и А Кторов в роли Шервинского. Декорации спектакля погибли в Минске в июне 1941 года, в первые дни Великой Отечественной войны... В 1954 году М.Яншин в Государственном драматическом театре имени Станиславского поставил «Дни Турбиных», сохранив в основном режиссерское решение спектакля МХАТ» (с.467—468) .

С тех пор пьеса была поставлена во многих театрах у нас и за рубежом.

Литературная судьба пьесы не столь оптимистична. Рукопись пьесы не сохранилась. Елена Сергеевна Булгакова не раз предпринимала попытки опубликовать пьесу. Но лишь в 1955 году издательство «Искусство» решилось на ее издание. С благословения, естественно, Е.С.Булгаковой для публикации был взят сценический вариант «Дней Турбиных», тот, что сейчас некоторые исследователи называют «суфлерским». Именно этот вариант пьесы «для нового поколения Художественного театра» стал «новой «Чайкой», как писал в 1934 году В.Сахновский. Именно на этот вариант обрушилась почти вся современная Булгакову критика, обвиняя его в апологии белогвардейцев. Именно этот вариант «Дней Турбиных» держали в своем сердце несколько поколений театральных зрителей в России и за рубежом.

Вот почему Е.С. Булгакова согласилась опубликовать именно этот сценический вариант пьесы в 1955 году, затем при ней же — в 1962-м, 1965-м. Этот же вариант пьесы предложила опубликовать Любовь Евгеньевна Белозерская, составительница книги Михаила Булгакова «Пьесы», вышедшей в издательстве «Советский писатель» в 1986 году.

И, публикуя «машинописный список» «Дней Турбиных» 1940 года, составители первого собрания сочинений М А. Булгакова нарушают прижизненную волю автора и его душеприказчицы — Е.С Булгаковой. Тем более что «Дни Турбиных», по мнению русских и зарубежных исследователей и публикаторов, выдержали испытание временем.

Другое дело, что действительно «восстановление авторского текста «Дней Турбиных» — задача едва ли осуществимая». (См.: М.А. Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах, М., 1990, т.3, с.619.) Невозможно с этим не согласиться, особенно после того, как познакомишься с наиболее научно обоснованной публикацией пьесы в книге: М.А. Булгаков. Пьесы 1920-х годов, Искусство, Ленинградское отделение, 1989 г. Составители этой книги, серьезной и глубокой, тоже взяли для публика-

ции пьесы «машинописный текст 1940 года» .. Но в этот текст публикаторы внесли целый ряд изменений, пусть небольших, несущественных, на их взгляд, но тем не менее и такое вмешательство недопустимо· «Допущены лишь небольшие отступления » (с.533).

И после этого вмешательства в авторский текст публикаторы заявляют· «Принцип «последней воли автора» (сам по себе не бесспорный) соблюден нами в данном издании точно. публикуется текст, подготовленный, очевидно, автором собственноручно и оставшийся после него» (ук издание, с 533).

Высказанное мнение нуждается в серьезном и глубоком изучении, к которому необходимо привлечь наших известных текстологов.

Пока ясно одно, что «Дни Турбиных» не нуждаются в какой-либо реконструкции, даже «небольшие отступления» от сценического варианта пьесы, блестяще выдержавшей испытание временем, повторяю, являются нарушением авторской воли Ведь широко известно, что Булгаков не соглашался ни на какие исправления, если они были против его авторской воли, а если соглашался на исправления, то, значит, допускал, что эти исправления вполне возможны Так было и с пьесой «Дни Турбиных».

Публикуется по тексту первых публикаций в издательстве «Искусство» 1955, 1962, 1965 и 1986 гг., по расклейке книги: Михаил Булгаков. Белая гвардия. М.,Современник, 1990 г.

НЕОБХОДИМЫЕ РЕАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ·

Боккерини Луиджи (1743—1805) — итальянские композитор и виолончелист. Способствовал развитию камерно-инструментальных жанров и симфонии (См . Энциклопедический словарь, с.154)

Скажи мне, кудесник, любимец богов — солдатская песня времен Первой мировой войны, была широко распространена в белогвардейской среде во время гражданской войны из-за припева, который каждый раз повторялся после пушкинских куплетов.

Так громче, музыка, играй победу,
Мы победили, и враг бежит,
Так за царя, за Русь, за нашу веру
Мы грянем громкое Ура! Ура! Ура!

В недалеком прошлом, особенно в 60—80-е годы, эта песня была широко распространена в оппозиционных кругах русской интеллигенции. Безграмотные доносчики жаловались в ЦК КПСС, что такие-то и такие-то поют открыто царский гимн, запрещенный с 1917 года. При этом в качестве иллюстративного материала приносили и магнитофонную запись. Приходилось объяснять «товарищам», что эту песню поют со сцены братья Турбины, Студзинский, Лариосик, что и в нашем хоре непременно находился Мышлаевский, который третью строчку пел совсем по-другому· «Так за Совет Народных Комиссаров ..» Хорошо, что каждый раз удавалось убедить неглупых работников, отвечавших за идеологию советского общества. Но, увы, так было: солдатскую песню

выдавали за царский гимн, который исполняют только в романе «Белая гвардия» и в первой редакции одноименной пьесы.

Ты победил, Галилеянин! — Эту фразу произнес Юлиан Отступник, римский император с 361 года, тщетно боровшийся против христианства В битве с персами получил смертельную рану и, вспоминая свою борьбу за возрождение языческих культов, восклицает.

— Кончено .. Ты победил, Галилеянин!

Эта фраза стала особенно популярной после выхода в свет романа Д.С Мережковского «Смерть Богов (Юлиан Отступник) », который и по сей день производит впечатление злободневной книги . Процитирую лишь некоторые высказывания из этого романа. После смерти Юлиана, казалось бы, инчто не мешает торжеству христианства, но «мертвые хватают живых», и еще пройдет какое-то время, пока наступит торжество христианской морали .. Вот влекут «смиреннейшего» сапожника в тюрьму. Вскоре мы узнаем — за что « . кесарю угодно, чтобы мы разрушали галилейские церкви Мы и разрушали . Я думал, приказано

— Да ты кто, христианин или язычник?

— Не знаю, благодетели, сам не знаю Сам не разберу, что я и что со мной Покорен властям, а ведь вот никак в истинную веру попасть не могу Все мимо! Либо рано, либо поздно . » и т д. И тут же автор романа показывает беснующуюся толпу, торжествующую победу над Юлианом. Но и это зрелище не вызывает у автора восторга «Анатолий, с горькой усмешкой, подымая руки к небу, воскликнул:

— Воистину. Ты победил, Галилеянин!» (См ·Д С Мережковский. Собрание сочинений в четырех томах, Москва, издательство «Правда», 1990, т 1, с 290—302)

Я гений, Игорь Северянин — первая строчка стихотворения «Эпилог», опубликованного в сборнике «Громокипящий кубок», М ,1913.

В книге воспоминаний «Уснувшие весны» Игорь Васильевич Лотарев (1887 — 1941), подписывавший свои стихи как Игорь Северянин, писал о первых своих шагах в литературе . В 1909 году Иван Наживин отвез Льву Толстому брошюру со стихами Игоря Северянина и прочитал их Возмущению Льва Толстого, казалось бы, не было предела Тут все газеты оповестили своих читателей об отзыве Льва Толстого . «После чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну!.. С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады . Журналы стали охотно печатать мои стихи. .

В 1913 г. вышел в свет первый том моих стихов «Громокипящий кубок», снабженный предисловием Сологуба, в московском издательстве «Гриф», и в том же году я стал давать собственные поэзоконцерты. В том же году я совершил совместно с Сологубом и Чеботаревской (женой Ф.К Сологуба (1863 — 1927). — *В П.*) первое турне по России, начатое в Минске и законченное в Кутаиси». (См.: Игорь Северянин. Стихотворения и поэмы. 1918—1941. Москва, «Современник», 1990, с 382—383)

ПРИЛОЖЕНИЕ

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ *Роман.*
19-я и 20-я главы романа *(ранняя редакция)*

19-я глава в ранней редакции впервые была опубликована в журнале «Новый мир», № 2, 1987 г В журнале «Слово», № 7, 1992 г , были опубликованы две последние главы романа в ранней редакции. В И Лосев в книге Михаил Булгаков. Из лучших произведений, Москва, Изофакс, 1993 г уточнил весь текст окончания романа в ранней редакции

Публикуется по этому изданию.

Сравнивая все эти публикации ранней редакции двух последних глав, можно обнаружить некоторые разночтения, особенно между «новомирской» публикацией и публикацией «книжной» Порой «новомирская» публикация предпочтительнее Скорее всего потому, что «книжная» редакция относится к еще более раннему периоду работы над романом

А ведь поначалу все складывалось благополучно· в двух номерах журнала «Россия» была опубликована большая часть романа. Над заключительной частью Булгаков все еще работал

И Лежнев, предчувствуя ужесточение литературной обстановки, торопил Булгакова с окончанием романа, но Булгакову казалось, что раз печатать начали, то уж деваться некуда — напечатают и конец И не торопился . 7 июня 1925 года И Лежнев написал официальное письмо· «Дорогой Михаил Афанасьевич! Вы «Россию» совсем забыли, уже давно пора сдавать материал по № 6 в набор, надо набирать окончание «Белой гвардии», а рукопись Вы все не заносите Убедительная просьба не затягивать более этого дела Я бываю в издательстве по-прежнему по средам и субботам 5—7 час веч Можно доставить рукопись и на Полянку — когда угодно Там всегда примут и аккуратно передадут мне. Как чувствуете себя после операции?»

Булгаков, только что перенесший операцию аппендицита, исполнил указание редактора, сдал рукопись и уехал вместе с женой в Коктебель А в октябре, получив верстку шестого номера, Булгаков узнал, что издание журнала приостановлено, издатель З Л Каганский отказывается издавать роман отдельной книжкой, уступив право И Лежневу Булгаков написал Лежневу протестующее письмо. 11 октября 1925 года И Лежнев писал «Михаил Афанасьевич! Ваше сугубо официальное письмо я получил. Оно, однако, несколько упреждает события. При уплате векселя имеется 3-дневный льготный срок. Платеж при этой льготной отсрочке производится у нотариуса под страхом протеста. Если бы Каганский не оплатил векселя во вторник и из-за трехсот рублей допустил себя до протеста, в чем я имею полное право сомневаться, прошу сообщить мне об этом. Издавать роман отдельной книгой я не собираюсь во всяком случае. Авторскую корректуру пяти листов последней

трети романа при сем прилагаю. Прошу вернуть ее в исправленном виде в среду. И.Лежнев» (ОР РГБ, ф.562, 19.37) .

События приобрели острый драматический характер: издательство «Россия» закрылось, Каганский исчез, а И Лежнев уже не в силах был печатать роман. В отчаянии М А.Булгаков обращается в конфликтную комиссию Всероссийского союза писателей: «Редактор журнала «Россия» Исай Григорьевич Лежнев, после того как издательство «Россия» закрылось, задержал у себя, не имея на то никаких прав, конец моего романа «Белая гвардия» и не возвращает мне его.

Прошу дело о печатании «Белой гвардии» у Лежнева разобрать и защитить мои интересы. М.А Булгаков Москва, Чистый пер , 9, кв 4. 26 октября 1925 г.» (ЦГАЛИ, ф 341, оп.1, ед.хр.257).

Конечно, ничего путного решить конфликтная комиссия уже не могла — «Кончилось тем, что я расхохотался и плюнул». (Подробнее об этом позднее Булгаков расскажет в «Театральном романе».)

М.Чудакова в «Новом мире» опубликовала 19-ю главу по сохранившейся в ОР РГБ корректуре шестого номера журнала «Россия», В.Лосев опубликовал две последние главы романа в еще более, кажется мне, ранней редакции. «Конец корректуры, возможно, был утрачен», — констатировала М.Чудакова в «Новом мире». Но журнал «Слово» и В.Лосев обнаружили этот конец романа в ранней редакции.

И вот сравнивая две публикации, прихожу к выводу, что «новомирская» редакция полнее, чем «книжная».

В частности, в публикации В.Лосева нет очень важного «кусочка»: «Деньги. Черт возьми, практика лопнула. Позвольте. Звонок. Ну-ка, Никол, открывай.

Первый пациент появился 30 января вечером, часов около шести. Вежливо приподняв шапку Николке, он поднялся с ним вместе по лестнице, в передней снял пальто с козьим мехом и попал в гостиную. Обитатели квартиры сошлись в столовой и повели тихую беседу, как всегда бывало, когда Алексей начинал принимать». Нет и фразы. «Вот видите, дермографизм у вас есть» . Нет и фразы: «Однажды вечером Шервинский вдохновенно поднял руку и молвил:

— Ну-с? Здорово? И когда стали их подинмать, оказалось, что на папахах у них красные звезды»

В публикации «Нового мира» нет существенного конца 19-й главы: «Двое вооруженных в сером толклись в передней, не спуская глаз с доктора Турбина...» и самый конец главы : «Турбин еще раз перечел подпись — «Начальник Санитарного Управления лекарь Курицький».

— Вот тебе и кит и кот, — возмущенно и вслух сказал Николка».

Вот почему и 19-я глава публикуется по «книжной» публикации, а в сносках даются разночтения по «новомирской» редакции.

Надеюсь, что текстологи, готовящие академическое издание романа, предложат читателям оптимальное решение этого сложного вопроса.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. *Пьеса в пяти актах* (первая редакция)

«МХАТ узнал Булгакова в 1925 году, — писал П.Марков — Уже первая встреча с ним оставила впечатление необыкновенное — острого, оригинального и в то же время предельно глубокого человека Его роман «Белая гвардия» появился в одном из толстых журналов, и театр задумался над возможностью сделать из романа пьесу. Булгаков охотно принял предложение театра... Первый вариант инсценировки «Белой гвардии» представлял собой довольно пухлый том именно «инсценированного» романа. Инсценировка включала, насколько помнится, тринадцать или четырнадцать картин; но каждая из них обнаруживала острый взгляд драматурга, умение в диалоге раскрыть образ, глубину характеристик. Было ясно — Булгаков в этом первом варианте дал меньше того, что он, как драматург, способен дать. Театр стал любовно и страстно работать с писателем над углублением и усовершенствованием инсценировки.. » (См : Михаил Булгаков. Пьесы, М , издательство «Искусство», 1962, с.9)

В апреле 1925 года Булгаков начал работу над пьесой, а 15 августа уже представил в театр. Автор прочитал пьесу в сентябре, артисты одобрили, но тут-то и начались осложнения: нарком Луначарский прочитал рукопись и дал убийственно-отрицательный отзыв· отметив несколько «живых сцен», нарком пришел к выводу, что вся пьеса «исключительно бездарна», «Все остальное либо военная суета, либо необыкновенно заурядные, туповатые, тусклые картины никому не нужной обывательщины». Все это получилось, по мнению Луначарского, «вероятно, от полной драматической немощи или крайней неопытности автора».

14 октября репертуарно-художественная коллегия МХАТа постановила: «Признать, что для постановки на Большой сцене пьеса должна быть коренным образом переделана. На Малой сцене пьеса может идти после сравнительно небольших переделок. Установить, что в случае постановки пьесы на Малой сцене она должна идти обязательно в текущем сезоне, постановка же на Большой сцене может быть отложена и до будущего сезона. Переговорить об изложенных постановлениях с Булгаковым».

15 октября 1925 года Булгаков в категорической форме писал одному из руководителей театра В В Лужскому: «Глубокоуважаемый Василий Васильевич. Вчерашнее совещание, на котором я имел честь быть, показало мне, что дело с моей пьесой обстоит сложно Возник вопрос о постановке на Малой сцене, о будущем сезоне и, наконец, о коренной ломке пьесы, граничащей, в сущности, с созданием новой пьесы

Охотно соглашаясь на некоторые исправления в процессе работы над пьесой совместно с режессурой, я в то же время не чувствую себя в силах писать пьесу наново.

Глубокая и резкая критика пьесы на вчерашнем совещании заставила меня значительно разочароваться в пьесе (я приветствую критику), но не убедила меня в том, что пьеса должна идти на Малой сцене.

И, наконец, вопрос о сезоне может иметь для меня только одно решение сезон этот, а не будущий.

Поэтому я прошу Вас, глубокоуважаемый Василий Васильевич, в срочном порядке поставить на обсуждение в дирекции и дать мне категорический ответ на вопрос:

Согласен ли 1-ый Художественный Театр в договор по поводу пьесы включить следующие безоговорочные пункты:

1. Постановка только на Большой сцене.

2. В этом сезоне (март 1926).

3. Изменения, но не коренная ломка стержня пьесы.

В случае, если эти условия неприемлемы для Театра, я позволю себе попросить разрешения считать отрицательный ответ за знак, что пьеса «Белая гвардия» — свободна.

Уважающий Вас М.Булгаков».

В ходе доработки пьесы Булгаков сделал попытку спасти пьесу «косметическим» ремонтом, кое-что «выбросить», кое-что изменить. Но вскоре он понял, что дело не только в том, что он представил «пухлый том «инсценированного» романа», как писал П.Марков. Счет был предъявлен более глубокий и принципиальный. Можно ли себе представить на советской сцене Мышлаевского, бросающего в партер следующие слова: «Сейчас в комиссаров буду стрелять... Ах ты, ма...» А весь этот эпизод и действия Мышлаевского спровоцированы фразой Алексея Турбина: «А вслед за ним придет и совершенно неизбежно с полчищами своих ангелов Троцкий». В Троцкого и направляет маузер, взятый у Шервинского, Виктор Мышлаевский. Мог ли Луначарский, прочитав все эти сцены, одобрить их? Конечно, нет... И не только эти, но и другие «белогвардейские» сцены... Так что работа началась по разным направлениям. и по уплотнению романного материала, и по устранению уж слишком резких в идеологическом отношении сцен.

Так возникла вторая редакция пьесы «Белая гвардия».

Питерские ученые-булгаковеды опубликовали первую редакцию «Белой гвардии», исключив из текста ряд сцен, имевших принципиальное значение, и почему-то опубликовав их отдельно.

Первая редакция пьесы «Белая гвардия» в пяти актах публикуется по позднейшей машинописной копии с поправками рукою Е.С. Булгаковой, ф.562, к.11, ед.хр.3; публикуется впервые самый полный текст пьесы, более близкий к роману, чем другие редакции.

Реальные комментарии:

Воистину — се дней Александровых восходящее солнце. — Это еще одно свидетельство того, что Турбины, Мышлаевский действительно смотрели спектакль «Павел Первый» в театре Соловцова по пьесе Д.С.Мережковского: «Александр (с балкона)... Все при мне будет, как при бабушке... Талызин (указывая на Александра) . Точно ангел в лазури небесной парит!

Депрерадович. А солнце-то, солнце — се Александровых дней восходящее солнце». (См.: Д.Мережковский. СС в четырех томах,т.3,87.)

Дышала ночь восторгом сладострастья — романс «Письмо». (См.: Мазуркевич В.А. Стихотворения, СПБ, 1900, с 104—105)

...напевает сквозь зубы «Пупсика» — «Пупсик» — оперетта немецкого композитора Жана Жильбера (настоящая фамилия — Макс Винтерфельд (1879—1942) . Известен как автор 50 оперетт.

Бест (перс.), в Иране основанное на старинном обычае право убежища на территории некоторых священных и неприкосновенных мест (мечетей, гробниц, с XIX века — помещений иностранных посольств и других учреждений, пользующихся экстерриторнальностью. (См. : Энциклопедический словарь, М.,1980, с.137)

Была у нас Россия, великая держава — белогвардейская песня на мотив «Яблочка»

Мы отдохнем, мы отдохнем!» — слова Сони из пьесы А.П Чехова «Дядя Ваня».

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. *Пьеса в четырех действиях. Вторая редакция*

После обсуждения пьесы в Театре и письма Булгакова Лужскому началась интенсивная творческая доработка пьесы. Устранялись длинноты, лишние эпизодические действующие лица, уточнялись характеристики... Булгаков понял одно: за один вечер первую редакцию пьесы в Театре не сыграть, значит, нужны сокращения, но не в ущерб идейно-художественному содержанию

24 ноября 1925 года Булгаков в записке Софье Федорченко писал: «...Я погребен под пьесой со звучным названием. От меня осталась одна тень, каковую можно будет показывать в виде бесплатного приложения к означенной пьесе». (См.: М.Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова, Москва, 1987, № 8, с.53) В это время так он мог говорить только о пьесе «Белая гвардия», а не о «Зойкиной квартире», над которой тоже с увлечением работал.

В конце января 1926 года Театр приступил к репетициям. Пьеса стала четырехактной, с четырьмя сценами Булгаков расстался, как и с полковниками Най-Турсом и Малышевым. Центральным героем стал полковник Алексей Турбин, вобравший в себя и некоторые черты, и реплики утраченных полковников. Полюбившийся комический персонаж Лариосик появляется уже в первом действии, а не в четвертом, как в первой редакции. Вторая редакция пьесы полностью соответствовала творческому и душевному настрою автора.

И начавшиеся репетиции не предвещали мрачных последствий для этой редакции пьесы. Правда, режиссер Судаков затевал иной раз разговор о том, чтобы сделать молодого Николку «носителем поворота к большевикам», но ни Булгакову, ни Театру не хотелось «ломать» этот твердый характер целеустремленного защитника исконной российской государственности.

26 марта 1926 года на репетиции первых двух актов пьесы присутствовали К С Станиславский, П А Марков, художник Н П Ульянов, М А Булгаков. В «Дневнике репетиций» отмечено «К С, просмотрев два акта пьесы, сказал, что пьеса стоит на верном пути очень понравилась «Гимназия» и «Петлюровская сцена» Хвалил некоторых исполнителей и сделанную работу считает важной, удачной и нужной. Н.П Ульянов показал фотографии с макетов 3-х сцен (Турбины, Гимназия и Петлюровская сцена). К.С воодушевил всех на продолжение работы в быстром, бодром темпе по намеченному пути» (Москва, 1987, № 8, с 55)

Но к концу апреля 1926 года началось косвенное давление на Театр со стороны охранителей идеологической чистоты, пока только высказывалось недовольство по поводу названия спектакля Начались поиски: репертуарно-художественная коллегия предлагает назвать пьесу «Перед концом», Булгаков возражает и предлагает свои варианты — «Белый декабрь», «1918», «Взятие города», «Белый буран»... 13 мая 1926 года в дискуссию включился н Станиславский «Не могу сказать, чтобы название «Перед концом» мне нравилось . Но и лучшего я не знаю для того, чтобы пьеса не была запрещена Со всеми четырьмя предложенными названиями пьеса, несомненно, будет запрещена. Слова «белый» я бы избегал Его примут только в каком-нибудь соединении, например, «Конец белых» Но такое название недопустимо. Не находя лучшего, советую назвать «Перед концом» Думаю, что это заставит иначе смотреть на пьесу, с первого же акта»

4 июня 1926 года Булгаков направляет письмо Совету и Дирекции МХАТа: «Сим имею честь известить о том, что я не согласен на удаление Петлюровской сцены из пьесы моей «Белая гвардия».

Мотивировка· Петлюровская сцена органически связана с пьесой

Также я не согласен на превращение 4-актной пьесы в 3-актную.

Согласен совместно с Советом Театра обсудить иное заглавие для пьесы «Белая гвардия»

В случае, если Театр с изложенным в этом письме не согласится, прошу пьесу «Белая гвардия» снять в срочном порядке».

Ультиматум подействовал отрезвляюще Репетиции продолжались

24 июня 1926 года состоялась генеральная репетиция. А на следующий день члены Главреперткома в присутствии представителей Театра объявили свое решение. «Белая гвардия» представляет собой сплошную апологию белогвардейцев, в трактовке Театра совершенно неприемлемо изображение белогвардейской героики; предлагалось «выявить взаимоотношения белогвардейцев с другими социальными группировками, хотя бы домашней прислугой, швейцарами и т.д »; предлагали «показать кого-либо из белогвардейцев из господ дворян или буржуев в петлюровщине».

Мхатовцы пообещали показать пьесу «в переработанном виде». И разъехались на летние каникулы, гастроли.

24 августа с приездом Станиславского начались репетиции «Белой гвардии». Снова разработали весь план пьесы, зафиксировали все вставки и переделки текста. Станиславский вновь и вновь объяснял актерам и режиссерам содержание пьесы и как ее нужно играть. 26 августа в «Дневнике репетиций» есть запись· «М А. Булгаковым написан новый текст гимназии по плану, утвержденному Константином Сергеевичем».

17 сентября, перед репетицией для работников Главреперткома, Станиславский обратился к своим коллегам со следующим заявлением.

«Ввиду того, что черновая генеральная репетиция «Дней Турбиных» (к этому времени пьесу назвали· «Дни Турбиных») «Белая гвардия». — *В. П*) будет показана в очень сыром и неотделанном виде, а в то же время и для артистов, занятых в спектакле, и для членов Главреперткома и Политпросвета важно, чтобы Театр был наполнен публикой, Константин Сергеевич очень просит отдавать контрмарки только самым близким родственникам и ни в коем случае не артистам других театров и не лицам, причастным к искусству и прессе».

После этой репетиции состоялось объединенное заседание Главреперткома в присутствии членов Совета Театра· «Главрепертком считает, что в таком виде пьесу выпускать нельзя Вопрос о разрешении остается открытым». Такое решение Главреперткома привело в шоковое состояние главных действующих лиц этой театральной драмы. «Бледный, С. пришел за кулисы к актерам, куда уже просочился слух, что пьесу запрещают, — вспоминал М И Прудкин. — Если не разрешат эту постановку, я уйду из театра, — сказал С. — Я сам вижу отдельные недочеты пьесы идеологического порядка, которые можно преодолеть.. »

19 сентября отменили генеральную репетицию спектакля: вопрос о разрешении спектакля все еще оставался открытым Театр делает последние усилия, чтобы спасти спектакль: исключили сцену с истязанием еврея, переделали музыкальное оформление: звучание «Интернационала» не утихает, а усиливается.

Накануне генеральной репетиции Станиславский снова обращается к коллективу Театра «Серьезные обстоятельства заставляют меня категорически воспретить артистам и служащим Театра, не занятым в спектакле «Дни Турбиных», 23 сентября находиться среди публики в зрительном зале, фойе и коридорах, как во время спектакля, так и во время антрактов».

В «Дневнике репетиций» записано «Полная генеральная с публикой . Смотрят представители Союза ССР, пресса, представители Главреперткома, Константин Сергеевич, Высший Совет и Режиссерское управление.

На сегодняшнем спектакле решается, идет пьеса или нет.

Спектакль идет с последними вымарками и без сцены «еврея».

После этой генеральной репетиции Луначарский заявил, что в таком виде спектакль может быть разрешен для показа зрителям.

Так из второй редакции пьесы возникла третья — «Дни Турбиных». Исчезли Василиса и Ванда, значительно сокращена роль трех бандитов-

петлюровцев, вместо двух сцен в Гимназии осталась одна, в речи Турбина вставлено отречение от Белой Гвардии, «Народ не с нами Он против нас», несколько меняется идеология образа Мышлаевского.. Но эти изменения в пьесе иичуть не изменили характеры действующих лиц, их доброту, честность и другие черты русского национального характера.

«Вторая редакция пьесы, четырехактная «Белая гвардия», которая репетировалась во МХАТе с января до июня 1926 года, была сдана в архив. С тех пор «Дни Турбиных» ставились, печатались и переводились по третьей редакции», — писала Лесли Милн в предисловии к первой публикации второй редакции пьесы на русском языке. (См . Михаил Булгаков. Белая гвардия. Пьеса в четырех действиях. Вторая редакция пьесы «Дни Турбиных». Подготовка текста, предисловие и примечания Лесли Милн Мюнхен, 1983, с 14)

И еще «Настоящее издание имеет своей целью реабилитацию злосчастной четырехактной пьесы «Белая гвардия», второй из трех редакций пьесы «Дни Турбиных». Ведь Булгаков сам считал, что «вторая редакция наиболее близка к первой, третья наиболее отличается»... В конце концов, первую редакцию нельзя было сыграть, а третья редакция блестяще выдержала испытание временем», — писала в том же предисловии Л Милн. Процитировав воспоминания артиста МХАТ В И Вершилова, пожалевшего, что в окончательный текст «Дней Турбиных» не вошли «изумительные страницы» первой редакции, Л Милн делает совершенно справедливое заключение: «Кратчайший путь к восстановлению «изумительных страниц» первой редакции пьесы — это ставить ее по тексту второй редакции... Надо подчеркнуть, что, хотя вставки и вымарки в окончательном тексте были вынужденными, они суть изменения самого автора, а не посторонней руки Все слова в окончательном тексте — булгаковские. Настоящее издание предлагает, однако же, текст, в котором автор считался только с художественными задачами и в котором он дал самое полное, свободное выражение того, что хотел он сказать о столкновении двух миров, старого и нового, на рубеже исторических эпох (там же, с 16—18)

Это справедливая полемика с теми, кто писал, что М.А Булгаков был «одним из авторов» «Дней Турбиных». И этим самым как бы «доказывали», что Булгаков несамостоятелен как автор

Публикуется вторая редакция «Белой гвардии» по изданию: Михаил Булгаков. Белая гвардия, М.,Современник, 1990, сверенному с машинописной копией (по старой орфографии, естественно исправленной), 1925 г., хранящейся в ОР РГБ, ф.562, к.11, ед.хр.4. Сверка показала, что в публикации Л.Милн есть некоторые пропуски целых фраз, допущены искажения слов, но это лишь чуть-чуть снижает значение этой замечательной публикации.

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Петелин. Дни Турбиных 5

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. *Роман.* 51
ДНИ ТУРБИНЫХ. *Пьеса.* 304

ПРИЛОЖЕНИЕ

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. *19-я и 20-я главы романа* (ранняя редакция). 384
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. *Пьеса.* Первая редакция. 435
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. *Пьеса.* Вторая редакция. 553

Краткие комментарии 646

Булгаков М. А.

Б 90 Собрание сочинений в 10 томах. Т. 4. Белая гвардия. Дни Турбиных. Роман, пьесы. — М.: Голос, 1997. — 672 с.

ISBN 5-7117-0308-0 (Т. 4)
ISBN 5-7117-0304-8

Четвертый том Собрания сочинений Михаила Булгакова составили роман «Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных» и «Белая гвардия».

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус) 6

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

Собрание сочинений

Том 4

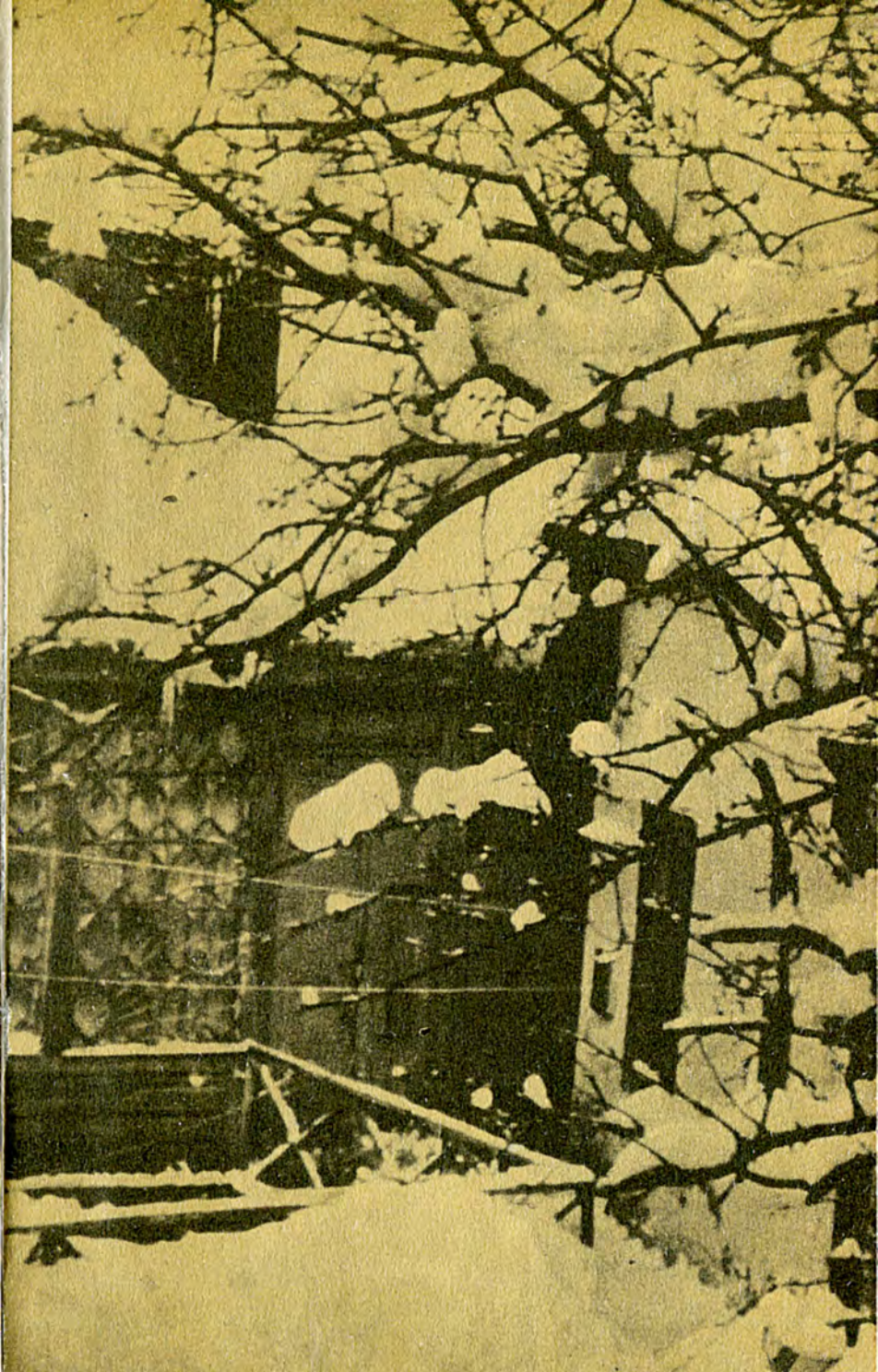
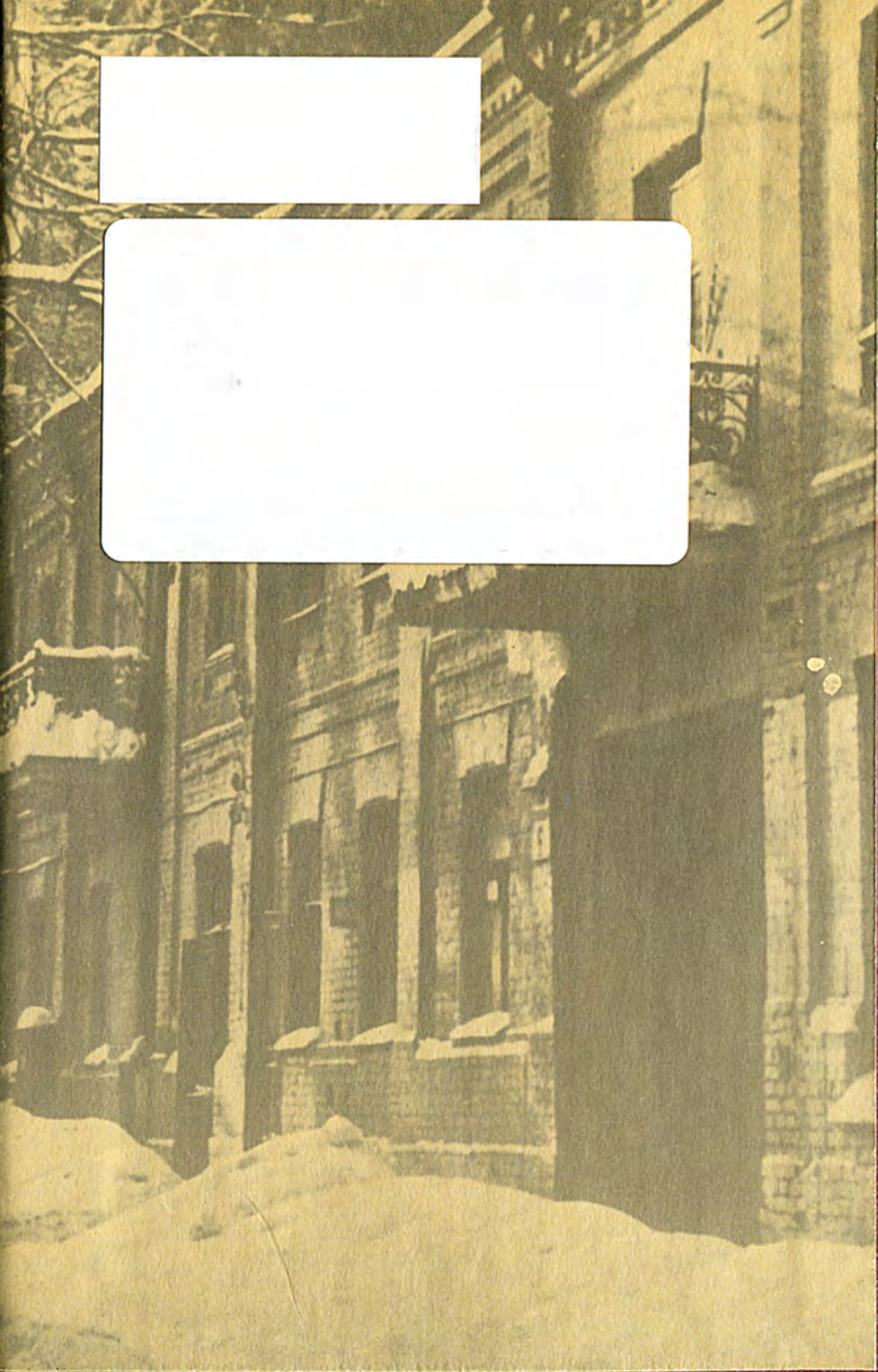
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Редактор *С Фрольцова*
Художественный редактор *В Голубев*
Технический редактор *Н Александрова*
Корректор *Л Новикова*

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 040020 от 07.02 97.

Сдано в набор 16 08 95 Подписано в печать 20.02 96
Формат 84×108 $^1/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Печать высокая.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ л. 35,28.
Тираж 13 000 экз. Зак. № 752

Издательство "Голос", 113184, Москва, ул. Пятницкая, д. 52, стр. 1

Оригинал-макет изготовлен ТОО «Компания ДЛШ»
ул. 8-я Текстильщиков, 14, тел. 178-57-79

Отпечатано на издательско-полиграфическом
предприятии «Правда Севера»,
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32